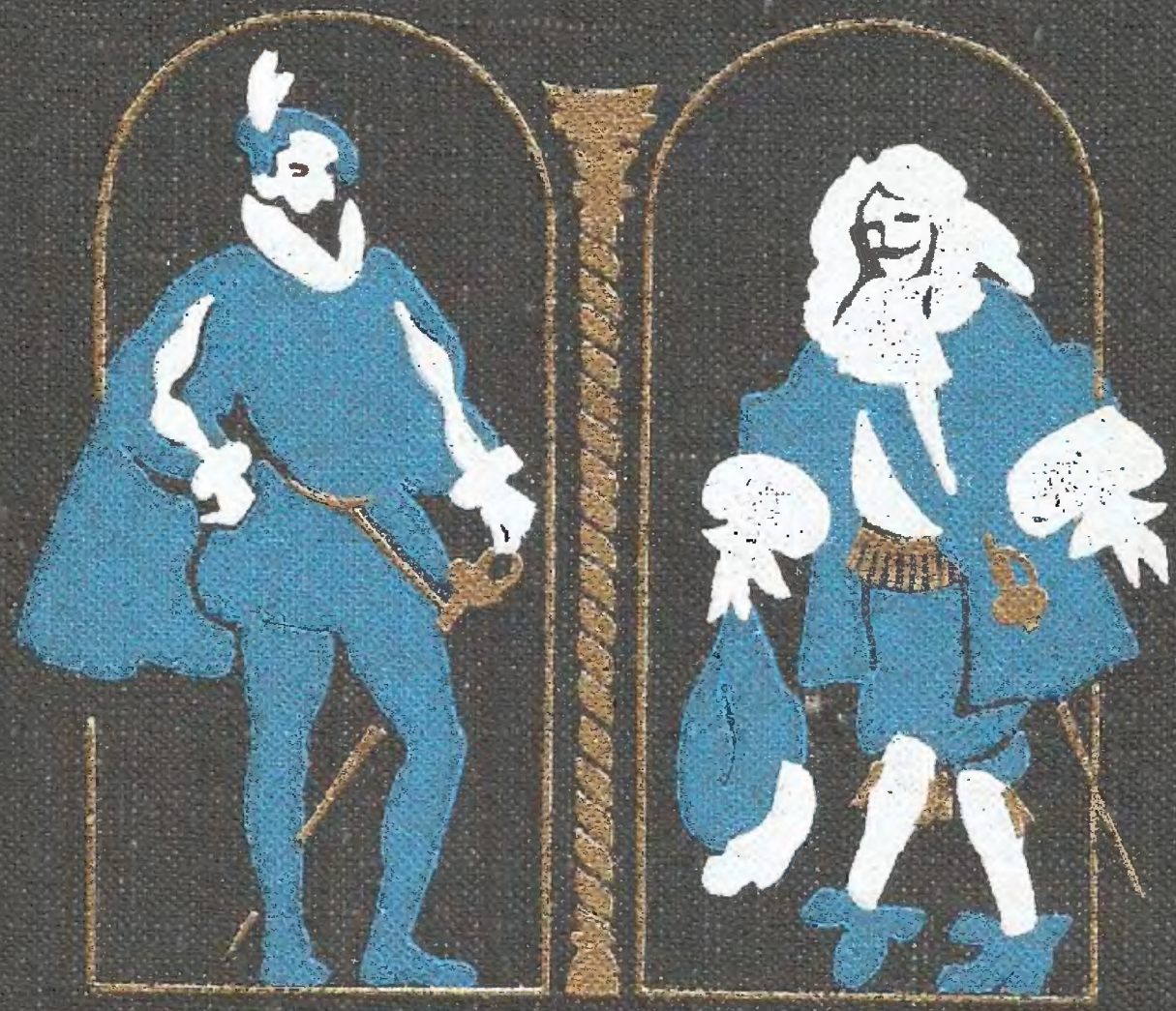
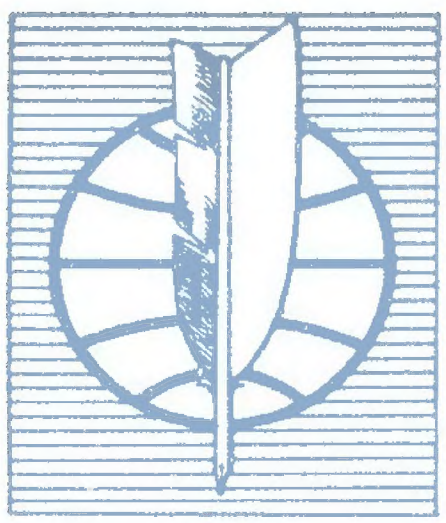
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



МИГЕЛЬ де СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР

Scan Kreyder - 07.06.2016
STERLITAMAK



БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ

МИГЕЛЬ де СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский

Роман

Сокращенный перевод с испанского

•

ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР

Тартюф

Мещанин во дворянстве

Комедии

Перевод с французского

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА"
1980

И(Исп)
С32

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.
Алексин А. Г.
Барабаш Ю. Я.
Барто А. Л.
Благой Д. Д.
Верейский О. Г.
Виноградов А. А.
Гамзатов Расул
Гончар Олесь
Дехтерев Б. А.
Думбадзе Н. В.
Коржев Г. М.
Леонов Л. М.
Лихачев Д. С.
Ломунов К. Н.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Миршакар Мирсаид
Михалков С. В.
Мотяшов И. П.
Мустай Карим
Новожилова З. Г.
Пешеходова Г. К.
Прилежаева М. П.
Свиридов Н. В.
Столетов В. Н.
Стукалин Б. И.
Танк Максим
Шолохов М. А.

*

Вступительные статьи
Б. ПУРИШЕВА, И. ВЕРЦМАНА

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

Оформление тома и иллюстрации
А. АРХИПОВОЙ

С $\frac{70803—065}{M101(03)80}$ Подп. изд.

© Вступительные статьи. Комментарии. Оформление. Иллюстрации.
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1980 г

МИГЕЛЬ де СЕРВАНТЕС САА ВЕДРА

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Miguel de Cervantes Saavedra

El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha

Сокращенный перевод с испанского
Н. ЛЮБИМОВА

О РОМАНЕ СЕРВАНТЕСА «ДОН КИХОТ»

Кто не знает чудаковатого рыцаря Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансу, вызванных к жизни творческим гением Мигеля Сервантеса де Сааведра (1547—1616), великого испанского писателя эпохи Возрождения? Возникнув на страницах романа «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», написанного Сервантесом в начале XVII века (часть I, 1605, часть II, 1615), они на протяжении ряда столетий являются неизменными спутниками многих поколений читателей. По-разному их воспринимали в разные эпохи, но неизменно герои романа оставались живыми, удивительно живыми. Время не властно над ними, оно не состарило их, не превратило в музейные экспонаты. Они и сейчас появляются перед нами как добрые друзья, говорящие с нами на понятном нам языке.

Между тем роман Сервантеса неотделим от Испании XVI—XVII веков, от своеобразия ее жизненного уклада, от ее литературных путей и перепутий. Задуман «Дон Кихот» как пародия на рыцарский роман, наводнявший испанский книжный рынок в XVI веке. Сервантес прямо заявлял в прологе, что «Дон Кихот» «есть сплошное обличение рыцарских романов» и что «единственная цель» книги — «свергнуть власть рыцарских романов и свести на нет широкое распространение, какое получили они в высшем обществе и у простонародья».

В Испании XVI века рыцарский роман, зародившийся еще в средние века, как бы переживал свое второе рождение. Популярность его была огромна. Появлялись всё новые и новые образцы этого традиционного жанра. Но ведь XVI век это уже век Ренессанса, то есть Возрождения, отмеченный глубокими сдвигами в культурной и общественной жизни многих европей-

ских стран. Не осталась в стороне от этих сдвигов и Испания. Только консервативное начало в испанских порядках преобладало над началом прогрессивным. Так, испанский абсолютизм, в отличие от абсолютизма в других больших государствах Европы, не стал цивилизующим центром, содействующим историческому прогрессу. В царствование Карла I (1500—1558; он же германский император Карл V) испанское королевство было могущественным и обширным, включавшим в свои пределы богатые заморские колониальные владения. Вместе с тем испанская «аристократия приходила в упадок, сохраняя свои худшие привилегии, а города утрачивали свою средневековую власть, не приобретая значения, присущего современным городам. Со времени установления абсолютной монархии эти города прозябали в состоянии непрерывного упадка»[1]. Зато незыблемой оставалась власть католической церкви, решительно искоренявшей любое вольномыслие. Дух средневековья продолжал витать над страной. Но «если после правления Карла I политический и социальный упадок Испании обнаруживал все симптомы позорного и продолжительного разложения, напоминающие худшие времена Турецкой империи, то при этом императоре прах древних вольностей по крайней мере покоился в пышной гробнице. Это было время, когда Васко Нуньес Бальбоа водрузил знамя Кастилии на берегах Дарьена, Кортес — в Мексике, Писарро — в Перу; это было время, когда влияние Испании безраздельно господствовало в Европе, когда пылкое воображение иберийцев ослепляли блестящие видения Эльдорадо, рыцарских подвигов и всемирной монархии»[2].

Именно в это время и появилось великое множество испанских рыцарских романов. Их появлению содействовали и традиции средневековья, еще сохранявшиеся в Испании, и дух авантюризма, подогревавшийся великодержавными стремлениями королевства, а также то преклонение перед бранным подвигом, которое свойственно было испанцам, на протяжении столетий ведшим героическую борьбу за свое освобождение от мавританского владычества.

Правда, в испанских рыцарских романах, появлявшихся в XVI веке, мы не найдем прямых откликов на все эти события. Мир этих романов до крайности условен. Весьма условны и герои, озаренные сказочным светом. Обычно доблестный рыцарь, рыцарь без страха и упрека, совершает на страницах романа неслыханные подвиги во славу прекрасной дамы, сражается с опасными чудовищами, разрушает козни злых волшебников,

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., том 10, с. 432.
[2] Там же, с. 431.

приходит на помощь к обиженным, молодой, красивый, смелый, бескорыстный и учтивый. Чудесное здесь встречается на каждом шагу, в то время как горькая проза жизни изгнана за тридевять земель.

Первенцем этого жанра в Испании был роман «Амадис Галльский», переведенный с португальского Гарсией Родригесом Монтальво и изданный в начале XVI века. Португальский оригинал, написанный в XIV веке по мотивам бретонских сказаний, до нас не дошел. В романе повествуется о жизни и славных деяниях рыцаря Амадиса, внебрачного сына Периона, короля Галльского (Уэльского), а также о его беззаветной любви к шотландской принцессе Ориане. Шумный успех романа, обладавшего несомненными художественными достоинствами, вызвал к жизни множество продолжений и подражаний. Первый шаг в этом направлении сделал переводчик «Амадиса» Монтальво, присоединивший к 4 книгам романа написанную им самим пятую книгу (1521), посвященную сыну Амадиса Эспландиану, рыцарю весьма доблестному, который в конце концов становится византийским императором, в то время как Амадис заканчивает свои дни королем Великобритании.

Вслед за этим рыцарские романы посыпались, как из рога изобилия. Один за другим появлялись романы, героями которых были родственники и потомки Амадиса («История Флоризанда», племянника Амадиса, 1526; «Лисуарт Греческий, сын Эспландиана», «Амадис Греческий» и др.), обширная героическая семья. С Амадисом соперничал Пальмерин Оливский и его славные потомки, в том числе Пальмерин Английский, внук названного Пальмерина. Всего появилось 12 частей (книг) «Амадисов» (1508—1546) и 6 частей «Пальмеринов» (1511—1547). Были и другие многочисленные романы, о которых здесь нет необходимости упоминать. Почти все они заметно уступали «Амадису Галльскому». Приключения, изображавшиеся в них, становились всё более невероятными, нелепыми, каждый автор стремился превзойти своего предшественника в нагромождении авантюр и чудес.

Задумав написать пародию на рыцарский роман, Сервантес все время сталкивает читателя с чертами и ситуациями рыцарского романа, только «вынутыми» из волшебной романтической среды и перенесенными в повседневную, достаточно прозаическую, обстановку Испании начала XVII века. Это непрестанно приводит к комическим эффектам. Рыцарский роман как бы выворачивается наизнанку и утрачивает свою романтическую «убедительность». И то, что было в рыцарском романе роскошным и захватывающим, становится убогим и нелепым.

Главным украшением рыцарского романа всегда был знат-

ный молодой рыцарь, красивый, сильный, влюбленный, сокрушающий полчища врагов, побеждающий чародеев и великанов. В романе Сервантеса его место занимает захудалый ламанчский идальго Алонсо Кехана, все имущество которого заключалось «в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке». Этот идальго не знатен, не молод, не красив. Однако, начитавшись рыцарских романов, он решил стать странствующим рыцарем и совершать беспримерные подвиги.

За этим следует рассказ о том, как Алонсо Кехана назвал себя громким именем Дон Кихот Ламанчский, облекся в рыцарские доспехи, избрал себе даму сердца и, оседлав боевого коня, отправился на поиски приключений. Но доспехи его были ветхими и ржавыми, конь представлял собою жалкую клячу, а владычицей его сердца, за неимением принцессы, стала деревенская девушка из ближайшего селения Тобосо, которую Дон Кихот торжественно наименовал Дульсинеей Тобосской. Вскоре появился у Дон Кихота и оруженосец, который столь же мало походил на оруженосцев из рыцарских романов, как сам Дон Кихот на Амадиса Галльского или Пальмерина Английского. Мирный землепашец Санчо Панса не отличался безумной отвагой, и молчаливость, столь украшавшая совершенных оруженосцев, вовсе не являлась его добродетелью.

Нелепы и часто смехотворны «подвиги» Дон Кихота, который хотел видеть и видел мир таким, каким его изображали рыцарские романы. Постоялый двор представлялся ему замком с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпилями, заурядные потаскухи — знатными обитательницами замка, толедские купцы — странствующими рыцарями, ветряные мельницы — многорукими великанами и т. п. Неудивительно, что жизнь щедро награждала Дон Кихота тумаками и затрещинами. А он, несмотря ни на что, продолжал пребывать в волшебном мире, созданном его воображением, объясняя свои неудачи кознями могущественных чародеев. Это позволяло Сервантесу все дальше разматывать клубок удивительных похождений злополучного идальго и тем самым умножать удары, наносимые рыцарскому роману.

При этом Сервантес имел в виду не только общую схему рыцарского романа (очарованные принцессы, великаны и карлики, странствующие рыцари и пр.), но и отдельные эпизоды популярных книг. Так, находясь в горах Сьерры Морены, Дон Кихот решил подражать самому Амадису Галльскому, который, по его словам, был «путеводною звездою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей».

Однажды, отвергнутый принцессой Орианой, Амадис наложил на себя покаяние и, приняв имя Мрачного Красавца, уда-

лился в горы. Дон Кихота никто не отвергал, однако, оказавшись среди скал, он вознамерился повторить поступки Амадиса и, обращаясь к Санчо Пансе, сказал: «Сейчас я разорву на себе одежды, разбросаю доспехи, стану биться головой о скалы». А добродушный Санчо, не читавший рыцарских романов, заметил ему на это: «Смотрите, ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится».

Сердобольное замечание Санчо, продиктованное здравым смыслом, сразу же выявляет всю крайнюю надуманность книжной романтики. Опущенные с романтических высот на обыденную землю, традиционные ситуации рыцарского романа перестают казаться возвышенными и становятся смешными. К этому приему «приземления» книжной рыцарской романтики Сервантес неоднократно прибегает в своем романе. Условные, подчас совершенно неправдоподобные образы и положения как бы «переводятся» на язык житейской прозы, и тогда сказочные великаны оказываются ветряными мельницами, войско могущественного волшебника — стадом баранов и т. п. Только в расстроенном воображении Дон Кихота выдуманный мир рыцарского романа сохраняет свою «реальность». Читатель с улыбкой наблюдает за странной манией новоявленного странствующего рыцаря, хорошо понимая, что на земле нет места для сказочных великанов и зачарованных принцесс.

На страницах сервантесовской эпопеи рыцарский роман лопается, как мыльный пузырь. Им еще увлечен Дон Кихот, но Сервантес делает все, чтобы дискредитировать его в глазах читателей.

Пародирует Сервантес также претенциозный стиль рыцарских романов. Иногда он просто целиком приводит отдельные, наиболее курьезные места. Иногда имитирует надутый цветистый слог, свойственный многим произведениям этого рода.

Но почему все-таки Сервантес решил «свергнуть власть рыцарских романов» и ополчился на них в своем самом значительном произведении? Как взыскательный писатель и просто здравомыслящий человек он не мог, конечно, мириться с потоком низкопробной литературы, наводнявшей книжный рынок. Правда, не все рыцарские романы были плохи. К числу произведений, обладавших художественными достоинствами, Сервантес относил и «Амадиса Галльского» и «Пальмерина Английского». Зато великое множество романов, жадно поглощаемых неразборчивыми читателями, действительно достойно было самого решительного осуждения. Это были топорные изделия жалких эпигонов, небрежно скомпонованные, напыщенные, перегруженные нелепыми приключениями. Еще выдающийся гуманист Хуан Луис

Вивес отмечал вредное влияние на юношество этих романов с их культом грубой силы, феодальной заносчивостью и сомнительной моралью. Рыцарские романы в конце концов стали нелепым анахронизмом. Потакая убогим вкусам, отвлекая читателей от большой прогрессивной литературы, они стали синонимом умственной и художественной рутины. Сервантес имел основание беспощадно разрушать этот вид литературы.

В 25-й главе первого тома[1] он заставляет достопочтенного каноника резко критиковать эту разросшуюся вульгарную литературу. Каноник видит коренной недостаток рыцарских романов в том, что они «стремятся к тому, чтобы услаждать, но не поучать», в то время как подлинное искусство должно «поучать и услаждать одновременно». Именно в этом, по словам каноника, и заключается «высшая цель сочинительства». Рыцарские же романы «изобилуют чудовищными нелепостями», способными ублаготворить только «умы неразвитые и грубые». Ведь истинное наслаждение доставляют «красота и стройность», а не хаотическое нагромождение совершенно неправдоподобных и нелепых вещей. И художественный «вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного». В «правдоподобии и подражании природе» «заключается совершенство произведения». Вспомним, что «подражание природе» было ведущим принципом ренессансного реализма, и нам станет понятным, что, выступая против эпигонского рыцарского романа, нимало не согласующегося с этим принципом, Сервантес отстаивал великие завоевания эпохи Возрождения. Осмеивая рыцарский роман, он расчищал путь литературе содержательной, правдивой, близкой к «природе», то есть к жизни.

Но конечно, «Дон Кихот» не только «сплошное обличение рыцарских романов». Если бы значение книги ограничивалось этим, она не смогла бы триумфально пройти через века. Рыцарские романы давно уже отошли в область предания, а «Дон Кихот» продолжает жить. Он нас не только забавляет, но и волнует. Это глубоко человечная книга, одно из самых значительных созданий эпохи Возрождения.

Впрочем, поначалу роман Сервантеса почти не выходит за пределы литературной пародии. Дон Кихот и нелеп, и смешон. Смешно его стремление подражать вымышленным героям рыцарских романов, смешна также его наивная вера в достоверность даже самых нелепых рыцарских историй. По словам автора, «Дон Кихот «помешался на рыцарях», у него «зашел ум за разум».

---

[1] Здесь и далее в статье ссылки даны в соответствии с нумерацией глав сокращенного перевода. (Прим. ред.)

Постепенно, однако, Дон Кихот перестает быть только комической фигурой. Он обнаруживает такие свойства, которые позволяют увидеть его совсем в ином свете. Конечно, ни один здравомыслящий человек не принял бы ветряные мельницы за сказочных великанов. Зато с каким поистине поэтическим вдохновением рассказывает Дон Кихот изумленному канонику волшебную историю Рыцаря Озера (I,27). Для одних рыцарский роман был забавой, других он раздражал. Дон Кихот нашел в нем для себя высокую поэзию и нашел ее потому, что, живя в ламанчской глуши, среди тусклой однообразной природы, среди людей, занятых мелкими прозаическими делами, он всем своим существом тянулся к миру поэзии, к миру ярких красок и великолепных подвигов. Можно сказать, что у его безумия была поэтическая основа, да и само безумие являлось своего рода вызовом миру, лишенному яркости и вдохновения. Конечно, Дульсинея Тобосская существовала только в воображении ламанчского фантазера, но ведь придумать Дульсинею мог лишь тот, кто поэтизировал женщину, благоговел перед ней, для кого любимая, будь она даже простой крестьянской девушкой, превращалась в блистательную принцессу. Вспомним также, что Дон Кихот любил слушать песни и стихотворения, знал много старинных народных романсов и сам при случае сочинял стихи.

Но Дон Кихот не только поэт, он, при всем своем безумии, еще и благородный мыслитель, человек большого ума. По замечанию священника, «добрый этот идальго говорит глупости, только если речь заходит о пункте его помешательства, но когда с ним заговорят о чем-нибудь другом, он рассуждает в высшей степени здраво и выказывает ум во всех отношениях светлый и ясный, так что всякий, кто не затронет этой его рыцарщины, признает его за человека большого ума» (I,19). Недаром так поразила всех речь Дон Кихота о военном поприще и учености. Сколько в ней метких наблюдений и верных суждений. Дон Кихот говорит о тяготах военной жизни, об опасностях, поджидающих солдата, о бедности, сопутствующей ему. Но он и сам не ищет безмятежного покоя и в других превыше всего ценит самоотверженное служение общему благу. А ведь цель военного искусства, по его словам,— «мир, а мир есть наивысшее из всех земных благ» (I,23). Вряд ли такую горячую тираду в защиту мира мог произнести кто-либо из странствующих рыцарей, которыми так увлекался Дон Кихот.

А вдохновенная речь о золотом веке, с которой Дон Кихот обращается к мирным козопасам? «Блаженны,— сказал он,— времена и блажен тот век, который древние назвали золотым,— и не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось

даром, а потому, что жившие тогда люди не знали двух слов: твое и мое». «Тогда всюду царили дружба, мир и согласие». «Тогда движения любящего сердца выражались так же просто и естественно, как возникали, без всяких искусственных украшений и околичностей. Правдивость и откровенность свободны были от примеси лжи, лицемерия и лукавства. Корысть и пристрастие не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить тогда еще всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что было судить». Но «с течением времени мир все более и более полнился злом», пока, наконец, не наступило «наше подлое время», которое по справедливости может быть названо железным веком (I,9).

О золотом веке, воспетом еще поэтами классической древности, любили вспоминать гуманисты эпохи Возрождения. Красивая легенда укрепляла их веру в «изначальные» достоинства человека, рожденного для счастья и свободы. И Дон Кихот, наряду с гуманистами, хочет, чтобы люди вновь обрели свой естественный удел. Именно ради этого он и решил возложить на себя бремя странствующего рыцарства (I,14). Для него странствующий рыцарь не столько искатель приключений, сколько самоотверженный борец за справедливость, обязанный «защищать обиженных и утесняемых власть имущими» (I,17). Переполненный злом, мир нуждается в ратоборцах правды. В железном веке истинный гуманизм должен облечься в латы и вооружиться острым рыцарским мечом.

Герои рыцарского романа пленили Дон Кихота своей активностью. Они представлялись ему бескорыстными апостолами справедливости. Однако, истребляя злых великанов и разрушая козни коварных волшебников, на самом деле они прежде всего заботились о приумножении своей личной славы. Совершая подвиги во имя прекрасной дамы, они были уверены в том, что об этих подвигах заговорят повсюду. Они отнюдь не были вооруженными гуманистами, размышляющими об общем благе, это были искатели приключений, никогда не пренебрегавшие собственной выгодой и в конце концов охотно занимавшие какой-нибудь королевский или императорский трон.

Стремясь во всем подражать прославленным литературным героям, Дон Кихот также мечтал «стяжать себе бессмертное имя» и «уже представлял себя увенчанным за свои подвиги по малой мере короной Трапезундского царства» (I,1). Подобно странствующим рыцарям, «которые, как это ему стало известно из книг, не спали ночей в лесах и пустынях, тешась мечтой о своих повелительницах», и он зачастую в ночную пору «не смыкал глаз

и думал о госпоже своей Дульсинее» (I,7). И все-таки как отличен Дон Кихот от книжных героев! Отличен не только своим нелепым внешним видом, ведь, вопреки принятым литературным штампам, он и не молод, и не красив, да и на голове его вместо великолепного боевого шлема красуется сильно помятый бритвенный тазик. Гораздо важнее то, что Дон Кихот сознает себя сыном железного века и свой нравственный долг видит в том, *чтобы вернуть миру утраченную им справедливость*. Он прямо заявляет своему другу и оруженосцу Санчо Пансе: «Друг Санчо, да будет тебе известно, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой» (I,14). Герои рыцарского романа делали свое привычное рыцарское дело, не задаваясь целью преобразить окружающий их мир. А Дон Кихот ставил перед собой как раз эту благородную цель. Правда, его пылкая фантазия населяла землю поэтическими призраками, заимствованными из рыцарских романов. Но ни на минуту он не сомневался в том, что времена Амадиса Галльского и Эспландиана давно миновали. Свой век он считал «железным» и «подлым» не только потому, что миром стала править корысть и кривда, но и потому, что отлетел от него дух благородной рыцарственности, под которой Дон Кихот прежде всего разумел самоотверженное служение общему благу. От средних веков унаследовал он наивную веру в чародеев и великанов; эпоха Возрождения вдохнула в него высокую веру в то, что торжество правды и человечности может быть возвращено на землю.

Смешной чудак ничего не искал для одного себя. Конечно, он считал себя вполне достойным трапезундской короны. Но ведь не ради нее он покинул свой домашний очаг и отправился навстречу опасностям.

Чем ближе мы знакомимся с ним, тем яснее видим его душевное благородство. Дон Кихот настоящий подвижник. Он не щадит себя, когда нужно наносить удары обнаглевшей кривде. Все свои силы готов он отдать людям, нуждающимся, как он полагает, в его бескорыстной помощи. Трудно в литературе эпохи Возрождения указать другого героя, который бы с таким же энтузиазмом сражался за общее благо. Правда, все усилия Дон Кихота оказывались тщетными. Золотой век не возвращался на землю. И все-таки Дон Кихот верой и правдой продолжал служить своей мечте. По мере развития романа его фигура приобретает все более патетический характер. Его безумие все чаще оборачивается мудростью. Особенно это бросается в глаза во второй части романа, увидевшей свет вскоре после того, как некий Авельянеда издал в 1614 году подложную вторую часть «Дон Кихота», в которой изобразил ламанчского рыцаря полоумным дуралеем, а его оруженосца — тупым обжорой. У Серван-

теса во второй части романа Дон Кихот поражает собеседников благородством своих суждений и порывов.

Он сталкивается и с высшим светом, который до того не был доступен бедному идальго. Торжественно был встречен Дон Кихот в герцогском замке. Хозяева замка оказывали странствующему рыцарю всевозможные знаки внимания. В угоду ему Санчо Панса был назначен губернатором острова Баратарии. И Дон Кихот поверил, что он наконец достиг вершины своей рыцарской славы, что его подвиги оценены по достоинству. Но все это был, как известно, низкий обман. Дивясь мудрости Дон Кихота, герцог и герцогиня в то же время совершенно хладнокровно забавлялись его странной манией. Они превратили его в шута, допуская, а подчас и прямо поощряя всякого рода жестокие издевки. И у читателя невольно возникает мысль, что, в сущности, безумен не Дон Кихот, стремящийся защищать слабых и утесненных, но тот жестокий несправедливый мир, который способен издеваться над благородным фантазером.

Ведь великая человеческая правда на стороне осмеиваемого рыцаря, а не на стороне всех этих титулованных и нетитулованных себялюбцев. И в Барселоне высший свет продолжал потешаться над Рыцарем Львов, как называл себя Дон Кихот после действительно опасного приключения со львами (II,44). Человеческое достоинство Дон Кихота не имело для этих людей никакого значения. Он казался им безумным не только потому, что верил в небылицы, наполнявшие рыцарские романы, но и потому, что верил в справедливость. И как бы ни были подчас наивны и нелепы начинания Дон Кихота, в них продолжал гореть священный огонь гуманизма, давно погасший в холодных сердцах рассудительных представителей железного века.

Таким образом, роман Сервантеса выходил за узкие рамки литературной пародии. Развенчание устарелой литературной манеры все более перерастало в развенчание эгоистического бессердечия железного века, отрекшегося от заветов гуманизма.

А у Дон Кихота все отчетливее проступали гуманистические черты. Подчас он рассуждает так, как рассуждали гуманисты эпохи Возрождения. Только человек очень умный и образованный мог, например, столь проникновенно судить о поэзии, храбрости, любви, красоте, неблагородности и многих других вещах.

Когда в беседе с герцогом Дон Кихот смело заявлял, что «кровь облагораживают добродетели и что большего уважения заслуживает худородный праведник, нежели знатный грешник» (II,29), он, по сути, даже высказывал мысль, которая со времен Данте и Петрарки принадлежала к числу кардинальных истин ренессансного гуманизма. И разве, с негодованием отмечая, что

«в наше время леность торжествует над рвением, праздность над трудолюбием, порок над добродетелью, наглость над храбростью» (II,1), он не рисовал картины, во многом напоминающей трагическую картину, нарисованную Шекспиром в знаменитом 66-м сонете? Только, в отличие от лирического героя шекспировского сонета, Дон Кихот не искал забвения в смерти. Он рвался навстречу опасности, он надеялся силой своего рыцарского меча очистить землю от порока, ибо трогательно верил в могущество добродетели, которая со временем «выйдет с честью из всех испытаний и воссияет на земле, подобно солнцу в небе» (I,25).. Или, утверждая, что благородная «наука странствующего рыцарства» включает в себя «все или почти все науки на свете», Дон Кихот не защищал образ «универсального человека», прославленного не одним поколением европейских гуманистов? Ведь, по мнению Дон Кихота, совершенный рыцарь должен быть и законоведом, и богословом, и врачом, и ботаником, и астрологом, и математиком; он должен хорошо владеть своим телом и не гнушаться физического труда. К тому же ему надлежит быть великодушным, смелым, выносливым, сострадательным, «защищать обиженных и утесняемых власть имущими» (I,18). И, разумеется, таким «универсальным человеком» был сам Дон Кихот. Его широкая осведомленность не раз поражала окружающих. Он был смел и сострадателен и являлся поборником справедливости.

По мнению Санчо Пансы, в красноречии и мудрости Дон Кихот не уступал самым знаменитым церковным проповедникам. Но мудрость Дон Кихота не была церковной. Дон Кихот мечтал не о небесном, а о земном счастье человечества и всегда готов был подать добрый совет тому, кто испытывал в нем нужду.

В этом отношении особенно примечательны наставления, с которыми Дон Кихот обратился к Санчо, отправлявшемуся в качестве губернатора на остров Баратарию. Эти наставления своего рода *манифест* гуманистической мудрости. В основе его лежит мысль, что подлинное величие правителя измеряется не знатностью происхождения, не стремлением возвыситься над людьми, но справедливыми и добрыми делами. «Помни, Санчо,— говорит Дон Кихот,— если ты вступишь на путь добродетели и будешь стараться делать добрые дела, то тебе не придется завидовать делам князей и сеньоров, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, и она имеет ценность самостоятельную, в отличие от крови, которая таковой ценности не имеет». Дон Кихот призывает Санчо Пансу не руководствоваться «законом личного произвола», но судить обо всем нелицеприятно, заботясь более всего об истине и справедливости. И пусть ко-

рысть не собьет его с верного пути, а слезы бедняка вызывают у него больше сострадания, чем жалобы надменного богача (II,33).

Когда же герои романа покинули герцогский замок, Дон Кихот с облегчением сказал: «Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком... Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба!» (II,42).

Однако, наделяя Дон Кихота столь привлекательными чертами, изображая его подвижником, ратоборцем справедливости, Сервантес в то же время непрерывно ставит его в нелепые, смешные положения. И объясняется это не только пародийной тенденцией, пронизывающей роман. Ведь прекраснодушие Дон Кихота бессильно что-либо изменить в мире, в котором воцарились эгоизм и стяжательство. Правда, Дон Кихот оказывал самое благотворное влияние на Санчо Пансу. Но золотого века ламанчскому рыцарю так и не удалось воскресить. Все его старания были тщетными. Да и что мог сделать один человек? Только крайняя наивность могла подсказать ему мысль, что своим рыцарским мечом нанесет он сокрушительный удар всемогущей кривде. В своих действиях он все время был во власти иллюзий, которые, с одной стороны, умножали его силы, а с другой — делали его попытки бесплодными. Поэтому нередко его благие порывы приводили к результатам прямо противоположным. Достаточно вспомнить хотя бы эпизод с пастушонком, которого Дон Кихот вырвал из рук жестокого хозяина (I,4).

Вступившись за истязуемого мальчугана, он взял с богатого крестьянина торжественную клятву, что тот удовлетворит все законные требования своего подчиненного. Известно, чем все это кончилось. Лишь стоило уехать Дон Кихоту, разъяренный крестьянин вновь набросился на мальчугана и чуть не убил его. Поэтому когда впоследствии изувеченный пастушонок случайно повстречал Дон Кихота, он проклял его вместе со всеми «странствующими рыцарями, какие когда-либо появлялись на свет» (I,20). В каждом человеке Дон Кихот склонен был видеть благородного рыцаря. Любой предмет мог совершенно преобразиться в его глазах. Поэтому большая проницательность сочеталась у него с поражающей слепотой. За эту слепоту жизнь все время мстила Дон Кихоту. Освобожденные им каторжники забросали его камнями; мельничные крылья чуть было не разлучили его

с жизнью; ему изрядно досталось от пастухов, защищавших вверенных им овец и баранов; над ним издевались слуги и господа и т. д. За то, что Дон Кихот вечно пребывал в мире иллюзорных представлений, жизнь превратила его во всеобщее посмешище. Да он и на самом деле бывал смешон; даже добродушный Санчо, искренне привязанный к своему господину, считал возможным водить его за нос.

В качестве человека, лишенного всякого чувства действительности, ламанчский чудак стал под пером гениального испанского писателя типическим воплощением «донкихотизма», за которым скрывается очень реальное жизненное содержание. Дон Кихоты появлялись в разные века и у разных народов. Донкихотизм возможен и в частной, и в общественной жизни. С ним можно встретиться и в политике, и в искусстве, и в науке. Но отнюдь не случайно такое классическое художественное выражение донкихотизма возникло именно в Испании на исходе эпохи Возрождения.

Можно сказать, что испанское королевство во времена Сервантеса во многом напоминало незадачливого героя Сервантеса, только без его привлекательных черт. Страна продолжала грезить о величии, давно уже отошедшем в область предания и существовавшем лишь в пылком воображении иберийцев. Правительство нередко действовало вопреки здравому смыслу и сражалось с ветряными мельницами, вместо того чтобы заботиться о насущных нуждах населения. Испанские дворяне были чуть ли не самыми высокомерными в Европе, хотя за этим высокомерием нередко скрывалась глубокая нищета. Над истощенной страной витал дух авантюризма, подогревавшийся воспоминаниями о былых колониальных захватах. Для многих прошлое было гораздо привлекательнее настоящего. С этим в немалой мере связан и поразительный успех рыцарского романа, составляющий столь характерную особенность испанского культурного развития эпохи Возрождения.

Таким образом, когда Сервантес насмехался над рыцарским романом, он имел перед собой не только чисто литературный феномен. Донкихотизм рос из самой гущи тогдашней испанской жизни, выступая в различных общественных формах.

Это вовсе не означает, что Дон Кихот Ламанчский являлся глашатаем феодально-католической реакции, подобно многим его современникам; облаченный в средневековые доспехи, он стремился возродить не средние века, он боролся за светлое будущее человечества, обретшего наконец свободу и справедливость. Он был смелым воином гуманизма, только в соответствии с испанскими вкусами принявшим обличие средневекового рыцаря. Подобно гуманистам, он искренне верил в неограниченные возмож-

ности человека, верил в то, что человеку нужно только захотеть— и он преобразит весь мир.

Этот наивный волюнтаризм, возникший на заре Ренессанса, принадлежал к числу благородных иллюзий ренессансного гуманизма. Сервантес, великий гуманист, жил в то время, когда уже рассеялись многие гуманистические иллюзии. Поэтому роман о Дон Кихоте это не только осмеяние нелепых рыцарских романов, но и смелая переоценка некоторых традиционных гуманистических ценностей, не выдержавших испытания времени. К началу XVII века в этом уже никто не мог сомневаться. Шекспир откликнулся на это рядом трагедий. Сервантес написал свой веселый и в то же время печальный роман. Великий испанский писатель предостерегал от прекраснодушия, оторванного от жизни, ибо оно не было способно хотя бы слегка поколебать тяжелые устои несправедливого мира.

Это определило и великую правду романа. Пусть невероятны и фантастичны приключения героев, но мы отчетливо слышим, как вокруг шумит Испания, настоящая Испания начала XVII века. По пыльным дорогам движутся погонщики мулов, монахи, купцы, нищие, богомольцы, ремесленники, горожане и крестьяне. Каторжников ведут на галеры, дворяне гарцуют на конях, бичующиеся несут статую богоматери, пастухи гонят стада овец и свиней, поселяне готовятся к бою быков. Мы попадаем на постоялые дворы, на представление кукольного театра, на сельскую свадьбу, во дворец знатных вельмож, на улицы и площади Барселоны и даже в лагерь каталонских разбойников. Под пером Сервантеса оживает Испания социальных контрастов, бедная и богатая, занятая трудом и привыкшая пребывать в праздности, исполненная благородного душевного порыва и погрязшая в мелких корыстных расчетах.

Повествование завершается торжеством здравого смысла. Перед смертью Дон Кихот отрекается от рыцарских романов и всех своих былых сумасбродств. Но читателю все-таки жаль расставаться с этим милым одиноким чудаком, склонным «всем делать добро и никому не делать зла» (II,22). Подсмеиваясь над бессмысленными сумасбродствами Дон Кихота, Сервантес в то же время любовался его нравственной красотой, столь редкой в век корысти, себялюбия и бездушия.

Впрочем, Дон Кихот не совсем одинок. У него был верный спутник Санчо Панса. Вместе они разъезжали по Испании, деля между собой и пинки, и улыбки фортуны. Санчо — удивительно колоритная фигура. Мало кому из писателей эпохи Возрождения удалось так живо и привлекательно изобразить человека из народа. Санчо — бедный землепашец, односельчанин Дон Кихота. Надеясь разбогатеть, он согласился стать оруженосцем ламанч-

ского рыцаря. Простодушие у него сочетается с лукавством, а наивное легковерие — с очень трезвым и практическим взглядом на вещи. Рыцарские идеалы чужды его мужицкому сознанию. Стадо баранов для него просто стадо баранов, а не войско великого императора Алифанфарона, правителя острова Трапобаны, как это представлялось Дон Кихоту. В отличие от романтических оруженосцев, он совершенно лишен воинственного духа. Это мирный, очень неглупый, расчетливый мужичок, отнюдь не стремящийся к бранной славе. Он любит всласть поесть, попить, поспать. Он искренне радуется, когда в кармане у него звенят червонцы или когда он может уехать, не заплатив алчному трактирщику. Зато удары фортуны нагоняют на него уныние, и он начинает тосковать по тихой сельской жизни. «Все это ясно показывает,— сказал он однажды неугомонному Дон Кихоту,— что приключения, которых мы ищем, в конце концов приведут нас к таким злоключениям, что мы своих не узнаем. И лучше и спокойнее было бы нам, по моему слабому разумению, вернуться домой: теперь самая пора жатвы, самое время заняться хозяйством, а мы с вами бродим как неприкаянные и кидаемся, что называется, из огня да в полымя» (I,12).

На первый взгляд кажется, что нет людей более различных, чем Дон Кихот и Санчо Панса. Все в них различно: характеры, стремления и даже внешний вид. Тощий, длинный, с вытянутым лицом («в полмили длиною») Дон Кихот на тощей кляче и приземистый, плотный, коренастый Санчо на ослике. Такими их знает весь мир. Такими их рисовали Г. Доре, О. Домье, Кукрыниксы и другие художники. Внешнее несоответствие этой знаменитой пары невольно вызывает улыбку.

И все же они были поистине неразлучны. Они любили и уважали друг друга, хотя подчас между ними и вспыхивали размолвки. Санчо как-то признался герцогине: «Мы с ним из одного села, он меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят мне подарил, а главное, я человек верный, так что, кроме могилы, никто нас с ним разлучить не может» (II,30). Однако не только патриархальная верность Санчо и рыцарская щедрость Дон Кихота объединяли этих людей. Присмотритесь к Санчо внимательнее, и вы увидите, что ему также присущи черты своеобразного донкихотизма. Не без основания цирюльник утверждал, что Санчо Панса «со своим господином одного поля ягода» (I,25). Разве не донкихотством была наивная уверенность Санчо в том, что он, неграмотный землепашец, может в феодальной Испании стать губернатором острова и даже графом? Ему так хотелось «выйти в люди», так хотелось, чтобы дочь его величали не иначе, как «Ваше сиятельство!» (II,5). И вот этот мирный, даже боязливый поселянин вдруг начинал призывать Дон Кихо-

та, только что вернувшегося домой из похода, вновь и без всякого промедления отправиться на поиски приключений (II,4). Эта абсурдная вера в спасительную силу авантюры не только роднила Санчо с ламанчским фантазером, но и делала их обоих характерными, хотя и сильно шаржированными выразителями тогдашнего «испанского духа».

Но было еще и нечто более важное, что внутренне роднило героев романа. Это была их большая человечность, или, может быть, точнее сказать — присущее им чувство социальной справедливости.

Правда, поначалу Санчо производит несколько иное впечатление. Его заветное желание сводится к тому, чтобы разбогатеть. Он убежден, что «богатеям куда привольнее живется, нежели грамотеям» (II,18). И о губернаторстве он мечтает именно потому, что оно представляется ему наиболее верным путем к обогащению. Когда герцогская чета назначила Санчо губернатором мнимого острова, он простосердечно сообщил в письме своей жене Тересе: «Через несколько дней я отправляюсь губернаторствовать с величайшим желанием зашибить деньгу,— мне говорили, что все вновь назначенные правители отбывают с таким же точно желанием... Козла пустили в огород, и в должности губернатора мы свое возьмем» (II,33). Герцог и герцогиня потешались, читая это письмо, и уж не сомневались в том, что в должности губернатора Санчо будет просто уморителен.

Но случилось другое. Став губернатором, Санчо обнаружил не только изрядный ум, граничивший с государственной мудростью, но и небывалую честность. С удивительной проницательностью решал он запутанные тяжбы. Он не давал себя водить за нос, порой бывал милосерден, порой строг и всегда справедлив; он одергивал льстецов и вовсе не стремился скрывать своего простонародного происхождения и даже сетовал, что на вверенном ему острове «этих донов и распродонов» больше, чем камней (II,35). Получив наконец заманчивую возможность «зашибать деньгу», он ею не воспользовался, а заявил, что взяток вымогать не намерен. Свою первоочередную обязанность он усматривал в том, чтобы очистить остров от лодырей, шалопаев и прочих бездельников, которые, подобно трутням в улье, «пожирают мед, собранный пчелами-работницами». Зато крестьянам намерен он был оказывать покровительство в первую очередь, не посягая при этом на особые права идальгии и духовенства.

Затевая этот недостойный фарс, высокомерные вельможи, герцог и герцогиня даже и помыслить не могли, что простой землепашец преподаст такой незабываемый урок испанским правителям. А Санчо мог со спокойной совестью сказать: «Вступил я в должность губернатора без гроша в кармане и без гроша

с нее ухожу — в противоположность тому, как обыкновенно уезжают с островов губернаторы» (II,40). И это была правда.

И дело было не только в облагораживающем влиянии ламанчского рыцаря. Еще совсем недавно Санчо мечтал стать богачом. Бедность разжигала его сребролюбие. Но та же бедность обостряла присущее ему чувство социальной справедливости и влекла его по иному пути, убеждая, что самая высокая мудрость заключается в том, чтобы «жить по правде» (II,18). Когда же от него стала зависеть судьба многих людей, он совершенно забыл о своей личной выгоде и показал замечательный образец служения общему благу. К этому следует добавить еще и то, что Санчо вовсе не свойственны черты раболепия перед сильными мира сего, он свободный землепашец с развитым чувством своего человеческого достоинства.

Эпизод с губернаторством Санчо Пансы заметно усиливал демократическое звучание произведения. Возвышая Санчо, Сервантес выносил приговор миру феодального высокомерия и пренебрежения человеческим достоинством.

Сервантесу удалось создать поистине грандиозное произведение, в котором глубина мысли сочетается с эпическим размахом, а сила и значительность художественного обобщения с точностью реалистического рисунка. В. Г. Белинский имел основание утверждать, что «Дон-Кихотом началась новая эра искусства — нашего, новейшего искусства». По словам критика, «он нанес решительный удар идеальному направлению романа и обратил его к действительности... все лица его романа — лица конкретные и типические. Он более живописал действительность, нежели пародировал устарелую манеру писания романов, может быть, вопреки самому себе, своему намерению и цели»[1].

«Дон Кихот» давно уже стал бессмертным произведением мировой литературы. При этом в различные исторические периоды представители различных идеологических и литературных направлений по-разному истолковывали гениальное творение испанского гуманиста.

Так, просветители XVIII века обращали внимание главным образом на антифеодальную пародийно-сатирическую тенденцию романа. Немецкие романтики (А. В. Шлегель, Шеллинг и др.) увидели в «Дон Кихоте» воплощение «извечного конфликта» между духом (Дон Кихот) и материей (Санчо Панса), то есть недостижимым идеалом и пошлой реальностью. По мнению Генриха Гейне, Сервантес, задумав написать сатиру на рыцарский

---

[1] В. Г. Белинский. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1953, с. 424.

роман, «сам того ясно не сознавая, написал величайшую сатиру на человеческую восторженность»[1]. Ряд интересных суждений о романе высказали русские революционные демократы, и прежде всего В. Г. Белинский. Белинскому удалось глубже многих проникнуть в его гуманистический и социальный смысл.

Самоотверженным ратоборцем благородной идеи был Дон Кихот для И. С. Тургенева. В известной речи «Гамлет и Дон Кихот» (1860) он ставил ламанчского рыцаря выше Гамлета, видя в нем бескорыстного энтузиаста, служителя идеи.

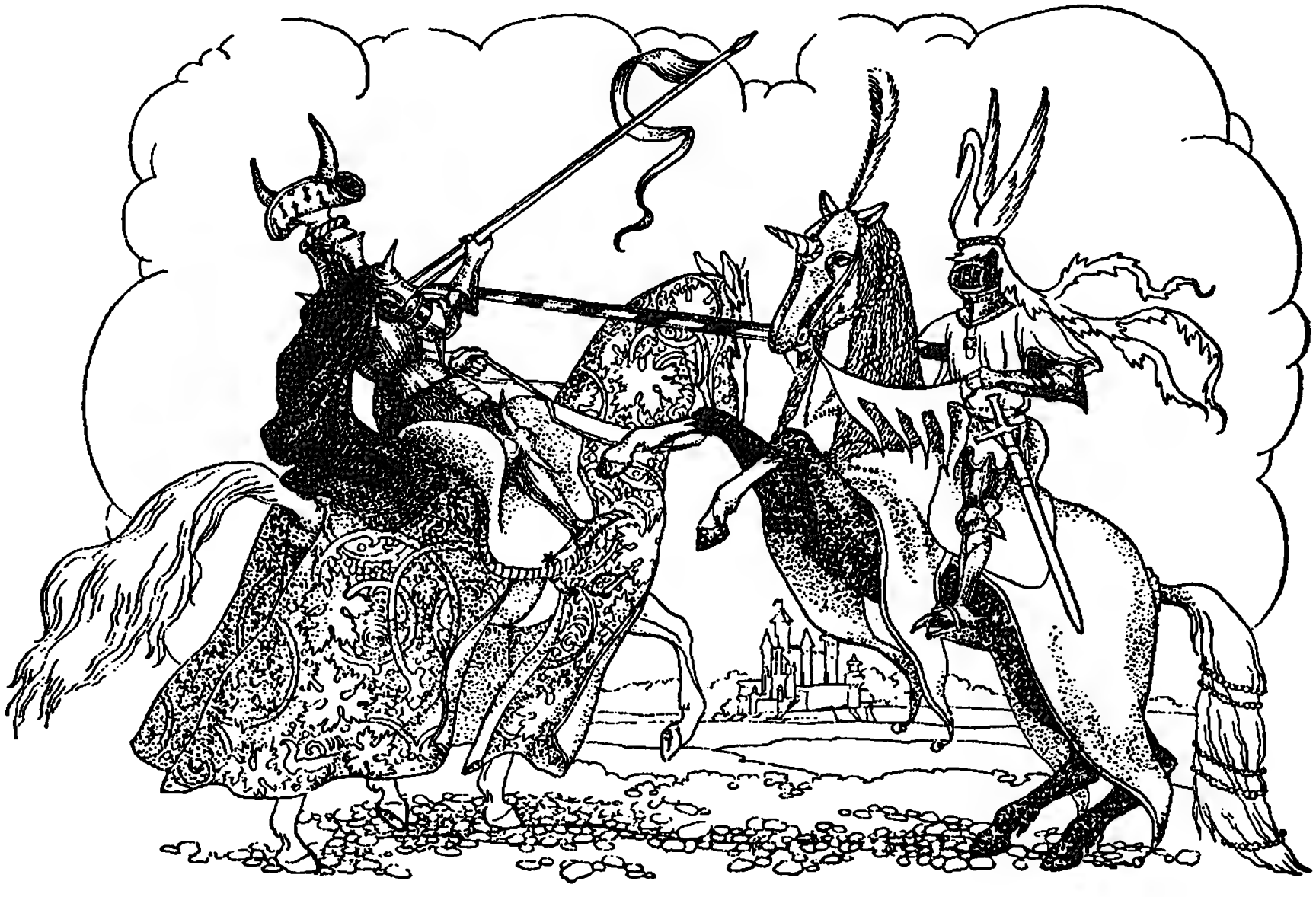
Известно, что «Дон Кихот» принадлежал к числу любимых книг Карла Маркса. По свидетельству Поля Лафарга, «выше всех романистов» Маркс «ставил Сервантеса и Бальзака»[2].

Б. Пуришев

---

[1] Г. Гейне. Введение к «Дон Кихоту». Собр. соч. в десяти томах, т. VII. Гослитиздат, 1958, с. 139.

[2] Воспоминания о Марксе и Энгельсе. М., Госполитиздат, 1956, с. 65. Об истолковании «Дон Кихота» см. в кн.: К. Н. Державин. Сервантес. М., ГИХЛ, 1958.



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА I,

повествующая о нраве и образе жизни славного идальго Дон Кихота Ламанчского

В некоем селе ламанчском[1]*, которого название у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго*, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Олья*, чаще с говядиной, нежели с бараниной, винегрет, почти всегда заменявший ему ужин, яичница с салом по субботам, чечевица по пятницам, голубь, в виде добавочного блюда, по воскресеньям — все это поглощало три четверти его доходов. Остальное тратилось на тонкого сукна полукафтанье, бархатные штаны и такие же туфли, что́ составляло праздничный его наряд, а в будни он щеголял в камзоле

[1] Комментарии к словам, отмеченным звездочкой, смотри в конце книги.

из дешевого, но весьма добротного сукна. При нем находились ключница, коей перевалило за сорок, племянница, коей не исполнилось и двадцати, и слуга для домашних дел и полевых работ, умевший и лошадь седлать и с садовыми ножницами обращаться. Возраст нашего идальго приближался к пятидесяти годам; был он крепкого сложения, телом сухопар, лицом худощав, любитель вставать спозаранку и заядлый охотник. Иные утверждают, что он носил фамилию Кихада, иные — Кесада*. В сем случае авторы, писавшие о нем, расходятся; однако ж у нас есть все основания полагать, что фамилия его была Кехана. Впрочем, для нашего рассказа это не имеет существенного значения: важно, чтобы, повествуя о нем, мы ни на шаг не отступали от истины.

Надобно знать, что вышеупомянутый идальго в часы досуга— а досуг длился у него чуть ли не весь год — отдавался чтению рыцарских романов с таким жаром и увлечением, что почти совсем забросил не только охоту, но даже свое хозяйство; и так далеко зашли его любознательность и помешательство на этих книгах, что, дабы приобрести их, он продал несколько десятин пахотной земли и таким образом собрал у себя все романы, какие только ему удалось достать. Больше же всего любил он сочинения знаменитого Фелисьяно де Сильва*, ибо блестящий его слог и замысловатость его выражений казались ему верхом совершенства, особливо в любовных посланиях и в вызовах на поединок, где нередко можно было прочитать: «Благоразумие вашего неблагоразумия по отношению к моим разумным доводам до того помрачает мой разум, что я почитаю вполне разумным принести жалобу на ваше великолепие». Или, например, такое: «...всемогущие небеса, при помощи звезд божественно возвышающие вашу божественность, соделывают вас достойною тех достоинств, коих удостоилось ваше величие».

Над подобными оборотами речи бедный кавальеро* ломал себе голову и не спал ночей, силясь понять их и добраться до их смысла, хотя сам Аристотель*, если б он нарочно для этого воскрес, не распутал бы их и не понял. Не лучше обстояло дело и с теми ударами, которые наносил и получал дон Бельянис*, ибо ему казалось, что какое бы великое искусство ни выказали пользовавшие рыцаря врачи, лицо его и все тело должны были быть в рубцах и отметинах. Все же он одобрял автора за то, что тот закончил свою книгу обещанием продолжить длиннейшую эту историю, и у него самого не раз являлось желание взяться за перо и дописать за автора конец; и так бы он, вне всякого сомнения, и поступил и отлично справился бы с этим, когда бы его не отвлекали иные, более важные и всечасные помыслы. Не раз приходилось ему спорить с местным священником, человеком образованным, получившим ученую степень

в Сигуэнсе*, о том, какой рыцарь лучше: Пальмерин Английский или Амадис Галльский*. Однако маэсе* Николас, цирюльник из того же села, утверждал, что им обоим далеко до Рыцаря Феба* и что если кто и может с ним сравниться, так это дон Галаор, брат Амадиса Галльского, ибо он всем взял: он не ломака и не такой плакса, как его брат, в молодечестве же нисколько ему не уступит.

Одним словом, идальго наш с головой ушел в чтение, и сидел он над книгами с утра до ночи и с ночи до утра; и вот, оттого что он мало спал и много читал, мозг у него стал иссыхать, так что в конце концов он и вовсе потерял рассудок. Воображение его было поглощено всем тем, о чем он читал в книгах: чародейством, распрями, битвами, вызовами на поединок, ранениями, объяснениями в любви, сердечными муками и разной невероятной чепухой; и до того прочно засела у него в голове мысль, будто все это нагромождение вздорных небылиц — истинная правда, что для него в целом мире не было уже ничего более достоверного. Он говорил, что Сид Руй Диас* — очень хороший рыцарь, но что он ни в какое сравнение не идет с Рыцарем Пламенного Меча, который одним ударом рассек пополам двух свирепых и чудовищных великанов. Он отдавал предпочтение Бернардо дель Карпьо, оттого что тот, прибегнув к хитрости Геркулеса, задушившего в своих объятиях сына Земли — Антея, умертвил в Ронсевальском ущелье очарованного Роланда*. С большой похвалой отзывался он о Морганте*, который хотя и происходил из надменного и дерзкого рода великанов, однако ж, единственный из всех, отличался любезностью и отменною учтивостью.

И вот, когда он уже окончательно свихнулся, в голову ему пришла такая странная мысль, какая еще не приходила ни одному безумцу на свете, а именно: он почел благоразумным и даже необходимым как для собственной славы, так и для пользы отечества сделаться странствующим рыцарем, сесть на коня и, с оружием в руках отправившись на поиски приключений, начать заниматься тем же, чем, как это ему было известно из книг, все странствующие рыцари, скитаясь по свету, обыкновенно занимались, то есть искоренять всякого рода неправду и в борении со всевозможными случайностями и опасностями стяжать себе бессмертное имя и почет. Бедняга уже представлял себя увенчанным за свои подвиги по меньшей мере короной Трапезундского царства*, и, весь отдавшись во власть столь отрадных мечтаний, доставлявших ему наслаждение неизъяснимое, поспешил он осуществить то, к чему стремился. Первым делом принялся он за чистку принадлежавших его предкам доспехов, некогда сваленных как попало в угол и покрывшихся ржавчиной

и плесенью. Когда же он с крайним тщанием вычистил их и привел в исправность, то заметил, что недостает одной весьма важной вещи, а именно: вместо шлема с забралом он обнаружил обыкновенный шишак*; но тут ему пришла на выручку его изобретательность: смастерив из картона полушлем, он прикрепил его к шишаку, и получилось нечто вроде закрытого шлема. Не скроем, однако ж, что когда он, намереваясь испытать его прочность и устойчивость, выхватил меч и нанес два удара, то первым же ударом в одно мгновенье уничтожил труд целой недели. Легкость, с какою забрало разлетелось на куски, особого удовольствия ему не доставила; чтобы предотвратить подобную опасность, он сделал его заново, подложив внутрь железные пластинки, так что в конце концов остался доволен его прочностью и, найдя дальнейшие испытания излишними, признал его вполне годным к употреблению и решил, что это настоящий шлем с забралом удивительно тонкой работы.

Затем он осмотрел свою клячу и, хотя она хромала на все четыре ноги, нашел, что ни Буцефал* Александра Македонского, ни Бабьека* Сида не могли бы с нею тягаться. Несколько дней раздумывал он, как ее назвать, ибо, говорил он себе, коню столь доблестного рыцаря, да еще такому доброму коню, нельзя не дать какого-нибудь достойного имени. Наш идальго твердо держался того мнения, что если произошла перемена в положении хозяина, то и конь должен переменить имя и получить новое, славное и громкое, соответствующее новому сану и новому поприщу хозяина,— вот он и старался найти такое, которое само показывало бы, что́ представлял собой этот конь до того, как стал конем странствующего рыцаря, и что́ он собой представляет теперь. Итак, он долго придумывал разные имена, роясь в памяти и напрягая воображение,— отвергал, отметал, переделывал, сызнова принимался составлять — и в конце концов остановился на Росинанте*, имени, по его мнению, благородном и звучном, поясняющем, что прежде конь этот был обыкновенной клячей, ныне же, опередив всех остальных, стал первой клячей в мире.

Столь удачно, как ему казалось, назвав своего коня, решился он подыскать имя и для себя самого и, потратив на это еще неделю, назвался наконец *Дон Кихотом*,— отсюда, повторяем, и сделали вывод авторы правдивой этой истории, что настоящая его фамилия, вне всякого сомнения, была Кихада, а вовсе не Кесада, как уверяли иные. Однако ж, вспомнив, что доблестный Амадис не пожелал именоваться просто Амадисом, но присовокупил к этому имени название своего королевства и отечества, дабы тем прославить его, и назвался Амадисом Галльским, решил он, что и ему, как истинному рыцарю, надлежит присовокупить к своему имени название свой родины и стать *Дон Кихо-*

том Ламанчским, чем, по его мнению, он сразу даст понять, из какого он рода и из какого края, и при этом окажет честь своей отчизне.

Вычистив же доспехи, сделав из шишака настоящий шлем, выбрав имя для своей лошаденки и окрестив самого себя, он пришел к заключению, что ему остается лишь найти даму, в которую он мог бы влюбиться, ибо странствующий рыцарь без любви — это все равно что дерево без плодов и листьев или же тело без души.

— Если в наказание за мои грехи или же на мое счастье,— говорил он себе,— встретится мне где-нибудь один из тех великанов, с коими странствующие рыцари встречаются нередко, и я сокрушу его при первой же стычке, или разрублю пополам, или, наконец, одолев, заставлю просить пощады, то разве плохо иметь на сей случай даму, которой я мог бы послать его в дар, с тем чтобы он, войдя, упал пред моею кроткою госпожою на колени и покорно и смиренно молвил: «Сеньора!* Я — великан Каракульямбр, правитель острова Малиндрании, побежденный на поединке неоцененным рыцарем Дон Кихотом Ламанчским, который и велел мне явиться к вашей милости, дабы ваше величие располагало мной по своему благоусмотрению»?

О, как ликовал наш добрый рыцарь, произнося эти слова, особливо же когда он нашел, кого назвать своею дамой! Должно заметить, что, сколько нам известно, в ближайшем селении жила весьма миловидная деревенская девушка, в которую он одно время был влюблен, хотя она, само собою разумеется, об этом не подозревала и не обращала на него никакого внимания. Звали ее Альдонсою Лоренсо, и вот она-то и показалась ему достойною титула владычицы его помыслов; и, выбирая для нее имя, которое не слишком резко отличалось бы от ее собственного и в то же время напоминало и приближалось бы к имени какой-нибудь принцессы или знатной сеньоры, положил он назвать ее Дульсинеей* Тобосскою — ибо родом она была из Тобосо, — именем, по его мнению, приятным для слуха, изысканным и глубокомысленным, как и все ранее придуманные им имена.

ГЛАВА II,

повествующая о первом выезде хитроумного Дон Кихота из его владений

Покончив со всеми этими приготовлениями, наш идальго решился тотчас же осуществить свой замысел, ибо он полагал, что всякое промедление с его стороны может пагубно отозваться

на человеческом роде: сколько беззаконий предстоит ему устранить, сколько кривды выпрямить, несправедливостей загладить, злоупотреблений искоренить, скольких обездоленных удовлетворить! И вот, чуть свет, в один из июльских дней, обещавший быть весьма жарким, никому ни слова не сказав о своем намерении и оставшись незамеченным, облачился он во все свои доспехи, сел на Росинанта, кое-как приладил нескладный свой шлем, взял щит, прихватил копье и, безмерно счастливый и довольный тем, что никто не помешал ему приступить к исполнению благих его желаний, через ворота скотного двора выехал в поле. Но как скоро он очутился за воротами, в голову ему пришла страшная мысль, до того страшная, что он уже готов был отказаться от задуманного предприятия, и вот почему: он вспомнил, что еще не посвящен в рыцари и что, следственно, по законам рыцарства, ему нельзя и не должно вступать в бой ни с одним рыцарем. Эти размышления поколебали его решимость, однако ж безумие взяло верх над всеми доводами, и, по примеру многих рыцарей, о которых он читал в тех самых романах, что довели его до такого состояния, вознамерился он обратиться с просьбой о посвящении к первому встречному; и, порешив на том, продолжал свой путь — вернее, путь, который избрал его конь, ибо Дон Кихот полагал, что именно так и надлежит искать приключений.

Ехал путем-дорогой наш новоявленный рыцарь и сам с собой рассуждал:

— Когда-нибудь увидит свет правдивая повесть о моих славных деяниях, и тот ученый муж, который станет их описывать, дойдя до первого моего и столь раннего выезда, вне всякого сомнения, начнет свой рассказ так: «Златокудрый Феб* только еще распускал по лицу широкой и просторной земли светлые нити своих роскошных волос, а пестрые птички нежной и сладкой гармонией арфоподобных своих голосов только еще встречали румяную Аврору*, когда славный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, презрев негу пуховиков, вскочил на славного своего коня Росинанта и пустился в путь по древней и знаменитой Монтьельской равнине».

В самом деле, именно по этой равнине он и ехал.

— Блаженны времена и блажен тот век,— продолжал он,— когда увидят свет мои славные подвиги, достойные быть вычеканенными на меди, высеченными на мраморе и изображенными на полотне в назидание потомкам! Кто б ни был ты, о мудрый волшебник, коему суждено стать летописцем необычайных моих приключений, молю: не позабудь доброго Росинанта, вечного моего спутника, странствующего вместе со мною по всем дорогам!

Потом он заговорил так, как если бы точно был влюблен:

— О принцесса Дульсинея, владычица моего сердца, покоренного вами! Горько обидели вы меня тем, что, осыпав упреками, изгнали меня и в порыве гнева велели не показываться на глаза красоте вашей! Заклинаю вас, сеньора: сжальтесь над преданным вам сердцем, которое, любя вас, тягчайшие терпит муки!

На эти нелепости он нагромождал другие, точь-в-точь как в его любимых романах, стараясь при этом по мере возможности подражать их слогу, и оттого ехал так медленно, солнце же стояло теперь так высоко и столь нещадно палило, что если б в голове у Дон Кихота еще оставался мозг, то растопился бы неминуемо.

В сущности, за весь этот день с ним не произошло ничего, о чем следовало бы рассказать, и он уже приходил в отчаяние, ибо ему хотелось как можно скорее встретиться с кем-нибудь таким, на ком он мог бы проявить свою мощь. Одни авторы первым его приключением считают случай, происшедший в Ущелье Ла́писе, другие — случай с ветряными мельницами; то же, что удалось установить мне и чему я нашел подтверждение в летописях Ламанчи, сводится к следующему. Весь этот день Дон Кихот провел в пути, а к вечеру он и его кляча устали и сильно проголодались; тогда, оглядевшись по сторонам в надежде обнаружить какой-нибудь замок, то есть шалаш пастуха, где бы можно было подкрепиться и расправить усталые члены, заприметил он неподалеку от дороги постоялый двор. Он тронул поводья и подъехал туда, как раз когда стало смеркаться.

Случайно за ворота постоялого двора вышли две девицы легкого поведения; вместе с погонщиками мулов они держали путь в Севилью, но те порешили здесь заночевать; а так как нашему искателю приключений казалось, будто все, о чем он думал, все, что он видел или рисовал себе, создано и совершается по образу и подобию вычитанного им в книгах, то, увидев постоялый двор, он тут же вообразил, что перед ним замок с четырьмя башнями и блестящими серебряными шпилями, с неизменным подъемным мостом и глубоким рвом — словом, со всеми принадлежностями, с какими подобные замки принято изображать. В нескольких шагах от постоялого двора, или мнимого замка, он натянул поводья и остановился в ожидании, что вот сейчас меж зубцов покажется карлик и, возвещая о прибытии рыцаря, затрубит в трубу. Но карлик медлил, Росинанту же не терпелось пробраться в стойло; тогда Дон Кихот подъехал ближе и, увидев двух девиц, решил, что подле замка резвятся прелестные дамы. Нужно же было случиться так, чтобы в это самое время какой-то свинопас, сгоняя со жнивья стадо свиней, затрубил в рожок, по каковому знаку те имеют обыкновение сбегаться; и тут Дон

Кихот, вообразив, что чаемое им свершилось — а именно, что карлик возвестил о его прибытии,— не помня себя от радости, направился к дамам; но дамы, к ужасу своему заметив, что к ним приближается всадник, облаченный в столь диковинные доспехи, со щитом и копьем, бросились наутек; тогда Дон Кихот, догадавшись, что это он испугал их, поднял картонное забрало, скрывавшее худое и запыленное его лицо, и с самым приветливым видом спокойно проговорил:

— Не бегите от меня, сеньоры, и не бойтесь ничего, ибо рыцарям того ордена, к коему я принадлежу, не пристало и не подобает чинить обиды кому бы то ни было, а тем паче столь знатным, судя по вашему виду, девицам.

Девицы воззрились на незнакомца, пытаясь разглядеть его лицо, на которое опять сползло дрянное забрало, но, услышав, что он величает их знатными девицами, принялись хохотать, да так, что Дон Кихот почувствовал себя неловко.

— Красоте приличествует степенность,— сказал он,— беспричинный же смех есть признак весьма недалекого ума. Впрочем, все это я говорю не для того, чтобы оскорбить вас или же привести в дурное расположение духа, ибо я, со своей стороны, расположен лишь к тому, чтобы служить вам.

Свойственная нашему рыцарю манера выражаться, непривычная для слуха обеих дам, и неказистая его наружность все больше и больше смешили их. Дон Кихот же все пуще гневался, и неизвестно, чем бы это кончилось, если б в это самое время не подоспел хозяин постоялого двора, человек весьма тучный и оттого весьма добродушный; но даже и он, увидев перед собой нелепую фигуру и все эти разнородные предметы*, как-то: тяжеловесное копье и легкий кожаный щит, столь же легкий кожаный панцирь и тяжелую сбрую, чуть было не присоединился к развеселившимся девицам. Однако ж, устрашенный этою грудою доспехов, рассудил за благо быть с незнакомцем полюбезнее и обратился к нему с такими словами:

— Коли ваша милость, сеньор кавальеро, ищет ночлега, то вы не найдете здесь только кровати — кровати, правда, у меня нет ни одной,— зато все остальное имеется в изобилии.

Почтительный тон коменданта (надобно заметить, что хозяина наш рыцарь принял за коменданта, а постоялый двор — за крепость) умиротворил Дон Кихота.

— Я всем буду доволен, сеньор,— сказал Дон Кихот,— ибо *мой наряд — мои доспехи, в лютой битве — мой покой**, и так далее.

— Стало быть,— подхватил хозяин,— *ложе вашей милости — твердый камень, бденье до зари — ваш сон**. А коли так, то вы смело можете здесь остановиться: уверяю вас, что в этой лачуге

вы найдете сколько угодно поводов не то что одну ночь — весь год не смыкать глаз.

С этими словами хозяин ухватился за стремя, и Дон Кихот спешился, хотя это стоило ему немалых трудов и усилий, оттого что он целый день постился.

Затем он попросил хозяина не оставить своими заботами и попечениями его коня, ибо, по его словам, то было лучшее из травоядных. Хозяин, взглянув на Росинанта, не обнаружил и половины тех достоинств, какие видел в нем Дон Кихот, однако ж отвел коня в стойло и тотчас вернулся узнать, не нужно ли чего-нибудь гостю; с гостя же успевшие с ним помириться девы снимали доспехи, причем снять нагрудник и наплечье им удалось, а расстегнуть ожерельник и стащить безобразный шлем, к коему были пришиты зеленые ленты, они так и не сумели; по-настоящему следовало разрезать ленты, ибо развязать узлы девицам оказалось не под силу, но Дон Кихот ни за что на это не согласился и так потом до самого утра и проходил в шлеме, являя собою нечто в высшей степени странное и забавное; и пока девицы снимали с него доспехи, он, думая, что это знатные сеньоры, обитательницы замка, с великою приятностью читал им стихи:

Был неслыханно радушен*
Тот прием, который встретил
Дон Кихот у дам прекрасных,
Из своих земель приехав.
Фрейлины пеклись о нем,
О коне его — принцессы[1],

то есть о Росинанте, ибо так зовут моего коня, сеньоры, меня же зовут Дон Кихот Ламанчский, и хотя я должен был бы поведать вам свое имя не прежде, чем его поведают подвиги, которые я намерен совершить, дабы послужить вам и быть вам полезным, однако ж соблазн применить старинный романс о Ланцелоте к нынешним обстоятельствам вынудил меня поведать вам, кто я таков, раньше времени. Впрочем, настанет пора, когда ваши светлости будут мною повелевать, я же буду вам повиноваться, и доблестная моя длань поведает о моей готовности служить вам.

Девицы, не привыкшие к столь пышной риторике, хранили молчание; они лишь осведомились, не желает ли он покушать.

— Вкусить чего-либо я не прочь,— признался Дон Кихот,— и, сдается мне, это было бы весьма кстати.

На всем постоялом дворе не нашлось ничего, кроме небольшого запаса трески, которую в иных местах называют *форелькой*.

---

[1] Перевод стихов здесь и далее принадлежит Ю. Корнееву.

Хозяин спросил Дон Кихота, не угодно ли его милости, за неимением другой рыбы, отведать форелек.

— Побольше бы этих самых *форелек*, тогда они заменят одну форель,— рассудил Дон Кихот,— ибо не все ли равно: дадут мне восемь реалов* мелочью или же одну монету в восемь реалов? Притом очень может быть, что форелька настолько же нежнее форели, насколько телятина нежнее говядины, а молодой козленок нежнее козла. Как бы то ни было, несите их скорей; ведь если не удовлетворить настойчивой потребности желудка, то и бремени трудов, а равно и тяжелых доспехов на себе не потащишь.

Стол поставили у ворот, прямо на свежем воздухе, а затем хозяин принес Дон Кихоту порцию плохо вымоченной и еще хуже приготовленной трески и кусок хлеба, не менее черного и не менее заплесневелого, чем его доспехи. И как же тут было не рассмеяться, глядя на Дон Кихота, который, наотрез отказавшись снять шлем с поднятым забралом, не мог из-за этого поднести ко рту ни одного куска! Надлежало кому-нибудь другому ухаживать за ним и класть ему пищу в рот, и эту обязанность приняла на себя одна из дам. А уж напоить его не было никакой возможности, и так бы он и не напился, если б хозяин не провертел в тростинке дырочку и не вставил один конец ему в рот, а в другой не принялся лить вино; рыцарь же, чтобы не резать лент, покорно терпел все эти неудобства. В это время на постоялый двор случилось зайти коновалу. Войдя, он несколько раз дунул в свою свиристелку, после чего Дон Кихот совершенно уверился, что находится в некоем славном замке, что на пиру в его честь играет музыка, что треска — форель, что хлеб — из белоснежной муки, что девицы легкого поведения — знатные дамы, что хозяин постоялого двора — владелец замка, и первый его выезд, равно как и самая мысль пуститься в странствия показались ему на редкость удачными. Одно лишь смущало его — то, что он еще не посвящен в рыцари, а кто не принадлежал к какому-нибудь рыцарскому ордену, тот, по его мнению, не имел права искать приключений.

ГЛАВА III,

в коей рассказывается о том, каким забавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари

Преследуемый этою мыслью, Дон Кихот, быстро покончив со своим скудным трактирным ужином, подозвал хозяина, удалился с ним в конюшню, пал на колени и сказал:

— Доблестный рыцарь! Я не двинусь с места до тех пор, пока ваша любезность не соизволит исполнить мою просьбу. Исполнение же того, о чем я прошу, покроет вас неувядаемою славой, а также послужит на пользу всему человеческому роду.

Увидев, что гость опустился перед ним на колени, и услышав такие речи, хозяин оторопел: он не знал, что делать и что говорить, а затем стал убеждать его подняться с колен, но тот поднялся лишь после того, как хозяин дал слово исполнить его просьбу.

— Меньшего, государь мой, я и не ожидал от вашего несказанного великодушия,— заметил Дон Кихот.— Итак, да будет вам известно, что просьба, с которой я к вам обратился и которую ваше человеколюбие обещало исполнить, состоит в том, чтобы завтра утром вы посвятили меня в рыцари. Ночь я проведу в часовне вашего замка в бдении над оружием, а завтра, повторяю, сбудется то, чего я так жажду, и я обрету законное право объезжать все четыре страны света, искать приключений и защищать обиженных, тем самым исполняя долг всего рыцарства, а также долг рыцаря странствующего, каковым я являюсь и каковой обязан стремиться к совершению указанных мною подвигов.

Хозяин, будучи изрядной шельмой, отчасти догадывался, что гость не в своем уме, при этих же словах он совершенно в том уверился и, решившись потакать всем его прихотям, дабы весело провести ночь, сказал Дон Кихоту следующее: намерение-де его и просьба более чем разумны, и вполне естественно и законно, что у такого знатного, сколько можно судить по его наружности и горделивой осанке, рыцаря явилось подобное желание; да и он, хозяин, в молодости сам предавался этому почтенному занятию: в поисках приключений бродил по разным странам, развивал проворство ног и ловкость рук и проявлял необычайную шкодливость, так что слава его гремела по всем испанским судам и судилищам; в конце же концов удалился на покой в этот свой замок, где и живет на свой и на чужой счет, принимая у себя всех странствующих рыцарей, независимо от их звания и состояния, исключительно из особой любви к ним и с условием, чтобы в благодарность за его гостеприимство они делились с ним своим достоянием. К этому хозяин прибавил, что у него в замке нет часовни, где бы можно было бодрствовать над оружием, ибо старую он снес, дабы на ее месте выстроить новую, но что, сколько ему известно, в крайнем случае бодрствовать над оружием дозволяется где угодно, так что Дон Кихот может провести эту ночь на дворе, а завтра, бог даст, все приличествующие случаю церемонии будут совершены, и он станет настоящим рыцарем, да еще таким, какого свет не производил.

Затем он осведомился, есть ли у Дон Кихота деньги; тот

ответил, что у него нет ни гроша, ибо ни в одном рыцарском романе ему не приходилось читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей имел при себе деньги. На это хозяин сказал, что он ошибается; что хотя в романах о том и не пишется, ибо авторы не почитают за нужное упоминать о таких простых и необходимых вещах, как, например, деньги или чистые сорочки, однако ж из этого вовсе не следует, что у рыцарей ни того, ни другого не было; напротив, ему доподлинно и точно известно, что у всех этих странствующих рыцарей, о которых насочиняли столько романов, кошельки на всякий случай были туго набиты; брали они с собой и чистые сорочки, а также баночки с мазью, коей врачевали они свои раны; ведь не всегда же в полях и в пустынях, где они сражались и где им наносили раны, был у них под рукой лекарь, разве уж кто-нибудь из них водил дружбу с мудрым волшебником, который немедленно сажал на облако и направлял к нему по воздуху карлика с пузырьком воды столь целебного свойства, что стоило рыцарю выпить несколько капель — и всех его язв и ран как не бывало; при отсутствии же такого рода помощи прежние рыцари полагали благоразумным позаботиться о том, чтобы их оруженосцы были наделены деньгами и прочими необходимыми вещами, как-то: корпией и лечебными мазями; а у кого из рыцарей почему-либо оруженосца не было — случай редкий, можно сказать исключительный,— те сами возили все это в крошечных сумочках, которые они привязывали к лошадиному крупу и, словно некую драгоценность, старались как можно лучше спрятать. В заключение хозяин посоветовал Дон Кихоту — хотя, в сущности, он имел право приказывать ему, ибо тот в ближайшем будущем должен был стать его крестником,— впредь без денег и упомянутых снадобий в путь не пускаться: он сам, дескать, увидит, что в один прекрасный день они ему пригодятся.

Дон Кихот обещал в точности исполнить все, что ему советовал хозяин, а затем начал готовиться к ночи, которую ему надлежало провести на обширном скотном дворе в бдении над оружием; он собрал свои доспехи, разложил их на водопойном корыте, стоявшем возле колодца, и, взяв копье и щит, с крайне независимым видом стал ходить взад и вперед; и только он начал прогуливаться, как наступила ночь.

Хозяин рассказал своим постояльцам о сумасшествии Дон Кихота, о его намерении провести ночь в бдении над оружием и о предстоящей возне с посвящением его в рыцари. Присутствовавшие подивились такому странному виду умственного расстройства и пошли посмотреть на Дон Кихота издали, а Дон Кихот между тем то чинно прохаживался, то, опершись на копье, впивался глазами в свои доспехи и долго потом не отводил их.

Дело было глухою ночью, однако ясный месяц вполне заменял дневное светило, коему он обязан своим сиянием, так что все движения новоиспеченного рыцаря хорошо видны были зрителям. В это время одному из погонщиков, ночевавших на постоялом дворе, вздумалось напоить мулов, для чего надлежало снять с водопойного корыта доспехи нашего рыцаря; и, едва увидев погонщика, Дон Кихот тотчас же заговорил громким голосом:

— Кто б ни был ты, о дерзкий рыцарь, осмеливающийся прикасаться к оружию самого доблестного из всех странствующих рыцарей, какие когда-либо опоясывались мечом, помысли о том, что́ ты делаешь, и не прикасайся к нему, не то жизнью поплатишься ты за свою продерзость!

Погонщик и в ус себе не дул,— а между тем лучше было бы, если бы он дул: по крайней мере,его самого тогда бы не вздули,— он схватил доспехи и постарался зашвырнуть их как можно дальше. Тогда Дон Кихот возвел очи к небу и, по-видимому обращаясь мысленно к госпоже своей Дульсинее, сказал:

— Помогите мне, госпожа моя, отомстить за оскорбление, впервые нанесенное моему сердцу. Ныне предстоит мне первое испытание — не лишайте же меня защиты своей и покрова.

Продолжая взывать к своей даме, Дон Кихот отложил в сторону щит, обеими руками поднял копье и с такой силой опустил его на голову погонщика, что тот упал замертво, так что если б за этим ударом последовал второй, то ему уже незачем было бы обращаться к врачу. Засим Дон Кихот подобрал свои доспехи и как ни в чем не бывало снова стал прогуливаться. Малое время спустя другой погонщик, не подозревавший о том, какая участь постигла первого, ибо тот все еще лежал без чувств, вздумал напоить мулов, но как скоро приблизился он к водопойной колоде и, чтобы освободить место, стал снимать доспехи, Дон Кихот, ни слова не говоря и на сей раз ни у кого не испросив помощи, снова отложил в сторону щит, снова поднял копье и так хватил второго погонщика, что не копье разлетелось на куски, но череп погонщика раскололся даже не на три, а на четыре части. На шум сбежались обитатели постоялого двора, в том числе хозяин. Тогда Дон Кихот, одною рукой схватив щит, а другою придерживая меч, воскликнул:

— О царица красоты, сила и крепость изнемогшего моего сердца! Пора тебе обратить взоры величия своего на преданного тебе рыцаря, на которого столь грозная надвигается опасность!

Тут он ощутил в себе такую решимость, что если бы сюда со всего света набежали погонщики, все равно, казалось ему, не отступил бы он ни на шаг. Товарищи раненых погонщиков, найдя их в столь тяжелом состоянии, принялись издали осыпать Дон Кихота градом камней. Тот по мере возможности закрывал-

ся щитом, но, не желая оставлять на произвол судьбы свои доспехи, от колоды не отходил. Хозяин кричал на погонщиков и уговаривал их не трогать рыцаря: ведь он же, дескать, предупреждал их, что это сумасшедший, а с сумасшедшего, хоть бы он тут всех переколотил, взятки гладки. Но Дон Кихот кричал еще громче: погонщиков он обозвал изменниками и предателями, а владельца замка — за то, что тот допускает, чтобы со странствующими рыцарями так поступали,— малодушным и неучтивым кавальеро, да еще прибавил, что если бы он, Дон Кихот, был посвящен в рыцари, то владелец замка ответил бы ему за свое вероломство.

— А эту пакостную и гнусную чернь я презираю. Швыряйтесь камнями, подходите ближе, нападайте, делайте со мной все что хотите,— сейчас вы поплатитесь за свое безрассудство и наглость.

В голосе его слышалась столь грозная отвага, что на его недругов напал необоримый страх; и, отчасти из страха, отчасти же проникшись доводами хозяина, они перестали бросать в него камни, а он, позволив унести раненых, все так же величественно и невозмутимо принялся охранять доспехи.

Хозяину надоели выходки гостя, и чтобы положить им конец, вознамерился он сей же час, пока не стряслось горшей беды, совершить над ним этот треклятый обряд посвящения. Подойдя к нему, он принес извинения в том, что эта подлая челядь без его ведома так дерзко с ним обошлась, и обещал строго наказать наглецов. Затем еще раз повторил, что часовни в замке нет, но что теперь всякая необходимость в ней отпала: сколько ему известен церемониал рыцарства, обряд посвящения состоит в подзатыльнике и в ударе шпагой по спине — вот, мол, и вся хитрость,— а это и среди поля с успехом можно проделать; что касается бдения над оружием, то с этим уже покончено, потому что бодрствовать полагается всего только два часа, а Дон Кихот бодрствует уже более четырех. Дон Кихот всему этому поверил; он объявил, что готов повиноваться, только предлагает как можно скорее совершить обряд, а затем добавил, что когда его, Дон Кихота, посвятят в рыцари, то в случае, если на него снова нападут, он никого здесь не оставит в живых,— впрочем, за кого владелец замка попросит, тех он из уважения к нему пощадит.

Перепуганный владелец замка, не будь дурак, тотчас сбегал за книгой, где он записывал, сколько овса и соломы выдано погонщикам, и вместе со слугой, державшим в руке огарок свечи, и двумя помянутыми девицами подошел к Дон Кихоту, велел ему преклонить колена, сделал вид, что читает некую священную молитву, и тут же изо всех сил треснул его по затылку,

а затем, все еще бормоча себе под нос что-то вроде молитвы, славно огрел рыцаря по спине его же собственным мечом. После этого он велел одной из девиц препоясать этим мечом рыцаря, что та и исполнила, выказав при этом чрезвычайную ловкость и деликатность. В самом деле, немалое искусство требовалось для того, чтобы во время этой церемонии в любую минуту не лопнуть от смеха; впрочем, при одном воспоминании о недавних подвигах новонареченного рыцаря смех невольно замирал на устах у присутствовавших.

— Да поможет бог вашей милости стать удачливейшим из рыцарей и да ниспошлет он вам удачу во всех сражениях! — препоясывая его мечом, молвила почтенная сеньора.

Дон Кихот объявил, что он должен знать, кто оказал ему такое благодеяние, а потому просит ее назвать себя, ибо намерен разделить с нею почести, которые он надеется заслужить доблестною своею дланью. Она же весьма скромно ответила ему, что зовут ее Непоседа, что она дочь сапожника, уроженца Толедо, и что с этих пор, где бы она ни находилась, она всегда готова ему служить и почитать за своего господина. Дон Кихот попросил ее об одном одолжении, а именно: из любви к нему прибавить к своей фамилии *донья** и впредь именоваться *доньей* Непоседою. Она обещала. Тогда другая девица надела на него шпоры, и с нею он повел почти такую же речь, как и с той, что препоясала его мечом. Он спросил, как ее зовут, она же ответила, что ее зовут Ветрогона и что она дочь почтенного антекерского мельника. Дон Кихот, предложив ей свои услуги и свое покровительство, попросил и ее присовокупить к своей фамилии *донья* и впредь именоваться *доньей* Ветрогоною.

Дон Кихот не чаял, как дождаться минуты, когда можно будет снова сесть на коня и отправиться на поиски приключений, и, после того как были закончены все эти доселе невиданные церемонии, совершенные с такою быстротою и поспешностью, он тот же час оседлал Росинанта, сел верхом и, обняв хозяина, в столь мудреных выражениях изъявил ему свою благодарность за посвящение в рыцари, что передать их нам было бы не под силу. В ответ хозяин на радостях, что отделался от него, произнес не менее высокопарную, хотя и не столь пространную речь и, ничего не взяв за ночлег, отпустил его с миром.

ГЛАВА IV

О том, что случилось с рыцарем нашим, когда он выехал с постоялого двора

Уже занималась заря, когда Дон Кихот, ликующий, счастливый и гордый сознанием, что его посвятили в рыцари, от радости подскакивая в седле, выехал с постоялого двора. Но как скоро пришли ему на память наставления хозяина, порешил он возвратиться домой, чтобы запастить всем необходимым, главное — деньгами и сорочками; в оруженосцы же себе прочил он одного хлебопашца, своего односельчанина, бедного, многодетного, однако ж для исполнения таковых обязанностей как нельзя более подходившего. С этою целью он поворотил Росинанта в сторону своей деревни, и Росинант, словно почуяв родное стойло, обнаружил такую резвость, что казалось, будто копыта его не касаются земли.

Только успел Дон Кихот немного отъехать, как вдруг справа, из чащи леса, до него донеслись тихие жалобы, точно кто-то стонал, и, едва заслышав их, он тотчас воскликнул:

— Хвала небесам за ту милость, какую они мне явили,— за то, что так скоро предоставили они мне возможность исполнить мой рыцарский долг и пожать плоды моих благих желаний! Не подлежит сомнению, что это стонет какой-нибудь беззащитный или же беззащитная, нуждающиеся в помощи моей и защите.

С этими словами он дернул поводья и устремился туда, откуда долетали стоны. Проехав несколько шагов по лесу, увидел он лошадь, привязанную к дубу, а рядом, к другому дубу, привязан был голый до пояса мальчуган лет пятнадцати, и вот этот-то мальчуган и стонал, и стонал не зря, ибо некий дюжий сельчанин нещадно стегал его ремнем, сопровождая каждый удар попреками и нравоучениями.

— Смотри в оба, а язык держи за зубами! — приговаривал он.

А мальчуган причитал:

— Больше не буду, хозяин, Христом-богом клянусь, не буду, обещаю вам глаз не спускать со стада!

Увидев, что́ здесь происходит, Дон Кихот грозно воскликнул:

— Неучтивый рыцарь! Как вам не стыдно нападать на того, кто не в силах себя защитить! Садитесь на коня, возьмите копье (надобно заметить, что у сельчанина тоже было копье: он прислонил его к тому дубу, к коему была привязана лошадь), и я вам докажу всю низость вашего поступка.

Сельчанин, обнаружив у себя над головой увешанную доспе-

хами фигуру, перед самым его носом размахивавшую копьем, подумал, что пришла его смерть.

— Сеньор кавальеро! — вкрадчивым голосом заговорил он.— Я наказываю мальчишку, моего слугу, который пасет здесь отару моих овец: из-за этого ротозея я каждый день недосчитываюсь овцы. И наказываю я его за разгильдяйство, вернее — за плутовство, а он говорит, что я из скупости возвожу на него напраслину, чтобы не платить ему жалованья, но я клянусь богом и спасением души, что он врет.

— Мерзкий грубиян! — воскликнул Дон Кихот.— Клянусь солнцем, всех нас освещающим, что я сию минуту вот этим самым копьем проткну вас насквозь! Без всяких разговоров уплатите ему, не то, да будет мне свидетелем всевышний, я с вами разделаюсь и уложу на месте! Ну, отвязывайте его, живо!

Сельчанин, понурив голову, молча отвязал своего слугу; тогда Дон Кихот спросил мальчика, сколько ему должен хозяин. Мальчик ответил, что всего за девять месяцев, считая по семи реалов за месяц. Дон Кихот высчитал, что в сумме это составляет шестьдесят три реала, и сказал сельчанину, чтоб он немедленно раскошеливался, если только ему дорога жизнь. На это испуганный сельчанин возразил, что долг его вовсе не так велик, ибо надлежит принять в расчет и сбросить со счетов стоимость трех пар обуви, которые износил пастух, да еще один реал за два кровопускания, которые были ему сделаны, когда он занемог.

— Это все так,— возразил Дон Кихот,— однако вы ни за что ни про что отхлестали его ремнем, пусть же это пойдет в уплату за обувь и за кровопускание: ведь если он порвал кожу на башмаках, которые вы ему купили, то вы, в свою очередь, порвали ему собственную его кожу. И если цирюльник пускал ему кровь, когда он был болен, то вы пускаете ему кровь, когда он находится в добром здравии. Таким образом, тут вы с ним в расчете.

— Беда в том, сеньор кавальеро, что я не взял с собой денег, придется Андресу пойти со мной, и дома я уплачу ему все до последнего реала.

— Чтобы я с ним пошел? — воскликнул мальчуган.— Час от часу не легче! Нет, сеньор, ни за что на свете! Если я останусь с ним наедине, то он сдерет с меня кожу вроде как со святого Варфоломея или с кого-то там еще.

— Он этого не сделает,— возразил Дон Кихот, — я ему прикажу, и он не посмеет меня ослушаться. Пусть только он поклянется тем рыцарским орденом, к которому он принадлежит, и я отпущу его на все четыре стороны и поручусь, что он тебе заплатит.

— Помилуйте, сеньор, что вы говорите! — воскликнул мальчуган.— Мой хозяин вовсе не рыцарь и ни к какому рыцарскому ордену не принадлежит,— это Хуан Альдудо, богатый крестьянин из деревни Кинтанар.

— Это ничего не значит,— возразил Дон Кихот,— и Альдудо могут быть рыцарями. Тем более, что каждого человека должно судить по его делам.

— Это верно,— согласился Андрес,— но в таком случае как же прикажете судить моего хозяина, коли он отказывается платить мне жалованье, которое я заработал в поте лица?

— Брат мой Андрес, да разве я отказываюсь? — снова заговорил сельчанин.— Сделай милость, пойдем со мной! Клянусь всеми рыцарскими орденами, сколько их ни развелось на свете, что уплачу тебе, как я уже сказал, все до последнего реала, с радостью уплачу!

— Можно и без радости,— сказал Дон Кихот,— уплатите лишь ту сумму, которую вы ему задолжали: это все, что от вас требуется. Но бойтесь нарушить клятву, иначе, клянусь тою же самою клятвою, я разыщу вас и накажу: будь вы проворнее ящерицы, я все равно вас найду, куда бы вы ни спрятались. Если же вы хотите знать, от кого получили вы этот приказ, дабы тем ревностнее приняться за его исполнение, то знайте, что я — доблестный Дон Кихот Ламанчский, заступник обиженных и утесненных. Засим оставайтесь с богом и под страхом грозящей вам страшной кары не забывайте обещанного и скрепленного клятвою.

С этими словами он пришпорил Росинанта и стал быстро удаляться. Сельчанин посмотрел ему вслед и, удостоверившись, что он миновал рощу и скрылся из виду, повернулся к слуге своему Андресу и сказал:

— Поди-ка сюда, сынок! Сейчас я исполню повеление этого заступника обиженных и уплачу тебе долг.

— Я в этом нимало не сомневаюсь, ваша милость,— заметил Андрес.— В ваших же интересах исполнить повеление доброго рыцаря, дай бог ему прожить тысячу лет: он такой храбрый и такой справедливый, что, если вы мне не уплатите, клянусь святым Роке, он непременно вернется и приведет угрозу свою в исполнение.

— Я тоже в этом не сомневаюсь,— сказал сельчанин,— но я так люблю тебя, желанный мой, что желаю еще больше тебе задолжать, чтобы затем побольше заплатить.

Тут он схватил мальчугана за руку и, снова привязав его к дубу, всыпал ему столько горячих, что тот остался чуть жив.

— Теперь зовите заступника обиженных, сеньор Андрес, посмотрим, как он за вас заступится,— сказал сельчанин.— По-

лагаю, впрочем, что я вас еще недостаточно обидел — у меня чешутся руки спустить с вас шкуру, чего вы как раз и опасались.

Однако ж в конце концов он отвязал его и позволил отправиться на поиски своего защитника. Пастушонок с кислою миною удалился, поклявшись сыскать доблестного Дон Кихота Ламанчского и во всех подробностях рассказать ему о том, что произошло, дабы он принудил хозяина заплатить сторицей. Как бы то ни было, Андрес ушел в слезах, а хозяин посмеивался. Тем временем доблестный Дон Кихот, заступившись таким образом за обиженного, в восторге от этого происшествия, которое показалось ему великолепным и счастливым началом рыцарских его подвигов, и весьма довольный собою, ехал к себе в село и вполголоса говорил:

— По праву можешь ты именоваться счастливейшею из всех женщин, ныне живущих на земле, о из красавиц красавица Дульсинея Тобосская! Судьбе угодно было превратить в послушного исполнителя всех прихотей твоих и желаний столь отважного и столь славного рыцаря, каков есть и каким будет всегда Дон Кихот Ламанчский; всем известно, что только вчера вступил он в рыцарский орден, а сегодня уже искоренил величайшее зло и величайшее беззаконие, какие когда-либо вкупе с жестокостью творила неправда,— ныне он вырвал бич из рук этого изверга, что истязал ни в чем не повинного слабого отрока.

Тут он приблизился к тому месту, где скрещивались четыре дороги, и воображению его тотчас представились странствующие рыцари, имевшие обыкновение останавливаться на распутье и размышлять о том, по какой дороге ехать; и в подражание им он тоже постоял, постоял, а затем, пораскинув умом, опустил поводья и всецело положился на Росинанта, Росинант же не изменил первоначальному своему намерению, то есть избрал путь, который вел прямо в его конюшню. Дон Кихот проехал уже около двух миль, когда глазам его открылось великое скопление народа. Как выяснилось впоследствии, то были толедские купцы, направлявшиеся за шелком в Мурсию*. Их было шестеро, и ехали они под зонтиками, в сопровождении семи слуг, из коих четверо сидели верхами, а трое шли пешком и погоняли мулов. Завидев их, Дон Кихот тут же вообразил, что его ожидает новое приключение; между тем он задался целью по возможности действовать так, как действуют в романах, потому-то и почел он уместным одно из подобных деяний совершить теперь же. Того ради он вытянулся на стременах, сжал в руке копье, заградился щитом и в ожидании странствующих рыцарей, за каковых он принимал и почитал толедских купцов, с крайне независимым и гордым видом остановился на самой дороге; когда же те подъеха-

ли к нему так близко, что могли видеть и слышать его, Дон Кихот принял воинственную позу и возвысил голос:

— Все, сколько вас ни есть,— ни с места, до тех пор, пока все, сколько вас ни есть, не признают, что, сколько бы ни было красавиц на свете, прекраснее всех ламанчская императрица Дульсинея Тобосская!

При этих речах и при виде произносившего их человека столь странной наружности купцы остановились; и хотя по его речам и наружности они тотчас догадались, что он сумасшедший, однако ж им захотелось выведать у него исподволь, зачем понадобилось ему признание, которого он от них добивался, и тут один из купцов, склонный к зубоскальству и очень даже себе на уме, молвил:

— Сеньор кавальеро! Мы не знаем, кто эта почтенная особа, о которой вы толкуете. Покажите нам ее, и если она в самом деле так прекрасна, как вы утверждаете, то мы охотно и добровольно исполним ваше повеление и засвидетельствуем эту истину.

— Если я вам ее покажу,— возразил Дон Кихот,— то что вам будет стоить засвидетельствовать непреложную истину? Все дело в том, чтобы, не видя, уверовать, засвидетельствовать, подтвердить, присягнуть и стать на защиту, а не то я вызову вас на бой, дерзкий и надменный сброд! Выходите по одному, как того требует рыцарский устав, или же, как это водится у подобного сорта людишек, верные дурной своей привычке, нападайте все вдруг. С полным сознанием своей правоты я встречу вас грудью и дам надлежащий отпор.

— Сеньор кавальеро,— снова заговорил купец.— От имени всех присутствующих здесь вельмож я обращаюсь к вам с покорной просьбой: чтобы нам не отягощать свою совесть свидетельством в пользу особы, которую мы сроду не видели и о которой ровно ничего не слыхали, будьте так любезны, ваша милость, покажите нам какой ни на есть портрет этой особы, хотя бы величиною с пшеничное зерно: ведь по щетинке узнается свинка, тогда мы совершенно уверимся, почтем себя вполне удовлетворенными и, в свою очередь, не останемся у вас в долгу и ублаготворим вашу милость. Признаюсь, мы и без того уже очарованы ею, и если б даже при взгляде на портрет нам стало ясно, что упомянутая особа на один глаз крива, а из другого у нее сочатся киноварь и сера, все равно в угоду вашей милости мы признáем за ней какие угодно достоинства.

— Подлая тварь! — пылая гневом, вскричал Дон Кихот.— Это небесное создание источает лишь амбру и мускус. И вовсе она не крива и не горбата, а стройна, как ледяная игла Гуадаррамы*. Вы же мне сейчас заплатите за величайшее кощунст-

во, ибо вы опорочили божественную красоту моей повелительницы.

С этими словами он взял копье наперевес и с такой яростью и ожесточением ринулся на своего собеседника, что если бы, на счастье дерзкого купца, Росинант по дороге не споткнулся и не упал, то ему бы не поздоровилось. Итак, Росинант упал, а его хозяин отлетел далеко в сторону; хотел встать и не мог: копье, щит, шпоры, шлем и тяжеловесные старинные доспехи связали его по рукам и ногам. Между тем, тщетно пытаясь подняться, он все еще кричал:

— Стойте, жалкие трусы! Презренные холопы, погодите! Ведь я не по своей вине упал, а по вине моего коня.

Тут один из погонщиков, особым смирением, как видно, не отличавшийся, заметив, что потерпевший крушение продолжает их поносить, не выдержал и вместо ответа вознамерился пересчитать ему ребра. Он подскочил к нему, выхватил у него из рук копье, разломал на куски и одним из этих кусков, невзирая на доспехи, измолотил его так, точно это был сноп пшеницы. Хозяева унимали погонщика, но погонщик хватал один кусок копья за другим и обламывал их об несчастного рыцаря, растянувшегося на земле,— рыцарь же, между тем как на него все еще сыпался град ударов, не умолкал ни на секунду, грозя отомстить небу, земле и купцам, коих он принимал теперь за душегубов.

Наконец погонщик устал, и купцы, на все время путешествия запасшись пищею для разговоров, каковою должен был им служить бедный избитый рыцарь, поехали дальше. А рыцарь, оставшись один, снова попробовал встать; но если уж он не мог подняться, будучи целым и невредимым, то мог ли он это сделать теперь, когда его измолотили до полусмерти? И все же ему казалось, что он счастлив,— он полагал, что это обычное злоключение странствующего рыцаря, в коем к тому же повинен был его конь. Вот только он никакими силами не мог встать — уж очень болели у него все кости.

ГЛАВА V,

в коей продолжается рассказ о злоключении нашего рыцаря

Убедившись же, что он и в самом деле не может пошевелиться, рыцарь наш решился прибегнуть к обычному своему средству, а именно: припомнить какое-нибудь из тех происшествий, что описываются в романах, и тут расстроенному его воображению представилось то, что произошло между Балдуином и маркизом

Мантуанским* после того, как Карлотто ранил Балдуина в горах,— представилась вся эта история, хорошо известная детям, памятная юношам, пользующаяся успехом у старцев, которые также склонны принимать ее на веру, и, однако ж, не более правдивая, чем россказни о чудесах Магомета*. Между этой самой историей и тем, что произошло с ним самим, Дон Кихот нашел нечто общее; и вот в сильном волнении стал он кататься по земле и чуть слышно произносить слова, будто бы некогда произнесенные раненым Рыцарем Леса:

Где же ты, моя сеньора?
Что не делишь скорбь со мной!
Или ты о ней не знаешь,
Или я тебе чужой?

И так, читая на память этот романс, дошел он наконец до стихов:

О властитель Мантуанский,
Государь и дядя мой!

В то время как Дон Кихот читал эти стихи, по той же самой дороге случилось ехать его односельчанину, возвращавшемуся с мельницы, куда он возил зерно; и как скоро увидел он, что на земле лежит человек, то приблизился к нему и спросил, кто он таков, что у него болит и отчего он так жалобно стонет. Дон Кихот, разумеется, вообразил, что это и есть маркиз Мантуанский, его дядя, и потому вместо ответа снова повел рассказ о своем несчастье, точь-в-точь как о том поется в романсе.

Земледелец с удивлением выслушал эти бредни, затем снял с Дон Кихота забрало, сломавшееся от ударов, и отер с его лица пыль; отерев же, тотчас узнал его и сказал:

— Сеньор Кихана! (Так звали Дон Кихота, пока он еще не лишился рассудка и из степенного идальго не превратился в странствующего рыцаря.) Кто же это вас так избил?

Но Дон Кихот на все вопросы отвечал стихами из того же самого романса. Тогда добрый земледелец, чтобы удостовериться, не ранен ли он, с великим бережением снял с него нагрудник и наплечье, однако ж ни крови, ни каких-либо ссадин не обнаружил. Он поднял его и, полагая, что осел более смирное животное, не без труда посадил на своего осла. Затем подобрал оружие, даже обломки копья, все это привязал к седлу Росинанта, взял и его и осла под уздцы и, погруженный в глубокое раздумье, пропуская мимо ушей то, что городил Дон Кихот, за-

шагал по направлению к своему селу. Дон Кихот тоже впал в задумчивость. Избитый до полусмерти, он едва мог держаться в седле и по временам испускал достигавшие неба вздохи, так что земледелец в конце концов снова принужден был спросить, что у него болит, но Дон Кихоту точно сам дьявол нашептывал разные сказки, применимые к его собственным похождениям, ибо в эту минуту он, уже забыв о Балдуине, вспомнил о том, как антекерский алькайд Родриго де Нарваэс взял в плен мавра Абиндарраэса* и привел его в свой замок. И когда земледелец снова задал ему вопрос, как он поживает и как себя чувствует, он обратился к нему с теми же словами, с какими в прочитанной им некогда книге Хорхе де Монтемайора *Диана*, где описывается эта история, пленный Абенсерраг обращается к Родриго де Нарваэсу. И так искусно сумел он применить историю с мавром к себе, что, слушая эту галиматью, земледелец не один раз помянул черта; именно эта галиматья и навела земледельца на мысль, что односельчанин его спятил, и, чтобы поскорей отвязаться от Дон Кихота, докучавшего ему своим многословием, решился он прибавить шагу. Дон Кихот же объявил в заключение:

— Да будет известно вашей милости, сеньор дон Родриго де Нарваэс, что прекрасная Харифа, о которой я вам сейчас рассказывал,— это и есть очаровательная Дульсинея Тобосская, ради которой я совершал, совершаю и совершу такие подвиги, каких еще не видел, не видит и так никогда и не увидит свет.

Земледелец ему на это сказал:

— Горе мне с вами, ваша милость! Да поймите же, сеньор, что никакой я не дон Родриго де Нарваэс и не маркиз Мантуанский, а всего-навсего Педро Алонсо, ваш односельчанин. Так же точно и ваша милость: никакой вы не Балдуин и не Абиндарраэс, а почтенный идальго, сеньор Кихана.

— Я сам знаю, кто я таков,— возразил Дон Кихот,— и еще я знаю, что имею право называться не только теми, о ком я вам рассказывал, но и всеми Двенадцатью Пэрами Франции*, а также всеми Девятью Мужами Славы*, ибо подвиги, которые они совершили и вместе и порознь, не идут ни в какое сравнение с моими.

Продолжая такой разговор, под вечер достигли они своего села; однако ж избитый идальго еле держался в седле, так что земледелец, чтобы никто не увидел его, рассудил за благо дождаться темноты. А когда уже совсем стемнело, он направился прямо к дому Дон Кихота, где в это время царило великое смятение и откуда доносился громкий голос ключницы, разговаривавшей с двумя ближайшими друзьями нашего рыцаря, священником и цирюльником.

— Что вы скажете, сеньор лиценциат* Перо Перес (так звали священника), о злоключении моего господина? Вот уж три дня, как исчезли и он, и лошадь, и щит, и копье, и доспехи. Что я за несчастная! Одно могу сказать, и это так же верно, как то, что все мы сначала рождаемся, а потом умираем: начитался он этих проклятых рыцарских книжек, вот они и свели его с ума. Теперь-то я припоминаю, что, рассуждая сам с собой, он не раз изъявлял желание сделаться странствующим рыцарем и ради приключений начать скитаться по всему белому свету. Пускай сатана и Варавва* унесут эти книги, коли из-за них помрачился светлый его ум,— ведь другого такого не сыщешь во всей Ламанче.

Племянница к ней присоединилась.

— Знаете, сеньор маэсе Николас,— заговорила она, обращаясь к цирюльнику,— дядюшке моему не раз случалось двое суток подряд читать скверные эти *романы злоключений*. Потом, бывало, бросит книгу, схватит меч и давай тыкать в стены, пока совсем не выбьется из сил. Я, скажет, убил четырех великанов, а каждый из них — ростом с башню. Пот с него градом, а он говорит, что это кровь течет: его, видите ли, ранили в бою. Ну, а потом выпьет целый ковш холодной воды, отдохнет, успокоится: это, дескать, драгоценный напиток, который ему принес мудрый — как бишь его? — не то Алкиф*, не то Пафпиф, великий чародей и его верный друг. Нет, это я во всем виновата: если б я заранее уведомила вас, что у дядюшки не все дома, то ваши милости не дали бы ему дойти до такой крайности, вы сожгли бы все эти богомерзкие книги, ведь у него пропасть таких, которые давно пора, все равно как писания еретиков, бросить в костер.

— Я тоже так думаю,— заметил священник,— и даю вам слово, что завтра же мы устроим аутодафе* и предадим их огню, дабы впредь не подбивали они читателей на такие дела, какие, по-видимому, творит сейчас добрый мой друг.

Земледелец и Дон Кихот слышали весь этот разговор, и тут земледелец, вполне уразумев, какого рода недуг овладел его односельчанином, стал громко кричать:

— Ваши милости! Откройте дверь сеньору Балдуину, тяжело раненному маркизу Мантуанскому и сеньору мавру Абиндарраэсу, которого ведет в плен антекерский алькайд, доблестный Родриго де Нарваэс!

На крик выбежали все, и как скоро мужчины узнали своего друга, а женщины — дядю своего и господина, который все еще сидел на осле, ибо не мог слезть, то бросились обнимать его. Он же сказал им:

— Погодите! Я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите

меня на постель и, если можно, позовите мудрую Ургапду*, чтобы она осмотрела и залечила мои раны.

— Вот беда-то! — воскликнула ключница.— Чуяло мое сердце, на какую ногу захромал мой хозяин! Слезайте с богом, ваша милость, мы и без этой *Поганды* сумеем вас вылечить. До чего же довели вас эти рыцарские книжки, будь они трижды прокляты!

Дон Кихота отнесли на постель, осмотрели его, однако ран на нем не обнаружили. Он же сказал, что просто ушибся, ибо, сражаясь с десятью исполинами, такими страшными и дерзкими, каких еще не видывал свет, он вместе со своим конем Росинантом грянулся оземь.

— Те-те-те! — воскликнул священник.— Дело уже и до исполинов дошло? Накажи меня бог, если завтра же, еще до захода солнца, все они не будут сожжены.

Дон Кихота забросали вопросами, но он, не пожелав отвечать, попросил лишь, чтобы ему дали поесть и поспать, в чем он теперь, мол, особенно нуждается. Желание его было исполнено, а затем священник начал подробно расспрашивать земледельца о том, как ему удалось найти Дон Кихота. Когда же земледелец рассказал ему все, не утаив и той чуши, какую молол наш рыцарь, валяясь на земле и по дороге домой, лиценциат загорелся желанием как можно скорее осуществить то, что он действительно на другой день и осуществил, а именно: зашел за своим приятелем, цирюльником маэсе Николасом, и вместе с ним отправился к Дон Кихоту.

Тот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключ от комнаты, где находились эти зловредные книги, и она с превеликою готовностью исполнила его просьбу; когда же все вошли туда, в том числе и ключница, то обнаружили более ста больших книг в весьма добротных переплетах, а также другие книги, менее внушительных размеров, и ключница, окинув их взглядом, опрометью выбежала из комнаты, но тотчас вернулась с чашкой святой воды и с кропилом.

— Пожалуйста, ваша милость, сеньор лиценциат, окропите комнату,— сказала она,— а то еще кто-нибудь из волшебников, которые прячутся в этих книгах, заколдуют нас в отместку за то, что мы собираемся сжить их всех со свету.

Посмеялся лиценциат простодушию ключницы и предложил цирюльнику такой порядок: цирюльник будет передавать ему эти книги по одной, а он-де займется их осмотром — может статься, некоторые из них и не повинны смерти.

— Нет,— возразила племянница,— ни одна из них не заслуживает прощения, все они причинили нам зло. Их надобно выбросить в окно, сложить в кучу и поджечь. А еще лучше отнести

на скотный двор и там сложить из них костер, тогда и дым не будет нас беспокоить.

Ключница к ней присоединилась — обе они страстно желали погибели этих невинных страдальцев. Однако ж священник настоял на том, чтобы сперва читать хотя бы заглавия. И первое, что вручил ему маэсе Николас,— это *Амадиса Галльского в четырех частях.*

— В этом есть нечто знаменательное,— сказал священник.— Сколько мне известно, перед нами — первый рыцарский роман, вышедший из печати в Испании, и от него берут начало и ведут свое происхождение все остальные, а потому, мне кажется, как основоположника сей богопротивной ереси, должны мы без всякого сожаления предать его огню.

— Нет, сеньор,— возразил цирюльник,— я слышал другое: говорят, что это лучшая из книг, кем-либо в этом роде сочиненных, а потому, в виде особого исключения, должно его помиловать.

— Ваша правда,— согласился священник,— примем это в соображение и временно даруем ему жизнь. Посмотрим теперь, что там стоит рядом с ним.

— *Подвиги Эспландиана**, законного сына Амадиса Галльского,— возгласил цирюльник.

— Справедливость требует заметить, что заслуги отца на сына не распространяются,— сказал священник.— Нате, сеньора домоправительница, откройте окно и выбросьте его — пусть он положит начало груде книг, из которых мы устроим костер.

Ключница с особым удовольствием привела это в исполнение: добрый Эспландиан полетел во двор и там весьма терпеливо стал дожидаться грозившей ему казни.

— Дальше,— сказал священник.

— За ним идет *Амадис Греческий*,— сказал цирюльник.— Да, по-моему, в этом ряду одни лишь Амадисовы родичи и стоят.

— Вот мы их всех сейчас и выбросим во двор,— сказал священник.

— И я того же мнения,— сказал цирюльник.

— И я,— сказала племянница.

— А коли так,— сказала ключница,— давайте их сюда, я их прямо во двор.

Ей дали изрядное количество книг, и она, щадя, как видно, лестницу, побросала их в окно.

— А это еще что за толстяк? — спросил священник.

— *Дон Оливант Лаврский**,— отвечал цирюльник.

— Книга дерзкая и нелепая, а потому — во двор ее,— рассудил священник.— А это что за книга?

— *Галатея* Мигеля де Сервантеса* отвечал цирюльник.

— С этим самым Сервантесом я с давних пор в большой дружбе,— отвечал священник,— и мне хорошо известно, что в стихах он одержал меньше побед, нежели на его голову сыплется бед. Кое-что в его книге придумано удачно, но все его замыслы так и остались незавершенными. Подождем обещанной второй части: может статься, он исправится и заслужит наконец снисхождение, в коем мы отказываем ему ныне. А до тех пор держите его у себя в заточении.

— С удовольствием, любезный друг,— сказал цирюльник.

ГЛАВА VI

О втором выезде доброго нашего рыцаря Дон Кихота Ламанчского

В это самое время послышался голос Дон Кихота.

— Сюда, сюда, отважные рыцари! — кричал он.— Пора вам выказать силу доблестных ваших дланей, не то придворные рыцари возьмут верх на турнире!

Пришлось прекратить осмотр книгохранилища и бежать на шум и грохот.

Войдя к Дон Кихоту в комнату, друзья и домашние его обнаружили, что он уже встал с постели; казалось, он и не думал спать — так он был оживлен: по-прежнему шумел, безумствовал, тыкал во все стороны мечом. Его схватили и насильно уложили в постель. Тут он несколько успокоился и, обратившись к священнику, молвил:

— Какой позор,— не правда ли, сеньор архиепископ Турпин*,— что так называемые Двенадцать Пэров ни с того ни с сего уступили пальму первенства на турнире придворным рыцарям, тогда как мы, странствующие рыцари, три дня подряд пожинали плоды победы!

— Полно, ваша милость, полно, любезный друг,— заговорил священник.— Бог даст, все обойдется,— что упущено сегодня, то всегда можно наверстать завтра, а теперь, ваша милость, подумайте о своем здоровье: сдается мне, вы очень устали, а может быть, даже и ранены.

— Ранен-то я не ранен,— возразил Дон Кихот,— а что меня избили и отколотили, в этом нет сомнения: на меня бросился с дубиной Роланд — и всё из зависти, ибо единственно, кто не уступит ему в храбрости, так это я. Но не будь я Ринальд Монтальванский*, если, встав с этого ложа, я ему не отомщу, несмотря на все его чары. А пока что принесите мне поесть

сейчас я ни в чем так не нуждаюсь, как в пище, а уж постоять за себя я и сам сумею.

Желание Дон Кихота было исполнено: ему принесли поесть, а затем он снова заснул, прочие же еще раз подивились его сумасбродству.

В ту же ночь стараниями ключницы были сожжены дотла все книги: и те, что валялись на дворе, и те, что еще оставались в комнате; по всей вероятности, вместе с ними сгорели и такие, которые нужно было сдать на вечное хранение в архив, но этому помешали судьба и нерадение учинявшего осмотр,— недаром говорит пословица, что из-за грешников частенько страдают и праведники.

Священник с цирюльником решили, что первое средство от недуга, который овладел их приятелем,— это заложить и замуровать вход в книгохранилище, чтобы, встав с постели, он не нашел его (если, мол, устранить причину, то следствия, может статься, отпадут сами собой), а затем объявить ему, что некий волшебник вместе со всеми книгами похитил и комнату. И все это было осуществлено с великим проворством. Два дня спустя Дон Кихот встал с постели и прежде всего пошел взглянуть на свои книги, но, не обнаружив помещения, в котором они находились, стал бродить и шарить по всем комнатам. Несколько раз подходил к тому месту, где раньше была дверь, ощупывал стену, молча обводил глазами комнату. Наконец, после долгих поисков, он спросил ключницу, где находится его книгохранилище. Ключницу же научили, как должно отвечать.

— О каком таком книгохранилище вы говорите, ваша милость? — в свою очередь, спросила она.— Нет у нас теперь ни книг, ни хранилища, все унес дьявол.

— Вовсе не дьявол, а волшебник,— возразила племянница.— После того как вы от нас уехали, ваша милость, на следующую же ночь он прилетел сюда на облаке, спрыгнул с дракона, на котором сидел верхом, и проник в книгохранилище. Не знаю, что он там делал, только немного погодя, гляжу, вылетает через крышу, а в комнатах полно дыму. Пошли мы посмотреть, что он натворил, а уж ни книг, ни комнаты нет и в помине. Одно только мы обе отлично помним: улетая, этот злой старик громко крикнул, что по злобе, которую он тайно питает к владельцу книг и помещения, он нанес его дому урон и что урон этот впоследствии обнаружится. Еще он сказал, что зовут его мудрый Муньятон.

— Не Муньятон, а Фрестон*,— поправил ее Дон Кихот.

— Не то Фрестон, не то Фритон,— вмешалась ключница,— помню только, что имя его оканчивается на *тон*.

— Так, так,— подхватил Дон Кихот,— это один мудрый вол-

шебник, злейший мой враг: он меня ненавидит, ибо колдовские чары и тайнопись открыли ему, что по прошествии некоторого времени мне предстоит единоборство с рыцарем, коему он покровительствует, и что, несмотря на все его козни, я одержу над этим рыцарем победу, оттого-то он всеми силами и старается мне досадить. Но да будет ему известно, что ни нарушить, ни обойти предустановленного небесами он не властен.

— Какие же тут могут быть сомнения! — воскликнула племянница.— Но только вот что, дядюшка: кто велит вашей милости лезть в драку? Не лучше ли спокойно сидеть дома, нежели мыкаться по свету и ловить в небе журавля, забывая о том, что коли идешь за шерстью — гляди, как бы самого не обстригли?

— Ах, племянница! — воскликнул Дон Кихот.— Как мало ты во всем этом смыслишь! Прежде нежели меня обстригут, я сам выщиплю и вырву бороду всякому, кто посмеет дотронуться до кончика моего волоса.

Обе женщины, видя, что он гневается, решились более ему не перечить.

Как бы то ни было, целых две недели сидел он спокойно дома, ничем не обнаруживая желания снова начать колобродить, и в течение этих двух недель у него не раз происходили в высшей степени забавные собеседования с двумя его приятелями, священником и цирюльником. Он уверял их, что в настоящее время мир ни в ком так не нуждается, как в странствующих рыцарях, и что странствующему рыцарству суждено воскреснуть в его лице. Священник, полагая, что его можно вразумить не иначе, как пустившись на хитрости, в иных случаях спорил с ним, в иных — соглашался.

Одновременно Дон Кихот вступил в переговоры с одним своим односельчанином. Это был человек добропорядочный (если только подобное определение применимо к людям, которые не могут похвастаться изрядным количеством всякого добра), однако ж мозги у него были сильно набекрень. Дон Кихот такого ему наговорил, такого наобещал и так сумел его убедить, что в конце концов бедный хлебопашец дал слово отправиться вместе с ним в качестве его оруженосца. Между прочим, Дон Кихот советовал ему особенно не мешкать, ибо вполне, дескать, может случиться, что он, Дон Кихот, в мгновение ока завоюет какой-нибудь остров и сделает его губернатором такового. Подобные обещания соблазнили Санчо Пансу — так звали нашего хлебопашца,— и он согласился покинуть жену и детей и стать оруженосцем своего односельчанина.

Затем Дон Кихот принялся раздобывать деньги: кое-что продал, кое-что заложил с большим для себя убытком и в конце

концов собрал значительную сумму. Кроме того, он взял на время у одного из своих приятелей круглый щит и, починив, как мог, разбитый свой шлем, предуведомил оруженосца Санчо о дне и часе выезда, чтобы тот успел запастись всем необходимым, а главное, не забыл взять с собой дорожную суму. Санчо дал слово, что не забудет, но, сославшись на то, что он не мастак ходить пешком, объявил, что у него есть очень хороший осел и что он поедет на нем. Это обстоятельство слегка озадачило Дон Кихота: он перебирал в памяти, был ли у кого-нибудь из странствующих рыцарей такой оруженосец, который прибегал к ослиному способу передвижения, но так и не припомнил; однако в надежде, что ему не замедлит представиться случай отбить коня у первого же неучтивого рыцаря, который встретится ему на пути, и передать это куда более почтенное четвероногое во владение своему оруженосцу, он позволил Санчо Пансе взять осла. По совету хозяина постоялого двора Дон Кихот запасся сорочками и всем, чем только мог. Когда же все было готово и приведено в надлежащий вид, Дон Кихот, не простившись ни с племянницей, ни с ключницей, в сопровождении Санчо Пансы, который тоже не простился ни с женой, ни с детьми, однажды ночью тайком выехал из села; и за ночь им удалось отъехать на весьма значительное расстояние, так что, когда рассвело, они почувствовали себя в полной безопасности: если б и снарядили за ними погоню, то все равно уже не настигли бы их.

Санчо Панса не забыл приторочить суму и бурдюк, и теперь он, горя желанием сделаться губернатором обещанного острова, как некий патриарх, восседал на осле. Между тем Дон Кихот избрал тот же самый путь и двинулся по той же дороге, по какой ехал он в прошлый раз, то есть по Монтьельской равнине, только теперь он чувствовал себя несравненно бодрее, ибо время было еще раннее и косые лучи солнца не очень его беспокоили. Тут-то и обратился Санчо Панса к своему господину:

— Смотрите же, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, не забудьте, что́ вы мне обещали насчет острова, а уж я с каким угодно островом управлюсь.

Дон Кихот ему на это сказал:

— Надобно тебе знать, друг мой Санчо́ Панса, что в былые времена странствующие рыцари имели обыкновение назначать правителями завоеванных ими островов и королевств своих же собственных оруженосцев, а уж за мной дело не станет, ибо я положил восстановить похвальный этот обычай. Более того, я намерен пойти еще дальше: прежде рыцари иной раз, а пожалуй, даже и всякий раз ждали, пока их оруженосцы состарятся, и лишь по прошествии многих беспокойных дней и еще менее спо-

койных ночей, когда тем уже не под силу становилось служить. присваивали им титул графа или в лучшем случае маркиза и вводили их во владение землей или какой-нибудь захудалой провинцией. Если же мы с тобой будем живы и здоровы, то легко может случиться, что не пройдет и недели, как я уже завоюю королевство, коему подвластно еще несколько королевств, и какое из них тебе полюбится, тем я тебя, короновав, и пожалую. И пусть это тебя не удивляет: с рыцарями творятся дела необыкновенные и происходят случаи непредвиденные, так что мне ничего не будет стоить наградить тебя еще чем-нибудь сверх того, что я обещал.

— Выходит, стало быть, так,— заключил Санчо Панса,— что если я каким-нибудь чудом стану королем, то моя благоверная станет по меньшей мере королевой, а детки мои инфантами?

— Кто же в этом сомневается? — возразил Дон Кихот.

— Да я первый,— отвечал Санчо Панса.— Ведь если б даже господь устроил так, чтобы королевские короны сыпались на землю дождем, и тогда, думается мне, ни одна из них не пришлась бы по мерке моей супружнице. Уверяю вас, сеньор, что королевы из нее нипочем не выйдет. Графиня — это еще так-сяк, да и то бабушка надвое сказала.

— Уповай, Санчо, не на какую-то неведомую бабушку, а на бога,— сказал Дон Кихот,— и он наградит твою жену тем, что ей более всего подходит. Ты же не роняй своего достоинства и готовься занять пост генерал-губернатора, а на меньшем ни в коем случае не мирись.

— Ни за что не помирюсь, государь мой,— сказал Санчо.— Такой важный господин, как вы, ваша милость, всегда сумеет выбрать для меня что-нибудь такое, что придется мне по плечу и по нраву.

ГЛАВА VII

О славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в страшной и доселе неслыханной битве с ветряными мельницами, равно как и о других событиях, о которых мы не без приятности упомянем

Тут глазам их открылось не то тридцать, не то сорок ветряных мельниц, стоявших среди поля, и как скоро увидел их Дон Кихот, то обратился к своему оруженосцу с такими словами:

— Судьба руководит нами как нельзя лучше. Посмотри, друг Санчо Панса: вон там виднеются тридцать, если не больше, чудовищных великанов,— я намерен вступить с ними в бой и пе-

ребить их всех до единого, трофеи же, которые нам достанутся, явятся основою нашего благосостояния. Это война справедливая: стереть дурное семя с лица земли — значит верой и правдой послужить богу

— Где вы видите великанов? — спросил Санчо Панса.

— Да вон они, с громадными руками,— отвечал его господин.— У некоторых из них длина рук достигает почти двух миль.

— Помилуйте, сеньор,— возразил Санчо,— то, что там виднеется,— вовсе не великаны, а ветряные мельницы, то же, что вы принимаете за их руки,— это крылья: они кружатся от ветра и приводят в движение мельничные жернова.

— Сейчас видно неопытного искателя приключений,— заметил Дон Кихот.— Это великаны. И если ты боишься, то отъезжай в сторону и помолись, а я тем временем вступлю с ними в жестокий и неравный бой.

С последним словом, не внемля голосу Санчо, который предупреждал его, что не с великанами едет он сражаться, а, вне всякого сомнения, с ветряными мельницами, Дон Кихот дал Росинанту шпоры. Он был совершенно уверен, что это великаны, а потому, не обращая внимания на крики оруженосца и не видя, что́ перед ним, хотя находился совсем близко от мельниц, громко восклицал:

— Стойте, трусливые и подлые твари! Ведь на вас нападает только один рыцарь.

В это время подул легкий ветерок, и, заметив, что огромные крылья мельниц начинают кружиться, Дон Кихот воскликнул:

— Машите, машите руками! Если б у вас их было больше, чем у великана Бриарея*, и тогда пришлось бы вам поплатиться!

Сказавши это, он всецело отдался под покровительство госпожи своей Дульсинеи, обратился к ней с мольбою помочь ему выдержать столь тяжкое испытание и, заградившись щитом и пустив Росинанта в галоп, вонзил копье в крыло ближайшей мельницы; но в это время ветер с такой бешеной силой повернул крыло, что от копья остались одни щепки, а крыло, подхватив и коня и всадника, оказавшегося в весьма жалком положении, сбросило Дон Кихота на землю. На помощь ему во весь ослиный мах поскакал Санчо Панса и, приблизившись, удостоверился, что он не может пошевелиться — так тяжело упал он с Росинанта.

— Ах ты господи!— воскликнул Санчо.— Не говорил ли я вашей милости, чтобы вы были осторожнее и что это всего-навсего ветряные мельницы? Их никто бы не спутал, разве тот, у кого ветряные мельницы кружатся в голове.

— Помолчи, друг Санчо,— сказал Дон Кихот.— Должно заметить, что нет ничего изменчивее военных обстоятельств. К тому же я полагаю, и не без основания, что мудрый Фрестон, тот самый, который похитил у меня книги вместе с помещением, превратил великанов в ветряные мельницы, чтобы лишить меня плодов победы,— так он меня ненавидит. Но рано или поздно злые его чары не устоят пред силою моего меча.

— Это уж как бог даст,— заметил Санчо Панса.

Он помог Дон Кихоту встать и усадил его на Росинанта, который тоже был чуть жив. Продолжая обсуждать недавнее происшествие, они поехали по дороге к Ущелью Лаписе, ибо Дон Кихот не мог упустить множество разнообразных приключений, какое, по его словам, на этом людном месте их ожидало; одно лишь огорчало его — то, что он лишился копья, и, поведав горе свое оруженосцу, он сказал:

— Помнится, я читал, что один испанский рыцарь по имени Дьего Перес де Ва́ргас*, утратив в бою свой меч, отломил от дуба громадный сук и отдубасил и перебил в этот день столько мавров, что ему потом дали прозвище Дуба́с, и с тех пор он и его потомки именуются *Варгас-Дубас*. Все это я говорю к тому, что я тоже намерен отломить сук от первого же дуба, который попадется мне по дороге, такой же величины, какой, я себе представляю, должен был быть у Варгаса, и при помощи этого сука совершить такие подвиги, что ты почтешь себя избранником судьбы, ибо удостоился чести быть очевидцем и свидетелем деяний, которые впоследствии могут показаться невероятными.

— Все в руках божиих,— заметил Санчо.— Я верю всему, что говорит ваша милость. Только сядьте прямее, а то вы все как будто съезжаете набок — верно, оттого, что ушиблись, когда падали.

— Твоя правда,— сказал Дон Кихот,— и если я не стону от боли, то единственно потому, что странствующим рыцарям в случае какого-либо ранения стонать не положено, хотя бы у них вываливались кишки.

— Коли так, то мне возразить нечего,— сказал Санчо,— но доведись до меня, так я начну стонать от самой пустячной боли, если только этот закон не распространяется и на оруженосцев странствующих рыцарей.

Дон Кихот не мог не посмеяться простодушию своего оруженосца, а затем объявил, что тот волен стонать, когда и сколько ему вздумается, как по необходимости, так и без всякой необходимости, ибо в рыцарском уставе ничего на сей предмет не сказано. Санчо напомнил Дон Кихоту, что пора закусить.

Дон Кихот сказал, что ему пока не хочется, а что Санчо может есть, когда ему заблагорассудится. Получив позволение, Санчо со всеми удобствами расположился на осле, вынул из сумки ее содержимое и принялся закусывать; он плелся шажком за своим господином, время от времени со смаком потягивал из бурдюка, и поиски приключений, пусть даже опасных, казались ему уже не тяжкой повинностью, но сплошным праздником.

Эту ночь они провели под деревьями. От одного из них Дон Кихот отломил засохший сук и приставил к нему железный наконечник — таким образом у него получилось нечто вроде копья. Стараясь во всем подражать рыцарям, которые, как это ему было известно из книг, не спали ночей в лесах и пустынях, тешась мечтой о своих повелительницах, Дон Кихот всю ночь не смыкал глаз и думал о госпоже своей Дульсинее. Совсем по-иному провел ее Санчо Панса: наполнив себе брюхо отнюдь не цикорной водой*, он мертвым сном проспал до утра, и, не разбуди его Дон Кихот, он еще не скоро проснулся бы, хотя солнце давно уже било ему прямо в глаза, а множество птиц веселым щебетом приветствовало наступивший день. Наконец Санчо встал и, не замедлив глотнуть из бурдюка, обнаружил, что бурдюк слегка осунулся со вчерашнего дня; это было для него весьма огорчительно, ибо он понимал, что в ближайшее время вряд ли могла ему представиться возможность пополнить запас. Дон Кихот не пожелал завтракать — как уже было сказано, он питался одними сладостными мечтами. Оба выехали на дорогу, и около трех часов пополудни вдали показалось Ущелье Лаписе.

— Здесь, брат Санчо,— завидев ущелье, сказал Дон Кихот,— мы, что называется, по локоть запустим руки в приключения. Но предупреждаю: какая бы опасность мне ни грозила, ты не должен браться за меч, разве только ты увидишь, что на меня нападают люди низкого звания: в сем случае ты волен оказать мне помощь. Если же это будут рыцари, то, по законам рыцарства, ты не должен и не имеешь никакого права за меня вступаться, пока ты еще не посвящен в рыцари.

— Насчет этого можете быть уверены, сеньор: я из повиновения не выйду,— сказал Санчо.— Тем более, нрав у меня тихий: лезть в драку, затевать перепалку — это не мое дело. Вот если кто-нибудь затронет мою особу, тут уж я, по правде сказать, на рыцарские законы не погляжу, ибо и божеские и человеческие законы никому не воспрещают обороняться.

— С этим я вполне согласен,— сказал Дон Кихот.— Тебе придется сдерживать естественные свои порывы только в том случае, если на меня нападут рыцари.

— Непременно сдержу,— сказал Санчо.— Для меня это установление будет священно, как воскресный отдых.

Они все еще продолжали беседовать, когда впереди показались два монаха-бенедиктинца верхом на верблюдах — именно на верблюдах, иначе не скажешь, такой невероятной величины достигали их мулы. Монахи были в дорожных очках* и под зонтиками. Двое слуг шли пешком и погоняли мулов, а позади ехала карета в сопровождении не то четырех, не то пяти верховых. Как выяснилось впоследствии, в карете сидела дама из Бискайи — ехала она в Севилью, к мужу, который собирался в Америку, где его ожидала весьма почетная должность, монахи же были ее случайными спутниками, а вовсе не провожатыми. Но Дон Кихот, едва завидев их, тотчас же сказал своему оруженосцу:

— Если я не ошибаюсь, нас ожидает самое удивительное приключение, какое только можно себе представить. Вон те черные страшилища, что показались вдали,— это, само собой разумеется, волшебники: они похитили принцессу и увозят ее в карете, мне же во что бы то ни стало надлежит расстроить этот злой умысел.

— Как бы не вышло хуже, чем с ветряными мельницами,— заметил Санчо.— Полноте, сеньор: это же братья-бенедиктинцы, а в карете, уж верно, едут какие-нибудь путешественники. Право, ваша милость, послушайте вы меня и одумайтесь, а то вас опять лукавый попутает.

— Я уже говорил тебе, Санчо, что ты еще ничего не смыслишь в приключениях,— возразил Дон Кихот.— Я совершенно прав, и сейчас ты в этом удостоверишься.

Тут он выехал вперед, остановился посреди дороги и, когда монахи очутились на таком близком расстоянии, что им должно было быть слышно его, громким голосом заговорил:

— Бесноватые чудища! Сей же час освободите благородных принцесс, которых вы насильно увозите в карете! А не то готовьтесь принять скорую смерть, как достойную кару за свои злодеяния!

Монахи натянули поводья и, устрашенные видом Дон Кихота и речами его, ответили ему так:

— Сеньор кавальеро! Мы не бесноватые чудища, мы бенедиктинские иноки, едем по своим надобностям, и есть ли в карете похищенные принцессы или нет — про то мы не ведаем.

— Сладкими речами вы меня не улестите. Знаю я вас, вероломных негодяев,— сказал Дон Кихот.

Не дожидаясь ответа, он пришпорил Росинанта и с копьем наперевес, вне себя от ярости, отважно ринулся на одного из монахов, так что если б тот загодя не слетел с мула, то он

принудил бы его к этому силой, да еще вдобавок тяжело ранил бы его, а может, и просто убил. Другой монах, видя, как обходятся с его спутником, вонзил пятки в бока доброго своего мула и помчался легче ветра.

Тем временем Санчо Панса мигом соскочил с осла, кинулся к лежавшему на земле человеку и принялся снимать с него одеяние. В ту же секунду к нему подбежали два погонщика и спросили, зачем он раздевает его. Санчо Панса ответил, что эти трофеи по праву принадлежат ему, ибо сражение выиграл его господин Дон Кихот. Погонщики шуток не понимали и не имели ни малейшего представления о том, что такое сражения и трофеи; воспользовавшись тем, что Дон Кихот подъехал к карете и заговорил с путешественницей, они бросились на Санчо, сшибли его с ног и надавали ему таких пинков, что он, бесчувственный и бездыханный, остался лежать на земле. Перепуганный же и оторопелый монах, бледный как полотно, не теряя драгоценного времени, сел на своего мула и поскакал туда, где, издали наблюдая за всей этой кутерьмой, поджидал его спутник, а затем оба, не дожидаясь развязки, поехали дальше и при этом так усердно крестились, точно по пятам за ними гнался сам дьявол.

Между тем Дон Кихот, как уже было сказано, вступил в разговор с сидевшей в карете дамой.

— Сеньора!— так начал он.— Ваше великолепие может теперь располагать собою как ему заблагорассудится, ибо заносчивость ваших похитителей сметена и повержена в прах мощною моею дланью. А дабы вы не мучились тем, что не знаете имени своего избавителя, я вам скажу, что я — Дон Кихот Ламанчский, странствующий рыцарь и искатель приключений, прельщенный несравненною красавицею Дульсинеей Тобосскою. И в награду за оказанную вам услугу я хочу одного: поезжайте в Тобосо, к моей госпоже, скажите ей, что вы от меня, и поведайте ей все, что я совершил, добиваясь вашего освобождения.

Едва успел Дон Кихот вымолвить это, как один из слуг, сопровождавших даму, родом бискаец*, видя, что Дон Кихот не пропускает карету и требует, чтобы они возвращались обратно и ехали в Тобосо, приблизился к нему и, схватившись за его копье, на дурном кастильском и отвратительном бискайском наречиях сказал ему следующее:

— Ходи прочь, кавальеро, чтоб тебе нет пути! Клянусь создателем: не выпускать карету, так я тебя убьешь, не будь я бискаец!

Дон Кихот прекрасно понял его.

— Если б ты был не жалкий холоп, а кавальеро,— невозму-

тимо заметил он,— я бы тебя наказал за твое безрассудство и наглость.

Бискаец же ему на это сказал:

— Я — не кавальеро? Клянусь богом, ты врешь, как христианин. А ну бросай копье, хватай меч — будем смотреть, кого кто! Бискаец — он тебе и на суше, и на море, и черт его знает где идальго. Наоборот скажешь — враль будешь.

— Ну, это мы еще посмотрим,— молвил Дон Кихот.

Швырнув копье наземь, он выхватил меч, заградился щитом и с твердым намерением уложить бискайца на месте бросился на него. Бискаец же, смекнув, что дело принимает дурной оборот, хотел было спешиться, ибо мул, на котором он путешествовал, скверный наемный мул, не внушал ему доверия, но он успел только выхватить меч; по счастливой случайности он находился возле самой кареты; воспользовавшись этим, он вытащил подушку и прикрылся ею, как щитом. Те, кто при сем присутствовал, тщетно пытались их помирить,— бискаец кричал на своем ломаном языке, что если ему не дадут сразиться, то он убьет свою госпожу и всех, кто станет ему поперек дороги. Сидевшая в карете дама, пораженная и напуганная происходящим, велела кучеру отъехать в сторону и стала издали наблюдать за жестокой битвой.

Решительный вид, с каким Дон Кихот перешел в наступление, красноречиво свидетельствовал об охватившем его гневе, а потому бискаец почел за нужное изготовиться к обороне. Он прижал подушку к груди, но с места не сдвинулся, ибо ни туда ни сюда не мог повернуть своего мула, который по причине крайнего утомления и от непривычки к подобного рода дурачествам не в силах был пошевелить ногой. Словом, как уже было сказано, Дон Кихот, высоко подняв меч, дабы разрубить изворотливого бискайца пополам, наступал на него, бискаец защитился подушкой и тоже высоко поднял меч; испуганные зрители с замиранием сердца ждали, что будет, когда опустятся эти мечи, сокрушительным ударом грозившие один другому, меж тем как дама в карете вместе со своими служанками призывала на помощь силы небесные и давала богу обещание пожертвовать на все святыни и внести вклад во все испанские монастыри, только бы он отвел от бискайца и от них самих столь великую опасность.

Первым нанес удар вспыльчивый бискаец, и при этом с такой силой и яростью, что, не повернись у него в руке меч, один этот удар мог бы положить конец жестокой схватке и всем приключениям нашего рыцаря; но благая судьба, хранившая Дон Кихота для более важных дел, повернула меч в руке его недруга так, что хотя удар и пришелся ему в левое плечо, однако ж

особого ущерба не причинил, за исключением разве того, что сорвал с левого бока доспехи и мимоходом рассек ему ухо и шлем. Доспехи с ужасающим грохотом рухнули наземь, и в эту минуту рыцарь наш являл собою весьма жалкое зрелище.

Боже ты мой, есть ли на свете такой человек, который мог бы найти подходящие выражения, чтобы передать гнев, обуявший нашего ламанчца, когда он увидел, как с ним обошлись! Нет, лучше прямо обратиться к рассказу. Итак, Дон Кихот снова привстал на стременах и, еще крепче сжимая обеими руками меч, с таким бешенством ударил бискайца наотмашь по подушке и по голове, что, несмотря на эту надежную защиту, у бискайца было такое чувство, точно на него обрушилась гора; кровь хлынула у него из носа, изо рта, из ушей, он покачнулся и, конечно, полетел бы с мула, если б ему не удалось обхватить его за шею, но в это самое время ноги выскользнули у него из стремян, руки он растопырил, а мул, напуганный страшным ударом, отчаянно брыкаясь, помчался вперед и очень скоро сбросил седока наземь.

Дон Кихот с самым невозмутимым видом взирал на происходящее; когда же бискаец упал, он соскочил с коня, мгновенно очутился возле своего недруга и, поднеся острие меча к его глазам, велел сдаваться, пригрозив в противном случае отрубить ему голову. Бискаец был так ошарашен, что не мог выговорить ни слова; и ему, уж верно, не поздоровилось бы (ибо Дон Кихот не помнил себя от ярости), если б находившиеся в карете женщины, до тех пор в полной растерянности следившие за потасовкой, не подошли к нашему рыцарю и не принялись неотступно молить его сделать им такую милость и одолжение — пощадить их слугу. Дон Кихот же им на это с большим достоинством и важностью ответил:

— Прекрасные сеньоры! Разумеется, я весьма охотно исполню вашу просьбу, но с одним условием и оговоркой: рыцарь этот должен мне обещать, что он отправится в город, именуемый Тобосо, к несравненной донье Дульсинее, и скажет, что это я послал его к ней, а уж она поступит с ним, как ей заблагорассудится.

Перепуганные и удрученные дамы, не вникнув в то, чего он от них требовал, и даже не узнав, кто такая эта Дульсинея, обещали, что слуга в точности исполнит его приказание.

— Ну хорошо, верю вам на слово,— сказал Дон Кихот.— Больше я не причиню ему зла, хотя он этого вполне заслуживает.

ГЛАВА VIII

Об остроумной беседе, которую вели между собой Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса

Тем временем Санчо Панса, с которым не слишком любезно обошлись слуги монахов, стал на ноги и, внимательно следя за поединком, мысленно обратился к богу: он просил его даровать Дон Кихоту победу и помочь ему завоевать остров, правителем которого, согласно данному им обещанию, должен был стать его оруженосец. Когда же стычка кончилась и Дон Кихот направился к Росинанту, Санчо бросился подержать ему стремя, и не успел рыцарь наш сесть на коня, как он опустился перед ним на колени, схватил его руку, поцеловал ее и сказал:

— Будьте так добры, сеньор Дон Кихот, сделайте меня губернатором острова, который достался вам в этом жестоком бою. Как бы ни был велик этот остров, все же я сумею на нем губернаторствовать не хуже любого губернатора, какой только есть на свете.

Дон Кихот же ему на это сказал:

— Имей в виду, брат Санчо, что это приключение, равно как и все ему подобные, суть приключения дорожные, но не островные, и здесь ты всегда можешь рассчитывать на то, что тебе проломят череп или же отрубят ухо, но ни на что больше. Дай срок, будут у нас и такие приключения, которые дадут мне возможность сделать тебя не только губернатором острова, но и вознести еще выше.

Санчо горячо поблагодарил Дон Кихота и, еще раз поцеловав ему руку и край кольчуги, подсадил его на Росинанта, сам же вскочил на осла и двинулся следом за своим господином, а тот, ни слова больше не сказав путешественницам и даже не попрощавшись с ними, быстрым шагом въехал в ближнюю рощу. Санчо трусил во весь ослиный мах, но Росинант неожиданно обнаружил такую прыть, что оруженосцу за ним было не поспеть, и в конце концов он принужден был крикнуть своему господину, чтобы тот подождал его. Дон Кихот исполнил просьбу выбившегося из сил оруженосца и натянул поводья, тот же, нагнав его, молвил:

— Вот что я вам скажу, сеньор: не мешало бы нам укрыться в какой-нибудь церкви*. Ведь мы оставили человека, с которым вы сражались, в самом бедственном положении, так что, того и гляди, нагрянет Святое братство*, и нас с вами схватят. А пока мы выйдем на свободу, у нас, честное слово, глаза на лоб вылезут.

— Помолчи,— сказал Дон Кихот.— Где ты видел или читал, чтобы странствующего рыцаря привлекали к суду за кровопролития, сколько бы он их ни учинил?

— Насчет *провокролития* я ничего не слыхал и отродясь ни на ком не пробовал,— отвечал Санчо.— Знаю только, что тех, кто затевает на больших дорогах драки, Святое братство по головке не гладит, остальное меня не касается.

— Не горюй, друг мой,— сказал Дон Кихот,— я тебя вырву из рук халдеев*, не то что из рук братства. Но скажи мне по совести: встречал ли ты где-нибудь в известных нам странах более отважного рыцаря, чем я? Читал ли ты в книгах, чтобы какой-нибудь рыцарь смелее, чем я, нападал, мужественнее оборонялся, искуснее наносил удары, стремительнее опрокидывал врага?

— По правде сказать, я за всю свою жизнь не прочел ни одной книги, потому как не умею ни читать, ни писать,— признался Санчо.— Но могу побиться об заклад, что никогда в жизни не служил я такому храброму господину, как вы, ваша милость, и дай бог, чтобы вам не пришлось расплачиваться за вашу храбрость в том месте, о котором я уже упоминал. Об одном прошу вашу милость: вам непременно надобно полечиться — кровь так и течет у вас из уха, а у меня в сумке имеется корпия и немножко белой мази.

— Во всем этом не было бы никакой необходимости,— заметил Дон Кихот,— если б я не забыл захватить в дорогу сосуд с бальзамом Фьерабраса*: одна капля этого бальзама сберегла бы нам время и снадобья.

— Что это за сосуд и что это за бальзам? — спросил Санчо Панса.

— Рецепт этого бальзама я знаю наизусть,— отвечал Дон Кихот,— с ним нечего бояться смерти и не страшны никакие раны. Так вот, я приготовлю его и отдам тебе, ты же, как увидишь, что меня в пылу битвы рассекли пополам — а такие случаи со странствующими рыцарями бывают постоянно,— недолго думая бережно подними ту половину, что упала на землю, и, пока еще не свернулась кровь, с величайшею осторожностью приставь к той, которая осталась в седле,— при этом надобно так ухитриться, чтобы они пришлись одна к другой в самый раз. Затем дай мне только два глотка помянутого бальзама, и я вновь предстану пред тобой свежим и бодрым.

— Коли так,— сказал Панса,— то я раз навсегда отказываюсь от управления островом и в награду за мою усердную и верную службу прошу одного: дайте мне, ваша милость, рецепт этой необыкновенной жидкости. Ручаюсь, что за одну ее унцию где угодно дадут не меньше двух реалов, а уж на эти деньги я

сумею прожить свой век честно и без горя. Однако прежде надобно узнать, дорого ли стоит его изготовление.

— Три асумбры* обойдутся меньше трех реалов,— сказал Дон Кихот.

— Беда мне с вами, ваша милость! — воскликнул Санчо.— Чего же вы ждете, отчего же вы сами его не изготовляете и меня не научите?

— Молчи, друг мой,— сказал Дон Кихот,— я тебе еще и не такие тайны открою и не такими милостями осыплю. А теперь давай лечиться — у меня мочи нет, как болит ухо.

Санчо вынул из сумки корпию и мазь. Но тут Дон Кихот взглянул на разбитый свой шлем и чуть не лишился чувств; затем положил руку на рукоять меча и, возведя очи к небу, молвил:

— Клянусь творцом неба и земли и четырьмя святыми Евангелиями, что отныне я буду вести такой же образ жизни, какой вел великий маркиз Мантуанский после того, как поклялся отомстить за смерть своего племянника Балдуина, а именно: клянусь во время трапезы обходиться без скатерти и еще чего-то не делать — точно не помню, но все это входит в мою клятву,— до тех пор, пока не отомщу тому, кто нанес мне такое оскорбление.

Санчо же ему на это сказал:

— Примите в соображение, сеньор Дон Кихот, что если этот рыцарь исполнил ваше приказание и представился сеньоре Дульсинее Тобосской, стало быть, он исполнил свой долг и не заслуживает новой кары, разве только совершит новое преступление.

— Твои рассуждения и замечания вполне справедливы,— сказал Дон Кихот,— поэтому я отменяю клятву вновь отомстить моему недругу. Зато я вновь даю клятву и подтверждаю, что буду вести тот образ жизни, о котором я уже говорил, до тех пор, пока не отниму у кого-нибудь из рыцарей такого же славного шлема, как этот. И не думай, Санчо, что я бросаю слова на ветер: мне есть кому подражать — ведь буквально то же самое случилось со шлемом Мамбрина*, который так дорого обошелся Сакрипанту*.

— Ах, государь мой, да пошлите вы к черту все эти клятвы! — воскликнул Санчо.— От них только вред здоровью и на душе грех. Подумайте сами: а ну как мы еще не скоро встретим человека в шлеме, что нам тогда делать? Неужто вы останетесь верны своей клятве, несмотря на все сопряженные с нею лишения и неудобства? Ведь вам придется спать одетым, ночевать под открытым небом и подвергать себя множеству других испытаний, о которых толкует этот выживший из ума старик маркиз Мантуанский, чьи обязательства вы ныне вздумали взять на себя.

Помилуйте, сеньор, ведь по всем этим дорогам ездят не вооруженные люди, а возчики да погонщики, которые не только не носят шлемов, а пожалуй, и слова такого отродясь не слыхивали.

— Ты ошибаешься,— возразил Дон Кихот.— Не пройдет и двух часов, как где-нибудь на распутье нам встретится великое множество вооруженных людей.

— Ну ладно, пусть будет по-вашему,— сказал Санчо.— Дай бог, чтобы все обошлось благополучно и чтобы поскорей пришло время завоевать этот остров, который мне так дорого стоит, а там хоть бы и умереть.

— Я уже говорил тебе, Санчо, чтобы ты об этом не беспокоился: не будет острова, найдем какое-нибудь государство вроде Дании или Собрадисы* — к вящему твоему удовольствию, ибо это государства материковые, и там ты будешь чувствовать себя совершенно в своей тарелке. А пока что оставим этот разговор,— посмотри лучше, нет ли у тебя в сумке чего-нибудь поесть: мы закусим и сей же час отправимся на поиски замка, где бы нам можно было переночевать и приготовить бальзам, о котором я тебе говорил,— клянусь богом, у меня очень болит ухо.

— У меня есть луковица, немного сыру и несколько сухих корок,— объявил Санчо,— но столь доблестному рыцарю, как вы, ваша милость, такие яства вкушать не пристало.

— Как мало ты в этом смыслишь! — воскликнул Дон Кихот.— Да будет тебе известно, Санчо, что странствующие рыцари за особую для себя честь почитают целый месяц не принимать пищи или уж едят что придется. И если б ты прочел столько книг, сколько я, то для тебя это не явилось бы новостью, а я хоть и много их прочел, однако ж ни в одной из них не нашел указаний, чтобы странствующие рыцари что-нибудь ели,— разве случайно, во время роскошных пиршеств, которые устраивались для них, в остальное же время они питались чем бог пошлет. Само собой разумеется, не могли же они совсем ничего не есть, ибо, в сущности говоря, это были такие же люди, как мы, но, с другой стороны, они почти всю жизнь проводили в лесах и пустынях, а поваров у них не было,— следственно, с таким же успехом можно предположить, что обычною их пищей была пища грубая, вроде той, которую ты мне сейчас предлагаешь. А потому да не огорчает тебя, друг Санчо, то, что доставляет удовольствие мне, не заводи ты в чужом монастыре своего устава и не сбивай странствующего рыцаря с пути истинного.

— Прошу прощения, ваша милость,— сказал Санчо,— но ведь я уже вам говорил, что я ни читать, ни писать не умею, и правила рыцарского поведения — это для меня темный лес. Однако ж впредь, коль скоро вы рыцарь, я буду вас снабжать

сушеными плодами, а себя самого, коль скоро я не рыцарь,— всякою живностью и вообще кое-чем посущественнее.

— Я вовсе не говорю, Санчо,— возразил Дон Кихот,— что странствующие рыцари обязаны пробавляться одними сушеными плодами, я лишь хочу сказать, что плоды составляли обычное их пропитание да еще некоторые полевые травы, в коих они, как и я, знали толк.

— Знать толк в растениях — это великое дело,— заметил Санчо,— потому, думается мне, когда-нибудь ваши знания нам вот как пригодятся!

Тут он разложил свои припасы, и оба в мире и согласии принялись за еду. Но так как и тому и другому не терпелось добраться до ночлега, то они мигом покончили со своею скудною и черствою трапезою. Затем снова сели верхами и, чтобы засветло прибыть в селение, быстрым шагом поехали дальше; однако солнечные лучи вскоре погасли, а вместе с ними погасла и надежда наших путешественников достигнуть желаемого,— погасли как раз, когда они проезжали мимо шалашей козопасов, и потому они решились здесь заночевать. И насколько прискорбно было Санчо Пансе то, что они не добрались до села, настолько же отрадно было Дон Кихоту думать, что он проведет эту ночь под открытым небом: подобные случаи, казалось ему, являются лишним доказательством того, что он настоящий рыцарь.

ГЛАВА IX

О том, что произошло между Дон Кихотом и козопасами

Козопасы приняли его радушно; Санчо же, устроив со всеми удобствами Росинанта и своего осла, пошел было в ту сторону, откуда несся запах козлятины, варившейся в котле на огне: его тянуло тотчас удостовериться, не пора ли переложить ее из котла в желудок, но он не успел осуществить свое намерение, ибо в это самое время козопасы сняли котел с огня и, расстелив овчины, на скорую руку приготовили деревенскую свою трапезу, а затем с самым приветливым видом предложили обоим путешественникам ее разделить. Все шесть пастухов, сторожившие этот загон, сели в кружок на овчины, предварительно с неуклюжей церемонностью указав Дон Кихоту место на перевернутом вверх дном водопойном корыте. Дон Кихот сел, а Санчо стал позади своего господина, чтобы подносить ему сделанный из рога кубок. Видя, что он продолжает стоять, Дон Кихот обратился к нему с такими словами:

— Дабы ты уразумел, Санчо, сколь благодетельно учрежде-

ние, странствующим рыцарством именуемое, и что те, кто так или иначе этому делу служит, в кратчайший срок и в любую минуту могут снискать всеобщее уважение и почет, я хочу посадить тебя рядом с собой, среди этих добрых людей, и мы будем с тобою, как равный с равным,— я, твой господин и природный сеньор, и ты, мой оруженосец,— будем есть с одной тарелки и пить из одного сосуда, ибо о странствующем рыцарстве можно сказать то же, что обыкновенно говорят о любви: оно все на свете уравнивает.

— Премного благодарен,— сказал Санчо,— однако ж осмелюсь доложить вашей милости, что если только у меня есть что́ поесть, я с таким же и даже с бо́льшим удовольствием буду есть стоя и один на один с самим собой, нежели сидя за одним столом с императором. Уж если на то пошло, так я, конечно, предпочту у себя дома, без всяких кривляний и церемоний, уписывать хлеб с луком, нежели кушать индейку в гостях, где я должен медленно жевать, все время вытирать рот, пить с оглядкой, где не смей чихнуть, не смей кашлянуть, не смей еще что-нибудь сделать — такое, что вполне допускают свобода и уединение. А потому, государь мой, благоволите превратить те почести, которые вы намерены мне воздать, как я имею касательство к странствующему рыцарству и состою у него на службе и как я есть оруженосец вашей милости, в нечто более доходное и полезное. А за почести я вам очень признателен, но отказываюсь от них на веки вечные.

— Как бы то ни было, тебе придется сесть, ибо *кто себя унижает, того господь возвысит**.

Взяв Санчо за руку, Дон Кихот усадил его рядом с собой.

Козопасы не имели понятия о том, что такое оруженосцы и странствующие рыцари,— все это было для них тарабарщиной,— они молча ели и поглядывали на гостей, с превеликой охотой и смаком засовывавших в рот куски козлятины величиною с кулак. После того как с мясным блюдом было покончено, хозяева высыпали на овчины уйму желудей и поставили полголовы сыру, такого твердого, точно он был сделан из извести. Кубок между тем тоже не оставался праздным: то полный, то пустой, подобно ведру водоливной машины, он так часто обходил круг, что ему без труда удалось опустошить один из двух бурдюков, выставленных козопасами. Наевшись досыта, Дон Кихот взял пригоршню желудей и, внимательно их разглядывая, пустился в рассуждения:

— Блаженны времена и блажен тот век, который древние назвали золотым,— и не потому, чтобы золото, в наш железный век представляющее собой такую огромную ценность, в ту счастливую пору доставалось даром, а потому, что жившие тогда люди

не знали двух слов: *твое* и *мое*. В те благословенные времена все было общее. Для того чтоб добыть себе дневное пропитание, человеку стоило лишь протянуть руку к могучим дубам, и ветви их тянулись к нему и сладкими и спелыми своими плодами щедро его одаряли. Быстрые реки и светлые родники утоляли его жажду роскошным изобилием приятных на вкус и прозрачных вод. Мудрые и трудолюбивые пчелы основывали свои государства в расселинах скал и в дуплах дерев и безвозмездно потчевали любого просителя обильными плодами сладчайших своих трудов. Кряжистые пробковые дубы снимали с себя широкую свою и легкую кору не из каких-либо корыстных целей, но единственно из доброжелательности, и люди покрывали ею свои хижины, державшиеся на неотесанных столбах,— покрывали не для чего-либо, а лишь для того, чтобы защитить себя от непогоды. Тогда всюду царили дружба, мир и согласие. Тогда по холмам и долинам гуляли прекрасные и бесхитростные пастушки в венках из сочных листьев подорожника и плюща вместо уборов, что вошли в моду за последнее время и коих отделку составляют тирский пурпур* и шелк, подвергающийся всякого рода пыткам, и в своем наряде они были, наверное, столь же величественны и изящны, как и светские наши дамы с их причудливыми и диковинными затеями, на которые толкает их суетная праздность. Тогда движения любящего сердца выражались так же просто и естественно, как возникали, без всяких искусственных украшений и околичностей. Правдивость и откровенность свободны были от примеси лжи, лицемерия и лукавства. Корысть и пристрастие не были столь сильны, чтобы посметь оскорбить или же совратить тогда еще всесильное правосудие, которое они так унижают, преследуют и искушают ныне. Закон личного произвола не тяготел над помыслами судьи, ибо тогда еще некого и не за что было судить. Однако с течением времени мир все более и более полнился злом — вот почему и учредили наконец орден странствующих рыцарей, в обязанности коего входит помогать сирым и неимущим. К этому ордену принадлежу и я, братья пастухи, и теперь я от своего имени и от имени моего оруженосца не могу не поблагодарить вас за угощение и гостеприимство. Правда, оказывать содействие странствующим рыцарям есть прямой долг всех живущих на свете, однако же, зная заведомо, что вы, и не зная этой своей обязанности, все же приютили меня и угостили, я непритворную воздаю вам хвалу за непритворное ваше радушие.

Рыцарь наш произнес эту длинную речь единственно потому, что, взглянув на желуди, коими его угостили, он вспомнил о золотом веке, и ему захотелось поделиться своими размышлениями с козопасами, а те слушали его молча, с вытянутыми

лицами, выражавшими совершенное недоумение. Санчо также помалкивал; он поедал желуди и то и дело навещал второй бурдюк, который пастухи, чтобы вино не нагревалось, подвесили к дубу.

Ужин давно кончился, а Дон Кихот все еще говорил без умолку. Наконец один из козопасов обратился к нему с такими словами:

— Дабы вы, ваша милость, сеньор странствующий рыцарь, положа руку на сердце могли признать, что мы и правда оказали вам искренний и радушный прием, мы попросим одного пастуха, который с минуты на минуту должен быть здесь, позабавить вас и усладить ваш слух своим пением.

Только успел козопас произнести эти слова, как вдруг до них донеслись звуки равеля*, а немного погодя появился и тот, кто на нем играл: это был юноша лет двадцати двух, весьма приятной наружности. Товарищи спросили, ужинал ли он; юноша ответил, что ужинал, тогда тот пастух, который только что вел о нем речь, обратился к нему:

— В таком случае, Антоньо, доставь нам удовольствие, спой что-нибудь, пусть наш почтенный гость убедится, что и в лесах и в горах можно встретить людей, смыслящих в музыке.

— Охотно,— молвил юноша.

Когда же он кончил свою песню, Дон Кихот попросил его еще что-нибудь спеть, но Санчо Панса, который более расположен был соснуть, нежели слушать пение, воспротивился.

— Давно пора вашей милости выбрать себе место для ночлега,— сказал он своему господину.— Они и так за день намаялись, куда им еще петь по ночам!

— Я тебя понимаю, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Ясно, что походы к бурдюку должны быть вознаграждаемы сном, но не музыкой.

— Боже милостивый, кому что! — воскликнул Санчо.

— Не отрицаю,— сказал Дон Кихот.— Итак, ты можешь устраиваться где тебе угодно, мне же, принимая в рассуждение избранный мною род занятий, приличнее бодрствовать, нежели спать. Со всем тем не худо было бы тебе, Санчо, еще раз перевязать мне ухо, потому что оно болит нестерпимо.

Санчо принялся было за перевязку, но один из пастухов, осмотрев рану, сказал оруженосцу, чтобы тот не трудился, ибо у него есть лекарство, от которого она скоро заживет. Вокруг было много розмарину; пастух сорвал несколько листиков, разжевал их, смешал с солью, приложил к уху и, умелой рукой перевязав его, объявил, что иного средства и не потребуется, и так оно впоследствии и оказалось.

ГЛАВА X,

*в коей рассказывается о злополучном приключении Дон Кихота с бесчеловечными янгуасцами**

Простившись с козопасами, Дон Кихот и его оруженосец въехали в ближний лес и, часика два проплутав, очутились наконец на зеленом лугу, где неслышно струился ручей, манивший путников своею прохладою и соблазнявший их провести здесь часы томительного полдневного жара, уже вступившего к тому времени в свои права. Дон Кихот и Санчо спешились и, пустив осла и Росинанта на луг, чтобы они полакомились на свободе густою травой, совершили нападение на свою дорожную суму, после чего господин и его слуга, не чинясь, в мире и согласии принялись закусывать тем, что у них нашлось.

Санчо в голову не пришло стреножить Росинанта — до того он был в нем уверен. Однако ж судьба совместно с дьяволом, который далеко не всегда дремлет, устроили так, что к той же самой долине приблизились янгуасские погонщики с табуном галисийских лошадей, а так как они имеют обыкновение полдничать в местах, обильных пастбищами и водою, то долина, где расположился Дон Кихот, показалась им весьма подходящей. И вот случилось так, что Росинанту припала охота приударить за гожами кобылицами, и, не спросясь хозяина, он затрусил игривой рысцой, но кобылицы тотчас же принялись лягать его и кусать. К довершению всего примчались с дубинами погонщики и так его отколотили, что он чуть живой повалился на землю.

Между тем Дон Кихот и Санчо, видя, что Росинанта бьют, со всех ног бросились к нему.

— Сейчас видно, друг Санчо,— сказал Дон Кихот,— что это не рыцари, а подлая чернь, низкопробные людишки. Говорю я это к тому, что ты имеешь полное право оказать мне помощь и явиться орудием праведной мести за то зло, которое они на наших глазах осмелились причинить Росинанту.

— Какая тут к черту месть,— воскликнул Санчо Панса,— когда их больше двадцати, нас же всего только двое, а вернее сказать — полтора!

— Я один стою сотни,— возразил Дон Кихот.

Недолго думая выхватил он свой меч и ринулся на янгуасцев, и, побуждаемый и увлекаемый его примером, точно так же поступил Санчо Панса; и при первом же натиске Дон Кихот разрубил на одном из погонщиков кожаное полукафтанье, отхватив при этом изрядный кусок плеча.

Но тут погонщики, видя, что их так много, а нападающих

всего только двое, взялись за дубинки и, окружив обоих противников, с необычайным рвением и горячностью принялись охаживать их. По правде сказать, довольно было двух ударов для того, чтобы Санчо растянулся на земле, и та же участь постигла и Дон Кихота, несмотря на выказанную им ловкость и присутствие духа; при этом судьбе угодно было, чтобы Дон Кихот упал к ногам Росинанта, который все еще не мог встать и являл собою наглядное доказательство того, какую бешеную силу обретают дубины в руках обозленных сельчан. Увидев же, что́ они натворили, янгуасцы с великим проворством тронулись в путь, оставив двух искателей приключений в самом бедственном положении и в еще худшем состоянии духа.

Санчо Панса очнулся первый. Заметив, что его господин лежит рядом с ним, он слабым и жалобным голосом окликнул его:

— Сеньор Дон Кихот, а сеньор Дон Кихот!

— Что ты, брат Санчо? — таким же упавшим и печальным голосом спросил Дон Кихот.

— Будьте так добры, ваша милость,— продолжал Санчо Панса,— если есть у вас бальзам этого, как бишь его, *Безобраза*, дайте мне глоточка два: может, он и от переломов помогает не хуже, чем от ран.

— Увы мне, несчастному! — воскликнул Дон Кихот.— Если бы бальзам Фьерабраса был у меня под рукой, то нам нечего было бы больше желать. Но клянусь тебе честью странствующего рыцаря, Санчо Панса, что не пройдет и двух дней — если только судьба не распорядится иначе,— как я добуду его, или у меня отсохнут руки.

— А как вы думаете, ваша милость, когда у нас начнут двигаться ноги? — спросил Санчо Панса.

— Что касается меня, то я не сумею сказать, когда именно,— отвечал избитый рыцарь.— Но виноват во всем я: незачем мне было обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. И вот в наказание за то, что я нарушил законы рыцарства, бог сражений и допустил, думается мне, чтобы меня постигла подобная кара. А потому, Санчо Панса, впредь тебе надлежит руководствоваться тем, что я сейчас скажу, это может послужить на пользу нам обоим. Ну так вот: коль скоро ты увидишь, что подобный сброд причиняет нам зло, то не жди, чтобы я выхватил меч,— ты этого все равно не дождешься,— а берись за свой и карай их по своему усмотрению. Если же на выручку им подоспеют рыцари, то я всегда сумею выручить тебя из беды и обрушить на них всю свою мощь,— в силе же доблестной моей длани ты имел множество случаев убедиться, ибо проявлял я ее при тебе неоднократно.

Бедный наш сеньор, как видно, все еще гордился победой над храбрым бискайцем. Санчо Панса, однако же, не признал наказ своего господина столь разумным, чтобы обойти его молчанием.

— Сеньор! — возразил он.— Я человек тихий, смирный, миролюбивый, я готов снести любое унижение, потому мне надо жену кормить и детей вывести в люди. Так что вот вам мой сказ, ваша милость,— сказ, а не указ, ибо указывать вам я не имею права: ни за что я не обнажу меча ни против рыцаря, ни против простолюдина, и как перед богом говорю, что раз навсегда прощаю всем, когда-либо обидевшим или же долженствующим меня обидеть, независимо от их чина и звания, независимо от того, кто именно меня обижал, обижает или еще когда-нибудь обидит: благородный человек или же худородный, богач или бедняк, дворянин или холоп.

На это его господин ответил так:

— У меня спирает дыхание, и мне трудно говорить, да к тому же еще не прошла боль в боку, а то я объяснил бы тебе, Панса, в какую ты впал ересь. Слушай, греховодник: когда бы ветер Фортуны, доселе столь для нас неблагоприятный, сменился попутным и мы на раздутых парусах упования нашего благополучно и беспрепятственно причалили к острову, который я тебе обещал, то что же было бы с тобой, если б я завоевал его и отдал тебе во владение? Да ты ничего с ним не мог бы поделать, раз ты не рыцарь и не желаешь быть таковым — не желаешь развивать в себе мужество, отмщать за нанесенные тебе оскорбления и отстаивать свои права. Надобно тебе знать, что во вновь завоеванных королевствах и провинциях обыкновенно наблюдается брожение умов и далеко не все жители бывают довольны своим государем, вследствие чего всегда можно опасаться, что кто-нибудь, желая вновь изменить порядок вещей и, как говорится, попытать счастье, задумает произвести переворот, вот почему новый правитель должен уметь властвовать собою и быть достаточно мужественным для того, чтобы в случае необходимости защитить себя или же перейти в наступление.

— Давеча с нами произошел такой случай, что я не прочь был бы обладать этим самым мужеством и уменьем,— подхватил Санчо.— Но клянусь честью бедняка, что в настоящее время я нуждаюсь больше в пластырях, нежели в наставлениях. Попробуйте встать, ваша милость, а затем давайте поможем Росинанту, хотя он этого и не заслуживает, потому как именно он явился главным виновником давешнего побоища. Не ожидал я этого от Росинанта: я думал, он такой же миролюбивый, как я. Видно, правду говорят люди, что чужая душа потемки и что все на свете

меняется. Кто бы мог подумать, что за сокрушительными ударами меча, которые вы нанесли этому несчастному странствующему рыцарю, так скоро последует столь сильный град палочных ударов, что посыпался на наши спины?

— Твоя спина, Санчо, верно, привыкла к подобным нападкам,— возразил Дон Кихот,— моя же, приученная к тончайшему голландскому полотну, разумеется, должна сильнее чувствовать боль. И если б я не предполагал... да что я говорю: «предполагал»? — если б я не знал наверное, что все эти неприятности неразрывно связаны с походной жизнью, то я тут же умер бы с досады.

— Сеньор! — снова заговорил оруженосец.— Коли подобные бедствия и есть тот урожай, что снимают рыцари, то не можете ли вы мне сказать, ваша милость, часто ли они повторяются, или же для них существуют известные сроки? Ведь после двух таких урожаев снять третий, думается мне, нам будет уже не под силу, если только господь бог, по бесконечному милосердию своему, нам не поможет.

— Знай, друг Санчо,— отвечал Дон Кихот,— что жизнь странствующих рыцарей сопряжена с бесчисленным множеством опасностей и злоключений, но зато, как показывает опыт многих рыцарей, коих разнообразные похождения мне хорошо известны, у них всегда есть возможность стать королями или императорами. И если б не боль в боку, я рассказал бы тебе о том, как некоторые из них достигали упомянутых мною высоких степеней единственно благодаря доблестным своим дланям, хотя и до и после этого им случалось терпеть бедствия и лишения. Так, например, доблестный Амадис Галльский однажды попался в руки смертельному своему врагу, волшебнику Аркалаю, и тот, взяв его в плен, тотчас же привязал к столбу посреди двора, схватил поводья и отсчитал ему более двухсот ударов, о чем у меня имеются самые достоверные сведения. А еще один неизвестный, но заслуживающий полного доверия автор повествует о том, как Рыцаря Феба в некоем замке заманили в ловушку: пол под ним провалился, и он полетел в глубокую яму, и там, в этом подземелье, ему, связанному по рукам и ногам, поставили клистир из ледяной воды с песком, отчего он чуть не отправился на тот свет. И несдобровать бы бедному нашему рыцарю, когда бы в этой великой беде ему не помог некий кудесник, верный его друг. И вот если уж таким достойным людям надобно было пострадать, то мне и подавно Притом они подвергались таким неслыханным унижениям, каким мы с тобой доселе не подвергались. Знай, Санчо, что раны, нанесенные оружием, случайно подвернувшимся под руку, чести не задевают, ибо в правилах о поединке ясно сказано, что если один сапожник ударит другого колодкой, ко-

торую он держит в руке, то хотя это и деревянная колодка, однако ж из этого не следует, что потерпевшему нанесли удар палкой. Говорю я это к тому, что хотя нас и поколотили, но честь наша, да будет тебе известно, осталась незапятнанной, ибо орудия, которые эти люди держали в руках и которыми они нас избили,— всего-навсего дубинки, тогда как рапир, шпаг и кинжалов, сколько мне помнится, не было ни у кого.

— Они не дали мне разглядеть,— сказал Санчо.— Только хотел я взяться за булатный мой меч, а уж они — кольями по плечам, да так окрестили, что у меня искры из глаз посыпались и ноги подкосились, и я растянулся на том самом месте, где возлежу и по сие время, и болит у меня не душа — при мысли о том, запятнали мою честь палочные удары или не запятнали, а болит тело — от их дубинок, которые с такой же силой врезались мне в память, с какой врезались они в мою спину.

— Со всем тем надобно тебе знать, Панса,— заметил Дон Кихот,— что нет такого несчастья, которое не изгладило бы из памяти время, и нет такой боли, которую не прекратила бы смерть.

— Что же может быть хуже злоключения, которое ничто, кроме времени, прекратить не может и которое одна лишь смерть способна изгладить из памяти? — возразил Панса.— Если б нашему горю можно было пособить двумя пластырями, то это еще куда ни шло, но я вижу, что все пластыри, сколько их ни припасено в больнице, не поставили бы нас теперь на ноги.

— Не думай об этом, Санчо, бери пример с меня и не падай духом,— сказал Дон Кихот.— Лучше посмотрим, что с Росинантом: кажется, беднягу постигла не менее горькая участь.

— В этом нет ничего удивительного,— заметил Санчо,— ведь он не просто скотина, а скотина странствующая. Меня удивляет другое: отчего это у моего осла ребра целехоньки, тогда как нам их пересчитали все до единого?

— С кем бы ни стряслась беда, судьба непременно укажет выход,— заметил Дон Кихот.— Говорю я это к тому, что твоя животина на сей раз может заменить мне Росинанта и довезти меня до какого-нибудь замка, где мне помогут залечить раны. Унизить же меня подобное верховое животное не может, ибо, помнится мне, я читал, что добрый старый Силен, воспитатель и наставник веселого бога смеха, въехал в Стовратный город, сидя верхом на превосходном осле*, и чувствовал себя при этом великолепно.

— То-то и есть, что сидя верхом, как вы сами изволили заметить, ваша милость,— возразил Санчо.— Одно дело — сидеть верхом, а другое — лежать поперек седла, точно мешок с трухой.

На это ему Дон Кихот ответил так:

— Раны, полученные в бою, скорее могут прославить, нежели обесславить. Поэтому, друг Санчо, не спорь со мной, а соберись с силами и встань, о чем я уже тебя просил, а затем устрой меня на осле, как тебе заблагорассудится,— мы должны тронуться в путь, прежде чем настанет ночь и застигнет нас в этих пустынных местах.

— Вы же сами говорили, ваша милость,— возразил Панса,— что странствующие рыцари чуть ли не весь год ночуют обыкновенно в пустынных и безлюдных местах, да еще и за великую удачу это почитают.

— Это в тех случаях, когда им ничего иного не остается или же когда они влюблены,— сказал Дон Кихот.— Но довольно об этом, Санчо, пора и в путь, а то, чего доброго, и с ослом случится несчастье, вроде как с Росинантом.

— Того и гляди! — отозвался Санчо.

Тридцать раз охнув, шестьдесят раз вздохнув, сто двадцать раз ругнув того, кому он обязан был своим злоключением, и послав на его голову столько же проклятий, он встал, но на полпути его скрючило наподобие турецкого лука, так что он долго потом не мог выпрямиться. И вот с такими-то ужасными мучениями взнуздал он кое-как своего осла, тоже слегка огорошенного событиями этого слишком бурного дня, а затем поднял Росинанта, который, если б только он умел жаловаться, наверняка превзошел бы в этом искусстве и Санчо Пансу, и его господина. В конце концов Санчо устроил Дон Кихота на осле, Росинанта привязал сзади и, взяв осла под уздцы, двинулся примерно в том направлении, где, по его расчетам, должна была пролегать большая дорога. И не прошел он и одной мили, как судьба, которая все делала к лучшему для него, вывела его на эту дорогу, и он тут же заприметил постоялый двор, но Дон Кихот, вопреки мнению Санчо и на радость самому себе, решил, что это замок. Санчо уверял, что это постоялый двор, а его господин — что это не постоялый двор, а замок; и так долго они пререкались, что, еще не кончив пререканий, успели за это время добраться до постоялого двора, куда Санчо, не подумав даже справиться, что же это в самом деле такое, и проследовал со всем своим караваном.

ГЛАВА XI

О том, что случилось с хитроумным идальго на постоялом дворе, который он принял за некий замок

Хозяин постоялого двора, видя, что Дон Кихот лежит поперек осла, спросил Санчо, что с ним стряслось. Санчо ответил, что ничего особенного, что он упал со скалы и слегка повредил бока. Жена хозяина не походила на трактирщицу: это была натура отзывчивая, принимавшая сердечное участие в страданиях своего ближнего; она тотчас принялась ухаживать за Дон Кихотом и велела дочери своей, молоденькой и очень хорошенькой девушке, помочь ей в уходе за постояльцем. В услужении у хозяев находилась девица родом из Астурии, широколицая, курносая, со срезанным затылком и на один глаз кривая,— впрочем, другой глаз тоже был у нее не в порядке. Правда, сложена она была отлично, и это искупало все прочие ее недостатки: если б смерить ее всю, от головы до ног, то не набралось бы и семи четвертей, а чересчур высоко поднятые плечи заставляли ее более внимательно смотреть себе под ноги, чем этого требовала необходимость. Эта самая красотка стала помогать хозяйской дочери, и обе они соорудили Дон Кихоту прескверное ложе в чулане, по всем видимостям на протяжении многих лет заменявшем сеновал. Оно состояло из четырех далеко не гладких досок, настеленных на две не весьма ровные скамьи, тюфяка, такого жесткого, что если б из его дыр не вылезала шерсть, то комки этой шерсти на ощупь можно было бы принять за булыжники, двух простынь, сшитых, должно полагать, из той самой кожи, что идет на изготовление щитов, и шерстяного одеяла, коего шерстинки при желании нетрудно было бы пересчитать, и при этом вы ни разу не сбились бы со счета.

Дон Кихот возлег на это треклятое ложе, и тут хозяйка с дочкой приняпись лечить его, так что в скором времени он с головы до ног был облеплен пластырями, а Мариторнес — так звали астурийку — им светила. Занявшись же его лечением и увидев, что он весь в синяках, хозяйка сказала, что синяки эти, по всей вероятности, от побоев, а не от ушибов.

— Нет, не от побоев,— возразил Санчо.— Беда в том, что скала попалась острая, вся в выступах, и каждый такой выступ оставил на теле по синяку. Смею вас уверить, сеньора,— прибавил он,— что если у вас останется хоть немного этой пакли, то охотники на нее найдутся: у меня самого что-то ломит поясницу.

— Значит, вы тоже, наверно, упали? — спросила хозяйка.

— Нет, я не падал,— ответил Санчо.— Но я был так напуган падением моего господина, что у меня до сих пор все тело болит, словно меня отколотили палками.

— Это бывает,— сказала девушка.— Мне самой часто снится, будто я падаю с башни и все никак не могу долететь до земли, а когда проснусь, то чувствую себя такой разбитой и такой измученной, точно я и правда упала.

— В том-то и дело, сеньора,— возразил Санчо,— что я отнюдь не во сне, но, будучи еще свежее и бодрее, нежели сейчас, испытал такое чувство, будто мне наставили почти столько же синяков, сколько моему господину Дон Кихоту.

— Как зовут этого кавальеро? — спросила астурийка Марицорнес.

— Дон Кихот Ламанчский,— отвечал Санчо Панса.— Он странствующий рыцарь, один из самых отважных и могучих рыцарей, каких когда-либо видел свет.

— Что такое странствующий рыцарь? — спросила служанка.

— Да вы что, только вчера родились? — воскликнул Санчо Панса.— Странствующий рыцарь — это, знаете ли, сестрица, такая штука! Только сейчас его избили — не успеешь оглянуться, как он уже император. Нынче беднее и несчастнее его нет никого на свете, а завтра он предложит своему оруженосцу на выбор две, а то и три королевские короны.

— Почему же вы у такого доброго господина, как видно, даже графства — и того не заслужили? — вмешалась хозяйка.

— Больно скоро захотели,— отвечал Санчо.— Мы всего только месяц ищем приключений, и пока что ни одного стоящего приключения у нас не было. Бывает ведь и так, что пойдешь за одним, а найдешь совсем другое. Но если только мой господин Дон Кихот оправится от ран, то есть от ушибов, и я сам не останусь на всю жизнь калекой, то даю вам слово, что я на самого знатного испанского вельможу не захочу смотреть.

Дон Кихот весьма внимательно прислушивался к этой беседе, а затем, сделав над собой усилие, приподнялся, взял хозяйку за руку и сказал:

— Поверьте, прелестная сеньора, вы должны быть счастливы, что приютили у себя в замке такую особу, как я, ибо если я себя и не хвалю, то единственно потому, что, как говорится, самовосхваление унижает, но мой оруженосец расскажет вам обо мне. Я же скажу лишь, что услуга ваша никогда не изгладится из моей памяти и что я буду вам благодарен до конца моих дней. И когда бы по воле всемогущих небес законы любви еще не приобрели надо мною такой неодолимой власти и очи жестокой красавицы, имя которой я произношу сейчас мысленно,

меня еще не поработили, то свободою моею завладели бы очи этой прелестной девушки.

Хозяйка, ее дочь и добрая Мариторнес слушали странствующего рыцаря с таким недоумением, как если бы он говорил по-гречески; одно лишь они уловили — что он рассыпается в похвалах и изъявлениях преданности, и все же, не привыкшие к подобным оборотам речи, они смотрели на него и дивились: они принимали его за человека совсем из другого мира. Наконец, выразив на своем трактирном языке благодарность нашему рыцарю за его учтивые речи, хозяйка с дочерью удалились, астурийка же Мариторнес принялась лечить Санчо, который нуждался в этом не меньше, чем его господин.

Под утро Дон Кихот обратился к своему оруженосцу:

— Если только это тебе не трудно, Санчо, сходи к коменданту крепости и постарайся достать у него немного масла, вина, соли и розмарину, чтобы я мог приготовить целебный бальзам.

Хозяин наделил Санчо всем, что только ему требовалось, и тот отнес это Дон Кихоту. Дон Кихот смешал снадобья, затем стал подогревать эту смесь и снял ее с огня лишь тогда, когда ему показалось, что бальзам готов. Затем он попросил склянку, чтобы перелить в нее бальзам, но на всем постоялом дворе не нашлось ни одной склянки; тогда он решился употребить для этой цели жестянку из-под оливкового масла. Хозяин предоставил ему жестянку в безвозмездное пользование, после чего Дон Кихот, при каждом слове творя крестное знамение и как бы благословляя жестянку, прочитал над нею более восьмидесяти раз «Отче наш» и приблизительно столько же раз некоторые другие молитвы, при каковой церемонии присутствовали Санчо и хозяин. По совершении обряда Дон Кихот, пожелав сей же час испытать на себе целебные свойства этого драгоценного бальзама, выпил почти все, что не вошло в жестянку и оставалось в чугунке, в котором это зелье варилось, то есть приблизительно с пол-асумбры, но стоило ему хлебнуть из чугунка — и его тут же начало рвать, да так, что в желудке у него буквально ничего не осталось; и от истомы и от натуги у него выступила обильная испарина, вследствие чего он попросил укрыть его и оставить одного. Просьба его была исполнена, и он проспал более трех часов, а когда проснулся, то ощутил во всем теле необычайную легкость, да и боль в костях почти не давала себя знать, так что он почувствовал себя совершенно здоровым и проникся убеждением, что ему и в самом деле удалось приготовить бальзам Фьерабраса и что с этим снадобьем ему уже нечего бояться любых, даже самых опасных, битв, столкновений и схваток.

Чудесное исцеление Дон Кихота поразило его оруженосца, и он попросил позволения осушить чугунок, а там еще оставалось

изрядное количество бальзама. Дон Кихот изъявил согласие, тогда Санчо, обеими руками придерживая чугунок, с горячей верой и превеликой охотой припал к нему и влил в себя немногим меньше своего господина. Но желудок у бедняги Санчо оказался не столь нежным, как у Дон Кихота: прежде чем его вырвало, приступы и позывы, испарина и головокружение довели его до такого состояния, что он уже нисколько не сомневался, что пришел его последний час; измученный и удрученный, он проклинал самый бальзам и того злодея, который попотчевал его этим бальзамом. Видя, как он страдает, Дон Кихот сказал:

— Я полагаю, Санчо, что тебе стало худо оттого, что ты не посвящен в рыцари, а я совершенно уверен, что эта жидкость не приносит пользы тем, кто не вступил в рыцарский орден.

— Если ваша милость про это знала, то почему же, будь неладен я сам и вся моя родня, вы позволили мне его попробовать?

Но тут напиток наконец подействовал, и бедный оруженосец столь стремительно начал опорожняться через оба отверстия, что тростниковая циновка, на которую он повалился, и даже одеяло из пакли, которым он укрывался, пришли в совершенную негодность. Его выворачивало наизнанку, он обливался по́том, бился в судорогах, так что не только он сам, но и все здесь присутствовавшие решили, что он при смерти. Эта буря и эта невзгода длились около двух часов, по истечении которых нашему оруженосцу легче не стало,— в противоположность своему господину, он чувствовал себя таким разбитым и пришибленным, что не мог стоять на ногах; между тем Дон Кихот, как известно, поздоровел и приободрился, и теперь он горел желанием отправиться на поиски приключений, ибо ему казалось, что задержаться в пути — значит лишить человеческий род и всех, кто в нем, Дон Кихоте, нуждается, защиты и покровительства; к тому же он твердо верил в чудотворную силу своего бальзама. Того ради, влекомый этим желанием, он собственноручно оседлал и навьючил обоих верховых животных, помог своему оруженосцу одеться и подсадил его на осла. Затем сел на Росинанта и, отъехав в самый конец двора, прихватил стоявшее там копьецо, которое отныне должно было заменять ему копье.

Когда же рыцарь и оруженосец подъехали к крыльцу, Дон Кихот, обратившись к хозяину, спокойно и важно молвил:

— Благодеяния, которые вы, сеньор алькайд, в этом замке мне оказали, столь велики и многообразны, что я чувствую себя перед вами в долгу и век этого не забуду. В благодарность я желал бы отомстить за вас какому-нибудь гордецу, который вас чем-нибудь обидел, ибо знайте, что моя прямая обя́занность в том именно и состоит, чтобы помогать беззащитным, мстить

за обиженных и карать вероломных. Поройтесь в памяти, и если с вами что-нибудь подобное случилось, то вы смело можете обратиться ко мне: клянусь рыцарским орденом, к коему я принадлежу, что вы будете удовлетворены и вознаграждены согласно вашему желанию.

Хозяин ответил ему столь же невозмутимо:

— Сеньор кавальеро! Я вовсе не нуждаюсь в том, чтобы ваша милость мстила моим обидчикам, я и сам в случае чего сумею им отомстить. Я хочу одного — чтобы ваша милость уплатила мне за ночлег на моем постоялом дворе, то есть за солому и овес для скотины, а также за ужин и за две постели.

— Как, разве это постоялый двор? — спросил Дон Кихот.

— И притом весьма почтенный,— отвечал хозяин.

— Значит, я до сего времени заблуждался,— сказал Дон Кихот.— Откровенно говоря, я думал, что это замок, и к тому же не из последних, но если это не замок, а постоялый двор, то единственно, что я могу сделать, это обратиться к вам с просьбой не брать с меня ничего: ведь я не имею права нарушить устав странствующих рыцарей, а между тем я знаю наверное — и в доказательство могу сослаться на какой хотите роман,— что на постоялых дворах они никогда не платили ни за ночлег, ни за что-либо еще, ибо все должны и обязаны оказывать им радушный прием за неслыханные муки, которые они терпят, ища приключений, ищут же они их денно и нощно, зимою и летом, в стужу и в зной, пешие и конные, алчущие и жаждущие, не защищенные от стихийных бедствий и изнывающие под бременем земных тягот.

— Это меня не касается,— возразил хозяин.— Платите денежки — вот вам мой сказ, а сказки про рыцарей расскажите кому-нибудь другому. Мое дело получить с вас за постой.

— Вы тупоумный и грубый трактирщик,— заметил Дон Кихот.

Пришпорив Росинанта и положив поперек седла копьецо, он беспрепятственно покинул пределы постоялого двора, и даже когда отъехал на довольно значительное расстояние, то и тут не поглядел, следует ли за ним его оруженосец. Между тем, видя, что рыцарь уехал не расплатившись, хозяин вознамерился получить за постой с Санчо Пансы, но тот объявил, что если его господин не пожелал платить, то и он не заплатит, ибо он, Санчо, является оруженосцем странствующего рыцаря и как таковой обязан придерживаться тех же правил и установлений, что и его господин, то есть ровно ничего не платить как в трактирах, так и на постоялых дворах. Хозяина это взорвало, и он пригрозил, что если Санчо ему не заплатит, то он все равно свое возьмет, но только прибегнет к такому способу, что тот

не обрадуется. Санчо ему на это ответил, что, следуя уставу рыцарского ордена, к коему принадлежит его господин, он не заплатит ни гроша, хотя бы это стоило ему жизни,— он-де не намерен ломать славный и древний обычай странствующих рыцарей и не желает, чтобы будущие оруженосцы роптали на него и упрекали в нарушении столь справедливого закона.

К умножению несчастий бедного Санчо, среди тех, кто в это время находился на постоялом дворе, оказались четыре сеговийских сукнодела, трое игольщиков из кордовского Потро и двое с севильской Ярмарки* — все, как на подбор, шутники, затейники, озорники и проказники; и вот эти-то самые люди, словно по уговору или по команде, подошли к Санчо, стащили его с осла, повалили на хозяйское одеяло, за которым не поленился сбегать один из них, а затем, подняв глаза и обнаружив, что навес слишком низок для задуманного ими предприятия, решились перейти на скотный двор, коему кровлю заменял небосвод, и там, положив Санчо на одеяло, стали резвиться и подбрасывать его.

Истошные вопли злосчастного летуна донеслись до его господина,— тот остановился, прислушался и сначала подумал, что это какое-нибудь новое приключение, а затем, явственно различив голос своего оруженосца, повернул обратно, грузным галопом подскакал к постоялому двору, но, обнаружив, что ворота заперты, с целью как-нибудь туда проникнуть решился объехать его кругом; однако ж не успел он приблизиться к забору, коим был обнесен скотный двор, кстати сказать, не слишком высокому, как вдруг увидел, что над его оруженосцем измываются. На его глазах Санчо то взлетал, то опускался, и при этом с такой быстротою и легкостью, что если бы гнев, овладевший Дон Кихотом, в это самое мгновение утих, то он, уж верно, покатился бы со смеху. Попытался было он перескочить с седла на забор, но он чувствовал себя таким слабым и таким разбитым, что не мог даже спешиться, а потому ограничился тем, что, не слезая с коня, принялся осыпать подбрасывавших Санчо Пансу ругательствами и оскорблениями; однако летун Санчо по-прежнему стонал, перемежая стоны мольбами и угрозами, а сорванцы продолжали гоготать и заниматься своим делом, ибо все это на них не действовало,— отпустили же они в конце концов Санчо только тогда, когда устали его подбрасывать. Затем они подвели осла, усадили Санчо и накинули на него пыльник, а сердобольная Мариторнес, видя, как он измучен, рассудила за благо сбегать к колодцу и принести ему кувшин холодной воды. Санчо взял кувшин и уже поднес ко рту, как вдруг услышал громкие крики своего господина:

— Сын мой Санчо, не пей воды! Сын мой, не пей воды, она тебя погубит. Смотри, вот животворный бальзам (тут он

К стр. 54

показал ему жестянку), прими две капли, и я ручаюсь, что ты поправишься.

Санчо покосился на него и в ответ еще громче крикнул:

— Да разве вы забыли, ваша милость, что я не рыцарь? Или вы хотите, чтобы я выблевал те внутренности, которые у меня еще остались после вчерашней ночи? Пусть им лечатся бесы, а меня увольте.

Произнеся эти слова, он мигом припал к кувшину, но, уверившись после первого же глотка, что это просто вода, не стал больше пить и попросил Мариторнес принести ему вина, что та весьма охотно и исполнила, уплатив за него из своего кармана. Выпив вина, Санчо тотчас же подогнал осла, настежь распахнул ворота и в восторге от того, что так ничего и не заплатил и все же вырвался отсюда,— хотя эта радость омрачалась тем, что за него расплатились обычные его поручители, то есть его же собственные бока,— выехал со двора. Впрочем, не только бока — хозяин позаботился о том, чтобы в уплату за ночлег пошла его дорожная сума, но Санчо в расстройстве чувств даже не заметил этого. После того как он уехал, хозяин вознамерился запереть ворота на засов, однако ж мучители нашего оруженосца отговорили его: это были такие удальцы, что не посчитались бы не только с Дон Кихотом, но и с Рыцарем Круглого Стола*

ГЛАВА XII,

содержащая замечания,
коими Санчо Панса поделился со своим господином
Дон Кихотом,
и повествующая о разных достойных упоминания событиях

Санчо не мог даже подогнать осла — в таком состоянии он находился, когда подъехал к своему господину. Видя, что он так слаб и пришиблен, Дон Кихот сказал ему:

— Теперь, добрый мой Санчо, я совершенно удостоверился, что этот замок, то есть постоялый двор, действительно очарован. В самом деле, те, что так жестоко над тобой насмеялись,— разве это не привидения и не выходцы с того света? Говорю я это на том основании, что когда я глядел через забор и наблюдал за ходом мрачной твоей трагедии, то не мог не только перескочить через ограду, но даже сойти с коня, оттого что, по всей вероятности, был заколдован. Клянусь честью, будь я в состоянии перескочить через забор или же спешиться, я бы за тебя отомстил этим грубиянам и лиходеям, да так, что раз навсегда отбил бы у

них охоту издеваться над людьми, хотя бы для этого мне пришлось нарушить законы рыцарства, которые, о чем я уже неоднократно ставил тебя в известность, дозволяют рыцарю поднимать руку на того, кто таковым не является, лишь в случае крайней и острой необходимости, когда посягают на его, рыцаря, жизнь и особу.

— Если б я мог, я бы и сам за себя отомстил, хоть я и не посвящен в рыцари, да то-то и дело, что не мог. А все-таки я стою на том, что те, кто надо мной потешался,— это не бесплотные призраки и не заколдованные, как уверяет ваша милость, а такие же люди, как мы с вами. И у каждого из них есть имя: они подбрасывали меня, а сами переговаривались, и тут я узнал, что одного зовут Педро Мартинесом, другого — Тенорьо Эрнандесом, а хозяин — Хуан Паломеке, по прозвищу Левша. Так что, сеньор, перескочить через забор и слезть с коня вам помешало не колдовство, а что-то другое. Все это ясно показывает, что приключения, которых мы ищем, в конце концов приведут нас к таким злоключениям, что мы своих не узнаем. И лучше и спокойнее было бы нам, по моему слабому разумению, вернуться домой: теперь самая пора жатвы, самое время заняться хозяйством, а мы с вами скитаемся как неприкаянные и, что называется, кидаемся из огня да в полымя.

— Как плохо ты разбираешься в том, что касается рыцарства, Санчо! — воскликнул Дон Кихот.— Молчи и наберись терпения: придет день, когда ты воочию убедишься, сколь почетно на этом поприще подвизаться. Нет, правда, скажи мне: что может быть выше счастья и что может сравниться с радостью выигрывать сражения и одолевать врага? Разумеется, ничто.

— Положим, что так, хотя я этого на себе не испытывал,— отвечал Санчо.— Я знаю одно: с тех пор как мы стали странствующими рыцарями, или, вернее, вы, ваша милость,— ведь у меня нет никаких прав на столь высокий сан,— мы еще не выиграли ни одного сражения, если не считать сражения с бискайцем, да и то ваша милость потеряла в этом бою пол-уха и половину шлема. Так вот с той поры мы беспрерывно принимаем побои и получаем тумаки, а меня вдобавок еще и подбрасывали — и, как назло, какие-то заколдованные личности: ведь я им даже отомстить не могу и так никогда и не узнаю, велико ль подлинно удовольствие от победы над врагом, как уверяет ваша милость.

— Именно это меня и огорчает и должно огорчать и тебя, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Однако ж в недалеком будущем я постараюсь добыть себе меч, столь искусно сделанный, что тому, кто им владеет, не страшны никакие чары. А может быть, даже судьба предоставит в мое распоряжение меч Амадиса, тот

самый, который служил ему в те времена, когда он именовался *Рыцарем Пламенного Меча*, а это был один из лучших мечей, какими когда-либо владели рыцари, ибо, помимо указанного свойства, он резал, как бритва, и самая прочная или же заколдованная броня не могла перед ним устоять.

— Мне так везет в жизни,— сказал Санчо,— что если б это сбылось и ваша милость подыскала для себя такой меч, то оказалось бы, что он может сослужить службу и принести пользу только рыцарям, как это случилось с бальзамом, оруженосцам же, видно, на роду написано похмелье в чужом пиру.

— Не унывай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— скоро небо сжалится и над тобой.

Оба продолжали беседовать в том же духе, как вдруг Дон Кихот заметил, что навстречу им движется по дороге огромное и густое облако пыли; увидев это облако, Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами:

— Настал день, о Санчо, когда обнаружится благодеяние, которое намерена оказать мне судьба. В этот день, говорю я, как никогда проявится вся мощь моей длани и я совершу подвиги, которые будут вписаны в книгу славы на вечные времена. Видишь ли ты, Санчо, облако пыли? Так вот, эту пыль поднимает многочисленная и разноплеменная рать, что идет нам навстречу.

— Уж если на то пошло, так не одна, а целых две рати,— возразил Санчо,— потому с противоположной стороны поднимается точно такое же облако пыли.

Оглянувшись, Дон Кихот убедился, что Санчо говорит правду; он чрезвычайно обрадовался и проникся уверенностью, что войска намерены встретиться и сразиться на этой широкой равнине. Должно заметить, что воображение его всечасно и неотступно преследовали битвы, чары, приключения, всякого рода нелепости, любовные похождения, вызовы на поединок — все, о чем пишут в рыцарских романах, и этим определялись все его поступки, вокруг этого вращались все его помыслы и на это он сводил все разговоры, тогда как на самом деле пыль, которую он заметил, поднимали два больших стада овец и баранов, двигавшиеся по дороге навстречу друг другу, но за пылью их не было видно до тех пор, пока они не подошли совсем близко. Дон Кихот, однако, с таким жаром доказывал, что это два войска, что Санчо в конце концов поверил ему и сказал:

— Что же нам делать, сеньор?

— Что делать? — переспросил Дон Кихот.— Оказывать помощь и покровительство слабым и беззащитным. Да будет тебе известно, Санчо, что войско, которое движется нам навстречу, ведет великий император Алифанфарон, правитель огромного острова Трапобаны*, а тот, что идет за нами,— это его враг, ко-

роль гарамантов* Пентаполин *Засученный Рукав*, названный так потому, что перед боем он всегда обнажает правую руку.

— Почему же эти два сеньора так невзлюбили друг друга? — осведомился Санчо.

— А потому,— отвечал Дон Кихот,— что Алифанфарон, закоренелый язычник, влюбился в дочь Пентаполина, красивую, обворожительную девушку и к тому же христианку, а отец не желает отдавать ее за языческого короля, до тех пор пока тот не отречется от закона лжепророка Магомета и не примет христианства.

— Ей-богу, Пентаполин совершенно прав! — воскликнул Санчо.— Я, со своей стороны, готов сделать для него все, что могу.

— И ты поступишь как должно, Санчо,— сказал Дон Кихот,— для того, чтобы вступить в подобного рода бой, можно и не иметь рыцарского звания.

— Это я отлично понимаю,— сказал Санчо,— но только куда бы нам деть осла, чтобы потом не искать его, когда стычка кончится? Потому, думается мне, вряд ли кто вступал в бой, гарцуя на осле.

— Твоя правда,— заметил Дон Кихот.— Единственный выход — это бросить его на произвол судьбы, пропадет так пропадет: ведь если мы выйдем победителями, то у нас будет столько коней, что и Росинант не избежит опасности получить отставку. А теперь слушай меня внимательно и смотри сюда — я хочу назвать тебе главных рыцарей, которые находятся в рядах этих войск. А дабы ты их получше рассмотрел и приметил, я предлагаю удалиться вон на тот бугорок, и оба войска, уж верно, откроются нашему взору.

Как сказано, так и сделано: Дон Кихот и Санчо въехали на холм, откуда оба стада, которые наш рыцарь преобразил в войска, были бы хорошо видны, когда бы поднятая ими пыль не застилала зрение и не слепила глаза; однако ж Дон Кихот, воображению которого рисовалось то, чего он не видел и чего на самом деле не было, заговорил громким голосом:

— Вон тот рыцарь в ярко-желтых доспехах, на щите которого изображен венценосный лев, распростертый у ног девы,— это доблестный Лауркальк, владелец Серебряного моста. Тот, чьи доспехи разукрашены золотыми цветами и на щите которого по синему полю нарисованы три серебряные короны,— это грозный Микоколемб, великий герцог Кирос ский. Справа от него, вон тот рыцарь исполинского телосложения,— это неустрашимый Брандабарбаран де Боличе, повелитель трех Аравий*; одежды на нем из змеиной кожи, а щитом ему служит дверь,— предание гласит, что это одна из дверей того храма, который разрушил

Самсон*, когда он ценою собственной жизни отомстил врагам своим. А теперь оглянись и посмотри в другую сторону: впереди другого войска — всепобеждающий и никем не победимый Тимонель Каркахонский, повелитель Новой Бискайи, в доспехах с синими, зелеными, белыми и желтыми полосками, и на щите у него по желто-бурому полю нарисована золотая кошка, а под ней написано: *Мяу*,— это сокращенное имя его дамы, то есть, если верить слухам, несравненной Мяулины, дочери герцога Альфеньикена Алгарвского. Тот, под тяжестью которого сгибается его ретивый конь, тот, у которого белоснежные доспехи и белый щит без всякого девиза,— это недавно посвященный в рыцари француз по имени Пьер Папен, правитель баронств Утрехтских. Тот, в доспехах, покрытых голубою эмалью, вонзающий железные шпоры в бока полосатой и быстроногой зебры,— это всемогущий герцог Нербийский Эспартафилард дель Боске; на щите у него пучок спаржи и девиз, написанный по-кастильски: *Следи за моей судьбой.*

Так, увлекаемый собственным воображением, отмеченным печатью его доселе не виданного умопомешательства, он продолжал говорить без умолку и перечислять рыцарей обеих воображаемых ратей, тут же сочиняя девизы и прозвища и придумывая для каждого из них особый цвет и особую форму доспехов.

— Войско, которое идет нам навстречу, составляют многоразличные племена. Здесь можно встретить тех, что разными способами достают золотой песок со дна Пактола*; изменчивых нумидийцев; персов, славящихся своими луками и стрелами; парфян и мидян*, сражающихся на бегу; арабов с их кочевыми шатрами; скифов, славящихся как своею жестокостью, так и белизною кожи; эфиопов с проколотыми губами, и еще я вижу и узнаю бесчисленное множество племен, но только не могу вспомнить их названия. В рядах другого войска находятся те, что утоляют жажду прозрачными струями Бетиса*, окаймленного оливковыми рощами; те, что моют и освежают лицо влагою всегда полноводного и золотоносного Тахо; те, что упиваются животворящею водою дивного Хениля*; те, что попирают тартесийские долины* с их тучными пастбищами; те, что веселятся на Елисейских полях Хереса*; богатые ламанчцы в венках из золотых колосьев; те, что закованы в латы,— последние потомки древних готов*; те, что купаются в водах Писуэрги*, славящейся спокойным своим течением; те, что пасут стада на бескрайних лугах извилистой Гуадианы*, славящейся потаенным своим руслом; дрожащие от холода в лесах Пиренеев и осыпаемые снежными хлопьями на вершинах Апеннин — словом, все племена, которые населяют и наполняют собою Европу.

Господи ты боже мой, какие только страны не назвал Дон

Кихот, впитавший в себя все, что он вычитал в лживых романах, и потрясенный этим до глубины души, какие только народы не перечислил, в мгновение ока наделив каждый из них особыми приметами! Санчо Панса слушал Дон Кихота разинув рот, сам же от себя не вставлял ни слова и только время от времени озирался — не видать ли рыцарей и великанов, которых перечислял Дон Кихот, но так как он никого из них не обнаружил, то обратился к своему господину с такими словами:

— Сеньор! Верно, черт унес всех ваших великанов и рыцарей, я, по крайней мере, их не вижу: они тоже, поди, заколдованы не хуже вчерашних привидений.

— Как ты можешь так говорить! — воскликнул Дон Кихот.— Разве ты не слышишь ржанья коней, трубных звуков и барабанного боя?

— Я слышу только блеянье овец и баранов,— отвечал Санчо.

И точно, оба стада подошли уже совсем близко.

— Страх, овладевший тобою, Санчо, ослепляет и оглушает тебя,— заметил Дон Кихот,— в том-то и заключается действие страха, что он приводит в смятение наши чувства и заставляет нас принимать все предметы не за то, что они есть на самом деле. И вот если ты так напуган, то отъезжай в сторону и оставь меня одного, я и один сумею сделать так, чтобы победа осталась за теми, кому я окажу помощь.

Тут он пришпорил Росинанта и, взяв копье наперевес, с быстротою молнии спустился с холма.

Санчо кричал ему вслед:

— Воротитесь, сеньор Дон Кихот! Клянусь богом, вы нападаете на овец и баранов! Воротитесь! Господи, и зачем только я на свет родился! В уме ли вы, сеньор? Оглянитесь: нет тут никаких великанов, рыцарей, котов, доспехов, щитов, ни разноцветных, ни одноцветных, ни цвета небесной лазури, ни черта тут нет. Да что же он делает? Вот грех тяжкий!

Но Дон Кихот и не думал возвращаться назад — как раз в это время он громко воскликнул:

— Смелее, рыцари,— вы, что шествуете и сражаетесь под знаменами доблестного императора Пентаполина *Засученный Рукав*,— следуйте за мною, и вы увидите, какую скорую расправу учиню я над его врагом Алифанфароном Трапобанским!

С этими словами он врезался в овечье стадо и столь отважно и столь яростно принялся наносить удары копьем, точно это и впрямь были его смертельные враги. Пастухи пытались остановить его; однако, уверившись, что это ни к чему не ведет, они отвязали свои пращи и принялись услаждать его слух свистом летящих камней величиною с кулак. Но Дон Кихот, не обращая внимания на камни, носился взад и вперед по полю и кричал:

— Где ты, заносчивый Алифанфарон? Выходи на меня! Я — рыцарь, желающий один на один померяться с тобою силами и лишить тебя жизни в наказание за то, что ты чуть было не отнял жизнь у доблестного Пентаполина Гарамантского.

В это самое время голыш угодил ему в бок и вдавил два ребра. Не взвидев света от боли, Дон Кихот вообразил, что он убит или по меньшей мере тяжело ранен; но тут он вспомнил про бальзам, схватил жестянку, поднес ее ко рту и стал вливать в себя жидкость; однако ж не успел он принять необходимую, по его мнению, дозу, как другой камень, необычайно метко пущенный, угодил ему в руку, пробил жестянку насквозь, мимоходом вышиб ему не то три, не то четыре зуба, в том числе сколько-то коренных, и вдобавок изуродовал два пальца на руке. И таков был первый удар и таков второй, что бедный наш рыцарь слетел с коня. К нему подбежали пастухи и, решив, что они убили его, с величайшею поспешностью собрали стадо, взвалили себе на плечи убитых овец, каковых оказалось не менее семи, и без дальних размышлений тронулись в путь.

Санчо все это время пребывал на холме и, следя за безумными выходками своего господина, рвал на себе волосы и проклинал тот день и час, когда судьба свела его с ним. Увидев же, что Дон Кихот грянулся оземь, а пастухи удалились, он спустился с холма, приблизился к нему и, удостоверившись, что его отделали здорово, хотя и не до бесчувствия, сказал:

— Не говорил ли я вам, сеньор Дон Кихот, чтобы вы не вступали в бой, а возвращались назад, потому это не войско, а стадо баранов?

— Вот на какие ухищрения и подделки способен этот гнусный волшебник, мой враг. Знай, Санчо, что таким, как он, ничего не стоит ввести нас в обман, и вот этот преследующий меня злодей, позавидовав славе, которую мне предстояло стяжать в бою, превратил вражескую рать в стадо овец. Если же ты все еще сомневаешься, Санчо, то, дабы ты разуверился и признал мою правоту, я очень прошу тебя сделать одну вещь: садись на осла и не торопясь следуй за ними,— ты увидишь, что, отойдя на незначительное расстояние, они вновь примут первоначальный свой вид и из баранов снова превратятся в самых настоящих людей, в тех людей, о которых я тебе рассказывал. Но только ты погоди — сейчас я нуждаюсь в твоей помощи и поддержке. Подойди поближе и посмотри, сколько мне выбили коренных и передних зубов,— по-моему, у меня ни одного не осталось.

Санчо так близко к нему наклонился, что чуть не влез головою в рот; но в это самое время начал оказывать свое действие бальзам, и, как раз когда Санчо заглянул к Дон Кихоту в рот, рыцарь наш с быстротою мушкетного выстрела извергнул все,

что было у него внутри, прямо на бороду сердобольного оруженосца.

— Пресвятая богородица! — воскликнул Санчо.— Что же это такое? Стало быть, бедняга смертельно ранен, коли его рвет кровью.

Однако, вглядевшись пристальнее, он по цвету, вкусу и запаху догадался, что это не кровь, а бальзам, который Дон Кихот на его глазах пил из жестянки; но тут Санчо почувствовал такое отвращение, что желудок у него вывернуло наизнанку, и он облевал своего собственного господина, так что вид у обоих был теперь хоть куда. Санчо бросился к своему ослу, чтобы достать из сумки что-нибудь такое, чем бы можно было утереться и перевязать Дон Кихота, но, обнаружив, что сумки нет, пришел в бешенство; он снова разразился проклятьями и мысленно дал себе слово бросить своего господина и возвратиться домой, хотя бы ему пришлось отказаться и от заработанного жалованья, и от мысли когда-нибудь сделаться правителем обещанного острова.

Дон Кихот между тем стал на ноги и, левою рукою придерживая рот, чтобы не вылетели последние зубы, а другою взяв под уздцы Росинанта, который не отходил ни на шаг от своего господина (такой это был верный и благонравный конь), направился к оруженосцу; оруженосец же, поставив локоть на осла и подперев щеку ладонью, пребывал в задумчивости. Видя, что он пригорюнился, Дон Кихот сказал:

— Знай, Санчо, что только тот человек возвышается над другими, кто делает больше других. Бури, которые нам пришлось пережить,— это знак того, что скоро настанет тишина и дела наши пойдут на лад. Горе так же недолговечно, как и радость, следственно, когда полоса невзгод тянется слишком долго, это значит, что радость близка. Итак, да не огорчают тебя случившиеся со мною несчастья, тем более что тебя они не коснулись.

— Как так не коснулись? — воскликнул Санчо.— А тот, кого вчера подбрасывали на одеяле,— кто же он, по-вашему, как не родной сын моего отца? А нынче у меня пропала сумка со всеми драгоценностями,— что же, она чужая, а не моя?

— Как, Санчо, разве у тебя пропала сумка? — спросил Дон Кихот.

— Ну да, пропала,— отвечал Санчо.

— Значит, нам придется сегодня поголодать,— заключил Дон Кихот.

— Пришлось бы,— возразил Санчо,— когда бы на этих лугах не росли травы, которые, как уверяет ваша милость, вам хорошо известны и которые в таких случаях вполне удовлетворяют столь незадачливых странствующих рыцарей, как вы, ваша милость.

— Однако,— заметил Дон Кихот,— я предпочел бы всем травам на свете ломоть хлеба, даже целый каравай, и две сардинки. Как бы то ни было, садись на своего осла, мой добрый Санчо, и следуй за мной,— господь, который всех на свете питает, не оставит и нас, тем более что мы так ревностно ему служим, а ведь он не оставляет и мошек, кружащихся в воздухе, и червей, живущих под землею, и головастиков, плавающих в воде, и, по великому милосердию своему, повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

— Вашей милости больше подходит быть проповедником, нежели странствующим рыцарем,— заметил Санчо.

— Странствующие рыцари, Санчо, всё умели делать и обязаны были уметь,— возразил Дон Кихот.— В былые времена странствующий рыцарь произносил проповедь или речь где-нибудь в стане воинов не хуже любого доктора Парижского университета*, отсюда можно вывести заключение, что никогда еще копье не притупляло пера, а перо — копья.

— Ну ладно, пусть будет по-вашему,— сказал Санчо.— А теперь давайте тронемся в путь и поищем ночлега, только дай бог, чтобы там, где мы остановимся, не было ни одеял, ни мастеров по части подбрасывания на одеяле, ни привидений, ни очарованных мавров — словом, всей этой чертовщины, а иначе пропадай все пропадом.

— Помолись об этом богу, сын мой, и веди меня куда хочешь,— сказал Дон Кихот.— На сей раз я предоставляю выбор ночлега на твое усмотрение. Но только прежде протяни руку и пощупай пальцем, скольких передних и коренных зубов недостает у меня с правой стороны на верхней челюсти, а то мне тут больно.

Санчо засунул ему пальцы в рот и, пощупав, спросил:

— Сколько бабок было у вашей милости с этой стороны?

— Четыре,— отвечал Дон Кихот,— и, не считая зуба мудрости, все до одной были целые и здоровые.

— Припомните хорошенько, сеньор,— сказал Санчо.

— Говорят тебе, четыре, а то и все пять,— подтвердил Дон Кихот.— За всю жизнь у меня ни разу не было воспаления надкостницы, никогда мне не вырывали ни передних, ни коренных зубов, и сами они не падали и не портились.

— Ну, а теперь у вас внизу с этой стороны всего две с половиной бабки,— объявил Санчо,— а наверху даже половинки — и той нет: вся верхняя челюсть гладкая, как ладонь.

— Вот беда! — выслушав от оруженосца эту печальную новость, воскликнул Дон Кихот.— Лучше бы мне отрубили руку, только не ту, в которой я держу меч. Надобно тебе знать, Санчо, что рот без коренных зубов — это все равно что мельница без

жернова, а потому каждый зуб следует беречь пуще алмаза. Впрочем, кто дал суровый обет рыцарства, те должны все невзгоды терпеть безропотно. Итак, садись на осла, друг мой, и указывай путь, а я последую за тобой, куда тебе будет угодно.

Санчо так и сделал и, не сворачивая с большой дороги, которая в этом месте не загибала ни вправо, ни влево, двинулся в ту сторону, где, по его расчетам, можно было найти пристанище.

И вот в то время, как оба они еле тащились, оттого что боль в челюстях не давала Дон Кихоту покоя и мешала ему ехать быстрее, Санчо, дабы его господин рассеялся и развлекся, вздумал повести с ним речь о разных вещах и, между прочим, изрек нечто такое, о чем будет идти речь в следующей главе.

ГЛАВА XIII

О глубокомысленных замечаниях,
коими Санчо поделился со своим господином,
о приключении с мертвым телом,
равно как и о других необычайных происшествиях

— Сдается мне, государь мой, что беды, которые сыплются на нас все эти дни, вернее всего, посланы нам в наказание за ваши грехи — за то, что ваша милость нарушила свой рыцарский устав и не исполнила клятвы, а клялись вы обходиться без скатерти и еще много чего не делать, в чем ваша милость тоже давала клятву, до тех пор пока вы не отнимете у кого-нибудь шлем этого... как его... Маландрина... я уж позабыл, как зовут того мавра.

— Ты совершенно прав, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Откровенно говоря, клятва эта изгладилась из моей памяти. Более того: ты можешь быть уверен, что вся эта история с одеялом произошла единственно потому, что ты вовремя мне про это не напомнил. Но я искуплю свой грех, ибо в уставе рыцарства сказано, как загладить любую вину.

— А разве я тоже в чем-нибудь клялся? — спросил Санчо.

— Это неважно, клялся ты или нет,— сказал Дон Кихот.— Все равно, сколько я понимаю, тебя нетрудно заподозрить в сообщничестве. Так или иначе, нам следует исправить ошибку.

— Коли дело обстоит таким образом,— сказал Санчо,— смотрите, ваша милость, не забудьте ее исправить, как забыли вы свою клятву, а то ну как привидениям взбредет на ум еще раз потешиться надо мной да и над вашей милостью, если они увидят, что вы такой упорный.

Меж тем как они все еще вели этот разговор, по дороге их застигла ночь, прежде нежели они успели найти или хотя бы

заприметить какое-нибудь пристанище; на беду, обоих мучил голод, оттого что вместе с дорожной сумой исчезли их съестные припасы. И в довершение всего их ожидало на сей раз уже не воображаемое, а самое доподлинное приключение. Вот как было дело. Ночь выдалась довольно темная, но, несмотря на это, они продолжали свой путь, ибо Санчо был совершенно уверен, что на больших дорогах постоялые дворы попадаются не реже чем через каждые две мили. Итак, ехали-ехали голодный оруженосец и его господин, который тоже хотел есть, и вдруг заметили, что к ним приближается бесчисленное множество огней, похожих на движущиеся звезды. При виде их Санчо оторопел, а Дон Кихот не поверил собственным глазам; и тот и другой натянули поводья и стали зорко вглядываться, пытаясь уяснить себе, что бы это могло быть; наконец оба увидели, что огни идут прямо на них и по мере своего приближения всё увеличиваются в размерах; тут Санчо задрожал как лист, а у Дон Кихота волосы встали дыбом; затем, слегка приободрившись, он сказал:

— Сомнений нет, Санчо: это одно из величайших и опаснейших приключений, и я должен буду напрячь все свои силы и выказать все свое мужество.

— Что я за несчастный! — воскликнул Санчо.— По всему видно, что это опять призраки, а коли так, то где же я возьму ребра, чтобы расплатиться за это приключение?

— Пусть это даже из призраков призраки, все равно я не позволю им коснуться ворса на твоем платье. Прошлый раз они надругались над тобою единственно потому, что я не в силах был перескочить через забор, но теперь мы в открытом поле и я могу предоставить моему мечу полную свободу действий.

— А если они его заколдуют и прикуют к месту, как прошлый раз, то какой нам будет прок от того, что мы в открытом поле? — спросил Санчо.

— Во всяком случае, не теряй самообладания, Санчо, прошу тебя,— сказал Дон Кихот,— а я не замедлю показать тебе пример.

— Бог даст, не потеряю,— отозвался Санчо.

Оба отъехали в сторону и стали зорко вглядываться, силясь понять, что собой представляют эти блуждающие огни, и немного погодя им удалось различить множество фигур в белых балахонах; это страшное зрелище так подействовало на Санчо Пансу, что он совершенно потерял самообладание: у него зуб на зуб не попадал, точно его трясла лихорадка. Но как же он задрожал и как застучали у него зубы, когда оба они наконец явственно различили, что это такое! Ибо они увидели до двадцати всадников в балахонах, ехавших с зажженными факелами в руках, впереди похоронных дрог, а за дрогами следовали еще шесть всадников в

длинном траурном одеянии*, ниспадавшем чуть ли не до копыт мулов,— судя по их медленному шагу, это были именно мулы, а не лошади. Балахоны словно переговаривались между собой тихими и жалобными голосами. Необычайное зрелище, явившееся взорам наших путешественников в столь поздний час и в таком пустынном месте, способно было навести страх не только на Санчо, но и на его господина. Дело было за Дон Кихотом, а у Санчо давно уже душа в пятки ушла, но, к сожалению, Дон Кихот испытывал противоположное чувство, ибо в эту самую минуту ему живо представилось одно из тех приключений, которые описываются в его любимых романах.

Он вообразил, что похоронные дроги — это траурная колесница, на которой везут тяжело раненного или же убитого рыцаря, и что отомстить за него предназначено не кому-либо, а именно ему, Дон Кихоту; и вот, не долго думая, он выпрямился в седле и, полный отваги и решимости, выехал на середину дороги, по которой неминуемо должны были проехать балахоны, и, как скоро они приблизились, заговорил громким голосом:

— Рыцари вы или не рыцари — все равно, остановитесь и доложите мне, кто вы такие, откуда и куда путь держите и кого везете вы на этой колеснице. По всем признакам, вы являетесь обидчиками или же, наоборот, обиженными, и мне должно и необходимо это знать, для того чтобы наказать вас за совершенное вами злодеяние или же отомстить тем, кто совершил по отношению к вам какую-либо несправедливость.

— Мы торопимся,— отвечал один из балахонов,— а до постоялого двора далеко, и нам недосуг давать столь подробные объяснения.

С этими словами он хлестнул мула и хотел было проехать мимо. Но Дон Кихот, до глубины души оскорбленный таким ответом, схватил мула за узду и сказал:

— Остановитесь, будьте повежливее и отвечайте на мои вопросы, не то я всех вас вызову на бой.

Мул был пугливый, и, когда его схватили за узду, он до того испугался, что взвился на дыбы и сбросил седока наземь. Шедший пешком слуга, видя, что один из балахонов упал с коня, принялся осыпать Дон Кихота бранью; тогда Дон Кихот, и так уже раздраженный, без дальних размышлений взял копьецо наперевес и, ринувшись на одного из облаченных в траур, тяжело ранил его и вышиб из седла; затем он бросился на его спутников, и нужно было видеть, как стремительно он на них нападал и обращал вспять! Казалось, у Росинанта выросли крылья — столь резвый и горделивый скок неожиданно появился у него. Люди в балахонах, народ боязливый и к тому же еще безоружный, мгновенно, не оказав ни малейшего сопротивления, покинули поле

битвы и, с горящими факелами в руках, помчались в разные стороны, так что, глядя на них, можно было подумать, что это ряженые затеяли веселую игру в праздничную ночь. Что же касается облаченных в траур, то они, запутавшись в долгополом своем одеянии, не могли сдвинуться с места, вследствие чего Дон Кихот совершенно безнаказанно отколотил их всех до одного, и они волей-неволей принуждены были отступить в полной уверенности, что это не человек, а сам дьявол, явившийся из преисподней, дабы похитить у них мертвое тело, лежавшее на дрогах.

Санчо смотрел на все это и, дивясь смелости своего господина, говорил себе: «Стало быть, мой господин и на деле столь же храбр и силен, как на словах». Рядом с тем, которого сбросил мул, валялся пылающий факел, и, увидев его при свете этого факела, Дон Кихот подъехал к нему, приблизил острие копья к его лицу и велел сдаваться, пригрозив в противном случае умертвить его. Поверженный ему на это сказал:

— Куда же мне еще больше сдаваться, коли я не могу сдвинуться с места: ведь у меня сломана нога! Умоляю вас, ваша милость: если только вы христианин, то не убивайте меня, ибо это будет величайшее святотатство — ведь я лиценциат, меня рукоположили*.

— Раз вы духовная особа, то какой же черт вас сюда занес? — спросил Дон Кихот.

— Что меня сюда занесло, сеньор? — переспросил поверженный.— Мой горький жребий.

— Он станет еще горше,— возразил Дон Кихот,— если вы не дадите мне удовлетворительных объяснений, коих я у вас с самого начала потребовал.

— Сейчас я вам все объясню,— сказал лиценциат.— Итак, да будет известно вашей милости, что хотя я сперва сказал, что я лиценциат, но на самом деле я всего только бакалавр*, а зовут меня Алонсо Лопес; родом я из Алькобендаса; еду из города Баэсы вместе с одиннадцатью священнослужителями, теми самыми, что бежали с факелами в руках; едем же мы в город Сеговию: мы сопровождаем мертвое тело, лежащее на этих дрогах,— тело некоего кавальеро, который умер в Баэсе и там же был похоронен, а теперь, как я уже сказал, мы перевозим его останки в Сеговию, откуда он родом и где находится его фамильный склеп.

— А кто его умертвил? — спросил Дон Кихот.

— Господь бог при помощи гнилой горячки, которая его и доконала,— отвечал бакалавр.

— Значит, господь избавил меня от обязанности мстить за его смерть,— заключил Дон Кихот,— обязанности, которую я вынужден был бы принять на себя в случае, если бы его убили.

Но коли он умер именно так, как вы рассказываете, то мне остается лишь молча развести руками, ибо если бы мне самому была послана такая смерть, то я поступил бы точно так же. Надобно вам знать, ваше преподобие, что я рыцарь Ламанчский, а зовут меня Дон Кихот, и мой образ действий заключается в том, что я странствую по свету, выпрямляя кривду и заступаясь за обиженных.

— Какой у вас образ действий и как вы там выпрямляете кривду, это мне неизвестно,— возразил бакалавр,— а меня вы самым настоящим образом искалечили, ибо из-за вас я сломал ногу, и теперь мне ее не выпрямить до конца моих дней. Заступаясь же за обиженных, вы меня так обидели, что обиду эту я буду помнить всю жизнь, и потому встреча с искателем приключений явилась для меня истинным злоключением.

— Раз на раз не приходится,— заметил Дон Кихот.— Вся беда в том, сеньор бакалавр Алонсо Лопес, что вы ехали ночью, в траурном облачении, с зажженными факелами, и что-то бормотали — ну прямо выходцы с того света,— невольно подумаешь, что тут дело нечисто. Разумеется, я не мог не исполнить своего долга и напал на вас, и я напал бы на вас, даже если бы знал наверное, что вы бесы из преисподней, за каковых я и принимал вас до последней минуты.

— Видно, уж такая моя судьба,— рассудил бакалавр.— Но раз вы, сеньор странствующий рыцарь, обошлись со мной отнюдь не по-рыцарски, то, по крайней мере, помогите мне, умоляю вас, выкарабкаться из-под мула: ведь у меня нога застряла между стременем и седлом.

— Вот тебе на! — воскликнул Дон Кихот.— Что же вы мне раньше не сказали?

Он тотчас позвал Санчо Пансу, но тот и ухом не повел: его внимание было поглощено разгрузкой обозного мула, которого эти добрые люди основательно навьючили съестными припасами. Санчо сделал из своего пыльника мешок, напихал в него все, что только могло туда войти, навьючил своего осла и, только после этого явившись на зов Дон Кихота, помог сеньору бакалавру выбраться из-под мула и сесть на него верхом, а затем вложил ему в руку факел. Дон Кихот посоветовал бакалавру отправиться вслед за его спутниками и попросил принести им от его имени извинения за то зло, которое он им сделал по не зависящим от него причинам, а Санчо к этому еще прибавил:

— В случае если эти сеньоры пожелают узнать, кто таков этот удалец, который нагнал на них такого страху, то скажите, ваша милость, что это Дон Кихот Ламанчский, по прозванию *Рыцарь Печального Образа.*

Когда же бакалавр удалился, Дон-Кихот спросил Санчо, что

ему вздумалось вдруг, ни с того ни с сего, назвать его *Рыцарем Печального Образа.*

— Сейчас вам скажу,— отвечал Санчо.— Потому я вам дал это название, что когда я взглянул на вас при свете факела, который увез с собой этот горемыка, то у вас был такой жалкий вид, какого я что-то ни у кого не замечал. Верно, вас утомило сражение, а может, это оттого, что вам выбили коренные и передние зубы.

— Не в этом дело,— возразил Дон Кихот.— По-видимому, тот ученый муж, коему вменено в обязанность написать историю моих деяний, почел за нужное, чтобы я выбрал себе какое-нибудь прозвище, ибо так поступали все прежние рыцари: один именовался *Рыцарем Пламенного Меча,* другой — *Рыцарем Единорога,* кто — *Рыцарем Дев,* кто — *Рыцарем Птицы Феникс,* кто — *Рыцарем Грифа,* кто — *Рыцарем Смерти,* и под этими именами и прозвищами они и пользуются известностью во всем подлунном мире. Вот я и думаю, что именно он, этот ученый муж, внушил тебе мысль как-нибудь меня назвать и подсказал самое название: *Рыцарь Печального Образа,* и так я и буду именоваться впредь. А для того чтобы это прозвище ко мне привилось, я при первом удобном случае велю нарисовать на моем щите какое-нибудь весьма печальное лицо.

— Незачем тратить время и деньги на то, чтобы вам рисовали какие-то лица,— возразил Санчо.— Вам стоит лишь поднять забрало и выставить на поглядение собственное свое лицо, и тогда безо всяких разговоров и безо всяких изображений на щите каждый назовет вас *Рыцарем Печального Образа.* Поверьте, что я не ошибаюсь. Честное слово, сеньор,— не в обиду вам будь сказано, ваша милость,— от голода и отсутствия коренных зубов вы так подурнели, что, повторяю, вы смело можете обойтись без грустного рисунка.

Шутка Санчо насмешила Дон Кихота, и все же он не отказался ни от прозвища, ни от придуманного им самим рисунка.

— По всей вероятности, Санчо,— снова заговорил он,— меня уже отлучили от церкви за то, что я поднял руку на ее служителя, хотя, в сущности говоря, я поднял не руку, а вот это самое копьецо. К тому же я и не подозревал, что нападаю на священнослужителей и духовных особ, которых я, как ревностный христианин и католик, чту и уважаю,— мне казалось, что это какие-то чудища, выходцы с того света. Но пусть даже меня и отлучили: сколько я помню, Сид Руй Диас сломал стул королевского посланника* в присутствии его святейшества папы, и тот отлучил его за это, и все же славный Родриго де Вивар поступил тогда, как подобает благородному и смелому рыцарю.

Дон Кихот пожелал удостовериться, что именно лежит на дрогах: мертвое тело или же что-нибудь еще. Санчо, однако ж, воспротивился.

— Сеньор! — сказал он.— Это опасное приключение окончилось для вашей милости благополучнее, нежели все прочие, коих я был свидетелем, но может статься, что люди, которых вы победили и рассеяли, сообразят, что победили их вы один, и, раздосадованные и устыженные, спохватятся, снова пожалуют сюда и зададут нам жару. Осел навьючен как должно, голод не тетка, а потому давайте-ка бодрым шагом вперед,— мертвому, как говорится, место в гробу, а живому подле каравая.

Взяв осла под уздцы, он предложил своему господину следовать за ним, и тот, признав его правоту, без всяких возражений за ним последовал. Некоторое время дорога шла между двумя холмами; вскоре, однако ж, увидев перед собой широкую и укромную долину, они остановились, и Санчо тут же разгрузил осла, а так как у обоих текли слюнки от голода, то, растянувшись на зеленой траве, они устроили себе завтрак, обед и ужин зараз и набили желудки изрядным количеством холодных закусок — тех самых закусок, что составляли ношу обозного мула господ священников, которые, как известно, редко когда не позаботятся о себе. Но тут их снова постигло несчастье, а именно: у них не оказалось ни вина, ни воды, так что им нечем было промочить горло; тогда изнывавший от жажды Санчо, заметив, что долина густо заросла мелкой зеленой травкой, обратился к Дон Кихоту со словами, которые будут приведены в следующей главе.

ГЛАВА XIV

О доселе невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один славный рыцарь на свете не совершал с меньшею для себя опасностью, чем доблестный Дон Кихот Ламанчский

— Эта трава, государь мой, указывает не на что иное, как на то, что где-нибудь поблизости протекает источник или же ручей, питающий ее своею влагой, а потому нам следовало бы пройти чуть подальше: уж верно, мы найдем, где утолить страшную жажду, которая, разумеется, доставляет больше мучений, нежели голод.

Дон Кихот послушался его совета; он взял под уздцы Росинанта, Санчо взял под уздцы осла, предварительно нагрузив его остатками ужина, и оба побрели наугад, ибо ночная тьма мешала им различать предметы; но не прошли они и двухсот шагов, как

вдруг послышался сильный шум воды, как бы низвергавшейся с высоких и отвесных скал. Обрадовались они чрезвычайно; когда же они остановились, чтобы определить, с какой стороны этот шум долетает, то их слуха внезапно достигли странные звуки, и звуки эти сразу расхолодили путников, возмечтавших было о холодной воде, особливо Санчо, по природе своей боязливого и малодушного. И точно: слышались какие-то мерные удары и как будто бы лязг цепей и железа, сливавшийся с яростным шумом воды; однако все это могло навеять ужас на кого угодно, только не на Дон Кихота. Ночь, как уже было сказано, выдалась темная, а им в это время случилось проходить под деревьями, листья которых, легким ветерком колеблемые, зловеще и тихо шумели. Словом, пустынная местность, мрак, шум воды, шелест листьев — все невольно повергало в страх и трепет, тем более что удары не прекращались, ветер не утихал, а утро не наступало; к умножению же их несчастий оба не имели никакого представления о том, где они находятся. Однако Дон Кихот, в груди которого билось сердце неустрашимое, вскочил на Росинанта, схватил щит и, положив копьецо поперек седла, молвил:

— Друг Санчо! Да будет тебе известно, что я по воле небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги. Еще раз повторяю: я тот, кто призван воскресить Рыцарей Круглого Стола, Двенадцать Пэров Франции, Девять Мужей Славы, затмить Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, Фебов, Бельянисов* и весь сонм славных странствующих рыцарей былых времен, ибо в том веке, в котором суждено жить мне, я совершу столь великие и необыкновенные подвиги, перед коими померкнет все самое блистательное, что было совершено ими. Обрати внимание, верный и преданный мой оруженосец, как мрачна эта ночь, какая необычайная царит тишина, как глухо и невнятно шумят деревья, с каким ужасающим ревом вода, на поиски которой мы устремились, падает и низвергается точно с исполинских гор, как режут и терзают наш слух беспрерывные эти удары. Все эти явления, и вместе и порознь, способны поселить боязнь, страх и ужас в сердце самого Марса, а тем паче в сердце того, кто не привык к подобным опасностям и приключениям. Ну, а я не таков: все, что я тебе живописал, лишь укрепляет и бодрит мой дух,— у меня даже сердце готово выпрыгнуть из груди, так страстно жажду я этого приключения, какие бы трудности оно ни представляло. Итак, подтяни подпругу на Росинанте, оставайся с богом и жди меня здесь не более трех дней, и если я за это время не возвращусь, то возвращайся в наше село, а затем, покорнейше тебя прошу, сходи в Тобосо и скажи несравненной моей госпоже Дульсинее, что преданный

ей рыцарь пожертвовал жизнью ради того, чтобы совершить подвиг, которым он снискал бы ее любовь.

При этих словах Санчо Панса заплакал горькими слезами.

— Сеньор! — сказал он.— Я не могу взять в толк, зачем понадобилось вам это ужасное приключение. Сейчас ночь, никто нас здесь не видит, мы смело можем свернуть с дороги и таким образом избежим опасности, хотя бы для этого нам пришлось три дня подряд терпеть жажду. И коли никто нас не видит, то и некому, стало быть, упрекнуть нас в трусости, а я сам сколько раз слыхал, как наш священник, которого ваша милость великолепно знает, говорил с амвона: кто ищет опасности, тот от лица ее и погибнет. Так вот, не должно испытывать долготерпение господне столь нечестивыми делами: ведь от расплаты за них вас может избавить только чудо. Небо и так много для вас сделало: оно спасло вашу милость от подбрасывания на одеяле, коего не суждено было избежать мне, и оно же помогло вам одолеть стольких врагов, что сопровождали покойника, и выйти из боя свободным и невредимым. Если же все это не трогает и не смягчает ваше каменное сердце, то пусть оно смягчится при мысли о том, что не успеет ваша милость удалиться отсюда, как я от страха отдам свою душу первому, кто пожелает ее взять. Я покинул родные края и ушел от жены и детей, чтобы служить вам,— я полагал, что останусь скорее в барышах, нежели в накладе. Однако жадность, от которой, как известно, глаза разбегаются, погубила все мои надежды, и точно: как раз, когда во мне особенно сильна была надежда завладеть этим окаянным и злополучным островом, который ваша милость мне обещала, вы взамен и в счет долга решаетесь расстаться со мной в таком месте, где я живой души не встречу. Ради самого Христа, государь мой, не чините мне столь горькой обиды, а уж если вы во что бы то ни стало намерены совершить этот подвиг, то отложите его по крайней мере до утра, и вот почему: наука, которую я изучил в бытность мою пастухом, говорит мне, что до рассвета остается не больше трех часов, ибо пасть Малой Медведицы над самой нашей головой и линия ее левой лапы показывает, что сейчас полночь.

— Где ты видишь, Санчо, эту свою линию, пасть и затылок? — спросил Дон Кихот.— Ночь темна, на небе ни одна звездочка не проглянет.

— Так-то оно так,— отвечал Санчо,— да у страха глаза велики, и они видят все, что творится под землей, а уж про небо и говорить нечего. Впрочем, по зрелом размышлении, и без того нетрудно догадаться, что скоро утро.

— Скоро или не скоро,— заметил Дон Кихот,— а обо мне ни сейчас, ни когда-либо еще никто не скажет, что слезами и

просьбами меня можно удержать от того, к чему меня обязывают правила рыцарского поведения. А потому, Санчо, пожалуйста, помолчи, ибо господь, ныне исполнивший мое сердце жаждой этого невиданного и ужасного приключения, позаботится о моем здоровье и утешит тебя в твоем горе. Твое дело — как можно лучше подтянуть подпругу на Росинанте и ждать меня, а я скоро возвращусь, живой или мертвый.

Санчо, видя, что Дон Кихот непреклонен и что слезы, советы и мольбы на него не действуют, решился пуститься на хитрости и попытаться задержать его до утра; того ради, подтягивая подпругу, он ловко и незаметно спутал задние ноги Росинанта недоуздком своего осла, так что когда Дон Кихот пожелал тронуться в путь, то это ему не удалось, оттого что конь мог делать теперь только скачки. Санчо Панса, удостоверившись, что его затея увенчалась полным успехом, сказал:

— Глядите, сеньор: небо, растроганное моими слезами и молитвами, велело Росинанту не двигаться. Упорствовать же, вонзать ему шпоры в бока, и то и се, и пятое и десятое — значит навлекать на себя гнев судьбы и, как говорится, прошибать лбом стену.

Дон Кихот приходил в отчаяние: как ни пришпоривал он коня, тот все не двигался; наконец, так и не догадавшись, что Росинант стреножен, он рассудил за благо примириться со своей участью и подождать, пока рассветет или пока у Росинанта вновь появится способность передвигаться.

Так прошла ночь. Наконец, видя, что до утра осталось недолго, Санчо тихохонько распутал Росинанта. Росинант обыкновенно не отличался особой ретивостью, но тут, почуяв свободу, он приободрился, а так как, не в обиду ему будь сказано, курбетов он делать не умел, то ограничился тем, что стал перебирать ногами. Дон Кихот же, глядя на Росинанта, подумал, что это добрый знак — знак того, что пора вступить в жестокий бой. Заря между тем занималась, и окрестные предметы стали явственно различимы, и тут Дон Кихот увидел, что находится он под высокими деревьями, что это каштаны и что они отбрасывают густую тень. Еще он заметил, что удары не прекращаются, но не мог понять, в чем тут дело, а потому, нимало не медля, пришпорил Росинанта и, снова попрощавшись с Санчо, подтвердил свой приказ ждать его самое большее три дня; если же он, мол, к этому времени не вернется, значит, богу было угодно, чтобы он скончал свои дни в этом опасном бою. Затем он еще раз повторил то, что Санчо надлежало передать и сказать от его имени сеньоре Дульсинее; что же касается вознаграждения за услуги, то пусть, мол, Санчо не беспокоится, ибо он, Дон Кихот, перед тем как выехать из деревни, составил завещание, преду-

сматривающее выплату ему жалованья за все время, которое он у него прослужил; если же господь поможет ему выйти из опасного боя здравым, целым и невредимым, то Санчо может считать, что обещанный остров у него в руках. Вновь услышав жалостные речи доброго своего господина, Санчо опять всплакнул и решился не покидать его до конца и исхода дела.

Сочувствие оруженосца растрогало его господина, однако ж не до такой степени, чтобы он поддался слабости,— напротив, он и виду не показал, что расчувствовался, и тотчас же двинулся в том направлении, откуда, как ему казалось, долетал шум воды и удары. Санчо следовал за ним пешком, по обыкновению ведя в поводу верного своего спутника — осла, делившего с ним и горе и радость. Сначала путь их лежал под каштанами и другими тенистыми деревьями, а затем они очутились на лужайке, у подошвы высоких скал, с коих прядали бурные и мощные потоки. У подошвы скал лепились ветхие лачуги, более похожие на развалины, нежели на дома, откуда, по-видимому, и доносился этот все не прекращавшийся стук и грохот. Шум воды и удары напугали Росинанта, но Дон Кихот успокоил его и стал медленно приближаться к домам, всецело отдаваясь под покровительство госпожи своей Дульсинеи и прося ее подать ему силы для сего страшного похода и предприятия, а заодно моля господа бога, чтобы он не оставил его. Санчо шел прямо за своим господином; он вытягивал шею и напрягал зрение — не покажется ли наконец то, что приводило его в такое изумление и ужас. Затем они еще шагов на сто продвинулись, и вот тут-то, обогнув выступ скалы, они и обнаружили единственную причину того зловещего, ужасающего стука, который всю ночь пугал их и не давал им покоя. То были — только ты не гневайся и не огорчайся, читатель! — шесть сукновальных молотов, и они-то и производили этот грохот мерными своими ударами.

Увидев, что это такое, Дон Кихот онемел и замер на месте. Санчо взглянул на него и увидел, что он как бы в смущении потупился. Дон Кихот, в свою очередь, взглянул на Санчо и увидел, что щеки у него надулись, что его душит смех и что по всем признакам он вот-вот прыснет, и не такую уж необоримую власть приобрело над ним уныние, чтобы при взгляде на Санчо он сам мог удержаться от смеха. А Санчо, как увидел, что его господина тоже разбирает смех, разразился таким неудержимым хохотом, что, дабы не лопнуть, принужден был упереться руками в бока. Несколько раз он успокаивался и снова, в столь же бурном порыве веселости, принимался хохотать, так что Дон Кихот начал уже поминать черта и наконец совсем рассвирепел, когда услышал, что Санчо словно бы передразнивает его:

— Да будет тебе известно, о друг мой Санчо, что я по воле

небес родился в наш железный век, дабы воскресить золотой. Я тот, кому в удел назначены опасности, великие деяния, смелые подвиги...

И так повторил он всю или почти всю речь, которую произнес Дон Кихот, когда заслышали они страшные эти удары.

Видя, что Санчо над ним издевается, Дон Кихот поднял копьецо и, не помня себя от стыда и ярости, дважды столь сильно ударил его, что если б эти удары пришлись не по спине, а по голове, то жалованье оруженосца, возможно, получили бы за него наследники, только не сам оруженосец. Санчо смекнул, что шутки не доведут его до добра; боясь, как бы его господин не зашел слишком далеко, он в высшей степени кротко заговорил:

— Успокойтесь, ваша милость. Клянусь богом, я пошутил.

— Вы изволите шутить, ну, а мне не до шуток,— возразил Дон Кихот.— Послушайте, господин весельчак: неужели вы думаете, что если б вместо сукновальных молотов меня ожидало какое-нибудь опасное приключение, то я не выказал бы твердости духа, потребной для того, чтобы начать и кончить дело? И разве я, рыцарь, обязан знать и различать звуки и угадывать, молоты это или не молоты? А что, если я в жизнь свою их не видел? Это вы, скверный мужик, среди них родились и выросли. Вы бы лучше превратили эти шесть молотов в шесть исполинов, и пусть бы они по одному, а то и все сразу сунулись в драку! И вот если б они все, как один, не полетели у меня вверх тормашками, тогда бы вы и шутили надо мной сколько влезет.

— Полно, государь мой,— сказал Санчо.— Я признаю, что чересчур развеселился. Ну, а теперь, когда мы помирились,— и дай бог, чтобы вы изо всех приключений выходили живым и здоровым, как вышли из этого,— скажите мне, ваша милость: то, что мы натерпелись такого страху, ведь правда же это смешно и тут есть о чем рассказать? Я, по крайней мере, натерпелся. Что же касается вашей милости, то мне известно, что вы не знаете и не ведаете ни боязни, ни страха.

— Я не отрицаю, что тут есть чему посмеяться,— сказал Дон Кихот.— Однако ж рассказывать о том, что́ с нами произошло, не следует, ибо не все люди разумны и не все обладают правильным взглядом на вещи.

— У кого правильный взгляд на вещи, так это у вашего копьеца,— сказал Санчо,— потому взгляд его был обращен прямо на мою голову; правда, вы попали мне по спине, но этим я обязан господу богу и той ловкости, с какою я увернулся. Ну ничего, перемелется — мука́ будет. Недаром говорится: «Кого люблю, того и бью». Тем более в обычаях знатных господ — сперва обругать слугу, а потом сейчас же подарить ему штаны. Вот только я не знаю, что принято дарить после побоев,— наверно,

странствующие рыцари, отколошматив оруженосца, тут же дарят ему остров или королевство где-нибудь на суше.

— Дело может принять столь благоприятный оборот, что все, о чем ты говоришь, осуществится,— заметил Дон Кихот.— Забудь же то, что между нами произошло,— ведь ты неглуп, и ты должен знать, что в первых движениях чувства человек не волен, и пусть это послужит тебе уроком, дабы впредь ты не позволял себе так много болтать. Между тем я не помню, чтобы в рыцарских романах, которые мне довелось прочитать, им же несть числа, кто-нибудь из оруженосцев так много разговаривал со своим господином, как ты. По совести сказать, я вижу тут упущение и с моей и с твоей стороны: твое упущение в том, что ты был недостаточно со мною почтителен, мое же — в том, что я не требовал от тебя большей почтительности. А потому отныне мы будем относиться друг к другу с бóльшим уважением и перестанем друг над другом шутки шутить, ибо в чем бы мой гнев ни выразился, все равно вам придется не сладко. Обещанные же мною милости и награды явятся в свое время, а если и не явятся, то жалованье, во всяком случае, от тебя не уйдет, о̀ чем ты уже предуведомлен.

— Все это очень хорошо,— заметил Санчо,— однако ж мне бы хотелось знать — на тот случай, если время милостей так никогда и не настанет и надобно будет подумать о жалованье,— сколько в прежнее время странствующий рыцарь платил своему оруженосцу и расплачивался ли он с ним помесячно или поденно, как все равно с каменщиками.

— Я полагаю, что оруженосцы тогда не состояли на жалованье, а получали награды,— отвечал Дон Кихот.— Я же упомянул тебя в скрепленном печатью завещании, которое осталось у меня дома, просто так, на всякий случай: еще неизвестно, что́ в наше тяжелое время ожидает рыцарство, и я бы не хотел, чтобы из-за какой-то безделицы моя душа мучилась на том свете. Да будет тебе известно, Санчо, что на этом свете нет занятия более опасного, нежели поиски приключений.

— И то правда,— сказал Санчо.— Довольно было стука молотов, чтобы смутить и встревожить дух столь доблестного странствующего искателя приключений, как вы, ваша милость. Но отныне вы можете быть уверены, что если я когда и раскрою рот, то не для того, чтобы смеяться над похождениями вашей милости, а единственно для того, чтобы почтить вас как своего господина и природного сеньора.

— И для тебя настанет спокойная жизнь,— подхватил Дон Кихот,— ибо господин — это второй отец, а потому его и надобно чтить наравне с отцом.

ГЛАВА XV

повествующая о великом приключении, ознаменовавшемся ценным приобретением в виде Мамбринова шлема, а равно и о других происшествиях, которые случились с нашим непобедимым рыцарем

Тем временем стал накрапывать дождь, и Санчо изъявил желание войти в одну из сукновален, однако ж горькая эта насмешка судьбы внушила Дон Кихоту столь сильное к ним отвращение, что он не пожелал туда войти, а повернул направо и выбрался на дорогу вроде той, по которой они ехали накануне. Немного погодя Дон Кихот заметил всадника с каким-то предметом на голове, сверкавшим, точно золото, и, едва завидев его, он обратился к Санчо и сказал:

— Я полагаю, Санчо, что всякая пословица заключает в себе истину, ибо все они суть изречения, добытые из опыта, отца всех наук, особливо та, что гласит: «Одна дверь затворилась, другая отворилась». Говорю я это к тому, что еще вчера случай захлопнул перед нами дверь к приключению, коего мы искали, ибо нас ввел в обман грохот сукновален, а сегодня он настежь распахивает перед нами другую дверь, ведущую к другому, лучшему и на сей раз бесспорному приключению, и вот если я и в нее не сумею войти, то уж тут я буду кругом виноват и ссылки на ночной мрак и на недостаточно близкое знакомство с сукновальнями мне не помогут. Это я говорю к тому, что, если не ошибаюсь, навстречу нам движется некто со шлемом Мамбрина на голове — тем самым шлемом, насчет которого, как тебе известно, я давал клятву.

— Вдумайтесь, ваша милость, в то, что вы говорите, а главное, в то, что вы намерены предпринять,— заметил Санчо.— А вдруг это опять сукновальни, но только такие, которые примутся нас с вами валять и изобьют до бесчувствия?

— Пошел ты к черту! — сказал Дон Кихот.— Что общего между шлемом и сукновальнями?

— Не знаю,— отвечал Санчо.— Но только если б мне было позволено говорить, как прежде, то я, честное слово, привел бы вашей милости такие доводы, что вы, пожалуй, поняли бы вашу ошибку.

— Да в чем же моя ошибка, несносный маловер? — вскричал Дон Кихот.— Скажи, разве ты не видишь, что навстречу нам едет всадник на сером в яблоках коне и что на голове у него золотой шлем?

— Я ничего не вижу и не различаю,— отвечал Санчо,—

кроме человека верхом на пегом осле, совершенно таком же, как мой, а на голове у этого человека что-то блестит.

— Это и есть шлем Мамбрина,— сказал Дон Кихот.— Удались же и оставь меня с ним вдвоем. Ты увидишь, что я, даром времени не теряя, без лишних слов покончу с этим делом, и шлем, о котором я так мечтал, будет мой.

— Да уж я-то непременно удалюсь,— сказал Санчо.— А все-таки меня берет страх: ну как сукновальни — это цветочки, а ягодки, не дай бог, еще впереди?

— Я же вам сказал, любезный, чтобы вы не смели валять дурака и морочить мне голову своими сукновальнями, иначе я из вас душу вытрясу,— отрезал Дон Кихот.

Санчо умолк из боязни, что его господин исполнит сорвавшуюся у него с языка клятву, увесистую, словно булыжник.

А между тем вот что собой представляли шлем, конь и всадник, привидевшиеся Дон Кихоту: надобно заметить, что неподалеку отсюда находилось два селения, при этом в одном из них и аптека и цирюльник были, а в соседнем, совсем маленьком, их не было, по каковой причине цирюльник из села, которое побольше, обслуживал и то, которое поменьше, куда он теперь, взяв с собою медный таз, и направлялся пустить кровь больному и побрить другого жителя села; однако ж судьба устроила так, что цирюльник попал под дождь, и, чтобы не промокла его шляпа — по всей вероятности, новая,— он надел на голову таз, столь тщательно вычищенный, что блеск его виден был за полмили. Ехал он на пегом осле, как Санчо и говорил, а Дон Кихоту указанные обстоятельства дали основание полагать, что тут перед ним и серый в яблоках конь, и всадник, и золотой шлем, ибо все, что ни попадалось ему на глаза, он чрезвычайно легко приводил в согласие со своим помешательством на рыцарях и со злополучными своими вымыслами. И вот, когда он увидел, что несчастный всадник уже близко, то, не вступая с ним в переговоры и намереваясь проткнуть его насквозь, с копьецом наперевес помчался во весь Росинантов мах; однако ж на всем скаку он успел крикнуть:

— Обороняйся, презренная тварь, или же добровольно отдай то, что по праву должно принадлежать мне!

Цирюльник не думал, не гадал столкнуться нос к носу с этим привидением, однако он быстро нашелся и, чтобы острие копьеца не задело его, рассудил за благо сверзиться с осла, а затем, едва коснувшись земли, вскочил и помчался легче лани, так что его не догнал бы и ветер. Таз остался на земле, и Дон Кихот, удовольствовавшись этим, заметил, что язычник поступил благоразумно. Затем он велел Санчо поднять шлем, и тот, взяв его в руки, сказал:

— Ей-богу, хороший таз: такой должен стоить не меньше восьми реалов, это уж наверняка.

Он вручил шлем своему господину, Дон Кихот же тотчас надел его на голову и стал поворачивать то в ту, то в другую сторону, но, так и не обнаружив забрала, сказал:

— У язычника, по мерке которого в свое время выковали этот славный шлем, уж верно, была громадная голова. А хуже всего то, что у этого шлема не хватает половины.

Услышав, что таз для бритья именуется шлемом, Санчо не мог удержаться от смеха, однако ж гнев господина был ему еще памятен, и оттого он живо осекся.

— Чего ты смеешься, Санчо? — спросил Дон Кихот.

— Мне стало смешно,— отвечал он,— когда я представил себе, какая огромная голова была у язычника, владельца шлема: ведь это, ни дать ни взять, таз для бритья.

— Знаешь, что мне пришло на ум, Санчо? Должно думать, этот на славу сработанный чудодейственный шлем по прихоти судьбы попал в руки человека, который не разобрался в его назначении и не сумел оценить его по достоинству, и вот, видя, что шлем из чистого золота, он, не ведая, что творит, вернее всего, расплавил одну половину, чтобы извлечь из этого прибыль, а из другой половины смастерил то самое, что напоминает тебе таз для бритья. Но это несущественно: кто-кто, а уж я-то знаю ему цену, и его превращение меня не смущает. В первом же селе, в котором есть кузнец, я его перекую, и тогда он не только не уступит шлему, сработанному и выкованному богом кузнечного ремесла для бога сражений*, но еще и превзойдет его. А пока что он мне и так пригодится — все лучше, чем ничего. Тем более что от камней он вполне может меня защитить.

— Разумеется, при условии, если камни будут выпущены не из пращей,— возразил Санчо,— как это случилось, когда завязался бой между двумя войсками и когда вашей милости пересчитали зубы и пробили жестянку с тем благословенным бальзамом, от которого у меня чуть не вывернуло нутро.

— Я не очень скорблю об этой утрате,— заметил Дон Кихот.— Тебе же известно, Санчо, что рецепт его я знаю наизусть.

— Я тоже,— сказал Санчо.— Но если я хоть раз в жизни приготовлю его или попробую, то мне крышка. Впрочем, не думаю, чтобы он мне когда-нибудь понадобился: я все свои пять чувств буду держать настороже, чтобы других не ранить и чтобы не ранили меня самого. Вот насчет подбрасывания на одеяле — это другой разговор: от подобных несчастий, пожалуй, не убережешься, и когда они случаются, то уж тут ничего иного не остается, как втянуть голову в плечи, затаить дыхание, закрыть глаза и поручить себя попечению судьбы и одеяла.

— Ты дурной христианин, Санчо,— выслушав его, заключил Дон Кихот,— ты никогда не забываешь однажды причиненного тебе зла, но да будет тебе известно, что сердца благородные и великодушные на такие пустяки не обращают внимания. Что, тебе перебили ногу, или сломали ребро, или проломили голову, что ты никак не можешь забыть эту шутку? В сущности говоря, это была именно шутка, веселое времяпрепровождение, потому что если бы я понял это иначе, то непременно возвратился бы и, отмщая за тебя, нанес более тяжкий урон, нежели греки, мстившие за похищение Елены*. Кстати, можно сказать с уверенностью, что, живи она в наше время, или же моя Дульсинея — во времена Елены, то она, Елена, не славилась бы так своей красотой.

Тут он возвел очи к небу и испустил глубокий вздох. А Санчо сказал:

— Ну пусть это будет шутка, коли мы не имеем возможности отомстить взаправду, хотя я-то отлично знаю, было это взаправду или в шутку, и еще я знаю, что все это навеки запечатлелось в моей памяти, равно как и в моих костях. Но довольно об этом — скажите лучше, ваша милость, что нам делать с серым в яблоках конем, похожим на пегого осла и оставленным здесь без присмотра этим самым, как его, Мам... Мартином, которого ваша милость сбросила наземь. Судя по тому, как он улепетывал и как у него сверкали пятки, едва ли он когда-нибудь за ним вернется. А конь-то, ей-ей, недурен!

— Я не привык грабить побежденных,— возразил Дон Кихот,— да и не в обычаях рыцарства отнимать коней и вынуждать противника идти пешком, если только победитель не утратил своего во время схватки: в сем случае рыцарь волен взять коня у побежденного в качестве трофея, захваченного в правом бою. А потому, Санчо, оставь этого коня или осла — называй как хочешь,— и когда хозяин увидит, что мы удалились, то он за ним возвратится.

— Одному богу известно, как бы мне хотелось взять его себе или, по крайности, обменять на моего,— признался Санчо,— ведь он моему не чета. Поистине суровы законы рыцарства, коли они не дозволяют обменивать одного осла на другого. А скажите на милость, упряжь-то обменять можно?

— В этом я не вполне уверен,— отвечал Дон Кихот.— Вопрос, по правде говоря, сложный, но раз я еще в этом несведущ, то до времени я разрешаю тебе произвести обмен, если только ты крайнюю испытываешь в нем нужду.

— Такую крайнюю,— заметил Санчо,— что если б эта упряжь нужна была мне самому, то и тогда я не так бы по ней страдал.

Получив позволение, он тут же совершил обмен, и на диво разубранный им осел до того сразу похорошел, что на него любо-дорого было смотреть. Засим они покончили со снедью, которая была в свое время обнаружена на обозном муле, и напились из ручья, ни разу при этом не повернув головы в сторону ненавистных сукновален, которые внушили им такой необоримый страх.

Наконец, успокоившись и даже повеселев, они сели верхами, а так как у странствующих рыцарей скитаться без цели вошло в обычай, то они и двинулись без всякой определенной цели, положившись на волю Росинанта, которой обыкновенно подчинялась не только воля хозяина, но и воля осла, следовавшего за ним всюду из чувства товарищества. Как бы то ни было, они снова выбрались на большую дорогу и поехали наудачу, не имея в виду ничего определенного.

Словом, ехали они ехали, как вдруг Санчо обратился к своему господину с такими словами:

— Сеньор! Может статься, вы мне позволите немножко с вами потолковать? А то ведь с тех пор, как вы наложили на меня этот тяжкий обет молчания, в моем желудке сгнило около пяти предметов для разговора, и мне бы не хотелось, чтобы последний, который вертится у меня на языке, тоже без поры без времени скончался.

— Ну говори,— сказал Дон Кихот,— но только будь немногословен, ибо многословие никому удовольствия не доставляет.

— Так вот, сеньор,— начал Санчо,— я уже несколько дней размышляю о том, какое это невыгодное и малоприбыльное занятие — странствовать в поисках приключений, которых ваша милость ищет в пустынных местах и на распутьях, где, сколько бы вы ни одержали побед и из каких бы опасных приключений ни вышли с честью, все равно никто этого не увидит и не узнает, так что, вопреки желанию вашей милости, подвиги ваши будут вечно окружены молчанием, хотя, разумеется, они заслуживают лучшей участи. А потому лучше было бы нам — если только это вам по душе — поступить на службу к императору или же к какому-нибудь другому могущественному государю, который с кем-нибудь воюет, и вот на этом-то поприще ваша милость и могла бы выказать свою храбрость, изумительную свою мощь и еще более изумительные умственные способности, а владетельный князь, у которого мы будем состоять на службе, видя таковое ваше усердие, не преминет воздать каждому из нас по заслугам, и, уж верно, найдется там человек, который на вечные времена занесет в летописи подвиги вашей милости. О моих собственных подвигах я умолчу, ибо оруженосцу из круга прямых его обязанностей выходить не положено,— впрочем, смею вас уверить, что

когда бы у рыцарей существовал обычай описывать подвиги оруженосцев, то о моих вряд ли было бы сказано мимоходом.

— Отчасти ты прав, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Однако ж, прежде чем добиться этой чести, рыцарю в виде испытания надлежит странствовать по свету в поисках приключений, дабы, выйдя победителем, стяжать себе славу и почет, так что ко времени своего появления при дворе он должен быть уже известен своими делами настолько, что мальчишки, видя, что он въезжает в городские ворота, тотчас сбегутся, обступят его и начнут кричать: «Вот Рыцарь Солнца», или: «Вот Рыцарь Змеи», смотря по тому, под каким именем стал он известен великими своими подвигами. «Это он,— скажут они,— в беспримерном сражении одолел страшного великана Брокабруна, невиданного силача, это он расколдовал мамелюка Персидского, пребывавшего заколдованным около девятисот лет». И так из уст в уста начнет переходить весть о его деяниях, и сам король, заслышав крики мальчишек и шум толпы, подойдет к окну своего королевского дворца и, взглянув на рыцаря, тотчас узнает его по доспехам или же по девизу на щите и непременно скажет: «Гей вы, мои рыцари! Сколько вас ни есть при дворе, выходите встречать красу и гордость рыцарства, ныне нас посетившую». И по его повелению выйдут все, а сам король спустится даже до середины лестницы, прижмет рыцаря к своей груди и в знак благоволения запечатлеет поцелуй на его ланите, а затем возьмет его за руку и отведет в покои сеньоры королевы, и там его встретят она и ее дочь, инфанта, само собою разумеется, столь прекрасное и совершенное создание, каких в известных нам странах если и можно сыскать, то с превеликим трудом. В то же мгновение она обратит свой взор на рыцаря, рыцарь на нее, и каждому из них покажется, будто перед ним не человек, но ангел, и, сами не отдавая себе отчета, что, как и почему, они неминуемо запутаются в хитросплетенной любовной сети, и сердце у них заноет, ибо они не будут знать, как выразить свои чувства и свое томление. Затем рыцаря, разумеется, отведут в один из дворцовых покоев, роскошно обставленный, и там с него снимут доспехи и облекут в роскошную алую мантию, и если он и вооруженный казался красавцем, то столь же и даже еще прекраснее покажется он без оружия. Ввечеру он сядет ужинать с королем, королевою и инфантою и украдкой от сотрапезников своих будет ловить ее взоры, а она с не меньшею опаскою будет смотреть на него, ибо, как я уже сказал, это в высшей степени благонравная девица. Затем все встанут из-за стола, и тут невзначай войдет в залу безобразный маленький карлик, а за ним прекрасная дуэнья* в сопровождении двух великанов, и дуэнья эта, предложив испытание, придуманное каким-нибудь древнейшим мудрецом, объ-

явит, что победитель будет признан первым рыцарем в мире.

Король сей же час велит всем присутствующим попробовать свои силы, но, к вящей славе своей, устоит до конца и выдержит это испытание один лишь рыцарь-гость, чем несказанно обрадует инфанту, и инфанта почтет себя счастливою и вознагражденною за то, что она столь высоко устремила и вперила взоры души своей. Но это еще не все: король или же князь, все равно — кто бы он ни был, ведет кровопролитную войну с другим, таким же могущественным, как и он, и рыцарь-гость по прошествии нескольких дней, проведенных им при дворе, попросит у него позволения послужить ему на поле брани. Король весьма охотно согласится, и рыцарь в благодарность за оказанное благодеяние почтительно поцелует ему руку. В ту же ночь он простится со своей госпожою-инфантою через решетку сада, куда выходят окна ее опочивальни, через ту самую решетку, через которую он уже не раз с нею беседовал с ведома и при содействии служанки, пользующейся особым ее доверием. Он вздохнет, ей станет дурно, служанка принесет воды и, опасаясь за честь своей госпожи, будет сильно сокрушаться, ибо утро, мол, близко и их могут увидеть. Наконец инфанта придет в себя и через решетку протянет рыцарю белые свои руки, и тот покроет их поцелуями и оросит слезами. Они условятся между собою, как им уведомлять друг друга обо всем хорошем и дурном, что с ними случится, и принцесса станет умолять его возвратиться как можно скорее. Рыцарь торжественное дает обещание, снова целует ей руки и уходит от нее в таком отчаянии, что кажется, будто он вот сейчас умрет. Он удаляется к себе, бросается на свое ложе, но скорбь разлуки гонит от него сон, и он встает чуть свет и идет проститься с королем, королевою и инфантою. Но вот он простился с королем и с королевою, и тут ему говорят, что сеньора инфанта нездорова и не может его принять. Рыцарь догадывается, что причиной тому — боль от расставания с ним, и сердце у него разрывается на части, и ему стоит огромных усилий не выдать себя. Здесь же находится служанка-наперсница, она все замечает и спешит доложить своей госпоже, и та встречает ее со слезами на глазах и говорит, что ей так тяжело не знать, кто ее рыцарь и королевского он рода или нет. Служанка уверяет ее, что учтивость, изящество и храбрость, какие выказал ее рыцарь, суть приметные свойства человека, принадлежащего к знатному, королевскому роду. Изнывавшая инфанта утешилась. Дабы не возбудить подозрений у родителей, она пересиливает себя и спустя два дня выходит на люди. Рыцарь между тем уже уехал. Он сражается на войне, побеждает врагов короля, завоевывает множество городов, выигрывает множество сражений, возвращается ко двору, видится со своею повелительницею в обычном

месте и сообщает ей, что в награду за оказанные услуги он намерен просить у короля ее руки. Король не согласен выдать ее за него, ибо не знает, кто он таков. Однако ж, то ли он похитил ее, то ли каким-либо другим путем, но только инфанта становится его женою, и отец ее в конце концов почитает это за великое счастье, ибо ему удается установить, что рыцарь тот — сын доблестного короля какого-то там королевства,— думаю, что на карте оно не обозначено. Король умирает, инфанта — наследница, рыцарь в мгновение ока становится королем. Вот когда наступает время осыпать милостями оруженосца и всех, кто помог ему достигнуть столь высокого положения: он женит оруженосца на служанке инфанты, разумеется на той самой, которая была посредницею в их сердечных делах,— при этом оказывается, что она дочь весьма родовитого герцога.

— Этого-то я и добиваюсь, скажу вам по чистой совести, на это я и возлагаю надежды,— признался Санчо.

— Ты смело можешь надеяться,— заметил Дон Кихот,— ибо таким путем и по тем же самым ступеням странствующие рыцари и восходили на королевский и императорский престолы. Теперь нам остается только узнать, кто из христианских или языческих королей ведет войну и у кого из них есть красавица дочь. Но об этом у нас еще будет время подумать, ибо, как я уже сказал, прежде чем являться ко двору, необходимо прославиться где-нибудь в другом месте. Притом мне еще кое-чего недостает: положим даже, есть на свете такой воюющий король с красавицей дочкой, а невероятная моя слава прогремела во всей вселенной, но я себе не представляю, может ли так получиться, что я окажусь принцем крови или, по крайней мере, троюродным братом императора. Ведь король, не получив достоверных сведений, не пожелает выдать за меня свою дочь, хотя бы славные мои деяния заслуживали большего. И вот из-за этого изъяна я рискую потерять то, что я вполне заслужил своею доблестью. Правда, я происхожу из старинного дворянского рода, я — помещик и землевладелец, и весьма возможно, что тот ученый муж, который возьмется написать мою историю, до такой степени точно установит мое родство и происхождение, что я окажусь внуком короля в пятом или шестом колене. Надобно тебе знать, Санчо, что родословные бывают двух видов: иные ведут свое происхождение от владетельных князей и монархов, однако род их с течением времени постепенно оскудевает и суживается, подобно перевернутой вниз острием пирамиде; иные вышли из простонародья, но мало-помалу поднимаются со ступени на ступень и наконец становятся знатными господами. Таким образом, разница между ними та, что одни были когда-то тем, чем они уже не являются ныне, а другие ныне являются тем, чем они не были

прежде. И может статься, что я принадлежу к первым, то есть выяснится наконец, что предки у меня были великие и славные, и король, мой тесть, каковым ему надлежит стать, вне всякого сомнения этим удовольствуется, а если и не удовольствуется, то все равно инфанта воспылает ко мне столь страстной любовью, что наперекор родительской воле и хотя бы она знала наверное, что я сын водовоза, наречет меня своим повелителем и супругом. Если же нет, то самый верный способ — похитить ее и увезти куда мне заблагорассудится, а гнев родителей укротят время и смерть.

— Стало быть, верно говорят иные негодники: «Не проси честью того, что можно взять силой»,— заметил Санчо.— Впрочем, сюда еще больше подходит другая поговорка: «Лихой наскок лучше молитвы добрых людей». Говорю я это к тому, что если сеньор король, тесть вашей милости, не соизволит выдать за вас сеньору инфанту, то придется, как говорит ваша милость, похитить ее и куда-нибудь отправить. Да вот беда: пока вы не помиритесь и пока не начнется ваше мирное царствование, бедный оруженосец в ожидании милостей будет, поди, щелкать зубами. Разве только служанка-наперсница, будущая его супруга, последует за инфантой и он, пока небо не распорядится иначе, станет делить с ней горе пополам,— ведь его господину, думается мне, ничего не стоит сделать так, чтобы служанка тут же сочеталась с ним законным браком.

— Никаких препятствий к тому я не вижу,— заметил Дон Кихот.

— А коли так,— подхватил Санчо,— то нам остается лишь поручить себя воле божьей и положиться на судьбу, а уж она сама приведет нас к лучшему.

— Да исполнит господь мое желание,— молвил Дон Кихот,— и да пошлет он и тебе, Санчо, то, в чем ты нуждаешься. Когда я воссяду на королевский престол, ты у меня сей же час получишь дворянство, и тебе не придется ни покупать, ни выслуживать его. Стоит мне пожаловать тебя графом, и вот ты уже и дворянин, а там пусть говорят что хотят; честью клянусь, что каждый волей-неволей станет величать тебя *ваше сиятельство*.

— А уж я графского устроинства не посрамлю, можете быть уверены! — сказал Санчо.

— *Достоинство* должно говорить, а не *устроинство*,— поправил его Дон Кихот.

— Пусть будет так,— согласился Санчо Панса.— Я хочу сказать, что отлично сумею к нему приноровиться. Если я накину себе на плечи герцогскую мантию, стану ходить в золоте да в жемчуге, что́ твой иностранный граф? Головой ручаюсь, что тогда со всех концов начнут стекаться, только чтобы на меня поглазеть.

— Вид у тебя будет благопристойный,— сказал Дон Кихот.— Однако тебе придется чаще брить бороду, а то она у тебя густая, всклокоченная и растрепанная, и если ты не возьмешь себе за правило бриться по крайней мере через день, то на расстоянии мушкетного выстрела будет видно, кто ты есть на самом деле.

— Да на что проще — нанять брадобрея и держать его при себе на жалованье? — сказал Санчо.— В случае нужды он за мной по пятам будет ходить, как все равно конюший за грандом*.

— А почем ты знаешь, что конюшие ходят за грандами? — спросил Дон Кихот.

— Сейчас вам скажу,— отвечал Санчо.— Назад тому несколько лет я прожил месяц в столице, и там мне довелось видеть, как прогуливался один очень низенький господин, хотя про него говорили, что это особа весьма высокопоставленная, и куда бы он ни свернул — всюду за ним хвостом какой-то человек верхом на коне. Я спросил, отчего этот человек никогда не поравняется с ним, а все держится позади. Мне ответили, что это его конюший и что у грандов такой обычай — всюду таскать конюшего за собой. И так я тогда крепко запомнил эти слова, что они у меня и по сию пору сохранились в памяти.

— Должен сказать, что ты прав и что у тебя есть основания к тому, чтобы за тобой ходил брадобрей,— заметил Дон Кихот.— Обычаи устанавливаются и вводятся не сразу, а постепенно, и ты смело можешь быть первым графом, за которым ходил брадобрей. К тому же бреющий бороду — лицо более доверенное, нежели седлающий коня.

— Что касается брадобрея, то это уж моя забота,— сказал Санчо,— а забота вашей милости — постараться стать королем и произвести меня в графы.

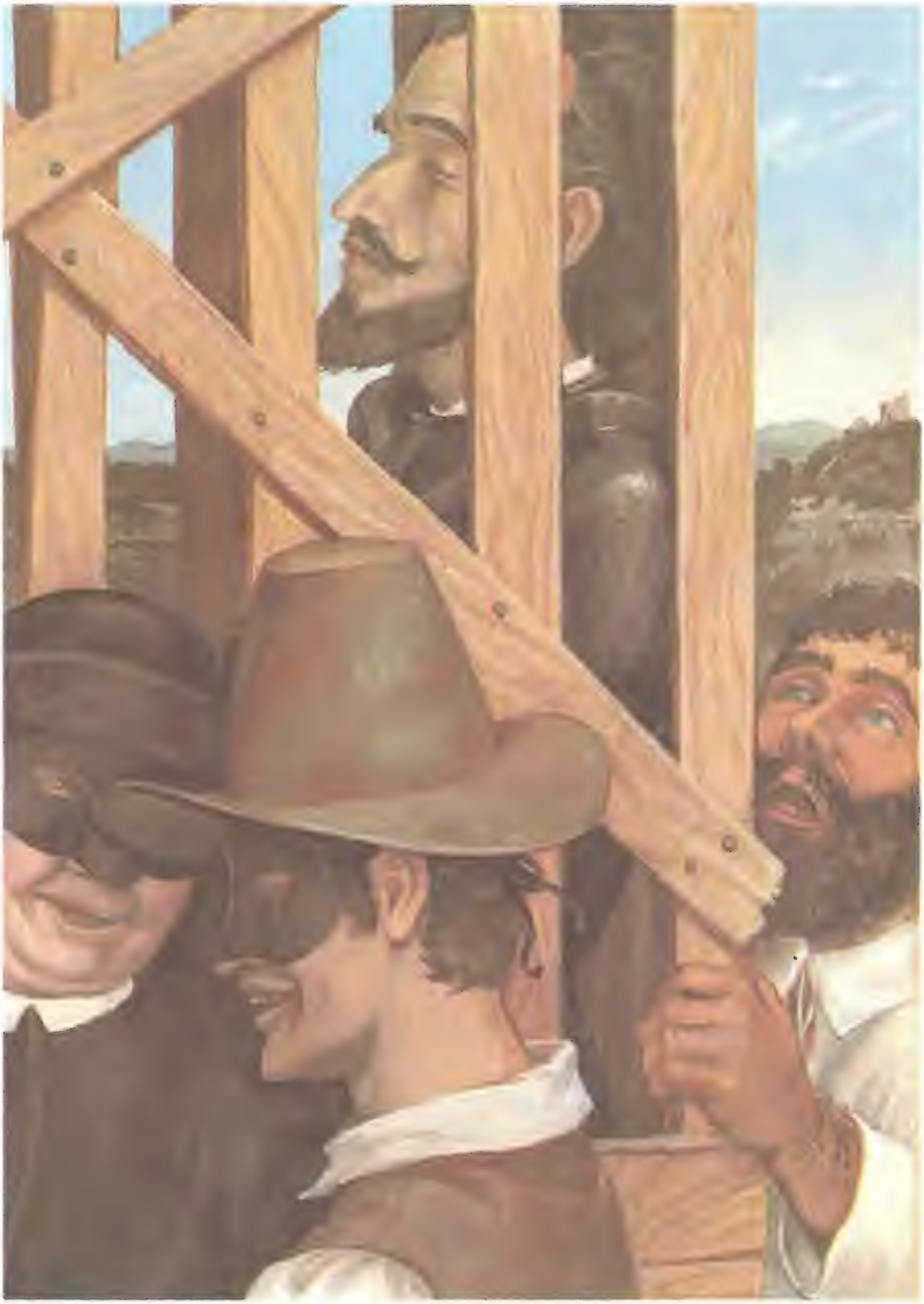
— Так оно и будет,— подтвердил Дон Кихот.

Тут он поднял глаза и увидел нечто такое, о чем пойдет речь в следующий раз.

ГЛАВА XVI

О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых насильно вели туда, куда они не имели ни малейшего желания идти

Славный Дон Кихот Ламанчский, обменявшись со своим оруженосцем Санчо Пансой мнениями, которые приводятся в конце предыдущей главы, поднял глаза и увидел, что навстречу ему по той же самой дороге идут пешком человек двенадцать,



К стр. 194

нанизанных, словно четки, на длинную железную цепь, обмотанную вокруг их шеи, все до одного в наручниках. Цепь эту сопровождали двое верховых и двое пеших, верховые — с самопалами, пешие же — с копьями и мечами; и Санчо Панса, едва завидев их, молвил:

— Это каторжники, королевские невольники, их угоняют на галеры*.

— Как невольники? — переспросил Дон Кихот.— Разве король насилует чью-либо волю?

— Я не то хотел сказать,— заметил Санчо.— Я говорю, что эти люди приговорены за свои преступления к принудительной службе королю на галерах.

— Словом, как бы то ни было,— возразил Дон Кихот,— эти люди идут на галеры по принуждению, а не по своей доброй воле.

— Вот-вот,— подтвердил Санчо.

— В таком случае,— заключил его господин,— мне надлежит исполнить свой долг: искоренить насилие и оказать помощь и покровительство несчастным.

— Примите в соображение, ваша милость,— сказал Санчо,— что правосудие, то есть сам король, не чинит над этими людьми насилия и не делает им зла, а лишь карает их за преступления.

В это время приблизилась цепь каторжников, и Дон Кихот с отменною учтивостью попросил конвойных об одном одолжении, а именно — сказать и объяснить ему, что за причина или, вернее, что за причины, заставляющие их вести этих людей таким образом. Один из верховых ответил, что это каторжники, люди, находящиеся в распоряжении его величества, и что отправляются они на галеры,— это, дескать, все, что он может ему сообщить, а больше ему и знать не положено.

— Со всем тем,— возразил Дон Кихот,— я бы хотел знать, какая беда стряслась с каждым из них в отдельности.

Засим он наговорил конвойным столько любезностей и привел столько разумных доводов, чтобы побудить их исполнить его просьбу, что второй всадник наконец сказал:

— Хотя мы и везем с собой дела всех этих горемык, однако нам некогда останавливаться, доставать их и читать. Расспросите их сами, ваша милость,— они вам расскажут, если пожелают, а они, уж верно, пожелают, ибо любимое занятие этих молодцов — плутовать и рассказывать о своих плутнях.

Получив позволение,— впрочем, не получи его Дон Кихот, так он бы сам себе это позволил,— рыцарь наш приблизился к цепи и спросил первого каторжника, за какие грехи он вынужден был избрать столь неудобный способ путешествия. Тот ответил, что путешествует он таким образом потому, что был влюблен.

— Только поэтому? — воскликнул Дон Кихот.— Да если бы всех влюбленных ссылали на галеры, так я уже давным-давно должен был бы взяться за весла.

— Ваша милость совсем про другую любовь толкует,— заметил каторжник.— Мое увлечение было особого рода: мне так приглянулась корзина, полная белья, и я так крепко прижал ее к груди, что не отними у меня ее правосудие силой, то по своей доброй воле я до сих пор не выпустил бы ее из рук. Я был пойман на месте преступления, пытка оказалась не нужна, и мне тут же вынесли приговор: спину мою разукрасили с помощью сотни розог, в придачу я получил ровнехонько *три галочки*, и крышка делу.

— Что значит *три галочки?* — осведомился Дон Кихот.

— Это значит три года галер,— пояснил каторжник.

Это был парень лет двадцати четырех. С тем же вопросом Дон Кихот обратился ко второму каторжнику, но тот, печальный и унылый, ничего ему не ответил; однако ж за него ответил первый,— он сказал:

— Этого, сеньор, угоняют за то, что он был канарейкой, то есть за музыку и пение.

— Что такое? — продолжал допытываться Дон Кихот.— Разве музыкантов и певцов тоже ссылают на галеры?

— Да, сеньор,— отвечал каторжник.— Хуже нет, когда кто запоет с горя.

— Я слышал, наоборот,— возразил наш рыцарь,— кто песни распевает, тот грусть-тоску разгоняет.

— Ну, а тут по-другому,— сказал каторжник.— Кто хоть раз запоет, тот потом всю жизнь плакать будет.

— Ничего не понимаю,— сказал Дон Кихот.

Но тут к нему обратился один из конвойных:

— Сеньор кавальеро! *Петь с горя* на языке этих нечестивцев означает признаться под пыткой. Этого грешника пытали, и он сознался в своем преступлении, а именно в том, что занимался конокрадством, сиречь крал коней, и как скоро он признался, то его приговорили к шести годам галер и сверх того к двум сотням розог, каковые его спина уже восчувствовала. Задумчив же он и грустен оттого, что другие мошенники — как те, что остались в тюрьме, так и его спутники — обижают и презирают его, издеваются над ним и в грош его не ставят, оттого что он во всем сознался и не имел духу отпереться. Ибо, рассуждают они, в слове *не* столько же букв, сколько в *да*, и преступник имеет то важное преимущество, что жизнь его и смерть зависят не от свидетелей и улик, а от его собственного языка. Я же, со своей стороны, полагаю, что они недалеки от истины.

— И мне так кажется,— сказал Дон Кихот.

Приблизившись к третьему, он спросил его о том же, о чем спрашивал других, и тот живо и без всякого стеснения ему ответил:

— Я отправляюсь на пять лет к сеньорам *галочкам* за то, что у меня не оказалось десяти дукатов.

— Да я с величайшим удовольствием дам двадцать, лишь бы выручить вас из беды,— сказал Дон Кихот.

— Это все равно,— возразил каторжник,— как если бы кто-нибудь очутился в открытом море, будучи при деньгах, и умирал с голоду оттого, что ему негде купить съестного. Говорю я это к тому, что если б ваша милость вовремя предложила мне эти самые двадцать дукатов, то я смазал бы ими перо стряпчего и вдохновил на выдумки моего поверенного, так что гулял бы я теперь в Толедо, а не по этой дороге, будто взятая на свору борзая. Ну да бог не без милости. Терпение, а там видно будет.

Сзади всех шел мужчина лет тридцати, весьма приятной наружности, если не считать того, что один его глаз все поглядывал в сторону другого. Скован он был не так, как его спутники: на ноге у него была цепь, столь длинная, что ее достало на то, чтобы обвить все его тело, а шею облегали два кольца — одно припаянное к цепи, и другое, так называемое *стереги друга*, или же *дружеское объятие*, при помощи двух железных прутьев соединявшееся у пояса с наручниками, которые были замкнуты тяжелыми замками, так что он не мог ни рук поднести ко рту, ни опустить голову на руки. Дон Кихот спросил, почему на этом человеке больше оков, нежели на других. В ответ конвойный ему сказал, что он один совершил больше преступлений, нежели все остальные, вместе взятые, и что хотя он и скован по рукам и ногам, однако стража, зная его дерзость и необычайную пронырливость, не может за него поручиться и все еще опасается, как бы он от нее не сбежал.

— Какие же такие за ним преступления, если его приговорили всего лишь к ссылке на галеры? — спросил Дон Кихот.

— Да, но к десяти годам,— возразил конвойный.— Довольно сказать, что этот душа-человек есть не кто иной, как знаменитый Хинес де Пасамонте, а еще его зовут Хинесильо де Ограбильо.

— Сеньор комиссар! Прикусите язык,— вмешался каторжник,— не будем перебирать чужие имена и прозвища. Меня зовут Хинес, а не Хинесильо, и я из рода Пасамонте, а не Ограбильо, как уверяет ваше благородие. Не мешает кое-кому оглянуться на себя, это было бы куда полезнее.

— Сбавьте-ка тон, сеньор первостатейный разбойник,— прикрикнул на него комиссар,— если не хотите, чтоб я силой заставил вас замолчать!

— Конечно, человек предполагает, а бог располагает,— за-

метил каторжник,— но все-таки спустя некоторое время некоторым станет известно, прозываюсь я Хинесильо де Ограбильо или нет.

— Да разве тебя не так зовут, мошенник? — вскричал конвойный.

— Зовут-зовут да и перестанут,— отвечал Хинес.— Сеньор кавальеро! Если вы намерены нам что-нибудь пожертвовать, то жертвуйте и поезжайте с богом — вы нам уже опостылели своим назойливым любопытством к чужой жизни. Если же вам любопытно узнать мою жизнь, то знайте, что я Хинес де Пасамонте и что я ее описал собственноручно.

— То правда,— подтвердил комиссар,— он в самом деле написал свою биографию, да так, что лучше нельзя, только книга эта за двести реалов заложена в тюрьме.

— Но я не премину выкупить ее, хотя бы с меня потребовали двести дукатов,— объявил Хинес.

— До того она хороша? — осведомился Дон Кихот.

— Она до того хороша,— отвечал Хинес,— что по сравнению с ней *Ласарильо с берегов Тормеса** и другие книги, которые в этом роде были или еще когда-нибудь будут написаны, ни черта не стоят. Смею вас уверить, ваше высокородие, что все в ней правда, но до того увлекательная и забавная, что никакой выдумке за ней не угнаться.

— А как называется книга? — спросил Дон Кихот.

— *Жизнь Хинеса де Пасамонте*,— отвечал каторжник.

— И она закончена? — спросил Дон Кихот.

— Как же она может быть закончена, коли еще не кончена моя жизнь? — возразил Хинес.— Я начал прямо со дня рождения и успел довести мои записки до той самой минуты, когда меня последний раз отправили на галеры.

— Значит, вы уже там разок побывали? — спросил Дон Кихот.

— Прошлый раз я прослужил там богу и королю четыре года и отведал и сухарей и плетей,— отвечал Хинес.— И я не очень жалею, что меня снова отправляют туда же,— там у меня будет время закончить книгу. Ведь мне еще о многом предстоит рассказать, а у тех, кто попадает на испанские галеры, досуга более чем достаточно, хотя, впрочем, для моих писаний особо длительного досуга и не требуется: все это еще свежо в моей памяти.

— Ловок же ты, как я посмотрю,— сказал Дон Кихот.

— И несчастен,— примолвил Хинес.— Людей даровитых несчастья преследуют неотступно.

— Несчастья преследуют мерзавцев,— поправил его комиссар.

— Я уже вам сказал, сеньор комиссар, чтобы вы прикусили язык,— снова заговорил Пасамонте.— Начальство вручило вам этот жезл не для того, чтобы вы обижали нас, горемычных, а для того, чтобы вы привели и доставили нас к месту, назначенному королем. Иначе даю голову на отсечение... ну да ладно, может статься, в один прекрасный день отольются кошке мышкины слезки. А пока молчок, будем относиться друг к другу с почтением, выражаться еще почтительнее, и пора в путь: полно, в самом деле, дурачиться.

В ответ на эти угрозы комиссар замахнулся жезлом, но Дон Кихот, загородив Пасамонте, попросил не обижать его на том основании, что невелика беда, если у человека со связанными накрепко руками слегка развязался язык. И, обращаясь ко всей цепи, молвил:

— Из всего, что вы мне поведали, любезнейшие братья, я делаю вывод, что хотя вы пострадали не безвинно, однако ж предстоящее наказание вам не очень-то улыбается и вы идете отбывать его весьма неохотно и отнюдь не по доброй воле. И может статься, что малодушие, выказанное одним во время пытки, безденежье в другом случае, отсутствие покровителей у кого-то еще и, наконец, неправильное решение судьи послужили причиною вашей гибели и того, что вы не сумели оправдаться. Все это живо представляется мысленному моему взору и словно уговаривает, убеждает, более того: подстрекает меня доказать вам, что небо даровало мне жизнь, дабы я принял обет рыцарства и дал клятву защищать обиженных и утесняемых власть имущими. Однако ж, зная, что один из признаков мудрости — не брать силой того, что можно взять добром, я хочу попросить сеньоров караульных и комиссара об одном одолжении, а именно: расковать вас и отпустить с миром, ибо всегда найдутся другие, которые послужат королю при более благоприятных обстоятельствах, превращать же в рабов тех, кого господь и природа создали свободными, представляется мне крайне жестоким. Тем более, сеньоры конвойные,— продолжал Дон Кихот,— что эти несчастные лично вам ничего дурного не сделали. Пусть каждый сам даст ответ за свои грехи. На небе есть бог, и он неустанно карает зло и награждает добро, а людям порядочным не пристало быть палачами своих ближних, до которых, кстати сказать, им и нужды нет. Я говорю об этом с вами мягким и спокойным тоном, дабы, если вы исполните мою просьбу, мне было за что вас благодарить. Если же вы не исполните ее по своему хотению, то это копье и меч купно с сильною моею рукою принудят вас к тому силой.

— Что за глупая шутка! — воскликнул комиссар.— До хорошеньких же вещей договорился этот забавник! Он, видите

ли, желает, чтобы мы выпустили королевских невольников, как будто мы вправе освобождать их, а он — отдавать надлежащие распоряжения! Час добрый, ваша милость, поправьте на голове таз, поезжайте своей дорогой и перестаньте, сеньор, лезть на стену.

— Я вас самого заставлю на стену лезть, подлец! — вскричал Дон Кихот.

И недолго думая он столь решительно напал на комиссара, что тот, не успев изготовиться к обороне, сраженный копьем своего недруга, грянулся оземь; и то была необычайная для Дон Кихота удача, ибо только комиссар и был вооружен мушкетом. Других конвойных это неожиданное происшествие ошеломило и озадачило; однако, опамятовавшись, верховые взялись за мечи, пешие — за копья, и все вместе напали на Дон Кихота, Дон Кихот же с превеликим спокойствием их поджидал; и ему бы, уж верно, несдобровать, когда бы каторжники, смекнув, что им представляется случай обрести свободу, не предприняли попытку им воспользоваться и не попытались порвать цепь, на которую они были нанизаны. Поднялась невероятная кутерьма: конвойные то бросались к каторжникам, которые уже распутывали цепь, то отбивались от наседавшего на них Дон Кихота — и всё без толку. Санчо, со своей стороны, способствовал освобождению Хинеса де Пасамонте, и тот — первый, кто сбросил с себя оковы и вырвался на свободу,— подскочил к поверженному комиссару, выхватил у него из рук шпагу и мушкет и стал целиться в конвойных и делать выпады, но так и не открыл огня, ибо в то же мгновение на поле брани не осталось ни одного конвойного: все они дали тягу, устрашенные мушкетом Пасамонте, равно как и градом камней, коим другие каторжники, тоже вырвавшиеся на свободу, их осыпáли. Происшествие это повергло Санчо Пансу в немалое уныние, ибо он полагал, что бежавшие явятся с донесением в Святое братство и оно сей же час ударит в набат и отправится на розыски преступников. Своими опасениями он поделился с Дон Кихотом и посоветовал ему как можно скорее отсюда уехать и скрыться в ближних горах.

— Хорошо, хорошо,— сказал Дон Кихот,— я сам знаю, как мне надлежит поступить.

Затем он созвал каторжников, которые уже успели до нитки обчистить комиссара и разбрелись по полю, и они обступили его, ожидая, что он им скажет,— он же повел с ними такую речь:

— Люди благовоспитанные почитают за должное отблагодарить того, кто сослужил им службу, ибо из всех грехов наиболее гневящий господа — это неблагодарность. Говорю я это к тому, что вы, сеньоры, на собственном опыте, воочию убедились, что

я сослужил вам службу. И вот я бы хотел — и такова моя воля,— чтобы в благодарность за это вы, отягченные цепью, от которой я вас избавил, сей же час тронулись в путь и, прибыв в город Тобосо, явились к сеньоре Дульсинее Тобосской, передали ей привет от ее рыцаря, то есть от Рыцаря Печального Образа, и во всех подробностях рассказали ей об этом славном приключении вплоть до того, как вы обрели желанную свободу. А засим вы можете отправляться куда вам угодно, на все четыре стороны.

Хинес де Пасамонте ответил за всех.

— Ваша милость, государь и спаситель наш, требует от нас невозможного,— сказал он,— ибо не гурьбою надлежит нам ходить по дорогам, но обособленно и порознь, причем все мы будем рады сквозь землю провалиться, лишь бы нас не обнаружило Святое братство, которое, вне всякого сомнения, уже снарядило за нами погоню. Пусть лучше ваша милость — и это будет самое правильное — велит нам вместо хождения на поклон к сеньоре Дульсинее Тобосской прочитать столько-то раз «Богородицу» и «Верую», и мы их прочтем с мыслью о вас,— вот это поручение можно исполнять и днем и ночью, и убегая и отдыхая, как в состоянии мира, так и в состоянии войны. Но воображать, будто мы снова захотим вкусить райское блаженство, то есть снова наденем цепь, а потом зашагаем по дороге к Тобосо,— это все равно что воображать, будто сейчас ночь, тогда как на самом деле еще и десяти утра нет, и обращаться к нам с подобной просьбой — это все равно что на вязе искать груш.

— В таком случае я клянусь,— в сердцах воскликнул Дон Кихот,— что вы, дон Хинесильо де Награбильо, или как вас там, мерзавец вы этакий, отправитесь туда один, с поджатым хвостом и влача на себе всю цепь!

Пасамонте отнюдь не отличался долготерпением, а кроме того, он живо смекнул, что Дон Кихот поврежден в уме, иначе он не сделал бы такой глупости и не освободил бы их; и вот, видя, что с ним так обходятся, он подмигнул товарищам, после чего все они отошли в сторону, и тут на Дон Кихота посыпалось столько камней, что он не успевал закрываться щитом, а бедняга Росинант не обращал ни малейшего внимания на шпоры, точно он был деревянный. Санчо спрятался за своего осла и загородился им от градовой тучи камней, коей суждено было пролиться над ними обоими. Дон Кихот был не столь уж хорошо защищен: несколько булыжников стукнулось об него, да еще с такой силой, что он свалился с коня; и только он упал, как на него насел один из каторжников, сорвал с головы таз, три или четыре раза огрел им Дон Кихота по спине, столько же раз хватил его оземь и чуть не разбил. Вслед за тем каторжники стащили с Дон Кихота полукафтанье, которое он носил поверх доспехов, и хоте-

ли было снять и чулки, но этому помешали наколенники. С Санчо они стащили пыльник и, обобрав его дочиста и поделив между собой остальную добычу, озабоченные не столько тем, как бы снова надеть на себя цепь и отправиться к сеньоре Дульсинее Тобосской, сколько тем, как бы не попасться в лапы Братства, разбрелись кто куда.

Остались только осел и Росинант, Санчо и Дон Кихот. Осел, задумчивый и понурый, полагая, что ураган камней, еще преследовавший его слух, все не прекращается, время от времени прядал ушами; Росинант, сбитый с ног одним из камней, растянулся подле своего хозяина; Санчо, в чем мать родила, дрожал от страха в ожидании Святого братства; Дон Кихот же был крайне удручен тем, что люди, которым он сделал так много хорошего, столь дурно с ним обошлись.

ГЛАВА XVII

О том, что случилось с прославленным Дон Кихотом в Сьерре Морене, и о покаянии, которое он по примеру Мрачного Красавца на себя наложил*

Видя, что с ним так дурно обошлись, Дон Кихот сказал своему оруженосцу:

— Мне часто приходилось слышать, Санчо, что делать добро мужланам — это все равно что воду решетом черпать. Послушайся я твоего совета, я бы избежал этой напасти. Но дело сделано. Терпение, а впредь будем осмотрительнее.

— Скорей я превращусь в турка, нежели ваша милость станет осмотрительнее,— возразил Санчо.— Но вы говорите, что если б вы меня послушались, то избежали бы этой беды; в таком разе послушайтесь меня теперь, и вы избежите еще горшей,— смею вас уверить, что Святое братство на ваше рыцарское обхождение не поглядит: ему на всех странствующих рыцарей наплевать, и знаете что: у меня как будто уже в ушах гудит от его стрел*.

— Ты трус по природе, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Впрочем, дабы ты не говорил, что я упрям и никогда не следую твоим советам, на сей раз я намерен поступить так, как ты мне советуешь, и уйти от гнева, коего ты опасаешься. Но только с одним условием: чтобы ты никогда, как при жизни, так и после смерти, никому не говорил, что я из страха скрылся и ушел от опасности,— я просто снисхожу к твоим мольбам. Если же ты это скажешь, то ты солжешь, и я раз навсегда изобличаю тебя во лжи и объявляю, что ты лжешь и будешь лгать всякий

раз, как о том помыслишь или же кому-либо скажешь. И не прекословь мне, ибо при одной мысли, что я ушел и скрылся от опасности, да еще от такой, которая, наверное, единственно потому и возникла, что некоторым со страху что-то померещилось, я уже готов остаться здесь один и ждать не только упомянутое тобою и повергающее тебя в трепет Святое братство, но и братство всех двенадцати колен израилевых*, семерых братьев Маккавеев*, Кастора и Поллукса*, а также всех братьев и все братства, какие только существуют на свете.

— Сеньор! — снова заговорил Санчо.— Скрыться — не значит бежать, и неблагоразумно ждать, когда опасность превосходит все ожидания, мудрым же надлежит оставлять что-нибудь на завтра, а не растрачивать в один день все свои силы. И знайте, что хотя я человек неотесанный и темный, однако ж я имею некоторое понятие о том, что такое благородное поведение, а потому не раскаивайтесь вы, что воспользовались моим советом,— лучше садитесь на Росинанта, если только вам это по силам, а не то так я вас подсажу, и следуйте за мной, ибо, пошевелив мозгами, я прихожу к заключению, что ноги нам теперь нужнее рук.

Дон Кихот без всяких разговоров сел на коня и, предводительствуемый Санчо верхом на осле, вскоре очутился в той части Сьерры Морены, которая была ближе к ним, Санчо же намерелся на несколько дней укрыться вместе с Дон Кихотом где-нибудь в ущелье, дабы не быть пойманными в случае, если Братство попытается их изловить. Желание это в нем усилилось, едва он обнаружил, что съестные припасы, которые он вез на осле, от стычки с каторжниками не пострадали, каковое обстоятельство он почел за чудо, приняв в соображение то, как искали каторжники и сколько они унесли с собой.

Под вечер достигли они самого сердца Сьерры Морены, где Санчо и порешил пробыть эту ночь и еще несколько суток, во всяком случае, покуда у них не выйдет продовольствие, а потому они расположились на ночлег между скал, среди множества пробковых дубов. Однако ж неотвратимый рок распорядился так, что Хинес де Пасамонте, знаменитый плут и мошенник, которого избавили от оков доброта и безумие Дон Кихота, влекомый страхом перед Святым братством, коего он имел все основания опасаться, задумал скрыться в горах, судьба же и боязнь привели его туда, где находились Дон Кихот и Санчо Панса, в такую пору и в такой час, когда он еще мог узнать их, и в то самое мгновение, когда они, не встречая с его стороны препятствий, отходили ко сну. А так как злодеи все до одного неблагодарны и нужда служит им достаточным предлогом, чтобы прибегать к средствам недозволенным, то Хинес, человек неблагодарный и недобросо-

вестный, задумал похитить у Санчо Пансы осла, Росинант же, будучи совершенно непригодной добычей как для заклада, так и для продажи, не привлек его внимания. Санчо Панса спал; Хинес похитил осла и еще до рассвета успел отъехать так далеко, что его уже невозможно было настигнуть.

Взошедшая заря обрадовала землю и опечалила Санчо Пансу, ибо он обнаружил исчезновение серого; и вот, уразумев, что серого с ним больше нет, он поднял донельзя скорбный и жалобный плач, так что вопли его разбудили Дон Кихота, и тот услышал, как он причитает:

— Ах ты дитятко мое милое, у меня в дому рожденное, забава моих деток, утеха жены моей, зависть моих соседей, облегчение моей ноши и к тому же кормилец половины моей особы, ибо двадцать шесть мараведи*, которые ты зарабатывал в день, составляли половинную долю того, что я тратил на ее прокорм!

Услышав плач и осведомившись о причине, Дон Кихот утешил Санчо как мог, попросил его немного потерпеть и обещал выдать расписку, по которой в его собственность перейдут три осла из тех пяти, что были у Дон Кихота в имении.

Санчо этим утешился, вытер слезы, сдержал рыдания и поблагодарил Дон Кихота за эту милость; Дон Кихот же, как скоро очутился в горах, взыграл духом, ибо места эти показались ему подходящими для приключений, коих он искал. На память ему приходили необычайные происшествия, в таких диких ущельях со странствующими рыцарями случавшиеся, и, увлеченный и упоенный ими, он думал только о них, а все остальное вылетело у него из головы. У Санчо тоже была теперь одна забота, едва он почувствовал себя в безопасности: как бы утолить голод остатками снеди, которую они отбили у духовных особ; по сему обстоятельству, навьюченный всем, что надлежало везти его ослику, он, идя следом за своим господином, запускал руку в мешок и набивал себе брюхо; и подобного рода прогулку он не променял бы ни на какое другое приключение.

Внезапно он поднял глаза и увидел, что его господин, остановив Росинанта, пытается концом копьеца поднять с земли какой-то тюк, и это зрелище заставило его подскочить к нему на тот случай, если понадобится его помощь, но подскочил он в ту самую минуту, когда Дон Кихот уже поднимал на острие копьеца подушку и привязанный к ней чемодан*, наполовину или даже совсем сгнившие и развалившиеся, однако ж достаточно тяжеловесные. Дон Кихот велел ему посмотреть, что лежит в чемодане. Санчо выказал чрезвычайное проворство, и замо́к и цепочка не помешали ему разглядеть, что лежат в этом прогнившем и дырявом чемодане четыре сорочки тонкого голландского полотна и еще кое-что из белья, столь же чистое, сколь и дорогое, а в носо-

вом платке он обнаружил изрядную кучку золотых монет и, увидев их, тотчас воскликнул:

— Хвала небесам за то, что они столь выгодное приключение нам уготовали!

Дон Кихот отказался от денег в пользу Санчо. Санчо облобызал ему руки за эту милость и набил бельем свой мешок с провизией. Затем снова подверг осмотру чемодан, и во всем чемодане, равно как и в подушке, не осталось ни единого уголка, который он не обыскал бы, не изучил и не исследовал, ни единого шва, который он не распорол бы, ни единого клочка шерсти, который он не растрепал бы, чтобы ничего не пропустить по своему небрежению или оплошности — до того разлакомился он, найдя более ста золотых монет. И хотя сверх найденного ему больше ничего не удалось найти, однако он пришел к мысли, что и полеты на одеяле, и изверженный напиток, и дубинки, коими его вздули, и кулаки погонщика, и исчезновение дорожной сумы, и похищение пыльника, а также голод, жажда и утомление, которые он изведал на службе у доброго своего господина,— все это было не зря, ибо нашему оруженосцу казалось, что его с лихвою вознаграждает милость, какую явил ему Дон Кихот, отказавшись в его пользу от этой находки. Дон Кихот же, даром времени не теряя, поехал дальше — тою дорогою, которую избрал Росинант, а именно тою, где Росинант в состоянии был проехать,— и его преисполняла уверенность, что в дебрях этих без какого-нибудь необычайного приключения дело не обойдется.

Наконец они достигли самых что ни на есть крутизн, и Санчо смерть как захотелось побеседовать со своим господином, но, боясь ослушаться его, он ждал, чтобы тот заговорил первым. Однако, не выдержав столь продолжительного молчания, он начал так:

— Сеньор Дон Кихот! Благословите меня, ваша милость, и отпустите с миром: я сей же час намерен возвратиться домой, к жене и детям,— с ними я, по крайности, душу отведу и наговорюсь всласть, а требовать, чтобы я день и ночь скитался с вашей милостью в этой глуши, да еще и молчал, когда мне охота поговорить,— это все равно что живьем закопать меня в землю. Ведь не у всякого хватит терпения всю жизнь странствовать в поисках приключений, которые состоят в том, что тебя пинают ногами, подбрасывают на одеяле, побивают камнями, учиняют над тобой кулачную расправу, а у тебя рот на замке, и ты, словно немой, не смеешь заговорить о том, что у тебя на сердце.

— Я тебя понимаю, Санчо,— сказал Дон Кихот,— тебе, мочи нет, хочется, чтобы я снял запрет, наложенный на твои уста. Считай, что он уже снят, и говори все, что тебе вздумается,

с условием, однако же, что снятие это будет действительно до тех пор, пока мы не проедем горы.

— Ну ладно,— согласился Санчо,— мне бы только теперь поговорить, а там что господь даст. Так вот: что это за мудрое рыцарское правило — плутать в горах без пути, без дороги?

— Да будет тебе известно, Санчо,— сказал Дон Кихот,— что в эти края влечет меня желание совершить здесь некий подвиг и благодаря ему стяжать себе бессмертную славу и почет во всем мире.

— А что, этот подвиг очень опасен? — осведомился Санчо Панса.

— Нет,— отвечал Рыцарь Печального Образа.— Хотя к нам может прийти такая карта, что мы проиграемся в пух. Впрочем, все зависит от твоего рвения.

— От моего рвения? — переспросил Санчо.

— Да,— сказал Дон Кихот,— ведь если ты скоро возвратишься оттуда, куда я намерен тебя послать, то и мытарства мои кончатся скоро и скоро начнется пора моего величия. Однако не должно держать тебя долее в неведении касательно того, что я под всем этим разумею, а посему да будет тебе известно, Санчо, что славный Амадис Галльский был одним из лучших рыцарей в мире. Нет, я не так выразился: не *одним из*, а единственным, первым, непревзойденным, возвышавшимся над всеми, кто только жил в ту пору на свете. Не видать ему добра, этому дону Бельянису, и тем, кто уверял, будто он в чем-то с ним сравнялся,— это одни разговоры, даю тебе слово. Скажу еще, что художник, жаждущий славы, старается подражать творениям единственных в своем роде художников, и правило это распространяется на все почтенные занятия и ремесла, украшению государства способствующие, и оттого всякий, кто желает прослыть благоразумным и стойким, должен подражать и подражает Одиссею*, в лице которого Гомер, описав перенесенные им бедствия, явил нам воплощение стойкости и благоразумия, подобно тому как Вергилий в лице Энея* изобразил добродетели почтительного сына и предусмотрительность храброго и многоопытного военачальника, при этом оба изображали и описывали своих героев не такими, каковы они были, а такими, каковы они должны были бы быть, и тем самым указали грядущим поколениям на их доблести как на достойный подражания пример. Так же точно и Амадис был путеводною звездою, ярким светилом, солнцем отважных и влюбленных рыцарей, и мы все, сражающиеся под стягом любви и рыцарства, должны ему подражать. Следственно, друг Санчо, я нахожу, что тот из странствующих рыцарей в наибольшей степени приближается к образцу рыцарского поведения, который больше, чем кто-либо,

Амадису Галльскому подражает. Но особое благоразумие, доблесть, отвагу, выносливость, стойкость и силу чувства выказал Амадис, когда, отвергнутый сеньорой Орианой, наложил он на себя покаяние и удалился на Бедную Стремнину*, дав себе имя Мрачного Красавца, имя, разумеется, заключающее в себе глубокий смысл и соответствующее тому образу жизни, который он с превеликою охотою избрал. А что касается меня, то мне легче подражать ему в этом, чем рубить великанов, обезглавливать драконов, обращать в бегство войска, пускать ко дну флотилии и разрушать злые чары. И раз это весьма удобное место для таких предприятий, как мое, то и незачем упускать удобный случай.

— А позвольте узнать, что же именно ваша милость намерена совершить в такой глухой местности? — осведомился Санчо.

— Разве я тебе не говорил,— отвечал Дон Кихот,— что я намерен подражать Амадису и делать вид, что обезумел и впал в отчаяние и неистовство?

— Сдается мне,— сказал Санчо,— что у рыцарей была причина каяться и валять дурака. Ну, а у вашей милости что за причина сходить с ума?

— В этом-то вся соль и есть,— отвечал Дон Кихот,— в этом-то и заключается необычность задуманного мною предприятия. Кто из странствующих рыцарей по какой-либо причине сошел с ума, тот ни награды, ни благодарности не спрашивай. Весь фокус в том, чтобы помешаться без всякого повода и дать понять моей даме, что если я, здорово живешь, свихнулся, то что же будет, когда меня до этого доведут? Притом у меня есть достаточное к тому основание — я имею в виду долгую разлуку с навеки поработившею меня Дульсинеей Тобосской, а в разлуке человек всего страшится и все ему причиняет боль. А потому, друг Санчо, не трать времени на то, чтобы отговорить меня от столь своеобразного, столь отрадного и столь необычного подражания. Я безумен и пребуду таковым до тех пор, пока ты не возвратишься с ответом на письмо, которое я намерен послать с тобой госпоже моей Дульсинее. Отдаст она должное моей верности — тут и конец моему безумию и покаянию. Если же нет, то я, и точно, обезумею и, обезумев, уже ничего не буду чувствовать. Словом, что бы она ни ответила, так или иначе выйдет срок предстоящему мне испытанию и пройдет это состояние тревоги, в котором ты меня оставляешь ныне: ведь если ты принесешь мне радость, то я ею упьюсь, потому что я буду тогда в здравом уме, если же причинишь мне боль, то я ее не почувствую, потому что пребуду безумцем. А что, Санчо, цел ли у тебя шлем Мамбрина? Ведь

ты на моих глазах подобрал его после того, как этот неблагодарный чуть было его не разбил, но все же так и не разбил, из чего явствует, сколь крепкого он закала.

Санчо ему на это ответил так:

— Клянусь богом, сеньор Рыцарь Печального Образа, с вашей милостью всякое терпение потерять можно — такие вещи вы иной раз говорите,— ведь я начинаю догадываться, что все, что вы мне толковали про рыцарство, про завоевание королевств и империй, про раздачу островов и прочих милостей и наград, что все это, видать, россказни и враки, что все это анихея, или ахинея,— не знаю, как правильно. Потому, если кто узнает, что ваша милость таз для бритья именует шлемом Мамбрина и уже сколько дней находится в этом заблуждении, то что же иное могут о вас подумать, как не то, что человек, который это утверждает и отстаивает, верно, рехнулся? Таз у меня в мешке, весь как есть погнутый, однако дома я его починю и приспособлю для бритья, если только, господь даст, я когда-нибудь увижусь с женой и детьми.

— Послушай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— клянусь тебе тою же самою клятвою, которою только что клялся ты, что ни у кого из покойных и ныне здравствующих оруженосцев ум не был так короток, как у тебя. Как могло случиться, что, столько странствуя вместе со мной, ты еще не удостоверился, что все вещи странствующих рыцарей представляются ненастоящими, нелепыми, ни с чем не сообразными и что все они как бы выворочены наизнанку? Однако на самом деле это не так, на самом деле нас всюду сопровождает рой волшебников, вот они-то и видоизменяют и подменивают их и возвращают в таком состоянии, в каком почтут за нужное, в зависимости от того, намерены они облагодетельствовать нас или же сокрушить. Вот почему то, что тебе представляется тазом для бритья, мне представляется шлемом Мамбрина, а другому — чем-нибудь еще. И это было необычайно предусмотрительно со стороны покровительствующего мне чародея сделать так, чтобы самый настоящий, доподлинный шлем Мамбрина все принимали за таз: ведь это столь великая драгоценность, что на него всякий польстился бы, а как видят, что это просто-напросто таз, то и не пытаются у меня его отнять, в чем мы могли убедиться на примере того человека, который сперва вознамерился сломать шлем, а затем швырнул его наземь и так и оставил. Можешь мне поверить, что если б он знал ему цену, то ни за что бы с ним не расстался. Береги же его, дружок, а мне он пока не нужен,— напротив того, мне надлежит снять все доспехи и остаться в таком виде, в каком я появился на свет.

Разговаривая таким образом, приблизились они к подошве

высокой горы, которая, почти как отвесная скала, одиноко стояла среди многих других, ее окружавших. По ее склону тихий сбегал ручеек, а опоясывавший ее луг был до того зелен и травянист, что глаз невольно на нем отдыхал. Множество дерев, растения и цветы сообщали этому уголку особую прелесть. Эту лужайку Рыцарь Печального Образа и избрал местом своего покаяния,— при виде ее он, точно помешанный, громким голосом заговорил:

— Эти места, о небо, я избираю и предназначаю для того, чтобы выплакать посланное мне тобою несчастье. Здесь, в этом уголке, от влаги моих очей разольется этот ручеек, а от моих всечасных и глубоких вздохов не престанет колыхаться листва горного леса — в знак и свидетельство того, как истерзанное мое сердце крушится. Кто б ни были вы, о сельские боги, населяющие этот пустынный край, приклоните слух к стенаниям несчастного любовника, которого долговременная разлука и ревнивые мечты влекут в эти ущелья роптать и жаловаться на жестокий нрав прелестной мучительницы, являющей собою верх и предел земной красоты! О напеи и дриады, имеющие обыкновение селиться в лесистых горах! Да не возмущают сладостный ваш покой быстроногие сатиры*, в вас — безнадежно, впрочем,— влюбленные, вы же восплачьте вместе со мною над горестным моим уделом или, по крайней мере, неустанно внимайте моему плачу! О Дульсинея Тобосская, день моей ночи, блаженство муки моей, веха моих дорог, звезда судьбы моей! Да наградит тебя небо судьбою счастливою и да пошлет оно тебе все, что ты у него ни попросишь, ты же, молю, помысли о том, в каком месте и в каком состоянии я нахожусь по причине разлуки с тобою, и верности моей воздай по заслугам! О стоящие одиноко деревья, отныне друзья моего одиночества! Подайте мне знак легким трепетаньем ветвей, что присутствие мое вам не досаждает! О ты, мой оруженосец, милый мой спутник, делящий со мною удачи и невзгоды! Запомни все, что я сейчас совершу, запомни, дабы рассказать и доложить об этом единственной виновнице всего происходящего!

С этими словами он спешился и, в один миг стащив с Росинанта уздечку и седло, хлопнул его по крупу и сказал:

— Тот, кто сам лишается свободы, дарует ее тебе, о конь*, чьи деяния столь же непревзойденны, сколь обойден ты судьбой!

Тут его прервал Санчо:

— Кто-то, дай бог ему здоровья, избавил нас от труда расседлывать серого, а то бы я его тоже похлопал и, можете быть уверены, наговорил бы всяких приятных вещей. Впрочем, если б он был тут, я бы никому не позволил его расседлывать, потому не для чего: повадки влюбленных и удрученных ему не указ,

ведь не они его хозяева, его хозяином когда-то, в незабвенные времена, был я. И, сказать по совести, сеньор Рыцарь Печального Образа, если только мой отъезд и сумасшествие вашей милости — все это взаправду, не мешало бы снова оседлать Росинанта: он заменил бы серого, и это мне и туда и обратно сократило бы время, а то если я двинусь пешком, то уж и не знаю, когда прибуду, когда возвращусь: ведь ходок-то я, собственно говоря, неважный.

— Вот что я скажу тебе, Санчо,— объявил Дон Кихот,— пусть будет по-твоему, мысль твоя представляется мне правильной. И еще скажу тебе, что ты уедешь через три дня, ибо я желаю, чтобы за это время ты увидел и услышал все, что я ради нее свершу и скажу, а затем ты расскажешь об этом ей.

— Да ведь я такого навидался, что после этого что ж мне еще остается увидеть? — возразил Санчо.

— Подумаешь, какой бывалый! — заметил Дон Кихот.— Сейчас я разорву на себе одежды, разбросаю доспехи, стану биться головой о скалы и прочее тому подобное, долженствующее привести тебя в изумление.

— Ради самого Христа,— сказал Санчо,— смотрите, ваша милость, поберегите вы свою голову, а то еще нападете на такую скалу и на такой выступ, что с первого же раза вся эта возня с покаянием кончится. И коль скоро вы находите, что биться головой необходимо, а без этого, мол, никак, я бы на вашем месте удовольствовался — благо все это одно притворство, шутка и подделка,— удовольствовался бы, говорю я, битьем головы о воду или еще обо что-нибудь мягкое, вроде хлопчатой бумаги, а остальное предоставьте мне: я скажу моей госпоже, что вы бились головой о вершину скалы тверже алмаза.

— Спасибо тебе за добрый совет, друг Санчо,— сказал Дон Кихот,— однако ж надобно тебе знать, что все это я проделываю не в шутку, а вполне серьезно, ибо иначе я нарушил бы законы рыцарства, приравнивающие ложь к ереси, а ведь делать одно вместо другого — значит лгать. Следственно, задуманное мною битье головою о скалы — это будет битье с подлинным верное, без всякой примеси чего-либо ложного или показного. И ты непременно оставь мне немного корпии для лечения, если уж судьбе угодно было, чтобы мы остались без бальзама, который мы потеряли.

— Хуже всего, что мы потеряли осла,— отозвался Санчо,— потому вместе с ним пропала корпия и все остальное. Но только я умоляю вас, ваша милость: забудьте вы про этот окаянный напиток,— при одном упоминании о нем у меня не то что вся душа, а и нутро переворачивается. И еще умоляю вас: представьте себе, что трехдневный срок, который вы дали мне

для того, чтобы я нагляделся на ваши безумства, уже истек, что я уже видел их, что все это, как говорится, решено и подписано, а уж моей госпоже я расскажу про вас чудеса. Ну так вот, пишите письмо и отправляйте меня немедленно: мне до смерти хочется как можно скорее вернуться, чтобы вызволить вас из этого чистилища, в котором я вас оставляю.

— Ты называешь это чистилищем, Санчо? — спросил Дон Кихот.— Правильнее было бы сравнить это с адом или же еще с чем-нибудь похуже, если только есть на свете что-нибудь хуже ада.

— Словом, я поеду в Тобосо, прямо к госпоже моей Дульсинее, и столько ей наговорю про то, как вы делали и продолжаете делать глупости и безумствуете — а ведь это одно и то же, что она станет мягче перчатки, хотя бы до этого она была тверже дуба, и с ее нежным и медоточивым ответным посланием я, будто колдун, примчусь сюда по воздуху и вызволю вашу милость из этого чистилища, которое напоминает ад, но таковым, однако же, не является, ибо есть надежда отсюда выбраться, каковой надежды выбраться лишены те, которые в аду, с чем ваша милость вряд ли станет спорить.

— Твоя правда,— согласился Рыцарь Печального Образа.— Итак, позаботься о том, чтобы в первом же селении, которое встретится на твоем пути, тебе переписал мое письмо на хорошей бумаге и красивым почерком школьный учитель, если таковой там имеется, а не то так пономарь, только не давай писцам,— их росчерки да закорючки сам черт не разберет.

— А как же быть с подписью? — осведомился Санчо.

— Амадис никогда не ставил своей подписи,— отвечал Дон Кихот.

— Хорошо,— сказал Санчо,— но только скрепить подписью ваш приказ насчет ослят необходимо, потому как если он будет переписан, то скажут, что подпись подделана, и я останусь без ослят.

— Приказ будет за моей подписью, и когда ты предъявишь его моей племяннице, то она беспрекословно выполнит мое распоряжение. Что же касается любовного послания, то ты вели подписать его так: *Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа.* А что кто-нибудь подпишется за меня, то это несущественно: сколько я помню, Дульсинея не умеет ни читать, ни писать и ни разу в жизни не видела моего почерка и ни одного моего письма, ибо и мое и ее чувство всегда было платоническим и далее почтительных взглядов не заходило. Да и взглядами-то мы редко-редко когда обменивались, и я могу клятвенно утверждать, что вот уже двенадцать лет, как я люблю ее больше, нежели свет моих очей, которые рано или поздно будут засыпаны

землею, и за все эти двенадцать лет я видел ее раза три. И притом весьма возможно, что она ни разу и внимания-то не обратила, что я на нее смотрю,— столь добродетельною и стыдливою воспитали ее отец, Лоренсо Корчуэло, и мать, Альдонса Ногалес.

— Те-те-те! — воскликнул Санчо.— Стало быть, дочь Лоренсо Корчуэло, иначе говоря — Альдонса Лоренсо, и есть сеньора Дульсинея Тобосская?

— Она самая,— подтвердил Дон Кихот,— и она же достойна быть владычицею всей вселенной.

— Да я ее прекрасно знаю,— сказал Санчо,— и могу сказать, что барру она мечет* не хуже самого здоровенного парня изо всего нашего села. Девка ой-ой-ой, с ней не шути: и швея, и жница, и в дуду игрица, и за себя постоять мастерица, и любой странствующий или еще только собирающийся странствовать рыцарь будет за ней как за каменной стеной. А уж глотка, а уж голосина! Взобралась она как-то, изволите ли видеть, на колокольню нашей церкви и давай скликать отцовских батраков, и хотя они работали в поле, больше чем за полмили от села, а слышно им было ее, как будто они внизу, под самой колокольней, стояли. А главное, она совсем не привляка — вот что дорого, со всеми посмеется и изо всего устроит веселье и потеху. Теперь я прямо скажу, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вам не только можно и должно безумствовать ради нее, но что у вас есть все основания для того, чтобы впасть в отчаяние и повеситься, и всякий, кто про это узнает, непременно скажет, что вы поступили как должно, хотя бы вас потом утащил к себе дьявол. И я бы уж хотел быть в дороге для того только, чтобы повидать ее, ведь я ее давно не видел, она, наверно, здорово изменилась, день-деньской в поле, на солнце, на воздухе, а от этого цвет лица у женщин портится. И теперь уж я вам признаюсь, сеньор Дон Кихот: до сей поры я находился в полном неведении, я искренне и твердо верил, что сеньора Дульсинея, в которую ваша милость влюбилась, это какая-нибудь принцесса, вообще какая-нибудь важная особа, достойная тех щедрых даров, которые ваша милость ей посылала то в виде, например, бискайца, то в виде каторжников, и еще много кое-чего вы ей, наверно, послали, потому, наверно, много побед ваша милость одержала в ту пору, когда я еще не был оруженосцем. Но если поразмыслить хорошенько, то какой прок сеньоре Альдонсе Лоренсо, то бишь Дульсинее Тобосской, что побежденные, которых ваша милость к ней посылает и намерена посылать в дальнейшем, падут пред ней на колени? Ведь может же так случиться, что встреча произойдет как раз, когда она будет чесать лен или же молотить на гумне, и вот тут-то при виде ее как бы им не

смешаться, а она над вашим подарком начнет потешаться, да еще и обидится.

— Я тебе и прежде много раз говорил, Санчо,— сказал Дон Кихот,— что ты превеликий болтун, и хотя от природы ты тупоумен, а все-таки вечно пытаешься острить. Ведь не все же дамы, которых воспевают поэты и которым они дают имена по своему хотению, существуют в действительности. Большинство из них поэты выдумали, чтобы было о ком писать стихи и чтобы их самих почитали за влюбленных и за людей, достойных любви. Вот почему мне достаточно воображать и верить, что добрая Альдонса Лоренсо прекрасна и чиста, а до ее рода мне мало нужды. Надобно тебе знать, Санчо, если ты только этого еще не знаешь, что более, чем что-либо, возбуждают любовь две вещи, каковы суть великая красота и доброе имя, а Дульсинея имеет право гордиться и тем и другим: в красоте она не имеет соперниц, и лишь у весьма немногих столь же доброе имя, как у нее. Коротко говоря, я себе представляю, что все сказанное мною сейчас — это сущая правда и что тут нельзя прибавить или убавить ни единого слова, и воображению моему она представляется так, как я того хочу: и в рассуждении красоты, и в рассуждении знатности, и с нею не сравнится Елена, и до нее не поднимется Лукреция* и никакая другая из славных женщин протекших столетий,— равной ей не сыщешь ни у греков, ни у латинян, ни у варваров. А люди пусть говорят что угодно, ибо если невежды станут меня порицать, то строгие судьи меня обелят.

— Должен сознаться, что вы совершенно правы, ваша милость, а я осел,— сказал Санчо.— Вот только я не знаю, зачем у меня с языка сорвалось слово «осел», ведь в доме повешенного о веревке не говорят. Ну, готовьте письмецо, а затем счастливо оставаться, я отправляюсь в путь.

Дон Кихот, отойдя в сторону, углубился в составление письма, потом, кончив писать, подозвал Санчо и сказал, что намерен прочитать письмо вслух, чтобы он выучил его наизусть на тот случай, если потеряет дорогой, ибо при его незадачливости всего ожидать должно. Санчо же ему на это сказал:

— Да вы несколько раз перепишите его, ваша милость, и дайте мне, а я доставлю его в целости и сохранности, но чтобы я затвердил его на память — это пустые бредни: у меня такая плохая память, что я сплошь да рядом забываю, как меня зовут. Прочтите, однако ж, письмо, ваша милость,— смерть хочется послушать,— уж верно, из него, как все равно из песни, слова не выкинешь.

— Так вот о чем тут идет речь,— сказал Дон Кихот.

«Всемогущая и бесстрастная сеньора!

Тот, кого ранило острие разлуки и чья изъязвлена душа, желает тебе, сладчайшая Дульсинея Тобосская, здоровья, коего он сам лишился. Если красота твоя пренебрегает мною, если твои добродетели суть мои супостаты, если твое презрение усугубляет мою кручину, то хотя я и много претерпел, однако сей муки мне уже не вынести: она мало того что сильна, а еще и весьма долговременна. Добрый мой оруженосец Санчо подробно опишет тебе, о неблагодарная красавица, возлюбленная врагиня моя, то состояние, в какое ты меня привела. Если ты рассудишь за благо прийти мне на помощь — я твой, если нет — поступай, как тебе заблагорассудится: я же, покончив счеты с жизнью, тем самым утолю и твою жестокость и свою страсть.

Твой до гроба Рыцарь Печального Образа».

— Даю голову на отсечение,— послушав, сказал Санчо Панса,— что ничего более возвышенного я за всю свою жизнь не слыхал. Ах ты, будь я неладен, и как это вы, ваша милость, сумели сказать в этом письме все, что вам надобно, и как все это ловко подогнано к подписи *Рыцарь Печального Образа!* Ей-ей, ваша милость, вы дьявол, а не человек: нет ничего такого, чего бы вы не знали.

— Все может пригодиться для того дела, коему я служу,— заметил Дон Кихот.

— Ну, а теперь, ваша милость,— сказал Санчо,— черкните на обороте записочку насчет трех ослят и подпишитесь как можно разборчивее, чтобы каждый, как взглянет, узнал вашу руку.

— С удовольствием,— молвил Дон Кихот.

Он написал записку, а затем прочитал ее вслух от слова до слова:

«Благоволите, ваша милость, сеньора племянница, выдать подателю сего ослиного векселя, оруженосцу моему Санчо Пансе, трех ослят из числа пяти, коих я оставил у себя в имении и которые находятся на попечении вашей милости. Вышеозначенных трех ослят сим повелеваю выдать ему в уплату за трех других, которых я с него здесь получил наличными и которые в силу настоящего векселя и его, Санчо, расписки долженствуют считаться погашенными. Писано в сердце Сьерры Морены двадцать второго августа сего года».

— Отлично,— сказал Санчо.— Подпишитесь, ваша милость.

— Подписываться не обязательно,— возразил Дон Кихот,— требуется только мой росчерк — ведь это все равно что подпись,

и этого не то что для трех, а и для целых трехсот ослов будет довольно.

— Я вам верю, ваша милость,— сказал Санчо.— А теперь позвольте, я пойду оседлаю Росинанта, вы же, ваша милость, будьте готовы меня благословить, ведь я прямо сейчас и в дорогу и на ваши дикие выходки глядеть не стану — я их столько, скажу, видел, что уж больше невмоготу.

— Во всяком случае, мне угодно, Санчо,— ибо так нужно,— мне угодно, говорю я, чтобы ты посмотрел, как я в голом виде раз двадцать пять побезумствую, причем все это я в какие-нибудь полчаса сумею проделать, впоследствии же, коль скоро ты все это видел своими глазами, ты можешь, положа руку на сердце, поклясться, что видел и другие мои выходки, какие тебе вздумается присовокупить. Но уверяю тебя, что сколько бы ты их ни описал, а все-таки у меня их будет больше.

— Ради всего святого, государь мой, не раздевайтесь при мне, а то мне станет очень жаль вашу милость и я непременно расплачусь. А вчера я так плакал по своем сером, что у меня и сейчас еще голова трещит и я не расположен затевать новый плач. А коли вашей милости угодно, чтобы я поглядел на некоторые безумства, то безумствуйте одетый, да поскорее, и притом как попало. Тем более, мне все это ни к чему, и, как я уже сказал, желательно ускорить мое возвращение с вестями, коих ваша милость ожидает и заслуживает. А в случае чего берегитесь, сеньора Дульсинея! Если она не ответит как подобает, то я готов дать какое угодно клятвенное обещание, что пинками и тумаками выколочу из нее благоприятный ответ. Потому доколе же это можно терпеть, чтобы такой славный странствующий рыцарь, как вы, ваша милость, лишался рассудка неизвестно из-за чего!

— Право, Санчо, ум у тебя, мне кажется, не намного здоровее, чем у меня,— заметил Дон Кихот.

— Я не такой безумный,— возразил Санчо,— я только более вспыльчивый. Но оставим этот разговор, скажите лучше, чем ваша милость намерена питаться впредь до моего возвращения?

— Об этом ты не беспокойся,— сказал Дон Кихот.— Если бы даже у меня и было что поесть, я питался бы одними травами и плодами, коими сии деревья и луг меня наделят,— необычность моего предприятия в том именно и состоит, чтобы ничего не есть и терпеть прочие тому подобные лишения. Ну, с богом!

— А знаете, ваша милость, чего я опасаюсь? Что не попаду я опять на то же самое место — уж больно здесь глухо.

— Запоминай окрестные предметы,— сказал Дон Кихот,— а я постараюсь далеко отсюда не уходить и даже не поленюсь взбираться на самые высокие скалы и посматривать, не едешь

ли ты обратно. Кроме того (и это будет самое правильное), чтобы ты меня не потерял и не заблудился, советую тебе нарезать дроку — его здесь гибель — и разбрасывать его по дороге до тех пор, пока не выедешь на ровное место, и по этим вехам и приметам, словно по Тезеевой нити в лабиринте*, ты и отыщешь меня на возвратном пути.

— Так я и сделаю,— сказал Санчо Панса.

Он нарезал дроку и, попросив у своего господина благословения, с ним попрощался, при этом и тот и другой проливали обильные слезы. Затем Санчо сел на Росинанта, которого Дон Кихот поручил его заботам, приказав глядеть за ним, как за самим собой, и двинулся в сторону равнины, время от времени, по совету своего господина, бросая ветки дрока. И как ни приставал к нему Дон Кихот, чтобы он посмотрел по крайней мере хоть на два его безумства, он продолжал свой путь. Однако, не отъехав и на сто шагов, он все же вернулся и объявил:

— Я хочу сказать, сеньор, что вы совершенно правы: чтобы я мог со спокойной совестью поклясться, что видел ваши безумства, не худо было бы поглядеть хоть на какое-нибудь из них,— впрочем, одно то, что вы здесь остались, есть уже изрядное с вашей стороны безумие.

— А что я тебе говорил? — сказал Дон Кихот.— Погоди, Санчо, ты оглянуться не успеешь, как я уже что-нибудь сотворю.

Тут он с необычайною быстротою снял штаны и, оставшись в одной сорочке, нимало не медля, дважды перекувырнулся в воздухе — вниз головой и вверх пятами, после чего Санчо, довольный и удовлетворенный тем, что мог теперь засвидетельствовать безумие своего господина, дернул поводья.

ГЛАВА XVIII,

повествующая о том, каким забавным и хитроумным способом влюбленный наш рыцарь был избавлен от прежестокого покаяния, которое он на себя наложил

Между тем Дон Кихот, от пояса до пят нагой и от пояса до головы одетый, видя, что Санчо, не пожелав долее задерживаться ради его сумасбродств, уже отбыл, тотчас взобрался на вершину высокой горы и стал думать о том, о чем думал много раз, хотя пока еще ни к какому твердому решению не пришел, а именно, что лучше и что целесообразнее: подражать буйному помешательству Роланда* или же меланхолическому — Амадиса; и, сам с собой рассуждая, он говорил:

— Общее мнение таково, что Роланд был славным и храбрым

рыцарем, но что же в том удивительного? Как-никак он был очарован, и умертвить его можно было, лишь всадив ему в пятку булавку, а он постоянно носил сапоги с семью железными подметками. Впрочем, хитрости эти его не спасли — Бернардо дель Карпьо их разгадал и задушил его в своих объятиях в Ронсевале. Однако довольно о его храбрости, перейдем к тому, как он потерял рассудок, а он бесспорно его потерял, узнав, что Анджелика ему изменяла. И раз он этому поверил, то сойти с ума ему ничего не стоило, но как же я-то буду подражать его безумствам, когда у меня отсутствует подобного рода повод? Ведь я бы нанес Дульсинее Тобосской явное оскорбление, когда бы, заподозрив ее в измене, избрал тот вид умственного расстройства, каким страдал неистовый Роланд. С другой стороны, я знаю, что Амадис Галльский, не потеряв рассудка и без всяких безумств, стяжал себе бессмертную славу одною лишь силою своего чувства: согласно истории, он ограничился тем, что когда Ориана пренебрегла им и велела не показываться ей на глаза, пока не последует на то ее соизволение, удалился вместе с одним отшельником на Бедную Стремнину, и там он исходил слезами и горячо молился богу, пока наконец небо над ним не сжалилось в то самое мгновенье, когда он особенно сокрушался и горевал. А если так, то к чему мне ныне брать на себя труд раздеваться догола, докучать деревьям, которые мне ничего дурного не сделали, и возмущать прозрачную воду ручьев, которые в случае нужды меня напоят? Да живет память об Амадисе и да последует его примеру, в чем только может, Дон Кихот Ламанчский! И пусть Дульсинея Тобосская не отринула меня и не пренебрегла мною — повторяю: довольно и того, что я с ней разлучен. Итак, за дело! Придите мне на память, деяния Амадиса, и научите меня, с чего надлежит начать подражание вам. Впрочем, я уже вспомнил, что усерднее всего прочего он молился и поручал себя богу. Да, но что же я буду делать без четок?

Но он тут же сообразил, как с этим быть, а именно: оторвал от болтавшегося края сорочки огромный лоскут и сделал на нем одиннадцать узелков, из коих один — побольше, и вот этот самый лоскут и заменял ему четки в течение всего времени, которое он здесь провел и которого ему с избытком хватило на то, чтобы миллион раз прочитать «Богородицу». Однако же он был весьма огорчен тем обстоятельством, что здесь не оказалось отшельника, который исповедовал бы его и утешал, а потому он проводил время так: гулял по лугу и без конца вырезал на древесной коре и чертил на мелком песке стихи, в коих преимущественно изливал свою тоску, а также воспевал Дульсинею.

Так в стихотворстве, во вздохах, в воплях к фавнам и силь-

ванам* окрестных дубрав, к нимфам рек, к унылому эху — в воплях о том, чтобы они выслушали его, утешили и отозвались, и проходило у него время, а также в поисках трав, коими он намерен был пробавляться до возвращения Санчо; должно заметить, что если б тот пробыл в отсутствии не три дня, а три недели, то Рыцарь Печального Образа так изменил бы свой образ, что его бы не узнала родная мать.

Но пусть он себе сочиняет стихи и вздыхает, мы же расскажем, что случилось за это время с Санчо Пансою, а случилось с ним вот что: выбравшись на большую дорогу, двинулся он в сторону Тобосо и на другой день подъехал к тому самому постоялому двору, где происходило злополучное подбрасывание на одеяле; и не успел Санчо хорошенько его разглядеть, как вдруг почудилось ему, будто он снова летает по воздуху, и ему не захотелось там останавливаться, несмотря на то что подъехал он в такое время, когда это можно и должно было сделать, ибо время было обеденное, самая пора удовлетворить свою потребность в горячем, а ведь он уже давным-давно питался всухомятку.

Необходимость заставила его приблизиться к постоялому двору, хотя он все еще колебался, останавливаться ему или не останавливаться. Но в это время оттуда вышли два человека и тотчас узнали его. И один из них сказал другому:

— Послушайте, сеньор лиценциат! Вот этот всадник — не Санчо ли это Панса, тот самый, который, по рассказам ключницы нашего искателя приключений, отправился вместе со своим господином в качестве его оруженосца?

— Так, это он,— отвечал лиценциат,— и едет он на коне нашего Дон Кихота.

Они потому сразу узнали его, что то были его односельчане — священник и цирюльник, те самые, которые подвергали осмотру книги Дон Кихота и выносили им окончательный приговор. Узнав же Санчо Пансу и Росинанта, снедаемые желанием расспросить про Дон Кихота, они приблизились к нему, и тут священник, назвав его по имени, молвил:

— Друг Санчо Панса! Где твой господин?

Санчо Панса тотчас узнал их и порешил утаить то место и то состояние, в котором находился его господин, а потому ответил, что господин его где-то такое занят чрезвычайно важным делом, а каким именно — этого он, Санчо, лопни его глаза, открыть не может.

— Нет, нет, Санчо Панса,— возразил цирюльник,— если ты нам не скажешь, где он, мы подумаем — да уже и начинаем думать,— что ты убил его и ограбил, коль скоро едешь ты на его коне. В самом деле, верни нам хозяина этой лошади, а то я тебе задам.

— Вы мне не грозите, я не такой человек, чтоб кого-нибудь грабить и убивать. Мой господин в свое удовольствие кается сейчас в горах.

И тут Санчо единым духом все и выпалил и рассказал о том, в каком состоянии оставил он Дон Кихота, какие были у его господина приключения и как он, Санчо Панса, отправился с письмом к сеньоре Дульсинее Тобосской, то есть к дочери Ло-ренсо Корчуэло, в которую его господин влюбился по уши. По-дивились священник и цирюльник тому, что услышали из уст Санчо Пансы, и хотя для них не являлось тайной, что Дон Ки-хот свихнулся и каким именно видом умственного расстройства он страдал, однако это не мешало им всякий раз снова даваться диву. Они попросили Санчо Пансу показать им послание, ко-торое он вез сеньоре Дульсинее Тобосской. Тот сказал, что послание написано на одном из листков в памятной книжке и что Дон Кихот велел отдать его переписать в первом же селе-нии; священник, однако ж, попросил показать письмо — он, де-скать, отличным почерком его перепишет. Санчо Панса сунул руку за пазуху и поискал книжку, но так и не нашел, да если б он искал ее даже до сего дня, то все равно не нашел бы, потому что она осталась у Дон Кихота, и тот забыл ему передать, а Санчо невдомек было напомнить.

Когда Санчо обнаружил, что книжки нет, он стал бледен как смерть и, вновь принявшись весьма поспешно себя ощупывать, вновь пришел к заключению, что книжки нет, и, мигом запустив обе руки себе в бороду, половину вырвал, а затем в мгновение ока раз шесть подряд хватил себя кулаком по лицу, так что из носу у него потекла кровь. Увидевши это, священник и ци-рюльник спросили, что с ним случилось и за что он так на себя напустился.

— Что со мной случилось? — воскликнул Санчо.— А то, что в одно, как это говорится, *мановение*, я ахнуть не успел, у меня уже не стало трех ослят, из коих каждый стоит целого за́мка.

— Как так? — спросил цирюльник.

— Я потерял записную книжку,— пояснил Санчо,— с пись-мом к Дульсинее Тобосской и с приказом за подписью моего господина, в котором он велит племяннице выдать мне трех из тех четырех или пяти ослят, что остались у него в имении.

И тут он сообщил им о пропаже серого. Священник принялся утешать его и сказал, что, когда он разыщет своего господина, тот напишет другой приказ, но уже на большом листе бумаги, согласно существующим правилам и законам, ибо вексель, напи-санный на листке из записной книжки, никто не примет и не оплатит.

Санчо этим утешился и сказал, что коли так, то пропажа письма к Дульсинее не очень его огорчает, тем более что он знает письмо почти наизусть и с его слов они могут записать его, когда и где им заблагорассудится.

— Говори же, Санчо,— сказал цирюльник,— а мы будем записывать.

Силясь припомнить содержание письма, Санчо Панса почесывал затылок, переминался с ноги на ногу, то поднимал, то опускал глаза, изгрыз полногтя на пальце и, изрядное количество времени продержав в неведении священника и цирюльника, ожидавших, что он скажет, наконец объявил:

— Если только память мне не изменяет, там было так... если только мне не изменяет память: «Язвительный, и бессонный, и раненый целует вашей милости руки, неблагодарная и никому не известная красавица», и что-то еще насчет здоровья и болезни, коих он ей желает,— одним словом, много всего было подпущено, а кончалось так: «Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа».

Немало потешила обоих путников отличная память Санчо Пансы, и они выразили ему свое восхищение и попросили еще два раза прочитать письмо, дабы они, в свою очередь, могли запомнить его и при случае записать. Санчо еще три раза прочитал письмо и наговорил невесть сколько всякой чепухи. Затем он рассказал о делах своего господина, умолчав, однако ж, о том, как его самого подбрасывали на этом постоялом дворе, куда он теперь не решался попроситься на постой. Еще он сказал, что его господин в предвидении благоприятного ответа от сеньоры Дульсинеи Тобосской уже нацелился на императорский или, по крайности, на королевский престол, что так-де между ними условлено и что это дело нехитрое, сжели принять в рассуждение храбрость Дон Кихота и мощь его длани; и что как скоро это сбудется, то Дон Кихот его, Санчо, женит, ибо он к тому времени овдовеет, это уж как пить дать, и сосватает ему наперсницу императрицы, наследницу огромного и богатого имения, но только на материке, без всяких этих островов и чертостро́вов, ибо они ему уже разонравились. Все это Санчо проговорил весьма хладнокровно, время от времени прочищая нос, и с таким глупым видом, что его односельчане снова дались диву при мысли о том, сколь пылким должно быть безумие Дон Кихота, если увлекло оно за собою рассудок бедняги Санчо. Однако ж они не дали себе труда рассеять его заблуждение: на душе у него, мол, будет спокойнее, если он останется при своем мнении, а им и вовсе одно удовольствие слушать, как он городит чушь. А потому они сказали, чтобы он молился богу о здравии своего господина, ибо со временем стать императором, или, по

малой мере, архиепископом, или же быть возведенным в какой-либо другой высокий сан — это вещь возможная и очень даже легко исполнимая. Санчо же им на это сказал:

— Сеньоры! А что, если судьба повернет дело так, что моему господину вспадет на ум стать не императором, а архиепископом? Так вот я бы хотел знать заранее: чем обыкновенно награждают своих оруженосцев странствующие архиепископы?

— Обычная награда,— отвечал священник,— это приход с отправлением обязанностей духовника или же без оного, или назначают их причетниками, а причетники получают хорошее жалованье, не считая столь же крупных побочных доходов.

— Но для этого необходимо,— возразил Санчо,— чтобы оруженосец не был женат и чтобы он, по крайности, умел прислуживать в церкви. А коли так, то все пропало, потому, первонаперво, я женат, а во-вторых, не учен грамоте! И что только со мной будет, коли моему господину придет охота стать архиепископом, а не императором, как это принято и как это водится у странствующих рыцарей?

— Не беспокойся, друг Санчо,— заговорил цирюльник,— мы попросим твоего господина, отсоветуем ему, скажем, что он поступит по совести, коли станет императором, а не архиепископом, да это ему и легче, оттого что он более храбр, нежели образован.

— Мне тоже так кажется,— заметил Санчо,— хотя должен вам сказать, что он на все руки мастер. Я же буду молить бога направить моего господина в такую сторону, где бы он и самому себе угодил, и меня осчастливил.

— Ты рассуждаешь как человек здравомыслящий,— сказал священник,— и намерен поступить как истинный христианин. Но сейчас надлежит обсудить, как нам избавить твоего господина от этого бессмысленного покаяния, о котором ты нам рассказал. И дабы обдумать, как это осуществить, и дабы подкрепиться — ведь уже время,— не худо было бы зайти на постоялый двор.

Санчо сказал, что пусть, мол, они зайдут, а он подождет здесь — потом, дескать, он им объяснит, отчего он не зашел и отчего не след ему туда заходить,— но что он просит вынести ему чего-нибудь горячего, а Росинанту — овса. Они ушли, он остался, а немного погодя цирюльник вынес ему поесть. После этого священник с цирюльником долго еще размышляли, как им достигнуть желаемого, и наконец священник пришел к мысли совершенно во вкусе Дон Кихота и вполне отвечавшей их намерениям, а именно — он сказал цирюльнику, что измыслил он вот что: он, дескать, переоденется странствующею девицею, а цирюльник приложит все старания, чтобы как можно лучше выря-

диться ее слугою, и в таком виде они отправятся к Дон Кихоту, и он, священник, прикинувшись обиженною и беззащитною девицею, попросит его об одном одолжении, в котором тот, как подобает доблестному странствующему рыцарю, разумеется, ему не откажет. Одолжение это состоит в том, чтобы Дон Кихот последовал за девицею и отмстил за оскорбление, неким злым рыцарем ей нанесенное; кроме того, девица попросит у него дозволения не снимать маски и даже не отвечать ему, коль скоро он станет ее о чем-либо вопрошать, покуда он над тем злым рыцарем должной расправы не учинит. В заключение же священник выразил твердую уверенность, что Дон Кихот при таких условиях пойдет на все и что таким образом они вызволят его оттуда и доставят в село, а там уж они попытаются сыскать средство от столь необычайного помешательства.

Цирюльник не только не отверг замысел священника, но, напротив, вполне одобрил, и они тот же час привели его в исполнение. У хозяина постоялого двора они раздобыли женское платье и головной убор, а в залог оставили новенькую сутану священника. Цирюльник сделал себе длинную бороду из бычачьего хвоста, в который хозяин постоялого двора имел обыкновение втыкать гребень. Хозяйка спросила, зачем понадобились им эти вещи. Священник, вкратце рассказав ей о сумасшествии Дон Кихота и сообщив, что в настоящее время он находится в горах, пояснил, что весь этот маскарад нужен им для того, чтобы вызволить его оттуда. Хозяин и хозяйка тотчас догадались, что сумасшедший — это их бывший постоялец, изобретатель бальзама, господин того самого оруженосца, который летал тут у них на одеяле, и рассказали священнику обо всем, что с ним произошло у них на постоялом дворе, не скрыв и того, что так тщательно скрывал Санчо. Наконец хозяйка нарядила священника так, что лучше и желать было нельзя: надела на него суконную юбку, на которой были нашиты полосы черного бархата шириною в ладонь, все до единой с прорезами, и отделанный белым атласом корсаж из зеленого бархата — так же, как и юбка, времен короля Вамбы*. Однако вместо женского головного убора священник пожелал надеть свой полотняный стеганый ночной колпак, лоб он повязал лоскутом черной тафты, а из другого лоскута сделал маску, и она отличнейшим образом закрыла ему и лицо и бороду. Сверху он нахлобучил шляпу, такую огромную, что она могла бы заменить зонт, и, надев накидку, на дамский манер сел верхом на мула, меж тем как на другого мула сел цирюльник с длинною, до пояса, бородою, сделанною из грязного бычачьего хвоста.

Они попрощались со всеми, в том числе и с доброю Маритор-нес, которая тут же дала обещание помолиться, чтобы господь

послал им удачу в этом представляющем такие трудности и истинно христианском начинании. Но не успели они отъехать от постоялого двора, как вдруг священнику вспало на ум, что он поступил дурно, вырядившись таким образом, ибо неприлично священнослужителю так наряжаться, хотя бы и для благой цели; и, поделившись своими соображениями с цирюльником, он предложил ему поменяться одеянием, ибо правильнее, дескать, будет, если цирюльник изобразит беззащитную девицу, а он — ее слугу: при этом условии он-де не так осквернит свой сан; буде же цирюльник на это не согласится, то он дальше не поедет, хотя бы Дон Кихота утащил к себе черт. В это время к ним приблизился Санчо и, поглядев на их наряд, не мог удержаться от смеха. Цирюльник между тем дал священнику полное согласие, и тот, изъясняя свой замысел, стал поучать его, как он должен себя вести и что он должен сказать Дон Кихоту, чтобы побудить и заставить его последовать за ним и покинуть трущобу, которую тот избрал местом бесплодного своего покаяния. Цирюльник на это возразил, что он и без наставлений в лучшем виде обделает дело. Решившись не переодеваться, пока они не подъедут к тому ущелью, где находился Дон Кихот, он уложил свой наряд, а священник приладил бороду, и, предводительствуемые Санчо Пансою, они продолжали свой путь. Санчо рассказал обо всем, что с ним самим и его господином случилось в горах, однако ж про чемодан и его содержимое умолчал, ибо хоть и простоват был наш молодец, а на деньги падок.

На другой день увидели они ветки, которые разбросал Санчо, чтобы по этой примете определить место, где он оставил своего господина; узнав же местность, он объявил, что здесь начинаются ущелья и что пора им переодеваться, если только это и правда необходимо для спасения сеньора Дон Кихота; должно заметить, что они уже объяснили Санчо, сколь это важно — предстать пред Дон Кихотом в подобном наряде, и что только так и можно принудить его сменить этот ужасный образ жизни на иной, и строго-настрого наказали не говорить ему, кто они такие и что он их знает; если же он спросит — а он-де непременно спросит,— вручил ли Санчо письмо Дульсинее, то сказать, что вручил, но так как она грамоте не знает, то и ответила ему на словах и велела под страхом навлечь на себя ее гнев в ту же секунду по крайне важному делу явиться к ней; к этому они еще кое-что прибавят от себя и таким образом, без сомнения, выведут его туда, где его ждет лучшая доля, и с их помощью он немедленно двинется по пути если не к императорскому, то уж, во всяком случае, к королевскому престолу,— архиепископства же, дескать, бояться нечего. Санчо все это вы-

слушал, хорошенько запомнил и поблагодарил их за намерение посоветовать его господину стать императором, а не архиепископом, ибо он был глубоко убежден, что император скорей может чем-либо пожаловать своего оруженосца, нежели странствующий архиепископ. Еще он сказал, что лучше всего, если он поедет вперед и передаст Дон Кихоту ответ его повелительницы,— может, этого окажется достаточно для того, чтобы извлечь его оттуда, и им незачем будет так себя утруждать. Мысль Санчо показалась им правильной, и они решились подождать, пока он возвратится с вестями о своем господине.

Санчо скрылся в одной из расселин, они же остались в другой, где тихий протекал ручеек в прохладной и манящей тени скал и там и сям росших дерев. Знойный день — надобно заметить, что дело происходило в августе, когда здесь стоит сильная жара,— час — а именно три часа пополудни,— все это делало открывшийся их взору уголок еще более привлекательным и усиливало соблазн дождаться здесь возвращения Санчо, и они на это склонились. И вот, когда путники отдыхали в тени, их слуха достигнул печальный голос, говоривший такие слова:

— О боже! Ужели я сыскала наконец место, могущее служить тайною гробницей для тяжкого бремени моего тела — бремени, которое я против воли своей влачу? Да, сыскала, если только безмолвие окрестных гор меня не обманывает.

Священник и цирюльник расслышали и уловили эти слова, и показалось им — да так оно и было на самом деле,— что говорят где-то совсем близко от них, а потому они двинулись на поиски произносившего эти слова человека, но не прошли они и двадцати шагов, как за утесом, под сенью ясеня, глазам их представилась прелестная девушка. Едва завидев их, она вскочила и бросилась бежать; однако нежные ее ноги не вынесли прикосновения острых камней, и, пробежав всего лишь несколько шагов, она упала. Тут священник и цирюльник приблизились к девушке, и первым заговорил с ней священник:

— Кто бы вы ни были, сеньора, ни шагу далее, ибо единственное желание тех, кого вы видите перед собою, это помочь вам. Напрасно вы опрометью бросились от нас бежать, все равно ваши ноги не вынесут этого, да и мы этого не допустим.

Недоумевающая и смущенная, она не отвечала ни слова. Тогда они подошли к ней еще ближе, и, взяв ее за руку, священник снова заговорил:

— Преодолейте же, моя сеньора, страх, который мы вам внушили своим появлением, и поведайте нам счастье свое или же злосчастье,— у каждого из нас вы встретите сочувствие вашему горю.

Она не заставила себя долго упрашивать и рассказала о том,

как некий знатный кавальеро по имени дон Фернандо ее обманул и как она в отчаянии бежала от родителей в горы.

В это время послышались крики, и священник с цирюльником догадались, что это кричит Санчо Панса: не найдя их там, где оставил, он громко теперь к ним взывал. Они пошли ему навстречу, и на их вопрос о Дон Кихоте он ответил, что Дон Кихот в одной сорочке, исхудалый, бледный, голодный, вздыхает о госпоже своей Дульсинее и что хотя он, Санчо, ему сказал, что Дульсинея велит ему покинуть эти места и ехать в Тобосо, где она его ожидает, но тот объявил, что не предстанет пред ее великолепием, пока не свершит подвигов, милости ее достойных. И если так будет продолжаться,— примолвил Санчо,— то Дон Кихот рискует остаться не только без империи, завоевать которую он обязался, но даже без архиепископства, впрочем архиепископство — это только за неимением лучшего, а посему во что бы то ни стало надлежит вызволить его отсюда. Лиценциат сказал, что он может не беспокоиться: как Дон Кихоту будет угодно, а уж они, дескать, вызволят его отсюда. Затем он сообщил Доротее (так звали девушку), что́ он и цирюльник затеяли для того, чтобы излечить Дон Кихота или уж, по крайности, препроводить домой; Доротея ему на это сказала, что она лучше цирюльника сыграет беззащитную девицу, к тому же у нее есть соответствующий наряд, так что у нее это выйдет натуральнее, и пусть-де ей поручат изобразить все, что нужно для того, чтобы их начинание увенчалось успехом, ибо она прочла много рыцарских романов и отлично знает, как изъясняются обиженные девицы, когда просят помощи у странствующих рыцарей.

— В таком случае,— заметил священник,— нам остается только приняться за дело.

Тут Доротея достала из своего узла нарядное платье и прекрасной зеленой ткани мантилью, а из ларца — ожерелье и прочие драгоценности и, надев их на себя, мгновенно превратилась в богатую и знатную сеньору. Все это, по ее словам, и еще кое-какие вещи она взяла с собою на всякий случай, но до сих пор такого случая не представлялось. Все пришли в восторг от превеликого ее изящества, прелести и очарования и объявили, что дон Фернандо, верно, ничего не понимает, коли оттолкнул от себя подобную красоту; однако ж всех более восхищен был Санчо Панса, ему казалось (да так оно и было на самом деле), что за всю свою жизнь не видел он столь обворожительного создания, а потому он в сильном волнении спросил священника, кто сия прелестная сеньора и кого она в этакой глуши разыскивает.

— Эта прелестная сеньора, брат Санчо,— отвечал священ-

ник,— является, между прочим, прямою наследницею по мужской линии великого королевства Микомиконского, а разыскивает она твоего господина, дабы обратиться к нему с просьбою о заступлении и об отмщении за нанесенные ей неким злым великаном обиду и оскорбление, слава же о столь добром рыцаре, каков твой господин, идет по всеи земле, и принцесса сия прибыла из Гвинеи, дабы его сыскать.

— Счастливые поиски и счастливая находка,— сказал на это Санчо Панса,— особливо ежели на долю моего господина выпадет такая удача, что он убьет эту гадину-великана, о котором ваша милость толкует, и тем самым отмстит за обиду и оскорбление, а уж он непременно его убьет, если только с ним встретится и если только это не привидение, потому супротив привидений моему господину не устоять. Но, между прочим, сеньор лиценциат, вот об чем я хочу попросить вашу милость: чтобы моему господину не припала охота стать архиепископом, чего именно я и опасаюсь, посоветуйте ему, ваша милость, как можно скорее жениться на этой принцессе, тогда уж его в сан архиепископа не возведешь и он без особого труда добьется императорской короны, а я — венца своих желаний. Ведь я долго над этим думал и пришел к заключению, что не с руки это мне — чтобы мой господин становился архиепископом, я для церкви человек бесполезный: я женат, а хлопотать мне теперь о разводе, чтобы иметь право получать какие-нибудь там церковные доходы, потому как я, значит, имею жену и детей,— это дело безнадежное. Стало быть, сеньор, вся штука в том, чтобы мой господин поскорее женился на этой сеньоре — я с ее милостью еще не знаком, а потому и не величаю по имени.

— Ее зовут принцесса Микомикона,— отвечал священник,— ибо если королевство ее называется Микомиконским, то ясно, что и ей надлежит называться так же.

— Разумеется,— согласился Санчо.— Мне часто приходилось встречать людей, которые производили свои имена и фамилии от той местности, где они родились,— например, Педро де Алькала́, Хуан де Убеда, Дьего де Вальядолид,— наверно, и в Гвинее существует такой обычай, чтобы королевы назывались по имени своих королевств.

— Наверно,— сказал священник,— а что касается женитьбы твоего господина, то я сделаю все, что от меня зависит.

Слова эти столь же обрадовали Санчо, сколь поразило священника его простодушие и то, как прочно засел у него в голове вздор, занимавший воображение его господина,— ведь тот, конечно, был уверен, что сделается императором.

Тем временем Доротея села на священникова мула, а цирюльник приладил бороду из бычачьего хвоста, и они велели

Санчо проводить их к Дон Кихоту, предварительно наказав ему не говорить, что это цирюльник, ибо вся, дескать, штука в том, чтобы Дон Кихот не узнал их, от этого, мол, зависит, быть ему императором или не быть. Священник порешил не сопровождать их просто потому, что присутствие его было теперь уже лишним, и вот те поехали вперед, а он не спеша двинулся за ними пешком. Он не преминул сделать Доротее наставление, как ей надлежит действовать, но та ему на это сказала, что он может не беспокоиться: все, дескать, выйдет без сучка, без задоринки, так, как того требуют и как это изображают рыцарские романы. Всадники наши проехали три четверти мили, как вдруг среди нагромождения скал глазам их представился Дон Кихот, уже одетый, но еще не вооруженный, и как скоро Доротея увидела его и получила подтверждение от Санчо, что это и есть Дон Кихот, то хлестнула своего иноходца, а следом за нею поскакал брадатый брадобрей; когда же они приблизились к Дон Кихоту, то цирюльник соскочил с мула и хотел было подхватить Доротею, но та, с чрезвычайною легкостью спешившись, бросилась перед Дон Кихотом на колени; и хотя Дон Кихот силился поднять ее, она, не вставая, возговорила так:

— Я не встану с колен, о доблестный и могучий рыцарь, до тех пор, пока доброта и любезность ваши не явят мне милость, каковая вашей особе послужит к чести и украшению, а самой неутешной и самой обиженной девице во всем подлунном мире на пользу. И если доблесть мощной вашей длани равновелика гласу вашей бессмертной славы, то ваш долг — оказать покровительство несчастной, пришедшей из далеких стран на огонь славного вашего имени просить вас помочь ее горю.

— Я не отверзну уст своих, великолепная сеньора,— отвечал Дон Кихот,— и не приклоню слуха к вашим мольбам до тех пор, пока вы не встанете.

— Я встану, сеньор,— возразила скорбящая девица,— не прежде, нежели ваша любезность окажет мне просимую услугу.

— Я согласен вам ее оказать,— объявил Дон Кихот,— если только от этого не будет вреда и ущерба моему королю, моей отчизне, а также той, кто владеет ключами от сердца моего и свободы.

— Ни вреда, ни ущерба им от этого не будет, добрый мой сеньор,— отвечала страждущая девица.

В это время Санчо Панса приблизился к своему господину и сказал ему на ухо:

— Сеньор! Ваша милость смело может обещать сделать ей это одолжение, потому убить какого-то там великанишку — это для вас пустяк, а просит об этом благородная принцесса Ми-

комикона, королева великого королевства Микомиконского в Эфиопии.

— Кто бы она ни была,— возразил Дон Кихот,— я поступлю так, как я обязан поступить и как мне велит моя совесть.

И, обратясь к девице, молвил:

— Великая красота ваша да восстанет,— я согласен оказать просимую вами услугу.

— Я прошу о том,— сказала девица,— чтобы ваша самоотверженность последовала за мною немедля, предварительно обещав мне не искать никаких других приключений и не исполнять ничьих просьб, пока не отомстит предателю, который, поправ законы божеские и человеческие, захватил мое королевство.

— Повторяю: я исполню вашу просьбу,— объявил Дон Кихот,— а потому, сеньора, вам сей же час надлежит сбросить с себя гнетущее бремя скорби и вдохнуть новые силы и мужество в изнемогшую вашу надежду, ибо с помощью божией и с помощью длани моей вам скоро будет возвращено королевство и вы воссядете на древнем и великом престоле вашего государства — назло и наперекор наглецам, осмелившимся его оспаривать. И — за дело, ибо промедление, как говорится, опаснее всего.

Беззащитная девица крайне настойчиво пыталась облобызать Дон Кихоту руку, но он, будучи рыцарем в высшей степени учтивым и обходительным, этого не допустил; напротив, он с отменною учтивостью и обходительностью обнял и поднял ее, а затем велел Санчо подтянуть на Росинанте подпругу и сию же минуту подать доспехи. Санчо отвязал доспехи, висевшие, будто трофеи, на дереве, и, подтянув подпругу, в одну минуту облек в них своего господина, господин же его, облачившись в доспехи, молвил:

— Итак, господи благослови, двинемся на защиту этой знатной сеньоры.

Цирюльник все еще стоял на коленях, прилагая огромные усилия к тому, чтобы не прыснуть, и придерживая рукою бороду, падение которой могло бы им всем помешать осуществить благое их начинание; видя, однако ж, что услуга уже обещана и что Дон Кихоту не терпится ее оказать, он встал и, поддерживая другою рукой Доротею, вместе с Дон Кихотом помог ей сесть на мула; вслед за тем Дон Кихот воссел на Росинанта, цирюльник взобрался на борзого своего коня, а Санчо пошел пешком, и тут он, снова почувствовав, как ему недостает серого, вспомнил об его пропаже; однако на сей раз он к этому отнесся легко — он утешал себя тем, что его господин уже на пути к тому, чтобы сделаться императором, и вот-вот это сбудется: ведь он, разумеется, был уверен, что Дон Кихот женится на этой принцессе

и станет по меньшей мере королем Микомиконским. Одно лишь огорчало его — то, что королевство это находится в стране негров и что люди, коих определят к нему в вассалы, будут чернокожие; впрочем, воображение его тут же указало ему недурной выход, и он подумал: «Ну и что ж такого, что вассалами моими будут негры? Погрузить их на корабли, привезти в Испанию, продать* их тут, получить за них наличными, купить на эти денежки титул или должность — и вся недолга, а там доживай себе беспечально свой век! Будьте спокойны, мы не прозеваем, у нас хватит сметки и смекалки обстряпать это дельце и мигом продать тридцать или там десять тысяч вассалов. Ей-богу, я их живо спущу, всех гуртом или уж как там придется, но только продам-то я черных, а вернутся они ко мне серебряными да золотыми. Нет, я не такой дурак, как вы думаете!» И так все это его занимало и радовало, что он забывал о неудобстве пешего хождения.

Когда Дон Кихот со своими спутниками выбрался на равнину, священник стал пристально в него всматриваться, знаками давая понять, что узнаёт его, и лишь много спустя, с распростертыми объятиями бросившись к нему, воскликнул:

— Здравствуйте, зерцало рыцарства, добрый мой земляк Дон Кихот Ламанчский, верх и предел благородства, прибежище и оплот обездоленных, цвет странствующих рыцарей!

Говоря это, он сжимал в объятиях колено левой ноги Дон Кихота, а тот, ошеломленный речами и движениями этого человека, внимательно на него поглядел и, узнав, словно обомлел при виде его и напряг усилия, чтобы спешиться, однако ж священник этого не допустил, и тогда Дон Кихот сказал:

— Позвольте, ваша милость, сеньор лиценциат! Мне не подобает ехать на коне, в то время как столь высокочтимая особа идет пешком.

— Я этого ни в коем случае не допущу,— сказал священник,— вашему величию подобает оставаться на коне, ибо, оставаясь на коне, вы наконец совершите такие ратные подвиги, каких еще не видел наш век, мне же, недостойному священнослужителю, надлежит взобраться на круп мула.

— Я уверен,— заметил Дон Кихот,— что сеньора принцесса из любви ко мне будет так любезна, что велит своему слуге уступить вашей милости седло, а он может устроиться на крупе своего мула, если только тот выдержит.

— По-моему, выдержит,— сказала принцесса,— я же уверена в том, что мой слуга в приказаниях не нуждается: он у меня такой обходительный, предупредительный и ни за что не допустит, чтобы духовная особа шла пешком, когда она может ехать.

— Совершенная правда,— подтвердил цирюльник.

Он мигом спешился и уступил место священнику, и тот, не заставив себя долго упрашивать, сел в седло, однако ж, на беду, то был наемный мул, а сказать «наемный» — это все равно что сказать «скверный», и когда цирюльник стал взбираться к нему на круп, он приподнял задние ноги и дважды взбрыкнул ими, так что, попади он маэсе Николасу в грудь или же в голову, тот, уж верно, послал бы к черту свою поездку за Дон Кихотом. Как бы то ни было, цирюльник от испуга свалился, и когда он падал, ему уже было не до бороды, а потому она у него тотчас же отвалилась; и тут он, видя, что остался без бороды, не нашел ничего лучшего, как закрыть лицо руками и крикнуть, что у него выбиты зубы. Дон Кихот же, заметив, что на почтительном расстоянии от потерпевшего крушение слуги валяется пук бороды без челюстей и без крови, воскликнул:

— Свят, свят, свят, это еще что за чудо! Так аккуратно вырвать бороду и швырнуть ее наземь можно только нарочно!

Священник, видя, что его затее грозит опасность быть разоблаченной, подскочил к бороде и бросился с нею к маэсе Николасу, все еще распростертому на земле и кричавшему на крик, а затем недолго думая положил его голову себе на грудь, приставил бороду и начал что-то бормотать, предварительно пояснив, что это особая молитва от выпадения бороды и что в чудодейственной ее силе они не замедлят удостовериться; приставив же ему бороду, он отошел, и стал наш слуга, как прежде, здрав и брадат, что привело Дон Кихота в крайнее изумление, и он попросил священника на досуге научить его этой молитве, ибо он, дескать, думает, что действие ее сводится не только к приращиванию бород,— ведь на месте вырванной бороды должны оставаться раны и струпья, и коли молитва все это заживляет, то ясно, что она помогает не только при выпадении бороды.

— Справедливо,— сказал священник и обещал научить его этой молитве при первом удобном случае.

Порешили они на том, что теперь сядет на мула только священник. Когда же трое сели верхами, то есть Дон Кихот, принцесса и священник, а двое пошли пешком, то есть цирюльник и Санчо Панса, Дон Кихот обратился к девице:

— Ваше величие, госпожа моя! Ведите меня, куда вам будет угодно.

Но, прежде чем она успела ответить, заговорил лиценциат:

— В какое королевство нас поведет ваша светлость? Уж не в Микомиконское ли? Вернее всего, что туда, или я ничего не смыслю в королевствах.

Доротея была с ним в заговоре, а потому она живо смекнула что должно отвечать утвердительно, и сказала ему так:

— Да, сеньор, путь мой лежит к этому королевству.

— А коли так,— подхватил священник,— то мы проедем через мое село, оттуда ваша милость направит путь в Картахену*, и там вы с божьей помощью сядете на корабль. И если ветер будет попутный, а море спокойно и безбурно, то лет через девять вы очутитесь в виду великого озера Писписийского, то бишь Меотийского*, а уж оттуда немногим более ста дней пути до вашего королевства.

— Вы ошибаетесь, государь мой,— возразила принцесса,— не прошло и двух лет, как я выехала оттуда, и даю вам слово, что погода все время стояла скверная, и все же я увидела того, к кому я так стремилась, а именно сеньора Дон Кихота Ламанчского, молва о котором достигла моего слуха, едва лишь я ступила на берег Испании, и подвигнула меня разыскать его, дабы поручить себя его благородству и доверить правое мое дело доблести непобедимой его длани.

— Довольно! Не расточайте мне более похвал,— прервал ее Дон Кихот,— мне претит всякого рода ласкательство, и хотя бы это и не было ласкательством, а все же мой целомудренный слух оскорбляют подобные речи. Одно могу сказать вам, госпожа моя: какова бы ни была моя доблесть, раз она у меня так или иначе есть, я обязан служить вам, не щадя собственной жизни. Но всему свой черед, а теперь я попрошу вас, сеньор лиценциат, объяснить мне, как вы очутились в этих краях, один, налегке и без слуг,— право, мне это странно.

— На это я отвечу вам кратко,— отвечал священник.— Да будет известно вашей милости, сеньор Дон Кихот, что я и маэсе Николас, наш общий друг и наш общий цирюльник, держали путь в Севилью за деньгами, которые мне прислал мой родственник, много лет тому назад переселившийся в Америку, и деньгами немалыми: шестьдесят тысяч полновесных песо* — это вам не кот наплакал. И вот, когда мы вчера здесь проезжали, на нас напали разбойники и отняли все, даже бороды. И так они нас обчистили, что цирюльнику пришлось надеть бороду накладную. Местные жители говорят в один голос, что ограбили нас каторжники, которых якобы освободил, и чуть ли не на этом самом месте, некий человек, столь дерзкий, что, невзирая на комиссара и стражу, он отпустил их на все четыре стороны. И, разумеется, это какой-нибудь сумасшедший или такой же отпетый негодяй, как и они, вообще человек, у которого ни стыда, ни совести: ведь он пустил волка на овец, лису на кур, муху на мед. Видно, задумал он обойти правосудие и поднять бунт против короля, природного своего господина, коли нарушил

мудрое его распоряжение. Видно, говорю, задумал он лишить галеры гребцов и всполошить Святое братство, которое уже много лет назад почило от дел своих. Словом, за таковой поступок и душе его не миновать гибели, да и телу придется не сладко.

Санчо успел рассказать священнику и цирюльнику о приключении с каторжниками, окончившемся к вящей славе его господина, и священник для того теперь об этом распространялся, чтобы посмотреть, как будет вести себя Дон Кихот, а Дон Кихот менялся в лице при каждом его слове, но все не решался сознаться, что он, а не кто-нибудь другой, освободил теплую эту компанию.

— Так вот кто нас ограбил,— заключил священник.— Ты же, господи, по милосердию своему, прости того, кто отвел от них должную кару.

ГЛАВА XIX,

повествующая о находчивости прелестной Доротеи и еще кое о чем, весьма приятном и увлекательном

Не успел священник договорить, как вмешался Санчо:

— По чести, сеньор лиценциат, подвиг этот совершил мой господин, а ведь я его упреждал и внушал ему, чтоб он подумал о том, что делает и что грешно выпускать их на свободу, ибо угоняют их туда как отъявленных негодяев.

— Глупец! — сказал ему на это Дон Кихот.— В обязанности странствующих рыцарей не входит дознаваться, за что таким образом угоняют и так мучают тех оскорбленных, закованных в цепи и утесняемых, которые встречаются им на пути,— за их преступления или же за их благодеяния. Дело странствующих рыцарей — помогать обездоленным, принимая в соображение их страдания, а не их мерзости. Мне попались целые четки, целая низка несчастных и изнывающих людей, и я поступил согласно данному мною обету, а там пусть нас рассудит бог. И я утверждаю, что кому это не нравится — разумеется, я делаю исключение для священного сана сеньора лиценциата и его высокочтимой особы,— тот ничего не понимает в рыцарстве и лжет, как последний мерзавец. И я ему это докажу с помощью моего меча так, как если бы этот меч лежал передо мной.

С последним словом он привстал на стременах и надвинул на лоб шишак, цирюльничий же таз, который он принимал за шлем Мамбрина, до времени, пока не будут исправлены нанесенные ему каторжниками повреждения, висел у него на передней луке седла.

Доротея знала, что у Дон Кихота зашел ум за разум и что все, за исключением Санчо Пансы, над ним потешаются, а потому, будучи девицею находчивой и весьма остроумной, она не пожелала отстать от других и, видя, что Дон Кихот гневается, обратилась к нему с такими словами:

— Сеньор рыцарь! Помыслите о той услуге, которую вы обещали мне оказать, а также о том, что, согласно данному обещанию, вы не имеете права участвовать в других приключениях, хотя бы участие ваше было крайне необходимо. Смените же гнев на милость: ведь если бы сеньор лиценциат знал, что каторжники освобождены необоримою вашею дланью, он трижды прошил бы себе рот и трижды прикусил язык, прежде чем вымолвить слово, которое вам не придется по нраву.

— Клянусь,— подтвердил священник.— Я бы еще и ус себе вырвал.

— Я замолчу, госпожа моя,— сказал Дон Кихот,— и подавлю праведную злобу, поднявшуюся в моей душе, и пребуду тих и миролюбив, пока не исполню своего обещания. Но если только вам это не тяжело, в награду за благие мои намерения я прошу вас поведать мне, о чем вы горюете, сколь многочисленны, кто такие и каковы те люди, против кого мне надлежит обратить праведную, достойную и беспощадную месть.

— Я охотно исполню вашу просьбу,— молвила Доротея,— если только вам не наскучит рассказ о горестях и невзгодах.

— Не наскучит, госпожа моя,— сказал Дон Кихот.

Доротея же на это сказала:

— Коли так, то я прошу вашего, сеньоры, внимания. Прежде всего да будет вам известно, государи мои, что зовут меня...

И тут она запнулась, оттого что забыла, какое имя дал ей священник. Но тот, смекнув, что́ именно явилось камнем преткновения, поспешил на выручку и сказал:

— Неудивительно, госпожа моя, что ваше величие смущается и испытывает затруднения, повествуя о своих напастях. Такое уж у напастей свойство — отнимать память у тех, кого они преследуют, так что люди даже собственные имена свои забывают, как это случилось с вашей светлостью, ибо вы забыли, что зовут вас принцесса Микомикона и что вы законная наследница великого королевства Микомиконского. Ну, а теперь, после этого напоминания, ваше величие без труда сможет восстановить в скорбной своей памяти все, что вы желаете нам рассказать.

— То правда,— заметила девица,— и я думаю, что больше мне уже не нужно будет напоминать, и правдивую мою историю я благополучно доведу до конца. История же моя такова. Отец мой, король Тинакрий Мудрый, как его называют, был весьма

искушен в искусстве, магией именуемом, и вот благодаря своим познаниям постигнул он, что мать моя, королева Харамилья, умрет раньше него и что не в долгом времени суждено и ему перейти в мир иной, мне же — круглою остаться сиротою. Все это, однако ж, не так его удручало, как волновало его то, что почти рядом с нашим королевством чудовищный великан, про которого он слышал от верных людей, правит одним большим островом, а зовут его Пандафиланд Мрачноокий. Всем известно, что хотя глаза у него в порядке и на месте, однако ж он все поглядывает вбок, точно косой, и делает он это умышленно, чтобы повергать в страх и трепет тех, кто на него взирает. Ну, словом, отец мой узнал, что этот великан, прослышав о моем сиротстве, двинет несметную рать на мое королевство и захватит его, так что у меня не останется и малой деревушки, где бы я могла приклонить голову. Со всем тем отец мой утверждал, что бедствие это и разорение можно предотвратить, если только я пожелаю выйти за великана замуж, но что, по крайнему его разумению, я ни при каких обстоятельствах на столь неравный брак не решусь, и он был совершенно прав, ибо у меня и в мыслях никогда не было выходить замуж за великана — ни за этого, ни за другого, ни за самого что ни на есть огромного и непомерного. И завещал мне отец, чтобы после его смерти, когда Пандафиланд вторгнется в мое королевство, я не вздумала обороняться, ибо это значит обречь себя на гибель, но добровольно покинула пределы королевства, если только я желаю уберечь от смерти и полного уничтожения добрых моих и верных вассалов, ибо с таким дьявольски сильным великаном мне все равно-де не справиться, и чтобы без дальних размышлений с кем-нибудь из моих приближенных отправилась в Испанию, где я и обрету наконец избавление от всех зол, как скоро обрету некоего странствующего рыцаря, чья слава к тому времени пройдет по всему этому королевству, а зовут его, если память мне не изменяет, не то Дон Колоброд, не то Дон Сумасброд.

— Наверно, он сказал: Дон Кихот, сеньора,— поправил ее Санчо Панса,— или, иначе, Рыцарь Печального Образа.

— Твоя правда,— молвила Доротея.— Еще он сказал, что рыцарь тот ростом высок и лицом худощав. И разумеется, добрый мой отец оказался прав, и я поступила как должно, обратившись к сеньору Дон Кихоту, а ведь он и есть тот самый, о ком мне толковал отец, ибо черты лица у этого рыцаря точь-в-точь такие, как о том гласит молва не только в Испании, но и во всей Ламанче: ведь не успела я высадиться в Осуне, как до меня дошла весть о неисчислимых его подвигах, и тут сердце мне подсказало, что он и есть тот самый, кого я разыскиваю.

— Каким же образом ваша милость высадилась в Осуне, коль скоро это не морская гавань? — спросил Дон Кихот.

Однако ж, прежде чем Доротея успела что-нибудь ответить, взял слово священник и сказал:

— Сеньора принцесса, видимо, хочет сказать, что, высадившись в Малаге, она впервые услышала о вашей милости в Осуне.

— Я это и хотела сказать,— подтвердила Доротея.

— Вот так будет понятно,— сказал священник.— Продолжайте же, ваше величество.

— Продолжение будет состоять лишь в том,— сказала Доротея,— что счастье мне наконец улыбнулось и я разыскала сеньора Дон Кихота, и теперь я уже могу считать себя королевой и правительницей всего моего королевства, ибо он был настолько великодушен и любезен, что обещал оказать мне услугу и отправиться вместе со мной, куда я его поведу,— поведу же я его прямо к Пандафиланду Мрачноокому, дабы он убил его и возвратил мне то, что Пандафиланд столь беззаконно у меня отнял. И все это должно совершиться как по писаному, ибо так предсказал добрый мой отец Тинакрий Мудрый, который к этому еще прибавил и записал не то халдейскими, не то греческими буквами — я их так и не разобрала,— что если этот предвозвещенный мне рыцарь, обезглавив великана, пожелает вступить со мною в брак, то я немедля и без всяких разговоров должна стать законною его супругой и передать ему власть над моим королевством, а равно и над моею особою.

— Как тебе это нравится, друг Санчо? — обратился тут Дон Кихот к своему оруженосцу.— Видишь, как обстоит дело? А что я тебе говорил? Вот у нас уже и королевство, и королева — хоть сейчас бери бразды правления и женись.

— Клянусь, что это похоже на правду,— воскликнул Санчо,— и какой же распросукин сын после этого не свернет шею господину *Нискладуниладу* и не женится! А ведь королева-то, ей-ей, недурна!

С этими словами он, вне себя от восторга, дважды подпрыгнул, а затем схватил мула Доротеи под уздцы и, остановив его, бросился перед ней на колени и попросил дозволения поцеловать ей руки в знак того, что он признает ее своею королевою и госпожою. Ну кого бы, право, не насмешило безумие господина и простодушие слуги? Доротея между тем дала ему поцеловать руки и обещала сделать его вельможей в своем королевстве, как скоро небо явит ей милость и она снова будет им владеть и править. Санчо в таких выражениях стал изъявлять ей свою благодарность, что все опять засмеялись.

— Такова, сеньоры, моя история,— продолжала Доротея.— Мне остается лишь добавить, что из всей свиты, которую я вы-

везла из моего королевства, уцелел один этот бородатый слуга, а все остальные потонули во время ужасной бури, застигшей нас в виду гавани, мы же с ним чудом добрались на двух досках до берега, да и вся моя жизнь, как вы, верно, заметили, есть сплошное чудо и тайна. Если же я позволила себе что-нибудь лишнее или неуместное, то не вините в этом меня и вспомните, что́ сказал в начале моей повести сеньор лиценциат, а именно, что бесконечные и необычайные испытания отнимают память у того, кому они посылаются.

— Только не у меня, о благородная и доблестная сеньора, как бы многочисленны, тяжки и чрезвычайны ни были те испытания, которые пошлет мне судьба, пока я буду служить вам! — воскликнул Дон Кихот.— И я вновь подтверждаю свое обещание и клянусь, что пойду за вами хоть на край света, дабы переведаться с лютым вашим врагом, коему я надеюсь с помощью божией и с помощью моей длани снести буйную голову лезвием этого... к сожалению, не смогу сказать: «этого доброго меча», ибо Хинес де Пасамонте у меня его похитил.

Последние слова он проговорил сквозь зубы, а затем продолжал:

— А как скоро я его обезглавлю и введу вас в мирное владение государством вашим, то вы будете вольны располагать собою по своему благоусмотрению, ибо память моя поглощена, воля пленена, и я потерял рассудок, из-за той... далее умолкаю,— словом, я и помыслить не могу о женитьбе на ком бы то ни было.

Слова Дон Кихота о том, что он не хочет жениться, так не понравились Санчо, что он возвысил голос и весьма сердито заговорил:

— Клянусь вам, ручаюсь вам, ваша милость, сеньор Дон Кихот, что у вас не все дома, потому как же можно колебаться, когда речь идет о женитьбе на столь благородной принцессе? Или вы думаете, что такие удачи, как сегодня, на полу валяются? Или, по-вашему, госпожа моя Дульсинея красивее? Конечно, нет, эта вдвое краше, я готов поклясться, что Дульсинея ей в подметки не годится. Ежели ваша милость будет ловить в небе журавля, то черта с два я буду графом. Да ну, женитесь вы, женитесь, прах вас побери, и не упускайте королевства, которое само плывет вам в руки, становитесь королем и делайте меня маркизом или же наместником, а там пускай все летит к черту!

Дон Кихот не мог допустить, чтобы при нем поносили сеньору Дульсинею, а потому он взмахнул копьецом и, не говоря худого слова, два раза подряд так огрел Санчо, что тот полетел вверх тормашками, и если бы Доротея его не усовестила, он, уж верно, вытряс бы из него душу.

— Вы думаете, мерзкий грубиян,— немного спустя загово-

рил Дон Кихот,— что вы всегда так же нагло будете себя со мной держать и все на свете путать, а я буду вас миловать? Так нет же, окаянный мерзавец, ибо вы, точно, мерзавец, коли язык ваш коснулся несравненной Дульсинеи. Да знаете ли вы, пентюх, чурбан, лоботряс, что если б она не вливала силы в мою десницу, то я не убил бы и блохи? А ну говорите, насмешник с языком змеи: кто, по-вашему, завоевал это королевство, отсек голову великану и сделал вас маркизом (ведь я полагаю, что все это уже состоялось, что это, как говорится, решено и подписано),— кто, как не доблесть Дульсинеи, избравшей мою длань своим орудием? Она сражается во мне и побеждает мною, а я живу и дышу ею, и ей обязан я жизнью и всем моим бытием. О подлец, негодяй, как же вы неблагодарны! Вас вознесли из праха и сопричислили к титулованной знати, а вы благодетельнице своей платите злословием!

— Полно, полно,— вмешалась Доротея,— беги, Санчо, поцелуй своему господину руку, попроси у него прощения, впредь будь осторожнее в похвалах и порицаниях, не говори дурно о сеньоре Тобосе, которую я не имею чести знать, хотя и готова к ее услугам, и уповай на бога, а уж владения у тебя непременно будут, и заживешь ты по-княжески.

Санчо, понурив голову, подошел к своему господину и попросил пожаловать руку, и тот величественно ее пожаловал; когда же Санчо поцеловал руку, Дон Кихот благословил его и велел следовать за ним — ему надобно-де расспросить его и потолковать с ним о весьма важных вещах. Санчо так и сделал, и, проехав вперед, Дон Кихот обратился к нему с такими словами:

— С тех пор как ты возвратился, у меня не было времени и случая подробно расспросить тебя ни о посольстве, с коим ты выехал, ни об ответе, который тебе надлежало привезти, но теперь, когда, по милости судьбы, у нас есть для этого и время и место, ты не вправе лишать меня счастья услышать добрые вести.

— Спрашивайте о чем угодно, ваша милость,— сказал Санчо.

Но тут они увидели, что навстречу им едет какой-то человек верхом на осле, и, когда он подъехал ближе, им показалось, что это цыган; однако стоило Санчо Пансе, который при виде каждого осла становился сам не свой, вглядеться в этого человека, и он тотчас же догадался, что это Хинес де Пасамонте, и по одной этой цыганской шерстинке распознал овчинку собственного своего осла, и распознал безошибочно, ибо Пасамонте, точно, ехал верхом на его сером. Должно заметить, что упомянутый Пасамонте, дабы не быть узнанным и дабы продать осла, оделся так, как одеваются цыгане, на языке которых, а равно и на многих других языках он изъяснялся не хуже, чем на своем родном.

Санчо увидел его и узнал, а увидев и узнав, тотчас же завопил истошным голосом:

— Эй, вор Хинесильо! Отдай мне мое добро, отпусти мою душу на покаяние, не лишай меня покоя, оставь моего осла, верни мне мою усладу! Пошел прочь, собака, сгинь, разбойник, не смей трогать чужого!

Собственно, в таком количестве поносных слов не было необходимости, ибо при первом же из них Хинес соскочил с осла и, сразу перейдя на крупную рысь, мгновенно исчез и скрылся с глаз. Санчо подбежал к серому и, обняв его, молвил:

— Ну как ты без меня поживал, сокровище мое, красавец мой, дружочек мой серенький?

И при этом он целовал и ласкал его, как человека. Осел помалкивал; он принимал поцелуи и ласки Санчо, но в ответ не произносил ни слова. Приблизились остальные и поздравили Санчо с возвращением серого, а Дон Кихот, особенно обрадовавшийся за своего оруженосца, объявил, что он не отменяет требования касательно трех ослят. Санчо поблагодарил его.

В то время как Дон Кихот и Санчо между собою беседовали, священник, обратившись к Доротее, отметил изрядное ее искусство, проявившееся как в самом рассказе, так и в его краткости и сходстве с теми, что встречаются в рыцарских романах. Доротея ему на это сказала, что она увлекалась рыцарскими романами, но что она не имеет понятия, где находятся разные провинции и морские гавани, и оттого сказала наобум, что высадилась в Осуне.

— Я так и понял,— сказал священник,— и поспешил вмешаться, после чего все уладилось. Но разве не странно, что незадачливый этот идальго так легко верит всяким басням и небылицам единственно потому, что их слог и лад напоминают вздорные его романы? И ведь тут еще вот какое обстоятельство: добрый этот идальго говорит глупости, только если речь заходит о пункте его помешательства, но когда с ним заговорят о чем-нибудь другом, он рассуждает в высшей степени здраво и выказывает ум, во всех отношениях светлый и ясный, так что всякий, кто не затронет этой его рыцарщины, признáет его за человека большого ума.

В то время как они вели этот разговор, Дон Кихот, продолжая разговор с Санчо, молвил:

— Итак, друг Панса, раздоры наши — побоку, и ты мне, не помня ни зла, ни обиды, скажи: где, как и когда видел ты Дульсинею? Чем она была занята? Что ты ей сказал? Что она тебе ответила? Какое у нее было лицо, когда она читала мое послание? Кто тебе его переписал? Словом, поведай мне все, что, по-твоему, заслуживает в сем случае упоминания, вопроса

и ответа,— поведай, ничего не прибавляя и не присочиняя ради того, чтобы доставить мне удовольствие, а главное, ничего не пропуская, иначе ты лишишь меня такового.

— Сеньор! — возразил Санчо.— Сказать по совести, никто мне ничего не переписывал, потому никакого письма я с собою не брал.

— То правда,— заметил Дон Кихот,— записную книжку я обнаружил у себя спустя два дня после твоего отъезда, и это меня весьма огорчило, ибо я не знал, что ты будешь делать, когда увидишь, что письма нет, и я все думал, что ты воротишься, как скоро заметишь свою оплошность.

— Так бы оно и было,— возразил Санчо,— если б я не запомнил его наизусть, когда ваша милость мне его читала, так что я пересказал его псаломщику, и тот здóрово, слово в слово, мне его записал, да еще прибавил, что такого прекрасного послания он за всю свою жизнь не видел и не читал.

— И ты все еще помнишь его, Санчо? — спросил Дон Кихот.

— Нет, сеньор,— отвечал Санчо,— я его пересказал, а потом вижу, что оно мне больше не понадобится, ну и стал забывать, я только и помню, что *проклятущая*... то бишь *всемогущая* сеньора, и потом в конце: *Ваш до гроба Рыцарь Печального Образа.* А в середину я вставил штук триста всяких там «душ», «жизней» да «очей моих».

ГЛАВА XX

О любопытной беседе, которую вели между собою Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса, равно как и о других происшествиях

— Пока что я доволен,— сказал Дон Кихот,— продолжай. Вот ты пришел — чем в это время была занята царица красоты? Вернее всего, низала жемчуг или же золотыми нитками вышивала девиз для преданного ей рыцаря?

— Никак нет,— отвечал Санчо,— она просеивала зерно у себя во дворе.

— Так вот знай же,— сказал Дон Кихот,— что зерна, к коим прикасались ее руки, превращались в жемчужины. А ты не обратил внимания, друг мой, какое это было зерно? Верно, самой лучшей пшеницы?

— Ан нет, самой что ни на есть дешевой,— отвечал Санчо.

— Ну так я тебя уверяю,— сказал Дон Кихот,— что из зерна, просеянного ее руками, вне всякого сомнения получается наичистейший белый хлеб. Но продолжай. Когда ты вручил ей

мое послание, поцеловала ли она его? Возложила ли себе на главу?* Совершила ли приличествующие моему письму церемонии? Словом, что она сделала?

— Когда я передавал ей письмо,— отвечал Санчо,— она с увлечением трясла решето, в коем было изрядное количество пшеницы, и сказала мне: «Положи-ка, милый человек, письмо на мешок — пока всего не просею, я его читать не стану».

— О мудрая сеньора! — воскликнул Дон Кихот.— Уж верно, это она для того, чтобы прочитать на досуге и получить полное удовольствие. Дальше, Санчо. А пока она занималась своим делом, какие вела она с тобою речи? Спрашивала ли обо мне? И что ты ей ответил? Да ну же, рассказывай все как было, капли не оставляй на дне чернильницы!

— Она меня ни о чем не спрашивала,— отвечал Санчо,— но я ей все рассказал: так, мол, и так, мой господин, чтобы послужить вам, забрался в горы, ровно дикарь, и, голый до пояса, кается: спит на земле, во время трапезы обходится без скатерти, бороды не чешет, плачет и клянет судьбу.

— Насчет того, что я кляну судьбу, это ты неудачно выразился,— заметил Дон Кихот.— Напротив, я ее благословляю и буду благословлять всю жизнь за то, что я оказался достойным полюбить столь высокую особу, какова Дульсинея Тобосская.

— Она высокая,— сказал Санчо,— вершка на три с лишним выше меня будет, клянусь честью.

— Как так, Санчо? — спросил Дон Кихот.— Разве ты с ней мерялся?

— Вот как я мерялся,— отвечал Санчо,— я вызвался помочь ей взвалить на осла мешок с зерном и стал с нею рядом, тут-то я и заметил, что она выше меня на добрую пядь.

— И кто посмеет утверждать против очевидности,— воскликнул Дон Кихот,— что высокому ее росту не соответствует и не украшает ее великое множество душевных красот? Но ты, уж верно, не станешь отрицать, Санчо, одну вещь: когда ты подошел к ней вплотную, не почувствовал ли ты некий упоительный аромат, некое благоухание, нечто необычайно приятное, для чего я не могу подобрать подходящего выражения? Словом, что от нее пахнет, как в лучшей из модных лавок?

— На это я могу только сказать, что она, видно, много двигалась, ну и, конечно, вспотела,— отвечал Санчо.

— Полно врать,— возразил Дон Кихот,— у тебя, наверно, был насморк. Я же знаю, как благоухает эта роза без шипов, эта полевая лилия, этот раствор амбры. Итак, она уже просеяла зерно и отправила на мельницу. Что она сказала, когда прочитала послание?

— Послание она не прочла,— отвечал Санчо,— она сказала,

что не умеет ни читать, ни писать. Она его разорвала в клочки и сказала, что боится, как бы кто в селе его не прочел и не узнал ее секретов,— с нее, мол, довольно и того, что я передал ей на словах насчет любви, которую ваша милость к ней питает, и того из ряду вон выходящего покаяния, которое вы ради нее на себя наложили. А затем она велела передать вашей милости, что она целует вам руки и что ей больше хочется с вами повидаться, нежели писать вам письма, а потому она, дескать, просит и требует, чтобы по получении настоящего распоряжения вы перестали дурачиться и, выбравшись из этих дебрей, если только что-нибудь более важное вас не задержит, нимало не медля направили путь в Тобосо, потому она страх как хочет повидаться с вашей милостью. Она от души смеялась, когда я ей сказал, что ваша милость называет себя *Рыцарем Печального Образа*. Спросил я, заходил ли к ней достопамятный бискаец,— она сказала, что заходил и что он малый хороший. Еще я спросил ее про каторжников, но она сказала, что пока еще никто из них к ней не заходил.

— Пока все идет хорошо,— заметил Дон Кихот.— Но скажи мне, какую драгоценную вещь дала она тебе на прощанье за вести обо мне? Ведь у странствующих рыцарей и дам искони повелось жаловать оруженосцам, наперсницам и карликам, прибывающим с вестями о дамах к рыцарям или же о рыцарях к дамам, какую-нибудь драгоценную вещь в благодарность за исполненное поручение.

— Весьма возможно, и, по-моему, это обычай похвальный. Но только это, наверно, прежде так было, а нынче принято дарить кусок хлеба с сыром, потому только это и протянула мне через забор госпожа моя Дульсинея, когда я с нею прощался, да и сыр-то вдобавок овечий.

— В высшей степени щедрая благостыня,— возразил Дон Кихот,— и Дульсинея не подарила тебе какой-нибудь золотой вещи, по всей вероятности, единственно потому, что у нее ничего не нашлось под рукой, однако подарки дороги не только на праздник,— я с нею свижусь, и все уладится. Но знаешь, что меня удивляет, Санчо? Мне кажется, что ты слетал туда и обратно по воздуху: на то, чтобы съездить в Тобосо и вернуться обратно, ты потратил три дня с лишком, а ведь отсюда до Тобосо более тридцати миль. Из этого я заключаю, что мудрый кудесник, который обо мне печется и питает ко мне дружеские чувства — а таковой у меня, конечно, есть, да и не может не быть, иначе я не был бы славным странствующим рыцарем,— что помянутый кудесник неприметно помогал тебе в пути. Ведь иной из таких кудесников схватит странствующего рыцаря, когда тот спит у себя на кровати, и рыцарь сам не знает, как, что и почему,

а только на второй день просыпается за тысячу миль от того места, где лег спать. А если б не кудесники, странствующие рыцари не могли бы выручать друг друга из беды, как это они делают постоянно. Бывает иной раз так, что кто-нибудь из рыцарей сражается в горах Армении со злым чудовищем или же с другим рыцарем,— вдруг, откуда ни возьмись, в самый страшный для него миг сражения, когда он уже на волосок от смерти, прилетает туда на облаке или же на огненной колеснице рыцарь, его друг, который только что перед тем находился в Англии, бросается на его защиту и спасает от смерти, а вечером этот рыцарь уже у себя дома и с большим аппетитом ужинает, а до его дома, может быть, две, а то и три тысячи миль. И всем этим рыцари обязаны искусству и мудрости мудрых волшебников, заботящихся о доблестных рыцарях. Вот почему, друг Санчо, мне нетрудно поверить, что ты за такое короткое время успел обернуться, ибо, как я уже сказал, некий мудрый покровитель перенес тебя по воздуху, а ты этого и не заметил. Но довольно об этом. Как же мне, по-твоему, надлежит теперь поступить, коли моя госпожа велит мне явиться к ней? Я почитаю себя обязанным выполнить ее приказание и вместе с тем не могу не сделать обещанной милости той принцессе, что едет с нами, да и по законам рыцарства я должен сначала исполнить свое обещание, а потом уже думать об удовольствиях. С одной стороны, меня преследует и томит желание свидеться с моею госпожою, с другой стороны, меня влекут и призывают данное обещание и та слава, которую это предприятие мне сулит. Но вот что я надумал: я поеду быстрее и постараюсь как можно скорей добраться до этого великана; приехав же, отсеку ему голову и благополучно введу принцессу во владение ее страною, а затем, не теряя мгновенья, помчусь к светоносной владычице, озаряющей мою душу, и представлю ей столь уважительные причины, что она не осудит меня за опоздание. Она увидит, что все это служит лишь к вящей славе ее и чести, ибо все, чего я силой оружия достигал, достигаю и еще когда-либо в этом мире достигну, проистекает от ее благосклонности и моей верности.

— Ах, ваша милость, до чего ж у вас голова не в порядке! — воскликнул Санчо.— Ну скажите мне, сеньор: неужели ваша милость собирается даром пропутешествовать и упустить и прозевать такую богатую и знатную невесту, в приданое за которой дают целое королевство, каковое — честное слово, я сам слыхал— имеет свыше двадцати тысяч миль в окружности, стало быть, побольше Португалии и Кастилии, вместе взятых, и изобилует всем, что необходимо для того, чтобы поддержать человеческое существование? И не перечьте вы мне, ради создателя, лучше постыдитесь своих слов, послушайтесь моего совета и, не во гнев

вам будь сказано, обвенчайтесь в первом же селении, где только найдется священник, а не то к вашим услугам наш лиценциат — он вас обвенчает в лучшем виде. И еще примите в рассуждение, что в моем возрасте можно давать советы, что этот мой совет как нельзя более уместен и что лучше синицу в руки, чем журавля в небе,— ведь кто ищет от добра добра, тому долго ли до беды, а за одну беду — как это говорится? — семь ответов бывает*.

— Послушай, Санчо,— сказал Дон Кихот,— если ты советуешь мне жениться единственно потому, что, убив великана, я тотчас же сделаюсь королем и мне сподручнее будет осыпать тебя щедротами и пожаловать обещанное, то знай, что мне и неженатому не составит труда исполнить твое желание, ибо, прежде чем вступать в бой, я выговорю себе, что в случае моей победы, даже если я и не женюсь, мне отдадут часть королевства, дабы я мог подарить ее кому захочу. А когда она мне достанется, то кому же я ее подарю, как не тебе?

— Это-то ясно,— отвечал Санчо,— но только смотрите, ваша милость, выбирайте поближе к морю, чтобы, в случае если мне там не понравится, я мог погрузить моих черных вассалов на корабли, а затем сделать с ними то самое, что я уже вознамерился сделать. Так что, ваша милость, не вздумайте навещать госпожу мою Дульсинею теперь же, а поезжайте убивать великана, и мы с вами обделаем дельце,— клянусь богом, мне сдается, что оно будет для нас и весьма почетно, и весьма выгодно.

— Говорят тебе, Санчо, что ты можешь быть совершенно спокоен,— сказал Дон Кихот,— я последую твоему совету и поеду сначала с принцессой, а потом уже навещу Дульсинею. Но имей в виду: о нашем с тобой решении и уговоре никому ни слова, даже нашим спутникам, ибо если Дульсинея столь сдержанна, что никому не желает поверять свои думы, то и мне, а равно и кому-либо другому неприлично их разглашать.

— В таком случае,— заметил Санчо,— зачем же вы, ваша милость, отсылаете всех побежденных вашею дланью к госпоже моей Дульсинее? Стало быть, вы расписываетесь в том, что вы в нее влюблены и что она ваша возлюбленная? А если уж так необходимо, чтобы все, кто к ней отправляется, преклоняли пред нею колена и объявляли, что они посланы вашею милостью и поступают в полное ее распоряжение, то могут ли после этого и ваши и ее думы оставаться в тайне?

— Экий ты дурачина, экий же ты простофиля! — воскликнул Дон Кихот.— Неужели ты не понимаешь, Санчо, что все это способствует ее возвеличению? Да будет тебе известно, что, по нашим рыцарским понятиям, это великая для дамы честь, когда ей служит не один, а много странствующих рыцарей и когда они мечтают единственно о том, чтобы служить ей ради нее

самой, не ожидая иной награды за все свои благие намерения, кроме ее соизволения принять их в число своих рыцарей.

— Подобного рода любовью должно любить господа бога,— такую я слыхал проповедь,— сказал Санчо,— любить ради него самого, не надеясь на воздаяние и не из страха быть наказанным. Хотя я лично предпочел бы любить его и служить ему за что-нибудь.

— Ах ты, черт тебя возьми! — воскликнул Дон Кихот.— Мужик, мужик, а какие умные вещи иной раз говоришь! Право, можно подумать, что ты с образованием.

— По чести вам скажу, я даже читать и то не умею,— объявил Санчо.

Тут маэсе Николас крикнул им, чтобы они подождали, ибо все хотят сделать привал возле родника. Дон Кихот остановился, к немалому удовольствию Санчо, который уже устал врать и все боялся, как бы Дон Кихот не поймал его на ошибке. Спешившись возле источника, все — правда, слегка — утолили мучивший их голод тем, что́ священник промыслил на постоялом дворе. В это самое время по дороге шел какой-то мальчуган; в высшей степени внимательно оглядев тех, кто расположился возле источника, он со всех ног бросился к Дон Кихоту и, обняв его колени, нарочито жалобно заплакал и сказал:

— Ах, государь мой! Вы не узнаете меня, ваша милость? Посмотрите хорошенько, я тот самый мальчик Андрес, который был привязан к дубу и которого вы, ваша милость, освободили.

Дон Кихот узнал его и, взяв за руку, обратился к присутствовавшим с такими словами:

— Дабы ваши милости уверились в том, как важно, чтобы жили на свете странствующие рыцари, которые мстят за обиды и утеснения, чинимые людьми бессовестными и злыми, да будет вашим милостям известно, что не так давно, проезжая по лесу, услышал я жалобные крики и стоны — так стонать могло лишь существо униженное и беззащитное. Побуждаемый чувством долга, я поспешил туда, откуда, как мне казалось, долетали слезные эти стоны, и увидел привязанного к дубу мальчика, того самого, который ныне стоит перед вами, чему я от души рад, ибо он может подтвердить, что все это истинная правда. Итак, голый до пояса, он был привязан к дубу, и его стегал поводьями некий сельчанин, как я узнал потом — его хозяин. Увидевши это, я тотчас спросил, что за причина столь нещадного бичевания. Грубиян ответил, что сечет он его потому, что это его слуга и что некоторые оплошности мальчугана проистекают не столько от его бестолковости, сколько от жуликоватости, на что отрок сей возразил: «Сеньор! Он бьет меня только за то, что я прошу у него свое жалованье». Хозяин стал оправдываться и

разливаться соловьем, я же выслушать его выслушал, но оправданий не принял. Коротко говоря, я велел отвязать мальчика и взял с сельчанина клятву, что он пойдет с ним домой и уплатит ему все до последнего реала, да еще с благодарностью. Не так ли, милый Андрес? Заметил ли ты, каким властным тоном отдал я это приказание и с каким подобострастным видом обещал он исполнить то, что я повелел, предписал и потребовал? Отвечай. Не смущайся и не робей. Расскажи этим сеньорам все как было, дабы они уразумели и признали, какое это великое благо, что на больших дорогах можно встретить странствующих рыцарей.

— Все это совершенная правда, ваша милость,— подтвердил мальчик,— вот только кончилось это дело не так, как ваша милость предполагает, а как раз наоборот.

— Почему наоборот? — спросил рыцарь.— Разве сельчанин тебе не уплатил?

— Не только не уплатил,— отвечал мальчуган,— а едва ваша милость выехала из лесу и мы остались вдвоем, он снова привязал меня к тому же самому дубу и так мне всыпал, что у меня чуть кожа не лопнула, вроде как у святого Варфоломея. И лупил он меня с шуточками и прибауточками и все прохаживался на ваш счет, так что, если б не боль, я покатывался бы со смеху. В конце концов скверный мужик так немилосердно меня отстегал, что, по его милости, я до сего дня пролежал в больнице. А виноваты во всем этом вы, государь мой. Ехали бы вы своей дорогой, не лезли, куда вас не спрашивают, и не вмешивались в чужие дела, тогда мой хозяин от силы раз двадцать пять стегнул бы меня, затем отвязал и уплатил бы мне долг. Но так как ваша милость ни с того ни с сего оскорбила его и наговорила грубостей, то он воспылал злобой, а так как выместить ее на вас, государь мой, он не мог, то, когда вы удалились, вся туча вылилась на меня, и останусь я, видно, теперь на всю жизнь калекой.

— Ошибка моя заключается в том, что я уехал, не подождав, пока он тебе заплатит,— сказал Дон Кихот,— мой большой опыт должен был бы мне подсказать, что простолюдин никогда не держит слова, если это ему невыгодно. Но ведь ты помнишь, Андрес, я же клялся, что если он тебе не заплатит, то я стану искать его и найду, хотя бы он прятался во чреве китовом.

— Совершенная правда,— подтвердил Андрес,— да что толку!

— Вот ты увидишь, какой от этого толк,— молвил Дон Кихот.

С этими словами он вскочил и велел Санчо взнуздать Росинанта, который пасся, пока они закусывали.

Доротея спросила, что он намерен предпринять. Он ответил, что намерен отправиться на розыски смерда, наказать его за столь дурной поступок и назло и наперекор всем смердам на свете заставить заплатить Андресу все до последнего мараведи; она же, напомнив Дон Кихоту, что, согласно данному им обещанию, он не вправе заниматься другими делами, пока не доведет до конца ее дело, примолвила, что все это ему должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было, а потому пусть-де он умерит свой пыл, коли еще не отвоевал ее королевства.

— И то правда,— сказал Дон Кихот,— придется Андресу потерпеть, пока я, как вы изволили заметить, сеньора, отвоюю королевство. Но я еще раз обещаю и клянусь, что не успокоюсь до тех пор, пока не отомщу за него и не заставлю ему уплатить.

— Не верю я вашим клятвам,— объявил Андрес.— Любой мести на свете я предпочел бы, чтобы у меня было сейчас с чем добраться до Севильи. Коли найдется у вас что-нибудь поесть, дайте мне с собой и оставайтесь с богом вы, ваша милость, и все странствующие рыцари, чтоб с ними все так рыцарствовали, как они порыцарствовали со мной.

Санчо выделил из своего запаса кусок хлеба и кусок сыру, отдал их мальчугану и сказал:

— На, братец Андрес, нам всем выпала такая же горькая доля.

— Какая же доля выпала вам? — спросил Андрес.

— Вот эта самая доля хлеба и сыра,— отвечал Санчо.— Да еще, кто знает, может, у меня и хлеба-то с сыром не будет, потому, приятель, было бы тебе известно, что нам, оруженосцам странствующих рыцарей, приходится терпеть и муки голода, и удары судьбы, и разные другие вещи, весьма чувствительные, но почти непередаваемые.

Андрес схватил хлеб и сыр и, видя, что никто ему больше ничего не дает, понурил голову и, как говорится, пошел отмерять шаги. Впрочем, на прощанье он сказал Дон Кихоту следующее:

— Ради создателя, сеньор странствующий рыцарь, если вы еще когда-нибудь со мной встретитесь, то, хотя бы меня резали на куски, не защищайте и не выручайте меня и не избавляйте от беды, ибо ваша защита навлечет на меня еще горшую, будьте вы прокляты богом, а вместе с вашей милостью и все странствующие рыцари, какие когда-либо появлялись на свет!

Дон Кихот хотел было встать, чтобы проучить его, но Андрес так припустился, что никто не дерзнул броситься за ним в погоню. Рассказ Андреса привел Дон Кихота в великое смущение, и присутствовавшим надлежало крепко держать себя в руках, чтобы не рассмеяться и не смутить его окончательно.

ГЛАВА XXI,

в коей речь идет о жестокой и беспримерной битве Дон Кихота с бурдюками красного вина, равно как и о других редкостных происшествиях, на постоялом дворе случившихся

Покончив с роскошною трапезой, они тотчас же оседлали своих скакунов и на другой день без каких-либо достойных упоминания приключений добрались до постоялого двора — этой грозы нашего оруженосца; и сколько ни старался он улизнуть, а все же пришлось ему войти. Хозяин, хозяйка, их дочка и Маритornес, увидев Дон Кихота и Санчо, вышли им навстречу в самом веселом расположении духа, и Дон Кихот, приняв важный и гордый вид, велел приготовить себе постель получше, чем в прошлый раз; хозяйка же ему на это сказала, что если он заплатит получше, чем в прошлый раз, то она приготовит ему царское ложе. Дон Кихот обещал, и ему соорудили пристойное ложе в том же самом чулане, и он тут же лег, ибо чувствовал во всем теле страшную слабость и плохо соображал.

Не успел он запереть дверь, как хозяйка бросилась к цирюльнику и, схватив его за бороду, начала кричать:

— Крест истинный, не сделать вам больше себе бороды из этого хвоста, вы мне его сей же час отдадите!

Цирюльник не отдавал, а она тащила хвост к себе; наконец лиценциат сказал, чтоб он отдал хвост, ибо теперь уже, дескать, нет нужды в этом изобретении, напротив того, он волен предстать в настоящем своем обличье, а Дон Кихоту можно будет объяснить, что, спасаясь бегством от каторжников, которые их ограбили, он укрылся на постоялом дворе; если же Дон Кихот спросит, где слуга принцессы, то ответить, что она послала его вперед известить подданных ее, что она возвращается в свое королевство, а с нею общий их избавитель. Проникшись доводами священника, цирюльник весьма охотно отдал хозяйке хвост, и вместе с хвостом они возвратили ей все принадлежности, коими она наделила их для того, чтобы вызволить Дон Кихота. Священник велел подавать на стол все, что есть, и хозяин в надежде на лучшее вознаграждение мигом приготовил приличный обед; а Дон Кихот между тем все еще спал, но все решили, что будить его не стоит, ибо сон ему теперь полезнее еды. За обедом проезжающие в присутствии хозяина, его жены, их дочери и Маритornес заговорили о необыкновенном виде умственного расстройства, коим страдал Дон Кихот, и о том, как они его отыскали. Когда же священник высказал мнение, что Дон Кихот спятил оттого, что начитался рыцарских романов, в разговор вмешался хозяин:

— Не понимаю, как это могло случиться. По мне, лучшего чтива на всем свете не сыщешь, честное слово. Да у меня самого вместе с разными бумагами хранится несколько романов, так они мне поистине красят жизнь, и не только мне, а и многим другим: ведь во время жатвы у меня здесь по праздникам собираются жнецы, и среди них всегда найдется грамотей, и вот он-то и берет в руки книгу, а мы, человек тридцать, садимся вокруг и с вéликим удовольствием слушаем, так что даже слюнки текут. О себе, по крайности, могу сказать, что когда я слышу про эти бешеные и страшные удары, что направо и налево влепляют рыцари, то мне самому охота кого-нибудь съездить, а уж слушать про это я готов день и ночь.

— Да и я их не меньше твоего обожаю,— сказала хозяйка,— потому у меня в доме только и бывает тишина, когда ты сидишь и слушаешь чтение,— ты тогда просто балдеешь и даже забываешь со мной поругаться.

— Вот что, хозяин,— сказал священник,— принесите-ка ваши книги, я их просмотрю.

— С удовольствием,— молвил хозяин.

Он прошел к себе в комнату и, возвратившись оттуда со старым сундучком, открыл его и достал три толстых тома. Первая книга была *Дон Сиронхил Фракийский**, вторая — *Фелисмарт Гирканский**, а третья — *История великого полководца Гонсало Фернандеса Кордовского с приложением жизнеописания Дьего Гарсии де Паредес**. Как скоро священник прочитал первые два заглавия, то обратился к цирюльнику и сказал:

— Здесь нам недостает только ключницы нашего приятеля и его племянницы.

— Ничего,— возразил цирюльник,— я сам сумею отнести их на скотный двор или же бросить в печку — кстати, вон в ней сколько огня.

— Что такое? Ваша милость собирается сжечь мои книги? — спросил хозяин.

— Только две,— отвечал священник, — *Дона Сиронхила* и *Фелисмарта*.

— Что ж, по-вашему,— продолжал допытываться хозяин,— они еретические или флегматические, коли вы хотите их сжечь?

— *Схизматические** надобно говорить, друг мой, а не *флегматические*,— заметил цирюльник.

— Пусть будет так,— сказал хозяин,— только если вы непременно хотите что-нибудь сжечь, то жгите уж лучше *Великого полководца* и *Дьего Гарсию*,— я скорей позволю сжечь собственного сына, чем какую-нибудь другую.

— Друг мой! — возразил священник.— Эти две книги лживы, они полны всякого вздора и чепухи, а книга про великого

полководца — это история правдивая, и описываются в ней деяния Гонсало Фернандеса Кордовского, которого за многочисленные и великие подвиги весь мир прозвал великим полководцем, и это славное и звучное прозвище только он один и заслужил. А Дьего Гарсия де Паредес — это знатный кавальеро родом из эстремадурского города Трухильо, отважнейший воин, которого природа наделила такой силой, что он одним пальцем останавливал мельничное колесо на полном ходу. А как-то раз стал он со шпагой в руке у входа на мост и один преградил путь неисчислимому воинству.

— Подумаешь, какое дело! — воскликнул хозяин.— Этим вы нас не удивите: останавливает-де мельничное колесо! Ей-богу, ваша милость, почитайте-ка вы про Фелисмарта Гирканского: ведь он одним махом рассек пополам пять великанов. А другой раз он схватился с огромнейшим и сильнейшим войском, насчитывавшим миллион шестьсот тысяч солдат, вооруженных с головы до ног, и обратил их всех в бегство, точно стадо овец. А что вы скажете о славном доне Сиронхиле Фракийском, смельчаке и удальце, о котором написано в книжке, что когда он плыл по реке, то из воды вынырнул огненный змей, и, увидев змея, он тотчас же на него бросился, сел верхом на его чешуйчатую спину и обеими руками изо всех сил сдавил ему горло, так что змей, чувствуя, что рыцарь вот-вот задушит его, рассудил за благо опуститься на дно и увлек за собою рыцаря, который так и не выпустил его из рук? Зато под водой он увидел перед собою дворцы и сады, красивые на удивленье, и тут змей преобразился в древнего старца и рассказал ему такие вещи, что прямо заслушаешься. Не говорите, сеньор, если б вы только послушали, вы бы с ума сошли от восторга. Куда годятся после этого ваш великий полководец и Дьего Гарсия!

Послушав такие речи, Доротея сказала вполголоса:

— Еще немного — и наш хозяин станет вторым Дон Кихотом.

— Сын мой! — снова заговорил священник.— Да ведь не было на свете никакого Фелисмарта Гирканского, дона Сиронхила Фракийского и подобных им рыцарей, о которых повествуют рыцарские романы,— все это одна игра воображения, и сочиняют их праздные умы для того, чтобы, как вы сами говорите, люди забавлялись, вот как забавляются, слушая их, ваши жнецы. Но я вас клятвенно уверяю, что таких рыцарей на свете не было и столь нелепых подвигов никто в мире не совершал.

— Это вы кому-нибудь другому расскажите,— заметил хозяин.— Мы сами с усами, кажется, не первый год на свете живем. Полно вам, ваша милость, из меня дурачка строить,— ей-богу, не на такого напали. Ишь вы чего захотели, ваша милость:

уверить меня, будто все, о чем пишут в этих хороших книгах,— вздор и ерунда! Да ведь отпечатано-то это с дозволения сеньоров из государственного совета, а они не такие люди, чтобы дозволять печатать столько дребедени сразу — и про битвы и про чародейства, от которых голова идет кру́гом!

— Я же вам сказал, друг мой, что все это делается для того, чтобы занять праздные наши умы,— возразил священник.— И как в государствах благоустроенных дозволяется играть в шахматы, в мяч и на бильярде, чтобы занять тех, кто не желает, не должен или не может трудиться, так же точно дозволяется печатать и выпускать в свет подобные книги, ибо предполагается — да так оно и есть на самом деле,— что во всем мире нет такого невежды, который признал бы какую-либо из этих историй за правду. И если б мне было позволено и слушатели мои изъявили желание, я мог бы кое-что сказать по поводу того, каким должен быть хороший рыцарский роман,— может статься, это было бы полезно, а кое-кому даже и приятно. Но я надеюсь когда-нибудь поговорить с людьми, способными восполнить этот пробел, а пока что, господин хозяин, вы уж мне поверьте, и вот вам ваши книги — решайте сами, что в них правда и что ложь, читайте их себе на здоровье, но не дай бог вам захромать на ту ногу, на какую захромал постоялец ваш Дон Кихот.

— Ну нет,— сказал хозяин,— я с ума не сходил и странствующим рыцарем быть не собираюсь. Я отлично понимаю, что теперь уж не те времена, когда странствовали по свету преславные эти рыцари.

В эту минуту из чулана, где отдыхал Дон Кихот, с криком выбежал перепуганный Санчо Панса:

— Бегите, сеньоры, скорей и помогите моему господину, он вступил в самый жестокий и яростный бой, какой когда-либо видели мои глаза. Как рубанет он великана, недруга сеньоры принцессы Микомиконы, так голова у того напрочь, словно репа, вот как бог свят!

— Что ты, братец мой, говоришь? — воскликнул священник.— Да ты в своем уме, Санчо? Как могла случиться вся эта чертовщина, когда великан находится за две тысячи миль отсюда?

В это время в чулане поднялся превеликий шум и послышались крики Дон Кихота:

— Ни с места, вор, разбойник, трус! Теперь ты в моих руках и твой ятаган тебе не поможет.

При этом он, видимо, что было мочи ударял мечом по стене. Санчо же сказал:

— Нечего вам стоять и слушать — либо разнимите дерущихся, либо поддержите моего господина. Впрочем, нужды в этом

уже нет, потому великан, понятно, уже убит и теперь дает ответ богу за всю свою дурно прожитую жизнь. Я видел, как лилась кровь и как отлетела в сторону его отрубленная голова, здоровенная, что твой бурдюк с вином.

— Убейте меня,— вскричал тут хозяин постоялого двора,— если этот чертов Дон Кихот не пропорол один из бурдюков с красным вином, которые висят над его изголовьем, а этот простофиля, уж верно, принимает за кровь вытекшее вино!

С этими словами он вошел в чулан, за ним все остальные, и глазам их явился Дон Кихот в самом удивительном наряде, какой только можно себе представить. Был он в одной весьма короткой сорочке, длинные его и худые ноги были далеко не первой чистоты, на голове у него был красный засаленный ночной колпак, принадлежавший хозяину, на левую руку он намотал одеяло, внушавшее Санчо отнюдь не безотчетную неприязнь, а в правой держал обнаженный меч, коим он тыкал во все стороны, произнося при этом такие слова, как если б он, точно, сражался с великаном. А лучше всего, что глаза у него были закрыты, ибо он спал и это ему приснилось, что он бьется с великаном; воображению его так ясно представлялось ожидавшее его приключение, что ему померещилось, будто он уже прибыл в королевство Микомиконы и сражается с ее недругом; и, полагая, что он наносит удары мечом великану, он пропорол бурдюки, так что все помещение было залито вином. Тут хозяина взяло такое зло, что он бросился на Дон Кихота с кулаками и так его стал тузить, что если бы не священник, то войну с великаном Дон Кихоту пришлось бы прекратить навеки, а между тем бедный рыцарь все не просыпался; наконец цирюльник сходил на колодец, принес большой котел холодной воды и обдал его с головы до ног, после чего Дон Кихот пробудился.

Санчо по всему полу искал голову великана, но, так и не обнаружив ее, сказал:

— Знаю я этот домик — не дом, а сплошное наваждение. Вот теперь пропала голова, а ведь я собственными глазами видел, как ее отсекли,— кровь била фонтаном.

— Какая там кровь и какой фонтан, враг ты господень и всех святых! — вскричал хозяин.— Разве ты не видишь, мошенник, что бурдюки крови хлещут из проткнутых фонтанов... то есть я хотел сказать наоборот, и что все здесь плавает в красном вине, чтоб у того душа в аду плавала, кто умудрился их проткнуть!

— Ничего не понимаю,— отвечал Санчо,— знаю только, что разнесчастный я буду человек, коли не сыщу этой головы, потому графство мое тогда растает, как соль в воде.

Бодрствующий Санчо был еще хуже спящего Дон Кихота —

так ему запали в душу обещания его господина. Хозяина бесило буйство Дон Кихота и спокойствие оруженосца, и он клялся, что теперь они так легко не отделаются, как в прошлый раз, когда они съехали со двора, не заплатив,— теперь особые права рыцарства им не помогут, они рассчитаются и за то и за это и, кроме всего прочего, возместят стоимость заплат для прорванных бурдюков.

Священник держал Дон Кихота за руки, а тот, полагая, что приключение окончилось и что перед ним принцесса Микомикона, опустился перед священником на колени и сказал:

— Отныне, ваше величие, благородная и достославная сеньора, вы можете быть уверены, что это гнусное существо не причинит вам более зла. Я же отныне могу почитать себя свободным от данной мною клятвы, ибо милостью всемогущего бога и под покровом той, ради которой я живу и дышу, я как нельзя лучше ее сдержал.

— А что я вам говорил? — послушав такие речи, вскричал Санчо.— Ведь не пьян же я был, в самом деле. Солоно пришлось великану от моего господина, можете мне поверить! Одним словом, дело идет на лад, графство мое не за горами!

Кто бы не посмеялся бредням обоих, господина и слуги? Все и засмеялись, кроме хозяина, который сулил им черта. Наконец священнику и цирюльнику ценою немалых трудов удалось уложить изнемогавшего от усталости Дон Кихота в постель, и тот уснул. Предоставив ему возможность выспаться, они вышли на крыльцо утешить Санчо Пансу, так и не нашедшего голову великана. Впрочем, еще труднее было им умилостивить хозяина, коему внезапная кончина его бурдюков причинила неизбывное горе. А хозяйка между тем вопила и причитала:

— Не в добрый час и не в пору явился в мой дом этот странствующий рыцарь, глаза б мои его не видали — так дорого он мне обошелся! Прошлый раз он уехал, так и не рассчитавшись за ночлег: ни за ужин, ни за постель, ни за солому, ни за овес для себя самого, для своего оруженосца, для лошади и для осла: он-де рыцарь, искатель приключений (чтоб с ним лихая беда приключилась, с ним и со всеми искателями приключений, какие только есть на свете), и потому платить-де не обязан, и так, мол, это записано в уложении о странствующем рыцарстве. А в довершение всего — продырявить мои бурдюки и выпустить из них вино, чтоб ему так всю кровь повыпустили! Но только уж как ему будет угодно: клянусь прахом отца и памятью матери, он заплатит мне все до последнего гроша, или меня не так зовут и я не дочь своих родителей!

Вот что в великом гневе говорила хозяйка постоялого двора, а добрая служанка Мариторнес ей вторила. Дочка помалкивала

и только время от времени усмехалась. Священник все уладил, обещав полностью возместить убытки. Доротея утешила Санчо Пансу тем, что как скоро будет доказано, что его господин, точно, обезглавил великана, то, едва лишь в ее королевстве водворится мир, она пожалует ему самое лучшее графство. Санчо этим утешился и стал уверять принцессу, что он без всякого сомнения видел голову великана и даже запомнил такую подробность, что борода у головы была по пояс, а исчезла она, дескать, единственно потому, что все в этом доме происходит колдовским манером, в чем он, Санчо, прошлый раз имел случай удостовериться. Доротея сказала, что она тоже так думает и чтобы он не огорчался, ибо все устроится к лучшему и пойдет как по маслу.

В это время хозяин, стоявший у ворот, сказал:

— А вон целая компания: четверо мужчин верхом и двое пеших слуг.

— Они уже близко? — спросил священник.

— Совсем близко, сейчас подъедут,— отвечал хозяин.

Все те, о ком он говорил, действительно остановились на постоялом дворе, и тут Доротея подняла глаза и увидела дона Фернандо, того самого, который ее обманул; и едва лишь она узнала его, как из глубины ее души вырвался протяжный и горестный стон, а дон Фернандо тотчас узнал Доротею и замер на месте. Тогда Доротея повела с ним такую речь:

— Я — та смиренная поселянка, которую ты пожелал назвать своею. Я — та, которая, не выходя за пределы скромности, наслаждалась жизнью, пока наконец на зов твоего, казалось, искреннего чувства не отворила врат уединения своего и не вручила тебе ключей от своей свободы, ты же отплатил мне черною неблагодарностью. Но я молю тебя, отврати от моих родителей горькую старость: ведь они, как добрые вассалы, не за страх, а за совесть служили твоим родителям и вправе ждать от тебя иного. Если же ты полагаешь, что, женившись на мне, ты тем самым унизишь свой род, то прими в рассуждение, что истинное благородство заключается в добродетели, и если ты такой недобрый, что откажешь мне в том, на что я имею полное право, значит, я благороднее тебя. В заключение я должна тебе сказать, что среди твоих веселий неминуемо раздастся безмолвный глас твоей совести и, напомнив высказанную мною правду, спугнет приятнейшие утехи твои и забавы.

Долго еще говорила страждущая Доротея с таким чувством и слезами, что прослезились даже спутники дона Фернандо и все присутствовавшие. Дон Фернандо слушал, не прерывая ее ни единым словом, он смотрел на нее взглядом долгим и пристальным и наконец, смущенный и изумленный, сказал:

— Ты победила, прелестная Доротея, ты победила.

И, сказавши это, он с необычайно нежным чувством обнял Доротею и припал к ней устами, и ему пришлось сделать над собой огромное усилие, чтобы последним неоспоримым доказательством его раскаяния не явились его слезы, между тем как у всех остальных слезы текли ручьем, так что, глядя на них, можно было подумать, будто всех их постигло тяжкое горе.

ГЛАВА XXII,

содержащая продолжение истории славной инфанты Микомиконы и повествующая о других забавных приключениях

Санчо слушал все это не без душевного прискорбия, ибо надежды его на получение титула разлетелись и развеялись в прах: прелестная принцесса Микомикона превратилась в Доротею, а между тем его господин, ничего не подозревая, спит себе крепким сном.

С унылым видом явился Санчо к своему господину, который как раз в это время проснулся, и сказал:

— Ваша милость, сеньор Печальный Образ, может спать сколько влезет: никакого великана теперь убивать не нужно и не нужно возвращать принцессе ее королевство — все уже сделано и все кончено.

— Я тоже так думаю,— сказал Дон Кихот,— у меня завязался с великаном такой лютый и жаркий бой, подобного которому, пожалуй, больше не выпадет на мою долю. Я ему раз! — и голова с плеч долой, а крови вытекло из него столько, что она струилась потоками по всему полу, будто вода.

— Скажите лучше — будто красное вино, ваша милость,— возразил Санчо.— Было бы вам известно, ваша милость, коли вы этого не знаете, что убитый великан — это продырявленный бурдюк, кровь — это шесть арроб* красного вина, которое было у него в брюхе, и ну их всех к чертям!

— Что ты говоришь, безумец! — вскричал Дон Кихот.— В своем ли ты уме?

— Встаньте, ваша милость,— сказал Санчо,— и поглядите, что вы натворили и сколько нам придется уплатить, а заодно поглядите и на королеву, которая превратилась в самую обыкновенную даму по имени Доротея, и еще тут случилось много такого, что если только вы в это вникнете, то, верно уж, дадитесь диву.

— Меня ничто не удивит,— возразил Дон Кихот.— Если ты помнишь, я еще в прошлый раз, когда мы здесь останавливались, сказал тебе, что все, что в этом доме происходит,— это

чародейство, и нет ничего странного в том, что и теперь то же самое.

— Я бы всему этому поверил,— объявил Санчо,— когда бы и мое летание на одеяле было такого же рода делом, но в том-то и штука, что это было самое настоящее и доподлинное летание. И я собственными глазами видел, как этот же хозяин держал за один конец одеяло и весело и ловко подбрасывал меня чуть не до неба, и смех его был столь же могуч, сколь мощны были его телодвижения. И хотя я человек простой и грешный, а все-таки я стою на том, что ежели тебе эти люди знакомы, значит, нет никакого чародейства, а есть великая трепка и величайшая незадача.

— Ну ничего, бог даст, все уладится,— заметил Дон Кихот.— Подай мне одеться — я пойду узнаю, что это за происшествия и превращения, о которых ты рассказываешь.

Санчо подал ему одеться, а пока он одевался, священник рассказал дону Фернандо и всем присутствовавшим о безумных выходках Дон Кихота и о той хитрости, на какую они пустились, чтобы вызволить его с Бедной Стремнины, куда, как ему казалось, он удалился из-за того, что его сеньора пренебрегла им. Далее священник рассказал почти обо всех приключениях, о которых он слышал от Санчо, и все много дивились им и смеялись и в конце концов пришли к заключению, к какому приходил всякий, кто сталкивался с Дон Кихотом, а именно — что ни один расстроенный ум не страдал еще таким необыкновенным видом помешательства.

В это время вошел Дон Кихот в полном боевом снаряжении, с погнутым шлемом Мамбрина на голове, держа в руке щит и опираясь на свое жердеобразное копье. Он поразил дона Фернандо и всех остальных странною своею наружностью: лицом в полмили длиною, испитым и бледным, разнородностью своих доспехов и своим важным видом, и все примолкли в ожидании, что́ он скажет, а он необычайно торжественно и спокойно, устремив взор на прелестную Доротею, молвил:

— Мой оруженосец, прелестная сеньора, довел до моего сведения, что ваше величие рухнуло и что вы как таковая перестали существовать, ибо из королевы и знатной сеньоры превратились в обыкновенную девушку. Если это случилось по воле вашего отца, короля-чернокнижника, опасавшегося, что я не окажу вам должной и необходимой помощи, то уверяю вас, что он круглый невежда и в рыцарских историях не разбирается. Ведь если б он читал и изучал их столь же внимательно и долго, как изучал и читал их я, то на каждом шагу находил бы в них примеры того, как другие рыцари, менее славные, чем я, справлялись с более сложными задачами, а убить какого-то там ве-

ликанишку, пусть даже предерзкого,— тут еще ничего мудреного нет. Ведь я с ним встретился всего несколько часов тому назад — и уже... но я лучше помолчу, а то еще скажут, что я лгу. Однако время, разгласитель всех тайн, в один прекрасный день откроет и мою тайну.

— Вы встретились с двумя бурдюками, а не с великаном,— вмешался хозяин.

Но дон Фернандо велел ему замолчать и ни под каким видом не прерывать Дон Кихота, а Дон Кихот продолжал:

— В заключение я хочу вам сказать, благородная и развенчанная сеньора, что если отец ваш произвел с вашей особой эту метаморфозу по вышеуказанной мною причине, то ни в коем случае не придавайте ей веры, ибо нет на свете такой опасности, через которую мой меч не проложил бы дороги, и с помощью этого же меча, который обезглавил и повергнул наземь вашего недруга, я вам на главу возложу в скором времени корону вашей родной земли.

Дон Кихот умолк и стал ждать, что скажет принцесса, а та с великою важностью и приятностью заговорила:

— Кто бы ни сказал вам, доблестный Рыцарь Печального Образа, что сущность моя изменилась и стала иною, он сказал неправду, ибо я и сегодня та же, что была вчера. Известного рода перемена во мне в самом деле произошла благодаря некоторой выпавшей на мою долю удаче, и доля моя стала теперь лучше, чем я могла ожидать, но это не значит, что я перестала быть такою, какой была прежде, и что я отказалась от всечасной моей мысли прибегнуть к помощи вашей мощной и непобедимой длани. А посему, государь мой, благоволите снять с моего родного отца подозрение и признайте, что он был человек мудрый и проницательный, ибо благодаря своей науке сыскал он такой легкий и верный способ выручить меня из беды: ведь я убеждена, что если б не вы, сеньор, то не видать бы мне того счастья, которого я удостоилась ныне. Все это могут подтвердить нелицеприятные свидетели моего счастья, то есть большинство здесь присутствующих сеньоров. Нам только придется тронуться в путь завтра — сегодня мы все равно много не проедем; что же касается успешного завершения начатого предприятия, то тут я полагаюсь на бога и на вашу неустрашимость.

Так говорила умница Доротея, и, выслушав ее, Дон Кихот обратился к Санчо и с сердцем сказал ему:

— Вот что я тебе скажу, паршивец Санчо: другого такого пакостника, как ты, нет во всей Испании. Говори, вор-побродяжка, не ты ли мне только что объявил, что принцесса превратилась в девицу по имени Доротея, и всей этой чушью так меня озадачил, как это еще никому не удавалось? Клянусь...— тут он возвел

очи к небу и стиснул зубы,— что я готов искрошить тебя, дабы впредь неповадно было всем лживым оруженосцам, какие когда-либо у странствующих рыцарей заведутся!

— Успокойтесь, государь мой,— сказал Санчо.— Очень может быть, что я ошибся насчет превращения сеньоры принцессы Микомиконы, ну, а насчет головы великана, вернее сказать, насчет продырявленных бурдюков и насчет того, что кровь — это красное вино, то уж тут я, ей-богу, не ошибся, потому вон они, худые бурдюки, у изголовья вашей милости, а вина на полу — целое озеро. Погодите, хлопнет это вас по карману — тогда поверите, то есть, я хочу сказать, поверите, когда его милость сеньор хозяин подаст вам счет. А что сеньора королева как была, так и осталась, то я этому душевно рад — стало быть, мое от меня не уйдет.

— Вот что я тебе скажу, Санчо,— объявил Дон Кихот,— прости меня, но ты дурак, и баста.

— Баста,— подхватил дон Фернандо,— не будем больше об этом говорить. И коли сеньора принцесса хочет, чтобы мы поехали завтра, ибо сегодня уж поздно, значит, так тому делу и быть, и всю ночь до рассвета мы можем провести в приятной беседе, а с рассветом выедем и будем сопровождать сеньора Дон Кихота, ибо все мы желаем быть очевидцами смелых и неслыханных подвигов, которые ему надлежит совершить во исполнение данного им великого обета.

— Это мне надлежит служить вам и сопровождать вас,— возразил Дон Кихот.— Я чрезвычайно вам благодарен за ваше доброе ко мне расположение и за ваше лестное мнение обо мне, которое я непременно постараюсь оправдать, хотя бы это стоило мне жизни, и даже еще дороже, если только что-нибудь может стоить дороже.

Между тем наступил вечер, и, по распоряжению спутников дона Фернандо, хозяин приложил все свое усердие и старание, чтобы ужин удался на славу. И когда пришло время, все сели за стол, и на почетное, председательское место, хотя он и отнекивался, посадили Дон Кихота. Дон Кихот же изъявил желание, чтобы рядом с ним села сеньора Микомикона, ибо он почитал себя ее телохранителем. Против них сели дон Фернандо и прочие кавальеро и, наконец, священник и цирюльник, и все с великим удовольствием принялись за ужин, но еще большее удовольствие доставил им Дон Кихот,— вновь охваченный вдохновением, как во время ужина с козопасами, когда он произнес столь длинную речь, он вдруг перестал есть и заговорил:

— Поразмысливши хорошенько, государи мои, невольно приходишь к заключению, что тем, кто принадлежит к ордену странствующих рыцарей, случается быть свидетелями великих и не-

слыханных событий. В самом деле, кто из живущих на свете, если б он въехал сейчас в ворота этого замка и мы явились бы его взору так, как мы есть, почел и принял бы нас за тех, кем мы действительно являемся? Кто бы мог подумать, что сеньора, сидящая рядом со мной,— всем нам известная великая королева, а я — тот самый Рыцарь Печального Образа, чье имя на устах у самой Славы? Теперь уже не подлежит сомнению, что рыцарское искусство и занятие превосходит все искусства и занятия, изобретенные людьми, и что оно тем более достойно уважения, что сопряжено с наибольшими опасностями. Пусть мне не толкуют, что ученость выше поприща военного,— кто бы ни были эти люди, я скажу, что они сами не знают, что говорят. Довод, который они обычно приводят и который им самим представляется наиболее веским, состоит в том, что умственный труд выше труда телесного, а на военном, дескать, поприще упражняется одно только тело, как будто воины — это обыкновенные поденщики, коим потребна только силища, как будто в то, что мы, воины, именуем военным искусством, не входят также смелые подвиги, для совершения коих требуется незаурядный ум, как будто мысль полководца, коему вверено целое войско или поручена защита осажденного города, трудится меньше, нежели его тело! Вы только подумайте: можно ли с помощью одних лишь телесных сил понять и разгадать намерения противника, его замыслы, военные хитрости, обнаружить ловушки, предотвратить опасности? Нет, все это зависит от разумения, а тело тут ни при чем. Итак, военное поприще нуждается в разуме не меньше, нежели ученость. Посмотрим теперь, чья мысль трудится более: мысль ученого человека или же мысль воина, а это будет видно из того, какова цель каждого из них, ибо тот помысел выше, который к благороднейшей устремлен цели. Цель наук состоит в том, чтобы установить справедливое распределение благ, дать каждому то, что принадлежит ему по праву, и следить и принимать меры, чтобы добрые законы соблюдались. Цель, без сомнения, высокая и благородная, достойная великих похвал, но все же не таких, каких заслуживает военное искусство, коего цель и предел стремлений — мир, а мир есть наивысшее из всех земных благ. И оттого первою благою вестью, которую услыхали земля и люди, была весть, принесенная ангелами, певшими в вышине в ту ночь, что для всех нас обратилась в день: «Слава в вышних богу, и на земле мир, в человецех благоволение»*. И лучший учитель земли и неба заповедал искренним своим и избра́нным при входе в чей-либо дом приветствовать его, говоря: «Мир дому сему»*. И много раз говорил он им: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам; мир вам», и воистину это драгоценность и сокровище, данные и оставленные *такою*

рукой,— драгоценность, без которой ни на земле, ни на небе ничего хорошего быть не может. Так вот, мир и есть прямая цель войны, а коли войны, то, значит, и воинов. Признав же за истину, что цель войны есть мир и что поэтому она выше цели наук, перейдем к телесным тяготам ученого человека и ратника и посмотрим, чьи больше.

В таком духе и так красноречиво говорил Дон Кихот, и теперь никто из слушателей не принял бы его за сумасшедшего,— напротив того, большинство их составляли кавальеро, то есть люди, на бранном поле выросшие, и они слушали его с превеликою охотою, а он между тем продолжал:

— Итак, тяготы студента суть следующие: во-первых, бедность (разумеется, не все они бедны, я нарочно беру худший случай), сказав же, что студент бедствует, я, думается мне, все сказал о его злополучии, ибо жизнь бедняка беспросветна. Он терпит всякого рода нужду: и голод, и холод, и наготу, а то и все сразу. Впрочем, он все-таки питается, хотя и несколько позже обыкновенного, хотя и крохами со стола богачей, что́ служит у студентов признаком полного обнищания, и у кого-нибудь да найдется для них место возле очага, где они если и не согреваются, то, во всяком случае, не мерзнут, и наконец спят они под кровом. Я не буду останавливаться на мелочах, как-то: на отсутствии сорочек и нехватке обуви, на изрядной потертости верхнего платья, довольно редко, впрочем, у них появляющегося, и на той жадности, с какою они набрасываются на угощение, которое счастливый случай им иной раз устраивает. И вот описанным мною путем, тернистым и тяжелым путем, то и дело спотыкаясь и падая, поднимаясь для того, чтобы снова упасть, они и доходят до вожделенной ученой степени. Наконец степень достигнута, песчаные мели, Сциллы и Харибды пройдены*, как если бы благосклонная Фортуна перенесла их на крыльях, и вот уже многие из них, сидя в креслах, на наших глазах правят и повелевают миром, и, как достойная награда за их добронравие, голод обернулся для них сытостью, холод — прохладой, нагота — щегольством, спанье на циновке — отдыхом на голландском полотне и дамасском шелке. Но сопоставьте и сравните их тяготы с тяготами воина, и, как вы сейчас увидите, они останутся далеко позади.

ГЛАВА XXIII,

в коей приводится любопытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености

Далее Дон Кихот сказал следующее:

— Мы начали с разбора видов бедности студента,— посмотрим, богаче ли его солдат. И вот оказывается, что беднее солдата нет никого на свете, ибо существует он на нищенское свое жалованье, которое ему выплачивают с опозданием, а иногда и вовсе не выплачивают, или на то, что он сам сумеет награбить — с явной опасностью для жизни и идя против совести. С одеждой же у него подчас бывает так плохо, что рваный колет* служит ему одновременно и парадной формой, и сорочкой, и в зимнюю стужу в открытом поле он согревается обыкновенно собственным своим дыханием, а я убежден, что, вопреки законам природы, дыхание, коль скоро оно исходит из пустого желудка, должно быть холодным. Но подождите: от непогоды он сможет укрыться с наступлением ночи, ибо его ожидает ложе, которое человек непритязательный никогда узким не назовет,— на голой земле он волен как угодно вытягивать ноги или же ворочаться с боку на бок, не боясь измять простыни. Но вот наконец настает день и час получения степени, существующей у военных: настает день битвы, и тут ему надевают сшитую из корпии докторскую шапочку, в случае если пуля угодила ему в голову; если же не в голову, то, стало быть, изуродовала ему руку или ногу. Но пусть даже этого не произойдет, и милосердное небо убережет его и сохранит, и он пребудет здрав и невредим, все равно вряд ли он разбогатеет, и надлежит быть еще не одной схватке и не одному сражению, и из всех сражений ему надлежит выйти победителем, чтобы несколько продвинуться по службе, но такие чудеса случаются редко. В самом деле, сеньоры, скажите: задумывались ли вы над тем, что награжденных на войне гораздо меньше, чем погибших? Вы, конечно, скажете, что это несравнимо, что мертвым нет счету, а число награжденных живых выражается в трехзначной цифре. А вот у судейских все обстоит по-другому: им-то уж непременно доставят пропитание не с переднего, так с заднего крыльца,— следственно, труд солдата тяжелее, а награда меньше. Могут, впрочем, возразить, что легче наградить две тысячи судейских, нежели тридцать тысяч солдат, ибо первые награждаются должностями, которые по необходимости должны быть предоставлены людям соответствующего рода занятий, солдат же можно наградить единственно из средств того сеньора, которому они служат, но ведь это только подтверждает мою мысль. Однако оставим это, ибо из подобного лабиринта вы-

браться нелегко, и возвратимся к превосходству военного поприща над ученостью — вопросу, до сих пор не разрешенному, ибо каждая из сторон выискивает всё новые и новые доводы в свою пользу. И, между прочим, ученые люди утверждают, что без них не могли бы существовать военные, ибо и у войны есть свои законы, коим она подчиняется, и составление таковых — это уж дело наук и людей ученых. Военные на это возражают, что без них не было бы и законов, ибо это они защищают государства, оберегают королевства, обороняют города, охраняют дороги, очищают моря от корсаров — словом, если б их не было, в государствах, королевствах, монархиях, городах, на наземных и морских путях — всюду наблюдались бы ужасы и беспорядки, которые имеют место во время войны, когда ей даны особое право и власть. А ведь что дорого обходится, то ценится и долженствует цениться дороже, это всем известно. Чтобы стать изрядным законником, потребно время, потребна усидчивость, нужно отказывать себе в одежде и пище, не считаясь с головокружениями, с несварением желудка, и еще кое-что в том же роде потребно для этого, отчасти мною уже указанное. Но чтобы стать, в свой черед, хорошим солдатом, для этого потребно все, что потребно и студенту, но только возведенное в такую степень, что сравнение тут уже невозможно, ибо солдат каждую секунду рискует жизнью. В самом деле, что такое страх перед бедностью и нищетою, охватывающий и преследующий студента, по сравнению с тем страхом, который овладевает солдатом, когда он в осажденной крепости стоит на часах и чувствует, что неприятель ведет подкоп, а ему никак нельзя уйти с поста и избежать столь грозной опасности? Единственно, что он может сделать, это дать знать своему начальнику, и начальник постарается отвести угрозу контрминою, а его дело стоять смирно, с трепетом ожидая, что вот-вот он без помощи крыльев взлетит под облака или же, отнюдь не по своей доброй воле, низвергнется в пропасть. А если и это, по-вашему, опасность небольшая, то не менее страшно, а пожалуй, даже и пострашнее, когда в открытом море две галеры идут на абордажный приступ, сойдутся, сцепятся вплотную, а солдату приходится стоять на таране в два фута шириной. Да притом еще он видит пред собой столько же грозящих ему прислужников смерти, сколько с неприятельской стороны наведено на него огнестрельных орудий, находящихся на расстоянии копья, сознает, что один неосторожный шаг — и он отправится обозревать Нептуновы подводные владения*, и все же из чувства чести бесстрашно подставляет грудь под пули и пытается по узенькой дощечке пробраться на вражеское судно. Но еще удивительнее вот что: сто́ит одному упасть туда, откуда он уже не выберется до скончания века, и на его место становит-

ся другой, а если и этот канет в морскую пучину, подстерегающую его, словно врага, на смену ему ринутся еще и еще, и не заметишь, как они столь же незаметно сгинут. Да, подобной смелости и дерзновения ни в каком другом бою не увидишь. Благословенны счастливые времена, не знавшие чудовищной ярости этих сатанинских огнестрельных орудий, изобретатель коих, я убежден, получил награду в преисподней за свое дьявольское изобретение, с помощью которого чья-нибудь трусливая и подлая рука может отнять ныне жизнь у доблестного кавальеро. Он полон решимости и отваги, этот кавальеро, той отваги, что воспламеняет и воодушевляет храбрые сердца, и вдруг, откуда ни возьмись, шальная пуля (выпущенная человеком, который, может статься, сам испугался вспышки, произведенной выстрелом из этого проклятого орудия, и удрал) в одно мгновение обрывает и губит нить мыслей и самую жизнь того, кто достоин был наслаждаться ею долгие годы. И вот я вынужден сознаться, что, приняв все это в рассуждение, в глубине души я раскаиваюсь, что избрал поприще странствующего рыцарства в наше подлое время, ибо хотя мне не страшна никакая опасность, а все же меня берет сомнение, когда подумаю, что свинец и порох могут лишить меня возможности стяжать доблестною моею дланью и острием моего меча почет и славу во всех известных нам странах. Но на все воля неба, и если только мне удастся совершить все, что я задумал, то мне воздадут наибольшие почести, ибо я встречаюсь лицом к лицу с такими опасностями, с какими странствующие рыцари протекших столетий доселе еще не встречались.

Всю эту длинную цепь рассуждений развертывал Дон Кихот в то время, как другие ужинали, сам же он так и не притронулся к еде, хотя Санчо Панса неоднократно напоминал ему, что сейчас, мол, время ужинать, а поговорить он успеет потом. Слушатели снова пожалели, что человек, который, по-видимому, так здраво рассуждает и так хорошо во всем разбирается, чуть только речь зайдет о распроклятом этом рыцарстве, безнадежно теряет рассудок.

ГЛАВА XXIV,

в коей окончательно разрешаются сомнения по поводу Мамбринова шлема и седла, а также со всею возможною правдивостью повествуется о других приключениях

Наутро у ворот постоялого двора раздались громкие крики, и вот по какой причине: два ночевавших здесь постояльца замыслили уехать не заплатив; однако ж хозяин поймал их у ворот, потребовал платы и осудил их злой умысел в таких выражениях, что те вместо ответа пустили в ход кулаки; и вот стали они его тузить, да так, что несчастному хозяину пришлось громко взывать о помощи. Хозяйка и ее дочь наиболее подходящим на предмет оказания ему помощи признали Дон Кихота, а потому дочка обратилась к нему с такими словами:

— Помогите, сеньор рыцарь, коли вам такой дар послан от бога, бедному моему отцу, которого два злодея молотят, точно пшеницу!

Выслушав ее, Дон Кихот крайне медленно и весьма спокойно заговорил:

— Прелестная дева! В настоящее время ваша просьба долженствует остаться без последствий, ибо я поставлен в невозможность принимать участие в каком-либо другом приключении, пока не довершу того, к чему меня вынуждает данное мною слово. Вот, однако ж, какую службу я могу сослужить вам: бегите и скажите вашему отцу, чтобы он как можно более стойко держался в этом бою и не сдавался ни в коем случае, а я тем временем испрошу дозволения у принцессы Микомиконы помочь ему в беде, и если она мне позволит, то можете быть уверены, что я его выручу.

— Вот грех тяжкий! — вскричала присутствовавшая при сем Мариторнес.— Пока ваша милость исхлопочет это самое дозволение, мой господин будет уже на том свете.

— Дайте мне исхлопотать дозволение,— возразил Дон Кихот,— а будет он тогда на том свете или нет, это несущественно, ибо я вызволю его оттуда, даже если бы весь тот свет этому воспротивился, или, по крайности, так отплачу тем, кто его туда отправил, что вы получите полное удовлетворение.

И недолго думая преклонил он колена перед Доротеей и на своем странствующе-рыцарском языке изложил ей просьбу о том, чтобы ее величие соизволило позволить ему поспешить на помощь владельцу этого замка, который в великую попал беду. Принцесса охотно дала свое согласие, и Дон Кихот, заградившись щитом и выхватив меч, бросился к воротам, где два по-

стояльца все еще по-хозяйски разделывались с хозяином, но, приблизившись, он остановился и замер на месте, хотя Мариторнес и хозяйка кричали ему, чтобы он не медлил и защитил наконец господина их и супруга.

— Я медлю,— сказал Дон Кихот,— ибо я не вправе обнажать меч против служилых людей. Позовите сюда моего оруженосца Санчо, ибо подобного рода защита и отмщение — это его дело и его забота.

Разговор этот происходил у ворот постоялого двора, а в высшей степени меткие тумаки и зуботычины сыпались тут же своим чередом, причиняя немалый ущерб хозяину и распаляя гнев Мариторнес, хозяйки и ее дочери, коих приводило в отчаяние малодушие Дон Кихота, а также напасть, постигшая их господина, супруга и отца.

Однако ж в конце концов постояльцы, на которых подействовали не столько угрозы, сколько слово убеждения и разумные доводы Дон Кихота, замирились с хозяином и уплатили ему сполна, но в эту минуту, по наущению вечно бодрствующего дьявола, на постоялый двор зашел тот самый цирюльник, у кого Дон Кихот отнял шлем Мамбрина, а Санчо Панса забрал упряжь в обмен на свою. Цирюльник, ставя своего осла в стойло, увидел, что Санчо Панса возится с вьючным седлом, и, тотчас узнав свое седло, набрался храбрости и кинулся на Санчо с криком:

— А, мошенник ты этакий, попался! Давай сюда мой таз для бритья, седло и всю упряжь, которую ты у меня стащил.

Подвергшись столь внезапному нападению и услышав, что его так честят, Санчо одной рукой ухватился за седло, а другой дал цирюльнику в зубы, после чего тот сразу почувствовал, что у него полон рот крови; но, несмотря на это, цирюльник не выпустил из рук добычи, каковою явилось для него седло,— напротив, он так возвысил голос, что шум и брань привлекли всех обитателей постоялого двора.

— Правосудие, сюда, именем короля! — кричал он.— Я свое имущество отбираю, а этот вор, этот разбойник с большой дороги хочет меня убить!

— Врешь,— возразил Санчо,— я не разбойник с большой дороги, эта добыча досталась моему господину Дон Кихоту в честном бою.

Дон Кихот был уже тут как тут; с великим удовольствием глядя, как обороняется и нападает его оруженосец, он раз навсегда решил, что это человек сто́ящий, и дал себе слово при первом удобном случае посвятить его в рыцари, ибо ему казалось, что для рыцарского ордена Санчо будет ценным приобретением. Во время перебранки цирюльник, между прочим, объявил:

— Что седло мое, сеньоры, это так же верно, как то, что бог пошлет мне смерть, и знаю я свое седло так, словно сам его родил. Притом здесь же, в стойле, мой осел: он может это подтвердить, а не то так примерьте, и коли седло не придется ему в самый раз, то я подлец. Этого мало: в тот самый день, как у меня пропало седло, я обнаружил пропажу новенького медного таза — я его еще не успел обновить,— а заплатил я за него, ни много ни мало, один эскудо*.

Тут Дон Кихот не выдержал и, став между ними и разняв их, положил седло на землю так, чтобы оно было у всех на виду до тех пор, пока не удастся установить истину, и сказал:

— Заблуждение, в коем добрый этот оруженосец находится, не может не выступить перед вашими милостями с полною ясностью и очевидностью, ибо он именует тазом для бритья то, что было, есть и будет шлемом Мамбрина, каковой я захватил у него в честном бою и какового я стал законным и полноправным владельцем. Что же касается вьючного седла, то в это я не вмешиваюсь. Я знаю одно: оруженосец мой Санчо обратился ко мне с просьбой позволить ему снять попону с коня, принадлежавшего побежденному этому трусу, и украсить ею своего. Я ему позволил, и он ее снял, а каким образом попона обратилась во вьючное седло, это объясняется весьма просто: перед нами одно из тех превращений, какие в рыцарском мире наблюдаются постоянно. Для вящей же убедительности сбегай, дружок Санчо, и принеси сюда шлем, который этот добрый человек принимает за цирюльничий таз.

— Ей-ей, сеньор,— заметил Санчо,— если у нас нет других доказательств нашей невиновности, кроме тех, которые ваша милость уже привела, то цирюльничий таз — такой же шлем этого, как бишь его, Сукинсына, как попона этого доброго человека — вьючное седло.

— Делай, что тебе говорят,— сказал Дон Кихот,— ведь не все же в этом замке заколдовано.

Санчо сбегал за тазом, и как скоро Дон Кихот увидел его, то взял в руки и сказал:

— Посудите, ваши милости, с каким лицом этот оруженосец осмеливается утверждать, что это таз для бритья, а не упомянутый мною шлем, я же клянусь рыцарским орденом, к коему я принадлежу, что это тот самый шлем, который я у него отнял, и что я ничего не прибавил к нему и не убавил.

— Это не подлежит сомнению,— заметил Санчо,— с той поры, как мой господин его завоевал, он сражался в нем всего один раз, когда освобождал закованных в цепи горемык, и если б не этот *тазошлем*, то ему, уж верно, не поздоровилось бы, потому неприятель усердно метал в нас камни.

— Нет, как вам нравятся, сеньоры, эти молодцы? — вскричал цирюльник.— Они продолжают стоять на том, что это не таз для бритья, а шлем.

— А кто утверждает противное,— подхватил Дон Кихот,— то, коли он рыцарь, я докажу ему, что он лжет, если ж оруженосец — то что он тысячу раз лжет.

Наш цирюльник, который при сем присутствовал и коему хорошо известен был нрав Дон Кихота, решился, дабы позабавить народ, устроить из этого потеху и поддакнуть ему и, обращаясь к другому цирюльнику, заговорил:

— Сеньор, если не ошибаюсь, цирюльник! Было бы вам известно, что я ваш собрат по ремеслу, вот уже двадцать с лишком лет, как я получил диплом, и все принадлежности для бритья я знаю, как свои пять пальцев, в молодости же мне, с вашего дозволения, довелось быть солдатом, и я смекаю также, что такое шлем, что такое шишак, что такое забрало и прочие предметы, относящиеся к военному делу, иначе говоря, все виды оружия мне знакомы. И вот я осмеливаюсь утверждать — а коли что не так, то вы меня поправите,— что этот предмет, который находится в руках у доброго этого сеньора, совсем не таз для бритья и так же от него отличается, как белый цвет от черного, а правда от лжи. Полагаю, впрочем, не лишним заметить, что хотя это и шлем, однако ж не цельный.

— Разумеется, что нет,— сказал Дон Кихот,— ему недостает половины, а именно подбородника.

— Справедливо,— заметил священник, догадавшийся о намерении своего друга цирюльника.

Присоединился к цирюльнику и дон Фернандо со своими спутниками.

— С нами крестная сила! — воскликнул одураченный цирюльник.— Статочное ли это дело, чтобы столько почтенных людей уверяло, будто это не таз для бритья, а шлем? Да ведь тут целый университет при всей своей учености, пожалуй, ахнул бы от удивления. Что там толковать: коли этот таз — шлем, стало быть, и седло — попона, на чем настаивает этот сеньор.

— По-моему, это седло,— заметил Дон Кихот.— Впрочем, я уже сказал, что в это я не вмешиваюсь.

— Седло или попона — это должен определить сеньор Дон Кихот,— объявил священник,— в знании рыцарского обихода и эти сеньоры и я — мы все ему уступаем.

— Клянусь богом, государи мои,— снова заговорил Дон Кихот,— что в этом замке, где я останавливался дважды, со мною случилось столько необыкновенных вещей, что я не решаюсь дать положительный ответ ни на один из вопросов, касающихся помянутого замка, ибо я догадываюсь, что все, что здесь

творится, совершается через колдовство. Вот почему высказывать свое мнение по поводу всей этой неразберихи было бы с моей стороны опрометчиво. Тем, кто утверждал, что это таз, а не шлем, я уже ответил; касательно же того, что это такое: седло или попона, я не решаюсь высказать что-либо определенное, а предоставляю это благоусмотрению ваших милостей: может статься, именно потому, что вы не посвящены в рыцари, как я, местные чародеи ничего не могут с вами поделать, и в противоположность мне, судящему обо всем, что в этом замке происходит, в зависимости от того, как это мне представляется, вы можете высказать суждение верное и соответствующее действительности.

— Нет сомнения,— вмешался дон Фернандо,— сеньор Дон Кихот говорит чудесно: в самом деле, решить этот вопрос приличествует нам, а для большей основательности я тайно соберу мнения этих сеньоров и о том, что получится, дам полный и ясный отчет.

Кто знал о причудах Дон Кихота, те хохотали до упаду, прочим же все это представлялось несусветною чушью, в том числе трем проезжающим, в это самое время прибывшим на постоялый двор и походившим на стражников, каковыми они, кстати сказать, и являлись. Но всех более возмущался цирюльник, на глазах у которого его же собственный таз превратился в Мамбринов шлем, а вьючное седло, вне всякого сомнения, собиралось превратиться в роскошную попону, а между тем все покатывались со смеху, глядя, как дон Фернандо собирает мнения: к каждому подходит и шепотом просит сказать ему по секрету, что собой представляет эта драгоценность, за которую столь ожесточенная идет борьба: вьючное седло или попону; собрав же мнения всех, кто знал Дон Кихота, он во всеуслышание объявил:

— Вот что, любезный: я уже устал спрашивать мнения,— кого ни спросишь, все говорят, что вовсе это не ослиное седло — это, дескать, вздор,— а попона с коня, да еще с коня породистого. Так что уж тут ничего не поделаешь,— как это вам и вашему ослу ни неприятно, это попона, а не вьючное седло, и все ваши доводы и доказательства признаны ошибочными.

— Не войти мне в царство небесное, если ошибаюсь я, а не ваши милости,— возопил бедняга цирюльник,— пусть душа моя не предстанет пред лицом божиим, коли предо мною не вьючное седло, ну да *законы не для королевск*...— ох, молчу, молчу! — *персоны*, и ведь я, честное слово, не пьян: в чем другом грешен, а завтракать еще не завтракал.

Глупости, какие болтал цирюльник, насмешили всех не меньше, чем бредни Дон Кихота, который как раз в это время объявил:

— Теперь остается только каждому взять свое.

Тут один из новоприбывших стражников, который присутствовал при этой ссоре и распре, в запальчивости и раздражении проговорил:

— Это такое же точно седло, как я — родной сын моего отца, а кто говорит или же скажет другое, тот, верно, хватил лишнее.

— Вы лжете, как последний мерзавец,— объявил Дон Кихот.

Тут он поднял копьецо, которое никогда не выпускал из рук, и вознамерился опустить его на голову стражника с такой силой, что если б тот не увернулся, то рухнул бы неминуемо. Копьецо, ударившись оземь, разлетелось на куски, прочие же стражники, видя, как дурно обходятся с их товарищем, стали громко звать на помощь Святому братству.

Хозяин, который тоже служил в Братстве, мигом слетал за жезлом и шпагой и примкнул к своим собратьям; цирюльник, видя, что поднялась кутерьма, ухватился за седло, и то же самое сделал Санчо; Дон Кихот выхватил меч и ринулся на стражников; священник вопиял; хозяйка орала; ее дочь сокрушалась; Мариторнес выла; Доротея пребывала в смятении. Цирюльник дубасил Санчо; Санчо тузил цирюльника; дон Фернандо сшиб с ног одного из стражников, после чего ноги дона Фернандо начали усердно потчевать его пинками; хозяин не своим голосом призывал на помощь слугам Святого братства — словом, весь постоялый двор стонал, кричал, выл, метался, ужасался, бил тревогу, терпел бедствия, дрался на шпагах, раздавал зуботычины, охаживал дубинами, пинал ногами и лил кровь. И вот когда эта смута, путаница и бестолочь достигли своего предела, воображению Дон Кихота представилось, что он сдуру впутался в междоусобицу, возникшую в стане Аграманта*, и по сему обстоятельству крикнул так, что у всех зазвенело в ушах:

— Стой! Мечи в ножны! Смирно! Слушать меня, коли вам дорога жизнь!

Громовой его голос вразумил всех, а он продолжал:

— Не говорил ли я вам, сеньоры, что замок этот заколдован и что в нем, уж верно, обитает легион бесов? И вот вам доказательство: междоусобная брань в стане Аграмантовом на ваших глазах только что перекинулась сюда и вспыхнула между нами. Полюбуйтесь: все мы бьемся и друг друга не разумеем. Заключим же мир, ибо — клянусь всемогущим богом — это величайший позор, что мы, люди столь благородного происхождения, из-за сущей безделицы убиваем друг друга.

Стражники, не понимавшие Дон Кихота, но чувствовавшие, что дон Фернандо и его спутники изрядно им всыпали, не унимались; цирюльник, напротив, унялся тотчас же, ибо в драке

пострадали его борода и седло; Санчо, как верный слуга, повиновался по первому слову своего господина, а хозяин стоял на том, чтобы дерзость этого сумасшедшего, который только и делает, что баламутит постоялый двор, была наказана. Наконец шум мало-помалу затих, в воображении же Дон Кихота вьючное седло так до второго пришествия и осталось попоной, таз — шлемом, а постоялый двор — замком. Однако враг согласия и ненавистник мира, почувствовав себя посрамленным и одураченным и видя, что все его усилия посеять смуту принесли довольно скудные плоды, решился еще раз попытать счастья и вызвать новые распри и треволнения.

А дело было так: чуть только до стражников дошло, что сражаются с ними люди не простые, как боевой их пыл тотчас же охладел и они покинули поле брани: они живо смекнули, что, чем бы все это ни кончилось, в ответе будут они, но один из них, тот самый, которого колотил и пинал дон Фернандо, вспомнил, что в числе указов о задержании преступников у него имеется указ, прямо касающийся Дон Кихота, коего Святое братство постановило задержать за то, что он освободил каторжников, какового указа Санчо столь основательно опасался. Итак, вспомнив об этом, стражник пожелал удостовериться, сходятся ли приметы Дон Кихота с теми, которые значились в указе, и для того вынул из-за пазухи грамоту и отыскал нужное место, а так как он к числу изрядных грамотеев отнюдь не принадлежал, то стал читать по складам, при каждом слове взглядывая на Дон Кихота и сопоставляя приметы, перечисленные в указе, с его наружностью, и, наконец, нашел, что это, вне всякого сомнения, тот самый, кого имел в виду указ. Когда же он удостоверился, то свернул указ и переложил его в левую руку, а правой схватил Дон Кихота за шиворот, так что у того пресеклось дыхание, и во всю мочь крикнул:

— На помощь Святому братству! А чтобы вы все убедились, что я призываю не зря, прочтите указ, предписывающий мне задержать этого разбойника с большой дороги.

Священник взял указ и удостоверился, что стражник говорит правду и что приметы Дон Кихота совпадают; Дон Кихот же, видя, что с ним так дурно обходится этот подлый мужик, рассвирепел и, хотя у него самого трещали кости, обеими руками вцепился стражнику в горло, так что, не выручи стражника товарищи, он расстался бы с жизнью прежде, нежели Дон Кихот расстался бы со своею жертвою. Хозяин по долгу службы обязан был оказывать помощь своим собратьям, а потому он тот же час бросился на помощь к стражнику. Хозяйка, увидев, что супруг ее снова в бою, снова завела ту же самую песню, немедленно подхваченную ее дочерью и Мариторнес, которые призыва-

ли на помощь небо и все небесные силы. Санчо посмотрел, что тут творится, и сказал:

— Вот как бог свят, все, что мой господин говорит насчет колдовства в этом замке,— это истинная правда, потому здесь часу спокойно нельзя прожить!

Дон Фернандо разнял стражника и Дон Кихота, к обоюдному их удовольствию разжав пальцы первого, впившиеся в ворот второго, и пальцы второго, впившиеся в горло первого; со всем тем стражники продолжали добиваться выдачи преступника и настаивать, чтобы им помогли связать его и передали его в полное их распоряжение, к чему, дескать, обязывают установления короля и Святого братства, от имени коего они снова потребовали оказать им поддержку и содействие в поимке этого грабителя и разбойника с больших и малых дорог. Дон Кихот, слушая такие речи, сперва только посмеивался, а затем прехладнокровно заговорил:

— Подите сюда, худородные и неучтивые твари! Вы называете разбойником с большой дороги того, кто дарует свободу колодникам, выпускает узников, приходит на помощь несчастным, протягивает руку павшим, вознаграждает обойденных? О гнусный сброд! Низменный ваш и подлый ум недостоин с помощью неба познать величие, коего исполнено странствующее рыцарство, и отдать себе отчет в том, какие же вы невежды и грешники, если не знаете, что даже тень кого бы то ни было из странствующих рыцарей должна внушать вам уважение, а тем паче его присутствие! Сами вы стражники с большой дороги, промышляющие разбоем с благословения Святого братства,— так вот, подите сюда и скажите: кто этот невежда, который подписал указ о задержании такого рыцаря, каков я? Кто он, не ведающий, что странствующие рыцари ничьей юрисдикции* не подлежат, что их закон — меч, их юрисдикция — отвага, их уложения — собственная добрая воля? Кто этот олух, говорю я, который не подозревает, что ни одна дворянская грамота не дает столько льгот и преимуществ, сколько получает странствующий рыцарь в тот день, когда он вступает в рыцарский орден и посвящает себя нелегкому делу рыцарства? Кто из странствующих рыцарей платит подати и пошлины? Разве портной берет с него за пошивку платья? Разве владелец замка принимает его у себя не бесплатно? Кто из королей не сажает его за свой стол? И, наконец, был ли, есть или будет такой странствующий рыцарь, у коего не хватило бы смелости собственными руками влепить четыреста палочных ударов четырем сотням стражников, которые станут ему поперек дороги?

ГЛАВА XXV

О том, каким необыкновенным способом был очарован Дон Кихот, равно как и о других достопамятных событиях

В то время как Дон Кихот произносил эту речь, священник уговаривал стражников принять в соображение, что Дон Кихот поврежден в уме, о чем они могут судить по его словам и поступкам, и прекратить это дело, ибо если даже они его и задержат и уведут, то все равно им потом придется отпустить его, как умалишенного, на что стражник, у которого был указ, заметил, что входить в рассмотрение, сумасшедший Дон Кихот или нет, он не обязан, его дело — выполнить приказание начальства и на сей раз непременно задержать Дон Кихота, а там пусть его хоть триста раз выпускают.

— Со всем тем,— сказал священник,— на сей раз вы его не задержите, да и он, думается мне, не даст себя задержать.

В конце концов священник такого им наговорил, а Дон Кихот наделал столько глупостей, что стражники оказались бы безумными вдвойне, когда бы не признали безумие Дон Кихота; итак, они рассудили за благо утихомириться и даже выступить посредниками между цирюльником и Санчо Пансою, которые все еще весьма злобно переругивались. Наконец они в качестве представителей правосудия вмешались в это дело и вынесли решение, которое если и не вполне обе стороны примирило, то все же отчасти удовлетворило их: тяжебщики обменялись седлами, а подпруги и недоуздки остались при них, что же касается Мамбринова шлема, то священник тайком, так, чтобы Дон Кихот этого не заметил, дал цирюльнику за его таз восемь реалов, а тот написал ему расписку, в коей давал обещание не жаловаться на обман ни ныне, ни во веки веков, аминь. От хозяина не укрылось, что священник одарил и вознаградил цирюльника, и он, поклявшись, что не пустит со двора ни Росинанта, ни Санчова осла, пока ему не будут возмещены все протори и убытки, потребовал, чтобы Дон Кихот уплатил ему за постой, а также за поврежденные бурдюки и за пролитое вино. Священник и это уладил: за все заплатил дон Фернандо, и вот благодаря этому на постоялом дворе воцарились мир и тишина, так что теперь он уже отнюдь не походил на раздираемый междоусобною бранью стан Аграманта, как выразился Дон Кихот,— теперь здесь царили тишина и спокойствие времен Октавиановых*, чем все единодушно почитали себя обязанными особой благожелательности и красноречивости священника, а также несравненной щедрости дона Фернандо.

А Дон Кихот, почувствовав, что он свободен и избавлен от распрей, возникавших то из-за его оруженосца, то из-за него

самого, рассудил, что пора продолжить начатый путь и довершить великое предприятие, и потому с самым решительным видом опустился перед Доротеей на колени, но та не позволила ему вымолвить слово, пока он не встанет,— он же в угоду ей встал и сказал:

— Вошло в поговорку, прелестная сеньора, выражение: «Настойчивость — мать удачи», да и опыт показывает, что во многих и важных случаях жизни от усердия истца зависит благоприятный исход самой сомнительной тяжбы, но нигде эта истина не выступает так наглядно, как на войне, где быстрота и натиск путают все планы врага и победа достигается прежде, нежели противник изготовится к обороне. Все это, благородная и бесценная сеньора, я говорю к тому, что дальнейшее наше пребывание в этом замке, на мой взгляд, бесполезно, а в один прекрасный день может оказаться и весьма для нас пагубным, ибо — кто знает? — быть может, через своих тайных и рьяных соглядатаев ваш недруг — великан уже проведал, что я иду сокрушить его, и за это время укрепился в каком-либо неприступном замке или же крепости, коих не одолеют мое рвение и мощь неутомимой моей длани. А потому, как я уже сказал, госпожа моя, да опередит наше рвение его замыслы, едемте в добрый час, и час, столь для вашего высочества желанный, не замедлит настать, едва лишь я с недругом вашим встречусь лицом к лицу.

Дон Кихот умолк, ни слова более не прибавил и с превеликим спокойствием стал ждать ответа прелестной инфанты; она же с величественным видом, подражая слогу Дон Кихота, возговорила так:

— Благодарю вас, сеньор рыцарь, за выказанное вами желание помочь мне в великой моей беде,— желание, свойственное истинному рыцарю, коему сродно и коему положено оказывать покровительство сирым и беззащитным, и да исполнится милостью неба общее наше желание, дабы вы удостоверились, что есть еще на свете благодарные женщины. Что касается отъезда, то едемте сей же час, намерения наши совпадают,— располагайте же мною по своему благоусмотрению: та, которая однажды доверила вам защиту своей особы и поручила вам возвратить ей ее владения, не отважится пойти наперекор тому, что повелевает ваша мудрость.

— С богом! — сказал Дон Кихот.— Когда я вижу, что какая-либо сеньора на моих глазах терпит унижения, я не могу упустить случай возвысить ее и восстановить в правах престолонаследия. Итак, едемте сей же час, промедление, как говорится, опаснее всего, и при одной мысли об этом я сгораю от нетерпения возможно скорее пуститься в путь. И коль скоро небо еще не создало, а преисподняя не видела такого человека, который

напугал бы меня или устрашил, то седлай Росинанта, Санчо, взнуздай своего осла и иноходца королевы, простимся с владельцем замка и этими сеньорами и — прямым путем к цели!

Санчо, при сем присутствовавший, покачал головой и сказал:

— Ах, сеньор! Да ведь в нашей-то деревеньке, не в обиду будь сказано прекрасному полу, больше дурного, нежели о том болтают!

— Пусть даже это дурное происходит не в одной какой-то деревне, а и во всех городах мира, почему же толки об этом могут меня позорить, невежа?

— Коли ваша милость гневается, то я замолчу,— заметил Санчо,— и не скажу того, что обязан был бы сказать как верный оруженосец и что всякий верный слуга должен говорить своему господину.

— Говори что хочешь,— сказал Дон Кихот,— твои слова не нагонят на меня страху,— ты испытываешь его потому, что такого уж ты звания человек, а я не испытываю его потому, что я другой породы.

— Боже милосердный, да я совсем не про то! — воскликнул Санчо.— Мне доподлинно и точно известно, что эта сеньора, которая выдает себя за королеву великого королевства Микомиконского, такая же королева, как моя покойная мать, потому королева не стала бы целоваться с одним из нашей компании.

При этих словах Доротея вспыхнула,— по правде сказать, дон Фернандо украдкой от постороннего взора не раз срывал с ее уст поцелуи, так что теперь ей нечего было возразить Санчо и не могла она прервать его болтовню, а он между тем продолжал:

— Говорю я это вот к чему, сеньор: изъездим мы с вами все дороги и тропы, и после стольких беспокойных ночей и еще менее спокойных дней вдруг окажется, что плоды трудов наших пожал тот самый, что милуется с нею здесь, на постоялом дворе, стало быть, нечего мне спешить седлать Росинанта, иноходца и осла.

Господи боже, как же возмутили Дон Кихота нескромные речи его оруженосца! Так возмутили, что он, захлебываясь и запинаясь от волнения и сверкая очами, воскликнул:

— О подлый смерд, нескромный, неучтивый, невежественный, косноязычный, наглец, наушник и клеветник! Что за дерзкие мысли осмелился ты вбить в глупую свою голову? Прочь с глаз моих, изверг естества, кладовая лжи, копилка небылиц, подвал гнусностей, устроитель козней, распространитель нелепостей, не испытывающий никакого почтения к особам королевского рода! Прочь, не показывайся мне на глаза под страхом навлечь на себя мой гнев!

Злоба, кипевшая у него внутри, выражалась еще в том, что он хмурил брови, надувал щеки, вращал глазами и, наконец, изо всех сил топнул правой ногой. А Санчо, наслушавшись подобных слов и наглядевшись на подобные движения гнева, так оробел и струсил, что если б в этот миг под его ногами разверзлась земля и поглотила его, то он был бы только этому рад, и рассудил он за благо показать спину и скрыться от расходившегося своего сеньора. Однако ж сметливая Доротея, для которой нрав Дон Кихота отнюдь не представлял загадки, сказала, дабы умерить его гнев:

— Не сердитесь, сеньор Рыцарь Печального Образа, на доброго вашего оруженосца за то, что он говорил глупости, а вдруг он говорил их не без причины? Зная его здравый ум и истинно христианскую душу, трудно заподозрить, чтобы он мог кого-либо оклеветать, а потому, отринув всякие сомнения, должно полагать, что если в этом замке, по вашим же, сеньор рыцарь, словам, все происходит и совершается по волшебству, то, может статься, говорю я, что все, что Санчо, как он уверяет, видел и что так порочит мою честь, было лишь дьявольским наваждением.

— Клянусь всемогущим богом, ваше высочество попало в самую точку! — воскликнул тут Дон Кихот.— Уж верно, какая-нибудь нечисть так подстроила, что этот греховодник Санчо увидел то, что можно увидеть только колдовским путем, честность же и прямодушие этого несчастного мне хорошо известны, и оклеветать кого-либо он неспособен.

— Что верно, то верно,— заметил дон Фернандо,— а потому, сеньор Дон Кихот, простите его и верните в лоно своего благоволения, прежде нежели он не свихнется от подобных видений.

Дон Кихот объявил, что прощает его, тогда священник пошел за Санчо, и тот с весьма покорным видом явился, стал на колени и попросил у своего господина руку, и господин ему ее дал и, после того как оруженосец к ней приложился, благословил его и сказал:

— Теперь, сын мой Санчо, ты должен окончательно удостовериться, что я был прав, когда столько раз тебе говорил, что все в этом замке совершается колдовским способом.

— Я тоже думаю, что все,— заметил Санчо,— кроме подбрасывания на одеяле, каковое подбрасывание совершилось обыкновенным способом и на самом деле.

— Напрасно ты так думаешь,— возразил Дон Кихот,— потому что если б это было так, то я бы за тебя отомстил или тогда же, или теперь, но я и теперь не могу найти, как не мог найти и тогда, кому следует отомстить за причиненную тебе обиду.

Все пожелали узнать, что это за подбрасывание, и тогда

хозяин рассказал во всех подробностях о порхании Санчо Пансы, каковой рассказ не столько насмешил всех остальных, сколько совсем уж было устыдил Санчо, когда бы его господин снова не стал уверять его, что это было наваждение, хотя, впрочем, простодушие Санчо имело свои пределы, и он все же не мог не почитать за непреложную и неоспоримую истину без всякой примеси обмана, что он был подбрасываем живыми людьми, а не представившимися его воображению привидениями, как полагал и как уверял его господин.

Уже два дня все это изысканное общество пребывало на постоялом дворе, и как скоро путники нашли, что пора собираться в дорогу, то решено было избавить Доротею и дона Фернандо от поездки с Дон Кихотом в его село, будто бы для освобождения земель королевы Микомиконы, на том основании, что священник и цирюльник сами могут его отвезти и там, на месте, приняться за его лечение. Они сговорились с одним человеком, коему случилось ехать мимо на волах, что он его отвезет, но отвезет вот как: они смастерили из палок, прибитых крест-накрест одна к другой, нечто вроде клетки, в которой Дон Кихот мог поместиться со всеми удобствами, после чего дон Фернандо со своими спутниками, стражники и сам хозяин во исполнение приказа и замысла священника надели личины и нарядились кто как мог, чтобы Дон Кихот их не узнал. Затем все, храня совершенное молчание, вошли в помещение, где он почивал и отдыхал от минувших тревог.

В то время как он, и не помышляя о грядущем событии, спокойно спал, они приблизились к нему и, вцепившись в него, крепко-накрепко связали ему руки и ноги, так что когда он от испуга проснулся, то не мог пошевелиться и только в недоумении и замешательстве смотрел на диковинные эти образины; и, сообразуясь с тем, что рисовалось его неутомимому и расстроенному воображению, он вообразил, что все это призраки из заколдованного замка и что он сам, вне всякого сомнения, заколдован, ибо не в состоянии ни двигаться, ни обороняться,— словом, все вышло так, как рассчитывал затеявший эту канитель священник. Из всех присутствовавших один только Санчо был в своем уме и в своем обличье, и хотя он был весьма недалек от того, чтобы заболеть тою же болезнью, что и его господин, однако ж тотчас догадался, кто эти ряженые, но до времени помалкивал, ибо еще не мог постигнуть, чем кончится взятие и пленение его господина; господин же его тоже как воды в рот набрал в ожидании предела своего несчастья, каковой предел заключался в том, что в помещение внесли клетку, посадили его туда и так крепко приколотили палки, что их, и принатужившись, невозможно было бы отодрать.

Ряженые взвалили клетку на плечи, но в то самое мгновение, когда они выносили ее из комнаты, послышался страшный голос, такой страшный, какой только мог оказаться у цирюльника, но не у владельца седла, а у другого:

— О Рыцарь Печального Образа! Не крушись, что полонили тебя, ибо так нужно для того, чтобы елико возможно скорее кончилось приключение, на которое тебя подвигнула великая твоя храбрость. Кончится же оно, как скоро свирепый Ламанчский лев и кроткая Тобосская голубица станут жить вместе и не прежде, чем гордые их выи покорно впрягутся в мягкий брачный хомут, от какового неслыханного союза произойдут на свет хищные детеныши, которые унаследуют цепкие когти доблестного своего родителя. А ты, о благороднейший и послушнейший из оруженосцев, не тужи и не горюй, что на твоих глазах увозят таким образом цвет странствующего рыцарства, ибо скоро, коли будет на то воля зиждителя мира, ты так высоко вознесешься и возвеличишься, что сам себя не узнаешь, и обещания доброго твоего господина не останутся втуне. И от имени мудрой Наврали я клятвенно тебя уверяю, что жалованье будет тебе выплачено, в чем ты убедишься на деле. Итак, иди по стопам сего доблестного и очарованного рыцаря, ибо тебе надлежит следовать за ним вплоть до того места, где оба вы остановитесь. А так как мне не положено что-либо к этому прибавить, то и счастливый вам путь, а куда возвращусь я — это одному мне лишь известно.

В конце этого пророчества цирюльник сперва сильно возвысил голос, а затем понизил его и пустил такую нежную трель, что даже бывшие с ним в заговоре едва всему этому не поверили.

Дон Кихот цирюльниковым предсказанием утешился, ибо он живо и вполне постиг его смысл и вывел из него, что ему суждено сочетаться законным браком с его возлюбленною Дульсинеей Тобосской и что его сыновья на веки вечные прославят Ламанчу; и, без малейших колебаний приняв это за правду, он глубоко вздохнул и, возвысив голос, заговорил:

— Кто б ни был ты, предрекший мне столь великое благо, молю тебя, попроси от моего имени мудрого волшебника, пекущегося обо мне, чтобы он не дал мне погибнуть в темнице, в которой ныне меня увозят, пока не сбудутся принесенные тобою радостные и беспримерные вести, ибо если только они сбудутся, то муки узилища я почту за счастье, сковывающие меня цепи — за облегчение, а тюремный пол, на который меня бросили, покажется мне не жестким полем битвы, но мягкою постелью. Что же касается слов, сказанных тобой в утешение оруженосцу моему Санчо Пансе, то я уверен, что при своей честности и добронравии он ни в радости, ни в горе меня не оставит. Если же

ему или мне так не посчастливится, что я не в состоянии буду подарить ему остров или что-нибудь равноценное, то жалованье его, во всяком случае, не пропадет, ибо в уже составленном мною завещании я, сообразуясь не с многочисленными и важными его услугами, а единственно с моими средствами, указал, что именно ему следует.

Санчо Панса почтительнейше наклонился и облобызал ему обе руки, поцеловать же какую-нибудь одну он не мог при всем желании, ибо они были связаны вместе.

Затем привидения снова взвалили клетку на плечи и перенесли ее на телегу, запряженную волами.

Дон Кихот, видя, что его посадили в клетку и погрузили на телегу, сказал:

— Много чудесных историй довелось мне читать о странствующих рыцарях, но никогда я не читал, не видал и не слышал, чтобы очарованных рыцарей так увозили — с тою медлительностью, какой должно ожидать от этих ленивых и неповоротливых животных. Обыкновенно рыцарей с поразительною легкостью переносят по воздуху, закутанных в серое или же черное облако, на огненной колеснице или же на каком-либо звере, но увозить на волах — ей-богу, я ничего не понимаю! Впрочем, чего доброго, рыцарство и чародейство нашего времени идут не по пути, по какому они шли в старину. И еще может статься, что коли я — рыцарь нового времени, первый рыцарь в мире, воскресивший давно забытое поприще рыцарства, ищущего приключений, то появились и новые виды чародейства и новые способы похищения очарованных. Как ты на это смотришь, сын мой Санчо?

— Я сам не знаю, как я на это смотрю,— отвечал Санчо,— ведь я не так начитан в странствующем писании, как ваша милость. Со всем тем я готов поклясться, что привидения, которые тут бродят, народ отнюдь не благочестивый.

— Благочестивый? Да бог с тобой! — вскричал Дон Кихот.— Какое там благочестивый — это сущие демоны, облекшиеся в призрачную плоть, чтобы довести меня до такой крайности! Если ж ты желаешь в том удостовериться, то дотронься до них и ощупай их, и ты удостоверишься, что тела у них из воздуха и что все это одна только видимость.

— Ей-богу, сеньор, я уж их трогал,— признался Санчо,— и вон тот дьявол, который все хлопочет, он — гладкий, и еще есть у него одно свойство, противоположное тому, коим обладают черти: ведь говорят, что черти воняют серой и всякой дрянью, а от него за полмили несет амброй.

Санчо имел в виду дона Фернандо, от которого, как от знатного сеньора, вероятно, пахло чем-нибудь вроде этого.

— Тебя это не должно удивлять, друг Санчо,— возразил Дон Кихот.— Надобно тебе знать, что черти — великие искусники: они распространяют зловоние, но сами ничем не пахнут, ибо они — духи, а если и пахнут, то это не хороший запах, а мерзкий и отвратительный. Причиной же этому то, что ад неотступно с ними, и неоткуда им ожидать облегчения своим мукам, а так как приятный запах доставляет удовольствие, то они и не могут приятно пахнуть. Если же тебе кажется, что бес, о котором ты толкуешь, пахнет амброй, то или ты сам обманулся, или он намерен тебя обмануть, дабы ты не принимал его за черта.

Вот о чем беседовали между собою господин и слуга; дон Фернандо же, боясь, как бы Санчо окончательно не разгадал их затею, к чему тот был уже весьма близок, поспешил ускорить отъезд и, отозвав хозяина в сторону, велел седлать Росинанта и Санчова осла, что́ хозяин с великим проворством и исполнил. Тем временем священник уговорился со стражниками, что они проводят Дон Кихота до места и что с ними будут рассчитываться поденно. К седельной луке Росинанта с одной стороны подвесили щит, с другой — таз для бритья; Санчо знаками было приказано сесть на осла и вести в поводу Росинанта, а двум стражникам с мушкетами идти рядом с повозкой: одному — с правой стороны, другому — с левой. Но прежде чем повозка тронулась, хозяйка, ее дочь и Мариторнес с таким видом, будто они оплакивают постигшее Дон Кихота несчастье, вышли с ним проститься. Дон Кихот же сказал им:

— Не плачьте, добрые мои сеньоры, все эти невзгоды неразлучны с теми, кто подвизается на поприще, на коем подвизаюсь я, и когда бы со мною подобных превратностей не случалось, я не почитал бы себя за славного странствующего рыцаря, ибо с рыцарями неизвестными и ничем не знаменитыми подобных происшествий никогда не бывает, вот почему никто их и не помнит, с доблестными же — бывают, ибо многие государи и многие рыцари завидуют их добродетели и отваге и пытаются всякими коварными способами сжить их со свету. Однако ж добродетель сама по себе столь могущественна, что, назло всей черной магии, выйдет с честью из всех испытаний и воссияет на земле подобно солнцу в небе. Простите меня, прекрасные дамы, если я чем-либо вас оскорбил,— разумеется, невольно, ибо умышленно и преднамеренно я никого никогда не оскорблял,— и помолитесь богу, чтобы он вывел меня из темницы, куда некий злокозненный волшебник меня заточил. Если же я выйду на свободу, то из памяти моей вовек не изгладятся милости, какие в этом замке были мне сделаны, и я вас отблагодарю и вознагражу.

Пока Дон Кихот беседовал с обитательницами замка, священник и цирюльник простились с Доротеей, доном Фернандо и его спутниками и уговорились, что будут друг друга уведомлять о себе. Дон Фернандо сообщил священнику, куда надлежит писать ему о том, что станется с Дон Кихотом, и уверил его, что ему это весьма любопытно знать. Священник обещал в точности исполнить его просьбу. Затем он и его друг цирюльник сели верхами, оба в масках, ибо не хотели, чтобы Дон Кихот узнал их, и поехали следом за повозкой. Процессия двигалась в таком порядке: впереди ехала повозка, коей правил ее владелец; по бокам, как уже было сказано, шествовали стражники с мушкетами; позади, ведя в поводу Росинанта, ехал на осле Санчо, а сзади всех, скрываясь, как уже было сказано, под масками, с видом важным и невозмутимым, соразмеряя шаг могучих своих мулов с медлительною поступью волов, ехали священник и цирюльник. В клетке же, вытянув ноги и прислонившись к решетке, со связанными руками сидел Дон Кихот, столь покорный и тихий, точно это был не живой человек, но каменная статуя. Так, молча и не спеша, проехали они около двух миль и наконец приблизились к долине, которая показалась вознице местом, подходящим для отдыха и для кормления волов, однако ж цирюльник, посоветовавшись со священником, предложил еще немного проехать, ибо ему было известно, что за холмом, виднев-
шимся невдалеке, есть более травянистый луг, гораздо лучше того, где собирался остановиться хозяин волов. Мнение цирюльника возобладало, и путешественники поехали дальше.

Но тут священник оглянулся и увидел, что сзади едут верхами человек шесть или семь, хорошо одетые и снаряженные, и люди эти путников наших скоро нагнали, ибо ехали они не на волах, ко всему безучастных и неповоротливых, а на таких мулах, какие бывают у каноников*, и, должно полагать, стремились еще до полудня расположиться на постоялом дворе, который виднелся на расстоянии меньше одной мили отсюда. Поравнявшись, скороходы любезно раскланялись с ленивцами, а один из них, впоследствии оказавшийся толедским каноником и господином спутников своих, окинув взглядом повозку, стражников, Санчо, Росинанта, священника с цирюльником и, наконец, полоненного и посаженного в клетку Дон Кихота, всю эту двигавшуюся в определенном порядке процессию, не мог удержаться, чтобы не спросить, почему этого человека везут таким образом, хотя по знакам достоинства, которые он заметил у стражников, он понял, что это какой-нибудь страшный разбойник, вообще какой-нибудь преступник, чье дело подсудно Святому братству. Один из стражников, к которому он обратился с этим вопросом, ответил так:

— Сеньор! Пусть этот кавальеро сам скажет, почему его так везут, а мы ничего не знаем.

Услышав, о чем идет речь, Дон Кихот сказал:

— Может статься, ваши милости знают толк и разбираются в том, что такое странствующее рыцарство? Если да, то я поведаю вам свои невзгоды, если же нет, то мне не к чему утруждать себя повествованием о них.

В это время священник и цирюльник, видя, что путники вступили в разговор с Дон Кихотом Ламанчским, подъехали поближе с намерением в случае чего дать такие объяснения, чтобы хитрость их осталась неразгаданной.

Каноник на вопрос Дон Кихота ответил так:

— По правде сказать, сын мой, рыцарские романы я знаю лучше, чем труды иных богословов, а посему, если дело только за этим, вы смело можете поведать мне все, что угодно.

— Слава богу! — молвил Дон Кихот.— Когда так, то да будет вам известно, сеньор кавальеро, что меня околдовали и посадили в клетку, а виной тому зависть и коварство злых волшебников, ибо добродетель сильнее ненавидят грешники, нежели любят праведники. Я — странствующий рыцарь, но не из тех, чьи имена Слава ни разу не вспомнила и не увековечила, а из тех, кому суждено назло и наперекор самой зависти начертать свое имя в храме бессмертия, дабы оно послужило примером и образцом далеким потомкам и дабы странствующие рыцари будущего знали, какие пути ведут к наивысшему почету на ратном поприще.

— Сеньор Дон Кихот Ламанчский говорит правду,— сказал на это священник.— Он, точно, едет заколдованный на этой телеге, и не за свои грехи и провинности, но по злоумышлению тех, кому добродетель несносна, а доблесть постыла. Это, сеньор, *Рыцарь Печального Образа*, о котором вы, может статься, уже от кого-нибудь слышали и которого смелые подвиги и великие деяния будут вычеканены на прочной бронзе и высечены на несокрушимом мраморе, сколько бы зависть ни старалась их очернить, а лукавство — скрыть.

Когда каноник услышал, каким слогом говорят и пленник и находившийся на свободе, то чуть не перекрестился от изумления — он не мог понять, что это такое, и в не меньшее изумление привело это его спутников. Тут Санчо Панса, подъехав послушать, о чем говорят, и решившись внести в это дело полную ясность, сказал:

— Вот что, сеньоры: как вам будет угодно, а только мой господин Дон Кихот так же заколдован, как мы с вами,— он совершенно в своем уме, ест, пьет и отправляет свои потребности не хуже всякого другого, так же как он это делал вчера, когда

его еще не сажали в клетку. А коли так, то чем же вы можете мне доказать, что он заколдован? Ведь я от многих слыхал, что заколдованные не едят, не спят, не говорят, а мой господин, если только его не остановить, наговорит больше, чем тридцать стряпчих.

И, обратясь к священнику, продолжал:

— Ах, сеньор священник, сеньор священник! Неужто ваша милость думала, что я вас не узнал и что я не догадываюсь и не смекаю, куда ведут эти новые чародейства? Ан нет, узнал, было бы вам известно, сколько бы вы ни прятались под маской, и раскусил, было бы вам известно, сколько бы вы ни скрывали свои козни. Словом сказать, где царствует зависть, там нет места для добродетели, а со скаредностью не уживется щедрость. Черт возьми! Когда бы не ваше преподобие, то мой господин когда бы уж был женат на инфанте Микомиконе, а я был бы по меньшей мере графом,— порукой тому доброта моего *Печального Образа,* равно как и важность оказанных мною услуг. Но я вижу, что недаром у нас люди говорят: колесо Фортуны проворнее мельничного, и кто вчера был высоко-высоко, тот нынче лежит во прахе. Жаль мне мою жену и детей: ведь у них были все основания надеяться, что их отец вернется домой губернатором острова или же — как бишь его? — *птице-королем* какого-нибудь королевства, а вместо этого он вернется конюхом. Все это, сеньор священник, я говорю единственно для того, чтобы вы, ваше высокопреподобие, раскаялись в дурном обхождении с моим господином, а то глядите, как бы господь на том свете не спросил с вас за то, что вы его заточили, и не осудил вас за то, что мой господин Дон Кихот не совершил за время плена ни одного доброго дела и никому не помог.

— Экие он пули отливает! — сказал на это цирюльник.— Стало быть, Санчо, ты со своим господином одного поля ягода? Ей-богу, я начинаю думать, не посадить ли и тебя в клетку к нему за компанию и не побыть ли тебе вместе с ним на положении заколдованного, потому что тебе передались его замашки и его рыцарщина. Не в добрый час соблазнил он тебя своими обещаниями и не в пору втемяшился тебе этот остров, о котором ты так мечтаешь.

— Все зависит от человека,— возразил Санчо.— Стало быть, коли я человек, то могу стать папой, а не только губернатором острова, островов же этих самых мой господин может завоевать столько, что и раздавать их будет некому. Думайте, что́ вы говорите, ваша милость, сеньор цирюльник, это вам не бороду брить, нельзя мерить всех одной меркой. Говорю я это к тому, что все мы здесь друг дружку знаем, и нечего мне голову морочить. А что мой господин будто бы заколдован, то бог прав-

ду видит, а мы пока помолчим, потому лучше этого не трогать.

Цирюльник, боясь, что из-за простодушия Санчо откроется то, что он и священник столь тщательно скрыть старались, не стал отвечать ему; и по той же самой причине священник предложил канонику проехать с ним вперед — он-де поведает ему тайну сидящего в клетке и расскажет еще кое-что забавное. Каноник изъявил согласие и, проехав вместе со своими слугами и священником вперед, внимательно выслушал все, что тот рассказал о звании, нраве, образе жизни и безумии Дон Кихота, вкратце остановившись на первопричине его умопомешательства, а также на всех его похождениях, вплоть до того, как он был посажен в клетку, и поделившись с каноником своим намерением отвезти его домой и там уже взяться за его лечение. Слушая необычайную историю Дон Кихота, каноник и его люди снова дивились диву; выслушав же ее, каноник сказал:

— Признаюсь, сеньор священник, я совершенно уверен, что так называемые рыцарские романы приносят государству вред, и хотя, движимый праздным и ложным любопытством, я прочитал начала почти всех вышедших из печати романов, но так и не мог принудить себя дочитать хотя бы один из них до конца, ибо я полагаю, что все они, в общем, на один покрой и в одном — то же, что и в другом, а в другом — то же, что в третьем. Основная цель подобных романов — услаждать, но вряд ли они ее достигают, ибо они изобилуют чудовищными нелепостями. Между тем душа наслаждается лишь тогда, когда в явлениях, открывающихся взору нашему или воображению, она наблюдает и созерцает красоту и стройность, а все безобразное и несогласное никакого удовольствия доставить не может. А когда так, то какая же может быть красота и соответствие частей с целым и целого с частями в романе или повести, где великана ростом с башню шестнадцатилетний юнец разрезает мечом надвое, точно он из пряничного теста, и где сам автор, описывая битву, сообщает, что силы неприятеля исчислялись в миллион воинов, но так как против них выступил главный герой, то мы, хотим или не хотим, волей-неволей должны верить, что рыцарь этот достигнул победы одною лишь доблестью могучей своей длани? Кто, кроме умов неразвитых и грубых, получит удовольствие, читая о том, что громадная башня с рыцарями плавает по морю, точно корабль при попутном ветре, и ночует в Ломбардии, а рассвет встречает на земле пресвитера Иоанна Индийского*, а то еще и на такой, которую ни Птолемей* не описывал, ни Марко Поло* не видывал? Мне могут возразить, что сочинители рыцарских романов так и пишут их, как вещи вымышленные, а потому они, мол, не обязаны соблюдать все тонкости и гнаться за правдоподобием,

я же на это скажу, что вымысел тем лучше, чем он правдоподобнее, и тем отраднее, чем больше в нем возможного и вероятного. Произведения, основанные на вымысле, должны быть доступны пониманию читателей, их надлежит писать так, чтобы, упрощая невероятности, сглаживая преувеличения и приковывая внимание, они изумляли, захватывали, восхищали и развлекали таким образом, чтобы изумление и восторг шли рука об руку. Но всего этого не может достигнуть тот, кто избегает правдоподобия и подражания природе, а в них-то и заключается совершенство произведения. Я не знаю ни одного рыцарского романа, где бы все члены повествования составляли единое тело, так что середина соответствовала бы началу, а конец — началу и середине; все они состоят из стольких членов, что кажется, будто сочинитель вместо хорошо сложенной фигуры задумал создать какос-то чудище или же урода. Кроме того, слог в этих романах груб, подвиги неправдоподобны, любовь похотлива, вежливость неуклюжа, битвы утомительны, рассуждения глупы, путешествия нелепы — словом, с искусством разумным они ничего общего не имеют и по этой причине подлежат изгнанию из христианского государства наравне с людьми бесполезными.

Священник выслушал его с великим вниманием и решил, что это человек здравомыслящий и что он совершенно прав, а потому объявил, что держится того же мнения и что из ненависти к рыцарским романам он, священник, сжег все книги Дон Кихота, каковых было многое множество. И тут он рассказал канонику, как он подвергал их осмотру и какие из них предал сожжению, а какие помиловал. Каноник немало смеялся, а затем высказал ту мысль, что рыцарские романы при всех отмеченных им недостатках обладают одним положительным свойством: самый их предмет позволяет зрелому уму проявить себя, ибо они открывают перед ним широкий и вольный простор, где перо может бежать свободно, описывая кораблекрушения, бури, схватки, битвы; изображая доблестного полководца, обладающего всеми необходимыми для того, чтобы быть таковым, качествами: предусмотрительного, когда нужно разгадать хитрости врага, красноречивого, когда нужно убедить или же разубедить солдат, мудрого в своих советах, быстрого в решениях, столь же храбро обороняющегося, как и нападающего; описывая то печальные и трагические случаи, то события радостные и неожиданные, то прекраснейшую даму, добродетельную, благоразумную и осмотрительную, то рыцаря-христианина, отважного и учтивого, то бессовестного и грубого хвастуна, то любезного государя, доблестного и благовоспитанного, живописуя добропорядочность и верность вассалов, величие и добросердечие сеньоров. Сочинитель волен показать, что он знает астрологию, что

он и превосходный космограф, и музыкант, и в государственных делах искушен. Он волен изобразить хитроумие Одиссея, богобоязненность Энея, мужество Ахилла*, бедствия Гектора*, предательство Синона*, дружескую верность Эвриала*, щедрость Александра Македонского, доблесть Цезаря, милосердие и правдивость Траяна*, постоянство Зопира*, мудрость Катона* — словом, все те качества, которые делают славных мужей совершенными, и наделить ими одного героя или же распределить их между несколькими. И если при этом еще чистота слога и живость воображения, старающегося держаться как можно ближе к истине, то ему бесспорно удастся изготовить ткань, сотканную из разноцветных и прекрасных нитей,— ткань, которая в законченном виде будет отмечена печатью совершенства и красоты, и таким образом он достигнет высшей цели сочинительства, а именно, как уже было сказано, поучать и услаждать одновременно.

ГЛАВА XXVI,

в коей приводится дельный разговор между Санчо Пансой и его господином Дон Кихотом

Беседу каноника со священником прервал цирюльник; нагнав их, он сказал священнику:

— Сеньор лиценциат! Вот то место, где и нам, как я уже говорил, не худо было бы пополдничать, и волы найдут себе пастбище, обильное свежей травой.

— И я того же мнения,— заметил священник.

Он сообщил о своем намерении канонику; каноник, прельщенный видом на роскошную долину, который открывался его глазам, сказал, что он тоже здесь остановится. И вот, чтобы насладиться этим видом, а также беседою со священником, к коему он почувствовал расположение, а также чтобы узнать во всех подробностях о подвигах Дон Кихота, велел он нескольким своим слугам дойти до постоялого двора, находившегося неподалеку отсюда, и принести для всех чего-нибудь съестного, ибо полдничать он намерен-де тут; слуга же ему на это сказал, что обозный их мул, уж верно, теперь на постоялом дворе, снеди же на нем, дескать, довольно, так что на постоялом дворе придется купить только овса для мулов.

— Когда так,— сказал каноник,— отведите туда всех наших мулов, а сюда приведите обозного.

Пока шел у них этот разговор, Санчо, видя, что священник с цирюльником, которые казались ему подозрительными, отлу-

чились и что теперь ему самое время побеседовать с Дон Кихотом, приблизился к клетке, где сидел его господин, и сказал:

— Сеньор! Для очистки совести я должен с вами поговорить насчет вашей заколдованности. Дело состоит в том, что вон те, в масках, не кто иные, как священник из нашего села и цирюльник. И мне сдается, что это они из зависти надумали так увезти вас, потому славные ваши подвиги не дают им спать. Если же мое предположение справедливо, то выходит, что вас не заколдовали, а оплели и околпачили.

— Что касается того, будто те двое, которые едут с нами,— священник и цирюльник, наши знакомые и соотчичи,— сказал Дон Кихот,— то вполне может статься, что они тебе таковыми кажутся, но ты ни в коем случае не должен думать, что это взаправду и на самом деле так. Ты должен думать и должен понять, что если они, по-твоему, похожи на священника и цирюльника, значит, те, кто меня околдовал, приняли образ их и подобие,— ведь волшебникам ничего не стоит принять любой облик, облик же наших друзей они приняли для того, чтобы заставить тебя думать так, как ты на самом деле и думаешь, и завести тебя в лабиринт мечтаний, из которого тебе не выбраться, хотя бы в руках у тебя была Тезеева нить. И еще для того они это сделали, чтобы рассудок мой помутился и я не мог догадаться, откуда на меня свалилось это несчастье, ибо если, с одной стороны, ты мне говоришь, что меня сопровождают цирюльник и священник из нашего села, а с другой стороны, я вижу, что меня держат в клетке, и твердо знаю, что только сверхъестественным силам, но никак не человеческим дано посадить меня в клетку, то могу ли я что-нибудь еще сказать или подумать, кроме того, что способ, каким меня околдовали, превосходит все, что мне приходилось читать в книгах о том, как очаровывали странствующих рыцарей? И по сему обстоятельству ты смело можешь про это забыть и не думать, ибо они такие же священник и цирюльник, как я турок.

— Пресвятая богородица! — истошным голосом завопил Санчо.— Неужто вы, ваша милость, такая тупица и такой бестолковый, что не понимаете, насколько я прав и что в вашем пленении и злополучии повинно более коварство, нежели волшебство? Неужто вы станете отрицать, что когда человеку нездоровится, то про него обыкновенно говорят так: «Не знаю, что с ним такое, не ест, не пьет, не спит, отвечает невпопад, точно кто его околдовал»? Стало быть, которые не едят, не пьют, не спят, те и есть заколдованные, а вовсе не такой человек, который, как, например, ваша милость, пьет, когда ему дают, кушает, когда у него что-нибудь есть, и отвечает на любые вопросы.

— То правда, Санчо,— заметил Дон Кихот.— Но я уже тебе говорил, что есть много способов колдовства, и может статься, что с течением времени одни сменялись другими и что ныне применяется такой, при котором заколдованные делают все, что делаю я и чего не делали прежде. Так что против духа времени идти не стоит, и не к чему делать отсюда какие-либо выводы. Я знаю и стою на том, что я заколдован, и потому совесть моя спокойна, а ведь она язвила бы меня, когда бы я полагал, что я не заколдован, а просто от лени и из трусости не выхожу из клетки и тем самым лишаю защиты многих обездоленных и утесненных, в моей помощи и заступлении в этот самый час крайнюю и насущную необходимость испытывающих.

— Как бы то ни было,— возразил Санчо,— для вящего благоденствия и спокойствия вашей милости хорошо, если бы вы постарались выйти из этой темницы,— а я, со своей стороны, обязуюсь сделать все от меня зависящее и даже собственноручно извлечь вас отсюда,— и попробовали снова сесть на доброго своего Росинанта, который тоже, как видно, заколдован: вон он какой грустный и унылый, а потом мы опять попытаем счастья и поищем приключений. Если же нам не повезет, то вернуться в клетку мы всегда успеем, и я обещаю вам, как подобает доброму и верному оруженосцу, засесть в клетку вместе с вашей милостью в случае если вы, ваша милость, окажетесь таким незадачливым, а я таким простаком, что у нас ничего не получится.

— Я не прочь поступить, как ты предлагаешь, брат Санчо,— заметил Дон Кихот,— и чуть только ты найдешь возможным освободить меня, я окажу тебе полное и совершенное повиновение. И все же ты удостоверишься, Санчо, в ошибочности своего представления о моем несчастье.

В таком духе беседовали странствующий наш рыцарь и его оруженосец, за которым тоже водились странности, и наконец прибыли туда, где, уже спешившись, их поджидали священник, каноник и цирюльник. Возница тотчас распряг волов и пустил их погулять на свободе в этом зеленом и приветном поле, кого прохлада манила насладиться ею не таких заколдованных личностей, как Дон Кихот, а таких рассудительных и благоразумных, как его оруженосец, который попросил священника позволить его господину выйти на время из клетки. Священник сказал, что он весьма охотно исполнил бы его просьбу, если б не боялся, что его господин, очутившись на свободе, снова примется за свое — и только, мол, его и видели.

— Я ручаюсь, что он не убежит,— сказал Санчо.

— Я тоже,— сказал каноник,— в особенности если он даст мне слово рыцаря без нашего позволения никуда отсюда не уходить.

— Даю,— молвил Дон Кихот, который слышал весь этот разговор.— Тем более что человек заколдованный, как, например, я, собою не располагает,— тот, кто его заколдовал, может сделать так, что он триста лет простоит на одном месте, а если и убежит, то его все равно вернут обратно по воздуху.

Каноник взял его за руку и под честное слово выпустил из клетки, чему тот несказанно и чрезвычайно обрадовался; прежде всего он потянулся, а затем приблизился к Росинанту и, огладив его, сказал:

— Я все же надеюсь, что господь и пречистая его матерь скоро исполнят наши с тобой желания, о цвет и зерцало коней, и ты снова будешь возить на себе своего господина, а я, верхом на тебе, снова примусь за дело, ради которого господь бог произвел меня на свет.

ГЛАВА XXVII

Об остроумном словопрении, имевшем место между Дон Кихотом и каноником, и о редкостном приключении с бичующимися, которое Дон Кихот, изрядно попотев, довел до победного конца

Каноник глядел на Дон Кихота, и необычайность великого этого безумия изумляла его, ибо все рассуждения и ответы Дон Кихота были исполнены здравого смысла; только если дело касалось рыцарства, он, как уже не раз было сказано, начинал нести околесную. И вот, когда в ожидании имевшихся у каноника съестных припасов все расположились на зеленой травке, он, проникшись к Дон Кихоту состраданием, заговорил с ним:

— Неужели, сеньор идальго, чтение тошнотворных и пустопорожних рыцарских романов так на вас подействовало, что вы повредились в уме и вообразили, будто кто-то вас заколдовал и прочее тому подобное, столь же далекое от истинного устройства вещей, сколь ложь далека от истины? И как мог человеческий разум допустить, что была когда-то целая прорва всяких Амадисов, этих пресловутых рыцарей, что были все эти императоры Трапезундские, Фелисмарты Гирканские, иноходцы, странствующие девицы, змеи, великаны, неслыханные приключения, всевозможные чародейства, сражения, жаркие схватки, причудливые наряды, влюбленные принцессы, оруженосцы-графы, забавные карлики, нежные послания, объяснения в любви, смелые женщины — словом, всякий вздор, коим набиты рыцарские романы? О себе могу сказать, что, пока я их читаю, не думая о том, что все это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторое

удовольствие, но как скоро я себе представлю, что это такое, то мне тогда ничего не стоит хватить лучший из них об стену, а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в огонь их пошвырял, и они в самом деле заслуживают подобной казни, ибо все это выдумки и небылицы, и поведение их героев не соответствует природе вещей; ибо они создают новые секты и новые правила жизни; ибо невежественная чернь верит всей этой ерунде и принимает ее за истину. И сочинители этих романов еще имеют наглость смущать умы здравомыслящих и благородных идальго, как это мы видим на примере вашей милости, ибо они довели вас до такой крайности, что пришлось засадить вас в клетку и везти на волах, подобно тому как возят с места на место тигров и львов и показывают их за деньги. Полно же, сеньор Дон Кихот, пожалейте себя, возвратитесь в лоно разума и обратите ко благу тот светлый ум, коим небо вас наделило!

С чрезвычайным вниманием слушал Дон Кихот рассуждения каноника, и, когда тот кончил, он посмотрел на него долгим взглядом и сказал:

— Сдается мне, сеньор идальго, что милость ваша вела речь к тому, чтобы уверить меня, будто странствующих рыцарей никогда не было, будто все рыцарские романы — сплошная выдумка и вранье, а для государства они бесполезны и даже вредны, и нехорошо, мол, с моей стороны, что я читал их, еще хуже — что верил им и совсем худо — что подражал им, избрав тесный путь странствующего рыцарства, на который они наставляют, ибо, по-вашему, не было на свете никаких Амадисов, ни Галльского, ни Греческого, и никого из рыцарей, коими творения эти полны.

— Ваша милость совершенно верно поняла мою мысль,— сказал на это каноник.

— Я же, со своей стороны, полагаю,— продолжал Дон Кихот,— что безумен и заколдован не я, а ваша милость, ибо вы позволили себе изрыгнуть хулу на нечто такое, что весь мир признает и почитает за истину, кто же это отрицает,— а ваша милость это отрицала,— тот заслуживает такого же точно наказания, какому ваша милость, как вы сами сказали, подвергает романы, которые вам не понравились. Уверять кого бы то ни было, что Амадис не существовал, а также все прочие искавшие приключений рыцари, коими полны страницы романов, это все равно что пытаться доказывать, что солнце не светит, лед не холодит, а земля не держит. И сыщется ли такой человек, который сумеет кому-либо доказать, будто все, что во времена Карла Великого совершил на Мантибльском мосту* Фьерабрас,— будто все это неправда, тогда как я душу свою прозаложу, что это такая же правда, как то, что сейчас день? А коли

это ложь, значит, не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни Двенадцати Пэров Франции, ни короля Артура Английского, который был превращен в ворона и не расколдован поныне, между тем как в родном королевстве его ожидают с минуты на минуту. Пожалуй, осмелятся также утверждать, что выдумки — поиски священного Грааля*, что недостоверна любовь Тристана и королевы Изольды*, равно как Джиневры и Ланцелота*. Значит, эти книги, печатавшиеся с дозволения королей, одобренные теми, кому они были отданы на просмотр, и с одинаковым удовольствием читаемые и восхваляемые и старыми и малыми, и бедными и богатыми, и учеными и невеждами, и плебеями и дворянами, словом, людьми всякого чина и звания,— сплошная ложь, несмотря на все их правдоподобие, несмотря на то, что мы знаем отца, мать, родственников, место рождения, возраст того или иного рыцаря и нам подробно, день за днем, описывают его жизнь и подвиги с непременным указанием места, где они были совершены? Полно, ваша милость, не кощунствуйте, поверьте, что совету, который я вам преподал, должен последовать всякий разумный человек,— лучше перечтите их, и вы увидите, какое удовольствие доставляет подобное чтение. Нет, правда, скажите: что может быть более увлекательного, когда мы словно видим пред собой громадное озеро кипящей и клокочущей смолы, в коем плавают и кишат бесчисленные змеи, ужи, ящерицы и многие другие страшные и свирепые гады, а из глубины его доносится голос, полный глубокой тоски: *«Кто б ни был ты, о рыцарь, взирающий на ужасное это озеро! Если хочешь добыть сокровища, под его черною водою сокрытые, то покажи величие неустрашимого твоего духа и погрузись в эту огненную и черную влагу, ибо только при этом условии сподобишься ты узреть дивные чудеса, таящиеся и заключенные в семи замках семи фей, которые в сей мрачной обретаются пучине»?* Стоит рыцарю услышать этот дрожащий голос, и он, не рассуждая и не думая об опасности, даже не освободившись от бремени тяжелых своих доспехов, поручив себя богу и своей госпоже, бросается в глубину бурлящего озера, и вдруг, нежданно-негаданно, перед ним цветущие поля, после которых на поля Елисейские и смотреть не захочешь. И мнится ему, что небо здесь прозрачнее, солнечный свет — первозданной яркости, глазам открывается приютная роща, где зеленые и ветвистые деревья зеленью своею ласкают взор, а слух лелеет сладкое и безыскусственное пение бесчисленных пестрых маленьких пташек, порхающих в чаще. Тут видит он ключ, прохладные струи которого, текучему хрусталю подобные, бегут по мелкому песку и белым камешкам, похожим на просеянное золото и чистый жемчуг. Вот искусственный водомет из разноцветной яшмы и

полированного мрамора, а вон другой, в виде грота, где разбросанные в нестройном порядке мелкие раковины и изогнутые белые и желтые домики улиток вперемежку с кусочками блестящего хрусталя и поддельными изумрудами вместе составляют причудливый узор, такой, что кажется, будто искусство, подражая природе, в то же время побеждает ее. Здесь внезапно является взору укрепленный замок или же роскошный чертог, коего стены — литого золота, зубцы — алмазы, ворота — из гиацинта, и хотя он сложен не из чего-либо, а из алмазов, карбункулов, рубинов, жемчуга, золота и изумрудов, однако ж восхитительная его постройка достойна еще большего удивления. Что же еще после всего этого нам остается увидеть? Разве девушек, длинною вереницею выходящих из ворот замка и коих одежды отличаются таким богатством и пышностью, что если б я взялся описать их на манер сочинителей рыцарских романов, то никогда бы не кончил, и как самая из них, по-видимому, главная возьмет за руку рыцаря, отважно бросившегося в бурлящее озеро, и молча отведет его в дивный чертог, где так красиво накрыты столы, что он только любуется и дается диву? Как на руки льют ему воду с примесью амбры и сока душистых цветов? Как сажают его в кресло слоновой кости? Как прислуживают ему все девушки, глубокое храня молчание? Как приносят ему множество яств, столь вкусно приготовленных, что не знаешь, к которому из них протянуть руку? Разве послушать еще музыку, что играет на этом пиру, причем неизвестно, кто поет и откуда она доносится? Наконец, когда пиршество кончится и со столов уберут, посмотреть еще разве, как невзначай войдет девушка краше тех, которых он видел прежде, сядет с ним рядом и начнет рассказывать, какой это замок, как ее здесь заколдовали и о многом другом, и рассказ ее приведет рыцаря в изумление, а читателей этой истории в восторг? Я не хочу более об этом распространяться, ибо сказанного мною довольно, чтобы сделать вывод, что любая часть любой книги о странствующих рыцарях способна доставить удовольствие и наслаждение любому читателю. Так что вы, ваша милость, мне поверьте и, еще раз повторяю, романы эти перечтите, и они рассеют вашу грусть, и вы развеселитесь, если до этого находились в дурном расположении духа. О себе могу сказать, что с тех пор как я стал странствующим рыцарем, я храбр, любезен, щедр, благовоспитан, великодушен, учтив, дерзновенен, кроток, терпелив и покорно сношу и плен, и тяготы, и колдовство. И хотя совсем недавно меня приняли за сумасшедшего и посадили в клетку, все же я надеюсь, если только небо будет ко мне благосклонно и не враждебна Фортуна, с помощью доблестной моей длани не в долгом времени стать королем, и тогда все увидят, как я отзыв-

чив и щедр, ибо по чести, сеньор, щедрость — это такая добродетель, которую бедняк ни на ком проявить не способен, хотя бы она была ему в высшей степени сродна, отзывчивость же, которая далее благих намерений не идет, так же мертва, как мертва вера без дел. Поэтому я и хотел бы, чтобы Фортуна как можно скорее предоставила мне возможность стать императором: я бы тогда показал, какое у меня сердце, и облагодетельствовал моих друзей, особливо беднягу Санчо Пансу, моего оруженосца, прекраснейшего человека, какого я только знаю, и мне бы хотелось пожаловать ему графство, которое я давно ему обещал,— вот только я боюсь, что у него нет смекалки, чтобы им управлять.

Санчо расслышал только эти последние слова своего господина и сказал ему:

— Вы только потрудитесь, сеньор Дон Кихот, выделить мне это графство, которое ваша милость так твердо мне обещала и которого я так жду, а уж я вам ручаюсь, что у меня хватит смекалки им управлять,— буде же не хватит, то я слыхал, что есть на свете такие люди, которые берут в аренду поместья сеньоров, сколько-то платят за это в год и принимают на себя обязанность управлять ими, а сеньор лежит себе на боку, живет на арендную плату и ни о чем не заботится. Вот так и я сделаю: морочить себе голову не стану, тут же сдам все дела и буду жить на арендную плату, что твой герцог, а уж они там как хотят.

— Так обстоит лишь в рассуждении доходов, брат Санчо,— возразил каноник,— но суд чинить обязан сам владелец имения, и вот тут-то необходимы смекалка и здравый смысл, а главное — искреннее желание решить дело по справедливости: ведь если его не обнаружить в самом начале, то и в середине и в конце выйдет путаница, ибо господь содействует благим желаниям простодушных и губит недобрые желания мудрецов.

— Эта философия — не моего ума дело,— заметил Санчо Панса.— Я знаю одно: только бы мне получить графство, а уж управлять-то я им сумею,— души у меня столько, сколько у всех, а тела даже побольше, и управлял бы я своим имением не хуже любого короля; став же королем в своем имении, я буду делать что хочу, делая же что хочу, я буду жить в свое удовольствие, живя же в свое удовольствие, я буду наверху блаженства, а кто наверху блаженства, тому и желать нечего, а коли нечего желать, так и дело с концом, лишь бы поскорей графство, а там — слепой сказал: «Посмотрим».

— Что касается твоей философии, Санчо, то она недурна, однако ж, со всем тем, графство — это дело темное.

Но Дон Кихот возразил канонику:

— А что тут, собственно, такого темного? Я лично руководствуюсь примером великого Амадиса Галльского, который сделал своего оруженосца графом острова Материкового,— следственно, я без зазрения совести могу сделать графом Санчо Пансу, одного из лучших оруженосцев, какие когда-либо у странствующих рыцарей состояли на службе.

Каноника поразил тот связный вздор, какой представляли собою речи Дон Кихота, и то, как он описал приключения Рыцаря Озера, и то впечатление, какое произвели на него хитросплетенные небылицы, которых он начитался, и еще поражало каноника простодушие Санчо, который так страстно желал получить графство, обещанное ему его господином. Тем временем возвратились слуги каноника, которых тот посылал на постоялый двор за обозным мулом, и, чтобы возница, как уже было сказано, воспользовался отменным этим пастбищем, все расположились в тени дерев и принялись за еду, причем обеденный стол заменяли им ковер и зеленая трава луга. И вот во время трапезы внезапно услышали они звук трубы, столь унылый, что все невольно повернули головы в ту сторону, откуда он долетал, однако ж всех более всполошился, заслышав его, Дон Кихот. Он вскочил, повернул голову, куда и все, и вдруг увидел, что с косогора спускается множество людей в белом, которые напоминали бичующихся.

Должно заметить, что в тот год облака не желали кропить землю, и по сему обстоятельству во всех окрестных селениях устраивались процессии, совершались молебствия и покаяния, дабы господь отверз двери милосердия своего и послал дождь; и того ради жители ближнего села совершали паломничество к одной чтимой ими часовне, стоявшей на горке. У Дон Кихота, как скоро он обратил внимание на необычные их одежды, вылетело из головы, что ему не раз приходилось видеть бичующихся,— напротив, он представил себе, что тут пахнет приключением, в котором ему, как странствующему рыцарю, надлежит принять самое деятельное участие; и еще более укрепился он в своем мнении, оттого что изваяние под траурным покровом, которое несли эти люди, он принял за некую знатную сеньору, похищаемую наглецами и чудовищными злодеями; и как скоро это ему взбрело на ум, он с чрезвычайною легкостью подбежал к Росинанту, который пасся невдалеке, снял с луки уздечку и щит, в ту же секунду взнуздал его, попросил у Санчо свой меч, затем вскочил на Росинанта и, обращаясь ко всем присутствовавшим, громким голосом произнес:

— Сейчас, честная компания, вы уразумеете, сколь важно, чтобы на свете существовали кавальеро, принадлежащие к ордену странствующего рыцарства. Сейчас, повторяю, явившись

свидетелями освобождения почтенной этой сеньоры, которую ведут в плен, вы уразумеете, достойны ли уважения странствующие рыцари.

С этими словами он, за неимением шпор, всадил пятки в бока Росинанту, и тот во весь опор поскакал навстречу бичующимся, невзирая на то, что священник, каноник и цирюльник всячески старались его удержать, но, разумеется, тщетно, ибо на него не подействовали даже крики Санчо, который взывал к нему:

— Куда вы, сеньор Дон Кихот? Какие бесы в вас вселились и наущают идти против нашей католической веры? Да поймите же вы, прах меня возьми, что это процессия бичующихся и что сеньора, которую несут на подставке, это священный образ пренепорочной девы. Подумайте, сеньор, что вы делаете,— на сей раз наверняка можно сказать, что вы сами того не знаете.

Санчо старался зря — его господин был так поглощен мыслью скорей подъехать к балахонам и освободить облаченную в траур сеньору, что не слыхал ни единого слова, а если б даже и слышал, то все равно не повернул бы назад, хотя бы это ему приказал сам король. Наконец он приблизился к процессии и остановил Росинанта, который уже льстил себя надеждою на отдых, и хриплым от волнения голосом произнес:

— Вы, что скрываете свои лица, по всей вероятности, потому, что у вас нечиста совесть! Слушайте внимательно то, что я вам сейчас скажу.

Несшие изваяние остановились первыми, а один из четырех псаломщиков, коему бросились в глаза странный вид Дон Кихота, худоба Росинанта и другие обнаруженные и отмеченные им смешные черты Дон Кихота, ответил так:

— Сеньор мой и брат! Если вы хотите нам что-то сказать, то говорите скорее, ибо эти братья разрывают на себе кожу до мяса, и мы не можем, да и не к чему нам останавливаться и что-то такое слушать, разве что-нибудь очень короткое, такое, что можно сказать в двух словах.

— Да я вам это в одном слове скажу,— возразил Дон Кихот,— а именно: нимало не медля, освободите прелестную эту сеньору, чьи слезы и грустный вид ясно показывают, что вы увозите ее насильно и что вы нанесли ей какое-то глубокое оскорбление, я же, пришедший в мир для того, чтобы искоренять подобные злодейства, не позволю вам шагу ступить, пока, вступившись за нее, я не возвращу ей желанной и заслуженной свободы.

Послушав такие речи, все пришли к заключению, что перед ними сумасшедший, и покатились со смеху, каковой смех только подлил масла в огонь Донкихотова гнева,— ни слова не говоря,

рыцарь наш выхватил меч и двинулся к носилкам. Один из тех, кто нес изваяние, поменявшись с товарищем и держа над головой шест, коим подпирают носилки, когда кто-либо из несущих желает отдохнуть, вышел к Дон Кихоту навстречу, и вот по этому-то шесту как раз и пришелся страшный удар Донкихотова меча, рассекший его надвое, однако ж носильщик оставшимся у него в руках обломком так огрел Дон Кихота по той руке, в которой он держал меч и которую щит не мог укрыть от грубой силы, что бедный Дон Кихот в весьма жалком состоянии полетел с коня. Санчо Панса, во весь дух гнавшийся за ним, видя, что он упал, крикнул его противнику, чтобы тот больше не наносил удара,— это-де очарованный рыцарь, который за всю свою жизнь никому не причинил никакого зла. Однако ж сельчанина остановили не крики Санчо, а то, что Дон Кихот не шевелил ни рукой, ни ногой; по сему обстоятельству, решив, что Дон Кихот убит, он подобрал полы своего балахона и с быстротою оленя бросился наутек.

Тем временем подоспели и все прочие спутники Дон Кихота, участники же процессии, видя, что они летят прямо на них, а с ними вооруженные стражники, и смекнув, что дело плохо, сгрудились вокруг изваяния; и, надев капюшоны, крепко держа в руках бичи, а псаломщики — подсвечники, они стали ждать неприятеля с твердым намерением отразить его натиск, а буде окажется возможным, то и самим перейти в наступление, однако ж судьба устроила лучше, чем можно было ожидать, ибо Санчо, вообразив, что господин его мертв, припал к его телу и прежалобно и преуморительно над ним запричитал. Нашего же священника узнал другой священник, шедший вместе с процессией, и это обстоятельство успокоило оба равно устрашенных воинства. Наш священник в двух словах объяснил другому, кто таков Дон Кихот, и тогда тот пошел посмотреть, жив ли бедный рыцарь, а за ним гурьбой повалили бичующиеся и услышали, что Санчо Панса со слезами на глазах причитает:

— О цвет рыцарства, нить драгоценной жизни коего оборвал один лишь удар дубиной! О честь своего рода, краса и гордость всей Ламанчи и всего мира, каковой после твоей смерти наполнится злодеями, ибо все их злодеяния отныне будут оставаться безнаказанными! О ты, более щедрый, нежели все Александры на свете, ибо всего только за восемь месяцев, что я у тебя прослужил, ты пожаловал мне лучший из островов, омываемых и окруженных морем! О ты, смотрящий опасности прямо в глаза, не унывающий в бедах, влюбленный ни в кого, подражатель добрым, бич дурных, гроза подлецов — одним словом, странствующий рыцарь, ибо этим все сказано!

Вопли и стенания Санчо воскресили Дон Кихота, и первыми его словами были:

— Кто пребывает в разлуке с вами, сладчайшая Дульсинея, тот и не такие еще бедствия терпит. Помоги мне, друг Санчо, сесть на очарованную повозку, я не в состоянии держаться в Росинантовом седле по той причине, что плечо у меня раздроблено.

— С большим удовольствием, государь мой,— сказал Санчо,— и поедемте прямо в наше село вместе с этими сеньорами, которые вам желают добра, а там уж мы замыслим новый поход, такой, чтоб нам от него было побольше пользы и побольше славы.

— Ты дело говоришь, Санчо,— заметил Дон Кихот,— с нашей стороны будет в высшей степени благоразумно, если мы подождем, пока пройдет ныне действующее зловредное влияние светил.

Каноник, священник и цирюльник объявили, что лучше этого он ничего не мог бы придумать, и, в совершенном восторге от простоты Санчо Пансы, посадили Дон Кихота на ту же самую повозку, на которой он ехал прежде; участники процессии снова двинулись стройными рядами; стражники отказались ехать дальше, и священник уплатил им сполна. Каноник попросил священника уведомить его о том, что станется с Дон Кихотом: придет ли он в разум или же будет куролесить и дальше, а засим поехал своей дорогой. Словом, все разъехались в разные стороны и кто куда, остались только священник и цирюльник, Дон Кихот, Панса и добрый Росинант, столь же безропотно сносивший все, что бы с ним ни стряслось, как и его хозяин.

Возница запряг волов, посадил Дон Кихота на охапку сена и с присущим ему хладнокровием двинулся по той дороге, которую указал священник, и шесть дней спустя достигли они села Дон Кихота и въехали в него среди бела дня, а пришлось это как раз в воскресенье, и площадь, через которую проезжала повозка Дон Кихота, была полна народу. Все бросились смотреть, кто это едет, и как скоро узнали своего земляка, то подивились, а какой-то мальчишка побежал сказать ключнице его и племяннице, что их дядю и господина, бледного и худого, везут на волах, подстилки же никакой, кроме охапки сена. Невозможно было без сожаления смотреть на добрых этих женщин, вопивших, бивших себя по голове и посылавших новые проклятия окаянным рыцарским романам, и все это поднялось с новою силою, как скоро в дверях показался Дон Кихот.

Прослышав о том, что Дон Кихот возвратился, прибежала

и жена Санчо Пансы, которой было известно, что муж ее последовал за ним в качестве оруженосца, и, едва увидев Санчо, она прежде всего осведомилась, здоров ли осел. Санчо ответил, что осел здоровее своего хозяина.

— Благодарю тебя, господи, за великую твою милость,— сказала она.— Ну, а теперь скажи-ка мне, дружочек, много ли ты заработал на своей *оруженоске*? Обновку-то ты мне привез? А башмачки детишкам?

— Ничего такого я, женушка, не привез,— отвечал Санчо,— зато я привез кое-что поважнее и посущественнее.

— Вот этому я очень рада,— заметила жена,— покажи-ка мне, дружочек, это важное и существенное, я хочу поглядеть, тогда душа моя будет довольна, а то, пока ты там скитался целую вечность, я вся истомилась и извелась.

— Дома покажу, жена,— объявил Панса,— а пока что утешься: если мы, господь даст, еще раз поедем искать приключений, то ты увидишь, что я скоро стану графом или же губернатором оетрова, да не какого-нибудь там захудалого, а самого что ни на есть лучшего.

— Дай-то бог, муженек, это нам вот как пригодится. А только скажи мне, что такое остров, я что-то не могу взять в толк.

— Осла медом не кормят,— отрезал Санчо.— Придет время — узнаешь, да еще рот разинешь, когда твои вассалы станут величать тебя *ваше сиятельство.*

— Что ты несешь, Санчо? Какие такие сиятельства, острова и вассалы?— воскликнула Тереса Панса.

— Не все сразу, не торопись, довольно и того, что я сказал тебе правду, пока держи язык на привязи. Между прочим, могу тебе сказать, что нет ничего приятнее быть почтенным оруженосцем странствующего рыцаря, искателя приключений. Правда, чаще всего попадаются приключения не такие, каких бы тебе хотелось, потому в девяноста девяти случаях из ста все получается шиворот-навыворот. Это я на себе испытал, потому в иных случаях меня подбрасывали на одеяле, в иных лупили. Однако, со всем тем, до чего ж хорошо в ожидании происшествий скакать по горам, плутать в лесах, взбираться на скалы, посещать замки, останавливаться на каких угодно постоялых дворах и при этом ни черта не платить за ночлег!

Такую беседу вели между собой Санчо Панса и его жена, а в это время ключница и племянница Дон Кихота ухаживали за ним, раздевали его и укладывали на старую его кровать. Он смотрел на них блуждающим взором и никак не мог понять, где он находится. Священник, сообщив племяннице, чего стоило доставить его домой, сказал, чтобы она как можно

лучше позаботилась о дяде и чтобы они обе были начеку, а то он, мол, опять убежит. Тут снова подняли они страшный крик, снова стали посылать проклятия рыцарским романам, снова стали молить бога, чтобы сочинители подобных врак и нелепостей провалились сквозь землю. Одним словом, священник оставил их в смятении и страхе, ибо они полагали, что, как скоро дело пойдет на поправку, дядя их и господин тот же час их покинет, и чего они опасались, то как раз и случилось.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

О разговоре, который священник и цирюльник вели с Дон Кихотом касательно его болезни

Священник и цирюльник почти целый месяц не бывали у Дон Кихота, чтобы не вызывать и не воскрешать в его памяти минувших событий; однако ж они заходили к племяннице и ключнице и просили заботиться о нем и давать ему что-нибудь питательное и полезное для сердца и мозга, где, вне всякого сомнения, и коренится, дескать, все его злополучие. Женщины сказали, что они так и делают и будут делать с крайним усердием и готовностью: они, мол, уже замечают, что временами их господин обнаруживает все признаки здравомыслия, чему те двое весьма обрадовались, а также тому, как ловко они придумали — привезти его, заколдованного, на волах, о каковой их затее повествуется в последней главе

первой части этой столь же великой, сколь и достоверной истории; и по сему обстоятельству порешили они навестить его и убедиться воочию, подлинно ли ему лучше, что́ казалось им, впрочем, почти невероятным, и уговорились между собою не дотрагиваться до этой его еще свежей и столь странной раны, а о странствующем рыцарстве даже не заикаться.

Итак, они пришли к нему и застали его сидящим на постели в зеленом байковом камзоле и в красном толедском колпаке, и был он до того худ и изможден, что походил на мумию. Он принял их с отменным радушием; они осведомились о его здоровье, и он рассказал им о себе и о своем здоровье весьма разумно и в самых изысканных выражениях; наконец речь зашла о так называемых государственных делах и образах правления, причем иные злоупотребления наши собеседники искореняли, иные — осуждали, одни обычаи исправляли, другие — упраздняли, и каждый чувствовал себя в это время новоявленным законодателем: вторым Ликургом* или же новоиспеченным Солоном*; и так они все государство переиначили, что казалось, будто они бросили его в горн, а когда вынули, то оно было уже совсем другое; Дон Кихот обо всех этих предметах рассуждал в высшей степени умно, и у обоих посетителей не осталось сомнений, что он совершенно здоров и в полном разуме.

При этой беседе присутствовали племянница и ключница и неустанно благодарили бога за то, что их господин вполне образумился; однако ж священник, изменив первоначальному своему решению — не касаться рыцарства, пожелал окончательно удостовериться, точно ли Дон Кихот выздоровел или же это выздоровление мнимое, и для того исподволь перешел к столичным новостям и, между прочим, передал за верное, что султан турецкий с огромным флотом вышел в море*, но каковы его замыслы и где именно ужасная сия гроза разразится, этого-де никто не знает; и что-де, мол, снова, как почти каждый год, весь христианский мир пребывает в страхе и бьет тревогу, а его величество король повелел укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты*. Дон Кихот же на это сказал:

— Укрепив заблаговременно свои владения, дабы неприятель не застигнул его врасплох, его величество поступил как предусмотрительнейший воин. Однако ж, обратись его величество за советом ко мне, я бы ему посоветовал принять такие меры предосторожности, о которых он ныне, верно, и не подозревает.

Цирюльник спросил Дон Кихота, какие именно меры предосторожности он почитает за нужное принять.

— Ах ты господи! — вскричал тут Дон Кихот.— Да что стоит его величеству приказать через глашатаев, чтобы все странствующие рыцари, какие только скитаются по Испании, в назначенный день собрались в столице? Хотя бы даже их явилось не более полдюжины, среди них может оказаться такой, который один сокрушит всю султанову мощь. Слушайте меня со вниманием, ваши милости, и следите за моею мыслью. Неужели это для вас новость, что один-единственный странствующий рыцарь способен перерезать войско в двести тысяч человек, как если бы у всех у них было одно горло или же если б они были сделаны из марципана? Нет, правда, скажите: не на каждой ли странице любого романа встречаются подобные чудеса? Даю голову на отсечение, свою собственную, а не чью-нибудь чужую, что живи ныне славный дон Бельянис или же кто-либо из многочисленного потомства Амадиса Галльского, словом, если б кто-нибудь из них дожил до наших дней и переведался с султаном,— скажу по чести, не хотел бы я быть в шкуре султановой! Впрочем, господь не оставит свой народ и пошлет ему кого-нибудь, если и не столь грозного, как прежние странствующие рыцари, то уж, во всяком случае, не уступающего им в твердости духа. Засим господь меня разумеет, а я умолкаю.

— Ах! — воскликнула тут племянница.— Убейте меня, если мой дядюшка не задумал снова сделаться странствующим рыцарем!

Дон Кихот же ей на это сказал:

— Странствующим рыцарем я и умру, а султан турецкий волен, когда ему вздумается, выходить и приходить с каким угодно огромным флотом. Повторяю: господь меня разумеет.

Тут вмешался цирюльник:

— Будьте добры, ваши милости, дозвольте мне рассказать одну небольшую историйку, которая произошла в Севилье. Она будет сейчас как раз к месту, и потому мне не терпится ее рассказать.

Дон Кихот изъявил согласие, священник и все остальные приготовились слушать, и цирюльник начал так:

— В севильском сумасшедшем доме находился один ученый человек, которого туда посадили родственники, оттого что он лишился рассудка. Проведя несколько лет в затворе, ученый вообразил, что он опамятовался и находится в совершенном уме, и потому написал архиепископу письмо, в каковом письме, вполне здраво рассуждая, убедительно просил архиепископа помочь ему выйти из того бедственного положения, в коем он пребывает, ибо по милости божией он, дескать, уже пришел в себя; однако родственники, чтобы воспользоваться его долей

наследства, держат его, мол, здесь и, вопреки истине, желают, чтобы он до конца дней своих оставался умалишенным. Архиепископ, убежденный многочисленными его посланиями, свидетельствовавшими о рассудительности его и благоразумии, в конце концов послал капеллана* узнать у смотрителя дома умалишенных, правда ли то, что пишет больной, а также поговорить с самим сумасшедшим, и если, мол, он увидит, что тот пришел в разум, то пусть-де вызволит его оттуда и выпустит на свободу. Капеллан так и сделал, и смотритель ему сказал, что больной по-прежнему не в себе и что хотя он часто рассуждает как человек большого ума, однако ж потом начинает говорить несуразности, и они у него столь же часты и столь же необычайны, как и его разумные мысли, в чем можно-де удостовериться на опыте, стоит только с ним побеседовать. Капеллан пожелал произвести этот опыт и, запершись с сумасшедшим, проговорил с ним более часа, и за все это время помешанный не сказал ничего несообразного или же нелепого, напротив того, он выказал такую рассудительность, что капеллан принужден был поверить, что больной поправился; между прочим, сумасшедший объявил, что смотритель на него клевещет, ибо не желает лишаться взяток, которые ему дают родственники больного: якобы за взятки смотритель, мол, и продолжает уверять, что больной все еще не в своем уме, хотя по временам, дескать, и наступает просветление; главная же его, больного, беда — это, мол, его богатство, ибо недруги его, чтобы таковым воспользоваться, пускаются на всяческие подвохи и выражают сомнение в той милости, какую явил ему господь, снова превратив его из животного в существо разумное. Коротко говоря, смотрителя он выставил человеком, доверия не внушающим, родственников — своекорыстными и бессовестными, а себя самого — столь благоразумным, что капеллан в конце концов решился взять его с собой, чтобы архиепископ мог во всем убедиться воочию. Поверив больному на слово, добрый капеллан попросил смотрителя выдать ему платье, в котором он сюда прибыл; смотритель еще раз посоветовал капеллану хорошенько подумать, ибо тот, вне всякого сомнения, все еще, дескать, поврежден в уме. Однако ж, несмотря на все предостережения и увещания смотрителя, капеллан остался непреклонен в своем желании увезти больного с собой; смотритель повиновался, тем более что распоряжение исходило от архиепископа*; на больного надели его собственное платье, новое и приличное, и когда тот увидел, что он одет, как человек здоровый, а больничный халат с него сняли, то попросил капеллана в виде особого одолжения позволить ему попрощаться со своими товарищами сумасшедшими. Капеллан сказал, что ему тоже хочется

пойти посмотреть на сумасшедших. Словом, они отправились, а вместе с ними и еще кое-кто; и как скоро выздоровевший приблизился к клетке, где сидел буйный помешанный, который, впрочем, был тогда тих и спокоен, то обратился к нему с такими словами:

«Скажите, приятель, не нужно ли вам чего-либо? Ведь я ухожу домой — господу богу, по бесконечному его милосердию и человеколюбию, угодно было возвратить мне, недостойному, разум: теперь я снова в здравом уме и твердой памяти, ибо для всемогущества божия нет ничего невозможного. Надейтесь крепко и уповайте на господа: коли он меня вернул в прежнее состояние, то вернет и вас, только положитесь на него. Я постараюсь послать вам чего-нибудь вкусного, а вы смотрите непременно скушайте: смею вас уверить, как человек, испытавший это на себе, что все наши безумства проистекают от пустоты в желудке и от воздуха в голове. Мужайтесь же, мужайтесь: кто падает духом в несчастии, тот вредит своему здоровью и ускоряет свой конец».

Все эти речи слышал другой сумасшедший, сидевший в другой клетке, напротив буйного; поднявшись с ветхой циновки, на которой он лежал нагишом, этот второй сумасшедший громко спросил, кто это возвращается домой в здравом уме и твердой памяти. Выздоровевший ему ответил так:

«Это я ухожу, приятель, мне больше незачем здесь оставаться, за что я и воссылаю бесконечные благодарения небу, оказавшему мне столь великую милость».

«Полноте, как бы над вами лукавый не подшутил,— сказал сумасшедший,— торопиться вам некуда, сидите себе смирнехонько на месте, все равно потом придется возвращаться назад».

«Я уверен, что я здоров,— настаивал тот,— мне незачем возвращаться сюда и сызнова претерпевать все мытарства».

«Это вы-то здоровы? — сказал сумасшедший.— Ну что ж, поживем — увидим, ступайте себе с богом, но клянусь вам Юпитером, коего величие олицетворяет на земле моя особа, что за один этот грех, который ныне совершает Севилья, выпуская вас из этого дома и признавая вас за здорового, я ее так покараю, что память о том пребудет во веки веков, аминь. Я — Юпитер Громовержец, который держит в руках всеопаляющие молнии, коими я могу и имею обыкновение грозить миру и разрушать его. Но сей невежественный град я накажу иначе: клянусь три года подряд, считая с того дня и часа, когда я произношу эту угрозу, не дождить не только самый город, но и округу его и окрестность. Как, ты на свободе, ты в здравом уме, ты в твердой памяти, а я сумасшедший,

я невменяемый, я под замком?.. Да я скорей удавлюсь, нежели пошлю дождь!»

Присутствовавшие все еще слушали выкрики и речи помешанного, как вдруг выпускаемый на свободу, обратившись к капеллану и схватив его за руки, молвил:

«Не огорчайтесь, государь мой, и не придавайте значения словам этого сумасшедшего, ибо если он — Юпитер и он не станет кропить вас дождем, то я — Нептун, отец и бог вод, и я буду кропить вас сколько потребуется и когда мне вздумается».

Капеллан же ему на это сказал:

«Со всем тем, господин Нептун, не должно гневить господина Юпитера: оставайтесь-ка вы здесь, а уж мы как-нибудь в другой раз, когда нам будет сподручнее и посвободнее, придем за вашею милостью».

Смотритель и все присутствовавшие фыркнули, но капеллан на них рассердился; больного раздели, и остался он в доме умалишенных, и на этом история оканчивается.

— Это и есть та самая история, сеньор цирюльник, которая так будто бы подходила к случаю, что вы не могли ее не рассказать?— спросил Дон Кихот.— Ах, сеньор брадобрей, сеньор брадобрей, до чего же люди иной раз бывают неловки! Неужели ваша милость не знает, что сравнение одного ума с другим, одной доблести с другою, одной красоты с другою и одного знатного рода с другим всегда неприятно и вызывает неудовольствие? Я, сеньор цирюльник, не Нептун и не бог вод и, не будучи умен, за умника себя и не выдаю. Единственно, чего я добиваюсь,— это объяснить людям, в какую ошибку впадают они, не возрождая блаженнейших тех времен, когда подвизалось странствующее рыцарство. Однако же наш развращенный век недостоин наслаждаться столь великим счастьем, каким наслаждались в те века, когда странствующие рыцари вменяли себе в обязанность и брали на себя оборону королевств, помощь сирым и малолетним, наказание гордецов и награждение смиренных. Большинство рыцарей, подвизающихся ныне, предпочитают шуршать шелками, парчою и прочими дорогими тканями, нежели звенеть кольчугою. Теперь уж нет таких рыцарей, которые согласились бы в любую погоду, вооруженные с головы до ног, ночевать под открытым небом, и никто уже по примеру странствующих рыцарей не клюет, как говорится, носом, опершись на копье и не слезая с коня. Найдите мне хотя одного такого рыцаря, который, выйдя из лесу, взобравшись потом на гору, а затем спустившись на пустынный и нелюдимый берег моря, вечно бурного и неспокойного, и видя, что к берегу прибило утлый челн без весел, ветрила, мачты и снастей, бесстрашно ринулся бы туда и отдался на волю неумолимых

зыбей бездонного моря, а волны то вознесут его к небу, то низвергнут в пучину, рыцарь же грудь свою подставляет неукротимой буре; и не успевает он оглянуться, как уже оказывается более чем за три тысячи миль от того места, откуда отчалил, и вот он ступает на неведомую и чужедальнюю землю, и тут с ним происходят случаи, достойные быть начертанными не только на пергаменте, но и на меди. Между тем в наше время леность торжествует над рвением, праздность — над трудолюбием, порок — над добродетелью, наглость — над храбростью и мудрствования — над военным искусством, которое безраздельно царило и процветало в золотом веке и в век странствующих рыцарей. Нет, правда, скажите: кто целомудреннее и отважнее славного Амадиса Галльского? Кто благоразумнее Пальмерина Английского? Кто сговорчивее и уживчивее Тиранта Белого? Кто обходительнее Лисуарта Греческого?* Кто получал и наносил больше ударов, чем дон Бельянис? Кто неустрашимее Периона Галльского, кто выдержал больше испытаний, чем Фелисмарт Гирканский, и кто прямодушнее Эспландиана? Кто удалее дона Сиронхила Фракийского? Кто смелее Родамонта?* Кто предусмотрительнее короля Собрина?* Кто дерзновенней Ринальда? Кто непобедимей Роланда? Все эти рыцари, а также многие другие, которых я мог бы назвать, были рыцарями странствующими, красою и гордостью рыцарства. Вот таких-то и подобных им рыцарей я и имел в виду: они не за страх, а за совесть послужили бы его величеству, султану же пришлось бы рвать на себе волосы. Ну, а мне, видно, придется остаться дома, коль скоро капеллан меня с собой не берет. Если же Юпитер, как нам сказал цирюльник, не пошлет дождя, так я сам буду его посылать, когда мне заблагорассудится. Говорю я это, чтобы сеньор Таз-для-бритья знал, что я его понял.

— Право, сеньор Дон Кихот, у меня было совсем другое на уме,— возразил цирюльник,— намерения у меня были добрые, истинный бог, так что ваша милость напрасно сердится.

— Напрасно или не напрасно — это уж дело мое,— отрезал Дон Кихот.

Но тут вмешался священник:

— До сих пор я не сказал и двух слов, но мне все же хотелось бы разрешить одно сомнение, которое гложет и точит мне душу, а возникло оно в связи с тем, что нам только что поведал сеньор Дон Кихот.

— За чем же дело стало? — молвил Дон Кихот.— Пожалуйста, сеньор священник, поделитесь своим сомнением — нехорошо, когда на душе что-то есть.

— Так вот, с вашего дозволения,— начал священник,—

сомнение мое заключается в следующем: я никак не могу допустить, чтобы вся эта уйма странствующих рыцарей, коих вы, сеньор Дон Кихот, перечислили, чтобы все они воистину и вправду существовали на свете, как живые люди,— напротив того, я полагаю, что все это выдумки, басни и небылицы, что все это сновидения, о которых люди рассказывают пробудившись или, вернее сказать, в полусне.

— Вот еще одно заблуждение, в которое впадали многие, не верившие, что на свете существовали подобные рыцари,— возразил Дон Кихот,— я же многократно, в беседе с разными людьми и в различных обстоятельствах, старался разъяснить эту почти всеобщую ошибку, причем иногда мне это не удавалось, а иногда, навесивши ее на древко истины, я цели своей достигал. Между тем истина сия непреложна, и я готов утверждать, что видел Амадиса Галльского собственными глазами и что он был высок ростом, лицом бел, с красивою черною бородою, с полуласковым-полусуровым взглядом, скуп на слова, гневался не вдруг и легко остывал. И так же точно, как я обрисовал Амадиса, я мог бы, думается мне, изобразить и описать всех выведенных в романах странствующих рыцарей, какие когда-либо в подлунном мире странствовали, ибо, приняв в соображение, что они были именно такими, как о них пишут в романах, зная их нрав и подвиги, всегда можно с помощью правильных умозаключений определить их черты, цвет лица и рост.

— Сеньор Дон Кихот! А как высок был, по-вашему, великан Моргант? — спросил цирюльник.

— Касательно великанов существуют разные мнения,— отвечал Дон Кихот,— кто говорит, что они были, кто говорит, что нет, однако ж в Священном писании, где все до последнего слова — совершенная правда, имеется указание на то, что они были, ибо Священное писание рассказывает нам историю этого здоровенного филистимлянина Голиафа*, который был семи с половиною локтей росту, то есть величины непомерной. Затем, на острове Сицилии были найдены берцовые и плечевые кости, и по размерам их видно, что они принадлежали великанам ростом с высокую башню. Однако ж, со всем тем, я не могу сказать с уверенностью, какой величины достигал Моргант, хотя думаю, что вряд ли он был уж очень высок; пришел же я к этому заключению, прочитав одну книгу, подвигам его посвященную, в коей особо подчеркивается то обстоятельство, что он часто ночевал под кровлею, а если уж находились такие дома, где он мог поместиться, значит, величина его была не непомерна.

— Вот оно что! — молвил священник.

Ему доставляла удовольствие великая эта нелепица, и потому он спросил, как представляет себе Дон Кихот наружность Ринальда Монтальванского, Роланда и прочих пэров Франции, ибо все они были странствующими рыцарями.

— Осмеливаюсь утверждать, — отвечал Дон Кихот,— что Ринальд был широколиц, румян, с бегающими глазами немного навыкате, самолюбив и вспыльчив донельзя, водился с разбойниками и темными людьми. Что же касается Роланда, то я полагаю и утверждаю, что росту он был среднего, широк в плечах, слегка кривоног, смугл лицом, рыжебород, телом волосат, со взглядом грозным, скуп на слова, однако ж весьма учтив и благовоспитан.

Тут во дворе раздались громкие крики ключницы и племянницы, которые еще раньше вышли из комнаты, и все выбежали на шум.

ГЛАВА II,

повествующая о достопримечательном пререкании Санчо Пансы с племянницею и ключницею Донкихотовыми, равно как и о других забавных вещах

Итак, Дон Кихот, священник и цирюльник услыхали голоса ключницы и племянницы, кричавших на Санчо Пансу; Санчо добивался, чтобы его пустили к Дон Кихоту, а они ему преграждали вход.

— Что этому бродяге здесь нужно? Проваливай-ка, братец, подобру-поздорову: ведь это ты, а не кто другой, совращаешь и сманиваешь моего господина и таскаешь его по всяким дебрям.

Санчо же на это ответил так:

— Чертова ключница! Сманивали, совращали и таскали по всяким дебрям меня, а не вашего господина: это он потащил меня мыкаться по белу свету — так что вы обе попали пальцем в небо,— это он хитростью выманил меня из дому, пообещав остров, которого я до сих пор дожидаюсь.

— Чтоб тебе провалиться с мерзостным твоим островом, проклятый Санчо! — вмешалась племянница.— И что это еще за острова? Что, ты их есть будешь, лакомка, обжора ты этакий?

— Да не есть, а ведать ими и править,— возразил Санчо,— и еще получше, нежели десять городских советов и десять столичных алькальдов*.

— А все-таки ты, вместилище пороков и гнездилище лукавства, сюда не войдешь,— объявила ключница.— Иди управляй

своим домом, паши свой клочок земли и забудь про все острова и чертострова́ на свете.

Священника и цирюльника немало потешило это словопрение, однако ж Дон Кихот, боясь, как бы Санчо не наболтал и не намолол всякой зловредной ерунды и не коснулся чего-нибудь такого, что могло бы бросить тень на его, Дон Кихота, доброе имя, позвал его и велел женщинам замолчать и впустить посетителя. Санчо вошел, а священник и цирюльник попрощались с Дон Кихотом, на выздоровление коего они теперь утратили всякую надежду: так упорствовал он в странных своих суждениях о злосчастном этом странствующем рыцарстве и так простодушно был погружен в свои о нем размышления, а потому священник сказал цирюльнику:

— Вот увидите, любезный друг: в один прекрасный день приятель наш снова даст тягу.

— Не сомневаюсь,— отозвался цирюльник,— однако ж меня не столько удивляет помешательство рыцаря, сколько простодушие оруженосца: он так уверовал в свой остров, что никакие разочарования, думается мне, не выбьют у него этого из головы.

— Да поможет им бог,— сказал священник,— а мы будем на страже: посмотрим, к чему приведет вся эта цепь сумасбродств как рыцаря, так и оруженосца,— право, их обоих словно отлили в одной и той же форме, и безумства господина без глупостей слуги не стоили бы ломаного гроша.

— Ваша правда,— заметил цирюльник,— любопытно было бы знать, о чем они сейчас толкуют.

— Я уверен,— сказал священник,— что племянница или же ключница нам потом расскажут: ведь у них такой обычай — все подслушивать.

Между тем Дон Кихот заперся с Санчо у себя в комнате и, оставшись с ним вдвоем, заговорил:

— Меня весьма огорчает, Санчо, что ты утверждал и утверждаешь, будто я заставил тебя покинуть насиженное местечко, но ведь ты же знаешь, что и я не оставался на месте: отправились мы вдвоем, вдвоем поехали, вдвоем и странствовали, и та же участь и та же судьба постигли нас обоих: если тебя один раз подбрасывали на одеяле, то меня сто раз колотили, вот и все мое перед тобой преимущество.

— Да ведь это в порядке вещей,— возразил Санчо,— сами же вы, ваша милость, говорите, что злоключения — это скорей по части странствующих рыцарей, нежели оруженосцев.

— Ты ошибаешься,— заметил Дон Кихот.— Когда болит голова, то болит и все тело, а так как я — твой господин и сеньор, то я — голова, ты же — часть моего тела, коль скоро ты мой

слуга, потому-то, если беда стряслась со мною, то она отзывается на тебе, а на мне твоя.

— Так-то оно так,— сказал Санчо,— однако ж когда меня, часть вашего тела, подбрасывали на одеяле, то голова моя пребывала за забором, смотрела, как я взлетаю на воздух, и не чувствовала при этом ни малейшей боли, а если тело обязано болеть вместе с головою, то и голова обязана болеть вместе с телом.

— Ты хочешь сказать, Санчо, что мне не было больно, когда тебя подбрасывали на одеяле? — спросил Дон Кихот.— Так вот, если ты это хочешь сказать, то не говори так и не думай, ибо душа моя болела тогда сильнее, нежели твое тело. Однако ж оставим до времени этот разговор, потом мы все это еще обсудим и взвесим. А теперь скажи, друг Санчо, что говорят обо мне в нашем селе? Какого мнения обо мне простонародье, идальго и кавальеро? Что говорят о моей храбрости, о моих подвигах и о моей учтивости? Какие ходят слухи о моем начинании — возродить и вновь учредить во всем мире давно забытый рыцарский орден? Словом, я желаю, чтобы ты поведал мне, Санчо, все, что на сей предмет дошло до твоего слуха. И ты должен мне это поведать без утайки и без прикрас, ибо верным вассалам надлежит говорить сеньорам своим всю как есть правду, не приукрашивая ее ласкательством и не смягчая ее из ложной почтительности. И тебе надобно знать, Санчо, что когда бы до слуха государей доходила голая правда, не облаченная в одежды лести, то настали бы другие времена, и протекшие века по сравнению с нашим стали бы казаться железными, тогда как наш, должно думать, показался бы золотым. Пусть же эти мои слова будут тебе назиданием, Санчо, дабы ты добросовестно и толково доложил мне всю правду о том, что меня, как тебе известно, занимает.

— Я это сделаю весьма охотно, государь мой,— сказал Санчо,— с условием, однако ж, что ваша милость на мои слова не разгневается, коли желает, чтобы я выставил всю правду нагишом, не облекая ее ни во что, кроме того одеяния, в коем она дошла до меня.

— И не подумаю даже гневаться,— сказал Дон Кихот.— Можешь, Санчо, говорить свободно и без околичностей.

— Ну так, во-первых, я вам скажу,— начал Санчо,— что народ почитает вашу милость за самого настоящего сумасшедшего, а я, мол, тоже с придурью. Идальго говорят, что звания идальго вашей милости показалось мало и вы приставили к своему имени *дон* и, хотя у вас всего две-три виноградные лозы, а землицы — волу развернуться негде, произвели себя в кавальеро. Кавальеро говорят, что они не любят, когда с ними тя-

гаются идальго, особливо такие, которым пристало разве что в конюхах ходить и которые обувь чистят сажей, а черные чулки штопают зеленым шелком.

— Это ко мне не относится,— сказал Дон Кихот,— одет я всегда прилично, чиненого не ношу.

— Касательно же храбрости, учтивости, подвигов и начинаний вашей милости,— продолжал Санчо,— то на сей предмет существуют разные мнения. Одни говорят: «Сумасшедший, но забавный», другие: «Смельчак, но неудачник», третьи: «Учтивый, но блажной», и уж как примутся пересуживать, так и вашей милости и мне все косточки перемоют.

— Прими вот что в соображение, Санчо,— заговорил Дон Кихот,— стоит только добродетели достигнуть степеней высоких, как ее уже начинают преследовать. Никто или почти никто из славных мужей прошлого не избежал низкой клеветы. Юлия Цезаря, неустрашимейшего, предусмотрительнейшего и отважнейшего полководца, упрекали в тщеславии и нечистоплотности. Об Александре, подвигами своими стяжавшем себе название «Великого», говорят, будто бы он запивал. Про Геркулеса, несшего столь великие труды, рассказывают, будто бы он был неженкою. Про дона Галаора, брата Амадиса Галльского, ходят слухи, будто бы он чересчур был сварлив, а что его брат — будто бы плакса. А потому, Санчо, среди стольких сплетен о людях выдающихся сплетни обо мне пройдут незаметно, если только ты чего-нибудь не утаил.

— В том-то вся и загвоздка, не видать отцу моему царствия небесного! — воскликнул Санчо.

— Значит, это еще не все? — спросил Дон Кихот.

— Ягодка еще впереди,— отвечал Санчо,— а пока что это были всего только цветочки. Если же милости вашей угодно знать клеветы, про вас распространяемые, то я мигом приведу одного человека, и он вам их выложит все до единой, вот чего не упустит: ведь вчера вечером приехал сын Бартоломе Карраско, тот, что учился в Саламанке* и стал бакалавром, и я пошел поздравить его с приездом, а он мне сказал, будто вышла в свет история вашей милости под названием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский*, и еще он сказал, будто меня там вывели под моим собственным именем — Санчо Пансы, и сеньору Дульсинею Тобосскую тоже, и будто там есть все, что происходило между нами двумя, так что я от ужаса начал креститься — откуда, думаю, все это сделалось известно сочинителю?

— Уверяю тебя, Санчо,— сказал Дон Кихот,— что наш летописец — это, уж верно, какой-нибудь мудрый кудесник: от таких, о чем бы они ни пожелали писать, ничто не укроется.

— Так вот,— сказал Санчо,— коли вашей милости жела-

тельно, чтобы я привел сюда бакалавра, то я за ним живо слетаю.

— Я буду тебе очень признателен, друг мой,— сказал Дон Кихот.— Ты мне загадал загадку,— я не стану ни пить, ни есть, покуда всего не разведаю.

— Ну так я за ним схожу,— повторил Санчо.

И, оставив своего господина, он пошел к бакалавру и малое время спустя вместе с ним возвратился, и тут между ними тремя презабавное началось собеседование.

ГЛАВА III

Об уморительном разговоре, происходившем между Дон Кихотом, Санчо Пансою и бакалавром Самсоном Карраско

Бакалавр хотя и звался Самсоном, однако ж росту был небольшого, зато был пребольшущий хитрец; цвет лица у него был безжизненный, зато умом он отличался весьма живым; сей двадцатичетырехлетний молодой человек был круглолиц, курнос, большерот, что́ выдавало насмешливый нрав и склонность к забавам и шуткам, каковые свойства он и выказал, едва увидевши Дон Кихота, ибо тот же час опустился перед ним на колени и сказал:

— Ваше величие, сеньор Дон Кихот Ламанчский! Пожалуйте мне ваши руки, ибо ваша милость — один из наиславнейших странствующих рыцарей, какие когда-либо появлялись или еще появятся на земной поверхности, и да будет благословен тот, кто написал историю великих ваших деяний!

Дон Кихот попросил его встать и сказал:

— Итак, моя история и правда написана?

— Сущая правда, сеньор,— отвечал Самсон,— и я даже ручаюсь, что в настоящее время она отпечатана в количестве более двенадцати тысяч книг*. Коли не верите, запросите Португалию, Барселону и Валенсию, где она печаталась, и еще ходят слухи, будто бы ее сейчас печатают в Антверпене; мне сдается, что скоро не останется такого народа, который не прочел бы ее на своем родном языке.

— Ничто не может доставить человеку добродетельному и выдающемуся такого полного удовлетворения,— сказал на это Дон Кихот,— как сознание, что благодаря печатному слову добрая о нем молва еще при его жизни звучит на языках разных народов. Я говорю: добрая молва, ибо если наоборот, то с этим никакая смерть не сравнится.

— Что касается доброй славы и доброго имени,— подхватил бакалавр,— то ваша милость превосходит всех странствующих рыцарей, ибо сочинитель постарался в самых картинных выражениях описать молодцеватость вашей милости, великое мужество ваше в минуту опасности, стойкость в бедствиях, терпение в пору невзгод, а также при ранениях и, наконец, чистоту увлечения вашей милости сеньорою доньей Дульсинеей Тобосской.

— Я никогда не слыхал, чтобы сеньору Дульсинею звали *донья*,— вмешался тут Санчо,— ее зовут просто *сеньора Дульсинея Тобосская*, так что в этом сочинитель ошибается.

— Твое возражение несущественно,— заметил Карраско.

— Разумеется, что нет,— отозвался Дон Кихот,— однако ж скажите мне, сеньор бакалавр: какие из подвигов моих наипаче прославляются в этой истории?

— На сей предмет,— отвечал бакалавр,— существуют разные мнения, ибо разные у людей вкусы: одни питают пристрастие к приключению с ветряными мельницами, которые ваша милость приняла за великанов, другие — к приключению с суконвальнями, кто — к описанию двух ратей, которые потом оказались стадами баранов, иной восторгается приключением с мертвым телом, которое везли хоронить в Сеговию; один говорит, что лучше нет приключения с освобождением каторжников, другой — что надо всем возвышаются приключение с двумя великанами-бенедиктинцами и схватка с доблестным бискайцем. Мудрец ничего не оставил на дне чернильницы, он всего коснулся и обо всем рассказал, даже о том, как добрый Санчо кувыркался на одеяле.

— Ни на каком одеяле я не кувыркался,— возразил Санчо,— в воздухе, правда, кувыркался, и даже слишком, я бы сказал, долго.

— По моему разумению,— заговорил Дон Кихот,— во всякой светской истории долженствуют быть свои превратности, особливо в такой, в которой речь идет о рыцарских подвигах,— не может же она описывать одни только удачи.

— Как бы то ни было,— сказал бакалавр,— некоторые читатели говорят, что им больше понравилось бы, когда бы сочинитель сократил бесконечное количество ударов, которые во время разных стычек сыпались на сеньора Дон Кихота.

— История должна быть правдивой,— заметил Санчо.

— И все же можно было бы умолчать об этом из чувства справедливости,— возразил Дон Кихот,— не к чему описывать происшествия, которые хотя и не нарушают и не искажают правды исторической, однако ж могут унизить героя. Сказать по совести, Эней не был столь благочестивым, как его изобразил

Вергилий, а Одиссей столь хитроумным, как его представил Гомер.

— Так,— согласился Самсон,— но одно дело — поэт, а другое — историк: поэт, повествуя о событиях или же воспевая их, волен изображать их не такими, каковы они были в действительности, а такими, какими они долженствовали быть, историку же надлежит описывать их не такими, какими они долженствовали быть, но такими, каковы они были в действительности, ничего при этом не опуская и не присочиняя.

— Коли уж сочинитель выложил всю правду,— заметил Санчо,— стало быть, среди ударов, которые получал мой господин, наверняка значатся и те, что получал я, потому не было еще такого случая, чтобы, снимая мерку со спины моего господина, не сняли заодно и со всего моего тела. Впрочем, тут нет ничего удивительного: мой господин сам же говорит, что головная боль отдается во всех членах.

— Ну и плут же вы, Санчо! — молвил Дон Кихот.— На что, на что, а на то, что вам выгодно, у вас, право, недурная память.

— Да если б я и хотел позабыть про дубинки, которые по мне прошлись,— возразил Санчо,— так все равно не мог бы из-за синяков: ведь до ребер-то у меня до сих пор не дотронешься.

— Помолчи, Санчо,— сказал Дон Кихот,— не прерывай сеньора бакалавра, я же, со своей стороны, прошу его продолжать и рассказать все, что в упомянутой истории обо мне говорится.

— И обо мне,— ввернул Санчо,— ведь, говорят, я один из ее главных пресонажей.

— *Персонажей*, а не *пресонажей*, друг Санчо,— поправил Самсон.

— Еще один строгий учитель нашелся! — сказал Санчо.— Если мы будем за каждое слово цепляться, то ни в жизнь не кончим.

— Пусть моя жизнь будет несчастной, если ты, Санчо, не являешься в этой истории вторым лицом,— объявил бакалавр,— и находятся даже такие читатели, которым ты доставляешь больше удовольствия своими речами, нежели самое значительное лицо во всей этой истории, хотя, впрочем, некоторые говорят, что ты обнаружил излишнюю доверчивость, поверив в возможность стать губернатором на острове, который был тебе обещан присутствующим здесь сеньором Дон Кихотом.

— Время еще терпит,— заметил Дон Кихот,— и чем более будет Санчо входить в возраст, чем более с годами у него накопится опыта, тем более способным и искусным окажется он губернатором.

— Ей-богу, сеньор,— сказал Санчо,— не губернаторствовал я на острове в том возрасте, в коем нахожусь ныне, и не губернаторствовать мне там и в возрасте Мафусаиловом. Не то беда, что у меня недостает сметки, чтобы управлять им, а то, что самый этот остров неведомо куда запропастился.

— Положись на бога, Санчо,— молвил Дон Кихот,— и все будет хорошо и, может быть, даже еще лучше, чем ты ожидаешь, ибо без воли божией и лист на дереве не шелохнется.

— Совершенная правда,— заметил Самсон,— если бог захочет, то к услугам Санчо будет не то что один, а целая тысяча островов.

— Навидался я этих самых губернаторов,— сказал Санчо,— по-моему, они мне в подметки не годятся, а все-таки их величают *ваше превосходительство* и кушают они на серебре.

— Это не губернаторы островов,— возразил Самсон,— у них другие области, попроще,— губернаторы островов должны знать, по крайности, арифметику.

— С *орехами*-то я в ладах,— сказал Санчо,— а вот что такое *метика* — тут уж я ни в зуб толкнуть, не понимаю, что это может значить. Предадим, однако ж, судьбы островов в руци божии, и да пошлет меня господь бог туда, где я больше всего могу пригодиться, я же вам вот что скажу, сеньор бакалавр Самсон Карраско: я страх как доволен, что автор этой истории, рассказывая про мои похождения, не говорит обо мне никаких неприятных вещей, потому, честное слово оруженосца, расскажи он обо мне что-нибудь такое, что не пристало столь почтенному человеку, каков я, то мой голос услышали бы и глухие.

— Это было бы чудо,— заметил Самсон.

— Чудо не чудо,— отрезал Санчо,— а только каждый должен думать, что он говорит или же что пишет о *пресонах*, а не ляпать без разбора все, что взбредет на ум.

— Одним из недостатков этой истории,— продолжал бакалавр,— считается то, что автор забыл упомянуть, что́ сделал Санчо на ту сотню эскудо, которую он нашел в чемодане в Сьерре Морене: автор об этом умалчивает, а между тем многим хотелось бы знать, что́ Санчо на них сделал и как он ими распорядился,— вот этой существенной подробности в книге и недостает.

Санчо на это ответил так:

— Мне, сеньор Самсон, сейчас не до счетов и не до отчетов — у меня такая слабость в желудке, что ежели я не глотну для бодрости крепкого вина, то высохну, как щепка. Дома у меня есть вино, моя дражайшая половина меня поджидает, я только поем, а потом вернусь и удовлетворю вашу милость и всякого,

кто только ни пожелает меня спросить, на что я израсходовал сто эскудо.

И, не дожидаясь ответа и ни слова более не сказав, Санчо ушел домой.

Дон Кихот стал просить и уговаривать бакалавра остаться и закусить с ним чем бог послал. Бакалавр принял приглашение и остался. В виде добавочного блюда была подана пара голубей; за столом говорили о рыцарстве; Карраско поддакивал хозяину; пиршество кончилось, все легли соснуть, Санчо возвратился, и прерванная беседа возобновилась.

ГЛАВА IV,

в коей Санчо Панса разрешает недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также происходят события, о которых стоит узнать и рассказать

Санчо возвратился к Дон Кихоту и, возвращаясь к прерванному разговору, сказал:

— Сеньор Самсон говорит, что ему любопытно знать, что же сталось с сотней эскудо. Я истратил их на себя лично, на жену и на детей, и только благодаря им я и не получил от жены нагоняя за то, что, находясь на службе у моего господина Дон Кихота, изъездил все пути-дорожки, а то, если б я через столько времени заявился домой с пустыми руками, меня бы ожидала незавидная участь. Если же вы еще что-либо желаете знать обо мне, то я к вашим услугам, готов ответ держать хоть перед самим королем, перед собственной его *пресоной*, да и никого это не касается — привез я денег или не привез, истратил или не истратил, потому ежели бы за все колотушки, которые мне надавали за время моего путешествия, рассчитывались деньгами, хотя бы по четыре мараведи за каждую, так не то что ста, а и двухсот эскудо не хватило бы, чтобы расплатиться только за половину, и пусть каждый спросит сначала свою совесть, а потом уже белое называет черным, а черное — белым: ведь все мы таковы, какими нас господь бог сотворил, а бывает, что и того хуже.

— А не собирается ли, чего доброго, автор издать вторую часть? — спросил Дон Кихот.

— Как же, собирается,— отвечал Самсон,— но только некоторые говорят: «Вторая часть никогда не бывает удачной», а другие: «О Дон Кихоте написано уже довольно», так что это еще под сомнением, выйдет ли вторая часть. Впрочем, люди не угрюмые, а жизнерадостные просят: «Давайте нам еще Донкихо-

товых похождений, пусть Дон Кихот воинствует, а Санчо Панса болтает, рассказывайте о чем угодно — мы всем будем довольны». К тому же автор не столько за похвалами гонится, сколько за прибылью.

На это Санчо ему сказал:

— Так, стало быть, автор жаден до денег, до прибыли? Ну, тогда это просто чудо будет, коли он напишет удачно: ведь ему придется метать на живую нитку, как все равно портняжке перед самой Пасхой,— произведения же, написанные наспех, никогда не достигают должного совершенства. Нет, пусть-ка этот самый автор постарается, а уж мы с моим господином насчет приключений и разных происшествий не поскупимся, так что он не только вторую, а и целых сто частей написать сумеет. Он-то, сердечный, поди, думает про нас: дескать, как сыр в масле катаются, а поглядел бы, как мы тут благоденствуем,— пожалуй, от такого благоденства ножки протянешь. А пока вот что я скажу: послушайся меня мой господин, мы бы уж давно были в чистом поле, искореняли бы зло и выпрямляли кривду, как это принято и как это водится у добрых странствующих рыцарей.

Не успел Санчо вымолвить это, как их слуха достигло ржание Росинанта, каковое ржание Дон Кихот почел за весьма добрый знак и порешил дня через три, через четыре снова отправиться в поход. Он взял с бакалавра слово держать это в тайне от всех, в частности от священника и маэсе Николаса, а равно и от племянницы и ключницы, дабы они не воспрепятствовали благородному и смелому его начинанию. Карраско пообещал. Засим, прощаясь с Дон Кихотом, он обратился к нему с просьбой при случае уведомлять его обо всех удачах и неудачах; и тут они расстались, а Санчо пошел готовиться к отъезду.

ГЛАВА V

Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем

Санчо возвратился домой ликующий и веселый, настолько, что жена, учуяв это веселье на расстоянии арбалетного выстрела, спросила:

— Что с тобой, друг Санчо, отчего ты такой веселый?

А Санчо ей на это ответил:

— Была б на то господня воля, женушка, я бы гораздо охотнее так не радовался.

— Я тебя не понимаю, муженек,— сказала жена,— не возьму в толк, что ты хочешь этим сказать: была бы, мол, на то господня воля, ты бы гораздо охотнее не радовался,— я хотя женщина темная, а все-таки не могу себе представить, как это можно быть довольным оттого, что не получаешь удовольствия.

— Слушай, Тереса,— сказал Санчо,— я весел оттого, что порешил возвратиться на службу к господину моему Дон Кихоту, который намерен в третий раз выехать на поиски приключений, и я опять поеду с ним — меня на это толкает нужда вместе с радостною надеждою: а вдруг я найду еще сто эскудо в возмещение уже истраченных, хотя, с другой стороны, меня огорчает разлука с тобой и с детьми, и вот когда бы господу было угодно, чтобы я зарабатывал на кусок хлеба без особых хлопот и у себя дома, не таскаясь по гиблым местам да по перепутьям,— а ведь богу это ничего не стоит, только бы захотеть,— веселью моему, конечно, была бы другая цена, а то ведь к нему примешивается горечь разлуки с тобой. Вот и выходит, что я был прав, когда говорил, что, была б на то господня воля, я охотнее бы не радовался.

— Послушай, Санчо,— сказала Тереса,— с тех пор как ты стал правою рукою странствующего рыцаря, ты такие петли мечешь, что тебя никто не может понять.

— Довольно и того, жена, что меня понимает господь бог, а он все на свете понимает,— возразил Санчо.— Ну ладно, оставим это. Вот что, матушка, тебе придется в течение трех дней хорошенько поухаживать за серым, дабы привести его в боевую готовность: удвой ему порцию овса, осмотри седло и прочие принадлежности — ведь мы не на свадьбу едем, нам предстоит кружить по свету, выдерживать стычки с великанами и чудовищами, слышать шип, рык, рев и вопль, и все это, однако ж, сущие пустяки по сравнению с янгуасцами.

— Да уж я вижу, муженек,— сказала Тереса,— что хлеб странствующих оруженосцев — это хлеб трудовой, и я буду бога молить, чтоб он поскорей избавил тебя от таких напастей.

— Я тебе прямо говорю, жена,— сказал Санчо,— не рассчитывай я в скором времени попасть в губернаторы острова, мне бы и жизнь стала не мила.

— Ну нет, муженечек,— возразила Тереса,— живи, живи, петушок, хоть и на языке типунок, и ты себе живи, и пусть черт унесет все губернаторства на свете: не губернатором вышел ты из чрева матери, не губернатором прожил до сего дня и не губернатором ты сойдешь, или, вернее, тебя положат в гроб, когда на то будет господня воля. Не все же на свете губернаторы —

и ничего: люди как люди, живут себе и живут. Самая лучшая приправа — это голод, и у бедняков его всегда вдоволь, оттого-то они и едят в охотку. Но только ты смотри у меня, Санчо: коли ты ненароком выскочишь в губернаторы, то не забудь про меня и про детей. Помни, что Санчико уже исполнилось пятнадцать и ему в школу пора. Еще помни, что дочка твоя, Марисанча, совсем даже не прочь выйти замуж,— мне сдается, что она думает о муже не меньше, чем ты о губернаторстве.

— Клянусь честью,— молвил Санчо,— коли господь пошлет мне что-нибудь вроде губернаторства, то я, милая женушка, выдам Марисанчу за такое высокое лицо, что ее станут величать не иначе, как *ваше сиятельство.*

— Ну нет, Санчо,— возразила Тереса,— выдай ее за ровню, это будет дело лучше, а то ежели вместо деревянных башмаков она вырядится в туфельки, вместо дешевенького платьишка — в шелковое да с фижмами и вместо *Марика, ты,* все станут называть ее *донья такая-то* и *ваше сиятельство,* так девчонка растеряется, на каждом шагу станет попадать впросак, и тут-то по пряже сейчас видно будет толстое и грубое рядно.

— Молчи, дура,— сказал Санчо,— годика два-три ей надобно будет попривыкнуть, а там барские замашки и важность придутся ей как раз впору, а не придутся — что за беда? Только бы ей стать *вашим сиятельством,* а все остальное вздор.

— Сообразуйся, Санчо, со своим собственным званием,— сказала Тереса,— не лезь в знать и затверди пословицу: «Вытри нос соседскому сыну и бери его себе в зятья». Подумаешь, какое счастье — выдать Марику за какого-нибудь графчонка или там дворянинишку, чтобы он после шпынял ее и, чуть что, обзывал деревенщиной: отец, дескать, у тебя простой мужик, а мать — пряха! Нет, друг ты мой, ни в жизнь! Для того ли я ее растила? Лучше, Санчо, привози-ка скорей деньжат, а выдать ее замуж — это мое дело: у меня на примете сын Хуана Точо, Лопе Точо, крепкий, здоровый малый, все мы его знаем, и девчонка, видать, ему приглянулась. Вот с ним-то, потому как он ей ровня, она и будет счастлива, и будут они всегда у нас перед глазами, и заживем мы одной семьей, родители и дети, зятья и внуки, в мире и в ладу, и благословение божие вечно будет со всеми нами, и не смей ты мне отдавать ее в столицу или в какой-нибудь громадный дворец: там и люди ее не поймут, и она никого не поймет.

— Ах ты дурища! — вскричал Санчо.— Ну какая тебе корысть — не давать мне просватать дочку за такого человека, чтобы внуков моих все величали *ваши сиятельства?* Вот что, Тереса, мне частенько приходилось слышать от стариков: кто не сумел воспользоваться счастьем, когда оно само в руки давалось, тот пусть, мол, не сетует, коли оно прошло мимо. Вот и нехорошо

будет, если мы теперь затворим дверь, когда оно само к нам стучится: ветер дует попутный — пускай же он нас и несет. Говори, тварь неразумная: чем же это плохо, ежели я приберу к рукам какое-нибудь выгодное губернаторство и благодаря ему мы все выйдем в люди? Дай Марисанче подцепить, кого я пожелаю, и ты увидишь, что все тебя станут звать *доньей Тересой Панса*, и в церкви ты, назло и на зависть нашим дворянкам, будешь восседать на коврах, да на подушках, да на шелку. А нет, так и торчи на одном месте, ни туда ни сюда, как все равно церковная статуя! И довольно разговоров — как ты себе хочешь, а Марисанча будет графиней.

— Ты соображаешь, что говоришь, муженек? — воскликнула Тереса.— Да ведь я чего боюсь: что это самое графство погубит мою дочку. Делай как знаешь, выдавай ее хоть за герцога или за принца, но только я прямо говорю: не будет на то воли моей и согласия. Я, друг ты мой, всегда была за равенство и терпеть не люблю, когда, здоро́во живешь, начинают важничать. При крещении мне дали имя Тереса, имя простое и чистое, безо всяких этих примесей, штуковин и финтифлюшек — всяких там *донов* да *распродонов*, отец мой — по фамилии Каскахо, а меня, как я есть твоя жена, зовут Тересой Панса, и я своим именем довольна, и не нужно мне никакой *доньи*, а то это такой тяжелый довесок, что мне не под силу будет его носить, и не хочу я, чтобы про меня шушукались, когда я выйду расфуфыренная, как графиня или как губернаторша,— ведь уж непременно скажут: «Глядите, как зазналась наша чумичка! Вчера еще не разгибая спины лен чесала, а в церковь ходила, накрывшись подолом вместо накидки, а нынче ишь ты — фижмы* да застежки, и нос дерет, как будто она знать нас не знает». Пока господь бог не лишил меня не то семи, не то пяти чувств — одним словом, всех, сколько их у меня должно быть, я себя до такого сраму не доведу. Ты, сударь, можешь становиться губернатором или каким-то там островом и напускать на себя важность, сколько душе угодно, а моя дочка и я — клянусь памятью моей матери — никуда из нашего села не двинемся: женщине честной — за прялкою место, а девушке скромной своя лачуга — хоромы. Поезжай со своим Дон Кихотом за приключениями, а нам оставь наши злоключения; коли будем жить по-божьи, так и с нами что-нибудь доброе приключится.

— Нет, в тебя просто бес вселился,— объявил Санчо.— Господь с тобой, жена, чего ты только не нагородила безо всякого смысла и толка? Ну что общего между застежками, финтифлюшками, поговорками, важничаньем и тем, что я тебе сказал? Слушай ты, невежда и тупица (иначе тебя не назовешь, потому как ты речей моих не разумеешь и не понимаешь своего счастья):

если б я сказал, что моя дочь должна прыгнуть с башни или пойти скитаться по белу свету, вот тогда ты вправе была бы со мной не согласиться, но если я раз-раз и готово, так что ты ахнуть не успеешь, пришпилю ей *донью* и *ваше сиятельство* и из грязи выведу в князи, и будет она ходить в шелку да в бархате, то отчего бы тебе не согласиться и что тебе еще надобно?

— Знаешь, муженек, отчего я несогласна? — отвечала Тереса.— Оттого, что, как говорится, «платье тебя одевает, платье тебя и раздевает». Оттого, что люди пробегут по бедняку глазами — и ладно, а на богача они глазищи-то свои так и пялят, и ежели этот богач был когда-то бедняком, тут-то злые языки и давай чесать языки, а таких у нас в селе — куда ни плюнь, как все равно пчел в улье.

— Постой, Тереса,— прервал ее Санчо,— слушай, что я тебе сейчас скажу,— такого ты еще отроду не слыхала, да это и не мои слова: то, что я намерен тебе сказать, это изречения отца-проповедника, который в прошлом году великим постом в нашем селе проповедовал. И вот этот самый проповедник, сколько я помню, говорил так: все, что, мол, является нашему взору в настоящее время, гораздо лучше укладывается и помещается и гораздо сильнее запечатлевается в памяти нашей, нежели то, что было когда-то. Отсюда следствие, что когда мы видим особу разряженную, в дорогом уборе и с нею множество слуг, то, словно побуждаемые некоей силой, мы невольно проникаемся к ней уважением, хотя в тот же миг память подсказывает нам, что прежде эту особу мы лицезрели в низкой доле, и все-таки этого позора, чем бы он ни был вызван: то ли бедностью, то ли происхождением,— коли он уже в прошлом,— не существует, а существует лишь то, что мы видим в настоящую минуту. И если тот, кого судьба из нечистоты его ничтожества (это подлинное выражение проповедника) вознесла на вершины благополучия, окажется человеком благовоспитанным, щедрым и со всеми любезным и не станет тягаться с древнею знатью, можешь быть уверена, Тереса, что никто и не вспомнит, кем он был прежде, а будут чтить его таким, каков он есть теперь, кроме разве завистников, ну да от них никакая счастливая судьба не спасется.

— Не понимаю я тебя, муженек,— сказала Тереса,— поступай как знаешь и не забивай мне голову своим краснобайством и пустословием. И если уж тебе так забезрассудилось...

— *Заблагорассудилось* должно говорить, жена, а не *забезрассудилось*,— поправил Санчо.

— Не спорь со мной, муженек,— возразила Тереса,— я говорю, как мне бог на душу положит, безо всяких этих затей. Так вот что я хочу сказать: если уж тебе так далось это губер-

наторство, то возьми с собой своего сына Санчико и прямо с этих пор приучай его губернаторствовать — ведь это хорошо, когда дети идут по стопам отца и обучаются его ремеслу.

— Когда я буду губернатором,— объявил Санчо,— я пошлю за ним почтовых лошадей, а тебе пришлю денег, каковые у меня всегда найдутся, ибо всегда найдутся охотники ссудить губернатору, когда тот сидит без гроша. Сына же ты выряди так, чтобы не было заметно, кто он такой, а было видно, каким ему надлежит быть.

— Пришли только денег,— молвила Тереса,— а уж он у меня будет разодет в пух и прах.

— Ну, словом,— заключил Санчо,— мы с тобой уговорились, что дочка наша должна быть графиней.

— В тот день, когда она станет графиней,— возразила Тереса,— я буду считать, что я ее похоронила. Но только я еще раз скажу: поступай, как тебе угодно, такая наша женская доля — во всем подчиняться мужу, хотя бы и безмозглому.

И тут она залилась такими горькими слезами, точно Марисанча и впрямь умерла и уже похоронена. Тогда Санчо в утешение сказал ей, что хотя он непременно сделает свою дочь графиней, но только отложит это на возможно более долгий срок. На том и кончилась их беседа, и Санчо возвратился к Дон Кихоту, чтобы окончательно условиться об отъезде.

ГЛАВА VI

О чем обменялся мнениями Дон Кихот со своею племянницею и ключницею, и это одна из самых важных глав во всей истории

Пока Санчо Панса и его супруга Тереса вели между собой вышеприведенный бестолковый разговор, племянница и ключница Дон Кихота также не оставались праздными: по многим признакам догадавшись, что дядя их и господин, томимый жаждой рыцарских, как они полагали, *заблуждений*, а не похождений, намерен в третий раз от них вырваться, они всеми возможными способами пытались отвлечь его от столь вредной мысли, но они только вопияли в пустыне и ковали холодное железо. Со всем тем ключница, ведшая с Дон Кихотом долгие препирательства, между прочим сказала ему:

— Право, государь мой, если вы не усидите на месте и опять начнете скитаться по горам и долам, словно неприкаянный, и искать этих самых, как их называют, *облегчений*, а я их называю *огорчениями*, то я пожалуюсь богу и королю и буду

кричать на крик и не своим голосом, чтобы они вам не позволили.

Дон Кихот же ей на это сказал:

— Ключница! Мне неизвестно, что́ господь бог ответит на твои жалобы, как неизвестно мне и то, что ответит его величество, знаю только, что, будь я королем, я бы не стал отвечать на всю эту уйму нелепых прошений, ежедневно на имя короля поступающих, ибо из всех обременительных обязанностей, которые лежат на его величестве, самая тяжелая — это всех выслушивать и всем отвечать, вот почему мне бы не хотелось, чтобы ему надоедали с моими делами.

Ключница же на это сказала:

— А что, сеньор, при дворе его величества есть рыцари?

— Есть,— отвечал Дон Кихот,— и даже много, и на то есть причина, ибо они служат блестящим украшением двора и поддерживают величие королевского престола.

— Так почему бы и вам, ваша милость, не послужить королю, своему господину, сидя смирно при дворе?

— Вот что, дорогая моя,— отвечал Дон Кихот,— не все рыцари могут быть придворными, как не все придворные могут и должны быть странствующими рыцарями: в жизни бывают нужны и те и другие. И хоть и все мы — рыцари, однако ж есть между нами огромная разница, ибо придворные, не выходя из своих покоев и не переступая порога дворца, разгуливают по всему свету, глядя на карту, и это им не стоит ни гроша, и они не терпят ни зноя, ни стужи, ни голода, ни жажды, тогда как мы, рыцари странствующие в полном смысле этого слова, в жар, в холод, в бурю, в непогоду, ночью и днем, пешие и конные, из конца в конец самолично обходим дозором землю, и мы знаем врагов не только по картинкам, но и на деле, и при каждой встрече и при первом случае мы на них нападаем, не считаясь с правилами поединка и всякими пустяками, например: не короче ли у одного из противников копье или шпага, и что у недруга спрятано на груди — реликвия или же это какой-нибудь скрытый подвох, и как поделить между собой солнечный свет*, и прочими тому подобными церемониями, которые обыкновенно соблюдаются при единоборствах и которые ты не знаешь, а я знаю. И еще тебе надобно знать вот что: добрый странствующий рыцарь при виде хотя бы и десяти великанов, чьи головы не только касаются облаков, но и скрываются за ними и у каждого из которых вместо ног две преогромные башни, руки напоминают мачты крупных и мощных судов, а глаза как мельничные жернова и горят, как стеклоплавильные печи, отнюдь не устрашается,— напротив того, приосанившись, с душою, полною отваги, он бросается на них, бьется с ними, а буде окажется возмож-

ным, то в мгновение ока одолевает и разбивает наголову, хотя бы они были облачены в чешую какой-то особенной рыбы — чешую, говорят, будто бы тверже алмаза,— а вместо шпаг вооружены острыми, дамасской стали саблями или железными палицами с наконечниками тоже из стали, каковые палицы мне лично приходилось видеть не однажды. Все это, любезная моя ключница, я говорю для того, чтобы ты уяснила себе разницу между теми и другими рыцарями. И по справедливости государи должны были бы больше ценить разряд рыцарей странствующих, среди коих, гласит история, мы встречаем и таких, которые спасали не одно, а множество королевств.

— Ах, сеньор! — воскликнула тут племянница.— Да поймите же вы наконец, ваша милость: все, что рассказывают о странствующих рыцарях, это сплошные враки и побасенки, а книги про них следовало бы сжечь или уж, по крайности, надеть на них санбенито*, а еще можно ставить на них особые знаки, чтоб всем было ясно, что это бессовестные смутьяны и бунтовщики.

— Клянусь создателем,— воскликнул Дон Кихот,— что, не будь ты моею родною племянницей, то есть дочерью единоутробной моей сестры, я бы так тебя проучил за кощунственные твои слова, что слух о том прошел бы по всему свету. Возможно ли, чтобы девчонка, которая и с коклюшками-то еще не умеет как должно обращаться, осмеливалась трепать языком и бранить книги о странствующих рыцарях? Что сказал бы сеньор Амадис, если б он это услышал? Впрочем, он, конечно, простил бы тебя, ибо то был самый кроткий и учтивый рыцарь своего времени и к тому же еще великий покровитель девиц, но если б услышал кто-нибудь другой, то тебе пришлось бы худо, ибо не все рыцари равно учтивы и обходительны, есть среди них невежи и грубияны. Ведь не все именующие себя рыцарями являются таковыми в полной мере: иные сделаны из настоящего золота, иные — из поддельного, и нужно обладать тонким умом, дабы различать эти два рода рыцарей, столь сходных по названию и столь разных по образу действий.

— Боже ты мой! — воскликнула племянница.— Вы так много знаете, дядюшка, что в случае нужды могли бы взойти на кафедру и проповедовать где угодно, и со всем тем слепота ваша столь велика и затмение столь очевидно, что вы уверены в своей удали, будучи на самом деле старым, в своей силе — будучи хилым, что вы выпрямляете кривду, меж тем как сами вы согнулись под бременем лет, а главное в том, что вы — рыцарь и кавальеро, на самом деле не будучи таковым, ибо хотя идальго и могут стать кавальеро, но ведь не бедные же!..

— В твоих словах, племянница, есть большая доля правды,— заметил Дон Кихот,— с этими родами путаницы не оберешься,

и только те роды истинно велики и славны, коих представители доказывают это своими добродетелями, богатством своим и щедростью. Говорю: добродетелями, богатством и щедростью, ибо злочестивый властитель — это все равно что властительный злочестивец, а нещедрый богач — это все равно что нищий скупец: ведь счастье обладателя богатств заключается не в том, чтобы владеть ими, а в том, чтобы их расходовать, и расходовать с толком, а не как попало. Бедному же рыцарю остается только один путь, на котором он может показать, что он рыцарь, то есть путь добродетели, а для того ему надлежит быть приветливым, благовоспитанным, учтивым, обходительным и услужливым, не высокомерным, не заносчивым и не клеветником, главное же ему надлежит быть сострадательным, ибо, с веселым сердцем подав бедному два мараведи, он обнаружит щедрость не меньшую, нежели тот, который о своем благодеянии раззванивает во все колокола, и коли он будет всеми перечисленными добродетелями украшен, то, кто бы с ним ни столкнулся, всякий, даже не имея о нем никаких сведений, признает и почтет его за человека благородного происхождения, а коли не признает, то это будет в высшей степени странно, ибо похвала служит неизменною наградою добродетели и люди добродетельные не могут не быть хвалимы. На свете есть, дети мои, два пути, которые ведут к богатству и почету: один из них — поприще ученое, другой — военное. Я человек скорее военный, нежели ученый, и, судя по моей склонности к военному искусству, должно полагать, родился под знаком Марса, так что я уже как бы по необходимости следую этим путем и буду им идти, даже если бы весь свет на меня ополчился, и убеждать меня, чтобы я не желал того, чего возжелало само небо, что велит судьба, чего требует разум и, главное, к чему устремлена собственная моя воля, это с вашей стороны напрасный труд, ибо хотя мне доподлинно известны неисчислимые трудности, с подвигом странствующего рыцаря сопряженные, однако ж мне известны и безмерные блага, которые достаются совершившему этот подвиг; и еще я знаю, что стезя добродетели весьма узка, а стезя порока широка и просторна, и знаю также, что цели их и пределы различны, ибо путь порока, широко раскинувшийся и просторный, кончается смертью, путь же добродетели, тесный и утомительный, кончается жизнью, но не тою жизнью, которая сама рано или поздно кончается, а тою, которой не будет конца; и еще я знаю, что, по выражению знаменитого нашего кастильского стихотворца*,

По этим скалам можешь ты взойти
К обители бессмертия высокой,
Куда иного не сыскать пути.

Что же я за несчастная! — воскликнула племянница.— Мой дядя к довершению всего еще и поэт! Все-то вы знаете, все-то вы постигли — ручаюсь, что, пожелай вы только стать каменщиком, вам так же легко было бы построить дом, как другому смастерить клетку.

— Уверяю тебя, племянница,— сказал Дон Кихот,— что когда бы помыслы о рыцарстве не владели всеми моими чувствами, то не было бы ничего такого, чего бы я не сумел сделать, и не было бы такой затейливой вещицы, к которой я не приложил бы руку.

В это время послышался стук в дверь, и на вопрос, кто там, Санчо Панса ответил, что это он; и, узнав его по голосу, ключница в ту же минуту бросилась вон из комнаты, только чтобы его не видеть,— так он был ей несносен. Дверь Санчо Пансе отворила племянница, сеньор Дон Кихот принял его с распростертыми объятиями, потом они заперлись, и тут у них началось собеседование ничуть не хуже предыдущего.

ГЛАВА VII

О чем говорили между собой Дон Кихот и его оруженосец, равно как и о других достославных происшествиях

Ключница как увидела, что Дон Кихот заперся с Санчо Пансою, так в ту же секунду смекнула, о чем они могут вести переговоры; и, сообразив, что на этом совещании будет постановлено предпринять третий поход, она схватила свою накидку и, полная печали и беспокойства, побежала к бакалавру Самсону Карраско, ибо ей казалось, что тот, как человек красноречивый, с которым ее господин к тому же только что подружился, сможет уговорить его оставить столь нелепую затею. Бакалавр в это время прохаживался у себя во дворе, и, увидев его, ключница, потная и задыхающаяся от волнения, припала к его стопам. Карраско же, видя, что она так удручена и встревожена, спросил:

— Что с вами, сеньора ключница? Что с вами делается? Можно подумать, что у вас душа с телом расстается.

— Со мной-то ничего, голубчик мой сеньор Самсон, а вот господин мой утекать собирается, непременно утечет!

— Откуда же у него течет? — спросил Самсон.— Что он, разбился, что ли?

— Он сам утечет через ворота своего сумасшествия,— отвечала ключница.— Я хочу сказать, милейший сеньор бакалавр, что он вознамерился еще раз, и это будет уже в третий раз,

пространствовать по белу свету и поискать этих самых, как он их называет, *облегчений*,— не могу взять в толк, почему он их так называет. В первый раз, когда нам его вернули, он был весь избит и лежал поперек осла. Во второй раз его посадили и заточили в клетку и привезли домой на волах, а он себе внушил, что его околдовали. И в таком он был жалком виде, что его бы родная мать не узнала: бледный, худой, глаз совсем не видать. Ведь чтобы маленько его подправить, я одних яиц шесть сотен с лишком в него всадила,— беру во свидетели господа бога, весь наш околоток да еще моих кур: мои куры могут это подтвердить.

— В этом я совершенно уверен,— заметил бакалавр,— они у вас такие славные, такие жирные и такие воспитанные, что скорей лопнут, нежели скажут неправду. Итак, сеньора ключница, все дело и вся беда в том, что́ замыслил сеньор Дон Кихот, и этого именно вы и опасаетесь?

— Именно этого, сеньор,— подтвердила ключница.

— В таком случае не беспокойтесь,— объявил бакалавр,— ступайте с богом домой и приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а дорогой прочтите молитву святой Аполлинарии, если вы ее знаете, я же сейчас к вам прибуду, и все чудо как хорошо уладится.

— Ах ты, какая досада! — вскричала ключница.— Вы говорите, ваша милость, молитву святой Аполлинарии прочесть? Да ведь это если б у моего господина зубы болели, а у него голова не работает.

— Я знаю, что говорю, сеньора ключница. Идите и не вступайте со мною в споры, вы же знаете, какой я оратор, так что вам все равно меня не переорать,— примолвил Карраско.

После этого ключница удалилась, а бакалавр тут же отправился к священнику поговорить с ним насчет того, о чем в свое время будет сказано.

Между тем Дон Кихот и Санчо, оставшись вдвоем, обменивались мнениями, которые с великою точностью и правдивостью в нашей истории приводятся. Санчо сказал своему господину:

— Сеньор! Я уже засветил мою жену, так что она отпустит меня с вашей милостью, куда вам будет угодно.

— *Просветил* должно говорить, Санчо, а не *засветил*,— заметил Дон Кихот.

— Раза два, если не ошибаюсь,— сказал Санчо,— я просил вашу милость, чтобы вы меня не поправляли, если вам понятно, что я хочу сказать, а если не понимаете, скажите только: «Санчо, или там черт, дьявол, я тебя не понимаю». И вот если я не смогу объяснить, тогда и поправляйте: ведь я человек полади-стый...

— Я тебя не понимаю, Санчо,— прервал его тут Дон Кихот,— я не знаю, что значит *я человек поладистый.*

— *Поладистый* — это значит: какой уж я есть,— пояснил Санчо.

— Сейчас я тебя еще меньше понимаю,— признался Дон Кихот.

— Коли вы меня не понимаете, то я уж и не знаю, как вам втолковать, не знаю — и дело с концом,— отрезал Санчо.

— Стой, стой, я уже догадался,— молвил Дон Кихот,— ты хочешь сказать, что ты такой *покладистый*, мягкий и уступчивый, что будешь во всем меня слушаться и поступать, как я тебе скажу.

— Бьюсь об заклад,— сказал Санчо,— что вы еще поперво-началу поняли меня и постигли, а только хотели сбить с толку, чтобы я еще невесть какой чуши напорол.

— Возможно,— сказал Дон Кихот.— Ну, так что же все-таки говорит Тереса?

— Тереса говорит,— отвечал Санчо,— чтобы я охулки на руку не клал, уговор, мол, дороже денег, а после, мол, снявши голову, по волосам не плачут, и лучше, дескать, синица в руках, чем журавль в небе. И хоть я и знаю, что женщины болтают пустяки, а все-таки не слушают их одни дураки.

— И я то же говорю,— согласился Дон Кихот.— Ну, друг Санчо, дальше: нынче у тебя что ни слово — то перл.

— Дело вот в чем,— продолжал Санчо.— Ваша милость лучше меня знает, что все люди смертны: сегодня мы живы, а завтра померли, и так же недалек от смерти птенец желторотый, как и старец седобородый, и никто не может поручиться, что проживет на этом свете хоть на час больше, чем ему положено от бога, потому смерть глуха, и когда она стучится у ворот нашей жизни, то вечно торопится, и не удержать ее ни мольбою, ни силою, ни скипетром, ни митрою — такая о ней, по крайности, молва и слава, и так нам говорят с амвона.

— Все это справедливо,— заметил Дон Кихот,— только я не понимаю, к чему ты клонишь.

— Клоню я к тому,— отвечал Санчо,— чтобы ваша милость мне точно сказала, сколько вы могли бы положить мне в месяц жалованья, пока я у вас служу, и не можете ли вы положенное жалованье выплачивать наличными, а то служить за награды я не согласен, потому они или поздно приходят, или не в пору, или и вовсе не приходят, а со своими кровными я кум королю. Словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю; курочка по зернышку клюет и тем сыта бывает, а потом: немножко да еще немножко, ан, глядь, и множко, и ведь все это в дом, а не из дому. Конечно, если так случится (хоть я уже

не верю и не надеюсь), что ваша милость пожалует мне обещанный остров, то не такой же я неблагодарный и не такие у меня загребущие руки, чтобы по исчислении точной суммы дохода с этого острова я не согласился соответствующую долю придержать.

— Разумеется, друг Санчо, *придержать* для себя всегда выгоднее, чем *удержать* в пользу кого-нибудь другого,— заметил Дон Кихот.

— Ах да,— сказал Санчо,— конечно, мне надлежало сказать: *удержать*, а не *придержать*, ну ничего, ведь вы, ваша милость, и так меня поняли.

— Понял, понял,— сказал Дон Кихот,— все твои тайные мысли насквозь вижу и знаю, в какой огород летят камешки бесчисленных твоих пословиц. Послушай, Санчо: я с удовольствием положил бы тебе жалованье, когда бы хоть в каком-нибудь романе о странствующих рыцарях я сыскал пример, который показал бы, сколько обыкновенно зарабатывали оруженосцы в месяц или же в год. Однако я перечитал все или почти все романы и не могу припомнить, чтобы какой-нибудь странствующий рыцарь назначал своему оруженосцу определенное жалованье,— я точно знаю, что все оруженосцы служили за награды, и в один прекрасный день их сеньоры в случае удачи жаловали их островом, или же чем-либо равноценным, или, по малой мере, титулом и званием. Если вы, Санчо, этими надеждами и расчетами удовольствуетесь и захотите возвратиться ко мне на службу, то милости просим, а чтобы я стал нарушать и ломать древний обычай странствующего рыцарства, это вещь невозможная. Так что, любезный Санчо, ступайте домой и объявите вашей Тересе о моем решении, и если и она и вы согласитесь служить мне за награды, то великолепно, если же нет, то мы расстанемся друзьями: было бы зерно на голубятне, а голуби-то найдутся. И еще примите в рассуждение, сын мой, что добрая надежда лучше худого именья и хороший иск лучше худого платежа. Выражаюсь я так для того, Санчо, чтобы показать вам, что и я не хуже вашего могу сыпать пословицами. В заключение же я хочу вам сказать и скажу вот что: если вам не угодно пойти ко мне на службу за награды и разделить мою участь, так оставайтесь с богом, а уж потом пеняйте на себя, я же сыщу себе оруженосца послушнее и усерднее вас и не такого нескладного и не такого болтливого, как вы.

Твердое решение Дон Кихота так поразило Санчо, что у него потемнело в глазах и крылья его храбрости опустились, ибо до этого он был уверен, что его господин не выступит без него в поход ни за какие блага в мире; и он все еще пребывал в состоянии растерянности и озабоченности, когда вошел Самсон

Карраско, а за ним ключница и племянница, коим любопытно было послушать, как бакалавр станет уговаривать Дон Кихота не ездить на поиски приключений. Известный шутник Самсон приблизился к Дон Кихоту, обнял его, как и в прошлый раз, и заговорил громким голосом:

— О цвет странствующего рыцарства! О лучезарное светило воинства! О честь и зерцало народа испанского! Молю всемогущего бога, чтобы тот или те, кто тщится помешать и воспрепятствовать третьему твоему выезду, заблудились в лабиринте собственных желаний и так и не дождались исполнения того, что им более всего желается.

Затем он обратился к ключнице:

— Сеньора ключница смело может не молиться более святой Аполлинарии, ибо мне ведомо, что таково бесповоротное решение небесных сфер, чтобы сеньор Дон Кихот продолжал осуществлять высокие свои и бесподобные замыслы, и меня бы замучила совесть, когда б я не побуждал и не уговаривал этого рыцаря прервать наконец бездействие и скованность доблестной его длани и выказать величие бодрейшего духа его, ибо промедление сие лишает его возможности выпрямлять кривду, помогать сирым, охранять честь девиц, оказывать покровительство вдовицам, служить опорою замужним и все прочее в этом роде, что входит в круг обязанностей ордена странствующего рыцарства, что ему положено, что ему приличествует и подобает. Итак, прекрасный и отважный сеньор Дон Кихот, пусть милость ваша и ваше величие отправится в путь не завтра, а сегодня же, и если вам чего-либо для этого недостает, то к вашим услугам я сам и мое достояние, и если ваше великолепие нуждается в оруженосце, то я почел бы за величайшее для себя счастье послужить вам.

Тут Дон Кихот обратился к Санчо и сказал:

— Не говорил ли я тебе, Санчо, что в оруженосцах у меня недостатка не будет? Смотри, кто предлагает мне свои услуги: не кто иной, как несравненный бакалавр Самсон Карраско, первый забавник и шалун среди саламанкских школяров, здоровый телом, быстрый в движениях, не болтливый, умеющий терпеть зной и стужу, голод и жажду, обладающий всеми качествами, какие требуются от оруженосца странствующего рыцаря. Однако ж небеса не допустят, чтобы я ради собственного удовольствия подрыл этот столп учености, разбил этот сосуд познаний и подсек высокую эту пальму изящных и вольных искусств. Пусть же этот новый Самсон остается у себя на родине и, прославив ее, прославит также седины престарелых родителей своих, я же любым удовольствуюсь оруженосцем, коли Санчо не соблаговолит меня сопровождать.

— Нет, соблаговолю,— растроганный, весь в слезах, объявил Санчо и продолжал: — Обо мне никто не скажет, государь мой: «Поел-попил — и дружба врозь», в моем роду неблагодарных не было, все на свете, особливо в нашем селе, знают, кто такие были Панса, от коих я происхожу, да и потом, по многим вашим добрым делам и еще более добрым словам я постиг и сообразил, что ваша милость намерена меня наградить. Если же я пустился в вычисления касательно жалованья, то только в угоду жене, потому когда ей что втемяшится, то уж она гвоздит, как все равно молоток по обручам бочки, чтоб было по ее. Однако ж мужчине полагается быть мужчиной, а женщине — женщиной, и раз я мужчина, то я желаю быть мужчиной и у себя дома, как она там себе хочет, а потому вашей милости требуется только составить завещание с опиской, так чтобы его нельзя было оспорить,— и скорее в путь, чтобы отпустить душу сеньора Самсона на покаяние: ведь он говорит, что совесть его загрызет, если он не двинет вашу милость — или как это говорится: подвигнет, что ли? — в третий раз пространствовать по белу свету. Я же снова даю вашей милости обещание служить вам верой и правдой, ничуть не хуже, а пожалуй, даже и лучше всех оруженосцев странствующих рыцарей, сколько их ни было прежде и сколько их ни есть теперь.

Подивился бакалавр выражениям и оборотам речи Санчо Пансы, ибо хотя он и прочел первую часть истории его господина, однако ж никак не мог предполагать, что Санчо подлинно такой забавный, каким его там изображают; когда же Санчо вместо: *завещание с припиской* сказал: *завещание с опиской*, то бакалавр поверил всему, что о нем читал, и, укрепившись во мнении, что перед ним один из самых круглых дураков нашего столетия, подумал, что таких двух сумасшедших, каковы эти господин и слуга, еще не видывал свет. В конце концов Дон Кихот и Санчо обнялись и снова стали друзьями, и по совету и с благословения высокоумного Карраско, на которого они смотрели теперь как на оракула, было решено, что отъезд состоится через три дня, в течение каковых можно успеть запастись всем необходимым в дорогу и подыскать шлем с забралом, без коего Дон Кихот, по его словам, никак не мог обойтись. Самсон взялся раздобыть его — он знал, что таковой имеется у его приятеля и что тот ему не откажет в просьбе, потому что сталь этого шлема не только не сверкала и не была начищена до блеска, но напротив, потемнела от ржавчины и плесени. Проклятиям, коими ключница и племянница осыпа́ли бакалавра, не было конца; обе женщины рвали на себе волосы, царапали лица и, как заправские плакальщицы, оплакивали отъезд Дон Кихота, словно то был не отъезд, но кончина. О цели же, кото-

рую преследовал Самсон, уговаривая Дон Кихота еще раз выступить в поход, будет сказано дальше — так его подучили священник и цирюльник, с коими он держал совет до этого.

Коротко говоря, в течение трех дней Дон Кихот и Санчо запаслись всем, что почитали для себя необходимым; и после того как Санчо успокоил свою супругу, а Дон Кихот — племянницу и ключницу, однажды под вечер, тайком от всех, за исключением бакалавра, который вызвался проводить их с полмили, двинулись они по дороге к Тобосо: Дон Кихот — на добром своем Росинанте, а Санчо — все на том же осле, причем дорожная сума у Санчо была набита снедью, а кошелек — деньгами, которые Дон Кихот вручил ему на всякий случай. Самсон обнял Дон Кихота и попросил уведомлять о всех его удачах и неудачах, дабы он, Самсон, возрадовался неудачам, удачам же, как того, мол, требуют законы истинной дружбы, опечалился*. Дон Кихот обещал; Самсон направил стопы свои в село, а двое всадников продолжали свой путь по направлению к великому городу Тобосо.

ГЛАВА VIII,

в коей рассказывается о том, что произошло с Дон Кихотом по дороге к сеньоре Дульсинее Тобосской

Дон Кихот и Санчо остались вдвоем, и не успел Самсон скрыться из виду, как Росинант начал ржать, а осел реветь, что́ было принято обоими, и рыцарем и оруженосцем, за добрый знак и счастливейшее предзнаменование, хотя, по правде сказать, стенания и крики осла взяли верх над ржанием клячи, из чего Санчо вывел заключение, что его счастливая доля превзойдет и оставит далеко позади счастливую долю его господина; Дон Кихот же ему сказал:

— Друг Санчо! Ночь застигла нас в пути, и стало так темно, что мы, пожалуй, не успеем на рассвете попасть в город Тобосо, который я намерен посетить до того, как отправлюсь на поиски других приключений, и где я получу благословение и милостивое соизволение несравненной Дульсинеи, а я полагаю и совершенно уверен, что с таковым соизволением я доведу до победного конца любое опасное приключение, ибо ничто в этой жизни не придает странствующим рыцарям такой отваги, как благоволение их дам.

— Я тоже так думаю,— отозвался Санчо,— только сомнительно, чтобы ваша милость могла с ней побеседовать или же свидеться в таком, к примеру сказать, месте, где бы вы мог-

ли получить от нее благословение, разве через изгородь скотного двора, через которую я с нею в прошлый раз и виделся, когда отвозил письмо с вестями о том, как ваша милость дурачится и безумствует в самом сердце Сьерры Морены.

— Так тебе, Санчо, на том месте, где или, вернее, через которое ты виделся с этою прелестью и красотою, что выше всяких похвал, привиделась изгородь скотного двора? — молвил Дон Кихот.— Нет, то была, верно, галерея, балкон или — как это называется? — портик роскошного королевского дворца.

— Все может быть,— согласился Санчо,— однако ж мне это показалось изгородью, если только мне не изменяет память.

— Как бы то ни было, едем туда, Санчо,— сказал Дон Кихот,— мне совершенно все равно, как мне доведется увидеться с нею: через изгородь ли скотного двора, через окно ли, через щель или же через садовую ограду, ибо всякий луч солнца ее красоты, достигнувший моих очей, озарит мой разум и укрепит мой дух, и тогда в целом свете не найдется равных мне по уму и отваге.

— Сказать по совести, сеньор,— возразил Санчо,— когда я видел это самое солнце, то бишь сеньору Дульсинею Тобосскую, то оно было не такое уж яркое и никаких лучей не посылало, верно, потому, что ее милость, как я вам уже докладывал, просеивала тогда зерно и густая пыль облаком стояла вокруг нее и застилала ее лицо.

— Так ты, Санчо, все еще продолжаешь утверждать, думать, верить и стоять на том, что сеньора Дульсинея просеивала зерно,— спросил Дон Кихот,— хотя эта работа и занятие нимало не соответствуют тому, что обыкновенно делают и должны делать особы знатные, созданные и предназначенные для иных занятий и развлечений, по которым их знатность угадывается на расстоянии арбалетного выстрела?.. Плохо же ты помнишь, Санчо, те стихи нашего поэта*, в коих он описывает, чем занимались там, в хрустальных своих чертогах, четыре нимфы: как они вышли из вод любимого Тахо и, усевшись на зеленой лужайке, принялись расшивать драгоценные ткани, которые, по словам хитроумного поэта, были сработаны и сотканы из золота, жемчуга и шелка. И тем же, должно думать, была занята и моя госпожа, когда ты ее увидел, если только какой-нибудь злой волшебник, завидующий моим подвигам, не подменил ее и не преобразил, как и все, что мне доставляет отраду, в нечто совершенно иное,— я даже боюсь, как бы в истории моих деяний, будто бы вышедшей из печати, автор ее, в случае если это враждебный мне кудесник, не подтасовал события, не примешал к правде уйму небылиц и не увлекся рассказом о других происшествиях, не относящихся к продолжению этой правдивой исто-

рии. О зависть, корень неисчислимых зол, червь, подтачивающий добродетель! Всякий порок, Санчо, таит в себе особое наслаждение, но зависть ничего не таит в себе, кроме огорчений, ненависти и злобы.

— Я тоже это всегда говорю,— подхватил Санчо,— и сдается мне, что в этой самой книжке, которая, если верить бакалавру Карраско, будто бы про нас написана, чести моей, уж верно, достается, словно иному упрямому борову, который не хочет идти, а ему и справа и слева, как говорится, наподдают ногами, так что пыль столбом. А между тем, верное слово, я ни про одного волшебника ничего худого не говорил, да и добра у меня не так много, чтоб мне можно было завидовать. Правда, я немножко себе на уме и не прочь иной раз сплутовать, но хоть я и плутоват, да зато простоват, и простота моя — от природы, а вовсе не напоказ. Впрочем, пусть себе говорят что хотят, голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился, и что про меня пишут в книгах и теперь будут по всему свету трепать мое имя — на это мне наплевать: пусть говорят все, что им заблагорассудится.

— И все же, Санчо, желание прославиться сильно в нас до невероятия,— сказал Дон Кихот.— Что, по-твоему, принудило Горация* в полном вооружении броситься с моста в глубину Тибра? Что принудило Муция* сжечь себе руку? Что побудило Курция* кинуться в бездонную огненную пропасть, разверзшуюся посреди Рима? Что подвигнуло Юлия Цезаря наперекор всевозможным дурным предзнаменованиям перейти Рубикон?* Все эти и прочие великие и разнообразные подвиги были, есть и будут деяниями славы, слава же представляется смертным как своего рода бессмертие, и они чают ее как достойной награды за свои славные подвиги, хотя, впрочем, нам, христианам-католикам и странствующим рыцарям, надлежит более радеть о славе будущего века там, в небесных эфирных пространствах, ибо это слава вечная, нежели о той суетной славе, которую возможно стяжать в земном и преходящем веке и которая, как бы долго она ни длилась, непременно окончится вместе с дольним миром, коего конец предуказан,— вот почему, Санчо, дела наши не должны выходить за пределы, положенные христианскою верою, которую мы исповедуем. Наш долг — в лице великанов сокрушать гордыню, зависть побеждать великодушием и добросердечием, гнев — невозмутимостью и спокойствием душевным, чревоугодие и сонливость — малоядением и многободрствованием, любострастие и похотливость — верностью, которую мы храним по отношению к тем, кого мы избрали владычицами наших помыслов, леность же — скитаниями по всем странам света в поисках случаев, благодаря которым мы можем стать и подлинно

становимся не только христианами, но и славными рыцарями. Вот каковы, Санчо, средства заслужить наивысшие похвалы, которые всегда несет с собой добрая слава.

В таких и тому подобных разговорах прошли у них ночь и следующий день, без каких-либо внимания достойных происшествий, что́ весьма Дон Кихота опечалило. Наконец, на другой день к вечеру, их взорам открылся великий город Тобосо, при виде коего Дон Кихот взыграл духом, Санчо же духом пал, ибо он не имел понятия, где живет Дульсинея, и никак не мог придумать, что ему предпринять, когда сеньор пошлет его в Тобосо. В конце концов Дон Кихот положил не вступать в город до наступления ночи, и временно они расположились в дубраве близ Тобосо, а когда положенный срок пришел, то вступили в город, и тут с ними случилось то, что непременно должно было случиться.

ГЛАВА IX,

в коей рассказывается о том, что из нее будет видно

*В самую глухую полночь**, а может быть, и не в самую, Дон Кихот и Санчо покинули рощу и вступили в Тобосо. Мирная тишина царила в городке, оттого что все жители отдыхали и, как говорится, спали без задних ног. Ночь выдалась довольно светлая, однако же Санчо предпочел бы, чтоб она была темная-претемная, ибо темнота могла послужить оправданием его тупоумия. Во всем городе слышался только собачий лай, несносный для ушей Дон Кихота и действовавший устрашающе на душу Санчо. Время от времени ревел осел, хрюкали свиньи, мяукали коты, и в ночной тишине все эти по-разному звучавшие голоса казались еще громче, каковое обстоятельство влюбленный рыцарь почел за дурное предзнаменование; однако ж, со всем тем, он сказал Санчо:

— Сын мой Санчо! Указывай мне путь во дворец Дульсинеи — может статься, она уже пробудилась.

— Кой черт во дворец, когда я виделся с ее величием в маленьком домишке? — воскликнул Санчо.

— Должно полагать,— заметил Дон Кихот,— что на ту пору она вместе со своими придворными дамами удалилась в малые покои своего замка, как это принято и как это водится у всех знатных сеньор и принцесс.

— Сеньор! — сказал Санчо.— Уж коли ваша милость назло мне желает, чтобы дом госпожи Дульсинеи был замком, то с чего бы это ворота его в такой час оказались отперты? И при-

стало ли нам с вами барабанить, чтобы нас услышали и отворили? Этак мы весь народ переполошим и взбудоражим.

— Лиха беда — отыскать замок,— возразил Дон Кихот,— а там я тебе скажу, Санчо, как нам надлежит поступить. Да ты смотри, Санчо: или я плохо вижу, или же вон та темная громада и есть дворец Дульсинеи.

— Ну так вы и поезжайте вперед, ваша милость,— подхватил Санчо,— может, это и так, но если даже я увижу этот дворец своими глазами и ощупаю собственными руками, все-таки я поверю в него не больше, чем тому, что сейчас белый день.

Дон Кихот двинулся первый и, проехав шагов двести, приблизился вплотную к темневшей громаде и увидел высокую башню, и тут только уразумел он, что это не замок, а собор. И тогда он сказал:

— Мы наткнулись на церковь, Санчо.

— Уж я вижу,— отозвался Санчо.— Да и потом, если память мне не изменяет, я вашей милости сказывал, что дом этой сеньоры находится в тупике.

— Побойся ты бога, глупец! — воскликнул Дон Кихот.— Где ты видел, чтобы замки и королевские дворцы строились в тупиках?

— Сеньор! — возразил Санчо.— В каждой стране свой обычай: видно, здесь, в Тобосо, принято строить дворцы и громадные здания в переулках, а потому будьте добры, ваша милость, пустите меня поездить по ближайшим улицам и переулкам — может случиться, что в каком-нибудь закоулке я и наткнусь на этот дворец, чтоб его собаки съели, до того он нас закружил и загонял!

— Выражайся почтительнее, Санчо, обо всем, что касается моей госпожи,— сказал Дон Кихот,— не будем кипятиться и не будем терять последний разум.

— Постараюсь держать себя в руках,— объявил Санчо,— но только какое же надобно иметь терпение, коли ваша милость требует, чтобы я с одного раза на всю жизнь запомнил дом нашей хозяйки и отыскал его в полночь, когда вы сами, ваша милость, не можете его отыскать, а уж вы-то его, наверно, тысячу раз видели?

— Ты приводишь меня в отчаяние, Санчо,— сказал Дон Кихот.— Послушай, еретик: не говорил ли я тебе много раз, что я никогда не видел несравненную Дульсинею и не переступал порога ее дворца и что я влюбился в нее только по слухам, ибо до меня дошла громкая слава о красоте ее и уме?

— Теперь я все понял,— молвил Санчо,— и должен признаться: коли ваша милость никогда ее не видала, то я и подавно.

— Не может этого быть,— возразил Дон Кихот,— по край-

ней мере ты сам мне говорил, что видел, как она просеивала зерно, и привез мне ответ на письмо, которое я посылал ей с тобой.

— На это вы особенно не напирайте, сеньор,— объявил Санчо,— потому надобно вам знать, что я и видел ее и ответ привез тоже по слухам, и какая она из себя, сеньора Дульсинея, это мне так же легко сказать, как попасть пальцем в небо.

— Санчо, Санчо! — молвил Дон Кихот.— Иногда и пошутить можно, а иногда всякая шутка становится нехорошей и неуместной. И если я сказал, что никогда не виделся и не беседовал с владычицею моей души, то это не значит, что и ты должен говорить, будто никогда не беседовал с ней и не виделся,— ты же сам знаешь, что это не так.

В то время как они вели этот разговор, навстречу им, ведя двух мулов, шел какой-то человек, и по скрежету плуга, тащившегося по земле, Дон Кихот и Санчо заключили, что это хлебопашец, который встал до свету и теперь отправляется на свое поле, и так оно и было на самом деле.

Хлебопашец приблизился, и Дон Кихот окликнул его:

— Бог в помощь, любезный друг! Не можете ли вы мне сказать, где здесь дворец несравненной принцессы доньи Дульсинеи Тобосской?

— Сеньор! — отвечал парень.— Я нездешний, я тут всего несколько дней, нанялся на полевые работы к одному богатому землевладельцу, а вот в доме напротив живут священник и пономарь; кто-нибудь из них, а то и оба дадут вам справку насчет этой сеньоры принцессы, потому у них записаны все жители Тобосо, хотя мне сдается, что во всем Тобосо ни одной принцессы не сыщешь. Барынь, правда, много, да еще и важных: ведь у себя дома все принцессы.

— Так вот, друг мой,— подхватил Дон Кихот,— среди них и должна быть та, про которую я спрашиваю.

— Все может быть,— молвил парень,— а затем прощайте, уже светает.

И, не дожидаясь дальнейших расспросов, он погнал своих мулов. Санчо, видя, что его господин озадачен и весьма недоволен, сказал:

— Сеньор! Вот уж и день настает. Нехорошо, если солнце застигнет нас на улице, лучше было бы нам выехать из города: вы, ваша милость, укрылись бы в ближнем лесу, а я деньком возвращусь в город и стану шарить по всем закоулкам, пока не найду не то дом, не то замок, не то дворец моей госпожи, и уж это особая будет неудача, коли я его не найду, а коли найду, так я поговорю с ее милостью и скажу, где и в каком расположении духа ваша милость дожидается повеления ее и указания,

как бы это свидеться с нею, не повредив ее чести и доброму имени.

— Ты ухитрился, Санчо, замкнуть множество мыслей в круг небольшого количества слов,— заметил Дон Кихот.— Я с превеликою охотою принимаю твой совет и горю желанием последовать ему. Итак, сын мой, поедем в лес, и,там я и побуду, ты же, как обещал, возвратишься в город, разыщешь мою госпожу, повидаешься и побеседуешь с нею, а при ее уме и любезности нам сверхъестественных милостей от нее ожидать должно.

Санчо, чтобы не всплыл обман с мнимым ответом Дульсинеи, который он якобы доставил в Сьерру Морену, жаждал увезти из Тобосо своего господина и потому постарался ускорить отъезд, каковой и в самом деле последовал весьма скоро, и вот в двух милях от городка сыскали они лес, или, вернее, рощу, где Дон Кихот и остался на то время, пока Санчо съездит в город поговорить с Дульсинеей,— с посланцем же нашим произошли дорогою события, требующие особого внимания.

ГЛАВА X,

в коей рассказывается о том,
как ловко удалось Санчо околдовать Дульсинею,
а равно и о других событиях, столь же смешных,
сколь и подлинных

Как скоро Дон Кихот укрылся не то в роще, не то в дубраве, не то в лесу, близ великого Тобосо, то велел Санчо возвратиться в город и не показываться ему на глаза, пока тот не переговорит от его имени с его госпожою и не добьется милостивого ее согласия свидеться с преданным ей рыцарем и благословить его, дабы на будущее время он мог ожидать наисчастливейшего исхода всех своих битв и трудных начинаний. Санчо обещал исполнить все, что ему повелено, и привезти столь же благоприятный ответ, как и в прошлый раз.

— Поезжай же, сын мой,— молвил Дон Кихот,— и не смущайся, когда предстанешь пред светозарною красотою, к которой я посылаю тебя. О блаженнейший из всех оруженосцев на свете! Напряги свою память, и да не изгладится из нее, как моя госпожа тебя примет: изменится ли в лице, пока ты будешь излагать ей мою просьбу; встревожится ли и смутится, услышав мое имя; откинется ли на подушки в случае, если она сообразно с высоким своим положением будет восседать на богато убранном возвышении; если же примет тебя стоя, то понаблюдай, не будет ли переступать с ноги на ногу; не повторит ли свой ответ дважды

или трижды; не превратится ли из ласковой в суровую или же, напротив, из угрюмой в приветливую; поднимет ли руку, чтобы поправить волосы, хотя бы они и были у нее в полном порядке; одним словом, сын мой, наблюдай за всеми действиями ее и движениями, ибо если ты изложишь мне все в точности, то я угадаю, какие в глубине души питает она ко мне чувства. Должно тебе знать, Санчо, если только ты этого еще не знаешь, что действия и внешние движения влюбленных, когда речь идет об их сердечных делах, являют собою самых верных гонцов, которые доставляют вести о том, что происходит в тайниках их души. Поезжай же, друг мой, да будет звезда твоя счастливее моей, и добейся бóльших успехов, нежели каких я в горестном моем одиночестве, снедаемый тревогою, могу ожидать.

— Ну, я поеду и скоро вернусь,— объявил Санчо,— а вы, ваша милость, вспомните, как это говорится: храброе сердце злую судьбу ломает, а бодливой корове бог рог не дает, и еще говорят: никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Говорю я это к тому, что ночью мы так и не нашли ни дворцов, ни замков моей госпожи, зато теперь, среди бела дня, я думаю, что как раз совсем невзначай я их и найду, и дайте мне только найти, а уж поговорю я с ней — лучше не надо.

— Право, Санчо,— заметил Дон Кихот,— ты всегда необыкновенно удачно вставляешь свои пословицы. Дай бог и мне такую же удачу в моих предприятиях.

При этих словах Санчо поворотил и погнал своего серого, а Дон Кихот верхом на коне, вдев ноги в стремена и опершись на копье, предался грустным и неясным мечтаниям; и тут мы его и оставим и последуем за Санчо Пансою, который, покидая своего господина, также пребывал в смятении и задумчивости — настолько, что как скоро он выехал из лесу, то, оглянувшись и удостоверившись, что Дон Кихота не видно, спрыгнул с осла, уселся под деревом и заговорил сам с собой:

— Скажите-ка, брат Санчо, куда это милость ваша изволит путь держать? Может статься, вы потеряли осла и теперь его ищете? — Разумеется, что нет.— Так куда же вы едете? — Я еду не более не менее, как к принцессе, а принцесса эта есть солнце красоты и все небо, вместе взятое.— А где же, Санчо, все это, по-вашему, находится? — Где? В великом городе Тобосо.— Добро! А кто вас туда послал? — Меня послал доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, тот самый, который выпрямляет кривду, кормит жаждущих и поит голодных*.— Очень хорошо. А вы знаете, Санчо, где она живет? — Мой господин говорит, что она живет не то в королевском дворце, не то в пышном замке.— А вы ее когда-нибудь видели? — Нет, ни я, ни мой господин ни разу ее не видали.— А не кажется ли вам, что когда жители

Тобосо прослышат, что вы явились сюда для того, чтобы сманивать их принцесс и беспокоить их дам, то с их стороны будет вполне благоразумно и справедливо, ежели они сбегутся, отлупят вас палками и не оставят живого места? — Признаться сказать, они будут совершенно правы, если только не примут в рассуждение, что я всего только посланец.— Не полагайтесь на это, Санчо,— ламанчцы столь же раздражительны, сколь и честны, и терпеть не могут, когда их затрагивают. Крест истинный: коли выведут они вас на чистую воду, то вам худо придется.— Отвяжись, сатана! Наше место свято! И что это меня понесла нелегкая ради чужого удовольствия за птичьим молоком? Лукавый, лукавый впутал меня в это дело — не кто другой!

Вот как рассуждал сам с собой Санчо; вывод же он сделал из этого следующий:

— Ну ладно, все на свете можно исправить, кроме смерти,— хочешь не хочешь, а в ярмо смерти всем нам в конце жизни предстоит впрячься. Мой господин по всем признакам самый настоящий сумасшедший, ну да и я ему тоже не уступлю, у меня, знать, этой самой придури еще побольше, чем у него, коли я за ним следую и служу ему, а ведь не зря говорится: скажи мне, с кем ты водишься, и я тебе скажу, кто ты; и еще есть другая пословица: с кем поведешься, от того и наберешься. И вот как он есть сумасшедший, то и судит он о вещах большею частью вкривь и вкось и белое принимает за черное, а черное — за белое, и так это с ним и бывало, когда он говорил, что ветряные мельницы — это великаны, мулы монахов — верблюды, стада баранов — вражьи полчища и прочее тому подобное, а стало быть, невелик труд внушить ему, что первая попавшаяся поселянка и есть сеньора Дульсинея, а коли он не поверит, я поклянусь, а коли и он поклянется, я опять поклянусь, а коли он упрется, то я еще пуще, а как у меня такое правило — лишь бы сказать последним, то еще неизвестно, чем это дело кончится. Может, своим упорством я добьюсь того, что он больше не станет посылать меня с подобными поручениями: увидит, что гонец из меня неважный, а может, подумает — и, пожалуй, так оно и будет,— что один из этих злых волшебников, которые якобы его ненавидят, нарочно попортили личность его возлюбленной, чтобы досадить ему и причинить неприятность.

Мысль эта придала Санчо Пансе бодрости, и, решив, что он свое дело сделал, просидел он тут до вечера, чтобы у Дон Кихота были все основания полагать, будто у Санчо было время съездить в Тобосо и вернуться обратно; и Санчо так повезло, что не успел он встать и взобраться на серого, как увидел, что из Тобосо навстречу ему едут три крестьянки не то на ослах, не то на ослицах; увидев крестьянок, он быстрым шагом напра-

вился к господину своему Дон Кихоту, который в это время вздыхал и изливал душу в любовных жалобах. Увидев Санчо, он спросил:

— Ну что, друг Санчо? Ты с добрыми вестями?

— С такими добрыми,— подхватил Санчо,— что вашей милости остается только дать шпоры Росинанту и выехать навстречу сеньоре Дульсинее Тобосской, которая с двумя своими придворными дамами едет к вам на свидание.

— Господи помилуй! Что ты говоришь, друг Санчо? — вскричал Дон Кихот.— Смотри только, не обманывай меня и не пытайся мнимою радостью рассеять непритворную мою печаль.

— Какая мне корысть обманывать вашу милость, тем более что вам ничего не стоит удостовериться самому! — возразил Санчо.— Пришпорьте Росинанта, сеньор, и едемте — сейчас вы увидите нашу принцессу, разодетую и разубранную, как ей, одним словом, положено. И она сама, и ее придворные дамы в золоте как жар горят, унизаны жемчугом, осыпаны алмазами да рубинами, все на них из парчи больше чем в десять нитей толщины, волосы — по плечам, ветерок с ними играет все равно как с солнечными лучами, а самое главное — едут они на чубарых свиноходцах, таких, что просто загляденье.

— Ты хочешь сказать, *иноходцах*, Санчо.

— Что свиноходцы, что иноходцы — разница невелика,— возразил Санчо,— словом, на чем бы они ни ехали, а только едут самые нарядные дамы, каких только можно себе вообразить, особливо моя госпожа Дульсинея Тобосская — обомлеть впору.

— Едем, друг Санчо,— объявил Дон Кихот,— и в награду за столь же неожиданные, сколь и добрые вести я отдам тебе лучший трофей, какой мне удастся захватить при первом же приключении, а если ты этим не удовольствуешься, то я отдам тебе жеребят, которых нынешний год мне принесут три мои кобылы,— ты же знаешь, что они в нашем селе на общественном выгоне и скоро должны ожеребиться.

— Мне больше улыбается получить жеребят,— сказал Санчо,— потому я не вполне уверен, что трофеи первого приключения будут стоящие.

Тут они выехали из лесу и увидели вблизи трех крестьянок. Дон Кихот пробежал глазами по всей Тобосской дороге и, не обнаружив никого, кроме крестьянок, весьма смутился и спросил Санчо, точно ли Дульсинея и ее придворные дамы выехали из города.

— Как же не выехали? — воскликнул Санчо.— Да что, у вашей милости глаза на затылке, что ли? Разве вы не видите: ведь это же они и есть — те, что едут навстречу и сияют, ровно солнце в полдень?

— Я никого не вижу, Санчо, кроме трех поселянок на ослах,— молвил Дон Кихот.

— Аминь, рассыпься! — воскликнул Санчо.— Статочное ли это дело, чтобы трех иноходцев — или как их там,— белых как снег, ваша милость принимала за ослов? Свят, свят, свят, да я готов бороду себе вырвать, коли это и правда ослы!

— Ну так я должен тебе сказать, друг Санчо,— объявил Дон Кихот,— что это подлинно ослы или ослицы и что это такая же правда, как то, что я — Дон Кихот, а ты — Санчо Панса,— по крайней мере, таковыми они мне представляются.

— Помолчите, сеньор,— сказал Санчо,— не говорите таких слов, а лучше протрите глаза и отправляйтесь свидетельствовать почтение владычице ваших помыслов — вон она уж как близко.

И, сказавши это, Санчо выехал навстречу крестьянкам, затем спешился, взял осла одной из них за недоуздок, пал на оба колена и молвил:

— Королева, и принцесса, и герцогиня красоты! Да соблаговолит ваше высокомерие и величие милостиво и благодушно встретить преданного вам рыцаря — вон он стоит как столб, сам не свой: это он замер пред лицом великолепия вашего. Я — его оруженосец, Санчо Панса, а он сам — блуждающий рыцарь Дон Кихот Ламанчский, иначе — Рыцарь Печального Образа.

Тут и Дон Кихот опустился на колени рядом с Санчо и, широко раскрыв глаза, устремил смятенный взор на ту, которую Санчо величал королевою и герцогинею; а так как Дон Кихот видел в ней всего-навсего деревенскую девку, к тому же не слишком приятной наружности, круглолицую и курносую, то был он изумлен и озадачен и не смел выговорить ни слова. Крестьянки также диву дались, видя, что два человека, нимало не похожие друг на друга, стоят на коленях перед одной из них и загораживают ей дорогу; однако попавшая в засаду в конце концов не выдержала и грубым и сердитым голосом крикнула:

— Прочь с дороги, такие-сякие, дайте-ка проехать, нам недосуг!

На это Санчо ответил так:

— О принцесса и всеобщая тобосская владычица! Ужели благородное сердце ваше не смягчится при виде сего столпа и утверждения странствующего рыцарства, преклонившего колена пред высокопоставленным вашим образом?

Послушав такие речи, другая крестьянка сказала:

— А, да ну вас, чихать мы на вас хотели! Поглядите на этих господчиков: вздумали над крестьянками насмехаться! Шалишь, мы тоже за словом в карман не полезем. Поезжайте своей дорогой, а к нам не приставайте, и будьте здоровы.

— Встань, Санчо,— сказал тут Дон Кихот,— я вижу, что

*вновь жаждет горестей моих судьбина** и что она отрезала все пути, по которым какая-либо отрада могла бы проникнуть в наболевшую эту душу, в моем теле заключенную. А ты, высочайшая доблесть, о какой только можно мечтать, предел благородства человеческого, единственное утешение истерзанного моего сердца, тебя обожающего, внемли моему гласу: коварный волшебник, преследующий меня, затуманил и застлал мне очи, и лишь для меня одного померкнул твой несравненной красоты облик и превратился в облик бедной поселянки, но если только меня не преобразили в какое-нибудь чудище, дабы я стал несносен для очей твоих, то взгляни на меня нежно и ласково, и по этому моему смиренному коленопреклонению пред искаженною твоею красотою ты поймешь, сколь покорно душа моя тебя обожает.

— Вот еще наказанье! — отрезала крестьянка.— Нашли какую охотницу шуры-муры тут с вами заводить! Говорят вам по-хорошему: дайте дорогу, пропустите нас!

Санчо дал дорогу и пропустил ее, весьма довольный, что не ему пришлось расхлебывать кашу, которую он заварил. Крестьянка, принимаемая за Дульсинею, видя, что путь свободен, в ту же минуту кольнула своего *свиноходца* острым концом палки, которая была у нее в руках, и погнала его вперед. Однако ж укол этот был, должно полагать, чувствительнее обыкновенного, оттого что ослица стала вскидывать задние ноги и наконец сбросила сеньору Дульсинею наземь; увидевши это, Дон Кихот кинулся ее поднять, а Санчо — поправить и подтянуть седло, съехавшее ослице на брюхо. Когда же седло было приведено в порядок, Дон Кихот вознамерился поднять зачарованную свою сеньору на руки и посадить на ослицу, однако сеньора избавила его от этого труда: она поднялась самостоятельно, отошла немного назад и, взявши недурной разбег, обеими руками уперлась в круп ослицы, а затем легче сокола вскочила в седло и села верхом по-мужски; и тут Санчо сказал:

— Клянусь святым Роке, наша госпожа легче ястреба, она еще самого ловкого кордованца или же мексиканца* может поучить верховой езде! Одним махом перелетела через заднюю луку седла, а теперь без шпор гонит своего иноходца, как все равно зебру. И придворные дамы от нее не отстают: мчатся вихрем.

И точно: увидев, что Дульсинея уже в седле, подруги ее погнали своих ослиц следом за ней, и они скакали с полмили, ни разу не оглянувшись. Дон Кихот проводил их глазами, а когда они скрылись из виду, то обратился к Санчо и сказал:

— Санчо! Что ты скажешь насчет этих волшебников, которые так мне досаждают? Подумай только, до чего доходят их ковар-

ство и злоба: ведь они сговорились лишить меня радости, какую должно было мне доставить лицезрение моей сеньоры. Видно, и впрямь я появился на свет как пример несчастливца, дабы служить целью и мишенью, в которую летят и попадают все стрелы злой судьбы. И еще обрати внимание, Санчо, что вероломные эти существа не удовольствовались тем, чтобы просто преобразить мою Дульсинею и изменить ее облик,— нет, они придали ей низкий облик и некрасивую наружность этой сельчанки и одновременно отняли у нее то, что столь свойственно знатным сеньорам, которые живут среди цветов и благовоний, а именно: приятный запах. Между тем должен сознаться, Санчо, что когда я приблизился к Дульсинее, дабы подсадить ее на иноходца, как ты его называешь, хотя мне он представляется ослицей, то от нее так пахну́ло чесноком, что к горлу у меня подступила тошнота и мне едва не сделалось дурно.

— Ах, мошенники! — вскричал тут Санчо.— Ах, волшебники вы несчастные, зловредные, поддеть бы вас всех, как сардинок, под жабры да нанизать на тростинку! Много вы знаете, много можете и много зла делаете. Довольно с вас, мерзавцы, что вы превратили жемчужные очи моей госпожи в чернильные орешки, волосы ее, чистейшего золота,— в рыжий бычачий хвост и, наконец, красивые черты ее лица — в уродливые, так хоть бы запаха-то не трогали: ведь по одному этому мы могли бы догадаться, что́ скрывается под этой грубой корой, хотя, признаться сказать, я никакой уродливости в ней не заметил,— я видел одну только красоту.

— А скажи мне, Санчо: то самое, что я принял за вьючное седло и что ты прилаживал,— что это такое: простое седло или же дамское?

— Нет, нет,— отвечал Санчо,— это седло с короткими стременами и с такой важной попоной, которая стоит никак не меньше полцарства.

— А я всего этого не видел, Санчо! — воскликнул Дон Кихот.— Повторяю и еще тысячу раз буду повторять, что я самый несчастный человек на свете.

Хитрец Санчо, слушая, какие глупости болтает его господин, столь ловко обведенный им вокруг пальца, едва мог удержаться от смеха. Наконец, после долгих разговоров, оба воссели на своих четвероногих, и далее с ними случилось столько великих и неслыханных событий, что о них стоит написать и стоит прочитать.

ГЛАВА XI

О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с колесницей, то есть с телегой Судилища Смерти

Дон Кихот, погруженный в глубокое раздумье, ехал дальше, вспоминая злую шутку, какую с ним сыграли волшебники, превратившие сеньору Дульсинею в безобразную сельчанку, и все не мог придумать, как бы возвратить ей первоначальный облик; и до того он был этими мыслями занят, что не заметил, как бросил поводья, а Росинант, почуяв свободу, ежеминутно останавливался и щипал зеленую травку, коей окрестные поля были обильны. Из этого самозабвения вывел Дон Кихота Санчо Панса, который обратился к нему с такими словами:

— Сеньор! Печали созданы не для животных, а для людей, но только если люди чересчур печалятся, то превращаются в животных. А ну-ка, ваша милость, совладайте с собой, возьмите себя в руки, подберите Росинантовы поводья, приободритесь, встряхнитесь и будьте молодцом, как подобает странствующему рыцарю. Что это еще за чертовщина? Почто такое уныние? Где мы: во Франции или же у себя дома? Да черт их возьми, всех Дульсиней на свете,— здоровье одного странствующего рыцаря стоит дороже, чем все волшебства и превращения, какие только есть на земле.

— Замолчи, Санчо,— довольно твердо проговорил Дон Кихот,— замолчи, говорят тебе, и не произноси кощунственных слов о зачарованной нашей сеньоре: в ее несчастии и напасти повинен я, а не кто другой, ибо злоключения ее вызваны той завистью, которую питают ко мне злодеи.

— Я тоже так думаю,— молвил Санчо,— у кого бы сердце не упало, кто видал, какой она была и какою стала?

— Ты можешь так говорить, Санчо,— заметил Дон Кихот,— ты созерцал ее красоту во всей ее целокупности, действие чар на тебя не распространилось: они не затуманили твоего взора и не сокрыли от тебя ее пригожества, вся сила этого яда была направлена только против меня и моих глаз. Однако ж, со всем тем, вот что я подозреваю, Санчо: верно, ты плохо описал мне ее красоту. Если не ошибаюсь, ты сказал, что очи у нее как жемчуг, между тем глаза, напоминающие жемчужины, скорее бывают у рыб, чем у женщин, а у Дульсинеи, сколько я себе представляю, должен быть красивый разрез глаз, самые же глаза — точно зеленые изумруды под радугами вместо бровей, так что эти самые жемчужины ты у глаз отними и передай

зубам,— по всей вероятности, ты перепутал, Санчо, и глаза принял за зубы.

— Все может быть,— согласился Санчо,— потому меня так же поразила ее красота, как вашу милость ее безобразие. Будемте же уповать на бога: ему одному известно все, что случится в этой юдоли слез, в нашем грешном мире, где ничего не бывает без примеси низости, плутовства и мошенничества. Одно, государь мой, меня беспокоит больше чем что бы то ни было, а именно: что делать, если ваша милость одолеет какого-нибудь великана или же рыцаря и велит ему явиться пред светлые очи сеньоры Дульсинеи? Где этот бедняга великан или же бедняга и горемыка побежденный рыцарь станут ее искать? Я их отсюда вижу: слоняются, как дураки, по всему Тобосо и всё ищут сеньору Дульсинею, и если даже они ее прямо на улице встретят, все равно это будет для них — что Дульсинея, что мой родной папаша.

— Может статься, Санчо,— заметил Дон Кихот,— чародейство с неузнаванием Дульсинеи не распространяется на побеждаемых мною и представляющихся Дульсинее великанов и рыцарей, а потому с одним или с двумя из тех, кого я в первую очередь покорю и отошлю к Дульсинее, мы проделаем опыт: увидят они ее или нет, и я прикажу им возвратиться и доложить мне, как у них с этим обстояло.

— Мне ваша мысль, скажу я вам, сеньор, нравится,— молвил Санчо.— Коли пуститься на такую хитрость, то все, что нам желательно знать, мы узнаем, и если окажется, что сеньора Дульсинея всем видна, кроме вас, то это уж беда не столько ее, сколько вашей милости. Лишь бы сеньора Дульсинея была жива-здорова, а уж мы тут как-нибудь приспособимся и потерпим, будем себе искать приключений, а все остальное предоставим течению времени: время — лучший врач, и оно более опасные болезни излечивает, а уж про эту и говорить не приходится.

Дон Кихот хотел было ответить Санчо Пансе, но этому помешала выехавшая на дорогу телега, битком набитая самыми разнообразными и необыкновенными существами и фигурами, какие только можно себе представить. Сидел за кучера и погонял мулов некий безобразный демон. Повозка была совершенно открытая, без полотняного верха и плетеных стенок. Первою фигурою, представившеюся глазам Дон Кихота, была сама Смерть с лицом человека; рядом с ней ехал Ангел с большими раскрашенными крыльями; с другого боку стоял Император в короне, по виду золотой; у ног Смерти примостился божок, так называемый Купидон*, без повязки на глазах, но зато с луком, колчаном и стрелами; тут же ехал Рыцарь, вооруженный с головы до ног, только вместо шишака или шлема на нем была шляпа

с разноцветными перьями; и еще тут ехало много всяких существ в разнообразном одеянии и разного обличья. Неожиданное это зрелище слегка озадачило Дон Кихота и устрашило Санчо, но Дон Кихот тотчас же возвеселился сердцем; он решил, что его ожидает новое опасное приключение, и с этою мыслью, с душою, готовою к любой опасности, он остановился перед самой телегой и громко и угрожающе заговорил:

— Кто бы ты ни был, возница, кучер или сам дьявол! Сей же час доложи мне: кто ты таков, куда едешь и что за народ везешь в своем фургоне, который, к слову сказать, больше похож на ладью Харона*, нежели на обыкновенную повозку.

Тут Дьявол натянул вожжи и кротко ответил:

— Сеньор! Мы актеры, мы играли в селе, что вон за тем холмом, *Действо о Судилище Смерти**, а вечером нам предстоит играть вот в этом селе — его видно отсюда. Нам тут близко, и чтобы двадцать раз не переодеваться, мы и едем прямо в тех костюмах, в которых играем. Этот юноша изображает Смерть, тот — Ангела, эта женщина — Королеву, вон тот — Солдата, этот — Императора, а я — Дьявола, одно из главных действующих лиц: я в нашей труппе на первых ролях. Если же вашей милости нужны еще какие-либо о нас сведения, то обратитесь ко мне, и я дам вам самый точный ответ: я же Дьявол, я все могу.

— Клянусь честью странствующего рыцаря,—заговорил Дон Кихот,— когда я увидел вашу повозку, то подумал, что мне предстоит какое-то великое приключение, но теперь я понимаю, что стоит лишь коснуться рукой того, что тебе померещилось, и обман тотчас же рассеивается. Поезжайте с богом, добрые люди, давайте ваше представление и подумайте, не могу ли я чем-нибудь быть вам полезен: я весьма охотно и с полною готовностью сослужу вам службу, ибо лицедейство пленило меня, когда я был еще совсем маленький, а в юности я не выходил из театра.

Во время этого разговора по прихоти судьбы выступил вперед один из комедиантов, одетый в шутовской наряд со множеством бубенчиков и державший в руках палку с тремя надутыми бычачьими пузырями на конце; этот самый шут, приблизившись к Дон Кихоту, начал размахивать палкой, хлопать по земле пузырями и, звеня бубенцами, высоко подпрыгивать, каковое ужасное зрелище так испугало Росинанта, что, сколько ни старался Дон Кихот удержать его, он закусил удила и помчался с проворством, которого вовсе нельзя было ожидать от такого скелета. Санчо, смекнув, что его господину грозит опасность быть низвергнутым, соскочил с осла и со всех ног бросился ему на помощь, но когда он примчался, тот лежал уже на земле, а рядом

с ним растянулся Росинант: обычный конец и предел Росинантовой удали и своевольства.

Не успел Санчо оставить серого и подбежать к Дон Кихоту, как плясавший с пузырями Черт вскочил на осла и стал колотить его пузырями по спине; осел же, подгоняемый не столько болью, сколько страхом, который наводило на него это хлопанье, припустился в сторону села, где надлежало быть представлению. Санчо смотрел на удиравшего осла и на поверженного господина и не знал, какому горю пособить прежде, но так как он был верный оруженосец и верный слуга, то любовь к своему господину возобладала в нем над привязанностью к серому, хотя всякий раз, как пузыри поднимались и опускались на круп осла, он испытывал смертный страх и смертную муку; он предпочел бы, чтоб его самого отхлопали так по глазам, чем дотронулись до кончиков волос на хвосте его серого. В состоянии мучительной растерянности приблизился он к Дон Кихоту, являвшему собою более жалкое зрелище, чем он сам предполагал, и, подсаживая его на Росинанта, молвил:

— Сеньор! Черт угнал серого.

— Какой черт? — осведомился Дон Кихот.

— С пузырями,— отвечал Санчо.

— Ничего, я у него отобью,— молвил Дон Кихот,— хотя бы он укрылся с ним в самых глубоких и мрачных узилищах ада. Следуй за мной, Санчо; телега едет медленно, и утрату серого я возмещу тебе мулами.

— Вам не из чего хлопотать столько, сеньор,— возразил Санчо,— умерьте гнев, ваша милость: мне сдается, что Черт уже оставил серого и он идет обратно.

И точно: по примеру Дон Кихота и Росинанта, Черт уже грянулся оземь и побрел в село пешком, а серый возвратился к своему хозяину.

— Со всем тем,— объявил Дон Кихот,— за наглость этого беса следовало бы проучить кого-либо из едущих в повозке, хотя бы, например, самого Императора.

— Выкиньте это из головы,— возразил Санчо,— и послушайтесь моего совета; никогда не следует связываться с комедиантами — они весельчаки и забавники, а потому все им покровительствуют, все им помогают, все за них заступаются и все их ублажают.

— Что бы там ни было,— заключил Дон Кихот,— лицедейный Черт так легко от меня не отделается, хотя бы весь род людской ему покровительствовал.

И, сказавши это, он нагнал телегу, которая уже почти подъехала к селу, и крикнул:

— Стойте, погодите, сонмище весельчаков и затейников!

Я хочу научить вас, как должно обходиться с ослами и прочими скотами, на которых ездят оруженосцы странствующих рыцарей!

Дон Кихот кричал так громко, что ехавшие в телеге расслышали и уловили его слова; и стоило им постигнуть их смысл, как тот же час с телеги спрыгнула Смерть, а за нею Император, возница-Черт и Ангел, не усидели и Королева с божком Купидоном — все, как один, вооружились камнями, построились в одну шеренгу и изготовились встретить Дон Кихота пальбою булыжниками. Дон Кихот, видя, как они в полном боевом порядке подняли руки с тем, чтобы запустить в него камнями, натянул поводья и стал думать, как бы это повести наступление с наименьшим для себя риском. А пока он раздумывал, к нему присоединился Санчо и, видя, что он собирается напасть на этот выстроившийся по всем правилам военного искусства отряд, сказал:

— Нужно совсем сойти с ума, чтобы затевать такое дело. Примите в соображение, государь мой: против таких увесистых камушков нет иного оборонительного средства, кроме как пригнуться и накрыться медным колоколом. А потом вот еще что нужно сообразить: нападать одному на целое войско, в котором находится сама Смерть, в котором собственной персоной сражаются императоры и которому помогают добрые и злые ангелы,— это не столь смело, сколь безрассудно. Если же эти соображения вас не останавливают, то пусть вас остановит одно достоверное сведение, а именно: кем только эти люди ни представляются — и королями, и принцами, и императорами,— а странствующего рыцаря среди них ни одного нет.

— Вот теперь, Санчо, ты попал в самую точку,— объявил Дон Кихот,— и это может и должно заставить меня отказаться от твердого моего намерения. Как я уже не раз тебе говорил, я не могу и не должен обнажать меч против тех, кто не посвящен в рыцари. Это тебе, Санчо, если ты желаешь отомстить за обиду, причиненную твоему серому, надлежит с ними схватиться, я же буду издали помогать тебе словами ободрения и спасительными предостережениями.

— Мстить никому не следует, сеньор,— возразил Санчо,— доброму христианину не подобает мстить за обиды, тем более что я уговорю моего осла предать его обиду моей доброй воле, а моя добрая воля — мирно прожить дни, положенные мне всевышним.

— Ну, Санчо добрый, Санчо благоразумный, Санчо-христианин, Санчо простосердечный,— молвил Дон Кихот,— коли таково твое решение, то оставим в покое эти пугала и поищем лучших и более достойных приключений, множество каковых, и

притом самых что ни на есть чудесных, судя по всему, именно здесь-то нас и ожидает.

С этими словами он поворотил коня, Санчо взобрался на своего серого, Смерть и весь ее летучий отряд снова разместились в повозке и поехали дальше, и таким образом страшное это приключение с колесницею Смерти окончилось благополучно только благодаря спасительному совету, преподанному Санчо Пансою своему господину, которому на другой день предстояло новое приключение, с неким влюбленным странствующим рыцарем, не менее потрясающее, нежели предыдущее.

ГЛАВА XII

О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с отважным Рыцарем Зеркал

Ночь после встречи со Смертью Дон Кихот и его оруженосец провели под высокими и тенистыми деревьями, где, сдавшись на уговоры Санчо, Дон Кихот прежде всего вкусил той снеди, которою был нагружен осел; и за ужином Санчо сказал своему господину:

— Сеньор! В каких бы я остался дураках, когда бы выбрал себе в награду трофеи первого приключения вашей милости, а не жеребят от трех ваших кобыл! Вот уж, что называется: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе».

— Однако, Санчо,— возразил Дон Кихот,— если б ты дал мне сразиться, как я хотел, то в виде трофея тебе достались бы по малой мере золотая корона Императрицы и раскрашенные крылья Купидона. Я задал бы этой компании порядочную трепку, и все их пожитки перешли бы к тебе.

— Скипетры и короны императоров лицедейных никогда не бывают из чистого золота, а либо из мишуры, либо из жести,— заметил Санчо Панса.

— Справедливо,— отозвался Дон Кихот,— театральным украшениям не подобает быть добротными, им надлежит быть воображаемыми и только кажущимися, как сама комедия*, и все же мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, оценил и полюбил комедию, а следственно, и тех, кто ее представляет, и тех, кто ее сочиняет, ибо все они суть орудия, приносящие государству великую пользу: они беспрестанно подставляют нам зеркало, в коем ярко отражаются деяния человеческие, и никто так ясно не покажет нам различия между тем, каковы мы суть, и тем, каковыми нам быть надлежит, как комедия и комедианты. Нет, правда, скажи мне: разве ты не видел на сцене комедий, где выводятся

короли, императоры, папы, рыцари, дамы и другие действующие лица? Один изображает негодяя, другой — плута, третий — купца, четвертый — солдата, пятый — сметливого простака, шестой — простодушного влюбленного, но едва лишь комедия кончается и актеры снимают с себя костюмы, все они между собою равны.

— Как же, видел,— отвечал Санчо.

— Ведь то же самое происходит и в той комедии, которую представляет собою круговорот нашей жизни,— продолжал Дон Кихот,— и здесь одни играют роль императоров, другие — пап, словом, всех действующих лиц, какие только выводятся в комедии, а когда наступает развязка, то есть когда жизнь кончается, смерть у всех отбирает костюмы, коими они отличались друг от друга, и в могиле все становятся между собою равны.

— Превосходное сравнение,— заметил Санчо,— только уже не новое, мне не однажды и по разным поводам приходилось слышать его, как и сравнение нашей жизни с игрою в шахматы: пока идет игра, каждая фигура имеет свое особое назначение, а когда игра кончилась, все фигуры перемешиваются, перетасовываются, ссыпаются в кучу и попадают в один мешок, подобно тому как все живое сходит в могилу.

— С каждым днем, Санчо, ты становишься все менее простоватым и все более разумным,— заметил Дон Кихот.

— Да ведь что-нибудь да должно же пристать ко мне от вашей премудрости,— сказал Санчо,— земля сама по себе может быть бесплодною и сухою, но если ее удобрить и обработать, она начинает давать хороший урожай. Я хочу сказать, что беседы вашей милости были тем удобрением, которое пало на бесплодную почву сухого моего разума, а все то время, что я у вас служил и с вами общался, было для него обработкой, благодаря чему я надеюсь обильный принести урожай, и урожай этот не сойдет и не уклонится с тропинок благого воспитания, которое милость ваша проложила на высохшей ниве моего понятия.

Посмеялся Дон Кихот высокопарности Санчо, однако ж не мог не признать, что тот в самом деле подает надежды, ибо своей манерой выражаться частенько приводил его в изумление; впрочем, всякий или почти всякий раз, как Санчо начинал изъясняться на ученый или на столичный лад, речь его в конце концов низвергалась с высот простодушия в пучину невежества; особливая же изысканность его речи и изрядная память сказывались в том, как он кстати и некстати применял пословицы, что́ на протяжении всей нашей истории читатель, по всей вероятности, видел и замечал неоднократно.

В таких и тому подобных разговорах прошла у них бо́льшая половина ночи, и наконец Санчо припала охота отправиться на

боковую, как он выражался, когда его клонило ко сну, и, расседлав серого, он дал ему полную волю наслаждаться обильным травою пастбищем. С Росинанта же он не снял седла по особому распоряжению Дон Кихота, не велевшего расседлывать коня, пока они ведут походную жизнь и ночуют под открытым небом; старинный обычай, установленный и неуклонно соблюдавшийся странствующими рыцарями, дозволял снимать уздечку и привязывать ее к седельной луке, но снимать седло — ни в коем случае! Санчо так и сделал и предоставил Росинанту свободно пастись вместе с осликом, а между осликом и Росинантом существовала дружба тесная и беспримерная: едва лишь оба четвероногих сходились вместе, Росинант клал свою шею на шею серого, при этом с другой стороны она выступала более чем на пол-локтя, и оба, задумчиво глядя в землю, обыкновенно простаивали так дня по три, во всяком случае все то время, каким они для этой цели располагали, а также когда голод не понуждал их искать пропитания.

Наконец Санчо уснул у подножия пробкового дуба, Дон Кихот же задремал под дубом обыкновенным, но могучим, однако малое время спустя его разбудил шум, послышавшийся у него за спиной, и, тут же вскочив, он начал вглядываться и вслушиваться, силясь определить, что это за шум, и увидел двух всадников, один из которых спрыгнул наземь и сказал своему спутнику:

— Слезай, приятель, и разнуздай коней, мне сдается, что травы здесь для них будет вдоволь, а для любовных моих дум — вдоволь тишины и уединения.

Произнеся эти слова, незнакомец в один миг растянулся на траве; когда же он повалился на землю, послышался звон доспехов, и для Дон Кихота то был явный знак, что пред ним странствующий рыцарь; по сему обстоятельству Дон Кихот приблизился к спящему Санчо, потянул его за руку и, с немалым трудом добудившись, сказал ему на ухо:

— Брат Санчо, приключение!

— Дай бог, чтоб удачное,— отозвался Санчо.— А где же оно, государь мой, это самое многоуважаемое приключение?

— Где приключение, Санчо? — переспросил Дон Кихот.— Поверни голову и погляди: вон там лежит странствующий рыцарь, и, сколько я понимаю, он не чрезмерно весел,— я видел, как он соскочил с коня и, словно в отчаянии, повалился на землю, и в это время зазвенели его доспехи.

— Почему же ваша милость думает, что это приключение? — осведомился Санчо.

— Я не хочу сказать, что это уже и есть приключение, это только его начало, ибо приключения начинаются именно так,—

отвечал Дон Кихот.— Но чу: кажется, он настраивает не то лютню, не то гитару, откашливается, прочищает горло — видно, собирается петь.

— Честное слово, так оно и есть,— сказал Санчо.— Должно полагать, это влюбленный рыцарь.

— Странствующий рыцарь не может не быть влюблен,— заметил Дон Кихот.— Послушаем же его и по шерстинке песни узнаем овчинку его помыслов.

Санчо хотел было возразить своему господину, но ему помешал голос рыцаря, голос не слишком дурной, но и не весьма приятный.

Наконец рыцарь, вздохнув, казалось, из глубины души, кончил свою песню, а немного погодя заговорил голосом жалобным и печальным:

— О прекраснейшая и неблагодарнейшая женщина во всем подлунном мире! Ужели, светлейшая Касильдея Вандальская*, ты допустишь, чтобы преданный тебе рыцарь зачах и погиб в бесконечных странствиях и в суровых и жестоких испытаниях? Ужели тебе не довольно того, что благодаря мне тебя признали первою красавицею в мире все рыцари Наварры, Леона, Тартесии, Кастилии и, наконец, Ламанчи?

— Ну уж нет,— молвил тут Дон Кихот,— я сам рыцарь Ламанчский, но никогда ничего подобного не признавал, да и не мог и не должен был признавать ничего столь принижающего красоту моей госпожи, и теперь ты видишь, Санчо, что рыцарь этот бредит. Впрочем, послушаем еще: уж верно, он выскажется полнее.

— Еще как выскажется,— подхватил Санчо,— он, по видимости, приготовился выть целый месяц без передышки.

Случилось, однако ж, не так: услышав, что кто-то поблизости разговаривает, рыцарь прекратил свои пени, стал на ноги и звонким и приветливым голосом произнес:

— Кто там? Что за люди? Принадлежите ли вы к числу счастливых или же скорбящих?

— Скорбящих,— отозвался Дон Кихот.

— В таком случае приблизьтесь ко мне́,— молвил рыцарь,— и знайте, что вы приближаетесь к воплощенной печали и скорби.

Услышав столь трогательный и учтивый ответ, Дон Кихот приблизился к рыцарю, а за Дон Кихотом проследовал и Санчо.

Сетовавший рыцарь схватил Дон Кихота за руку и сказал:

— Садитесь, сеньор рыцарь. Чтобы догадаться, что вы рыцарь и принадлежите к ордену рыцарей странствующих, мне довольно было встретить вас в этом месте, где с вами делят досуг лишь уединение да вечерняя роса — обычный приют и естественное ложе странствующих рыцарей.

На это ему Дон Кихот ответил так:

— Я — рыцарь, и как раз этого самого ордена, и хотя печали, бедствия и злоключения свили в душе моей прочное гнездо, однако ж от нее не отлетело сострадание к несчастьям чужим. Из песни вашей я сделал вывод, что ваши несчастья — любовного характера, то есть что они вызваны вашею любовною страстью к неблагодарной красавице, имя которой вы упоминали в жалобах ваших.

Так, в мире и согласии, вели они между собой беседу, сидя на голой земле, и кто бы мог подумать, что не успеет заняться день, как они уже займутся друг дружкой на поле сражения!

— Уж не влюблены ли, часом, и вы, сеньор рыцарь? — спросил Дон Кихота его собеседник.

— К несчастью, да,— отвечал Дон Кихот,— впрочем, если выбор мы сделали достойный, то страдания, им причиняемые, нам надлежит почитать за особую милость, а никак не за напасть.

— Ваша правда,— заметил рыцарь,— но только презрение наших повелительниц, от которого мы теряем рассудок и здравый смысл, так велико, что скорее напоминает месть.

— Моя госпожа никогда меня не презирала,— возразил Дон Кихот.

— Разумеется, что нет,— подхватил находившийся поблизости Санчо,— моя госпожа кроткая, как овечка, и мягкая, как масло.

— Это ваш оруженосец? — спросил рыцарь.

— Да, оруженосец,— отвечал Дон Кихот.

— В первый раз вижу, чтобы оруженосец смел перебивать своего господина,— заметил рыцарь,— по крайней мере мой оруженосец — вон он стоит,— когда говорю я, как воды в рот наберет.

Тут оруженосец рыцаря-песнопевца взял Санчо за руку и сказал:

— Отойдем-ка в сторонку и поговорим по душам, как оруженосец с оруженосцем, а наши господа пусть себе препираются и рассказывают друг другу о сердечных своих обстоятельствах,— ручаюсь головой, что они еще и дня прихватят, да и то, пожалуй, не кончат.

— Пусть себе на здоровье,— согласился Санчо,— а я расскажу вашей милости, кто я таков, и вы увидите, что меня нельзя ставить на одну доску с другими болтливыми оруженосцами.

Оба оруженосца удалились, и между ними началось собеседование, столь же забавное, сколь важным было собеседование их сеньоров.

ГЛАВА XIII,

в коей продолжается приключение с Рыцарем Зеркал и приводится разумное, мирное и из ряду вон выходящее собеседование двух оруженосцев

— Тяжело и не сладко живется нам, то есть оруженосцам странствующих рыцарей, государь мой,— заговорил слуга другого рыцаря,— вот уж истинно в поте лица нашего едим мы хлеб, а ведь это одно из проклятий, коим господь бог предал наших прародителей.

— С таким же успехом можно сказать,— подхватил Санчо,— что мы едим его в хладе нашего тела, ибо кто больше злосчастных оруженосцев странствующего рыцарства страдает от зноя и стужи? И не так было бы обидно, ежели б мы этот хлеб ели, потому с хлебом и горе не беда, а то ведь иной раз дня по два пробавляемся одним только перелетным ветром.

— Все это еще можно снести и перенести в ожидании наград,— заметил другой слуга,— ведь если только странствующий рыцарь, у которого служит оруженосец, не из самых незадачливых, то немного спустя он ему уж непременно пожалует губернаторство на каком-нибудь разлюбезном острове или же какое-нибудь хорошенькое графство.

— Я уже говорил моему господину, что с меня и губернаторства на острове довольно,— объявил Санчо,— и он был так благороден и так щедр, что неоднократно и по разным поводам давал обещание пожаловать меня островом.

— А я был бы доволен, если б за непорочную мою службу меня сделали каноником,— сказал другой слуга,— и мой господин мне уже обещал приход, да еще какой!

— Ваш господин, как видно, рыцарь по церковной части и имеет право оказывать подобного рода милости верным своим оруженосцам,— заметил Санчо,— ну, а мой — самый обыкновенный светский, хотя, впрочем, я припоминаю, что одни умные люди, коих я, правда, почитал за вероломцев, пытались уговорить его стать архиепископом, однако ж он, кроме императора, ни о чем слышать не хотел, а я тогда боялся: ну как ему припадет охота пойти по духовной части? Ведь я управлять церковным приходом не гожусь: надобно вам знать, ваша милость, что хотя я и похож на человека, но только церкви что от меня, что от скота — один прок.

— Право, ваша милость, вы ошибаетесь, ведь не все острова ладно скроены,— возразил другой слуга.— Попадаются среди них и кривые, и бедные, и унылые, и даже с самым из них ровным и стройным тот несчастный, которому он достанется, за-

бот и неприятностей не оберется. На что бы лучше нам бросить эту проклятую службу и разойтись по домам, а уж дома мы бы занялись более приятными делами — скажем, охотой или рыбной ловлей, потому у какого самого что ни на есть бедного оруженосца нет своей лошаденки, пары борзых и удочки, чтоб было чем занять себя в деревне?

— У меня все это есть,— объявил Санчо,— лошадки, правда, нет, но зато есть осел — вдвое лучше, чем конь моего господина. Не встретить мне в радости Пасху, ближайшую,-какая должна быть, если я когда-либо обменяю моего осла на этого коня, хотя бы в придачу мне дали не одну фанегу* овса. Вы не поверите, ваша милость, какой у меня замечательный серый — он у меня серый, осел-то. Ну, а за собаками дело не станет: собак у нас в деревне сколько хочешь.

— Признаться сказать, сеньор оруженосец,— молвил другой слуга,— я вознамерился и решился бросить всю эту рыцарскую чушь, возвратиться к себе в деревню и растить детишек: у меня их трое, и все — будто перлы Востока.

— А у меня двое,— сказал Санчо,— да такие, что подноси их на блюде хоть самому римскому папе, особливо девчонка, я ее с божьей помощью прочу в графини, хотя и наперекор матери.

— А сколько же лет этой сеньоре, которая должна стать графиней? — полюбопытствовал другой слуга.

— Около пятнадцати,— отвечал Санчо,— но ростом она с копье, свежа, как апрельское утро, а сильна, как все равно поденщик. И я молю бога, чтоб он привел меня свидеться с семьей и избавил от смертного греха, то есть от опасной службы оруженосца, связался же я с нею вторично, оттого что меня соблазнил и попутал кошелек с сотней дукатов, который я однажды нашел в самом сердце Сьерры Морены, а теперь черт то и дело машет у меня перед глазами мешком с дублонами — то здесь, то там; ан, глядь, не там, а вон где,— и мне все чудится: вот я его хватаю руками, прижимаю к груди, несу домой, приобретаю землю, сдаю ее в аренду и живу себе, что твой принц, и стоит мне об этом подумать, как мне уже кажутся легкими и выносимыми те муки, что мне приходится терпеть из-за моего слабоумного господина, которого я почитаю не столько за рыцаря, сколько за сумасброда.

— Вот потому-то и говорят, что от зависти глаза разбегаются,— заметил другой слуга.— Но коли уж речь зашла о сумасбродах, то большего сумасброда, чем мой господин, еще не видывал свет,— это про таких, как он, говорится: «Чужие заботы и осла погубят». Ведь для того, чтобы другой рыцарь образумился, он сам стал сумасшедшим и теперь разъезжает в поисках того, что при встрече может ему еще выйти боком.

— А он, часом, не влюблен?

— Влюблен,— отвечал другой слуга,— в какую-то Касильдею Вандальскую, такую крутую и непромешанную особу, каких свет не производил. Но только крутым нравом его не проймешь, и в недалеком будущем это обнаружится.

— На самой ровной дороге попадаются бугорки да рытвины,— заметил Санчо,— у людей еще только варят бобы, а у меня их полны котлы; у сумасшествия, знать, больше спутников да прислужников, нежели у мудрости. Однако ж если недаром говорится, что легче на свете жить, когда у тебя есть товарищ по несчастью, значит, и мне ваша милость будет утешением: ведь ваш господин такой же глупец, как и мой.

— Глупец, да зато удалец,— возразил другой слуга,— и не так он глуп и удал, как хитер.

— А мой не таков,— объявил Санчо,— я хочу сказать, что у моего хитрости вот настолько нет, душа у него нараспашку, он никому не способен причинить зло, он делает только добро, коварства этого самого в нем ни на волос нет, всякий ребенок уверит его, что сейчас ночь, хотя бы это было в полдень, и вот за это простодушие я и люблю его больше жизни и, несмотря ни на какие его дурачества, при всем желании не могу от него уйти.

— Как бы то ни было, друг и государь мой,— сказал слуга рыцаря-песнопевца,— если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Лучше было бы нам — бодрым шагом в родные края, а то ведь приключения не всегда бывают приятные.

Санчо ежеминутно сплевывал слюну, на вид липкую и довольно густую, и, заметив это, сострадательный оруженосец другого рыцаря молвил:

— По-моему, мы так много говорили, что у нас в горле пересохло, ну да у меня привязано к луке седла такое хорошее промачивающее средство — просто прелесть!

Сказавши это, он встал и не в долгом времени возвратился с большим бурдюком вина и пирогом длиною в пол-локтя, и это не преувеличение, ибо то был пирог с кроликом такой величины, что Санчо, дотронувшись до него и решив, что это даже не козленок, а целый козел, обратился к другому оруженосцу с вопросом:

— И вы эдакое возите с собой, сеньор?

— А вы что же думали? — отозвался тот.— Или, по-вашему, я уж такой захудалый оруженосишка? На крупе моего коня больше запасов довольствия, нежели у генерала, когда он отправляется в поход.

Не заставив себя долго упрашивать, Санчо принялся за еду и, второпях глотая куски величиною с мельничный жернов, сказал:

— Ваша милость — вот уж истинно верный и преданный ору-

женосец, всамделишный и взаправдашный, роскошный и богатый, как показывает этот пир, который вы задали чисто по волшебству, не то что я, оруженосец жалкий и незадачливый, у которого в переметных сумках только и есть, что немного сыру, такого твердого, что им ничего не стоит размозжить голову великану, да сверх того полсотни сладких стручков, да столько же лесных и грецких орехов. А все потому, что мой господин беден, и еще потому, что он держится того мнения и следует тому правилу, будто странствующим рыцарям надлежит подкрепляться одними лишь сухими плодами да полевыми травами.

— По чести, братец,— объявил другой слуга,— мой желудок не способен переваривать чертополох, дикие груши и древесные корни. Ну их ко всем чертям, наших господ, со всеми их мнениями и рыцарскими законами, пусть себе едят что хотят,— я везу с собой холодное мясо, а к луке седла у меня на всякий случай привязан вот этот бурдюк, и я его так люблю и боготворю — ну прямо минутки не могу пробыть, чтобы не обнять его и не прильнуть к нему устами.

Сказавши это, он сунул бурдюк в руки Санчо, и тот, накренив его и потягивая из горлышка, с четверть часа рассматривал звезды.

Долго еще два славных оруженосца беседовали и выпивали, пока наконец сон не связал им языки и не умерил их жажду, утолить же ее было немыслимо; так они и заснули, держась за почти пустой бурдюк, с недожеванными кусками пирога во рту, и теперь мы их на время оставим, чтобы рассказать, о чем говорили между собою Рыцарь Зеркал и Рыцарь Печального Образа.

ГЛАВА XIV,

в коей продолжается приключение с Рыцарем Зеркал

После долгой беседы с Дон Кихотом другой рыцарь обратился к нему с такими словами:

— А теперь, сеньор рыцарь, да будет вам известно, что не столько по велению судьбы, сколько по своей доброй воле меня угораздило влюбиться в несравненную Касильдею Вандальскую. Я именую ее несравненной потому, что никто не может с ней сравниться ни по величественности телосложения, ни по родовитости, ни по красоте. И вот эта Касильдея, о которой я держу речь, за все мои честные намерения и благородные чувства отплатила тем, что по примеру мачехи Геркулеса* повелела мне выдержать многоразличные испытания, и в конце каждого она давала мне слово, что в конце следующего наступит конец моим

ожиданиям, а между тем мытарства мои нанизываются одно на другое, и нет им числа, и теперь уж я не знаю, какое из них будет последним и положит начало исполнению благих моих желаний. Однажды она приказала мне вызвать на поединок знаменитую севильскую великаншу Хиральду*, ражую и здоровенную, точно отлитую из меди, и, хотя она всегда на одном месте, самую изменчивую и непостоянную женщину в мире. Я пришел, увидел, победил* ее, велел стоять спокойно и не вертеться. Еще как-то приказала мне моя владычица взвесить древних каменных Быков Гисандо*, а ведь они такие тяжеленные, что это скорей подошло бы грузчикам, нежели рыцарям. Еще как-то приказала она мне низринуться и низвергнуться в пропасть Кабра*,— дело страшное и неслыханное,— а затем подробно доложить ей о том, что́ в мрачной той бездне таится. Я остановил вращение Хиральды, взвесил Быков Гисандо, бросился в пропасть и исследовал таимое на ее дне, а надежды мои как не сбывались, так и не сбываются, приказы же ее и пренебрежение — это все своим чередом. Ведь вот уж совсем недавно приказала она мне объехать все испанские провинции и добиться признания от всех странствующих рыцарей, какие там только бродят, что красотою своею она превзошла всех женщин на свете, а что я — самый отважный и влюбленный рыцарь во всем подлунном мире, и по ее распоряжению я уже объехал почти всю Испанию и одолел многих рыцарей, осмелившихся мне перечить. Но больше всего я кичусь и величаюсь тем, что победил в единоборстве славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского и заставил его признать, что моя Касильдея Вандальская прекраснее его Дульсинеи, и полагаю, что это равносильно победе над всеми рыцарями в мире, ибо их всех победил помянутый мною Дон Кихот, а коль скоро я его победил, то его слава, честь и заслуги переходят ко мне и переносятся на мою особу, так что неисчислимые подвиги названного мною Дон Кихота теперь уже приписываются мне и становятся моими.

С изумлением внимал Дон Кихот речам другого рыцаря и не раз готов был сказать ему, что он лжет; слово «ложь» так и вертелось у него на языке, однако ж он, сколько мог, сдерживал себя, чтобы тот окончательно запутался в собственной лжи, и потому хладнокровно заметил:

— Что ваша милость, сеньор рыцарь, победила чуть ли не всех странствующих рыцарей Испании и даже всего мира — тут я ничего не могу сказать, но что вы победили Дон Кихота Ламанчского — это я ставлю под сомнение. Может статься, то был кто-нибудь другой, на него похожий, хотя, впрочем, мало кто на него походит.

— Как так другой? — вскричал рыцарь.— Клянусь небом, раскинувшимся над нами, что я схватился с Дон Кихотом, одолел

его и принудил сдаться, и это человек высокого роста, долговязый и сухопарый, лицом худощавый, волосы у него с проседью, нос орлиный, с чуть заметной горбинкой, усы большие, черные, книзу опущенные. Воюет он под именем Рыцаря Печального Образа, а в оруженосцах у него состоит некий хлебопашец Санчо Панса, ездит и гарцует он на славном коне, именуемом Росинантом, и вот еще что: повелительницею его является некая Дульсинея Тобосская, прежде именовавшаяся Альдонсою Лоренсо, подобно тому как мою владычицу зовут на самом деле Касильдою и родом она из Андалусии, а я ее на этом основании величаю Касильдеей Вандальскою. Если же всех этих примет недостаточно, дабы вы уверились в моей правоте, то при мне мой меч, а он и само недоверие принудит уверовать.

— Успокойтесь, сеньор рыцарь, и выслушайте меня,— сказал Дон Кихот.— Надобно вам знать, что этот Дон Кихот, о котором вы говорите,— мой самый лучший друг, и у нас с ним такая тесная дружба, что мы как бы составляем одно целое, приметы же, которые вы мне сообщили, столь верны и бесспорны, что я не могу не признать, что вы победили именно его. С другой стороны, мое собственное зрение и осязание доказывают мне всю невозможность того, чтобы это был он, если только кто-нибудь из многочисленных враждебных ему волшебников (вернее всего, тот, кто постоянно его преследует) не принял его облика и не дал себя одолеть, дабы лишить его славы, которую он высокими своими рыцарскими подвигами во всех известных нам странах заслужил и стяжал. И для вящей убедительности я хочу еще довести до вашего сведения, что помянутые волшебники, его недоброжелатели, дня два тому назад преобразили и обратили прекрасную Дульсинею Тобосскую в простую и грубую сельчанку, и, должно полагать, так же они изменили наружность и самого Дон Кихота. Если же всего этого не довольно, дабы вы удостоверились в правоте слов моих, то перед вами сам Дон Кихот, который свою правоту будет отстаивать с оружием в руках, то ли на коне, то ли спешившись, то ли как вам заблагорассудится.

Сказавши это, он встал и в ожидании, что́ предпримет другой рыцарь, взялся за меч, а тот не менее спокойно обратился к нему с такими словами:

— Исправному плательщику залог не страшен. Кому однажды, сеньор Дон Кихот, удалось победить вас, превращенного, тот имеет основание надеяться одолеть вас в вашем настоящем виде. Однако ж рыцарям не подобает совершать ратные подвиги впотьмах, мы не разбойники и не лиходеи, подождем до рассвета, и да будет солнце свидетелем наших деяний. Условием же нашего поединка я ставлю следующее: побежденный сдается на милость

победителя, и тот волен поступить с ним как угодно, с тем, однако же, чтобы повеления его не были для побежденного унизительны.

— Подобное условие и соглашение меня совершенно удовлетворяют,— объявил Дон Кихот.

Засим оба рыцаря направились к своим оруженосцам и застали их похрапывающими в тех самых позах, в каких они были застигнуты сном. Рыцари их разбудили и велели снаряжать коней, ибо на восходе солнца между ними-де должно состояться кровопролитное, бесподобное и беспримерное единоборство, при каковом известии Санчо обмер и оторопел, ибо от оруженосца другого рыцаря он много наслышался об удальстве рыцаря и теперь опасался за жизнь своего господина; как бы то ни было, оруженосцы, ни слова не говоря, направились к своему табуну — надобно заметить, что все три коня и осел успели обнюхать друг дружку и уже не расставались.

Дорогою оруженосец рыцаря-песнопевца сказал Санчо:

— Было бы вам известно, приятель, что у андалусских драчунов такой обычай: коли попал во свидетели, то не сиди сложа руки, покуда дерутся спорщики. Теперь, стало быть, вы предуведомлены, что коли хозяева наши дерутся, то и нам надлежит биться так, чтобы клочья летели.

— Пускай себе, сеньор оруженосец, держатся этого обычая и соблюдают его подстрекатели и драчуны, а чтобы оруженосцы странствующих рыцарей — это уж дудки,— возразил Санчо.— Я, по крайности, не слыхал от моего господина о подобном обычае, а он все установления странствующего рыцарства назубок знает. И пусть даже это правда и в самом деле существует такое правило, чтобы оруженосцы дрались, когда дерутся их господа, я все равно не стану его исполнять, а лучше уплачу пеню, налагаемую на таких смирных оруженосцев, каков я. Это мне наверняка станет дешевле корпии на лечение головы, а ведь я уверен, что в драке мне ее непременно разрубят и рассекут пополам. И еще потому не могу я драться, что у меня нет меча, да я его и в руки-то отродясь не брал.

— Это уладить легко,— молвил другой оруженосец,— у меня с собой два одинаковых полотняных мешка, вы возьмете один, я — другой, и мы на равных условиях станем друг друга охаживать мешками.

— Это пожалуйста,— сказал Санчо,— такая драка ранить нас не ранит, а пыль повыбьет.

— Нет, так не годится,— возразил другой оруженосец.— Чтобы ветер не унес мешков, нужно положить в них по полдюжине хорошеньких гладеньких голышей, по весу одинаковых, вот мы и начнем мешковать друг дружку без особого вреда и ущерба для обоих.

— Ах ты нелегкая его побери! — воскликнул Санчо.— Нечего сказать, хорошенькие собольи меха и волокна хлопка желает он наложить в мешки, чтоб не раскроить друг другу череп и чтоб из наших костей не получилось каши! Да хоть бы вы, государь мой, шелковичными коконами их набили, все равно, было бы вам известно, я не стану драться, пусть дерутся наши господа, ну их к богу, а мы будем жить-поживать да винцо попивать, время и так постарается нас уморить, а нам самим не стоит хлопотать, чтобы век наш кончился до поры и до срока: созреем, тогда и упадем.

— И все же нам хоть с полчасика, а придется подраться,— возразил другой оруженосец.

— Никак нет,— отрезал Санчо,— я не такой невежа и не такой неблагодарный, чтоб затевать хотя бы легкую ссору с человеком, с которым мы вместе ели и пили. Тем более, он меня ничем не разгневал и не обозлил, так какого же черта я ни с того ни с сего сунусь в драку?

— Я и это берусь уладить,— сказал другой оруженосец,— и вот каким образом: перед началом стычки я преспокойно подойду к вашей милости и дам вам две-три затрещины, так что вы полетите с ног, и этим я пробужу в душе вашей гнев, даже если вы сонливее сурка.

— Против этого выпада у меня найдется другой, нисколько не хуже,— объявил Санчо.— Я схвачу дубину и, прежде нежели ваша милость начнет пробуждать мой гнев, так усыплю ваш, что пробудится он разве на том свете, а на том свете, поди, известно, что наступать себе на ногу я никому не позволю. И всем нам нужно держать ухо востро, а главное, не будить чужой гнев, пусть он себе спит, потому чужая душа — потемки: пойдешь за шерстью— ан, глядь, самого обстригли, да ведь и господь благословил мир, а свары проклял. И то сказать: затравленный, загнанный, прижатый к стене кот превращается в льва, ну, а я-то человек, так я бог знает в кого могу превратиться, а потому я вас, сеньор оруженосец, предуведомляю: за весь вред и ущерб от нашей драки в ответе вы, и никто другой.

— Добро,— молвил другой оруженосец.— Утро вечера мудренее.

Между тем на деревьях уже защебетали хоры птичек радужного оперения; в своих многоголосых и веселых песнях они величали и приветствовали прохладную зарю, чей прекрасный лик уже показался на востоке и которая уже начала отряхать со своих волос бесчисленное множество влажных перлов, и омытые приятною этою влагою травы были словно покрыты и осыпаны тончайшим белым бисером; ивы источали сладостную манну, смеялись родники, журчали ручьи, ликовали дубравы, и в самый

дорогой свой наряд убрались луга на заре. Когда же рассвело и стало возможно видеть и различать предметы, то первым предметом, бросившимся в глаза Санчо Пансе, был нос оруженосца Рыцаря Зеркал, такой громадный, что казалось, будто он отбрасывает тень на все оруженосцево тело. В самом деле, нос был величины невероятной, с горбинкою посредине, усеянный бородавками, лиловый, как баклажан, и свисал ниже рта на целых два пальца, каковые величина, цвет, бородавки и кривизна до того оруженосца безобразили, что Санчо при виде вышеописанного носа заболтал руками и ногами, как ребенок, с которым случился родимчик, и дал себе слово получить лучше две сотни оплеух, нежели пробуждать гнев у такого страшилища, а потом с ним драться. Тем временем Дон Кихот устремил взор на своего противника, но тот уже надел шлем и опустил забрало, так что лица его нельзя было разглядеть; Дон Кихот, однако же, заметил, что это человек коренастый и не очень высокого роста. Поверх доспехов на нем был камзол, сотканный словно из нитей чистейшего золота и сплошь усыпанный сверкающими зеркальцами в виде крошечных лун, что́ придавало его наряду необычайную пышность и великолепие; на шлеме развевалось множество зеленых, желтых и белых перьев; его копье, прислоненное к дереву, было преогромное и толстое, с железным наконечником величиною в пядь.

Дон Кихот все это рассмотрел и заметил и из всего виденного и замеченного вывел заключение, что упомянутый рыцарь, верно, изрядный силач, однако это не привело его в ужас, как Санчо Пансу,— нет, он обратился к Рыцарю Зеркал с хладнокровною и смелою речью:

— Если боевой пыл не взял верх над вашею, сеньор рыцарь, учтивостью, то я взываю к ней и прошу вас поднять немного забрало, дабы я уверился, что мужественность лица вашего соответствует мужественности вашего телосложения.

— Выйдете ли вы, сеньор рыцарь, из этого испытания победителем или же будете побеждены,— возразил Рыцарь Зеркал,— у вас еще будет досуг и время меня разглядеть, а сейчас я не могу исполнить ваше желание единственно потому, что, думается мне, я нанесу явную обиду прекрасной Касильдее Вандальской, если буду тратить время на то, чтобы поднимать забрало, меж тем как мне надлежит вынудить у вас то признание, коего, как вам известно, я от вас добиваюсь.

— Как бы то ни было,— возразил Дон Кихот,— пока мы будем садиться на коней, вы успеете мне сказать, подлинно ли я тот самый Дон Кихот, которого вы будто бы победили.

— На каковой ваш запрос отвечаем,— молвил Рыцарь Зеркал,— что вы как две капли воды похожи на побежденного

мною рыцаря, но вы же сами говорите, что волшебники строят ему козни, а потому я не осмеливаюсь утверждать положительно, являетесь ли вы данным подследственным лицом или нет.

— Теперь для меня совершенно ясно, что вы заблуждаетесь,— заметил Дон Кихот,— однако ж, дабы вы разуверились совершенно, пусть подадут нам коней,— с помощью господа бога, моей госпожи и собственной моей длани я увижу ваше лицо скорее, чем если бы вы стали поднимать забрало, вы же увидите, что я не тот побежденный Дон Кихот, за которого вы меня принимаете.

Тут, прервав разговор, сели они на коней, и Дон Кихот поворотил Росинанта, чтобы сначала разогнать его, а затем ринуться на своего неприятеля, и так же точно поступил Рыцарь Зеркал. Но не успел Дон Кихот отъехать и на двадцать шагов, как Рыцарь Зеркал, также на полпути, остановился и крикнул ему:

— Помните же, сеньор рыцарь, что по условию нашего поединка побежденный, еще раз повторяю, сдается на милость победителя.

— Я знаю,— отозвался Дон Кихот,— с тою, однако же, оговоркою, что побежденному не будет предъявлено требований и дано приказаний, находящихся в противоречии с рыцарским уставом.

— Само собою разумеется,— молвил Рыцарь Зеркал.

Тут Дон Кихот обратил внимание на из ряду вон выходящий нос оруженосца и не менее Санчо ему подивился, настолько, что даже почел этого оруженосца за некое чудовище, за человека другой породы, доселе не встречавшейся на земле. Санчо, видя, что его господин намеревается взять разбег, не пожелал остаться наедине с носатым: он боялся, что если тот хоть раз щелкнет его своим носом по носу, то этим все их сражение и кончится, ибо от силы удара, а то и со страху он непременно растянется,— поэтому-то, ухватившись за Росинантово стремя, он двинулся следом за своим господином; когда же, по его соображениям, настала пора поворотить обратно, он сказал:

— Будьте так добры, государь мой, пока вы еще с неприятелем не схватились, подсобите мне влезть на этот дуб — там мне будет удобнее, нежели на земле, наблюдать за той жаркой схваткой, которая сейчас начнется между вашей милостью и вон тем рыцарем.

— По-моему, Санчо,— возразил Дон Кихот,— ты просто хочешь подняться и взобраться на подмостки, чтобы смотреть на бой быков, находясь в полной безопасности.

— Сказать по правде,— признался Санчо,— меня ошеломил и устрашил громадный нос этого оруженосца, и я боюсь с ним оставаться.

— Нос у него в самом деле таков, что, будь я другим человеком, он бы и меня привел в трепет,— сказал Дон Кихот.— Ну что ж, полезай, я тебя подсажу.

Пока Дон Кихот возился, помогая Санчо взгромоздиться на дуб, Рыцарь Зеркал взял какой ему хотелось разбег и, полагая, что Дон Кихот успел сделать то же самое, и не дожидаясь ни звука трубы, ни какого-либо другого знака, поворотил своего коня, столь же знатного и ретивого, как Росинант, и во всю его прыть, то есть мелкой рысцой, двинулся на сближение с неприятелем; видя, однако ж, что Дон Кихот замешкался с подсаживанием Санчо, Рыцарь Зеркал натянул поводья и на полпути остановился, за что конь был ему весьма признателен, ибо он уже выдохся. Дон Кихоту меж тем почудилось, будто неприятель уже на него налетает,— он с силою вонзил шпоры в тощие бока Росинанта, так его этим расшевелив, что Росинант впервые перешел на крупную рысь (а то ведь обыкновенно он только трусил рысцой) и с невиданною быстротою помчал своего седока прямо на Рыцаря Зеркал. Рыцарь же в это время всаживал своему коню шпоры по самый каблук, но конь и на палец не сдвинулся с того места, где его бег был остановлен. При таких-то благоприятных обстоятельствах и до такой степени вовремя напал Дон Кихот на своего противника, возившегося с конем и то ли не сумевшего, то ли не успевшего взять копье наперевес. Не обращая внимания на эти его затруднения, Дон Кихот без малейшего для себя риска и вполне безнаказанно так хватил Рыцаря Зеркал, что тому волей-неволей пришлось скатиться по крупу коня на землю, и до того лихо он при этом шлепнулся, что, словно мертвый, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой.

Как увидел Санчо, что рыцарь сверзился, так сейчас же спустился с дуба и с великим проворством направился к своему господину, тот же, спешившись, поспешил к Рыцарю Зеркал и, развязав ему ленты от шлема, чтобы удостовериться, жив он или мертв, и чтобы ему легче было дышать в случае, если жив, увидел... Но как сказать, кого он увидел, не приведя при этом в изумление, не поразив и не ужаснув читателей? Он увидел лицо, облик, наружность, черты, образ и обличье бакалавра Самсона Карраско, и как скоро увидел, то возопил громким голосом:

— Сюда, Санчо! Сейчас ты должен будешь увидеть то, чему ты не должен верить! Торопись же, сын мой, и удостоверься, на что способно волшебство, на что способны колдуны и чародеи!

Санчо приблизился и, увидев лицо бакалавра Карраско, начал усердно креститься и не менее усердно призывать имя гос-

подне. Все это время потерпевший рыцарь не подавал признаков жизни, а потому Санчо сказал Дон Кихоту:

— По мне, государь мой, вашей милости на всякий случай следовало бы вогнать и всунуть меч в пасть вот этого, который прикинулся бакалавром Самсоном Карраско: может статься, вы таким образом прикончите одного из враждебных вам чародеев.

— Ты дело говоришь,— заметил Дон Кихот,— чем меньше врагов, тем лучше.

И он уж обнажил меч, чтобы последовать совету и наставлению Санчо, но тут к нему подскочил оруженосец Рыцаря Зеркал, уже без этого безобразного носа, и громко воскликнул:

— Подумайте, сеньор Дон Кихот, что вы делаете! Ведь у ваших ног бакалавр Самсон Карраско, ваш приятель, а я его оруженосец.

Санчо, видя, что он не такой урод, как прежде, спросил:

— А где же нос?

На что тот ответил:

— Он у меня здесь, в кармане.

С этими словами он сунул руку в правый карман и вытащил поддельный, из лакированного картона, нос вышеописанного образца. Санчо долго к оруженосцу приглядывался и наконец громко и с изумлением воскликнул:

— Пресвятая богородица, спаси нас! Да ведь это же Томе́ Сесьяль, сосед мой и кум!

— А кто же еще! — подхватил обезносевший оруженосец.— Да, я Томе Сесьяль, друг мой и кум Санчо Панса, и я тебе потом расскажу про все пакости, плутни и каверзы, из-за которых я здесь очутился. А сейчас проси и умоляй своего господина, чтобы он не трогал, не обижал, не ранил и не убивал Рыцаря Зеркал, что лежит у его ног,— вне всякого сомнения, это дерзкий и легкомысленный бакалавр Самсон Карраско, наш односельчанин.

Тем временем Рыцарь Зеркал пришел в себя; тогда Дон Кихот приставил к его лицу острие обнаженного меча и сказал:

— Смерть вам, рыцарь, если вы не признаете, что несравненная Дульсинея Тобосская выше по красоте вашей Касильдеи Вандальской, а кроме того, вы должны мне обещать (если только после этой сшибки и падения вы останетесь живы), что отправитесь в город Тобосо, явитесь к Дульсинее и скажете, что вы от меня, а уж как она с вами поступит, на то ее полная воля; если же она полную волю предоставит вам, то вам все же придется меня разыскать (вожатаем послужит вам след от моих деяний, и он приведет вас к месту моего пребывания) и поведать, о чем вы с нею беседовали; таковы мои условия, и они находятся в

согласии с нашим уговором пред битвою и не противоречат уставу странствующего рыцарства.

— Признаю,— сказал поверженный рыцарь,— что всклокоченные, хотя и чистые волосы Касильдеи не стоят рваных и грязных башмаков сеньоры Дульсинеи Тобосской, и обещаю съездить к ней, вернуться от нее к вам и дать самый полный и подробный отчет, какого только вы от меня потребуете.

— Еще вам надлежит признать и поверить,— примолвил Дон Кихот,— что тот рыцарь, которого вы одолели, не был и не мог быть Дон Кихотом Ламанчским, что это был кто-то другой, на него похожий, я же признаю и верю, что хотя вы и похожи на бакалавра Самсона Карраско, однако ж вы не он, а кто-то другой, на него похожий, и что недруги мои придали вам его обличье, дабы я сдержал и усмирил порыв ярости, меня охватившей, и дабы я с кротостью пожинал плоды победы.

— Все это я признаю, принимаю в рассуждение и сознаю, равно как и вы этому верите, принимаете это в рассуждение и сознаете,— отвечал вышибленный из седла рыцарь.— А теперь будьте любезны, позвольте мне встать — впрочем, не знаю, смогу ли: я основательно расшибся, когда падал.

Дон Кихот и оруженосец Томе Сесьяль стали поднимать его, а Санчо глаз не сводил со своего земляка и забрасывал его вопросами, из ответов на которые явствовало, что это и точно Томе Сесьяль; однако же слова Дон Кихота о том, что волшебники заменили облик Рыцаря Зеркал обликом бакалавра Карраско, запали в душу Санчо, и он не решался признать за истину то, в чем его убеждало его же собственное зрение. В конце концов господин и его слуга так и не разубедились, а Рыцарь Зеркал и его оруженосец, недовольные и понурые, расстались с Дон Кихотом и Санчо и отправились искать место, где бы можно было вправить и перевязать ребра потерпевшему рыцарю. Дон Кихот и Санчо снова двинулись в путь, и тут мы их и оставим, чтобы сообщить, кто такие Рыцарь Зеркал и носовитейший его оруженосец.

ГЛАВА XV,

в коей рассказывается и сообщается о том, кто такие были Рыцарь Зеркал и его оруженосец

Дон Кихот был чрезвычайно доволен, горд и упоен своею победою над столь отважным рыцарем, каким ему представлялся Рыцарь Зеркал, и, поверив его честному рыцарскому слову, он надеялся узнать от него в точности, все ли еще заворожена

сеньора Дульсинея, ибо такой побежденный рыцарь, по мнению Дон Кихота, не мог не довести до его сведения, как он с нею встретится, иначе это не был бы рыцарь. Но так думал Дон Кихот, да не так думал Рыцарь Зеркал,— как уже было сказано, все помыслы его были теперь устремлены к тому, где бы полечиться. Надобно заметить, что бакалавр Самсон Карраско, прежде чем подвигнуть Дон Кихота возобновить прерванные его рыцарские похождения, совещался со священником и цирюльником по поводу того, какие надлежит принять меры, чтобы Дон Кихот тихо и спокойно сидел дома и чтобы злополучные поиски приключений более его не соблазняли; на этом совещании было единодушно решено, и, в частности, таково было мнение самого Карраско, что Дон Кихота должно отпустить, ибо удержать его все равно невозможно, а что Самсон под видом странствующего рыцаря его нагонит, завяжет с ним бой, повод для которого всегда найдется, и одержит над ним победу (каковая победа представлялась участникам совещания делом нетрудным); между бойцами же должен, мол, существовать предварительный уговор и соглашение, по которому побежденный обязан сдаться на милость победителя, и вот на этом основании переодетый рыцарем бакалавр велит побежденному Дон Кихоту возвратиться в родное село и в родной дом и никуда не выезжать в течение двух лет или же впредь до особого его распоряжения, причем все, кто держал совет, были совершенно уверены, что Дон Кихот не преминет исполнить это повеление, дабы не идти против законов рыцарства и не нарушать их, и может статься, что в заточении он, дескать, позабудет свои сумасбродства или же сыщется какое-либо подходящее средство от его безумия.

Карраско все это одобрил, а в оруженосцы к нему напросился Томе Сесьяль, кум и сосед Санчо Пансы, весельчак и пустельга. Выше было сказано, как снарядился Самсон, а Томе Сесьяль приладил к натуральному своему носу уже упоминавшийся искусственный и поддельный, чтобы его не узнал куманек, когда они встретятся, и поехали Карраско с Сесьялем по той же самой дороге, что и Дон Кихот, совсем было нагнали его во время приключения с колесницею Смерти и в конце концов столкнулись с ним в лесу, где и произошло между ними все то, о чем внимательному читателю уже известно. Томе Сесьяль, видя, сколь неудачным оказалось их предприятие и сколь мрачен конец их пути, обратился к бакалавру с такими словами:

— Сказать по совести, сеньор Самсон Карраско, так нам и надо: не хитро что-нибудь затеять и исполнить, да чаще всего трудненько бывает ноги унести. Дон Кихот — сумасшедший, мы с вами здоровы; он себе целехонек, да еще и посмеивается, а вы вон какой, ваша милость: избитый и унылый. Теперь давайте

подумаем, кто более помешан: тот, который другим и быть не может, либо безумец по собственному желанию.

На это ему Самсон ответил так:

— Разница между этими двумя сумасшедшими заключается в том, что безумец поневоле безумцем и останется, безумец же добровольный в любое время может превратиться в человека здорового.

— Коли так,— подхватил Томе Сесьяль,— то я добровольно свихнулся, когда пожелал пойти к вашей милости в оруженосцы, а теперь я, так же добровольно, желаю образумиться и вернуться домой.

— Это твое дело,— заметил Самсон,— а я, пока не отлуплю Дон Кихота, ни под каким видом домой не вернусь, и теперь я стану его преследовать не с целью привести в разум, но единственно в целях мести, ибо сильная боль в ребрах принуждает меня отказаться от более человеколюбивых намерений.

Продолжая такой разговор, достигли они одного селения, и тут им посчастливилось найти костоправа, который и оказал злосчастному Самсону помощь. Томе Сесьяль покинул его и возвратился домой, Самсон же, оставшись один, принялся обдумывать план мести, и в свое время история наша к нему еще вернется, а теперь ей хочется разделить с Дон Кихотом его радость.

ГЛАВА XVI,

из коей явствует, каких вершин и пределов могло достигнуть и достигло неслыханное мужество Дон Кихота, и в коей речь идет о приключении со львами, которое Дон Кихоту удалось счастливо завершить

Радостный, счастливый и гордый, как уже было сказано, продолжал Дон Кихот свой путь; ему представлялось, что одержанная победа возвела его на степень наиотважнейшего рыцаря своего времени; он считал все приключения, какие только могут ожидать его в будущем, уже завершенными и до победного конца доведенными; он уже презирал и колдунов и самое колдовство; он уже позабыл и о бесчисленных побоях, которые за время рыцарских его похождений довелось ему принять, и о камне, выбившем ему половину зубов, и о неблагодарности каторжников, и о той дерзости, с какою янгуасцы охаживали его дубинами; словом, он говорил себе, что придумай он только уловку, прием или же способ, чтобы расколдовать сеньору Дульсинею, и он уже не стал бы завидовать величайшей удаче, какая когда-либо выпадала на долю наиудачливейшего странствующего

рыцаря времен протекших. Он все еще был занят этими мыслями, когда Санчо сказал ему:

— Как вам это нравится, сеньор? У меня так и стоит перед глазами здоровенный, непомерный нос моего кума Томе Сесьяля.

— Неужели ты и правда думаешь, Санчо, что Рыцарь Зеркал — это бакалавр Карраско, а его оруженосец — твой кум Томе Сесьяль?

— Не знаю, что вам на это ответить,— молвил Санчо,— знаю только, что никто, кроме этого оруженосца, не мог бы сообщить мне такие верные приметы моего дома, жены и детей, лицо же у него без поддельного носа совсем как у Томе Сесьяля, а с Томе Сесьялем я, когда жил в деревне, виделся часто, да и дома наши бок о бок, опять же и говорит он точь-в-точь как Томе Сесьяль.

— Давай рассудим хорошенько, Санчо,— сказал Дон Кихот.— Послушай: ну с какой стати бакалавру Самсону Карраско переодеваться странствующим рыцарем, брать с собой оружие и доспехи и вызывать меня на бой? Разве я его враг? Разве я чем-либо навлек на себя его гнев? Разве я его соперник? Разве он вступил на военное поприще и завидует той славе, которую я на этом поприще стяжал?

— А что вы скажете, сеньор, о разительном сходстве этого рыцаря, кто бы он ни был, с бакалавром Карраско, а его оруженосца — с моим кумом Томе Сесьялем? — возразил Санчо.— И если это, по-вашему, волшебство, то почему же волшебники захотели быть похожими именно на эту парочку?

— Все это происки и уловки преследующих меня коварных чародеев,— отвечал Дон Кихот.— В предвидении того, что мне суждено одержать в этой схватке победу, они подстроили так, что побежденный рыцарь сделался похож на моего друга бакалавра, дабы дружеская моя привязанность к нему, встав между острием моего меча и неумолимостью длани моей, умерила правый гнев моего сердца,— им надобно было спасти жизнь тому, кто хитростью и обманом пытался отнять жизнь у меня. И ты, Санчо, в доказательствах не нуждаешься,— ты сам знаешь по опыту, а опыт никогда не лжет и не обманывает, что волшебникам ничего не стоит заменить один облик другим: прекрасный — уродливым, а уродливый — прекрасным. Два дня тому назад ты своими глазами созерцал красоту и статность несравненной Дульсинеи во всей ее целостности и в полном соответствии истинному ее облику, я же видел пред собой уродливую, грубую, простую сельчанку с тусклыми гляделками и с дурным запахом изо рта, и если порочный волшебник отважился на столь гнусное превращение, то неудивительно, что он же превратил рыцаря

в Самсона Карраско, а его оруженосца — в твоего кума, дабы лишить меня чести победителя. Но, как бы то ни было, я утешен, оттого что, несмотря на его обличье, победа все же осталась за мной.

— Один бог знает, где тут правда,— заметил Санчо.

А так как Санчо было известно, что превращение Дульсинеи состоялось благодаря его собственным плутням и проделкам, то и не мог он быть удовлетворен домыслами своего господина, однако ж возражать не стал, чтобы не проболтаться и самому не раскрыть свой обман.

Немного погодя Санчо свернул с дороги, чтобы попросить молока у пастухов, доивших неподалеку овец, а Дон Кихот между тем поднял голову и увидел, что навстречу едет повозка, расцвеченная королевскими флагами, и, решив, что это, уж верно, какое-нибудь новое приключение, он громко стал кричать Санчо, чтобы тот подал ему шлем. Санчо как раз в это время покупал у пастухов творог; настойчивый зов господина сбил его с толку, и он не знал, что с этим творогом делать и в чем его везти; расстаться с ним было жалко, ибо деньги за него были уже уплачены, и по сему обстоятельству порешил он сунуть его в шлем своего господина; с этими-то славными дарами направился он к Дон Кихоту, дабы узнать, что ему требуется, а тот при его приближении молвил:

— Друг мой! Подай мне шлем, Или я мало смыслю в приключениях, или же то, что там виднеется, представляет собою такое приключение, которое должно принудить меня, и уже принуждает, взяться за оружие.

Санчо не успел вынуть из шлема творог и оттого подал его как есть. Дон Кихот взял шлем и, не посмотрев, есть ли что внутри, с великим проворством надел его на голову; а так как творог слежался и отжался, то по всему лицу и бороде Дон Кихота потекла сыворотка, каковое обстоятельство привело Дон Кихота в ужас, и он сказал Санчо:

— Что бы это значило, Санчо? Не то у меня размягчился череп, не то растопился мозг, не то я весь взмокнул от пота. Но если я и впрямь вспотел, то, уж конечно, не от страха, хотя я и не сомневаюсь, что приключение, ожидающее меня, ужасно. Дай мне чем-нибудь отереться — пот настолько обилен, что я ничего не вижу.

Санчо подал ему платок, мысленно воздавая богу хвалу за то, что его господин не понял, в чем дело. Дон Кихот вытерся и снял шлем, чтобы посмотреть, отчего это стало холодно голове, а как скоро увидел внутри шлема белую кашицу, то поднес ее к носу и, понюхав, сказал:

— Клянусь жизнью сеньоры Дульсинеи Тобосской, ты, пре-

датель, мошенник и неучтивый оруженосец, положил мне сюда творог.

На это Санчо, напустив на себя совершенное равнодушие, ответил так:

— Коли это творог, так дайте его мне, ваша милость, я его съем... Да нет, пускай его черт съест — ведь это он, знать, сунул его в шлем. Да разве я осмелюсь запачкать шлем вашей милости? Нашли какого смельчака! По чести вам скажу, сеньор: я своим худым умишком, какой мне от бога дан, смекаю так, что у меня тоже, видно, есть эти самые волшебники, и они меня преследуют, потому как я есть ваше произведение и плоть от вашей плоти, и сунули они туда эту пакость, чтобы вывести вас из терпения и заставить пересчитать мне, как это за вами водится, ребра. Однако ж на сей раз они, честное слово, промахнулись: я полагаюсь на здравый смысл моего господина,— мой господин возьмет в толк, что нет у меня ни творогу, ни молока, ничего похожего, а если б у меня что-нибудь такое и было, то я скорее нашел бы ему место в своем собственном желудке, чем в вашем шлеме.

— И то правда,— заметил Дон Кихот.

Тут он вытер голову, лицо и бороду, вытер шлем и надел его, вытянулся на стременах и, осмотрев меч и взяв в руки копье, молвил:

— А теперь будь что будет — у меня достанет мужества схватиться с самим сатаною.

Тем временем повозка с флажками подъехала ближе, и тут оказалось, что, кроме погонщика верхом на одном из мулов и еще одного человека на передке повозки, никто больше ее не сопровождал. Дон Кихот выехал вперед и молвил:

— Куда, братцы, путь держите? Что это за повозка, что вы в ней везете и что это за стяги?

Погонщик же ему на это ответил так:

— Повозка — моя, а везу я клетку с двумя свирепыми львами, которых губернатор Оранский отсылает ко двору в подарок его величеству, флаги же — государя нашего короля в знак того, что везем мы его достояние.

— А как велики эти львы? — осведомился Дон Кихот.

— Столь велики,— отвечал человек, сидевший на передке,— что крупнее их или даже таких, как они, еще ни разу из Африки в Испанию не привозили. Я львиный сторож, много львов перевез на своем веку, но таких, как эти, еще не приходилось. Это лев и львица — лев в передней клетке, а львица в задней, и сейчас они голодные, потому с утра еще ничего не ели, так что, ваша милость, уж вы нас пропустите, нам надобно поскорее добраться до какого-нибудь селения и покормить их.

Дон Кихот же, чуть заметно усмехнувшись, ему на это сказал:

— Львят — против меня? Ну так эти сеньоры, пославшие их сюда, вот как перед богом говорю, сейчас увидят, такой ли я человек, чтобы устрашиться львов! Слезай с повозки, добрый человек, и если ты сторож, то открой клетки и выпусти зверей,— назло и наперекор тем волшебникам, которые их на меня натравили, я сейчас покажу, кто таков Дон Кихот Ламанчский.

Возница, видя, что это вооруженное пугало преисполнено решимости, молвил:

— Государь мой! Будьте настолько любезны, сжальтесь вы надо мной и велите выпустить львов не прежде, чем я распрягу мулов и отведу их в безопасное место, а то если львы их растерзают, то мне тогда всю жизнь придется терзаться: ведь мулы и повозка — это все мое достояние.

— О маловер! — вскричал Дон Кихот.— Слезай, распрягай мулов — словом, поступай как знаешь; сейчас ты увидишь, что напрасно хлопочешь и что все старания твои ни к чему.

Возница спешился и, нимало не медля, распряг мулов, а сторож между тем заговорил громким голосом:

— Призываю во свидетели всех здесь присутствующих, что я против воли и по принуждению открываю клетки и выпускаю львов и объявляю этому сеньору, что за весь вред и ущерб от этих зверей отвечает он, и он же возместит мне мое жалованье и то, что я имею сверх жалованья. Вы, сеньоры, спасайтесь бегством, прежде нежели я открою, а насчет себя я уверен, что звери меня не тронут.

Тут Санчо со слезами на глазах взмолился к Дон Кихоту, чтобы он отказался от этого предприятия, в сравнении с коим приключение с ветряными мельницами и ужасающее приключение с сукновальнями, а равно и все подвиги, которые он на своем веку совершил, это, дескать, только цветочки.

— Поймите, сеньор,— говорил Санчо,— тут нет колдовства, ничего похожего тут нет, сквозь решетку я разглядел коготь всамделишного льва и заключил, что ежели у этого льва такой коготь, то сам лев, уж верно, больше горы.

— Со страху он тебе и с полмира мог показаться,— возразил Дон Кихот.— Удались, Санчо, и оставь меня. Если же я погибну, то ведь тебе известен прежний наш уговор: поспеши к Дульсинее, все прочее сделается само собой.

К этому Дон Кихот прибавил много такого, что отняло у окружающих всякую надежду отговорить его от столь нелепой затеи. Санчо пришпорил своего серого, возница — своих мулов, и оба старались как можно дальше отъехать от повозки, прежде чем львы выйдут из заточения. Санчо заранее оплакивал гибель своего господина, ибо на сей раз нимало не сомневался, что быть

ему в когтях львиных; он проклинал свою судьбу и тот час, когда ему вспало на ум снова поступить на службу к Дон Кихоту; впрочем, жалобы и слезы не мешали ему нахлестывать серого, чтобы он быстрее удалялся от повозки. Когда же сторож наконец уверился, что беглецы далеко, он начал молить и заклинать Дон Кихота, но Дон Кихот ему сказал, что пусть, дескать, сторож не утруждает себя просьбами и заклинаниями, ибо все это напрасно, а пусть лучше, мол, поторопится. Пока сторож возился с первой клеткой, Дон Кихот обдумывал, как благоразумнее вести сражение — пешим или же на коне, и, поразмыслив, решил, что пешим, ибо львы могли испугать Росинанта. Он соскочил с коня, бросил копье, схватил щит, обнажил меч и, исполненный изумительной отваги и бесстрашия, важною поступью двинулся прямо к повозке, всецело поручая себя сначала богу, а потом госпоже своей Дульсинее.

Едва сторож увидел, что Дон Кихот уже наготове и что из боязни навлечь на себя гнев вспыльчивого и дерзкого кавальеро ему не миновать выпустить льва, он настежь распахнул дверцу первой клетки, где, повторяем, находился лев величины, как оказалось, непомерной — чудовищный и страховидный лев. Прежде всего лев повернулся в своей клетке, выставил лапы и потянулся всем телом, засим разинул пасть, сладко зевнул и языком почти в две пяди длиною протер себе глаза и облизал морду; после этого он высунулся из клетки и горящими, как угли, глазами повел во все стороны; при этом вид его и движения могли бы, кажется, навести страх на самоё смелость. Дон Кихот, однако, смотрел на него в упор — он с нетерпением ждал, когда же наконец лев спрыгнет с повозки и вступит с ним в рукопашную, а он изрубит льва на куски.

Вот до какой крайности дошло его доселе не виданное безумие. Однако благородный лев, не столь дерзновенный, сколь учтивый, оглядевшись, как уже было сказано, по сторонам и не обращая внимания на Донкихотово ребячество и молодечество, повернулся и, показав Дон Кихоту зад, прехладнокровно и не торопясь снова вытянулся в клетке; тогда Дон Кихот велел сторожу ударить его, чтобы разозлить и выгнать из клетки.

— Этого я делать не стану,— возразил сторож,— ведь коли я его раздразню, так он первым делом разорвет в клочки меня. Пусть ваша милость, сеньор кавальеро, удовольствуется уже сделанным, ибо по части храбрости лучшего и желать невозможно, испытывать же судьбу дважды не годится. В клетке у льва дверца отворена: он волен выходить или не выходить, но ежели он до сей поры не вышел, стало быть, и до вечера не выйдет. Твердость духа вашей милости уже доказана,— от самого храброго бойца, сколько я понимаю, требуется лишь вызвать недруга

на поединок и ожидать его на поле брани, если же неприятель не явился, то позор на нем, а победный венок достается ожидавшему.

— И то правда,— молвил Дон Кихот,— закрой, приятель, дверцу и в наилучшей форме засвидетельствуй все, что здесь на твоих глазах произошло, а именно: как ты открыл льву, как я его ждал, а он не вышел, как я его снова стал ждать, а он опять не вышел и снова улегся. Мой долг исполнен, прочь колдовские чары, и да поможет господь разуму, истине и истинному рыцарству, ты же закрой, повторяю, клетку, а я тем временем знаками подзову бежавших и отсутствовавших, дабы они услышали из твоих уст о моем подвиге.

Сторож так и сделал, а Дон Кихот, нацепив на острие копья платок, коим он вытирал лицо после творожного дождя, стал звать беглецов, которые все еще мчались и поминутно оборачивались; как же скоро Санчо увидел, что Дон Кихот машет белым платком, то сказал:

— Убей меня, если мой господин не одолел этих диких зверей,— ведь он нас кличет!

Беглецы остановились и уверились, что делал знаки не кто иной, как сам Дон Кихот; это их несколько ободрило, они осторожно двинулись обратно, и вскоре до них уже явственно донеслись крики Дон Кихота, который их звал. В конце концов они приблизились к повозке, и тогда Дон Кихот сказал вознице:

— Запрягай, братец, своих мулов и трогайся в путь, а ты, Санчо, выдай ему два золотых, один — для него, другой — для сторожа, за то, что я у них отнял время.

— Выдать-то я им с великим удовольствием выдам,— сказал Санчо,— но, однако же, что сталось со львами? Живы они или мертвы?

Тут сторож обстоятельно и с расстановкою принялся рассказывать об исходе схватки, преувеличивая, как мог и умел, доблесть Дон Кихота, при одном виде которого лев якобы струхнул и не пожелал и не посмел выйти из клетки, хотя дверца долгое время оставалась открытою; и только после того, как он, сторож, сказал этому кавальеро, что дразнить льва и силком гнать из клетки значит испытывать долготерпение божие, а кавальеро, дескать, именно добивался, чтобы льва раздразнили, он неохотно и скрепя сердце позволил запереть клетку.

— Что ты на это скажешь, Санчо? — спросил Дон Кихот.— Какое чародейство устоит против истинной отваги? Чародеи вольны обрекать меня на неудачи, но сломить мое упорство и мужество они не властны.

Санчо выдал деньги, возница запряг мулов, а сторож поцеловал Дон Кихоту руки за оказанное благодеяние и пообещал

рассказать о славном этом подвиге королю, когда приедет в столицу.

— Буде же его величество спросит, кто этот подвиг совершил, скажите, что — *Рыцарь Львов*, ибо я хочу, чтобы прежнее мое прозвание, *Рыцарь Печального Образа*, изменили, переменили, заменили и сменили на это, и тут я следую старинному обычаю странствующих рыцарей, которые меняли имена, когда им этого хотелось или же когда это напрашивалось само собой.

Повозка двинулась своею дорогою, а Дон Кихот и Санчо — своею.

ГЛАВА XVII,

в коей рассказывается о приключении с влюбленным пастухом

Дон Кихот не так еще далеко отъехал, когда ему повстречались двое то ли духовных лиц, сколько можно было судить по одежде, то ли студентов*, а с ними два поселянина; все четверо ехали верхами на животных ослиной породы. Один из студентов вез, как можно было заметить, что-то белое, суконное, завернутое вместе с двумя парами шерстяных чулок в зеленое полотно, заменявшее ему дорожный мешок; другой студент не вез ничего, кроме двух новеньких учебных рапир с кожаными наконечниками. Поселяне же везли с собой другие предметы, которые ясно показывали, что их обладатели едут из какого-нибудь большого села: там они все это купили, а теперь возвращаются к себе домой. И вот эти самые студенты, а равно и поселяне подивились Дон Кихоту так же точно, как дивились все, кто впервые с ним сталкивался, и всем им страх как захотелось узнать, что это за человек, столь не похожий на людей обыкновенных. Дон Кихот с ними раскланялся и, узнав, что едут они туда же, куда и он, предложил ехать вместе и попросил придержать ослиц, ибо конь его не мог за ними поспеть; при этом он из любезности объяснил им в кратких словах, кто он таков, каково его призвание и род занятий — что он, дескать, странствующий рыцарь, ищущий приключений во всех частях света. Еще он им сказал, что настоящее его имя Дон Кихот Ламанчский, по прозвищу же он *Рыцарь Львов*. Для поселян это было все равно, как если бы с ними говорили на языке греческом или же тарабарском, но не для студентов, ибо они живо смекнули, что у Дон Кихота зашел ум за разум; однако ж, со всем тем, они смотрели на него с почтительным удивлением, и один из них ему сказал:

— Если ваша милость, сеньор рыцарь, по обычаю искателей приключений, не имеет определенного места назначения, то едем-

те, ваша милость, с нами: вы увидите такую веселую и такую пышную свадьбу, какой ни в Ламанче, ни во всей округе нашей никогда еще не справляли.

Дон Кихот осведомился, не свадьба ли это какого-нибудь владетельного князя, коль скоро студент так ее превозносит.

— Нет, не князя,— отвечал студент,— а поселянина и поселянки, первого богача во всем нашем околотке и красавицы, доселе невиданной. Приготовления к свадьбе делаются необычайные и беспримерные: дело состоит в том, что свадьбу хотят играть на лугу возле невестиного села; невесту, кстати сказать, величают Китерией Прекрасной, а жениха — Камачо Богатым. Ей восемнадцать лет, ему — двадцать два. Пара они отличная, хотя, впрочем, всезнайки, которые любую родословную знают назубок, уверяют, что прекрасная Китерия происходит из лучшей семьи, чем Камачо, но это неважно: богатство любой изъян прикроет. И точно, Камачо тороват: ему пришло на ум завесить всю лужайку шатром из ветвей, так чтобы солнцу нелегко было добраться до муравы. Еще у него приготовлены танцы со шпагами, а также с бубенчиками; среди его односельчан есть лихие танцоры, которые великолепно умеют звенеть и потрясать ими, а о таких, которые похлопывают себя по подметкам, и говорить нечего — их у него, как слышно, набрана несметная сила. Однако ж останется в памяти эта свадьба не из-за того, о чем я вам рассказал, и не из-за многого другого, о чем я не упомянул, а, по моему разумению, из-за того, как будет себя вести убитый горем Басильо. Басильо — это пастух из того же села, что и Китерия, его дом — стенка в стенку с домом ее родителей. Басильо с малых лет, с самого нежного возраста, испытывал к Китерии сердечное влечение, она же дарила его целомудренною благосклонностью, так что во всем селе только и разговору было, что о детской этой любви Басильо и Китерии. Как же скоро оба вошли в возраст, то отец Китерии порешил не пускать Басильо к себе в дом и вознамерился выдать свою дочь за богача Камачо, выдать же ее за Басильо не заблагорассудил, ибо тот более щедро наделен дарами природы, нежели дарами Фортуны. Однако ж, если говорить положа руку на сердце, без малейшей примеси зависти, то Басильо — самый ловкий парень, какого я только знаю: здóрово мечет барру, изрядный борец, в мяч играет великолепно, бегает, как олень, прыгает, как серна, кегли сбивает, точно какой волшебник, поет, как жаворонок, гитара у него прямо так и разговаривает, а главное, шпагой он владеет — лучше нельзя.

— По одному этому,— молвил Дон Кихот,— названный вами юноша достоин жениться не только на прекрасной Китерии, но даже на королеве.

— Подите скажите об этом моей жене! — вмешался до сих

пор молча слушавший Санчо Панса.— Она стоит на том, что каждый должен жениться на ровне, по пословице: два сапога — пара. А мне бы хотелось, чтобы добрый этот Басильо, который мне уже пришелся по душе, женился на сеньоре Китерии.

— Если бы все влюбленные вступали в брак,— возразил Дон Кихот,— то родители были бы лишены права выбора и права женить своих детей, когда они это почтут приличным. И если бы дочери сами выбирали себе мужей, то одна выскочила бы за слугу своих родителей, другая — за первого встречного повесу и драчуна, который пленил бы ее своею самоуверенностью и молодечеством. Ведь любовь и увлечение без труда накладывают повязку на очи разума, столь необходимые, когда дело идет о каком-нибудь рискованном шаге, в выборе же спутника жизни весьма легко ошибиться: чтобы брак вышел удачным, нужна большая осмотрительность и особая милость божья. Положим, кто-нибудь желает предпринять далекое путешествие: если он человек благоразумный, то, прежде чем отправиться в дорогу, он подыщет себе надежного и приятного спутника — зачем же не последовать его примеру тем, кому положено вместе идти всю жизнь, а таковою спутницею и является для мужа его супруга? Жена не есть товар, который можно купить, а после возвратить обратно, сменить или же заменить другим, она есть спутник неразлучный, который не уйдет от вас до тех пор, пока от вас не уйдет жизнь. Можно было бы еще долго рассуждать по этому поводу, но меня томит желание знать, что еще сеньору лиценциату осталось досказать про Басильо.

— Мне остается досказать лишь вот что: с той поры, как Басильо узнал, что прекрасная Китерия выходит за Камачо Богатого, он уже более не смеется и разумного слова не вымолвит; теперь он вечно уныл и задумчив, говорит сам с собой (явный и непреложный знак того, что он тронулся), ест мало и спит мало, а коли и ест, то одни лишь плоды, спит же он, если только это можно назвать сном, не иначе как в поле, на голой земле, словно дикий зверь, по временам поднимает глаза к небу, по временам уставляет их в землю и застывает на месте, так что, глядя на него, можно подумать, будто перед вами одетая статуя, чье платье треплет ветер. Коротко говоря, по всем признакам, он пылает любовью, и мы, его знакомые, все, как один, убеждены, что если завтра прекрасная Китерия скажет Камачо «да», то для Басильо это будет смертным приговором.

— Храни его господь! — молвил Санчо.— Господь посылает рану, господь же ее и уврачует, никто не знает, что впереди, до завтра еще далеко, а ведь довольно одного часа, даже одной минуты, чтобы целый дом рухнул, я видел собственными глазами: дождь идет — и тут же тебе светит солнце; ложишься спать

здоровехонек, проснулся — ни охнуть, ни вздохнуть. Дайте мне только увериться, что Китерия любит Басильо всей душой и от чистого сердца, и я ему головой поручусь за успех, потому любовь, как я слышал, носит такие очки, сквозь которые медь кажется золотом, а бедность — богатством.

— Да замолчишь ли ты наконец, Санчо, окаянная сила? — возопил Дон Кихот.— Ты как начнешь сыпать своими поговорками да присказками, так тебя сам черт не остановит.

Уже стемнело; однако ж, когда они подъезжали к селению Китерии, откуда и студенты и поселяне были родом, им всем почудилось, будто небо над ним усеяно мириадами ярких звезд. В то же время до них донеслись неясные, тихие звуки различных музыкальных инструментов, как-то: рожков, тамбуринов, гуслей, свирелей, бубнов и погремушек, а когда они подъехали ближе, то увидели, что устроенный у въезда в село древесный шатер — весь в фонариках, и ветер не задувал их, ибо от ласкового его дуновения даже листья дерев не шевелились. Музыканты увеселяли явившихся на свадьбу гостей, которые там и сям толпились на приветном этом лугу: одни танцевали, другие пели, третьи играли на упомянутых разнообразных инструментах. Казалось, будто на этой лужайке носится сама Радость и скачет само Веселье. Множество людей строило подмостки, чтобы завтра гостям удобнее было смотреть на представление и танцы, коим надлежало быть в этом месте, приготовленном для свадебного торжества богача Камачо и для погребения Басильо. Дон Кихот не пожелал въехать в селение, как ни уговаривали его спутники: более чем достаточным к тому основанием служило, на его взгляд, то обстоятельство, что у странствующих рыцарей было принято ночевать в полях и рощах, но не в селениях, хотя бы и под золоченою кровлею.

ГЛАВА XVIII,

в коей рассказывается о свадьбе Камачо Богатого и о происшествии с Басильо Бедным

Светлая Аврора только еще изъявляла согласие, чтобы блистающий Феб жаром горячих лучей своих осушил влажный бисер в золотистых ее кудрях, когда Дон Кихот, расправив члены, вскочил и окликнул оруженосца своего Санчо, который все еще похрапывал; видя, что Санчо спит, Дон Кихот, прежде чем будить его, молвил:

— О ты, счастливейший из всех в подлунном мире живущих, счастливейший, ибо ты спишь со спокойною душою, не испыты-

вая зависти и ни в ком ее не возбуждая, не преследуемый колдунами и не волнуемый ворожбою! Так спи же, говорю я и готов повторить сто раз, ибо тебя не принуждают вечно бодрствовать муки ревности при мысли о возлюбленной и от тебя не отгоняют сна думы о том, чем ты будешь платить долги и чем ты будешь завтра питаться сам и кормить свою маленькую горемычную семью. Честолюбие тебя не тревожит, тщета мирская тебя не утомляет, ибо желания твои не выходят за пределы забот о твоем осле, заботу же о твоей особе ты возложил на мои плечи: это уж сама природа совместно с обычаем постаралась для равновесия возложить бремя сие на господ. Слуга спит, а господин бодрствует и думает о том, как прокормить слугу, как облегчить его участь, чем его вознаградить. Скорбь при виде того, что небо сделалось каменным и не кропит землю целебною росою, стесняет сердце не слуги, а господина, ибо того, кто служил у него в год плодородный и урожайный, он должен прокормить и в год неурожайный и голодный.

Санчо ничего на это не отвечал, потому что спал, и он бы так скоро и не пробудился, когда бы Дон Кихот кончиком копья не развеял его сон. Наконец он пробудился, сонным и безучастным взглядом обнял окрестные предметы и сказал:

— Если я не ошибаюсь, со стороны этого шатра идет дух и запах не столько нарциссов и тмина, сколько жареного сала. Коли свадьба начинается с таких благоуханий, то, вот вам крест, все здесь будет на широкую ногу и всего будет в изобилии.

— Замолчи, обжора,— сказал Дон Кихот,— поедем-ка лучше на свадьбу, посмотрим, что будет делать отвергнутый Басильо.

— Что хочет, то пускай и делает,— заметил Санчо,— не был бы бедняком, так и женился бы на Китерии. А то ишь ты: у самого хоть шаром покати, а дерево рубит не по плечу. По чести, сеньор, мое мнение такое: что бедняку доступно, тем и будь доволен, нечего на дне морском искать груш. Я руку даю на отсечение, что Камачо может засыпать деньгами Басильо, а коли так, то глупа же была бы Китерия, когда бы променяла наряды и драгоценности, которыми ее, конечно, уже оделил и еще оделит Камачо, на ловкость, с какою Басильо мечет барру и дерется на рапирах. За удачный бросок или же за славный выпад и полкварты вина не дадут в таверне. Коли способности и дарования не приносят дохода, то черт ли в них? А вот ежели судьба надумает послать талант человеку, у которого мошна тугая, так тут уж и впрямь завидки возьмут. На хорошем фундаменте и здание бывает хорошее, а лучший фундамент и котлован — это деньги.

— Ради создателя, Санчо,— взмолился тут Дон Кихот,— кончай ты свою речь! Я уверен, что если не прерывать рассуждений, в которые ты ежеминутно пускаешься, то у тебя не оста-

нется времени ни на еду, ни на сон: все твое время уйдет на болтовню.

— Будь у вашей милости хорошая память,— возразил Санчо,— вы должны были бы помнить все пункты соглашения, которые мы с вами заключили перед последним нашим выездом. Один из его пунктов гласит, что мне дозволяется говорить все, что угодно, если только это не порочит ближнего моего и не оскорбляет вашей милости, и, по-моему, до сих пор я помянутого пункта ни разу не нарушил.

— Я не помню такого пункта, Санчо,— сказал Дон Кихот,— но если даже это и так, все же я хочу, чтобы ты умолкнул и двинулся следом за мной: ведь музыка, которую мы вчера вечером слышали, снова увеселяет долины, и разумеется, что свадьба будет отпразднована прохладным утром, а не в знойный полдень.

Санчо исполнил повеление своего господина, и как скоро он оседлал Росинанта и серого, то оба сели верхами и неспешным шагом въехали под навес. Первое, что явилось взору Санчо, это целый бычок, насаженный на вертел из цельного вяза и жарившийся на огне, в коем пылала добрая поленница дров; шесть же котлов, стоявших вокруг костра, формою своею не напоминали обыкновенные котлы, скорее это были бочки, способные вместить груды мяса: они столь неприметно вбирали в себя и поглощали бараньи туши, точно это были не бараньи туши, а голуби; уже ободранным зайцам и ощипанным курам, висевшим на деревьях и ожидавшим своего погребения в котлах, не было числа; видимо-невидимо битой птицы и всевозможной дичи было развешано на деревьях, чтобы провялить ее. Санчо насчитал свыше шестидесяти бурдюков вместимостью более двух арроб каждый и, как оказалось впоследствии, с вином лучших сортов; белоснежный хлеб был свален в кучи, как обыкновенно сваливают зерно на гумне; сыры, сложенные как кирпичи, образовывали целую стену; два чана с маслом поболее красильных служили для жаренья изделий из теста; поджаренное тесто вытаскивали громадными лопатами и бросали в стоявший тут же чан с медом. Поваров и поварих было более пятидесяти, и все они, как на подбор, казались опрятными, расторопными и довольными. В просторном брюхе бычка было зашито двенадцать маленьких молоденьких поросят, отчего мясо его должно было стать еще вкуснее и нежнее. В большом ящике находились пряности всех сортов: видно было, что их покупали не фунтами, а целыми арробами. Словом, свадебное угощение было чисто деревенское, но зато столь обильное, что его хватило бы на целое войско.

Санчо Панса все это разглядывал, все это созерцал и всем этим любовался. Первоначально его пленили и соблазнили кот-

лы, из коих он с превеликою охотою налил бы себе чугунок, засим бурдюки пленили его сердце и, наконец, изделия из теста, поджаривавшиеся сверх обыкновения не на сковородках, а в пузатых чанах. Терпеть долее и поступить иначе было свыше его сил, а потому он приблизился к одному из ретивых поваров и на языке голодного, хотя и вполне учтивого человека попросил позволения обмакнуть в один из котлов ломоть хлеба. Повар же ему на это сказал:

— На сегодня, братец, благодаря богачу Камачо голод получил отставку. Слезай с осла, поищи половник, вылови курочку-другую, да и кушай себе на здоровье.

— Я нигде не вижу половника,— объявил Санчо.

— Погоди,— сказал повар.— Горе мне с тобой, экий ты, знать, ломака и нескладеха!

С последним словом он схватил кастрюлю, окунул ее в бочку, выловил трех кур и двух гусей и сказал Санчо:

— Кушай, приятель, подзаправься пока до обеда этими пеночками.

— Мне некуда их положить,— возразил Санчо.

— Так возьми с собой и кастрюльку,— сказал повар,— богатство и счастье Камачо покроют любые издержки.

Пока Санчо вел этот разговор, Дон Кихот наблюдал за тем, как под шатер въезжали двенадцать поселян, все, как один, в ярких праздничных нарядах, верхом на чудесных кобылицах, радовавших глаз роскошною своею сбруей со множеством бубенцов на нагрудниках. Стройный этот отряд несколько раз с веселым шумом и гамом прогарцевал по лужайке.

— Да здравствуют Камачо и Китерия! — восклицали поселяне.— Он столь же богат, сколь она прекрасна, а она прекраснее всех на свете!

Послушав их, Дон Кихот подумал:

«Можно сказать с уверенностью, что они никогда не видали моей Дульсинеи Тобосской, потому что если б они ее видели, то сбавили бы тон в похвалах этой самой Китерии».

Малое время спустя с разных сторон стали собираться под шатер участники различных танцев и, между прочим, двадцать четыре исполнителя танца мечей, все молодец к молодцу, в одежде из тонкого белоснежного полотна, в головных уборах из добротного разноцветного шелка. Один из всадников спросил предводителя танцоров, разбитного парня, не поранился ли кто-нибудь из них.

— Слава богу, до сих пор никто не поранился, все мы живы-здоровы.

И тут, увлекая за собою своих товарищей и выделывая всевозможные колена, он стал до того ловко кружиться, что хотя

Дон Кихоту не раз приходилось видеть подобные танцы, однако ж этот понравился ему всех более.

Понравился ему и танец отменно красивых девушек, таких юных на вид, что каждой из них можно было дать, самое меньшее, четырнадцать лет, а самое большее — восемнадцать; выряднлись они в платья зеленого сукна; волосы в венках из жасмина, роз, амаранта и жимолости, столь золотистые, что могли соперничать с солнечными лучами, у одних были заплетены в косы, у других распущены. Предводителями их были маститый старец и почтенная матрона, не по годам, однако же, гибкие и подвижные. Танцевали они под волынку, как лучшие в мире танцовщицы, и ноги их были столь же быстры, сколь скромно было выражение их лиц.

— Кто как, а я за Камачо,— сказал Санчо Панса.

— Одним словом,— заметил Дон Кихот,— сейчас видно, Санчо, что ты мужик, да еще из тех, которые заискивают перед сильными.

— Не знаю, перед кем это я заискиваю,— возразил Санчо,— знаю только, что с котлов Басильо никогда мне не снять таких распрекрасных пенок, какие я снял с котлов Камачо.

Тут он показал Дон Кихоту кастрюлю с гусями и курами, вытащил одну курицу и, с великим наслаждением и охотою начав уплетать ее, молвил:

— А ну его ко всем чертям, этого Басильо, и со всеми его способностями! Сколько имеешь, столько ты и сто́ишь, и столько стоишь, сколько имеешь. Моя покойная бабушка говаривала, что все люди делятся на имущих и неимущих, и она сама предпочитала имущих, а в наше время, государь мой Дон Кихот, богатеям куда привольнее живется, нежели грамотеям; осел, покрытый золотом, лучше оседланного коня. Вот почему я еще раз повторяю, что стою за Камачо: с его котлов можно снять немало пенок, то есть гусей, кур, зайцев и кроликов, а в котлах Басильо дно видать, а на дне если что и есть, так разве одна жижа.

— Ты кончил свою речь, Санчо? — спросил Дон Кихот.

— Должен буду кончить,— отвечал Санчо,— потому вашей милости, как видно, она не по душе, а если б не это, я бы еще дня три соловьем разливался.

— Дай бог, Санчо, чтоб ты онемел, пока я еще жив,— сказал Дон Кихот.

— Дела наши таковы,— заметил Санчо,— что я еще при жизни вашей милости достанусь червям на корм и тогда, уж верно, совсем онемею и не произнесу ни единого слова до самого конца света или, по малой мере, до Страшного суда.

— Если бы даже все это так и произошло,— возразил Дон Кихот,— все равно твое молчание, Санчо, не сравнялось бы

с тем, что ты уже наговорил, говоришь теперь и еще наговоришь в своей жизни. Притом гораздо естественнее предположить, что я умру раньше тебя, вот почему я не могу рассчитывать, что ты при мне онемеешь хотя бы на то время, когда ты пьешь или спишь, а о большем я уж и не мечтаю.

— По чистой совести скажу вам, сеньор,— объявил Санчо,— на курносую полагаться не приходится, то есть, разумею, на смерть; для нее что птенец желторотый, что старец седобородый — все едино, а от нашего священника я слыхал, что она так же часто заглядывает в высокие башни королей, как и в убогие хижины бедняков. Эта госпожа больше любит выказывать свое могущество, нежели стеснительность. Она нимало не привередлива: все ест, ничем не брезгует и набивает суму людьми всех возрастов и званий. Она не из тех жниц, которые любят вздремнуть в полдень: она всякий час жнет, и притом любую траву — и зеленую, и сухую, и, поди, не разжевывает, а прямо так жрет и глотает что ни попало, потому она голодная, как собака, и никогда не наедается досыта, и хоть у нее брюха нет, а все-таки можно подумать, что у нее водянка, потому она с такой жадностью выцеживает жизнь изо всех живущих на свете, словно это ковш холодной воды.

— Остановись, Санчо,— прервал его тут Дон Кихот.— Держись на этой высоте и не падай,— признаться, то, что ты так по-деревенски просто сказал о смерти, мог бы сказать лучший проповедник. Говорю тебе, Санчо: если б к добрым твоим наклонностям присовокупить остроту ума, то тебе оставалось бы только взять кафедру под мышку и пойти пленять свет проповедническим своим искусством.

— Живи по правде — вот самая лучшая проповедь, а другого богословия я не знаю,— объявил Санчо.

— Никакого другого богословия тебе и не нужно,— заметил Дон Кихот.

— А засим,— молвил Санчо,— позвольте мне, ваша милость, полакомиться этими самыми пеночками, а все остальное есть празднословие, за которое с нас на том свете спросят.

И, сказавши это, он с такою беззаветною отвагою ринулся на приступ кастрюли, что, глядя на него, загорелся отвагой и Дон Кихот и, без сомнения, оказал бы ему поддержку, но этому помешали некоторые обстоятельства, о коих придется рассказать дальше.

ГЛАВА XIX,

в коей продолжается свадьба Камачо и происходят другие занятные события

В то время как Дон Кихот и Санчо вели между собой разговор, приведенный в главе предыдущей, послышались громкие голоса и великий шум; подняли же этот шум и крик поселяне, прибывшие сюда на кобылицах: теперь они во весь дух мчались навстречу новобрачным, которые с толпою музыкантов и затейников приближались в сопровождении священника, родни и наиболее именитых жителей окружных селений, и на всех участниках этого шествия были праздничные наряды. Как скоро Санчо увидел невесту, то воскликнул:

— Истинный бог, одета она не по-деревенски, а как столичная модница! Верное слово, на ней не патены*, а, если только глаза мои меня не обманывают, дорогие кораллы, и не дешевенькое зеленое сукнишко, а самолучший бархат! А белая оторочка, думаете, из простого полотна? Ан нет — ей-ей, из атласа! А перстни, скажете, гагатовые? Черта с два, пропади я пропадом, коли это не золотые колечки, да еще какие золотые-то, с жемчужинами, белыми, ровно простокваша; каждая такая жемчужина дороже глаза. А волосы-то! Если только они не накладные, то я таких длинных и таких золотистых отродясь не видывал. А ну-ка попробуйте найдите изъян в стройном ее стане! Да ведь это же ни дать ни взять пальма, у которой ветви осыпаны финиками, а на финики смахивают все эти финтифлюшки, что в волосах у нее и на шее.

Дон Кихота насмешила эта деревенская манера хвалить, однако ж и он пришел к заключению, что, не считая его госпожи Дульсинеи Тобосской, он никогда еще не видел подобной красавицы. Легкая бледность покрывала лицо прекрасной Китерии — должно полагать, оттого, что она, как все невесты, убиралась к венцу и плохо спала эту ночь. Шествие направилось к сооруженному неподалеку, на этой же самой лужайке, и украшенному ветками и крытому коврами помосту, где надлежало быть венчанию и откуда можно было смотреть на игры и танцы; и только все приблизились к помосту, как сзади послышался громкий голос, произнесший такие слова:

— Остановитесь, люди торопкие и опрометчивые!

При звуках этого голоса и при этих словах все повернули головы и увидели, что слова эти произнес мужчина в черном камзоле с шелковыми, по-видимому, нашивками в виде языков пламени. На голове у него (как это вскоре заметили) был траурный венок из ветвей кипариса, опирался он на длинный посох.

Едва лишь он приблизился, все узнали в нем молодца Басильо и, почуяв, что его появление в такую минуту предвещает недоброе, замерли в ожидании, не постигая, к чему ведут эти выкрики и слова.

Наконец, выбившийся из сил и запыхавшийся, он остановился прямо против молодых, воткнул в землю посох с наконечником из стали, побледнел, обратил взор на Китерию и заговорил хриплым и прерывающимся голосом:

— Тебе хорошо известно, жестокосердная Китерия, что по законам святой веры, которую мы исповедуем, ты, покуда я жив, ни за кого выйти замуж не властна. Ты же, нарушив свой долг по отношению к честному моему намерению, желаешь отдать себя в распоряжение другого, хотя должна принадлежать мне,— в распоряжение человека, который настолько богат, что даже счастье, а не только земные блага может себе купить. И вот, дабы счастье его было полным (хотя я и не думаю, чтобы он его заслуживал, но, видно, так уж угодно небу), я своими собственными руками устраню затруднения, мешающие его счастью, и уйду прочь с дороги. Много лет здравствовать богатому Камачо с бесчувственною Китерией, и да умрет бедняк Басильо, коего свела в могилу бедность, подрезавшая крылья его блаженству!

С этими словами Басильо схватился за воткнутый в землю посох, после чего нижняя его часть осталась в земле, и тут оказалось, что это ножны, а в ножнах спрятана короткая шпага; воткнув же в землю один конец шпаги, представлявший собою ее рукоять, Басильо с безумною стремительностью и непреклонною решимостью бросился на острие, мгновение спустя окровавленное стальное лезвие вошло в него до половины и пронзило насквозь, и несчастный, проколотый собственным своим оружием, обливаясь кровью, распростерся на земле.

Злая доля Басильо и происшедший с ним прискорбный случай тронули сердца его друзей, и они тотчас поспешили ему на помощь; Дон Кихот, оставив Росинанта, также бросился к нему, поднял его на руки и удостоверился, что он еле дышит. Хотели было извлечь шпагу, однако ж священник, при сем присутствовавший, сказал, чтобы до исповеди не извлекали, а то, мол, если извлечь, Басильо сейчас же испустит дух. Между тем Басильо стал подавать признаки жизни и произнес голосом жалобным и слабым:

— Если б ты пожелала, бессердечная Китерия, в смертный мой час отдать мне свою руку в знак согласия стать моею женою, я умер бы с мыслью о том, что безрассудство мое имеет оправдание, ибо благодаря ему я достиг блаженства быть твоим.

На это священник сказал Басильо, что ему должно помышлять о спасении души и горячо молить бога простить ему его

грехи и отчаянный его шаг. Басильо объявил, что он ни за что не станет исповедоваться, покуда Китерия не отдаст ему своей руки, ибо только эта радость укрепит, дескать, волю его и подаст ему силы к исповеди.

Дон Кихот, услышав слова раненого, громко объявил, что просьба его вполне законна и разумна и к тому же легко исполнима и что если сеньор Камачо вступит в брак с сеньорой Китерией как со вдовою доблестного Басильо, то он будет пользоваться таким же уважением, как если бы принял ее из рук отца:

— Сейчас требуется лишь сказать «да», и выговорить это слово невесту ни к чему не обязывает, оттого что для жениха брачною постелью явится могила.

Камачо все это слышал, и все это приводило его в такое недоумение и смущение, что он не знал, как быть и что отвечать; однако ж друзья Басильо столь упорно добивались его согласия на то, чтобы Китерия отдала умирающему руку, а иначе, мол, Басильо, безутешным отойдя в мир иной, погубит свою душу, что в конце концов уговорили, а вернее, принудили его объявить, что если Китерия согласна, то он противиться не станет, ибо исполнение его желаний будет отдалено лишь на мгновенье.

Тут все подбежали к Китерии и — кто мольбами, кто слезами, кто вескими доводами — попытались убедить ее отдать руку бедному Басильо, она же казалась бесчувственнее самого мрамора и недвижнее статуи и, по-видимому, не знала, что говорить, да и не могла и не хотела держать ответ, и так бы и не ответила, когда бы священник ей не сказал, что надобно решаться, ибо у Басильо душа уже расстается с телом, и что неопределенности этой пора положить конец. Тогда прекрасная Китерия, ни слова не говоря, смятенная, по виду печальная и томимая раскаянием, направилась к Басильо, а тот, уже закатив глаза, дышал прерывисто и часто, шептал еле слышно имя Китерии и, по всем признакам, собирался умереть как язычник, а не как христианин. Китерия приблизилась к нему, опустилась на колени и без слов, знаками, попросила его протянуть ей руку. Басильо открыл глаза и, глядя на нее в упор, молвил:

— О Китерия! Ты пришла доказать, сколь ты сострадательна, в тот миг, когда сострадание твое явится для меня ножом, пресекающим жизнь мою, ибо я не в силах наслаждаться блаженством, которое мне доставляет мысль, что я твой избранник, как не в силах я прекратить мои мучения, ибо зловещая тень смерти поспешно заволакивает мне очи. Об одном я молю тебя, о роковая звезда моя: если ты просишь у меня мою руку и желаешь отдать мне свою, то пусть это будет не из милости и не

для того, чтобы снова ввести меня в обман,— нет, признай и объяви, что ты добровольно протягиваешь мне ее как законному своему супругу, ибо нехорошо в такую минуту меня обманывать и притворяться передо мной, меж тем как я всегда был с тобой правдив до конца.

Произнося эти слова, он неоднократно лишался чувств, и окружающие всякий раз опасались, что еще один такой обморок — и он отдаст богу душу. Китерия, вся — воплощенная скромность и стыдливость, вложила правую свою руку в руку Басильо и сказала:

— Никакая сила в мире не могла бы сломить мою волю. Итак, я вполне добровольно отдаю тебе руку в знак согласия стать законною твоею супругою и принимаю твою, если только ты мне ее отдаешь по собственному желанию и рассудок твой не приведен в смятение и расстройство тем бедствием, которое ты терпишь из-за поспешного своего решения.

— Я отдаю тебе свою руку,— отвечал Басильо,— не будучи ни смятенным, ни помешанным, но в том здравом уме, которым небу угодно было меня наделить, и вот таким я отдаюсь и вверяюсь тебе как твой супруг.

— А я — как твоя супруга,— подхватила Китерия,— все равно, проживешь ли ты много лет, или же тебя из моих объятий перенесут в могилу.

— Для тяжелораненого этот парень слишком много разговаривает,— заметил тут Санчо Панса,— скажите ему, чтоб он прекратил объяснения в любви, пусть лучше о душе подумает: мне сдается, что она у него не желает расставаться с телом, а все вертится на языке.

Итак, Басильо и Китерия взяли друг друга за руки, а священник, растроганный до слез, благословил их и стал молиться о упокоении души новобрачного, новобрачный же, как скоро получил благословение, с неожиданною легкостью вскочил и с необычайною быстротою извлек шпагу, ножнами для которой являлось его собственное тело. Все присутствовавшие подивились этому, а иные, отличавшиеся не столько сметливостью, сколько простодушием, стали громко кричать:

— Чудо! Чудо!

Однако ж Басильо объявил:

— Не «чудо, чудо», а хитрость, хитрость!

Священник, растерянный и сбитый с толку, бросился к нему и, пощупав обеими руками рану, обнаружил, что лезвие прошло не через мякоть и ребра, а через железную трубочку, в этом месте искусно прилаженную и наполненную кровью, которая, как потом выяснилось, не сворачивалась, оттого что была особым образом изготовлена. В конце концов священник, Камачо и почти

К стр. 324

все присутствовавшие догадались, что их одурачили и провели за нос. Невесту шутка эта, по-видимому, не огорчила — напротив, услышав разговоры, что брак ее совершился обманным путем и потому не может считаться действительным, она объявила, что не берет своего слова назад, из чего все вывели заключение, что Китерия и Басильо сами все это замыслили и были друг с дружкою в заговоре; Камачо же и его свидетели рассвирепели и, решившись применить оружие, дабы отомстить сопернику, обнажили множество шпаг и ринулись на Басильо, однако в то же мгновение в защиту Басильо было обнажено почти столько же шпаг, и сам Дон Кихот, верхом на коне, с копьем в руках и как можно лучше заградившись щитом, проложил себе дорогу и выехал вперед. Санчо, которого такие нехорошие дела никогда не радовали и не забавляли, укрылся под сенью котлов, с которых он только что снял смачные пенки, ибо он был уверен, что это место свято и должно внушать к себе благоговение. Дон Кихот между тем громким голосом заговорил:

— Остановитесь, сеньоры, остановитесь! Никто не вправе мстить за обиды, чинимые нам любовью. Примите в рассуждение, что любовь и война — это одно и то же, и подобно тому как на войне прибегать к хитростям и ловушкам, дабы одолеть врага, признается за вещь вполне дозволенную и обыкновенную, так и в схватках и состязаниях любовных допускается прибегать к плутням и подвохам для достижения желанной цели, если только они не унижают и не позорят предмета страсти. Китерия была суждена Басильо, а Басильо — Китерии: таково было правое и благоприятное решение небес. Камачо богат, и то, что ему приглянется, он может купить где, когда и как ему вздумается. У Басильо же, как говорится, *одна-единственная овечка*, и никто не властен отнять ее у него, как бы могуществен он ни был, ибо *что бог сочетал, того человек да не разлучает*, а кто попытается это сделать, тому прежде надлежит изведать острие моего копья.

И тут он с такой силой и ловкостью начал размахивать своим копьецом, что навел страх на всех, кто его не знал; и так глубоко запало в душу Камачо пренебрежение, выказанное к нему Китерией, что он мгновенно выкинул ее из сердца, и потому увещания священника, человека рассудительного и добропорядочного, возымели успех и подействовали на Камачо и его сторонников таким образом, что они смирились и успокоились, в знак чего вложили шпаги в ножны, а богач Камачо, чтобы показать, что он не сердится на шутку и не придает ей значения, вознамерился продолжать веселье, как если б это в самом деле была его свадьба; однако ж Басильо, его невеста и все их приверженцы не пожелали присутствовать на этих празднествах и отправились в се-

ление, где жил Басильо, ибо и у бедняков, если только они люди добродетельные и благоразумные, находятся друзья, которые их сопровождают, почитают и защищают, подобно тому как у богачей всегда находятся льстецы и прихвостни.

Дружина Басильо пригласила к себе и Дон Кихота, ибо нашла, что это человек достойный и отнюдь не робкого десятка. Один лишь Санчо пал духом, убедившись, что ему не бывать на роскошном праздничном пиру у Камачо, каковой пир, кстати сказать, зашел потом за ночь; удрученный и унылый, следовал он за своим господином и за всей компанией Басильо, покидая котлы, коих образ он, однако, уносил в душе, пенки же, увозимые им с собою в кастрюле, пенки, с которыми он почти справился и которые почти прикончил, олицетворяли для него все великолепие и изобилие утраченных благ; и так, задумчивый и хмурый, хотя и не голодный, верхом на сером двигался он вослед за Росинантом.

ГЛАВА XX,

в коей рассказывается о великом приключении в пещере Монтесиноса, в самом сердце Ламанчи, каковое приключение для доблестного Дон Кихота Ламанчского полным увенчалось успехом*

Великие и многочисленные почести оказывали Дон Кихоту обрученные в благодарность за то, что он принял их сторону, и, в одинаковой мере восхищаясь как его храбростью, так и его мудростью, признавали его за второго Сида в смысле доблести и за второго Цицерона* по части красноречия. Добрый Санчо трое суток барствовал за счет молодых, которые, между прочим, объявили, что о притворном ранении прекрасная Китерия предуведомлена не была, что эта затея пришла в голову одному Басильо, и он надеялся, что все выйдет именно так, как оно и случилось на самом деле; впрочем, он оговаривался, что кое-кому из друзей он все же замысел свой поведал, с тем чтобы в нужную минуту они поддержали его предприятие. Наконец Дон Кихот попросил бывшего своего спутника-лиценциата дать им проводника, который довел бы их до пещеры Монтесиноса, ибо он был снедаем желанием проникнуть туда и убедиться на деле, правду ли рассказывают во всем околотке о ее чудесах. Лиценциат сказал, что он пошлет с ними своего двоюродного брата, отличного студента и большого любителя рыцарских романов, и этот студент, мол, весьма охотно доведет их до самого спуска в пещеру. Вскоре и точно появился студент верхом на ослице,

которой седло было покрыто не то пестрым ковром, не то пестро раскрашенной дерюгой. Санчо оседлал Росинанта, снарядил серого, набил свою суму, к которой теперь еще присоединилась сума студента, также изрядно набитая, и, помолившись богу и распрощавшись с хозяевами, путники двинулись по направлению к знаменитой пещере Монтесиноса.

На ночь они остановились в небольшой деревне, и тут студент сказал Дон Кихоту, что отсюда до пещеры Монтесиноса не более двух миль и что если он не изменил своему решению в нее проникнуть, то надобно запастись веревками, чтобы потом, обвязавшись ими, спуститься вниз. Дон Кихот объявил, что, хотя бы то была не пещера, но пропасть, он должен добраться до самого ее дна; и для того купили они около ста брасов* веревки и на другой день, в два часа пополудни, достигли пещеры, спуск в которую, широкий и просторный, скрывала и утаивала от взоров стена частого и непроходимого терновника, бурьяна, дикой смоквы и кустов ежевики. Приблизившись к пещере, студент, Санчо и Дон Кихот спешились, после чего первые двое крепко-накрепко обвязали Дон Кихота веревками; и в то время как его опоясывали и стягивали, Санчо обратился к нему с такими словами:

— Подумайте только, государь мой, что вы делаете, не хороните вы себя заживо и не уподобляйтесь бутыли, которую спускают в колодец, чтобы остудить. Право, ваша милость, не ваше это дело и не ваша забота — исследовать пещеру, которая, наверно, хуже всякого подземелья.

— Вяжи меня и помалкивай,— сказал Дон Кихот,— этот подвиг, друг Санчо, уготован только мне.

После того как Дон Кихота обвязали (и не поверх доспехов, а поверх камзола), он сказал:

— Мы обнаружили неосмотрительность: не взяли с собой колокольчика,— привязать бы его к веревке, и я бы звонил и давал вам знать, что я еще жив и продолжаю спускаться, но коль скоро это невозможно, то я всецело полагаюсь на бога и предаю ему путь мой.

Тут он опустился на колени, вполголоса прочитал молитву, испросил у бога помощи, помолился о благополучном исходе этого, по-видимому опасного и необычайного, приключения, а затем заговорил громко:

— О владычица всех деяний моих и побуждений, светлейшая и несравненная Дульсинея Тобосская! Если это возможно, чтобы просьбы и мольбы счастливого твоего обожателя достигли слуха твоего, то невиданною твоею красотою заклинаю — выслушай меня: ведь я ни о чем другом не прошу, кроме как о помощи твоей и покровительстве, в коих я ныне, более чем когда-

либо, нуждаюсь. Я намерен низринуться, низвергнуться и броситься в бездну, которая здесь предо мною разверзлась, броситься единственно для того, чтобы весь мир узнал, что если ты мне покровительствуешь, то нет такого превышающего человеческие возможности подвига, который я не взял бы на себя и не совершил.

С этими словами он направился к обрыву, но, удостоверившись, что проложить себе дорогу к спуску в пещеру можно лишь с помощью рук и клинка, выхватил меч и начал крушить и рубить заросли, преграждавшие доступ к пещере, по причине какового шума и треска из пещеры вылетело видимо-невидимо большущих ворон и галок — летели они тучами, с невероятной быстротой и в конце концов сшибли Дон Кихота с ног, так что, будь он столь же суеверным человеком, сколь ревностным был он католиком, то почел бы это за дурной знак и отдумал забираться в такие места.

Наконец он встал и, видя, что из пещеры больше не вылетают ни вороны, ни летучие мыши, которые также вместе с воронами вылетали оттуда, велел студенту и Санчо ослабить веревку, а сам стал спускаться на дно страшной пещеры; перед тем же, как ему начать спускаться, Санчо благословил его, тысячу раз перекрестил и сказал:

— Храни тебя господь, о цвет, сливки и пенки странствующих рыцарей! Вперед, первый удалец в мире, стальное сердце, медная длань! Да хранит тебя бог, говорю я, и да выведет он тебя свободным, здравым и невредимым на свет нашей жизни, который ныне ты покидаешь ради этого мрака, куда тебя так и тянет погрузиться.

Почти такие же молитвы и заклинания творил и студент.

Дон Кихот все кричал, чтобы отпускали веревку, и Санчо со студентом мало-помалу ее отпускали; когда же крики, исходившие из глубины пещеры, перестали до них доноситься, они обнаружили, что все сто брасов веревки уже размотаны, и решились начать втаскивать Дон Кихота наверх, потому что веревка у них уже кончилась. Однако с полчаса они еще помедлили, по прошествии же указанного срока принялись тянуть веревку, что́ оказалось для них так легко, словно на ней не было груза, и они пришли к заключению, что Дон Кихот остался в пещере. Санчо при одной этой мысли заплакал горькими слезами и, чтобы разувериться, с удвоенной силой принялся тянуть веревку; и вот, когда они, по их расчетам, выбрали уже около восьмидесяти брасов, то вдруг почувствовали тяжесть, и это их несказанно обрадовало. Наконец, когда оставалось всего только десять брасов, они ясно увидели Дон Кихота, и Санчо крикнул ему:

— С благополучным возвращением, государь мой! Мы уж думали, что вас там оставили на развод.

Дон Кихот, однако, не отвечал ни слова; как же скоро они его окончательно извлекли, то увидели, что глаза у него закрыты, словно у спящего. Они положили его на землю, развязали, но он все не просыпался; тогда они начали переворачивать его с боку на бок, шевелить и трясти, и спустя довольно долгое время он все же пришел в себя и стал потягиваться, будто пробуждался от глубокого и крепкого сна, а затем, как бы в ужасе оглядевшись по сторонам, молвил:

— Да простит вас бог, друзья мои, что вы лишили меня самой упоительной жизни и самого пленительного зрелища, какою когда-либо жил и какое когда-либо созерцал кто-нибудь из смертных. В самом деле, ныне я совершенно удостоверился, что все радости мира сего проходят, как тень и как сон, и вянут, как цвет полей.

С великим вниманием слушали студент и Санчо слова Дон Кихота, которые, по-видимому, с лютейшею мукою вырывались из глубины его души. Наконец они обратились к нему с просьбой растолковать им смысл речей его и рассказать, что́ ему в этом аду довелось видеть.

— Вы называете эту пещеру адом? — спросил Дон Кихот.— Не называйте ее так, она подобного наименования не заслуживает, и вы в том уверитесь незамедлительно.

Дон Кихота мучил голод, и он попросил дать ему чего-нибудь поесть. Спутники его расстелили на зеленой травке дерюжку, которую захватил с собой студент, достали из сумки снедь, уселись втроем и в мире и согласии пообедали и поужинали одновременно. Когда дерюжка была убрана, Дон Кихот Ламанчский объявил:

— Не вставайте, дети мои, и слушайте меня со вниманием.

ГЛАВА XXI

Об удивительных вещах, которые, по словам неукротимого Дон Кихота, довелось ему видеть в глубокой пещере Монтесиноса

Около четырех часов пополудни солнце спряталось за облака, свет его стал менее ярким, а лучи менее жгучими, и это позволило Дон Кихоту, не изнывая от жары, поведать достопочтенным слушателям, что́ он видел в пещере Монтесиноса; и начал он так:

— В этом подземелье, справа, на глубине то ли двенадцати,

то ли четырнадцати саженей, находится такая впадина, где могла бы поместиться большая повозка с мулами. Слабый свет проникает туда через щели или же трещины, которые уходят далеко, до самой земной поверхности. Углубление это и пространство я приметил как раз когда, подвешенный и висящий на веревке, я стал уже выбиваться из сил и меня начал раздражать спуск в это царство мрака, спуск наугад, без дороги, а потому я порешил проникнуть в это углубление и немного отдохнуть. Я крикнул вам, чтоб вы перестали опускать веревку, пока я не скажу, но вы, верно, меня не слышали. Подобрав веревку, которую вы продолжали спускать, и сделав из нее круг, я на нем уселся и, крайне озабоченный, принялся обдумывать, как мне спуститься на дно, коль скоро никто меня теперь не держит; и вот, когда я пребывал в задумчивости и смятении, на меня внезапно и помимо моей воли напал глубочайший сон, а потом я нежданно-негаданно, сам не зная, как, что и почему, проснулся на таком прелестном, приветном и восхитительном лугу, краше которого не может создать природа, а самое живое воображение человеческое — вообразить. Я встряхнулся, протер глаза и убедился, что не сплю и что все это наяву со мной происходит. Все же я пощупал себе голову и грудь, дабы удостовериться, я ли это нахожусь на лугу или же оборотень, однако и осязание, и чувства, и связность мыслей, приходивших мне в голову,— все доказывало, что там и тогда я был совершенно такой же, каков я здесь перед вами. Затем глазам моим открылся то ли пышный королевский дворец, то ли замок, коего стены, казалось, были сделаны из чистого и прозрачного хрусталя. Распахнулись громадные ворота, и оттуда вышел и направился ко мне некий почтенный старец в длинном плаще из темно-лиловой байки, волочившемся по земле; сверху плечи и грудь ему прикрывала зеленого атласа лента, на голове он носил черную шапочку; белоснежная борода была ему по пояс; в руках он держал не какое-либо оружие, а всего-навсего четки, бусинки которых были больше, чем средней величины орехи, а каждая десятая бусинка — с небольшое страусово яйцо; осанка старца, его поступь, важность и необыкновенная величавость — все это вместе взятое удивило и поразило меня. Он приблизился ко мне и прежде всего заключил меня в свои объятия, а затем уже молвил:

«Много лет, доблестный рыцарь Дон Кихот Ламанчский, мы ожидаем тебя в заколдованном этом безлюдье, дабы ты поведал миру, что́ содержит и скрывает в себе глубокая пещера, именуемая пещерою Монтесиноса, куда ты проник, совершив таким образом уготованный тебе подвиг, на который только ты с необоримою твоею отвагою и изумительною стойкостью и мог ре-

шиться. Следуй же за мною, досточтимый сеньор, я хочу показать тебе диковины, таящиеся в прозрачном этом замке, коего я — главный хранитель, ибо я и есть Монтесинос, по имени которого названа эта пещера».

Среди прочих бесчисленных достопримечательностей и диковин, которые мне показал Монтесинос, я увидел трех поселянок. Они прыгали и резвились, как козочки, и едва я на них взглянул, как сей же час узнал в одной из них несравненную Дульсинею Тобосскую, а в двух других — тех самых поселянок, что ехали вместе с нею и коих мы встретили близ Тобосо. Я спросил Монтесиноса, знает ли он их, он ответил, что нет, но что, по его разумению, это какие-то заколдованные знатные сеньоры, которые совсем недавно на этом лугу появились, и что это, мол, не должно меня удивлять, ибо в этих краях пребывают многие другие сеньоры как времен протекших, так и времен нынешних, и сеньорам этим чародеи придали самые разнообразные и необыкновенные облики, среди каковых женщин он, Монтесинос, узнал королеву Джиневру и придворную ее даму Кинтаньону, ту самую, чье вино пил Ланцелот,

Из Британии приехав.

Санчо слушал этот рассказ, и ему казалось, что он сейчас спятит или лопнет от смеха; кто-кто, а уж он-то знал истинную подоплеку мнимой заколдованности Дульсинеи, сам же он был и колдуном, и единственным свидетелем, а потому теперь у него не оставалось решительно никаких сомнений насчет того, что его господин окончательно свихнулся и лишился рассудка, и обратился к нему Санчо с такими словами:

— При неблагоприятных обстоятельствах и вовсе уже не в пору и в злосчастный день спустились вы, дорогой мой хозяин, в подземное царство, и не в добрый час повстречались вы с сеньором Монтесиносом, который так вас обморочил. Сидели бы вы, ваша милость, тут, наверху, не теряли разума, какой вам дарован от бога, всех поучали бы и ежеминутно давали советы, а теперь вот и поря́те чушь несусветную.

— Я тебя хорошо знаю, Санчо,— сказал Дон Кихот,— а потому не обращаю внимания на твои слова.

— А я — на слова вашей милости,— отрезал Санчо,— хотя бы вы меня изувечили, хотя бы вы меня прикончили за те слова, которые я вам уже сказал и которые намереваюсь сказать, если только из ваших слов не будет явствовать, что вы исправились и взялись за ум. Но пока еще мы с вами не поссорились, скажите, пожалуйста, ваша милость: как, по каким приметам узнали вы нашу хозяйку? Был ли у вас с ней разговор, и о чем вы ее спрашивали, и что она вам отвечала?

— Узнал я ее вот по какой примете,— отвечал Дон Кихот.— На ней было то же самое платье, как и в тот день, когда ты мне ее показал. Я было заговорил с нею, но она не ответила мне ни слова, повернулась спиной и так припустилась, что ее и стрела бы не догнала. Я хотел броситься за нею и, разумеется, бросился бы, но Монтесинос посоветовал мне не утруждать себя — это, мол, все равно бесполезно, да и потом мне пора уже было вылезать из пещеры. Еще Монтесинос сказал, что по прошествии некоторого времени он меня уведомит, что́ мне надобно предпринять, дабы расколдовать всех здесь находящихся. Когда Монтесинос вел со мной этот разговор, ко мне неприметно приблизилась одна из двух спутниц злосчастной Дульсинеи и с полными слез глазами, тихим и прерывающимся от волнения голосом молвила:

«Госпожа моя Дульсинея Тобосская целует вашей милости руки и настоятельно просит ей сообщить, всё ли вы в добром здоровье; а так как она крайнюю нужду терпит, то обращается к вашей милости еще с одною покорнейшею просьбою: не соблаговолите ли вы ссудить ей под залог этой еще совсем новенькой юбки, что у меня в руках, шесть или же сколько можно реалов,— она дает честное слово, что весьма скоро вам их возвратит».

Просьба эта удивила меня и озадачила, и, обратившись к сеньору Монтесиносу, я у него спросил:

«Сеньор Монтесинос! Разве заколдованные знатные особы терпят нужду?»

Он же мне на это ответил:

«Поверьте, ваша милость, сеньор Дон Кихот Ламанчский: то, что мы зовем нуждою, встречается всюду, на все решительно распространяется, всех затрагивает и не щадит даже заколдованных, и если сеньора Дульсинея Тобосская просит у вас взаймы шесть реалов и предлагает, сколько я понимаю, недурной залог, то у вас нет оснований ей отказать; без сомнения, она находится в крайне стесненных обстоятельствах».

«Залога я не возьму,— сказал я,— но и требуемой суммы дать не могу, оттого, что у меня у самого всего только четыре реала»

Я протянул эти деньги подруге Дульсинеи (те самые деньги, которые ты, Санчо, на днях мне выдал для раздачи нищим, если таковые встретятся нам по дороге) и сказал:

«Передайте, моя милая, госпоже вашей, что ее затруднения терзают мне душу и что я хотел бы стать Фуггером*, дабы из таковых затруднений ее вывести. Уведомьте ее также, что из-за того, что я лишен возможности любоваться очаровательной ее наружностью и наслаждаться остроумными ее речами, я не могу и не должен быть в добром здоровье и что я покорнейше прошу

ее милость, не соблаговолит ли она повидаться и побеседовать с преданным своим слугою и удрученным рыцарем. И еще скажите ей, что в один прекрасный день до нее дойдет весть, что я дал обет и клятву по примеру маркиза Мантуанского, который, найдя в горах племянника своего Балдуина при последнем издыхании, поклялся отомстить за него, а пока-де не отомстит, обходиться во время трапезы без скатерти, и еще много разных мелочей он к этому присовокупил. Так же точно и я поклянусь никогда не отдыхать и объезжать весь свет до тех пор, пока я сеньору Дульсинею Тобосскую не расколдую».

«Вы еще и не то обязаны сделать для моей госпожи»,— сказала мне на это девица.

Тут она схватила четыре реала и вместо поклона подпрыгнула на два локтя от земли.

— Боже милосердный! — громогласно возопил тут Санчо.— Статочное ли это дело, чтобы чародеи и волшебные чары вошли на белом свете в такую силу? И как это им удалось превратить ясный ум моего господина в ни с чем не сообразное помешательство? Ах, сеньор, сеньор! Ради создателя, придите вы, ваша милость, в себя, поберегите свою честь и не давайте веры всем этим пустякам, от которых у вас помутился и повредился разум!

— Ты так рассуждаешь, Санчо, оттого, что желаешь мне добра,— сказал Дон Кихот,— но так как ты в житейских делах еще не искушен, то все, что тебе мало-мальски трудно постигнуть, ты считаешь невероятным. Повторяю, однако ж, что со временем я расскажу тебе еще кое о чем из того, что мне довелось увидеть под землею, и тогда ты поверишь нынешнему моему рассказу, коего правдивость бесспорна и несомненна.

Продолжая такой разговор, они увидели, что навстречу им кто-то быстро шагает и гонит мула, навьюченного копьями и алебардами. Поравнявшись с ними, путник поклонился и пошел дальше. Дон Кихот же окликнул его:

— Остановитесь, добрый человек! Вы идете, должно полагать, быстрее, чем этого хотелось бы вашему мулу.

— Я не могу останавливаться, сеньор,— возразил незнакомец,— оружие, которое, как видите, я везу, понадобится завтра же, и я не имею права останавливаться, а засим прощайте. Если же вам угодно знать, зачем я его везу, то, было бы вам известно, я собираюсь ночевать на ближайшем постоялом дворе, так что если вы едете туда же, то мы встретимся, и я вам расскажу чудеса. А пока еще раз будьте здоровы.

И незнакомец так погнал мула, что Дон Кихот не успел даже спросить, что за чудеса собирается он рассказать.

Уже стемнело, когда наши путешественники добрались до постоялого двора, и, к радости Санчо, Дон Кихот принял его

не как обыкновенно — за некий замок, а за самый настоящий постоялый двор. Едва лишь они переступили порог, Дон Кихот спросил хозяина, здесь ли тот человек, который вез алебарды и пики; хозяин ответил, что он в конюшне расседлывает мула. Студент и Санчо поставили туда же своих ослов, а Росинанту были отведены лучшая кормушка и лучшее место в стойле.

ГЛАВА XXII,

в коей завязываются приключение с ослиным ревом и забавное приключение с неким раешником, а также приводятся достопамятные прорицания обезьяны-прорицательницы*

Дон Кихот, как говорится, спал и видел, нельзя ли поскорей послушать и разузнать про чудеса, о которых ему обещал рассказать человек, везший оружие. Он пошел в направлении, указанном ему хозяином, и в самом деле там его отыскал и попросил не откладывать, а непременно сию же минуту поведать то, о чем он его спрашивал дорогою. Человек же ему на это сказал:

— Рассказывать о таких чудесах должно сидя и на досуге. Дайте мне, ваша милость, господин хороший, задать корм моей животине, а потом я вам расскажу такие вещи, что вы диву дадитесь.

— Коли дело только за этим, то я вам сейчас помогу,— молвил Дон Кихот.

И он тут же начал просеивать овес и чистить кормушку, человек же, тронутый подобным смирением, изъявил полную готовность рассказать то, о чем его просили, и, усевшись на скамье у ворот, рядом с Дон Кихотом, и обращаясь к почтенному собранию в лице студента, Санчо Пансы и хозяина постоялого двора, начал свой рассказ так:

— Было бы вам известно, ваши милости, что в четырех с половиной милях отсюда в одном селении случилось так, что у рехидора* пропал осел, а всему виной — плутни хитрой девчонки, его служанки, но об этом долго рассказывать, и сколько ни старался рехидор найти осла, все было напрасно. Прошло около двух недель с тех пор, как пропал осел,— так, по крайности, говорят и рассказывают в селении,— и вот однажды стоит потерпевший рехидор на площади, вдруг подходит к нему другой рехидор, его односельчанин, и говорит: «Готовь мне, любезный друг, подарок за радостную весть: твой осел отыскался».— «Подарок за мной, любезный друг, и при этом хороший,— молвил тот,— только прежде скажи, где же он отыскался».— «Я его видел нынче утром в лесу, без седла и безо всякой упряжи,—

сказал другой рехидор,— и до того он отощал, что жалость берет на него глядеть. Хотел было я пригнать его к тебе, да он так одичал и такой стал пугливый, что только я к нему подошел, а уж он наутек и прямо в самую чащу. Ежели хочешь, пойдем поищем вдвоем, только сперва дай мне отвести домой мою ослицу — я сей же час возвращусь».— «Ты меня этим весьма одолжишь,— сказал хозяин осла,— я постараюсь отплатить тебе тою же монетою». Так же точно и с такими же подробностями рассказывают про этот случай все, кому он известен доподлинно. Коротко говоря, два рехидора рука с рукой отправились пешком в лес, однако ж в той части леса и на том месте, где они рассчитывали найти осла, его не оказалось, и хотя они все кругом обыскали, но он так и не объявился. Наконец, обнаружив, что осла нигде нет, рехидор, который видел его утром, сказал потерпевшему: «Послушай, любезный друг: я придумал одну вещь, и теперь мы, вне всякого сомнения, найдем эту тварь, хотя бы она запряталась в глубь земли, а не то что в глубь леса. Ведь я чудесно умею реветь ослом, и если только и ты немножко умеешь, то наше дело в шляпе».— «Ты говоришь «немножко», любезный друг? — воскликнул первый рехидор.— Да меня по части рева, истинный бог, никто не перещеголяет, даже сами ослы».— «Сейчас мы это увидим,— молвил второй рехидор.— Я вот как надумал: ты пойдешь по лесу в одну сторону, а я — в другую, и так мы его обойдем кругом и время от времени будем реветь, то ты, то я, а твой осел, если только он в лесу, уж верно, услышит нас и отзовется». На это хозяин осла ему сказал: «Признаюсь, любезный друг, прекрасная эта мысль делает честь твоему великому уму». Тут они по уговору разошлись в разные стороны, и нужно же было случиться так, что заревели они почти одновременно; полагая же, что осел сыскался, ибо каждый из них был обманут ревом другого, они бросились друг другу навстречу, и, увидев второго рехидора, рехидор, потерявший осла, воскликнул: «Неужто, любезный друг, это не осел ревел?» — «Нет, это я ревел»,— отвечал тот. «В таком случае, любезный друг,— продолжал хозяин осла,— между тобою и ослом по части рева нет решительно никакой разницы — я, по крайней мере, никогда не слыхал, чтобы так искусно подражали».— «Эти похвалы и превозношения более подобают и приличествуют тебе, любезный друг, нежели мне,— отозвался тот, кто все это затеял.— Клянусь создателем, ты дашь два очка вперед наилучшему и самому опытному ревуну на свете: звук у тебя высокий, ты выдерживаешь темп и не сбиваешься с такта, ревешь на разные лады и часто их меняешь. Одним словом, я признаю себя побежденным и за то, что ты высоко держал знамя изумительного своего искусства, отдаю тебе паль-

му первенства».— «Ну так я тебе на это скажу,— молвил хозяин осла,— что отныне я буду себя больше ценить и уважать, буду думать, что и я на что-нибудь гожусь, коли у меня такой дар. Правда, я и сам знал, что реву недурно, однако ж до сих пор мне ни от кого не приходилось слышать, что мой рев — это верх совершенства».— «А я тебе на это вот что скажу,— подхватил второй рехидор,— много редких способностей гибнет на свете и не находит должного себе применения, оттого что люди не умеют пользоваться ими».— «Но ведь наши способности,— возразил потерпевший,— могут сослужить нам службу разве вот в таких случаях, как сегодня, да и то дай бог, чтоб они нам помогли». Тут они опять разошлись в разные стороны и принялись реветь; при этом они то и дело ошибались и бежали друг другу навстречу и наконец порешили в качестве условного знака, чтобы не было сомнений, что это они ревут, а не осел, реветь два раза подряд. Так, поминутно издавая двукратный рев, облазили они весь лес, а пропавший осел все не откликался. Да и как ему, бедному и горемычному, было откликнуться, коли в конце концов рехидоры нашли его в самой чащобе съеденного волками? И, увидев его, хозяин сказал: «А я-то удивлялся, что он не отзывается,— живой, он бы отозвался, чуть только нас заслышал: на то он и осел. Все же я полагаю, любезный друг, что труды мои по розыску осла, хотя я его и не застал в живых, не пропали даром, ибо зато я слышал преискусный твой рев».— «Коли так, то слава богу,— молвил второй рехидор.— Впрочем, мы с тобой один другого стоим». Так, не солоно хлебавши и только охрипнув, возвратились они к себе в селение и рассказали друзьям своим, соседям и знакомым обо всем, что с ними случилось, когда они искали осла, причем каждый расхваливал искусный рев другого, так что слух о том прошел и распространился по всем окрестным селениям, а дьявол, который никогда не дремлет, потому он любитель всюду сеять и разжигать раздоры и смуту, распускать сплетни и делать из мухи слона, распорядился и устроил так, что чуть только кто из другого села завидит наших, сейчас давай реветь ослом: это они над рехидорами нашими насмехаются. И мальчишки туда же — словом сказать, попали мы в лапы и в пасть ко всем чертям ада: ослиный рев перекатывается из села в село, и жителей нашего, ревучего, села все распознают так же легко, как распознают негров и отличают их от белых. И так далеко зашла злополучная эта шутка, что осмеянные уже не раз в полном боевом порядке и с оружием в руках ополчались на насмешников, и тогда им все бывает нипочем. Мне думается, мои односельчане, из ревучего то есть села, завтра-послезавтра выступят в поход против другого села, которое в двух милях от нас и которое особенно над нами издевается, и, чтобы нам

было с чем выступить, я закупил алебарды и пики. Вот про эти-то чудеса я и обещал вам рассказать, а коли это, по-вашему, не чудеса, то не взыщите: других я не знаю.

На этом добрый крестьянин кончил свой рассказ, и тут во двор вошел человек, на котором все: и чулки, и шаровары, и куртка — было из верблюжьей шерсти, и громко спросил:

— Сеньор хозяин! Можно у вас остановиться? Со мной обезьянка-прорицательница и раек, представляющий освобождение Мелисендры.

— Фу черт, да ведь это сеньор маэсе Педро! — воскликнул хозяин.— Стало быть, мы нынче вечером повеселимся.

Мы забыли сказать, что у вышеназванного маэсе Педро левый глаз и почти половина щеки были заклеены пластырем из зеленой тафты, и это наводило на мысль, что вся левая сторона его лица была поражена какой-то болезнью. А хозяин между тем продолжал:

— Милости просим, сеньор маэсе Педро! Где же ваша обезьянка и раек? Что-то я их не вижу.

— Они тут, близко,— отвечала верблюжья шерсть,— я пошел вперед узнать, можно ли остановиться.

— Да я бы самому герцогу Альбе* отказал, а уж сеньора маэсе Педро пустил,— молвил хозяин.— Везите скорее и обезьянку и раек, нынче у меня такие постояльцы, которые посмотрят и раек и фокусы обезьянки и с удовольствием вам заплатят.

— Вот и отлично, а цену я сбавлю,— подхватил пластырь,— пусть только оплатят расходы, я и тем буду доволен. Сейчас пойду схожу за тележкой с куклами и за обезьянкой.

С этими словами он вышел за ворота.

Дон Кихот немедленно обратился к хозяину с вопросом, кто таков маэсе Педро и что это за раек и обезьянка. Хозяин же ему ответил так:

— Это знаменитый раешник, который уже давно разъезжает по Ламанче и дает представление, как славный дон Гайферос освободил Мелисендру*,— должно заметить, что наши края не запомнят столь любопытной и столь ловко разыгранной историйки. Возит он с собой и обезьянку, да такую искусницу, каких редко можно встретить не только среди обезьян, но даже среди людей: когда ее о чем-нибудь спрашивают, она со вниманием слушает, затем вскакивает на плечо к своему хозяину и, нагнувшись к самому его уху, шепчет ответ, а маэсе Педро сейчас же оглашает его. Кстати сказать, прошлое она знает лучше, нежели будущее, и хоть она и не всегда угадывает, а все-таки промахи у нее редки, так что мы все уверены, что в ней сидит черт. Если обезьянка вам ответит, то есть, я хочу сказать, если хозяин ответит за нее после того, как она пошепчет ему на ухо,

то за свой вопрос вы должны уплатить два реала,— оттого-то считается, что у маэсе Педро денег куры не клюют. Живет он в свое удовольствие, говорит за шестерых, пьет за двенадцать — и все за счет своего языка, обезьянки и балаганчика.

Тем временем возвратился маэсе Педро и прикатил тележку, в которой помещались раек и большая бесхвостая обезьяна с задом точно из войлока, впрочем довольно миловидная; и, едва увидев ее, Дон Кихот обратился к ней с вопросом:

— Ну-с, госпожа прорицательница, так как же? Что с нами сбудется? Сейчас вы получите два реала.

Засим он велел Санчо выдать два реала маэсе Педро, а маэсе Педро ответил за нее так:

— Сеньор! Это животное не дает ответов и ничего не сообщает касательно будущего. Вот о прошлом ей кое-что известно и немного — о настоящем.

— Ей-же-ей,— воскликнул Санчо,— я ломаного гроша не дам за то, чтоб мне угадали мое прошлое! Потому кто же знает его лучше, чем я? И платить за то, чтобы мне сказали, что́ я и сам знаю, это глупее глупого. Но если уж тут знают и настоящее, то вот, пожалуйста, мои два реала, а теперь скажите, ваше высокообезьянство: что поделывает сейчас моя жена Тереса Панса и чем она занимается?

Маэсе Педро не пожелал взять денег и сказал:

— Я не желаю получать вознаграждение вперед, прежде должно его заработать.

Тут он дважды хлопнул себя правой рукой по левому плечу, вслед за тем обезьянка одним прыжком взобралась к нему, нагнулась к его уху и начала быстро-быстро щелкать зубами, а немного погодя другим таким же прыжком очутилась на земле, и тогда маэсе Педро с чрезвычайною поспешностью опустился перед Дон Кихотом на колени и, обнимая его ноги, заговорил:

— Я обнимаю ноги ваши так же точно, как обнял бы Геркулесовы столпы*, о бесподобный воскреситель преданного забвению странствующего рыцарства! О рыцарь Дон Кихот Ламанчский, чьи заслуги выше всяких похвал, ободрение слабых, опора падающих, рука помощи павшим, оплот и утешение всех несчастных!

Дон Кихот остолбенел, Санчо пришел в изумление, студент был растерян, крестьянин из ревущего села опешил, хозяин недоумевал — словом, речи раешника ошеломили всех, а тот между тем продолжал:

— А ты, о добрый Санчо Панса, лучший оруженосец лучшего рыцаря в мире, возрадуйся, ибо добрая жена твоя Тереса в добром здравии, и в настоящее время она чешет лен, а чтобы у тебя не оставалось сомнений, я еще прибавлю, что слева от нее

стоит кувшин с отбитым горлышком и, чтоб веселей было работать, вина в нем отнюдь не на донышке.

— Этому я охотно верю,— сказал Санчо.— Тереса у меня молодчина и на все руки. И потом еще моя Тереса из тех, у которых нынче густо, а завтра пусто.

— Вот теперь я могу сказать: кто много читает и много странствует, тот много видит и много знает,— вмешался тут Дон Кихот.— Говорю я это вот к чему: какие уверения были бы достаточны для того, чтобы меня уверить, что есть на свете обезьяны, которые прорицают так, как я только что слышал своими собственными ушами? Ведь я тот самый Дон Кихот Ламанчский, о котором говорила эта славная тварь, только она меня несколько перехвалила, однако ж, каков бы я ни был, я благодарю небо за то, что оно создало меня с душою мягкою и сострадательною, склонною всем делать добро и никому не делать зла.

— Ну, а теперь,— сказал маэсе Педро, уже успевший встать с колен,— из уважения к сеньору Дон Кихоту и чтоб доставить ему удовольствие, я пойду приготовлю раек и безвозмездно позабавлю всех на постоялом дворе находящихся.

При этих словах хозяин обрадовался чрезвычайно и указал, где лучше всего расставить раек, что́ в ту же секунду и было сделано.

Дон Кихот был не весьма доволен прорицаниями обезьянки, ибо держался того мнения, что обезьяне не подобает угадывать ни будущее, ни прошедшее, а потому в то время, как маэсе Педро расставлял раек, он отвел Санчо в угол конюшни, чтобы никто не мог слышать его, и сказал:

— Послушай, Санчо: я со вниманием изучал необычайное искусство обезьяны и пришел к убеждению, что у маэсе Педро, ее хозяина, конечно, имеется секретный союз с дьяволом, благодаря чему обезьяна получает эту способность, хозяин же зарабатывает себе на жизнь, а затем, когда он разбогатеет, ему придется отдать черту душу, ибо врагу рода человеческого только этого и надобно.

— Со всем тем,— молвил Санчо,— мне бы хотелось, чтоб ваша милость велела маэсе Педро спросить обезьяну, правда ли то, что с вашей милостью происходило в пещере Монтесиноса,— ведь я стою на том, не в обиду вашей милости будь сказано, что все это было наваждение и обман, в лучшем случае — сновидение.

— Весьма возможно,— сказал Дон Кихот,— и я последую твоему совету, хотя и не без некоторых угрызений совести.

В это время за Дон Кихотом зашел маэсе Педро и сказал, что раек в надлежащем порядке и что он просит его милость

пойти посмотреть — раек, мол, стоит того. Дон Кихот поведал ему свое желание и попросил сей же час обратиться к обезьянке с вопросом: во сне случались с ним разные происшествия в пещере Монтесиноса или наяву, ему же, дескать, кажется, что тут было всякое. Маэсе Педро, ни слова не говоря, сходил за обезьяной, посадил ее перед Дон Кихотом и Санчо и сказал:

— Послушайте, госпожа обезьяна: этот рыцарь желает знать, правда или нет то, что с ним происходило в так называемой пещере Монтесиноса.

Тут он подал свой обычный знак, обезьяна вскочила к нему на левое плечо и как будто бы что-то пошептала ему на ухо, а затем маэсе Педро объявил:

— Обезьяна говорит, что часть того, чему ваша милость явилась свидетелем и что с вами в указанной пещере произошло, недостоверна, часть же правдоподобна, и к вышесказанному она ничего больше прибавить не может. Буде же ваша милость желает знать подробнее, то в ближайшую пятницу она вам ответит на все вопросы, а сейчас ее способность угадывать кончилась и раньше пятницы, как она сказала, к ней не вернется.

— А что я вам говорил? — воскликнул Санчо.— У меня в голове не укладывалось, чтобы все или хотя бы половина того, что вы, государь мой, нарассказали о событиях в пещере, оказалась правдой.

— Будущее покажет, Санчо,— возразил Дон Кихот,— всеразоблачающее время ничего не оставляет под спудом — все вытаскивает на солнышко даже из недр земли. А теперь довольно об этом, пойдем посмотрим раек доброго маэсе Педро: мне сдается, что он готовит какую-нибудь новинку.

— Какую-нибудь? — воскликнул маэсе Педро.— В моем райке шестьдесят тысяч новинок. Смею вас уверить, сеньор Дон Кихот, что мой раек — одна из самых любопытных вещей на свете. Итак, мы начинаем, час поздний, а нам немало предстоит еще сделать, рассказать и показать.

Дон Кихот и Санчо повиновались и пошли смотреть раек, а раек уже был установлен, открыт, и вокруг него горели восковые свечи, от коих он весь сверкал ярким блеском. Маэсе Педро спрятался за сценой, ибо ему надлежало передвигать куклы, а впереди расположился мальчуган, помощник маэсе Педро, в обязанности коего входило истолковывать и разъяснять тайны этого зрелища и показывать палочкой на куклы.

И вот когда иные обитатели постоялого двора уселись, иные остались стоять прямо против райка, а Дон Кихот, Санчо и студент заняли лучшие места, помощник начал объяснять, а что именно — это услышит или узнает тот, кто послушает мальчугана или же прочтет следующую главу.

ГЛАВА XXIII,

в коей продолжается забавное приключение с раешником и повествуется о других поистине превосходных вещах

Зрители, все до одного, так и смотрели в рот истолкователю балаганных чудес, и вдруг за сценой послышались звуки множества труб и литавр, загрохотали пушки, однако ж вскоре шум прекратился, и тогда мальчик возвысил голос и начал так:

— Правдивая эта история, которую мы предлагаем вниманию ваших милостей, целиком взята из французских хроник и тех испанских романсов, которые передаются у нас из уст в уста, так что даже малые ребята знают их на память. В ней рассказывается о том, как сеньор дон Гайферос освободил супругу свою Мелисендру, которая находилась в плену у мавров в Испании, в городе Сансуэнье,— так в те времена называлась Сарагоса. Посмотрите, ваши милости: вот и сам дон Гайферос играет в шашки, как о том поется в романсе:

Игрою в шашки тешится Гайферос,
О Мелисендре и не вспоминает.

Но тут появляется другое действующее лицо, с короной на голове и скипетром в руке: это император Карл Великий, мнимый отец Мелисендры; осердившись на зятя за бездействие и беспечность, он начинает его отчитывать. Обратите внимание, как он горячится и возмущается: можно подумать, что вот сейчас он стукнет его скипетром по голове, а иные сочинители утверждают, что он и правда ему всыпал, и очень даже лихо. Он долго ему внушал, что если тот не сделает попытки освободить свою супругу, то опозорит себя, а затем будто бы примолвил:

Я сказал, а вам решать.

Теперь вы видите, ваши милости, что император поворачивается к дону Гайферосу спиной и уходит, а теперь смотрите, как дон Гайферос в запальчивости и с досады швыряет и доску, и шашки, велит немедленно подать ему оружие и обращается к своему двоюродному брату Роланду с просьбой дать ему на время меч Дюрандаль*, но Роланд не соглашается, а вместо этого изъявляет желание разделить с доном Гайферосом тяжесть этого предприятия, однако ж смельчак с негодованием отказывается от его услуг: он, мол, один сумеет вызволить свою супругу, даже если б она находилась глубоко под землею, и тут он вооружается и сей же час пускается в путь. Теперь, ваши ми-

лости, обратите свои взоры вон на ту башню; предполагается, что это одна из башен сарагосского замка, ныне известного под названием Альхафери́и, а дама в мавританском одеянии, которая стоит на балконе,— это и есть несравненная Мелисендра; она часто смотрит отсюда на дорогу, ведущую во Францию, вспоминает Париж, своего супруга и тем утешается в своем заточении. А теперь перед вами новое дело, пожалуй что и неслыханное. Вы видите этого мавра? Вот он крадучись, втихомолку, приложив палец к губам, приближается сзади к Мелисендре. Ну, а теперь смотрите, как он целует ее прямо в губы и как она сейчас же начинает отплевываться, вытирает губы рукавом белой своей сорочки, сетует и с горя рвет на себе прекрасные свои волосы, как будто это они повинны в злодеянии. Теперь поглядите вон на того важного мавра, что стоит на галерее: это король Сансуэньи Марсилий; он был свидетелем дерзости мавра, и хотя мавр — его родственник и приближенный, он сей же час велит его схватить, дать ему двести палок и провести по многолюдным улицам города

С приставами впереди
И со стражниками сзади.

Смотрите: вот уже все идут приводить приговор в исполнение. Вон тот всадник в гасконском плаще — это и есть дон Гайферос, а вон его супруга: отомщенная за дерзость влюбленного в нее мавра, она с прояснившимся и более спокойным выражением лица выходит на балкон, переговаривается оттуда со своим супругом, полагая, что это некий странник, и обращается к нему с теми самыми словами и речами, которые приводятся в известном романсе, например:

Будете в стране французской,
Про Гайфероса узнайте,

и которые я не собираюсь приводить полностью, ибо многословие обыкновенно вызывает скуку. Достаточно видеть, как Гайферос распахивает плащ, и по тому, какие радостные движения делает Мелисендра, мы сейчас догадываемся, что она его узнала, еще мгновение — и она спускается с балкона, чтобы сесть на коня и умчаться с милым своим супругом. Но — о ужас! — подол ее юбки зацепился за железный выступ балкона, и Мелисендра повисла в воздухе. Но смотрите, как милосердное небо выручает нас в самых опасных положениях: дон Гайферос бросается к ней и, не обращая внимания на то, что ее роскошная юбка может порваться, схватывает ее, одним махом опускает на землю, затем, не медля ни секунды, сажает верхом, по-муж-

ски, на коня и велит ей держаться крепче и, чтобы не упасть, обеими руками обхватить его стан, а то ведь сеньора Мелисендра к такому роду верховой езды не привыкла. Но чу! Это конь заржал от радости, что у него такая благородная и прекрасная ноша: его господин и его госпожа. Вот они поворачивают, выезжают из города и, счастливые и ликующие, направляют путь в Париж. В добрый час, о истинно любящая чета — не чета всем влюбленным на свете! Возвращайтесь благополучно в желанную вашу отчизну, и да не преградит Фортуна счастливого вашего пути!

Тут подал голос маэсе Педро:

— Проще, малыш, не пари так высоко, напыщенность всегда неприятна.

Толкователь ничего ему не ответил и продолжал:

— От взора любопытных, которые обыкновенно все замечают, не укрылось, как Мелисендра спускалась с балкона и садилась на коня, о чем они и донесли королю Марсилию, и король велел сей же час бить тревогу. Глядите, как все это у них быстро: вот уже на всех мечетях ударили в колокола, и город дрожит от звона.

— Ну, уж это положим! — вмешался тут Дон Кихот.— Насчет колоколов маэсе Педро оплошал: у мавров не бывает колоколов, а есть литавры и нечто вроде наших гобоев, а чтобы в Сансуэнье звонили колокола — это явный и невообразимый вздор.

После таких слов маэсе Педро перестал звонить и сказал:

— Не придирайтесь, сеньор Дон Кихот, к мелочам и не требуйте совершенства, все равно вы его нигде не найдете. Разве у нас сплошь да рядом не играют комедий, где все — сплошная нелепость и бессмыслица? И, однако ж, успехом они пользуются чрезвычайным, и зрители в совершенном восторге им рукоплещут. Продолжай, мальчик, и никого не слушай, пусть в этом моем представлении окажется столько же несообразностей, сколько песчинок на дне морском,— у меня одна забота: набить кошелек.

— Ваша правда,— согласился Дон Кихот.

А мальчуган продолжал:

— Смотрите, сколько блестящей конницы выступает из города и устремляется в погоню за христианскою четою. А трубы трубят, а литавры гремят, а барабаны бьют. Я боюсь, что мавры настигнут беглецов, привяжут к хвосту коня и приведут обратно — ужасное зрелище!

А Дон Кихот, увидев перед собой всю эту мавританщину и услышав этот грохот, рассудил за благо помочь беглецам; и, вскочив с места, он заговорил громким голосом:

— Пока я жив, я не допущу, чтобы в моем присутствии столь коварно обходились с таким славным и неустрашимым рыцарем, каков дон Гайферос. Стойте, низкие твари! Не смейте за ним гнаться, не то я вызову вас на бой!

И, перейдя от слов к делу, он обнажил меч, одним прыжком очутился возле балагана и с невиданною быстротою и яростью стал осыпать ударами кукольных мавров: одних сбрасывал наземь, другим отсекал головы, этих калечил, тех рубил на куски и в самый разгар сражения так хватил наотмашь, что когда бы маэсе Педро не пригнулся, не съежился и не притаился, Дон Кихот снес бы ему голову с такою же легкостью, как если б она у него была из марципана. Маэсе Педро кричал:

— Остановитесь, сеньор Дон Кихот! Примите в рассуждение, что вы опрокидываете, рубите и убиваете не настоящих мавров, а картонные фигурки! Вот грех тяжкий! Ведь из-за него все мое имущество погибнет и пойдет прахом.

А Дон Кихот по-прежнему щедро расточал удары и наносил их то обеими руками, то плашмя, то наискось. Коротко говоря, он в два счета опрокинул раек и искромсал и искрошил всех кукол и все приспособления; король Марсилий был тяжко ранен, а у императора Карла Великого и корона и голова рассечены надвое. Почтеннейшая публика всполошилась, обезьянка удрала на крышу, студент перепугался, даже Санчо Пансу объял превеликий страх, ибо — как он сам уверял, когда буря уже утихла,— он еще ни разу не видел, чтобы его господин так буйствовал. Разбив весь раек наголову, Дон Кихот несколько успокоился и сказал:

— Хотел бы я сейчас посмотреть на тех, которые не верят и не желают верить, что странствующие рыцари приносят людям громадную пользу,— подумайте, что было бы с добрым доном Гайферосом и прекрасной Мелисендрой, если б меня здесь не оказалось: можно ручаться, что эти собаки теперь уже настигли бы их и причинили им зло. Итак, да здравствует странствующее рыцарство, и да вознесется оно превыше всего ныне здравствующего на земле!

— Пусть себе здравствует,— дрожащим голосом отозвался тут маэсе Педро,— а мне пора умирать,— я так несчастен, что мог бы сказать вместе с королем Родриго*:

Я вчера был властелином
Всей Испании, а ныне
Не владею даже башней.

Еще полчаса, еще полминуты назад я почитал себя владыкою королей и императоров, в моих конюшнях, сундуках и мешках

было видимо-невидимо коней и нарядов, а теперь я разорен и унижен, нищ и убог, а главное, у меня больше нет обезьянки, и пока я ее поймаю, у меня, честное слово, глаза на лоб вылезут. И все это из-за безрассудной ярости сеньора рыцаря, а ведь про него говорят, что он ограждает сирот, выпрямляет кривду и творит всякие другие добрые дела,— только на меня одного не распространилось его великодушие, да будет благословен и препрославлен господь бог, сидящий на престоле славы своей! Знать уж, Рыцарю Печального Образа на роду было написано обезобразить моих кукол и опечалить меня самого.

Слова маэсе Педро тронули Санчо Пансу, и он сказал:

— Не плачь, маэсе Педро, и не сокрушайся, а то у меня сердце надрывается. Было бы тебе известно, что мой господин Дон Кихот — христианин ревностный и добросовестный, и если только он поймет, что нанес тебе урон, то непременно пожелает и сумеет уплатить тебе и возместить убытки с лихвою.

— Если б сеньор Дон Кихот уплатил за часть перебитых им кукол, то и я остался бы доволен, и совесть его милости была бы чиста, ибо не спасти свою душу тому, кто забрал себе чужое достояние против желания владельца и не вознаградил его.

— То правда,— согласился Дон Кихот,— но мне все же неясно, маэсе Педро, что из вашего достояния я забрал себе.

— Как же не забрали? — воскликнул маэсе Педро.— А эти останки, валяющиеся на этой голой и бесплодной земле,— кто их разбросал и сокрушил, как не грозная сила могучей вашей длани? Чьи же это тела, как не мои? Чем же я еще кормился, как не ими?

— Теперь я совершенно удостоверился в том, в чем мне уже не раз приходилось удостоверяться,— заговорил Дон Кихот,— а именно, что преследующие меня чародеи первоначально показывают мне чей-нибудь облик, как он есть на самом деле, а затем подменяют его и превращают во что им заблагорассудится. Послушайте, сеньоры: говорю вам по чистой совести, мне показалось, будто все, что здесь происходит, происходит воистину, что Мелисендра — это Мелисендра, Гайферос — Гайферос, Марсилий — Марсилий, Карл Великий — Карл Великий, вот почему во мне пробудился гнев, и, дабы исполнить долг странствующего рыцаря, я решился выручить и защитить беглецов и, движимый этим благим намерением, совершил все то, чему вы явились свидетелями. Если же вышло не так, как я хотел, то виноват не я, а преследующие меня злодеи, и хотя я допустил оплошность эту неумышленно, однако ж я сам себя присуждаю к возмещению убытков. Скажите, маэсе Педро, сколько вы хотите за сломанные куклы? Я готов сей же час

уплатить вам доброю и имеющею хождение кастильскою монетою.

Маэсе Педро поклонился и сказал:

— Меньшего я и не ожидал от неслыханной христианской доброты доблестного Дон Кихота Ламанчского, истинного заступника и помощника всех неимущих и обездоленных людей, а сеньор хозяин и достоименитый Санчо примут на себя обязанности оценщиков и посредников между вашей милостью и мною и установят, сколько стоят или, вернее, сколько могли стоить поломанные куклы.

Хозяин и Санчо согласились, и маэсе Педро тотчас поднял с земли обезглавленного короля Марсилия Сарагосского и сказал:

— Всякий подтвердит, что короля уже не воскресить, а посему, с вашего дозволения, я хотел бы получить за его смерть и кончину четыре с половиною реала.

— Дальше,— сказал Дон Кихот.

— Вот за эдакую разрубку сверху донизу,— продолжал маэсе Педро, взявши в руки рассеченного императора Карла Великого,— не много взять пять с четвертью реалов.

— И не мало,— ввернул Санчо.

— Нет, не много,— возразил хозяин.— Я, как посредник, предлагаю: для ровного счета — пять.

— Дайте ему все пять с четвертью,— сказал Дон Кихот,— на четверть реала больше или меньше — итог нынешнего достопамятного бедствия от этого не изменится. Только кончайте скорее, маэсе Педро, пора ужинать, мне уже хочется есть.

— За эту безносую и одноглазую куклу, которая прежде была прекрасною Мелисендрою, я прошу по совести два реала двенадцать мараведи,— объявил маэсе Педро.

— Черт меня возьми,— сказал Дон Кихот,— если Мелисендра со своим супругом теперь уже, во всяком случае, не миновала границу Франции: их конь, казалось, не бежал, а летел по воздуху. Так что нечего мне всучивать кота за зайца и показывать какую-то безносую Мелисендру, меж тем как настоящая, если все благополучно, напропалую веселится теперь со своим супругом во Франции. Господь каждому воздает от щедрот своих, сеньор маэсе Педро, нам же надлежит ходить дорогой прямою и не кривить душою. А теперь продолжайте.

Маэсе Педро, видя, что на Дон Кихота опять накатило и он взялся за прежнее, и боясь, как бы он не ускользнул от него, повел такую речь:

— Уж верно, это не Мелисендра, а одна из ее служанок. Дайте мне за нее шестьдесят мараведи, и я почту себя удовлетворенным и щедро вознагражденным.

Так он назначал цену и всем прочим поломанным куклам, каковая цена была потом снижена третейскими судьями, и истец и ответчик помирились в конце концов на сорока реалах и трех четвертях; Санчо тут же их выложил, однако маэсе Педро запросил сверх того еще два реала на прожитие, пока он не разыщет обезьяну.

— Дай ему, Санчо,— сказал Дон Кихот,— если не на прожитие, так на пропитие, а еще двести реалов я дал бы в награду тому, кто мог бы сказать наверное, что сеньора донья Мелисендра и сеньор дон Гайферос уже во Франции, в родной семье.

— Никто не мог бы дать вам более точных сведений, чем моя обезьяна,— сказал маэсе Педро,— но теперь ее сам черт не поймает. Впрочем, мне думается, что привязанность к хозяину и голод возьмут свое и ночью она станет меня искать, а утром мы с нею, бог даст, увидимся.

Словом, бой с куклами кончился, и все в мире и согласии поужинали за счет Дон Кихота, коего щедрость была беспредельна.

Еще до рассвета уехал крестьянин с пиками и алебардами, а когда уже совсем рассвело, к Дон Кихоту пришел проститься студент: он возвращался восвояси. Маэсе Педро воздержался от дальнейших препирательств с Дон Кихотом — для этого он слишком хорошо его знал; он поднялся ни свет ни заря и, подобрав останки своего райка и подхватив обезьянку, также отправился искать приключений. Хозяин прежде не был знаком с Дон Кихотом и оттого не мог надивиться как его дурачествам, так и его щедрости. Санчо по распоряжению своего господина очень хорошо ему заплатил, и часов в восемь утра, простившись наконец с хозяином, рыцарь и его оруженосец покинули постоялый двор и тронулись в путь, и до времени мы их оставим, ибо тут уместно будет дать читателю некоторые сведения, необходимые для правильного понимания знаменитой этой истории.

ГЛАВА XXIV,

в коей поясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, которое окончилось не так, как он хотел и рассчитывал

Все, кто читал первую часть этой истории, должны хорошо помнить Хинеса де Пасамонте, которого Дон Кихот в числе других каторжников освободил в Сьерре Морене, за каковое доброе дело эти зловредные и злонравные люди так дурно его

отблагодарили и еще хуже ему отплатили. Этот самый Хинес де Пасамонте, которого Дон Кихот назвал Хинесильо де Награбильо, и похитил у Санчо Пансы осла, однако ж впоследствии Санчо отобрал своего серого. Так вот, этот самый Хинес, боясь очутиться в руках властей, которые разыскивали его, чтобы наказать за бесконечные мошенничества и преступления, коих числилось за ним столько и коих состав был таков, что он сам написал о них большущий том,— этот самый Хинес положил перебраться в королевство Арагонское, заклеить себе левый глаз и заняться ремеслом раешника, а по этой части, равно как и насчет ловкости рук, был он великий искусник.

У неких христиан, возвращавшихся из берберийского плена*, купил он по случаю обезьяну и научил ее по определенному знаку вскакивать к нему на плечо и делать вид, что шепчет ему о чем-то на ухо. И теперь, прежде чем расположиться с обезьяною и балаганчиком в каком-нибудь селе, он в соседнем селе или же вообще у людей осведомленных выспрашивал, что там особенного произошло и с кем именно; все это хорошенько запомнив, он обыкновенно начинал с представления: иной раз покажет одну историйку, в другой раз — другую, но все они были у него потешные, занимательные и пользовавшиеся известностью. После представления он показывал искусство своей обезьяны, предуведомляя, однако же, зрителей, что она угадывает прошедшее и настоящее, а что насчет будущего она, мол, не мастак. За каждый ответ он взимал два реала, а с некоторых еще дешевле, в зависимости от того, кто задавал вопрос; когда же он заходил к людям, о которых знал всю подноготную, то хотя бы они, не желая платить, ни о чем его не спрашивали, он все равно делал обезьянке знак, а затем объявлял, что она ему сказала то-то и то-то, и попадал как раз в точку. Этим он стяжал себе славу необыкновенную, и все за ним ходили толпой. В иных случаях, будучи человеком находчивым, он придумывал ответы из головы, и ответы весьма подходящие, а так как никто к нему не приставал и не придирался, что́ это, мол, за такая чудесная обезьяна — без промаха и изъяна, то он всем втирал очки и знай себе набивал кошель. Прибыв же на постоялый двор, он тотчас признал Дон Кихота и Санчо Пансу, и благодаря прежнему знакомству с ними для него не составило труда привести в изумление и Дон Кихота, и Санчо Пансу, и всех прочих обитателей постоялого двора; но это обошлось бы ему недешево, когда бы Дон Кихот, отсекая голову королю Марсилию и уничтожая конницу, как о том было сказано в главе предыдущей, взмахнул мечом чуть ниже.

Вот и все, что требовалось сообщить о маэсе Педро и его обезьяне. Обращаясь же к Дон Кихоту Ламанчскому, должно

заметить, что, выехав с постоялого двора, он задумал посетить берега реки Эбро и ее окрестности. С этою целью он тронулся в путь, и в продолжение двух дней пути с ним не произошло ничего достойного быть занесенным в летописи, на третий же день, поднимаясь на холм, он услыхал трубный звук, барабанный бой и аркебузные выстрелы. Прежде всего он подумал, что это идут солдаты, и, чтобы посмотреть на них, пришпорил Росинанта и поднялся на верх холма; очутившись же на вершине, он увидел, что у подошвы холма теснится, как ему показалось, более двухсот человек, вооруженных чем попало, как-то: копьецами, самострелами, секирами, пиками и алебардами, кое у кого были аркебузы, у многих круглые щиты. Дон Кихот спустился с холма и подъехал к дружине так близко, что ему хорошо видны были стяги, и он различил их цвета и разобрал украшавшие их эмблемы, из коих одна, обратившая на себя особое его внимание, нарисованная на штандарте, или, вернее, на лоскуте белого атласа, весьма натурально изображала маленького ослика с поднятою головою, раскрытою пастью и высунутым языком — словом, принявшего такое положение и имевшего такой вид, как будто бы он ревет, а вокруг большими буквами было написано следующее двустишие:

Ревели, знать, не без причины
Алькальды на манер ослиный.

Сей отличительный признак навел Дон Кихота на мысль, что собравшийся здесь народ — из села ревущего, и он сказал об этом Санчо и объяснил ему, что́ написано на знамени. Дон Кихот еще прибавил, что тот, кто рассказывал ему об этом происшествии, по-видимому, ошибся, утверждая, что ревели ослами два рехидора,— стихи на знамени гласят, что то были алькальды. Санчо Панса же ему на это сказал:

— Сеньор! Этому не следует придавать особое значение. Очень может быть, что рехидоры, которые тогда ревели по-ослиному, со временем стали алькальдами, а значит, их можно называть и так и этак, тем более что достоверность этой истории не зависит от того, кто именно ревел: алькальды или же рехидоры,— важно, что кто-то из них в самом деле ревел, а зареветь ослом что алькальду, что рехидору всегда есть от чего.

Словом, им стало ясно и понятно, что село осмеянное вышло на бой с другим селом, высмеивавшим его, не зная меры и не по-добрососедски.

Дон Кихот двинулся прямо к сельчанам, что́ для Санчо было весьма огорчительно, ибо не любитель он был такого рода похождений. Отряд, полагая, что это его сторонник, расступился

перед Дон Кихотом. Дон Кихот поднял забрало и с видом решительным и независимым вплотную подъехал к знамени с изображением осла, и тут его окружили военачальники, у коих он вызвал такое же точно удивление, какое вызывал у всех, кто видел его впервые, и удивленно на него уставились. Заметив, что они со вниманием его рассматривают, не заговаривая с ним и ни о чем его не спрашивая, Дон Кихот решился воспользоваться этим молчанием и, нарушив свое собственное, громким голосом заговорил:

— Милостивые государи! Убедительнейше вас прошу не прерывать ту речь, с какою я намерен к вам обратиться, доколе она вам не приестся и не наскучит. Если же наскучит, то мне довольно будет самомалейшего с вашей стороны знака, чтобы наложить печать на уста и придержать язык.

Все объявили, что он волен держать речь и что они охотно его выслушают. Получив дозволение, Дон Кихот продолжал:

— Я, государи мои, странствующий рыцарь, мое поприще есть поприще ратное, мой долг — заступаться за тех, кто в заступлении нуждается, и выручать утесненных. Несколько дней тому назад я узнал о вашем злоключении и о том, что́ заставляет вас ежеминутно браться за оружие, дабы отомстить врагам вашим. И вот, вникнув как должно в суть вашего дела, я пришел к заключению, что, согласно правилам о поединке, у вас нет оснований почитать себя оскорбленными, ибо частное лицо не может оскорбить целое общество, если только всему этому обществу не брошено обвинение в измене, когда в точности неизвестно, кто именно в измене повинен. Коль скоро же одно лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, государство, а тем паче село, то ясно, что незачем мстить за оскорбление, будто бы вам нанесенное, ибо оскорбления-то никакого и нет. Хорошее было бы дело, если бы жители села Ла Релоха[1] поминутно дрались с теми, кто их дразнит часовщиками, а равно и «кастрюльники», «баклажанники», «китоловы», «мыловары» и прочие поселяне, клички и прозвища которых на устах у каждого мальчишки и у всякой мелюзги! Нечего сказать, хорошее было бы дело, если б все эти почтенные граждане обижались на прозвища и мстили, а их шпаги из-за всякого пустяка так и ходили взад-вперед в ножнах, словно выдвижное колено в тромбоне! Нет, нет, сохрани, господи, и помилуй! Мужи благоразумные и государства благоустроенные берутся за оружие, обнажают шпаги и рискуют собою, своею жизнью и достоянием своим только в четырех случаях: во-первых, для защиты нашей католической веры, во-вторых, для защиты собственной жизни,

---

[1] Название «Ла Релоха» происходит от испанского слова el reloj — часы.

ибо так велит закон божеский и таково наше естественное право, в-третьих, для защиты чести своей, семьи и имущества, в-четвертых, служа королю на бранном поле, когда он ведет войну справедливую, и, если угодно, назовем еще и пятый случай — его, впрочем, можно считать вторым,— а именно: защита родины своей. К этим пяти основным поводам мы вправе присоединить несколько других, столь же справедливых и разумных поводов, чтобы взяться за оружие, но о тех, кто прибегает к нему из-за какой-то чепухи, которая скорей может служить поводом для смеха и веселого времяпрепровождения, нежели для обиды, можно подумать, что они совершенно лишены здравого смысла. К тому же месть несправедливая (а справедливой мести вообще не существует) противоречит нашей религии, религия же велит нам делать добро врагам и любить ненавидящих нас, каковая заповедь представляется трудноисполнимою лишь тем, кто помышляет более о мирском, нежели о божественном, и для кого плоть важнее духа, ибо Иисус Христос, истинный богочеловек, который никогда не лгал и не мог и не может лгать, сказал, давая нам свой закон, что иго его — благо и бремя его легко, а значит, он не мог заповедать нам ничего непосильного. Итак, государи мои, по всем законам божеским и человеческим выходит, что вы должны утихомириться.

«Пусть меня черти унесут,— сказал тут про себя Санчо,— если мой господин не богослов, во всяком случае он похож на богослова как две капли воды».

Дон Кихот немного передохнул и, видя, что толпа хранит молчание и намерена слушать его и дальше, хотел было продолжать свою речь, каковую он бы, уж верно, продолжил, когда бы со свойственною ему живостью ума не вмешался Санчо и, видя, что его господин переводит дух, не взял слова вместо него.

— Мой господин Дон Кихот Ламанчский, который одно время называл себя Рыцарем Печального Образа, а ныне именует себя Рыцарем Львов,— весьма образованный идальго,— сказал Санчо,— по части латыни и испанского он любому бакалавру не уступит, во всем, что он говорит и советует, сейчас видно славного воина, и все, как называется, правила-законы поединка он знает назубок, так что вам остается только послушаться его,— ручаюсь, что не прогадаете. Тем более, вы сами слышали: из-за одного только ослиного рева обижаться глупо. Помнится, когда я был мальчонкой, я ревел по-ослиному когда и сколько мне хотелось, и притом по собственному почину, да так искусно и так похоже, что на мой рев отзывались все ослы, какие только были в деревне, и все-таки меня почитали не за выродка, а за достойного сына своих родителей, людей почтен-

нейших. Правда, искусству моему завидовали многие деревенские франты, ну да я на них чихал. А коли вам угодно удостовериться, что я не вру, то подождите и послушайте. Ведь это искусство — все равно что плаванье: раз научишься — век не забудешь.

С этими словами он приставил руку к носу и взревел так, что во всех окрестных долинах отозвалось эхо. Но тут один из стоявших подле него поселян, вообразив, что он над ними насмехается, взмахнул дубиной и так его огрел, что не устоял Санчо Панса на ногах и грянулся оземь. Дон Кихот, видя, что с Санчо так дурно обходятся, взял копье наперевес и ринулся на драчуна, но столькие в тот же миг заградили его, что отомстить не представлялось возможным; более того: видя, что градом сыплются камни и что ему грозит великое множество нацеленных на него самострелов и столько же аркебуз, Дон Кихот поворотил Росинанта и во весь его мах помчался прочь от толпы, из глубины души взывая к богу, чтобы он избавил его от опасности, ибо Дон Кихот каждую секунду ждал, что его ранят навылет, и то и дело затаивал дыхание, прислушиваясь, пролетела ли пуля мимо. Воители, однако ж, удовольствовались зрелищем его бегства и так и не открыли стрельбы. Бедного же Санчо, едва он опамятовался, они положили поперек осла и позволили ему следовать за своим господином, но Санчо был не в состоянии править, и серый сам затрусил вослед за Росинантом, без которого он не мог прожить ни одного мгновения. Дон Кихот между тем отъехал на довольно значительное расстояние, а потом обернулся и, увидев, что Санчо едет за ним, и удостоверившись, что погони нет, решился подождать его.

Воители пробыли там до ночи, а так как супостаты их на битву не вышли, то они, радостные и ликующие, возвратились восвояси.

ГЛАВА XXV

О событиях, которые станут известны тому, кто о них прочтет, если только он будет читать со вниманием

Когда храбрец бежит, значит, он разгадал военную хитрость противника, а мужам благоразумным должно беречь себя для более важных случаев. Справедливость этого положения подтвердилась на примере Дон Кихота. Давши сельчанам полную волю гневаться, а рассвирепевшему их отряду — осуществлять недобрые свои намерения, он бросился наутек и, не думая о Санчо и о грозившей ему опасности, скакал до тех пор, пока

не почувствовал, что бояться нечего. Санчо, как было сказано, ехал за ним поперек осла. Нагнал он его, будучи уже в полном сознании, и, весь избитый, поколоченный и унылый, свалился с серого к ногам Росинанта. Дон Кихот спешился, чтобы осмотреть его раны, но, оглядев его с ног до головы и удостоверившись, что тот цел и невредим, довольно сердито заговорил:

— Выбрали же вы время, Санчо, реветь ослом! Откуда вы взяли, что в доме повешенного следует говорить о веревке? И разве дубины — не самый подходящий аккомпанемент для ваших ослиных трелей?

— Я не в состоянии отвечать,— сказал Санчо,— потому у меня такое чувство, будто говорит не язык, а спина. Сядемте верхами, поедемте своей дорогой, и реветь ослом я уж больше не стану, но зато не стану и молчать о том, что странствующие рыцари бегут и оставляют добрых своих оруженосцев на расправу врагам, а те молотят их, словно зерно.

— Отступление не есть бегство,— заметил Дон Кихот.— Надобно тебе знать, Санчо, что смелость, которая не зиждется на осмотрительности, именуется безрассудством, подвиги же безрассудного скорее должны быть приписаны простой удаче, нежели его храбрости. Итак, я признаю, что отступил, но я не бежал, образцом же мне служили многие смельчаки, которые берегли себя для лучших времен, и романы полны подобных примеров, но пересказывать их я не стану, ибо и тебе это пользы не принесет, и мне удовольствия не доставит.

Между тем Санчо с помощью Дон Кихота уселся верхом, Дон Кихот сел на Росинанта, и они не спеша двинулись к роще, видневшейся на расстоянии четверти мили. Санчо по временам глубоко вздыхал и тяжко стонал; когда же Дон Кихот осведомился о причине столь мрачного расположения духа, он ответил, что у него отчаянно болит спина от самого кончика позвоночника до затылка — прямо до дурноты.

— Боль эта вызвана, без сомнения, тем,— сказал Дон Кихот,— что дубина, которою тебя ударили, была длинная и прямая, и она охватила все эти участки спины, которые у тебя болят, а если б она пошире взяла, тебе было бы еще больней.

— Клянусь богом, ваша милость разрешила глубокое мое сомнение, да еще в каких прекрасных выражениях все растолковала! — воскликнул Санчо.— Ах ты, будь я неладен, да неужто это такая загадка, отчего у меня болит спина, и требуется еще объяснять, что у меня болят все как есть места, до которых достала дубина? Если б у меня заболела лодыжка, я бы еще, может, призадумался, отчего это она у меня болит, а что у меня болит там, где меня огрели, тут думать да гадать не приходится. Поистине, досточтимый сеньор мой, чужую беду рука-

ми разведу, и с каждым днем мне все яснее и яснее становится, что от вашего общества прок невелик: сегодня вы дали меня избить, а потом, опять двадцать пять, начнется подбрасывание на одеяле и прочие детские забавы. Нынче я спиной расплатился, а завтра как бы не пришлось расплачиваться глазами. Куда лучше было бы мне,— вот только я сущий варвар, и ничего хорошего от меня не жди,— куда лучше было бы мне, говорю я, вернуться домой, к жене и к деткам, растить их и чем бог пошлет питать, а не плутать следом за вашей милостью по непутевым путям и бездорожным дорогам, мало пивши и совсем ничего не евши. А уж насчет сна и говорить нечего! Отмерьте себе, любезный оруженосец, семь пядей земли, а коли хотите, так еще столько же, тут вы сами себе господин, и располагайтесь со всеми удобствами. Чтоб ему сгореть на костре и чтоб его пепел развеялся по ветру,— я разумею первого человека, который начал городить огород странствующего рыцарства, или уж, по крайности, первого, который пожелал поступить в оруженосцы к таким олухам, какими, наверно, были прежние странствующие рыцари. О теперешних я ничего не говорю: коли ваша милость из их числа, стало быть, я должен относиться к ним с уважением, ибо по части ума и красноречия ваша милость самому черту нос утрет.

— Я охотно побился бы с вами об заклад, Санчо,— сказал Дон Кихот,— что вот сейчас, когда вы болтаете не переставая, у вас нигде ничего не болит. Говорите, сударь, все, что вам придет в голову и что вертится у вас на языке,— лишь бы у вас ничего не болело, я же безропотно снесу ваши дерзости. Вам не терпится возвратиться домой к жене и детям — сохрани бог, чтобы я этому препятствовал, деньги мои у вас, высчитайте, сколько дней прошло с того времени, как мы в третий раз выехали из села, прикиньте, сколько вы можете и должны заработать в месяц, и выдайте себе сами.

— Когда я служил у Томе Карраско, отца бакалавра Самсона Карраско, которого ваша милость хорошо знает,— сказал Санчо,— я зарабатывал два дуката в месяц, не считая харчей, а сколько мне взять с вашей милости, это уж я не знаю, знаю только, что у оруженосца странствующего рыцаря больше дел, чем у деревенского батрака; ведь и правда: когда мы в батраках, то как бы мы днем ни работали, как бы нам ни приходилось подчас туго, а все-таки вечером мы едим похлебку и ложимся спать в постель, а с тех пор как я поступил на службу к вашей милости, я про постель и думать забыл. Если не считать того пиршества, которое я себе устроил из пенок с котлов Камачо, и всего, сколько я наел, напил и наспал в доме Басильо, все остальное время я спал на голой земле, под

открытым небом, подвергался всевозможным, как их называют, стихийным бедствиям, питался крохами сыра и корками хлеба и пил воду из ручьев и источников, которые нам попадались в дебрях.

— Признаю, Санчо, что вы говорите истинную правду,— молвил Дон Кихот.— Насколько же, по-вашему, больше, чем Томе Карраско, я должен вам заплатить?

— Я так полагаю,— отвечал Санчо,— что коли ваша милость надбавит по два реала в месяц, то это будет по-божески. Но это — только мое жалованье, а за то, что вы дали слово и обещали ввести меня во владение островом, нужно бы накинуть еще по шести реалов, так что всего-навсего тридцать реалов.

— Отлично,— сказал Дон Кихот,— выехали мы из дому двадцать пять дней тому назад, так вот, Санчо, исходя из той суммы, которую вы себе положили, извольте подвести общий итог, подсчитайте, сколько я вам должен, и, как я уже сказал, уплатите себе собственноручно.

— Э, нет, ишь вы какэй! — воскликнул Санчо.— Ваша милость очень даже ошибается в своих расчетах, потому за обещанный остров должно считать с того дня, как ваша милость мне его обещала, и по сегодняшний день включительно.

— Сколько же прошло, Санчо, с того времени, как я вам его обещал? — спросил Дон Кихот.

— Если память мне не изменяет,— отвечал Санчо,— уж верно, лет двадцать с хвостиком.

Дон Кихот хлопнул себя по лбу, весело рассмеялся и сказал:

— Да ведь я пробыл в Сьерре Морене и вообще провел в походах около двух месяцев, а ты говоришь, Санчо, что я обещал тебе остров двадцать лет тому назад! Ну так вот что я на это скажу: ты желаешь, чтобы все деньги, которые я сдал тебе на хранение, пошли в счет твоего жалованья,— что ж, если ты этого так хочешь, я тебе их отдам сей же час, бери на здоровье, я предпочитаю остаться нищим, без единого гроша, лишь бы избавиться от такого скверного оруженосца. Но скажи мне, нарушитель установлений, касающихся оруженосцев странствующего рыцарства: где ты видел или же читал, чтобы какой-нибудь оруженосец странствующего рыцаря приставал к своему господину: «Сколько вы мне будете платить в месяц?» Погрузись, погрузись, разбойник, негодяй, чудовище, ибо ты именно таков, погрузись, говорю я, в безбрежное море рыцарских романов, и если тебе попадется, что кто-нибудь из оруженосцев сказал или даже подумал то, что сейчас сказал ты, так можешь вырезать мне эти слова на лбу и вдобавок влепить штук пять хороших щелчков. Итак, подбери поводья и поезжай до-

мой — со мною вместе ты не сделаешь более ни шагу. Вот она, благодарность за мой хлеб! Вот кого я собирался наградить! Вот в ком более скотского, нежели человеческого! Как? В то самое время, когда я намеревался так тебя вознести, чтоб все наперекор твоей жене величали тебя *ваше сиятельство*, ты со мной расстаешься? Как? Ты уезжаешь в то самое время, когда я возымел твердое и бесповоротное решение назначить тебя губернатором лучшего острова в мире? Словом, ты сам когда-то сказал, что некоторых животных медом не кормят. Осел ты есть, ослом ты и будешь, и быть тебе ослом до последнего твоего издыхания, ибо я уверен, что нить твоей жизни прервется прежде, нежели ты догадаешься и поймешь, что ты скот.

Пока Дон Кихот распекал Санчо, тот не сводил с него глаз и наконец почувствовал такие угрызения совести, что его прошибла слеза, и он упавшим и жалобным голосом заговорил:

— Государь мой! Я сознаю, что мне недостает только хвоста, иначе был бы я полным ослом. Коли вашей милости угодно мне его привесить, то я буду считать, что он висит на месте, и в качестве осла буду служить вам до конца моих дней. Простите меня, ваша милость, и сжальтесь надо мной,— ведь я сущий младенец и худо во всем разбираюсь, и болтаю я много неумышленно: такая уж у меня слабость, а кто грешит да кается, тому грехи отпускаются.

— Я бы удивился, Санчо, если б ты не вставил в свою речь какого-нибудь этакого присловьица. Что ж, коли ты раскаиваешься, то я тебя прощаю, с условием, однако, чтобы впредь ты заботился не только о собственной выгоде,— будь отзывчивее и с бодрою и смелою душою ожидай исполнения моих обещаний, каковое, правда, запаздывает, но коего возможность отнюдь не исключена.

Санчо ответил, что так оно и будет и что он непременно возьмет себя в руки.

Тут они въехали в рощу, и Дон Кихот расположился у подножия вяза, а Санчо — у подножия бука. Санчо провел мучительную ночь, ибо от ночной росы у него еще сильней разболелись места, по которым прошлась дубина, а Дон Кихот по обыкновению предался своим мечтаниям, однако в конце концов сон смежил вежды обоим, а на заре они двинулись к берегам славного Эбро, и там с ними случилось то, о чем будет рассказано в следующей главе.

К стр. 346

ГЛАВА XXVI

О славном приключении с заколдованною ладьею

Выехав из рощи, Дон Кихот и Санчо спустя два дня мерным и умеренным шагом добрались до реки Эбро, коей созерцание доставило Дон Кихоту великое удовольствие. Он любовался приветными ее берегами, светлыми ее струями, мирным течением полных ее и зеркальных вод, и это увеселяющее взоры зрелище навеяло Дон Кихоту множество отрадных воспоминании. Особенно живо вспомнилось ему все то, что он видел в пещере Монтесиноса, и хотя обезьяна маэсе Педро сказала ему, что только часть всех этих происшествий правда, а остальное, мол, обман, он все же склонен был признать их не за обман, а за истину, в противоположность Санчо, который полагал, что все это пустое мечтание. Ехали они, ехали и вдруг заметили лодочку без весел и каких-либо снастей, привязанную к стволу прибрежного дерева. Дон Кихот огляделся по сторонам, но не обнаружил ни одной души; тогда он, не долго думая, соскочил с Росинанта и велел Санчо спрыгнуть с осла и покрепче привязать обоих животных к стволу то ли прибрежного тополя, то ли прибрежной ивы. Санчо осведомился о причине столь скоропалительного спешивания и привязывания. Дон Кихот же ему ответил так:

— Да будет тебе известно, Санчо, что вот эта ладья явно и бесспорно призывает меня и понуждает войти в нее и отправиться на помощь какому-нибудь рыцарю или же другой страждущей знатной особе, которую постигло великое несчастье, ибо это совершенно в духе рыцарских романов и в духе тех волшебников, что в этих романах и рассуждают и действуют: когда кто-нибудь из рыцарей в беде и выручить его может только какой-нибудь другой рыцарь, но их разделяет расстояние в две-три тысячи миль, а то и больше, волшебники сажают этого второго рыцаря на облако или же предоставляют в его распоряжение ладью и мгновенно переправляют по воздуху или же морем туда, где требуется его помощь. Так вот, Санчо, эта ладья причалена здесь с тою же самой целью, и все это такая же правда, как то, что сейчас день, и пока еще не свечерело, привяжи серого и Росинанта — и с богом.

— Коли так,— заговорил Санчо,— и коли ваша милость намерена на каждом шагу делать, можно сказать, глупости, то мне остается только повиноваться и склонить голову по пословице: «Не пойдешь своему господину наперекор — будет тебе от него на прокорм». Однако для очистки совести осмелюсь доложить, что, по моему разумению, хозяева этой лодки не

какие-нибудь там заколдованные, а просто местные рыбаки: ведь в этой реке водится наилучшая бешенка*.

Санчо рассуждал, а сам в это время привязывал четвероногих, к великому своему душевному прискорбию оставляя их под защитой и покровительством волшебников.

— Ну ладно, привязал,— объявил он.— А теперь что мы будем делать?

— Что будем делать? — сказал Дон Кихот.— Перекрестимся и отдадим якорь, то есть сядем в лодку и перережем причал, коим она прикреплена к берегу.

С этими словами он прыгнул в лодку, Санчо следом за ним, затем была перерезана бечевка, и лодка начала медленно удаляться; и вот когда Санчо увидел, что он уже на расстоянии примерно двух локтей от берега, то в предчувствии неотвратимой гибели задрожал всем телом, но особенно он закручинился, услышав рев осла и увидев, что Росинант из сил выбивается, чтобы сорваться с привязи, и тут он сказал своему господину:

— Осел заревел с тоски по нас, а Росинант старается вырваться на свободу, чтобы потом броситься за нами вдогонку. Будьте спокойны, милые друзья! Я чаю, мы скоро поймем, что покидать вас было чистое сумасбродство, образумимся и вернемся к вам!

И при этом он так горько заплакал, что Дон Кихот в запальчивости и раздражении ему сказал:

— Чего ты боишься, трусливое создание? О чем ты плачешь, сердце из коровьего масла? Разве тебя кто-нибудь преследует, кто-нибудь за тобою гонится, крысиная ты душа? Чего тебе недостает, тебе, покоящемуся на лоне изобилия? Может статься, ты шагаешь пеший и босый по Рифейским горам*, а не сидишь на скамеечке, будто эрцгерцог, и тебя не уносит спокойное течение прелестной этой реки, откуда мы в скором времени выйдем в открытое море? Э, да мы, кажется, уже вышли в море и проплыли по крайней мере семьсот, а то и все восемьсот миль,— будь со мной астролябия, я бы измерил высоту полюса и сказал бы тебе точно, сколько мы с тобой проехали миль. Впрочем, может статься, я в этом ровно ничего не смыслю, но мне кажется, что мы уже проехали или вот-вот проедем линию равноденствия, которая на равном расстоянии от противоположных полюсов пересекает и надвое делит землю.

— А когда мы достигнем этой, как вы ее называете, линии равнодушия, то сколько же мы тогда проедем? — спросил Санчо.

— Много,— отвечал Дон Кихот.— Согласно вычислениям Птолемея, величайшего из всех известных нам космографов, по-

верхность воды и суши на нашей планете равна тремстам шестидесяти градусам, мы же с тобою, достигнув этой линии, проедем как раз половину.

— Вот уж, ей-богу, ваша милость,— молвил Санчо,— нашли кого приводить во свидетели и с кем дружбу водить: с каким-то не то Ни-бе-ни-меем, не то Пустомелей,— сами же вы честите его косоглазым, да еще, если я вас правильно понял, жулябией.

Посмеялся Дон Кихот подобному толкованию имени и рода занятий космографа Птолемея, а также прибора астролябии.

Между тем лодка медленно скользила по реке, и влекла ее вовсе не какая-нибудь таинственная сила или незримый волшебник, а просто-напросто тихое в ту пору и спокойное течение.

В это самое время глазам путников явились большие мельницы, стоявшие посреди реки, и, едва увидев их, Дон Кихот громким голосом сказал Санчо:

— Смотри, смотри! Вон там, друг мой, виднеется то ли город, то ли замок, то ли крепость, в которой, уж верно, находится заключенный рыцарь, а может статься, некая униженная королева, инфанта или принцесса, и вот ради того, чтобы оказать им помощь, я сюда и доставлен.

— О каком, черт побери, городе, о какой крепости и о каком замке вы, государь мой, толкуете? — возопил Санчо.— Разве вы не видите, что это водяные мельницы, на которых мелют зерно?

— Молчи, Санчо,— сказал Дон Кихот,— они только кажутся мельницами, но это не мельницы. Я уж тебе говорил, что волшебные чары обладают свойством подменять и искажать подлинную сущность любого предмета. Я не хочу сказать, что один предмет превращается в другой на самом деле,— нет, подмена происходит только в нашем воображении, как это показал случай с превращением моей Дульсинеи.

Тем временем лодка попала в самую стремнину и начала продвигаться вперед быстрее, чем прежде. Мукомолы, работавшие на мельницах, заметив, что по реке движется лодка и что ее несет прямо в водоворот, образуемый мельничными колесами, схватили длинные шесты и выбежали на плотину, чтобы остановить лодку, а так как лица их и одежда были в муке, то вид у них был довольно страшный. Они громко кричали:

— Черти вы эдакие! Куда вы прете? Вам что, жизнь не мила? Вы что хотите? Утонуть или попасть под колеса, чтоб вас размололо в пыль?

— Не говорил ли я тебе, Санчо,— молвил тут Дон Кихот,— что мы достигли тех мест, где мне придется показать, чего может достигнуть доблестная моя длань? Смотри, сколько лиходеев и наглецов выбежало мне навстречу, смотри, сколько стра-

шилищ стало мне поперек дороги, смотри, какие рожи корчат нам эти уроды. Ну погодите ж вы мне, мерзавцы!

Тут он поднялся во весь рост и, возвысив голос, начал грозить мукомолам:

— Злочестивый и зловредный сброд! Отпустите на волю и предоставьте полную свободу той особе, которая заточена в этой вашей то ли крепости, то ли темнице,— все равно, какого она рода и звания и высока или же низка ее доля. Я — Дон Кихот Ламанчский, иначе Рыцарь Львов, и мне самим всемогущим небом назначено в удел довести это приключение до победного конца.

И, сказавши это, он выхватил меч и принялся размахивать им перед носом у мукомолов, те же хоть и слышали его неразумные речи, но так и не поняли их и всё пытались остановить своими шестами лодку, которую так и тянуло в водоворот под колесами мельниц.

Санчо опустился на колени и начал горячо молиться богу, чтобы он избавил его от столь явной опасности, и так оно и случилось благодаря ловкости и расторопности мукомолов, которые уперлись шестами в лодку и в конце концов остановили ее, но лодка все же перевернулась, и Дон Кихот вместе с Санчо упали в воду; у Дон Кихота было то преимущество, что он плавал, как утка, но из-за тяжелых доспехов он все же дважды погружался на дно, так что если бы мукомолы не бросились в воду и не вынесли их обоих почти на руках, то это место было бы для них Троей. Когда же их вытащили, до такой степени насыщенных влагою, что никакое питье не пришлось бы им теперь по вкусу, Санчо стал на колени и, сложив руки и возведя очи к небу, обратился к богу с длинной и жаркой молитвой, чтобы на будущее время он избавил его от дерзновенных замыслов и начинаний его господина.

В это время появились рыбаки, владельцы лодки, которую, кстати сказать, мельничные колеса разнесли в щепки, и, увидев, что лодка разбита, напали на Санчо и принялись раздевать его, а с Дон Кихота потребовали возмещения убытков. Дон Кихот же, как ни в чем не бывало, с великим спокойствием объявил мукомолам и рыбакам, что он весьма охотно уплатит за лодку, но при условии, что они без всяких увертoк освободят ту особу или же особ, которые у них в замке заключены.

— О каких таких особах и замках ты толкуешь, дурья голова? — воскликнул один из мукомолов.— Ты что, хочешь увезти с собой тех людей, которые приехали сюда молоть зерно?

«Довольно! — сказал себе Дон Кихот.— Стараться просьбами склонить эту чернь на доброе дело — это все равно что вопиять в пустыне. По-видимому, в этом приключении столкнулись два

могущественных волшебника, и один из них разрушает замыслы другого: один послал за мною ладью, а другой опрокинул меня в воду. Тут только бог может помочь, ибо весь подлунный мир — клубок козней и противоречивых замыслов. Я же ничего не могу в сем случае поделать».

Затем он возвысил голос и, повернувшись лицом к мельницам, молвил:

— Кто бы вы ни были, друзья мои, ввергнутые в эту темницу, простите меня: к несчастью для меня и для вас, я не могу выручить вас из беды. Видно, подвиг сей какому-либо другому рыцарю предуготован и предназначен.

Произнеся эту речь, он столковался с рыбаками и уплатил им за лодку пятьдесят реалов, каковые Санчо выдал весьма неохотно, заметив при этом:

— Еще одно такое катание в лодочке — и все наши деньги пойдут ко дну.

А рыбаки и мукомолы диву давались, глядя на эти две фигуры, столь не похожие на обыкновенных людей, и всё не могли взять в толк, к чему сводились речи и просьбы Дон Кихота; наконец, решив, что это сумасшедшие, они оставили их в покое и разошлись по своим мельницам и рыбачьим лачугам. Неразумные же Дон Кихот и Санчо возвратились к неразумным своим тварям, и на этом приключение с заколдованною ладьею окончилось.

ГЛАВА XXVII

О том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей

В глубоком унынии и в дурном расположении духа приблизились рыцарь и оруженосец к своим четвероногим, особливо Санчо, которого брало за сердце всякий раз, когда приходилось брать из хозяйских денег; у него было при этом такое чувство, как будто он не с деньгами расстался, а остался без глаз. В конце концов молча сели они верхами и покинули берега славной реки, и тут Дон Кихот погрузился в любовные свои думы, а Санчо — в думы о своем возвышении, которое теперь представлялось ему более далеким, чем когда-либо, потому что хоть и был он простоват, а все же прекрасно понимал, что поступки его господина, все или почти все, неразумны, и он только искал случая, не беря расчета и даже не прощаясь со своим господином, в один прекрасный день улепетнуть и возвратиться восвояси, однако ж судьба распорядилась совсем иначе, и опасения его оказались неосновательными.

Случилось так, что на другой день на закате солнца Дон Кихот, выехав из лесу, окинул взглядом зеленый луг и в самом конце его обнаружил скопление народа; приблизившись к этим людям, он понял, что это соколиная охота. Тогда он подъехал еще ближе и увидел статную даму на белоснежном иноходце; сбруя на нем была зеленая, седло же — серебряное. Дама также была во всем зеленом, и одеяние ее было столь богато и столь изящно, что казалось, будто это само изящество. На левой руке у нее сидел сокол, и по этому признаку Дон Кихот догадался, что перед ним некая знатная особа, прочие же охотники — ее свита, и так оно и было на самом деле; и по сему обстоятельству он сказал Санчо:

— Беги, дружочек Санчо, и скажи этой сеньоре на белом коне и с соколом на руке, что я, Рыцарь Львов, падаю ниц пред ее великолепием и что если ее величие позволит, то я приближусь к ней, дабы облобызать ей руки и исполнить все, что только в моих силах и что бы ее светлость мне ни приказала. Но только смотри, Санчо: не наговори лишнего и не вздумай уснащать посольскую свою речь любимыми твоими поговорками.

— Нашли какого уснастителя! — возразил Санчо.— Не извольте беспокоиться! Слава богу, мне не впервой выезжать с посольством к высокопоставленным и важным сеньорам!

— За исключением того случая, когда я посылал тебя к сеньоре Дульсинее,— заметил Дон Кихот,— я не помню, чтобы ты когда-нибудь исполнял посольские обязанности, по крайней мере находясь на службе у меня.

— Ваша правда,— молвил Санчо,— а все-таки исправному плательщику залог не страшен, и где богато живут, там мигом на стол подают. Я хочу сказать, что ничего мне не нужно втолковывать и ни о чем не нужно меня упреждать: у меня у самого хватит смекалки, я сам кое-что в этих делах смыслю.

— Я в этом уверен, Санчо,— сказал Дон Кихот,— ну, час добрый, господь с тобой!

Санчо погнал серого во весь дух и, подъехав к прекрасной охотнице, спешился, пал на колени и сказал:

— Прелестная сеньора! Вон тот рыцарь, которого зовут Рыцарем Львов, это мой господин, а я — его оруженосец, и дома меня зовут Санчо Пансой. Так вот, этот самый Рыцарь Львов, который еще недавно прозывался Рыцарем Печального Образа, послал меня попросить ваше величие, чтобы вы соблаговолили позволить ему явиться с вашего соизволения, разрешения и согласия сюда и исполнить его желание, а желает он, как он сам говорит, да и я тоже так думаю, только одного: служить вашему высокополетному соколичеству и великолепию. И вот, если таковое соизволение воспоследует, то ваше сиятельство от этого

только выиграет, а он почтет сие за особую-преособую милость и удовольствие.

— Поистине, добрый оруженосец,— молвила в ответ сеньора,— ты ничего не упустил из того, что при исполнении подобных поручений требуется. Встань же, оруженосцу столь великого рыцаря, каков Рыцарь Печального Образа, о котором мы здесь уже много наслышаны, неприлично стоять на коленях. Встань же, друг мой, и передай своему господину, что он прибыл как раз вовремя и что я и мой муж герцог приглашаем его в наш летний дворец.

Санчо поднялся с колен; его столько же поразила красота доброй сеньоры, сколько любезность ее и приветливость, но больше всего он был поражен тем, что, оказывается, она уже слышала о Рыцаре Печального Образа; правда, Рыцарем Львов она его не называла, но это, верно, потому, что Дон Кихот взял себе это название совсем недавно. Между тем герцогиня (как ее имя, узнать пока не удалось) обратилась к Санчо с вопросом:

— Скажи, любезный оруженосец: не о твоем ли господине написана книга под заглавием *Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский* и не является ли владычицей его души некая Дульсинея Тобосская?

— Это он и есть, сеньора,— отвечал Санчо,— а оруженосец, который выведен или, по крайности, должен быть выведен в этой книге и которого зовут Санчо Пансой, это я, если только меня не подменили в колыбели, то есть, я хочу сказать, в книгопечатне.

— Все это меня весьма радует,— объявила герцогиня.— Так поезжай же, друг мой Панса, и передай своему господину, что он будет дорогим и желанным гостем в моих владениях и что большего удовольствия, чем его посещение, мне ничто на свете не могло бы доставить.

Получив столь благоприятный ответ, Санчо с чувством глубокого удовлетворения направился к своему господину, передал ему все, что сказала эта знатная сеньора, и на свой деревенский лад превознес до небес необычайную ее красоту, великую приятность и обходительность. Дон Кихот приосанился, вытянулся на стременах, поправил забрало, дал шпоры Росинанту и с крайне независимым видом отправился лобызать герцогине руки; герцогиня же, пока Дон Кихот ехал, подозвала своего мужа герцога и рассказала о его посольстве. А так как супруги читали первую часть истории Дон Кихота и знали из нее о его причудах, то с великою радостью поджидали его и жаждали с ним познакомиться, заранее решив, что они будут потворствовать всем его прихотям, поддакивать ему и все то время, что он у них прогостит, обходиться с ним, как со странствующим рыцарем,

соблюдая все церемонии, обыкновенно описываемые в читанных ими рыцарских романах, до которых они были большими охотниками.

Тем временем Дон Кихот с поднятым забралом приблизился к кавалькаде и подал Санчо знак, что намерен спешиться; Санчо ринулся было поддержать ему стремя, но, на беду, когда спрыгивал со своего серого, зацепился одной ногой за веревку от седла; выпутаться ему так и не удалось, и, припав лицом и грудью к земле, он повис на веревке. Дон Кихот привык к тому, чтобы, когда он слезает с коня, ему держали стремя, и теперь он, полагая, что Санчо уже здесь, перегнулся и потащил за собою седло Росинанта, седло же, по всей вероятности, было плохо подтянуто, ибо он, к немалому своему смущению, вместе с седлом грянулся оземь, мысленно осыпая проклятиями злосчастного Санчо, коего нога все еще была в тисках. Герцог приказал своим егерям помочь рыцарю и оруженосцу, те подняли Дон Кихота, Дон Кихот же сильно ушибся при падении и прихрамывал, однако ж попытался было через силу стать на колени перед герцогом и герцогиней, но герцог решительно этому воспротивился — он соскочил с коня, обнял Дон Кихота и сказал:

— Мне очень досадно, сеньор Рыцарь Печального Образа, что вступление в мои земли ознаменовалось для вас такой неудачей. Впрочем, небрежение оруженосцев бывает иной раз причиною и более неприятных происшествий.

— Происшествие, с которым связана встреча с таким славным вельможей, как вы, нельзя признать неудачным,— возразил Дон Кихот.— Даже если б я низринулся на самое дно пропасти, меня вызволила бы оттуда и вознесла честь свидания с вами. Мой оруженосец, накажи его господь, гораздо лучше умеет развязывать свой язык, чтобы отпускать всякие шуточки, нежели привязывать и подтягивать седло, чтобы оно крепче держалось. Но в любом положении, поверженный или же восставший, пеший или же конный, я всегда к услугам вашим и сеньоры герцогини, достойной вашей супруги, достойной именоваться первоизбранницею красоты и первоверховною законодательницею учтивости.

— Стойте, стойте, сеньор Дон Кихот Ламанчский! — молвил герцог.— Там, где царит сеньора донья Дульсинея Тобосская, не должно восхвалять чью бы то ни было красоту.

Между тем Санчо Панса уже высвободил ногу из петли и, приблизившись, поспешил ответить за своего господина:

— Нельзя отрицать, напротив — должно подтвердить, что сеньора Дульсинея Тобосская очень даже красива, но ведь заяц выбегает, когда охотник не ожидает, и потом я еще такое слыхал:

то, что мы называем природой, это, говорят, вроде гончара, который делает сосуды из глины, и коли он слепил один красивый сосуд, стало быть, может слепить их и два, и три, и целую сотню. Говорю я это к тому, что сеньора герцогиня, право, не хуже моей хозяйки, сеньоры Дульсинеи Тобосской.

Дон Кихот обратился к герцогине и сказал:

— Примите в соображение, ваше величие, что ни у одного странствующего рыцаря не было такого говорливого и вечно балагурящего оруженосца, как у меня, и если вашему высокопревосходительству будет угодно, чтобы я послужил вам хотя несколько дней, то вы в этом убедитесь на деле.

Герцогиня же ему на это сказала:

— Если добрый Санчо — шутник, то мне это очень нравится; это доказывает, что он не глуп,— людям тупоумным, как вы сами отлично знаете, сеньор Дон Кихот, шутки и остроты не даются, а коль скоро добрый Санчо — шутник и остряк, то я сей же час готова признать его за умника.

— И за болтуна,— примолвил Дон Кихот.

— Тем лучше,— подхватил герцог,— великое остроумие с немногословием не уживается. Ну, а сейчас без лишних слов милости прошу, великий Рыцарь Печального Образа...

— *Рыцарь Львов* должно говорить, ваша светлость,— вернул Санчо,— кончились все эти образы да безóбразы, теперь только львы.

— Итак, прошу пожаловать вас, сеньор Рыцарь Львов, в мой замок,— продолжал герцог,— он отсюда недалеко, и там вы встретите прием, на который столь высокая особа, как вы, имеет полное право рассчитывать и который мы с герцогинею имеем обыкновение оказывать всем тем странствующим рыцарям, что бывают у нас в гостях.

За это время Санчо успел привести в надлежащий порядок и хорошенько подтянуть седло своего господина, тот снова сел на Росинанта, герцог — на своего прекрасного коня, герцогиня оказалась между ними, и все двинулись к замку. Герцогиня, однако же, велела Санчо ехать с нею рядом, ибо умные его речи доставляли ей несказанное удовольствие. Санчо не заставил себя долго упрашивать, втиснулся в эту троицу и на правах четвертого собеседника принял участие в общем разговоре, чем весьма обрадовал герцога и герцогиню, которые за великую удачу почли то обстоятельство, что могут принять у себя странствующего рыцаря и разглагольствующего оруженосца.

ГЛАВА XXVIII,

повествующая о многих великих событиях

Санчо был в совершенном восторге, ибо вообразил, что находится в милости у герцогини, и надеялся обрести в ее замке то же, что и в доме Басильо; он обожал довольство, и как скоро ему представлялся случай понаслаждаться жизнью, он неукоснительно хватал его за вихор.

До того как все приблизились к летнему дворцу, герцог поехал вперед и отдал распоряжения всем своим слугам, как должно обходиться с Дон Кихотом, так что когда Дон Кихот вместе с герцогиней подъехал к воротам замка, то навстречу вышли два не то лакея, не то конюха в длинных, до пят, так называемых утренних платьях из великолепного алого атласа, и не успел он оглянуться, как они уже подхватили его на руки и сказали:

— Соблаговолите, ваше величие, помочь сеньоре герцогине сойти с коня.

Дон Кихот хотел было ей помочь, но тут между ним и герцогиней произошел длительный обмен любезностями; герцогиня, однако ж, настояла на своем и изъявила твердое желание сойти и спуститься с коня только с помощью герцога, ибо она-де чувствует, что недостойна утруждать понапрасну столь великого рыцаря. В конце концов приблизился герцог и помог ей спешиться; когда же все вошли в обширный внутренний двор, две прелестные девушки набросили Дон Кихоту на плечи великолепную алую мантию, и в тот же миг во всех галереях появились слуги и служанки и начали громко восклицать:

— Добро пожаловать, краса и гордость странствующего рыцарства!

И при этом все они, или почти все, опрыскивали из флаконов герцога, герцогиню и Дон Кихота душистою жидкостью, что́ привело Дон Кихота в крайнее изумление; и тут он впервые окончательно убедился и поверил, что он не мнимый, а самый настоящий странствующий рыцарь, ибо все обходились с ним так же точно, как обходились с подобными рыцарями во времена протекшие, о чем ему было известно из романов.

Дон Кихоту предложили подняться по лестнице и провели в залу, увешанную драгоценною парчою и златотканными коврами; шесть девушек сняли с него доспехи и стали прислуживать ему, как пажи,— все они были научены и предуведомлены герцогом и герцогинею, что́ им нужно делать и как должно обходиться с Дон Кихотом, чтобы он вообразил и удостоверился, что его принимают за странствующего рыцаря. Когда с Дон Кихота

сняли доспехи, он, тощий, высокий, долговязый, с такими впалыми щеками, что казалось, будто они целуют одна другую изнутри, остался в узких шароварах и в камзоле из верблюжьей шерсти, и вид у него был такой, что если бы девушки не делали над собой усилия, чтобы не прыснуть (а на сей предмет они получили от своих господ особый наказ), они бы, уж верно, покатились со смеху.

Дон Кихот проследовал вместе с Санчо в соседний покой, переоделся, препоясался мечом, накинул на плечи алую мантию, на голову надел зеленого атласа берет, который ему подали прислужницы, и в таком виде вышел в обширную залу, где его уже ожидали девушки, выстроившиеся в два ряда и державшие сосуды для омовения рук; весь этот обряд был совершен с множеством поклонов и разных церемоний. Затем явились двенадцать пажей и с ними дворецкий, чтобы отвести Дон Кихота в столовую, где его дожидались владельцы замка. Обступив Дон Кихота, пажи торжественно и весьма почтительно провели его в другую залу, где стоял роскошно убранный стол, накрытый всего лишь на четыре прибора. У порога встретили его герцог, герцогиня и некий важный священник из числа тех, которые у владетельных князей состоят в духовниках; из числа тех, которые, не будучи князьями по рождению, оказываются бессильны научить природных князей, как должно вести себя в этом звании; из числа тех, которые стремятся к тому, чтобы величие высокопоставленных лиц мерялось их собственным духовным убожеством; из числа тех, которые, желая научить духовных чад своих умеренности, делают из них скупцов,— вот что, по всей вероятности, представлял собою этот важный священник, который вместе с герцогскою четою вышел навстречу Дон Кихоту. Герцог предложил Дон Кихоту занять почетное место, тот сначала было отнекивался, но в конце концов сдался на уговоры. Духовник сел напротив Дон Кихота, герцог же и герцогиня — справа и слева от него.

При сем присутствовавший Санчо был ошеломлен и огорошен теми почестями, какие столь знатными особами воздавались его господину; и когда он увидел, какие церемонии пришлось разводить герцогу, чтобы уговорить Дон Кихота сесть на почетное место, то сказал:

— Если ваши милости мне позволят, я расскажу, что случилось однажды в нашем селе, когда зашел спор о местах за столом.

При этих словах Дон Кихот вздрогнул — по-видимому, он испугался, что Санчо сболтнет какую-нибудь глупость.

— Так вот,— продолжал Санчо,— я хочу вам рассказать истинную правду, да и потом, мой господин Дон Кихот все равно не даст мне соврать.

— По мне,— отозвался Дон Кихот,— ври сколько хочешь, Санчо, я не буду тебя останавливать, но только сначала подумай, что́ ты намерен рассказать.

— Я уж думал и передумал, семь раз примерял и только на восьмой отрезал, и сейчас вы в этом убедитесь на деле.

— Хорошо, если б ваши светлости прогнали этого болвана,— сказал Дон Кихот,— а то он бог знает чего наговорит.

— Клянусь жизнью моего мужа,— сказала герцогиня,— что Санчо не отойдет от меня ни на шаг. Я его очень люблю и знаю, что он очень умен.

— Дай бог вашему святейшеству век свой прожить с умом за доброе обо мне мнение, хотя я его и не заслужил,— объявил Санчо.— А рассказать я хочу вот что. Пригласил к себе один идальго из нашего села, очень богатый и знатный, потому он из рода Аламос де Медина дель Кампо и женатый на донье Менси́и де Киньонес, дочке дона Алонсо де Мараньон, который дон Алонсо утонул в Эррадуре и из-за которого несколько лет тому назад в нашем селе началась свара, в которой, сколько мне известно, участвовал и мой господин Дон Кихот, и тогда же еще поколотили Томасильо Лоботряса, сына кузнеца Бальбастро... Ну что, досточтимый мой хозяин, разве это не правда? Ради всего святого, скажите, что правда, иначе сеньоры могут подумать, что я враль и болтун.

— До сей поры ты мне казался скорее болтуном, нежели лжецом,— вмешался духовник.— Впрочем, не знаю, кем ты окажешься впоследствии.

— Ты называешь столько имен, Санчо, и указываешь столько примет, что я поневоле вынужден признать, что, по-видимому, ты говоришь правду. Однако продолжай и сократи свой рассказ, ибо, судя по началу, ты этак не кончишь и через два дня.

— Нет, пусть не сокращает, если хочет доставить мне удовольствие,— возразила герцогиня,— напротив, пусть рассказывает как умеет, хотя бы не кончил и за шесть дней; если же ему и в самом деле столько понадобится, то это будут самые приятные дни в моей жизни.

— Итак, государи мои,— продолжал Санчо,— этого самого идальго я знаю как свои пять пальцев, потому от меня до его дома рукой подать, и вот, стало быть, пригласил он к себе одного честного, но бедного крестьянина...

— Поскорей, братец,— прервал его тут священник,— если ты так будешь рассказывать, то и до второго пришествия не кончишь.

— Бог даст, задолго до этого срока успею рассказать,— отрезал Санчо.— Так вот, стало быть, приходит крестьянин в гости к этому самому идальго, царство ему небесное,— ведь

он уж помер, и говорят, будто умирал, как святой; правда, сам-то я не видел, я тогда косил в Темблеке...

— Ради создателя, сын мой, возвращайся ты как можно скорее из Темблеке и обойдись без погребения идальго, а то, пока ты кончишь, как бы кого-нибудь из нас не похоронили.

— Ну так вот,— продолжал Санчо,— собираются они оба садиться за стол, я их как сейчас вижу...

Великое удовольствие доставляло герцогской чете то явное неудовольствие, какое вызывали у духовной особы отступления и заминки в рассказе Санчо, а в душе у Дон Кихота кипели негодование и ярость.

— Так вот,— продолжал Санчо,— пора, стало быть, садиться за стол, тут крестьянин и заладил: пусть, дескать, на почетное место садится идальго, а идальго заладил: пусть туда садится крестьянин, у него, мол, в доме все должно быть, как он прикажет; однако ж крестьянину хотелось блеснуть своей вежливостью и благовоспитанностью, и он — ни за что. Наконец идальго рассердился, схватил крестьянина за плечи, насильно усадил его и сказал: «Да садись же ты, дубина! Куда бы я ни сел, мое место все будет почетнее твоего». Вот и весь мой рассказ, и, по чести, я уверен, что пришелся он как раз кстати.

У Дон Кихота все лицо пошло красными пятнами, проступившими сквозь смуглоту его кожи; между тем хозяева, боясь, как бы Дон Кихот, который, уж верно, понял намек Санчо, не обиделся и на них, приняли степенный вид. И чтобы переменить разговор и чтобы Санчо перестал пороть дичь, герцогиня спросила Дон Кихота, имеет ли он вести от сеньоры Дульсинеи и сколько великанов и лиходеев отослал он ей в подарок за последнее время, ибо, по всей вероятности, он над многими-де из них успел одержать победу. Дон Кихот же ей на это ответил так:

— Сеньора! Мои несчастья имели начало, однако ж конца им не предвидится. Я побеждал великанов, я отсылал к ней душегубов и лиходеев, но как могли они ее отыскать, коль скоро она заколдована и превращена в сельчанку, уродливее которой и представить себе невозможно?

— Не знаю,— вмешался Санчо Панса,— мне показалось, что краше ее нет никого на свете. Во всяком случае, могу ручаться, что по части легкости и прыжков она никакому канатному плясуну не даст спуску. Честное слово, сеньора герцогиня, она прямо с земли на ослицу вспрыгивает, как все равно кошка.

— А разве ты видел ее заколдованной, Санчо? — спросил герцог.

— Еще как видел! — отвечал Санчо.— А какой же черт, если

не я, прежде всех попался на эту удочку с колдовством? Нет, нет, она и впрямь заколдована... так же, как мы с вами!

Духовник, слышавший весь этот разговор про великанов, душегубов и колдовство, догадался, что это и есть Дон Кихот Ламанчский, которого историю герцог читал постоянно, между тем духовник порицал его за это многократно и уверял, что глупо с его стороны читать подобные глупости. И вот теперь, совершенно удостоверившись в правильности своих предположений, он в превеликом гневе заговорил с герцогом:

— Ваша светлость! Вам, государь мой, придется давать ответ богу за выходки этого молодца. Я склонен думать, что этот самый Дон Кихот, Дон Остолоп или как его там, не столь уж слабоумен, каким его представляет себе ваша светлость, а потому и не след вам потворствовать его дурачествам и сумасбродствам.

Затем он обратился непосредственно к Дон Кихоту и сказал:

— Послушайте, вы, пустая голова: кто это вам втемяшил, что вы странствующий рыцарь и что вы побеждаете великанов и берете в плен лиходеев? Опомнитесь и попомните мое слово: возвращайтесь к себе домой, растите детей, если у вас есть таковые, занимайтесь хозяйством и перестаньте мыкаться по свету, ловить в небе журавля и смешить всех добрых людей, знакомых и незнакомых. Откуда вы взяли, что были на свете и сейчас еще существуют странствующие рыцари, не к ночи будь они помянуты? Где же это в Испании водятся великаны или в Ламанче — душегубы, и где эти заколдованные Дульсинеи и вся эта уйма чепухи, которая про вас написана?

Дон Кихот со вниманием выслушал почтенного сего мужа, а когда тот умолк, он, несмотря на свое уважение к герцогской чете, вскочил с места и, всем своим видом выражая гнев и возмущение, заговорил...

Впрочем, ответ его заслуживает особой главы.

ГЛАВА XXIX

О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю, а равно и о других происшествиях, и важных и забавных

Итак, Дон Кихот вскочил с места, весь затрясся и, задыхаясь от волнения, заговорил:

— То место, где я нахожусь, присутствие высоких особ и уважение, которое я всегда питал и питаю ныне к сану вашей милости, сковывают и удерживают в границах правый мой гнев. Так вот, в силу того, о чем я сейчас говорил, и памятуя о том, что известно всем, а именно, что люди ученые не владеют ника-

ким другим оружием, кроме оружия женщин, то есть языка, я как раз к этому оружию и прибегну и на равных основаниях вступлю в бой с вашею милостью, от которой, кстати сказать, не грубой брани, но благих советов должно было бы ожидать. Порицания душеспасительные и исходящие из добрых побуждений выражаются при совершенно иных обстоятельствах и в иное время,— во всяком случае, порицая меня во всеуслышание и притом столь сурово, вы тем самым вышли за пределы благого порицания, ибо оно зиждется не столько на суровости, сколько на мягкости, и нехорошо, обличая грехи, о которых вы понятия не имеете, ни с того ни с сего обзывать грешника слабоумным и остолопом. В самом деле, я прошу вашу милость ответить: какие такие вы нашли во мне дурачества, которые дают вам право бичевать меня, клеймить и посылать домой заниматься хозяйством и заботиться о жене и детях, хотя вы даже не знаете, есть ли они у меня? Неужели достаточно на правах духовника втереться в чужую семью, неужели достаточно получить воспитание в каком-нибудь дешевом пансионе, видеть свет не далее, чем на двадцать — тридцать миль в окружности, чтобы так, с налета, диктовать законы странствующему рыцарству и судить о странствующих рыцарях? Или, по-вашему, это бесплодное занятие и праздное времяпрепровождение — странствовать по миру, чуждаясь его веселий и взбираясь по крутизнам, по которым доблестные восходят к обители бессмертья? Когда б меня признали за слабоумного рыцари или же блестящие и великодушные вельможи, я почел бы это за несмываемое для себя бесчестье, а коли меня обзывают глупцом разные буквоеды, которые никогда не вступали на путь странствующего рыцарства, то я не придаю этому ровно никакого значения: я — рыцарь и, коли будет на то воля всевышнего, рыцарем и умру. Одни шествуют по широкому полю надутого честолюбия, другие идут путем низкой и рабьей угодливости, третьи — дорогою лукавого лицемерия, четвертые — стезею истинной веры, я же, ведомый своею звездою, иду узкой тропой странствующего рыцарства, ради которого я презрел житейские блага, но не честь. Я вступался за униженных, выпрямлял кривду, карал дерзость, побеждал великанов и попирал чудовищ. Я влюблен единственно потому, что так странствующим рыцарям положено, но я не из числа влюбленных сластолюбцев, моя любовь — непорочна. Я неизменно устремляюсь к благим целям, а именно: всем делать добро и никому не делать зла. Судите же теперь, ваши светлости, высокородные герцог и герцогиня, можно ли обзывать глупцом того, кто так думает, так поступает и так говорит.

— Ей-богу, здорово сказано! — воскликнул Санчо.— И больше бы, сеньор и господин мой, ничего не говорите в свое оправ-

дание, все равно лучше не скажешь, не придумаешь и не убедишь. И потом, если этот сеньор уверяет, будто странствующих рыцарей прежде не было и сейчас нет, то разве он хоть что-нибудь в этих делах смыслит?

— А ты, любезный, уж не Санчо ли Панса, о котором пишут, будто Дон Кихот обещал пожаловать ему остров? — спросил духовник.

— Я самый,— отвечал Санчо,— и заслужил я этот остров не хуже всякого другого. Про таких, как я, говорят: «К добрым людям пристанешь — сам добрым станешь», а потом еще: «С кем поведешься, от того и наберешься», и еще: «Доброго дерева сень сулит тебе добрую тень». Вот я к доброму сеньору и прилепился, уже несколько месяцев, как я при нем состою, и, господь даст, скоро сам стану вроде него, и ему хорошо, и мне хорошо: что там ни говори, быть ему императором, а мне — губернатором.

— Разумеется, друг Санчо,— прервал его тут герцог,— из уважения к сеньору Дон Кихоту я передам тебе во владение один свободный остров довольно хорошего качества.

— На колени, Санчо! — сказал Дон Кихот.— Припади к стопам его светлости за оказанную тебе милость.

Санчо повиновался; тут священник вскипел и, встав из-за стола, обратился к герцогу с такими словами:

— Мой сан повелевает мне сказать вам, ваша светлость, что вы так же точно помешаны, как и эти греховодники. Да как же им и не быть безумными, когда люди здравомыслящие потакают их безумствам! Принимайте их у себя, ваша светлость, а я, пока они будут у вас, побуду у себя и перестану порицать то, что исправлению не поддается.

И, не прибавив более ни слова и так и не кончив обеда, духовник удалился, невзирая на уговоры герцога; впрочем, герцог особенно не настаивал, оттого что нелепая эта вспышка сильно его смешила. Наконец, перестав смеяться, он повел с Дон Кихотом такую речь:

— Ваша милость, сеньор Рыцарь Львов, так великолепно за себя постояла, что теперь вам уже не стоит требовать удовлетворения.

— Ваша правда,— заметил Дон Кихот.— Единственно, о чем я жалею, это что сеньор священник не побыл с нами,— я бы ему доказал, как он ошибается, думая и утверждая, что странствующих рыцарей не было и нет. Если бы нечто подобное услышал Амадис или же кто-либо из бесчисленных его родичей, то, разумеется, его милости не поздоровилось бы.

— Это уж наверняка,— подхватил Санчо,— рассекли бы его одним махом сверху донизу, как все равно гранат или перезрелую дыню. Эти люди шутить не любили! Бьюсь об заклад, что если б

Ринальд Монтальванский послушал рассуждения этого человечишки,— крест истинный, он так дал бы ему по зубам, что тот целых три года потом помалкивал бы. Попробовал бы он только с ними схватиться, сам был бы не рад.

Слушая Санчо, герцогиня умирала со смеху, и казалось ей, что он еще забавнее и еще сумасброднее, чем его господин, да и многие другие держались тогда этого мнения. В конце концов Дон Кихот успокоился, обед кончился, и, когда убрали со стола, появились четыре девушки: одна с серебряным тазом, другая с кувшином, также серебряным, третья с двумя роскошными белоснежными полотенцами, перекинутыми через плечо, а четвертая, засучив по локоть рукава, держала в своих белых руках круглое неаполитанское мыло. Первая девушка изящным и ловким движением подставила таз под самую Донкихотову бороду, а Дон Кихот молча дивился этой церемонии, полагая, что таков, верно, местный обычай — мыть не руки, а бороду; он, сколько мог, вытянул шею, вслед за тем из кувшина полилась вода, девушка, державшая в руках мыло, начала изо всех сил, взметая снежные хлопья (столь ослепительной белизны была мыльная пена), тереть покорному рыцарю не только подбородок, но все лицо и даже глаза, так что он невольно зажмурился. Герцог и герцогиня нимало не были в этом повинны, и теперь они в смущении ожидали, чем кончится это необыкновенное омовение. Между тем девушка-брадомойка, густо Дон Кихота намылив, сделала вид, что вода кончилась, и послала за ней девушку с кувшином, а сеньору Дон Кихоту придется, мол, подождать. Девушка с кувшином пошла за водой, Дон Кихот же остался ждать, и более странного и смешного вида, чем у него в эту минуту, невозможно было себе представить.

Присутствовавшие — а их было немало — все, как один, воззрились на него, он же сидел с закрытыми глазами и намыленною бородою, на пол-аршина вытянув свою в высшей степени смуглую шею, и это было великое чудо и великая с их стороны деликатность, что они не рассмеялись; проказницы-девушки не смели поднять глаза на своих господ, а в душе у господ гнев боролся со смехом, и они не знали, как поступить: наказать девчонок за дерзость или же отблагодарить их за доставленное удовольствие посмотреть на Дон Кихота в таком смешном положении. Наконец девушка принесла воды, и омовение Дон Кихота завершилось, и тогда девушка, державшая полотенца, с великой осторожностью сухо-насухо вытерла ему лицо, и тут все четыре девушки низко и почтительно ему поклонились и направились к выходу, однако же герцог, дабы Дон Кихот не догадался, что это шутка, подозвал к себе девушку, державшую таз, и сказал:

— А теперь иди-ка вымой меня, но только смотри, чтоб у тебя хватило воды.

Сообразительная и расторопная девушка подошла и подставила герцогу таз совершенно так же, как она подставляла его Дон Кихоту, другие проворно и старательно намылили и вымыли ему лицо, потом насухо вытерли и с поклонами удалились. Впоследствии герцог признался, что он дал себе слово, в случае если они не вымоют его так же точно, как Дон Кихота, наказать их за дерзость, но они искупили вину свою тем, что благоразумно согласились вымыть с мылом и герцога.

Санчо внимательно следил за церемонией омовения и говорил себе:

— Ишь ты, как здорово! А что, если здесь существует обычай мыть бороду не только рыцарям, но и оруженосцам? Клянусь богом и спасением души, это было бы для меня весьма существенно, и хорошо, если б они довершили благодеяние и прошлись еще бритвой.

— Что ты там бормочешь, Санчо? — спросила герцогиня.

— Я вот что говорю, сеньора,— отвечал он,— мне не раз приходилось слышать, будто при дворе у других вельмож после обеда полагается мыть руки, а не бороды. Выходит, стало быть, век живи — век учись. Впрочем, говорят еще: дольше проживешь на свете, больше горя ты хлебнешь, хотя вот этак помыться — это не горе, а одно удовольствие.

— Не огорчайся, друг Санчо,— молвила герцогиня,— я скажу моим служанкам, чтоб они не только вымыли тебя, а если понадобится, то и выстирали.

— Я бы и за одну только бороду спасибо сказал,— возразил Санчо,— пока что этого довольно, а там как господь даст.

— Дворецкий! Вы слышали, о чем просит добрый Санчо? — сказала герцогиня.— Вам надлежит в точности исполнить его желание.

Дворецкий, объявив, что он готов к услугам сеньора Санчо, пошел обедать и увел его с собою; между тем герцог, герцогиня и Дон Кихот, сидя за столом, продолжали беседовать о вещах многообразных, но имевших касательство к военному поприщу и к странствующему рыцарству.

Герцогиня, изъявив свое восхищение прекрасною памятью Дон Кихота, обратилась к нему с просьбой описать и обрисовать красоту и черты лица сеньоры Дульсинеи Тобосской — если, дескать, верить молве, трубящей о ее пригожестве, то должно думать, что это — прелестнейшее создание во всем подлунном мире и даже во всей Ламанче. Выслушав просьбу герцогини, Дон Кихот вздохнул и сказал:

— Когда б я мог вынуть мое сердце и выложить его на блю-

до, вот на этом самом столе, прямо перед вашим величием, то язык мой был бы избавлен от труда говорить о том, о чем едва лишь можно помыслить, ибо тогда взорам вашей светлости явился бы цельный ее образ, запечатленный в моем сердце, но разве я в силах изобразить и описать во всех подробностях, до малейшей черты, красоту несравненной Дульсинеи?

— Однако ж, со всем тем, сеньор Дон Кихот,— заметил герцог,— вы доставили бы нам большое удовольствие, когда бы согласились описать Дульсинею Тобосскую: пусть это будет лишь беглый очерк, все равно, я уверен, черты ее в нем столь резко означатся, что ей позавидуют первые красавицы в мире.

— Я бы, разумеется, сделал такой набросок,— молвил Дон Кихот,— когда бы образ ее не был изглажен из моей памяти тем несчастьем, которое с нею недавно случилось, несчастье же это столь велико, что я скорей готов оплакивать ее, нежели описывать. Надобно вам знать, ваши светлости, что несколько дней тому назад я отправился облобызать ей руки и испросить у нее благословения, соизволения и согласия на третий свой поход, но она оказалась совсем не такою, какою я чаял встретить ее: оказалось, что ее заколдовали и из принцессы преобразили в сельчанку, из красавицы — в уродину, из ангела — в черта, из благоуханной — в зловонную, из сладкоречивой — в грубиянку, из степенной — в попрыгунью, из светозарной — в исчадие тьмы, одним словом, из Дульсинеи Тобосской — в поселянку откуда-нибудь из Сайяго*.

— Боже мой! — вскричал тут герцог.— Какой враг рода человеческого это сделал? Кто отнял у людей возможность любоваться ее красотой, ее веселым нравом и ее благопристойностью, которая возвышала их в собственных глазах?

— Кто? — переспросил Дон Кихот.— Кто же еще, как не коварный волшебник, один из многих преследующих меня завистников? Это окаянное отродье явилось к нам, дабы окутывать мраком и обращать в ничто подвиги праведников и освещать и возвеличивать деяния грешников. Волшебники меня преследовали, волшебники меня преследуют, и будут меня волшебники преследовать, пока не сбросят и меня, и смелые мои рыцарские подвиги в глубокую пучину забвения, и ранят они меня и наносят удары в самые чувствительные места, ибо отнять у странствующего рыцаря его даму — это все равно что лишить его зрения, отнять у него солнечный свет, лишить его пропитания. Я много раз уже это говорил и повторяю снова: странствующий рыцарь без дамы — это все равно что дерево без листьев, здание без фундамента или же тень без того тела, которое ее отбрасывает.

— Все это бесспорно,— заметила герцогиня,— но, со всем тем, если верить книге о сеньоре Дон Кихоте, которая не так

давно вышла в свет и получила всеобщее одобрение, то, мне думается, нельзя не прийти к заключению, что ваша милость в глаза не видела сеньору Дульсинею и что такой сеньоры на свете нет, что она — существо вымышленное, детище и плод вашего воображения, которому вы придали все качества и совершенства, какие вам только хотелось.

— По этому поводу много можно было бы сказать,— возразил Дон Кихот.— Одному богу известно, существует Дульсинея на свете или же не существует, вымышлена она или же не вымышлена,— в исследованиях подобного рода нельзя заходить слишком далеко. Я не выдумывал мою госпожу и не создавал ее в своем воображении, однако все же представляю ее себе такою, какою подобает быть сеньоре, обладающей всеми совершенствами, которые способны удостоить ее всеобщего преклонения, а именно: она — безупречная красавица, величавая, но не надменная, приветливая в силу своей учтивости, учтивая в силу своей благовоспитанности.

— Ваша правда,— заметил герцог,— однако ж позвольте мне, сеньор Дон Кихот, высказать ту мысль, на которую меня навела история ваших подвигов: допустим, что Дульсинея действительно существует и живет в Тобосо или же где-нибудь в другом месте и что она так прекрасна, как вы ее изображаете, однако в смысле знатности она не выдерживает сравнения с Орианой, Аластрахареей*, Мада́симой и прочими им подобными дамами, о которых мы читаем на каждой странице хорошо известных вам романов.

— На это я вам скажу,— снова заговорил Дон Кихот,— что Дульсинею должно судить по ее делам, что кровь облагораживают добродетели и что большего уважения заслуживает худородный праведник, нежели знатный грешник. Между тем Дульсинея обладает такими свойствами, благодаря которым она может стать полновластною королевою: достоинства прекрасной и добродетельной женщины способны творить чудеса необыкновенные и если не явно, то, по крайней мере, в скрытом состоянии заключают в себе наивысшее благополучие.

— Я вижу, сеньор Дон Кихот,— заметила герцогиня,— что каждое ваше слово есть плод размышлений долгих, вы, как говорится, смотрите в глубь вещей, и теперь я вполне верю и заставлю поверить всех домашних моих и даже, в случае надобности, самого герцога, моего повелителя, что есть в Тобосо такая Дульсинея, что она прекрасна и родовита и что она вполне достойна, чтобы такой рыцарь, каков сеньор Дон Кихот, ей служил, а в моих устах это наивысшая похвала. Одно только обстоятельство все же меня смущает и вызывает несколько недоброжелательное чувство по отношению к Санчо Пансе. Сму-

щает же меня вот что: в упомянутой книге говорится, что Санчо Панса, явившись к сеньоре Дульсинее с письмом от вашей милости, застал ее за просеиванием зерна, и в довершение всего говорится, что зерно было низкого сорта, и это как раз и вызывает у меня сомнение в знатности ее рода.

На это ей Дон Кихот ответил так:

— Государыня моя! Да будет известно вашему величию, что со мной всегда или почти всегда творятся вещи, совершенно не похожие на то, что обыкновенно случается со странствующими рыцарями, кто бы эти события ни направлял: неисповедимая воля рока или же коварство завистливого волшебника. Ведь уже установлено, что все или почти все славные странствующие рыцари обладали какой-либо счастливой особенностью: одного невозможно было заколдовать, других в силу непроницаемости их кожи нельзя было ранить, как, например, славного Роланда, одного из Двенадцати Пэров Франции,— о нем существует предание, что его нельзя было никуда поразить, кроме пятки левой ноги, и никаким другим оружием, кроме острия толстой булавки, так что когда Бернардо дель Карпьо одолел его в Ронсевале, то, удостоверившись, что булат над ним не властен, и вспомнив, как Геркулес умертвил Антея, свирепого великана и якобы сына Земли, он поднял Роланда на руки и задушил. Из этого я делаю вывод, что, может статься, я тоже обладаю какой-нибудь такой особенностью, но только, во всяком случае, не неуязвимостью — я многократно убеждался на опыте, что кожа у меня нежная и весьма уязвимая,— и не неподвластностью волшебным чарам, ибо однажды меня посадили в клетку, куда никакая сила, кроме силы волшебства, не могла бы меня заточить, но коль скоро я все же вышел на свободу, то хочется думать, что никакие новые чары мне уже не повредят, и по сему обстоятельству волшебники, видя, что их козни на меня не действуют, вымещают свою злобу на той, что мне дороже всего: они глумятся над Дульсинеей, ради которой я только и живу на свете, и таким образом пытаются свести меня в могилу, и это дает мне основание полагать, что когда мой оруженосец явился к ней от меня с поручением, то они превратили ее в крестьянку и принудили исполнять столь черную работу, как просеивание зерна. Впрочем, как я уже имел случай заметить, то были не зерна, но перлы Востока, и в доказательство того, что это истинная правда, я хочу вам сказать, ваши высочества, что недавно я был в Тобосо, но так и не нашел дворца Дульсинеи, а на другой день она явилась оруженосцу моему Санчо в подлинном своем облике, то есть в облике первой красавицы во всем подлунном мире, а предо мной она предстала в виде невоспитанной, безобразной и не весьма рассудительной сельчанки, хотя на

самом деле она вмещает в себе всю мудрость мира. И коль скоро я сам не заколдован и, если вдуматься, не могу быть заколдован, то, следственно, заколдованною, оскорбленною, превращенною, искаженною и подмененною является она и на ней выместили злобу мои недруги, вот почему я буду всечасно ее оплакивать до той поры, пока она не явится предо мною в первоначальном своем состоянии. Все это я говорю для того, чтобы рассказ Санчо о Дульсинее, просеивающей и провеивающей зерно, никого не смущал: ведь если она предстала подмененною предо мной, то неудивительно, что искаженною явилась она и пред ним. Дульсинея — знатного и благородного происхождения, удел же ее, разумеется, не уступит жребию многочисленных старинных и весьма почтенных дворянских родов Тобосо, ибо только благодаря несравненной Дульсинее град сей и станет знаменит и прославится в веках, подобно тому как Трою прославила Елена, только слава Дульсинеи будет еще громче. Еще надобно вам сказать, ваши светлости, что Санчо Панса — самый уморительный из всех оруженосцев, когда-либо странствующим рыцарям служивших. Простоватость его бывает подчас весьма остроумною, и угадывать, простоват он или же себе на уме, доставляет немалое удовольствие. Некоторые его хитрости обличают в нем плута, иные оплошности заставляют думать, что он глупец. Он во всем сомневается и всему верит. Иной раз думаешь, что глупее его никого на свете нет, и вдруг он что-нибудь так умно скажет, что просто ахнешь от восторга,— одним словом, я не променял бы его ни на какого другого оруженосца, хотя бы в придачу мне предлагали целый город. И все же я сомневаюсь, стоит ли посылать его управлять островом, который ваше величие ему пожаловало, хотя и вижу в нем известные способности к управлению. Ему бы только хорошенько прочистить мозги, и тогда он управится с любым губернаторством не хуже, чем король с податями. Тем более мы знаем по долгому опыту: для того, чтобы быть губернатором, не надобно ни великого умения, ни великой учености,— сколько таких губернаторов, которые и читают-то по складам, а насчет управления — сущие орлы! Важно, чтоб они были преисполнены благих намерений и чтоб они добросовестно относились к делу, советники же и наставники у них всегда найдутся: ведь неученые губернаторы из дворян вершат суд непременно с помощью заседателя. Я бы, со своей стороны, посовестовал Санчо взяток не брать, но и податей не упускать, и еще кое-что я берегу про запас, и в свое время все это будет мною изложено — на пользу Санчо и на благо острова, коим он призван управлять.

Такую беседу вели между собой герцог, герцогиня и Дон Кихот, как вдруг за дверью послышались громкие крики и шум,

и вслед за тем в залу ворвался перепуганный насмерть Санчо, у которого вместо салфетки подвязан был мешок со щелочью и который подвергался преследованию множества челядинцев, точнее сказать — поварят и прочих людишек, причем один из них тащил лохань с водой, в которой, судя по ее цвету и не весьма чистому виду, вероятно, мыли посуду; поваренок этот гнался за Санчо по пятам и изо всех сил старался подставить ему лохань под самый подбородок, а другой был одержим стремлением вымыть ему бороду.

— Что это значит, друзья мои? — спросила герцогиня.— Что это значит? Что вы пристали к этому доброму человеку? Вы забыли, что он назначен губернатором?

На это поваренок-брадомой ответил ей так:

— Этот сеньор не желает мыться, а ведь у нас таков обычай,— сам герцог и его же собственный господин только что мылись.

— Нет, желаю,— в сильном гневе вымолвил Санчо,— но только мне бы хотелось, чтоб полотенца были почище, вода попрозрачнее и чтоб руки у них были не такие грязные: ведь не столь велика разница между мной и моим господином, чтоб его омывали святой водицей, а меня окатывали чертовыми этими помоями. Обычаи разных стран и княжеских палат тогда только и хороши, когда они не причиняют неприятностей, ну, а этот обряд омовения, который здесь установлен, хуже всякого самобичевания. Борода у меня чистая, и в подобном освежении я не нуждаюсь, а кто посмеет меня мыть, тому я, извините за выражение, башку сворочу на сторону, потому все эти антимонии, то бишь церемонии, с намыливанием больше смахивают на издевательство, чем на уход за гостями.

Видя гнев Санчо и слушая его речи, герцогиня умирала со смеху, однако ж Дон Кихот не пришел в восторг от того, что на Санчо вместо полотенца красовалась грязная тряпка и что кухонная челядь над ним насмехалась, а посему, отвесив их светлостям глубокий поклон в знак того, что желает держать речь, он голосом, исполненным решимости, заговорил, обращаясь ко всей этой шушере:

— Эй вы, милостивые государи! Оставьте парня в покое и ступайте, откуда пришли или же куда вам вздумается! Оруженосец мой не грязнее всякого другого, и эта лоханка — совершенно неподходящий и унизительный для него сосуд. Послушайтесь моего совета — оставьте его, ибо ни он, ни я подобных шуток не любим.

Санчо подхватил и развил его мысль:

— Так только с бездомными бродягами можно шутить. Не будь я Санчо Панса, коли я это стерплю! Принесите гребенку

или что-нибудь вроде этого и поскребите мне бороду, и если найдете в ней что-либо оскорбляющее вашу чистоплотность, то пусть меня тогда «лесенкой» остригут.

Тут, все еще смеясь, заговорила герцогиня:

— Санчо Панса прав во всем; что бы он ни сказал, он всегда будет прав. Он — чистый и, по его словам, в мытье не нуждается, и коль скоро обычай наш ему не по душе, то вольному воля. Вы же, блюстители чистоты, поступили необдуманно и опрометчиво, чтобы не сказать — дерзко, предложив такой особе вместо таза и кувшина из чистого золота и полотенец немецкой работы какие-то лоханки, деревянные корыта и полотенца для вытирания посуды. Впрочем, вы людишки дрянные и дурно воспитанные и настолько подлы, что не можете скрыть своей ненависти к оруженосцам странствующих рыцарей.

Не только кухонных дел мастера, но и сам дворецкий подумал, что герцогиня не шутит, а потому они сняли с Санчо тряпку и, смущенные и отчасти даже пристыженные, оставили его в покое и удалились, Санчо же, видя, что эта довольно грозная, в его представлении, опасность миновала, опустился перед герцогиней на колени и сказал:

— От великих сеньор великие и милости, вы же, ваша светлость, изволили оказать мне такую, что я могу отплатить за нее не иначе, как изъявив готовность быть посвященным в странствующие рыцари, чтобы потом до конца дней моих служить столь высокой сеньоре. Я — крестьянин, зовут меня Санчо Пансою, я женат, у меня есть дети, служу я оруженосцем, и если я чем-нибудь из этого могу быть вашему величию полезен, то вам стоит только приказать — и я к услугам вашей светлости.

— Сейчас видно, Санчо, что ты учился быть вежливым в школе самой учтивости,— заметила герцогиня,— сейчас видно, хочу я сказать, что тебя взлелеял на своей груди сеньор Дон Кихот, а он, разумеется, верх учтивости и образец церемоний или же, как ты выражаешься, антимоний. Честь и хвала такому сеньору и такому слуге, ибо один — путеводная звезда для всего странствующего рыцарства, а другой — светоч для всех верных оруженосцев. Встань, друг Санчо, за свою учтивость ты будешь вознагражден: я попрошу герцога, моего повелителя, чтобы он как можно скорее пожаловал тебе обещанное губернаторство.

На этом разговор кончился, и Дон Кихот пошел отдохнуть после обеда, а герцогиня обратилась к Санчо с просьбою, если только, мол, ему не очень хочется спать, побыть с нею и с ее горничными девушками в весьма прохладной зале. Санчо ответил, что хотя летом он, сказать по совести, привык спать после обеда часиков пять кряду, однако ж, дабы отблагодарить гер-

цогиню за ее доброту, приложит все усилия, чтобы исполнить ее повеление и не спать сегодня вовсе, и с этими словами удалился. Герцог же снова наказал слугам своим обходиться с Дон Кихотом как со странствующим рыцарем и твердо придерживаться того чина, который будто бы соблюдали странствующие рыцари стародавних времен.

ГЛАВА XXX

О приятной беседе герцогини и ее горничных девушек с Санчо Пансою, достойной быть прочитанною и отмеченною

Итак, Санчо после обеда не отдыхал: он сдержал свое слово и, пообедав, явился к герцогине, герцогиня же, предвкушая удовольствие послушать его, предложила ему сесть подле нее на низенький табурет, однако же Санчо, как человек в полном смысле слова благовоспитанный, от этой чести отказался, но герцогиня объявила, что он волен сидеть как губернатор, а говорить — как оруженосец. Санчо пожал плечами и покорно сел, все же дуэньи и горничные девушки герцогини окружили его и, совершенное храня молчание, со вниманием приготовились слушать, однако ж герцогиня заговорила первая и начала так:

— Сейчас мы одни, никто нас не слышит, и мне бы хотелось, чтобы сеньор губернатор разрешил некоторые сомнения, явившиеся у меня при чтении недавно вышедшей в свет истории великого Дон Кихота. Одно из этих сомнений заключается в следующем: коль скоро добрый Санчо ни разу Дульсинею не видел, то есть, виновата: *сеньору Дульсинею Тобосскую*, и письма от сеньора Дон Кихота ей не передавал, потому что оно осталось в записной книжке в Сьерре Морене, то как же он позволил себе сочинить за нее ответ и выдумать, будто он застал ее за просеиванием зерна? Ведь все это ложь и обман и только порочит добрую славу несравненной Дульсинеи, а также роняет достоинство доброго оруженосца и не вяжется с долгом верности.

При этих словах Санчо Панса молча поднялся с табурета, согнулся в три погибели, приставил палец к губам и, заглядывая за все занавески, тихими шагами обошел залу; после этого он снова уселся и объявил:

— Вот теперь, государыня моя, когда я уверился, что никто, кроме присутствующих, нас украдкой не слушает, я безо всякого страха и волнения отвечу на ваш вопрос, а равно и на все, о чем бы вы меня ни спросили. Прежде всего я вам скажу: на мой взгляд, господин мой Дон Кихот — неизлечимо помешанный,

хотя иной раз случается ему говорить такие правильные вещи и так вразумительно, что, по моему мнению, да и по мнению всех, кто бы его ни слушал, сам сатана лучше не скажет. Однако ж, если говорить по чистой совести и положа руку на сердце, то я совершенно уверен, что у него не все дома. А уж раз я это забрал себе в голову, то и осмеливаюсь внушать ему такое, что, право, на ногах не стоит, вроде ответа на письмо. А потом это самое, что было неделю назад,— оттого это и в книгу не попало,— насчет заколдованности сеньоры доньи Дульсинеи: ведь я уверил моего господина, что она заколдована, а это же чушь несусветная, сапоги всмятку.

Герцогиня попросила рассказать ей об этой проделке с колдовством, и Санчо рассказал все, как было, чем немало потешил слушателей, герцогиня же, продолжая начатый разговор, молвила:

— После того как я выслушала рассказ доброго Санчо, на душу мне пало новое сомнение, и некий голос мне шепчет: «Коль скоро Дон Кихот Ламанчский — сумасшедший, невменяемый и слабоумный, а его оруженосец Санчо Панса про то знает и, однако, продолжает состоять у него на службе, всюду сопровождает его и все еще верит его неисполнимым обещаниям, то, вне всякого сомнения, он еще безумнее и глупее своего господина. А когда так, то смотри, сеньора герцогиня, как бы ты не просчиталась, доверивши Санчо Пансе управление островом: ведь если он сам с собой не может управиться, то как же он будет управлять другими?»

— Ей-богу, сеньора,— отвечал Санчо,— сомнение это явилось у вас не зря, только скажите вашему голосу, чтоб он говорил погромче, а впрочем, как ему заблагорассудится,— я-то знаю, что говорит он дело: будь я с головой, давно бы я бросил моего господина. Но такая уж, видно, моя судьба и горькая доля, иначе не могу, должен я его сопровождать, и все тут: мы с ним из одного села, он меня кормил, я его люблю, он это ценит, даже ослят мне подарил, а главное, я человек верный, так что, кроме могилы, никто нас с ним разлучить не может. А ежели ваше высоколётство не соизволит пожаловать мне обещанный остров, стало быть, уж это господь бог сотворил меня таким незадачливым, а может, для души моей оно еще выйдет на пользу: я хоть и простоват, а все-таки смекаю, что значит пословица: «На беду у муравья крылья выросли», и пожалуй, что Санчо-оруженосец скорее попадет в рай, нежели Санчо-губернатор. Свет не клином сошелся на губернаторстве, да и потом: ночью все кошки серы, и разнесчастный тот человек, у кого до двух часов пополудни маковой росинки во рту не бывает, и так на свете не водится, чтоб у одного брюхо было на целую пядь шире, чем у другого,

а набить-то его можно чем хочешь, как говорится: хоть соломою, хоть житом, а вот птичек небесных сам господь кормит и питает, и четыре аршина толстого куэнкского сукна лучше греют, чем четыре аршина тоненького сеговийского*, а когда мы приказываем долго жить и нас закапывают в землю, то и принц и чернорабочий бредут по одинаково узкой тропе, и тело римского папы занимает столько же места в могиле, сколько и пономаря, хотя тот гораздо выше этого: когда нас опускают в яму, все мы скорчиваемся и скрючиваемся, или, вернее, нас, хочешь не хочешь, скорчивают, скрючивают,— и спокойной ночи! И я еще раз говорю: если ваша светлость не захочет пожаловать мне остров, потому как я глуп, то я и не охну — и сойду за умника.

— Добрый Санчо, уж верно, знает,— возразила герцогиня,— что если дворянин что-либо пообещал, то постарается это исполнить даже ценою собственной жизни. Герцог, мой муж и повелитель, хотя и не из странствующих, а все же рыцарь, и потому сдержит свое слово касательно обещанного острова наперекор зависти и злобе всего мира. Итак, Санчо, воспрянь духом: в один прекрасный день ты будешь возведен на престол своего острова и государства, примешь бразды правления, и дай бог тебе жить, поживать да добра наживать. Единственно, что я вменяю тебе в обязанность, это как можно лучше управлять своими вассалами: предуведомляю тебя, что все они — люди честные и благородные.

— Насчет того, чтобы управлять по-хорошему, меня просить не нужно,— объявил Санчо,— душа у меня добрая, и бедняков я жалею, а кто сами месят да пекут, у тех краюхи не крадут, и, бог свидетель, при мне никто карты не передернет, я — старый воробей: меня на мякине не проведешь, я знаю, когда нужно ухо востро держать, и в грязь лицом не ударю, потому я знаю, где собака зарыта, и говорю я все это к тому, что для добрых людей я в лепешку расшибусь, а для дурных — вот бог, а вот порог. И сдается мне, что в управлении страной лиха беда— начало, и, может статься, недельки через две я так наловчусь губернаторствовать, что буду понимать в нем толк побольше, нежели в хлебопашестве, хоть я и хлебопашец от молодых ногтей.

— Твоя правда, Санчо,— заметила герцогиня,— ученым никто не родится, даже епископы делаются из людей, а не из камней. Но возвратимся к тому, о чем мы только что говорили, а именно к заколдованности сеньоры Дульсинеи. Мне представляется несомненным и более чем достоверным, что вся эта затея Санчо, вознамерившегося подшутить над своим господином и внушить ему, будто сельчанка — Дульсинея, а если, мол, он ее не узнаёт, так это потому, что она заколдована,— все это

происки кого-нибудь из волшебников, преследующих сеньора Дон Кихота. Ведь мне из верных источников доподлинно и точно известно, что сельчанка, вспрыгнувшая на ослицу, была и есть Дульсинея Тобосская и что добрый Санчо, рассчитывая обмануть другого, сам дался в обман. И, к сведению сеньора Санчо Пансы, у нас тут тоже есть свои волшебники, которые нас любят и которые откровенно и правдиво, без уверток и обиняков, докладывают нам, что́ творится на белом свете. И пусть он мне поверит, что сельчанка-попрыгунья была и есть Дульсинея Тобосская и что она так же заколдована, как мы с вами, и в один прекрасный день она предстанет пред нами в подлинном своем обличье, и тогда Санчо поймет, как он заблуждался.

— Очень может быть,— снова заговорил Санчо,— и теперь уж я готов поверить всему, что мой господин рассказывал про то, что видел в пещере Монтесиноса: будто бы он там видел сеньору Дульсинею Тобосскую в том самом одеянии и наряде, в котором будто бы видел Дульсинею я, когда на меня вдруг нашла блажь ее заколдовать, нашла-то нашла, а обернулось все по-другому,— уж верно, так, как вы, государыня моя, говорите, потому от моего темного умишка нельзя и не должно ожидать, чтоб он в один миг измыслил такую ловкую штуку, да и не настолько, думается, мой господин невменяем, чтобы мои шаткие и слабые доводы могли уверить его в том, что просто из ряду вон. Но все-таки, сеньора, пусть ваше добродушие не думает, что я человек зловредный: ведь такой чурбан, как я, не обязан видеть насквозь тайные мысли и каверзы распроклятых волшебников,— я все это придумал, чтоб избежать попреков сеньора Дон Кихота, а не затем, чтоб ему повредить, а коли вышло наоборот, то ведь бог там, на небе, *знает сердца наши*.

— И то правда,— заметила герцогиня.— А теперь скажи мне, Санчо, что это ты толковал про пещеру Монтесиноса? Мне весьма любопытно это знать.

Тут Санчо Панса во всех подробностях рассказал о приключении, описанном выше. Герцогиня же, выслушав его, сказала:

— Из этого происшествия можно сделать вот какой вывод: если досточтимый Дон Кихот утверждает, что видел там ту самую сельчанку, которую Санчо видел близ Тобосо, то, разумеется, это и есть Дульсинея, и, следственно, волшебники — народ в высшей степени шустрый и прыткий.

— Вот и я то же говорю,— подхватил Санчо Панса,— коли сеньора Дульсинея Тобосская заколдована, то тем хуже для нее, а я не намерен связываться с недругами моего господина: их, поди, гибель, и все, как на подбор, злющие. Говоря по чистой

совести, я видел крестьянку, и за крестьянку ее принял, и за крестьянку ее почитаю, а если это была Дульсинея, то я тут ни сном ни духом, и мне до этого никакого дела нет, иначе я рассержусь. Что это, в самом деле, так и ходят за мной по пятам, и всё: «Шу-шу-шу, шу-шу-шу, Санчо сказал то-то, Санчо сделал то-то, Санчо пошел, Санчо пришел», как будто Санчо — это невесть кто, а не тот самый Санчо, про которого весь свет узнал из книжек,— так, по крайности, мне говорил Самсон Карраско, а ведь он в Саламанке всем бакалаврам бакалавр, а такие обыкновенно не врут, разве только им страх как захочется или уж очень понадобится. Так что пусть от меня отстанут, а коли слава обо мне добрая — притом же я слыхал от моего господина, что доброе имя дороже всякого богатства,— то приспособьте мне губернаторство, и вы увидите, каких я чудес натворю, и то сказать: хороший оруженосец не может быть плохим губернатором.

— Я думаю! — молвила герцогиня.— Ну, а теперь, Санчо, ступай отдохни, потом мы еще более подробно обо всем поговорим и примем меры, чтобы тебе поскорее приспособили, как ты выражаешься, губернаторство.

Санчо опять поцеловал герцогине руки и попросил в виде особого одолжения позаботиться о его сером, ибо это, мол, свет его очей.

— О каком таком сером? — осведомилась герцогиня.

— О моем осле,— отвечал Санчо.— Чтобы не называть его этим именем, я обыкновенно говорю: «серый».

— Уж если для Санчо это такая драгоценность, я буду беречь его как зеницу ока,— объявила герцогиня.

— Довольно, если вы будете беречь его просто как осла,— возразил Санчо,— мы с моим ослом — люди простые, и мы лучше согласимся, чтоб нас кинжалом пырнули, нежели быть вам в тягость. Правда, мой господин говорит, что в изъявлении учтивости лучше пересолить, чем недосолить, а все-таки когда речь идет об их ослейшествах, то здесь должно соблюдать меру и держаться середины.

— Возьми-ка осла с собой, Санчо, когда отправишься управлять,— сказала герцогиня,— там он у тебя будет в холе, и работать ему не придется.

— А что вы думаете, сеньора герцогиня? — сказал Санчо.— Я сам не раз видел, как посылали ослов управлять, так что если я возьму с собой своего, то никого этим не удивлю.

Слова Санчо снова рассмешили и позабавили герцогиню, и, послав его отдохнуть, она пошла к герцогу, чтобы передать ему весь разговор; и между ними двумя было решено и условлено, что они сыграют с Дон Кихотом отличную шутку, и при-

том совершенно в духе рыцарства; и они, правда, сыграли с ним не одну, а много подобных шуток, весьма уместных и острых, представляющих собою лучшие из приключений, какие только великая эта история в себе содержит.

ГЛАВА XXXI,

в коей рассказывается о том, как был изобретен способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, что составляет одно из наиславнейших приключений во всей этой книге

Великое удовольствие доставляли герцогу и герцогине беседы с Дон Кихотом и Санчо Пансою; и, утвердившись в намерении сыграть с ними шутку, которая отзывала бы и пахла приключением, порешили они, дабы устроить им приключение воистину славное, ухватиться за нить Донкихотова повествования о пещере Монтесиноса (впрочем, герцогиню всего более восхищало простодушие Санчо, которое доходило до того, что он признал за непреложную истину, будто Дульсинея Тобосская заколдована, хотя сам же он выступал в качестве колдуна и сам же все это подстроил); и вот, через шесть дней по прибытии Дон Кихота в замок, герцог и герцогиня, отдавши слугам надлежащие распоряжения, повезли его на псовую охоту, в коей принимало участие столько загонщиков и выжлятников*, сколько может быть только на королевской охоте. Дон Кихоту предложили охотничий наряд, а равно и Санчо — зеленый, превосходного сукна, однако ж Дон Кихот от наряда отказался, объявив, что скоро ему предстоит возвратиться к суровой походной жизни и что он не имеет возможности возить с собой гардероб и всякие прочие пожитки. Санчо же взял платье в расчете продать его при первом случае.

Итак, в назначенный день Дон Кихот облачился в свои доспехи, а Санчо переоделся и верхом на сером, с которым он не пожелал расстаться, несмотря на то что ему предлагали знатного коня, присоединился к загонщикам; затем вышла разряженная герцогиня, и Дон Кихот, как учтивый и любезный кавалер, не позволил герцогу ей помочь и тотчас же взял ее иноходца под уздцы. Наконец приблизились они к лесу, росшему между двух весьма высоких гор, и, после того как все лазы, стоянки и охотничьи домики были распределены и люди разошлись по разным местам, началась охота и поднялись невообразимый шум, гам и улюлюканье, так что из-за лая собак и звука рогов люди не слышали друг друга.

Герцогиня сошла с коня и, держа в руках острый дротик, стала там, где, сколько ей было известно, имели обыкновение пробегать кабаны. Герцог и Дон Кихот также спешились и стали по правую и по левую ее руку; Санчо же выбрал себе место сзади нее,— он так и не слез с осла, коего не решался оставить из боязни, как бы с ним не вышло чего-нибудь худого. И едва лишь герцог, герцогиня и Дон Кихот со многочисленною прислугою спешились и выстроились в ряд, как вдруг прямо на них, весь в пене, щелкая зубами и клыками, вымахнул преогромный кабан, коего травили собаки и гнали выжлятники. При виде его Дон Кихот заградился щитом, выхватил меч и двинулся ему навстречу, герцог с дротиком в руках — за ним, герцогиня же, не удержи ее вовремя герцог, непременно опередила бы их обоих. Один лишь Санчо при виде большущего зверя соскочил с серого, сломя голову пустился бежать и попытался вскарабкаться на высокий дуб, но это ему не удалось; добравшись до середины дерева, он ухватился было за ветку, дабы затем достигнуть вершины, однако ж ему не посчастливилось и не повезло, ибо ветка обломилась, и он полетел вниз, но, зацепившись за сук и не будучи в состоянии достать ногами до земли, повис в воздухе. Очутившись в таком положении, видя, что его зеленое полукафтанье трещит по всем швам, и вообразив, что если страшный зверь побежит в эту сторону, то непременно его достанет, он начал так громко кричать и так настойчиво звать на помощь, что все те, кто слышал его, но не видел, были уверены, что он в пасти у дикого зверя. Наконец клыкастый кабан, пронзенный множеством дротиков, рухнул; тогда Дон Кихот, узнав Санчо по голосу, повернулся в ту сторону, откуда доносились крики, и увидел, что Санчо вверх ногами висит на дубе, а подле него стоит серый, не захотевший покинуть его в беде.

Дон Кихот подъехал и снял Санчо с дерева, и как скоро Санчо почувствовал, что он свободен и что под ним твердая почва, то взглянул на свое порванное охотничье полукафтанье, и сердце у него сжалось, ибо он полагал, что такой наряд стоит целого состояния. Тем временем громадную кабанью тушу взвалили на мула, прикрыли ветками розмарина и мирта и, как победный трофей, доставили в обширную палатку, разбитую на лесной поляне; там уже были расставлены столы и приготовлена такая обильная и роскошная трапеза, что по ней одной можно было судить о щедрости и великолепии хозяев. Санчо показал герцогине дыры на своем порванном платье и сказал:

— Если б мы охотились на зайцев или же на пташек, то я ручаюсь, что мое полукафтанье не имело бы такого вида. Не понимаю, что за удовольствие ожидать зверя, который коли

пырнет клыком, так из вас душа вон. Не люблю я, когда вельможи и короли подвергают себя таким опасностям будто бы ради удовольствия, да и удовольствия-то я никакого не нахожу в убийстве ни в чем не повинного животного.

— Нет, Санчо, ты ошибаешься, — возразил герцог, — нет занятия более подходящего и более необходимого для королей и вельмож, нежели псовая охота. Охота — это прообраз войны: на охоте также есть свои военные хитрости, засады и ловушки, дабы можно было без риска для себя одолеть противника. На охоте мы терпим и дикий холод и палящий зной, презираем и сон и негу, укрепляем свои силы, упражняем наше тело, чтобы оно сделалось более гибким,— одним словом, это занятие вреда никому не причиняет, а удовольствие доставляет многим. Итак, Санчо, измени свое мнение, и когда будешь губернаторствовать, то выезжай на охоту, и ты сам увидишь, что это пойдет тебе на пользу.

— Ну уж нет,— возразил Санчо,— губернатор честный — сиди дома, и ни с места. Хорош бы он был: к нему просители по самонужнейшему делу, а он себе развлекается в лесу! Да этак у него все государство развалится! По правде вам скажу, сеньор: охота и всякие иные потехи — это скорей по части бездельников, нежели губернаторов. Я же для препровождения времени по большим праздникам буду играть в «свои козыри», а по воскресеньям и в небольшие праздники — в кегли, а все эти охоты да чертохóты — не в моем духе, да и совесть мне этого не позволит.

— Дай бог, Санчо, чтобы так оно и было. На словах-то мы все, как на гуслях.

— Что вы там ни говорите,— возразил Санчо,— а исправному плательщику залог не страшен, и не у того дело спорится, кто дó свету встать не ленится, а кому от бога подмога, и ведь не ноги над брюхом начальники, а брюхо над ногами. Я хочу сказать, что если господь мне поможет и я честно буду исполнять свой долг, то, без сомнения, из меня выйдет орел, а не губернатор, мне палец в рот не клади!

— А, чтоб ты пропал, нечистая сила! — воскликнул Дон Кихот.— Когда же ты, Санчо, заговоришь без пословиц, плавно и связно, как я тебя столько раз учил? А вы, государи мои, лучше не трогайте этого болвана, он вам душу вымотает своими пословицами: у него их не две и не три, а невесть сколько, и приводит он их, дай бог ему здоровья, а заодно и мне, если только я соглашусь его слушать, всегда так вовремя и так кстати, что просто сил никаких нет.

Беседуя о таких и им подобных занятных вещах, оставили они палатку и отправились в лес, и в осмотре охотничьих

К стр. 372

домиков и стоянок прошел у них весь день, и неприметно спустилась ночь, однако ж не та ясная и тихая ночь, какие обыкновенно стоят в эту пору, то есть в середине лета; между тем окутавшая предметы полумгла весьма благоприятствовала затее герцога и герцогини, и вот, когда сумерки сгустились, внезапно как бы со всех концов запылал лес, и вслед за тем справа и слева, там и сям послышались звуки множества рожков и других военных инструментов, словно по лесу двигалась неисчислимая конная рать. Сверкание огней и звуки военной музыки ослепили и оглушили всех присутствовавших, даже самих участников заговора. Затем со всех сторон стало доноситься: «Алла ил алла!»*, как обыкновенно кричат мавры, когда бросаются в бой, зазвучали трубы и кларнеты, забили барабаны, запели флейты, все почти в одно время, неумолчно и громко, так что только бесчувственный человек мог бы не впасть в бесчувствие при нестройных звуках стольких инструментов. Герцог оцепенел, герцогиня была поражена, Дон Кихот пришел в изумление, Санчо Панса затрясся, даже участники заговора — и те испугались. От страха никто не мог вымолвить слова, и тут перед ними предстал гонец: одет он был чертом, а вместо корнета у него был невероятных размеров, с огромным отверстием рог, издававший хриплые и зловещие звуки.

— Гей, любезный гонец! — окликнул его герцог.— Кто ты таков, куда путь держишь и что это за войско словно бы движется по лесу?

На это гонец громовым и ужасным голосом ответил так:

— Я — дьявол, я ищу Дон Кихота Ламанчского, а по лесу едут шесть отрядов волшебников и везут на триумфальной колеснице несравненную Дульсинею Тобосскую. Она едет сюда заколдованная, вместе с храбрым французом Монтесиносом, дабы уведомить Дон Кихота, каким образом можно ее расколдовать.

— Когда бы ты был дьявол, как ты уверяешь и как это можно заключить по твоей образине, ты бы уж давно догадался, что Дон Кихот Ламанчский — вот он, перед тобой.

— Клянусь богом и своею совестью, я его не заметил,— молвил дьявол,— у меня так забита голова, что главное-то я и упустил из виду.

— Стало быть, этот черт — человек почтенный и добрый христианин,— заметил Санчо,— иначе он не стал бы клясться богом и своею совестью. Я начинаю думать, что и в аду можно встретить добрых людей.

Тут дьявол, не сходя с коня, повернулся лицом к Дон Кихоту и сказал:

— К тебе, Рыцарь Львов (чтоб ты попал к ним в когти!), по-

слал меня злосчастный, но отважный рыцарь Монтесинос и велел передать, чтобы ты дожидался его на том самом месте, где я с тобою встречусь: он везет с собой так называемую Дульсинею Тобосскую и должен тебе поведать, что́ до́лжно предпринять, дабы расколдовать ее. А так как не о чем мне больше с тобой разговаривать, то и незачем мне тут оставаться. Итак, значит, черти — с тобой, такие же точно, как я, а с вами, сеньоры,— добрые ангелы.

Произнеся эти слова, он затрубил в свой чудовищный рог и, не дожидаясь ответа, поворотил коня и исчез.

Все снова пришли в изумление, особливо Санчо и Дон Кихот: Санчо — оттого, что все наперекор истине в один голос твердили, что Дульсинея заколдована, Дон Кихот же — оттого, что он сам не был уверен, точно ли происходили с ним разные события в пещере Монтесиноса. И он все еще занят был этими мыслями, когда герцог спросил его:

— Вы намерены дожидаться, сеньор Дон Кихот?

— А как же иначе? — отвечал Дон Кихот.— Если даже на меня весь ад ополчится, я все равно буду ждать — бесстрашно и неколебимо.

— Ну, а если мне доведется увидеть еще одного черта и услышать другой такой рог,— объявил Санчо,— то я уж буду дожидаться где-нибудь во Фландрии.

Тем временем стало совсем темно, и в лесу замелькали огоньки, подобно тому как в небе мелькают сухие испарения земли, которые нашему взору представляются падающими звездами. Вслед за тем послышался страшный шум, как если бы заскрипели колеса телег, запряженных волами; говорят, будто бы это немолчное и пронзительное скрипение пугает даже волков и медведей. К этому бедствию присоединилось новое, горше прежнего, а именно: присутствовавшим показалось, будто на всех четырех концах леса одновременно происходят стычки и сражения, ибо вон в той стороне раздавался тяжкий и устрашающий грохот орудий, там шла частая стрельба из мушкетов, где-то совсем близко слышались клики бойцов, издали долетали непрекращавшиеся вопли мавров: «Алла ил алла!» Одним словом, корнеты, охотничьи рога, рожки, кларнеты, трубы, барабаны, пушки, аркебузы, а главное, ужасный скрип телег — все сливалось в такой нестройный и такой ужасающий гул, что Дон Кихоту, дабы не дрогнуть, пришлось собрать все свое мужество, меж тем как Санчо оплошал и без чувств повалился на землю. Герцогиня велела брызнуть ему в лицо водой. Его сбрызнули, и очнулся он как раз в ту минуту, когда показалась одна из повозок на скрипучих колесах.

Повозку тащила четверка ленивых волов, покрытых черными

попонами; к рогам каждого из них был привязан большой горящий факел из воска, а на самой колеснице было устроено высокое сиденье, на котором расположился маститый старец с длинною, ниже пояса, бородою белее снега, одетый в широкую хламиду из черного холста; колесница была ярко освещена, а потому различить и заметить все, что на ней было, не составляло труда. Обязанности возницы исполняли два безобразных демона, облаченные в такие же холщовые балахоны, и рожи у них были до того мерзкие, что Санчо, едва взглянув, тотчас зажмурился, чтобы больше их не видеть. Когда же колесница поравнялась со стоянкой, маститый старец поднялся со своего высокого сиденья и, вытянувшись во весь рост, громогласно возопил:

— Я — мудрец Лиргандей!*

Больше он ничего не сказал, и колесница покатила дальше. Затем показалась другая такая же колесница со старцем на троне; старец подал знак, колесница остановилась, и тогда он не менее торжественно, чем первый, возгласил:

— Я — мудрец Алкиф, искренний приятель Урганды Неуловимой!

И поехал дальше.

Вслед за тем таким же образом подъехала третья колесница, однако же на сей раз на троне восседал не старец, а ражий детина с разбойничьей образиною; подъехав, он поднялся с места, как и те двое, и еще более хриплым и злобным голосом произнес:

— Я — волшебник Аркалай*, заклятый враг Амадиса Галльского и всех сродников его!

И поехал дальше.

Отъехав немного в сторону, все три колесницы остановились, докучный скрип колес прекратился, в лесу воцарилась совершенная тишина, и тогда послышались звуки музыки, нежные и согласные, отчего Санчо возликовал, ибо почел это за доброе предзнаменование; и по сему обстоятельству он обратился к герцогине, от которой все это время не отходил ни на один шаг и ни на одно мгновение, с такими словами:

— Сеньора! Где играет музыка, там не может быть ничего худого.

— Так же точно и там, где вспыхивают огоньки и где светло,— отозвалась герцогиня.

Санчо же ей возразил:

— Вспышки — это от пальбы, а свет бывает от костров, вот как сейчас вокруг нас, и они еще отлично могут нас поджарить, а уж где музыка — там, наверно, празднуют и веселятся.

— Это еще неизвестно,— сказал Дон Кихот, слышавший весь этот разговор.

И он оказался прав, как то будет видно из следующей главы.

ГЛАВА XXXII,

в коей продолжается рассказ о том, как Дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею, а равно и о других удивительных происшествиях

Тут все увидели, что под звуки этой приятной музыки к ним приближается нечто вроде триумфальной колесницы, запряженной шестеркою гнедых мулов, покрытых белыми попонами, и на каждом из мулов сидел кающийся в белой одежде, с большим зажженным восковым факелом в руке. Была сия колесница раза в два, а то и в три больше прежних, на самой колеснице и по краям ее помещалось еще двенадцать кающихся в белоснежных одеяниях и с зажженными факелами, каковое зрелище приводило в восхищение и вместе в ужас, а на высоком троне восседала нимфа под множеством покрывал из серебристой ткани, сплошь усыпанных золотыми блестками, что́ придавало не весьма богатому ее наряду особую яркость. Лицо ее было прикрыто прозрачным и легким газом, сквозь его складки проглядывали очаровательные девичьи черты, а множество факелов, ее освещавших, позволяли судить о красоте ее и возрасте, каковой, по-видимому, не достигал двадцати лет и был не ниже семнадцати. Рядом с нею сидела фигура под черным покрывалом, в платье, доходившем до пят, с длинным шлейфом. Колесница остановилась прямо перед герцогом, герцогинею и Дон Кихотом, и в то же мгновение на ней смолкли звуки гобоев, арф и лютней, фигура же встала с места, распахнула свою длинную одежду, откинула покрывало, и тут все ясно увидели, что это сама Смерть, костлявая и безобразная, при взгляде на которую Дон Кихот содрогнулся, Санчо струхнул, и даже герцогу с герцогиней стало не по себе.

Поднявшись и вытянувшись во весь рост, эта живая Смерть несколько сонным голосом и слегка заплетающимся языком заговорила так:

Я — тот Мерлин*, которому отцом
Был дьявол, как преданья утверждают.
Узнай, о муж, прославленный навеки
Геройскими деяньями, узнай,
Испании звезда, Ламанчи солнце,
Разумный и учтивый Дон Кихот,

Что обрести первоначальный облик
Сладчайшей Дульсинее из Тобосо
Удастся, к сожалению, не раньше,
Чем Санчо, твой оруженосец верный,
По доброй воле под открытым небом
Три тысячи и триста раз огреет
Себя по голым ягодицам плетью
Так, чтоб зудел, горел и саднил зад.
Решенье это, с коим согласились
Все, кто в ее несчастии виновен,
Я и пришел, сеньоры, объявить.

— Да ну тебя! — вскричал тут Санчо.— Какое там три тысячи — для меня и три удара плеткой все равно что три удара кинжалом. Пошел ты к черту с таким способом расколдовывать! Не понимаю, какое отношение имеют мои ягодицы к волшебным чарам! Ей-богу, если только сеньор Мерлин не найдет другого способа расколдовать сеньору Дульсинею Тобосскую, то пусть она и в гроб сойдет заколдованная!

— А вот я сейчас схвачу вас, дрянь паршивая,— заговорил Дон Кихот,— в чем мать родила привяжу к дереву и не то что три тысячи триста плетей, а и все шесть тысяч шестьсот влеплю, да так, что, дергайтесь вы хоть три тысячи триста раз, они все равно не отлепятся. И не смейте возражать, иначе я из вас душу вытрясу.

Но тут вмешался Мерлин:

— Нет, так не годится, на эту порку добрый Санчо должен пойти добровольно, а не по принуждению, и притом — когда он сам пожелает, ибо никакого определенного срока не установлено. Кроме того, бичевание будет сокращено вдвое, если только он согласится, чтобы другую половину ударов нанесла ему чужая рука, хотя бы и увесистая.

— Ни чужая, ни собственная, ни увесистая, ни развесистая,— объявил Санчо,— никакая рука не должна меня трогать. Я, что ли, родил сеньору Дульсинею Тобосскую? Так почему же мне своими ягодицами приходится расплачиваться за ее грешные очи? Вот мой господин уж подлинно составляет часть ее самой, потому он беспрестанно называет ее своей *жизнью, душою, опорой и поддержкой,* и он может и должен отстегать себя ради нее и сделать все, лишь бы только она была расколдована, но чтобы я себя стал хлестать?.. Нипочем!

Только успел Санчо это вымолвить, как серебристая нимфа, сидевшая рядом с духом Мерлина, вскочила, откинула тонкое покрывало, под которым оказалось необыкновенной красоты лицо, и, обращаясь непосредственно к Санчо Пансе, с чисто

мужской развязностью и не весьма нежным голосом заговорила:

— О незадачливый оруженосец, баранья твоя голова, дубовое сердце, булыжные и кремневые внутренности! Если б тебе приказали, наглая рожа, броситься с высокой башни на землю, если б тебя попросили, враг человеческого рода, сожрать дюжину жаб, две дюжины ящериц и три дюжины змей, если б тебя уговаривали зверски зарезать жену и детей кривою и острою саблей, то твое ломанье и отлыниванье никого бы не удивили, но придавать значение трем тысячам тремстам плетям, в то время как любой скверный мальчишка ежемесячно получает столько же,— вот что изумляет, поражает, ужасает все добрые души, которые внимают здесь твоим словам, и ужаснет еще всех тех, которые со временем об этом узнают. Уставь, гнусное, бесчувственное животное, уставь, говорят тебе, свои буркалы, как у испуганного филина, на мои очи, подобные сияющим звездам, и ты увидишь, как поток за потоком и ручей за ручьем струятся из них слезы, образуя промоины, канавки и дорожки на прекрасных равнинах моих ланит. Сжалься, процелыга и зловредное чудовище, над цветущими моими летами, до сих пор еще не перевалившими за второй десяток: ведь мне всего только девятнадцать, а двадцати еще нет, и вот я чахну и увядаю под грубой мужицкой оболочкой, и если я сейчас не кажусь мужичкою, то это благодаря здесь присутствующему сеньору Мерлину, который сделал мне особое одолжение единственно для того, чтобы моя красота тебя тронула, ибо слезы скорбящей красавицы обращают утесы в хлопок, а тигров в овечек. Хлещи же, хлещи себя по мясам, скот немыслимый, пробуди свою удаль, которая направлена у тебя на обжорство и только на обжорство, и возврати мне нежность кожи, кротость нрава и красоту лица. Если же ради меня ты не пожелаешь смягчиться и прийти к разумному решению, то решись хотя бы ради несчастного этого рыцаря, что стоит подле тебя, то есть ради твоего господина, которого душа мне сейчас видна: она застряла у него в горле на расстоянии десяти пальцев от губ и намерена, смотря по тому, каков будет твой ответ — суров ли, благоприятен ли,— вылететь из его уст или же возвратиться к нему в утробу.

При этих словах Дон Кихот пощупал себе горло и, обратясь к герцогу, молвил:

— Клянусь богом, сеньор, Дульсинея говорит правду: душа и впрямь застряла у меня в горле, будто арбалетное ядрышко.

— Хотел бы я знать,— заговорил Санчо,— где это моя госпожа сеньора донья Дульсинея Тобосская слышала, чтобы так просили: сама же добивается от меня, чтобы я согласился себе шкуру спустить, и обзывает меня при этом бараньей головой, скотом немыслимым и ругает на чем свет стоит, так что сам

черт вышел бы из терпения. Да что, в самом деле, тело-то у меня каменное, или же меня хоть сколько-нибудь касается, заколдована она или нет? Другая, чтоб задобрить, корзину белья с собой привезла бы, сорочек, платков и полусапожек, хоть я их и не ношу, а эта то и знай бранится — видно, забыла, как у нас говорят: навьючь осла золотом — он тебе и в гору бегом побежит, а подарки скалу прошибают, а у бога просить не стыдись, но и потрудиться для него не ленись, и синица в руках лучше, чем журавль в небе. А тут еще мой господин, вместо того чтобы меня умаслить и по шерстке погладить,— он, мол, тогда станет мягкий, как воск, лепи из него что хочешь,— объявляет, что схватит меня, привяжет голым к дереву и всыплет двойную порцию розог. И пусть все эти прискорбные сеньоры возьмут в толк, что они добиваются порки не какого-нибудь там оруженосца, а губернатора — поднимай, как говорится, выше. Нет, прах их побери, пусть сначала научатся просить, научатся уговаривать и станут повежливее, а то день на день не похож, и не всегда человек в духе бывает. Я сейчас готов лопнуть с досады, что мое зеленое полукафтанье в клочьях, а тут еще меня просят, чтоб я дал себя высечь по собственному хотению, а мне этого так же хочется, как все равно превратиться в касика*

— Скажу тебе по чести, друг Санчо,— молвил герцог,— что если ты не сделаешься мягче спелой фиги, то не получишь острова. Разве у меня хватит совести послать к моим островитянам жестокосердного губернатора, чье каменное сердце не тронут ни слезы страждущих девиц, ни мольбы благоразумных, могущественных и древних волшебников и мудрецов? Одним словом, Санчо, или ты сам себя высечешь, или тебя высекут, или не бывать тебе губернатором.

— Сеньор! — сказал Санчо.— Нельзя ли дать мне два дня сроку, чтобы я подумал, как лучше поступить?

— Ни в коем случае,— возразил Мерлин.— Это дело должно быть решено тут же и сию минуту: либо Дульсинея возвратится в пещеру Монтесиноса и снова примет облик крестьянки, либо в том виде, какой она имеет сейчас, ее вознесут в Елисейские поля, и там она будет ждать, доколе положенное число розог не будет отсчитано полностью.

— Ну же, добрый Санчо,— сказала герцогиня,— наберись храбрости и отплати добром за хлеб, который ты ел у своего господина Дон Кихота. Все мы обязаны оказывать ему услуги и ублажать его за добрый нрав и высокие рыцарские деяния. Дай же, дружок, свое согласие на порку и не празднуй труса: ведь ты сам хорошо знаешь, что храброе сердце злую судьбу ломает.

Вместо ответа Санчо повел с Мерлином такую глупую речь:

— Сделайте милость, сеньор Мерлин, растолкуйте мне: сюда

под видом гонца являлся черт и от имени сеньора Монтесиноса сказал моему господину, чтобы тот ждал его здесь, потому он сам, дескать, сюда прибудет и научит, как расколдовать сеньору донью Дульсинею Тобосскую, но до сих пор мы никакого Монтесиноса в глаза не видали.

Мерлин же ему на это ответил так:

— Друг Санчо! Этот черт — невежда и преизрядный мерзавец: я посылал его к твоему господину с поручением вовсе не от Монтесиноса, а от себя самого, Монтесинос же сидит в своей пещере и, можно сказать, ждет не дождется, чтобы его расколдовали, так что он и рад бы в рай, да грехи не пускают. Если же он у тебя в долгу, либо если у тебя есть к нему дело, то я живо тебе его доставлю и отведу, куда скажешь. А пока что соглашайся скорей на порку — уверяю тебя, что это будет тебе очень полезно как для души, так и для тела: для души — потому что ты тем самым оказываешь благодеяние, а для тела — потому что, сколько мне известно, ты человек полнокровный и легкое кровопускание не может тебе повредить.

— Больно много лекарей развелось на свете: волшебники — и те лекарями заделались! — заметил Санчо.— Ну, коли все меня уговаривают, хотя сам-то я смотрю на это дело по-другому, так и быть, я согласен нанести себе три тысячи триста ударов плетью с условием, однако ж, что я буду себя пороть, когда мне это заблагорассудится, и что никто мне не будет указывать день и час, я же, со своей стороны, постараюсь разделаться с этим возможно скорее, чтобы все могли полюбоваться красотою сеньоры доньи Дульсинеи Тобосской, а ведь она, сверх ожидания, видно, и впрямь красавица. Еще я ставлю условием, что я не обязан сечь себя до крови и что если иные удары только мух спугнут, все-таки они будут мне зачтены. Равным образом, ежели я собьюсь со счета, то пусть сеньор Мерлин, который все умеет, потрудится подсчитать и уведомить меня, сколько недостает или же сколько лишку.

— О лишке уведомлять не придется,— возразил Мерлин,— чуть только положенное число ударов будет отпущено, сеньора Дульсинея внезапно расколдуется и из чувства признательности явится поблагодарить доброго Санчо и даже наградить его за доброе дело. Так что ни о лишке, ни о недостаче ты не беспокойся, да и небо не позволит мне хотя на волос тебя обмануть.

— Ну так господи благослови! — воскликнул Санчо.— Я покоряюсь горькой моей судьбине.

Только Санчо успел это вымолвить, как снова затрубили трубы, снова затрещали бесчисленные аркебузные выстрелы, а Дон Кихот бросился Санчо на шею и стал целовать его в лоб и в щеки. Герцогиня, герцог и все прочие выразили свой восторг, и

колесница тронулась с места; и при отъезде Дульсинея отвесила поклон герцогу с герцогиней и особенно глубокий — Санчо.

А между тем на небе все ярче разгоралась заря, радостная и смеющаяся, полевые цветы поднимали головки, а хрустальные воды ручейков, журча меж белых и желтых камешков, понесли свою дань ожидавшим их рекам. Ликующая земля, ясное небо, прозрачный воздух, яркий свет — все это, и вместе и порознь, возвещало, что день, стремившийся вослед Авроре, обещает быть тихим и ясным. Герцог же и герцогиня, довольные охотою, а равно и тем, сколь остроумно и счастливо достигли они своей цели, возвратились к себе в замок с намерением затеять что-нибудь новое, выдумывать же всякие проказы доставляло им величайшее удовольствие.

ГЛАВА XXXIII

О советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, а равно и о других весьма важных вещах

На другой день герцогиня спросила Санчо, начал ли он принятое им на себя покаяние, необходимое для того, чтобы расколдовать Дульсинею. Санчо ответил, что начал и прошедшей ночью уже нанес себе пять ударов. Герцогиня спросила, чем именно он их нанес. Санчо ответил, что рукою.

— Это шлепки, а не бичевание,— заметила герцогиня.— Я убеждена, что подобная мягкость обхождения с самим собой не понравится мудрому Мерлину. Нет уж, добрый Санчо, избери-ка ты для себя плеть с шипами или же с узлами — так будет чувствительнее: ведь недаром говорит пословица, что и для ученья полезно сеченье, а свободу столь знатной особы, какова Дульсинея, так дешево, такой ничтожной ценой приобрести нельзя. И еще прими в рассуждение, Санчо, что добрые дела, которые делаются вяло и лениво, не зачитываются и ровно ничего не стоят.

На это Санчо ответил так:

— А вы дайте мне, ваша светлость, плетку или же веревку, какую получше, и я буду себя стегать, только не очень больно, потому было бы вам известно, ваша милость, что хоть я и простой мужик, а тело у меня не из ряднины, а скорей из хлопчатой бумаги, и калечить себя ради чужой пользы — это не дело.

— В добрый час,— молвила герцогиня,— завтра я выберу плеточку как раз по тебе, и твоей нежной коже она полюбится, как родная сестра.

Затем Санчо сказал герцогине:

— К сведению вашей светлости, дорогая моя сеньора, я написал письмо моей жене Тересе Панса и уведомил ее обо всем, что со мной произошло, с тех пор как мы с ней расстались. Письмо у меня тут, за пазухой, остается только надписать адрес, и мне бы хотелось, чтобы ваше благоразумие его прочитало, потому мне сдается, что оно написано по-губернаторски, то есть так, как должны писать губернаторы.

— А кто же его сочинил? — осведомилась герцогиня.

— Кто же, как не я, грешный? — сказал Санчо.

— И сам же и написал? — продолжала допытываться герцогиня.

— Какое там,— отвечал Санчо,— я не умею ни читать, ни писать, я могу только поставить свою подпись.

— Ну что ж, посмотрим,— молвила герцогиня.— Я уверена, что в этом письме ты выказал свои блестящие умственные способности.

Санчо достал из-за пазухи и протянул герцогине незапечатанное письмо, которое заключало в себе следующее:

Хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился; хоть и будет у меня славный остров, но за это не миновать мне славной порки. Сейчас ты всего этого не поймешь, милая Тереса, но потом я тебе объясню. Да будет тебе известно, Тереса, твердое мое решение: тебе надлежит ездить в карете, иначе тебе не подобает, потому ездить как-нибудь по-другому — это для тебя теперь все равно что ползать на карачках.*

Ты жена губернатора, смотри же: у тебя все должно быть так, чтобы комар носа не подточил! При сем прилагаю зеленый охотничий кафтан, который мне пожаловала сеньора герцогиня,— прикинь, не выйдет ли из него юбки и кофты для нашей дочки. В здешних краях говорят, что мой господин Дон Кихот — помешанный разумник и забавный сумасброд и что я ему отличная пара. Побывали мы в пещере Монтесиноса, а мудрый Мерлин на предмет расколдования Дульсинеи Тобосской, которую, впрочем, все ее земляки зовут Альдонсой Лоренсо, выбрал меня: мне надлежит нанести себе три тысячи триста ударов, за вычетом тех пяти, что я уже нанес, и тогда она будет совсем расколдованная, не хуже нас с тобой. Об этом ты никому не говори, а то вынесешь сор из дому — и пойдут кривотолки. Через несколько дней я отправляюсь губернаторствовать с величайшим желанием зашибить деньгу,— мне говорили, что все вновь назначенные правители отбывают с таким же точно желанием. Я там огляжусь и тогда отпишу, стоит тебе приезжать

или нет. Серый здоровехонек и низко тебе кланяется, а я его ни за что не брошу, хотя бы меня сделали султаном турецким. Сеньора герцогиня тысячу раз целует твои ручки, а ты ей поцелуй две тысячи раз, ибо, как говорит мой господин, учтивые выражения — это самая дешевая и ни к чему не обязывающая вещь на свете. Богу было неугодно послать мне еще один чемоданчик с сотней эскудо, как в прошлую поездку, но ты, милая Тереса, не огорчайся, козла пустили в огород, и в должности губернатора мы свое возьмем. Одно только сильно меня беспокоит: говорят, если этого хоть раз попробуешь, то язык проглотишь, и вот, коли так оно и будет, то губернаторство не дешево мне обойдется. Впрочем, калекам и убогим подают столько милостыни, что они живут, как каноники. Вот и выходит, что не так, так эдак, а ты у меня, надо надеяться, разбогатеешь. Пошли тебе бог счастья, а меня да хранит он ради тебя.

Писано в этом замке 1614 года
июля 20 дня.

Твой супруг, губернатор
Санчо Панса.

Герцогиня прочитала письмо и сказала Санчо:

— В двух местах вы, добрый губернатор, немножко сплоховали. Во-первых, вы уведомляете и поясняете, что губернаторство было вам пожаловано за то, что вы согласились себя выпороть, а между тем вы сами хорошо знаете и не станете отрицать, что когда мой муж герцог обещал вам губернаторство, то никакая порка вам еще и во сне не снилась. Во-вторых, вы здесь выказали чрезмерное корыстолюбие. Но ведь погонишься за прибытком, а вернешься с убытком, от зависти, говорят, глаза разбегаются, и алчный правитель творит неправый суд.

— Я совсем не то хотел сказать, сеньора,—заметил Санчо,— и если ваша милость полагает, что письмо написано не так, как должно, то мы его в момент разорвем и напишем новое, но только оно может выйти еще хуже, если я положусь на свою собственную смекалку.

— Нет, нет,— возразила герцогиня,— это хорошее письмо, я хочу показать его герцогу.

Герцог пришел от письма в совершенный восторг. Он сказал Санчо, чтобы тот привел себя в надлежащий порядок и был готов занять пост губернатора, ибо островитяне ждут его, дескать, как майского дождичка.

— Я жалую тебе самый настоящий остров, в высшей степени плодородный и обильный,— примолвил герцог.

— Я не из корысти мечу в высокие начальники и залетаю в барские хоромы,— заметил Санчо,— просто мне хочется попробовать, какое оно, это губернаторство.

— Раз попробуешь, Санчо, язык проглотишь,— возразил герцог,— нет ничего слаще — повелевать и видеть, что тебе повинуются. Могу ручаться, что когда твой господин сделается императором — а судя по тому, как идут его дела, он будет таковым непременно,— то этого сана никакими силами у него уже не отнимешь, и в глубине души он будет сожалеть и досадовать, что так поздно стал императором.

— Сеньор,— объявил Санчо,— я нахожу, что повелевать всегда приятно, хотя бы даже стадом баранов.

— У нас с тобой, Санчо, вкусы сходятся, и во всем-то ты разбираешься,— заметил герцог,— я надеюсь, что и управлять ты будешь столь же мудро, сколь мудры твои речи. Ну, вот пока и все, помни только, что ты отправишься управлять островом самое позднее завтра, а сегодня вечером тебе выдадут приличное новому твоему званию платье и снарядят в дорогу.

— Пусть одевают как хотят,— сказал Санчо,— я в любом наряде останусь Санчо Пансою.

— И то правда,— согласился герцог,— но все-таки одежда должна соответствовать роду занятий и занимаемой должности: так, например, законоведу неудобно одеваться как солдат, а солдату — как священник. Ты же, Санчо, будешь одет наполовину как судейский, а наполовину как военачальник, ибо на том острове, который я тебе жалую, в военных такая же нужда, как и в ученых, а в ученых — такая же, как и в военных.

— Вот по ученой-то части я как раз слабоват,— признался Санчо,— я даже азбуки — и той не знаю. Впрочем, хороший губернатор должен уметь вместо подписи крестик поставить — и ладно. Если же мне выдадут оружие, то с божьей помощью я не выпущу его из рук, доколе не упаду.

— Всегда руководствуйся этими высокими соображениями, Санчо, и ты избежишь ошибок,— заметил герцог.

В это время вошел Дон Кихот и, узнав, о чем идет речь и что Санчо спешно принимает бразды правления, взял его за руку и с дозволения герцога увел к себе, чтобы преподать советы, как ему в той должности подобает себя вести. Итак, войдя в свой покой, он запер дверь, почти насильно усадил Санчо рядом с собою и нарочито медленно заговорил:

— Я возношу бесконечные благодарения богу, друг Санчо, за то, что прежде чем счастье улыбнулось мне, на тебя свалилась такая удача. Я надеялся, что счастливый случай поможет мне вознаградить тебя за верную службу, и вот я только-только начинаю преуспевать, а твои чаяния прежде времени и

вопреки здравому смыслу уже сбылись. Иные действуют подкупом, докучают, хлопочут, встают спозаранку, выпрашивают, упорно добиваются — и цели своей, однако ж, не достигают, а другой, неизвестно как и почему, сразу получает должность и службу, коей домогались столь многие, и тут кстати и к месту будет привести пословицу, что как, мол, ни старайся, а на все — судьба. По мне, ты — чурбан и ничего более, ты спозаранку не вставал, допоздна не засиживался, ты палец о палец не ударил, но тебя коснулся дух странствующего рыцарства — и вот ты уже, здорово живешь, губернатор острова. Все это, Санчо, я говорю к тому, чтобы ты не приписывал собственным своим заслугам оказанную тебе милость,— нет, прежде возблагодари всевышнего, который отеческою рукою все направляет ко благу, а затем возблагодари орден странствующего рыцарства, наивысшего благородства исполненный. Итак, постарайся всем сердцем воспринять то, что я тебе сказал, а затем, о сын мой, выслушай со вниманием своего Катона, желающего преподать тебе советы и быть твоим вожатаем и путеводною звездою, которая направила бы и вывела тебя к тихому пристанищу из того бурного моря, куда ты намереваешься выйти, ибо должности и высокие назначения суть не что иное, как бездонная пучина смут.

Прежде всего, сын мой, тебе надлежит бояться бога, ибо в страхе господнем заключается мудрость, будучи же мудрым, ты избежишь ошибок.

Во-вторых, загляни внутрь себя и постарайся себя познать, познание же это есть наитруднейшее из всех, какие только могут быть. Познавши самого себя, ты уже не станешь надуваться, точно лягушка, пожелавшая сравняться с волом, если же станешь, то, подобно павлину, смущенно прячущему свой пышный хвост при взгляде на уродливые свои ноги, ты невольно будешь прятать хвост безрассудного своего тщеславия при мысли о том, что в родном краю ты некогда пас свиней.

— Справедливо,— согласился Санчо,— но в ту пору я мальчонкой был, а когда подрос маленько, то уж гусей пас, а не свиней. Но только, думается мне, это к делу не идет: ведь не все правители королевского рода.

— Твоя правда,— заметил Дон Кихот,— и вот почему людям происхождения незнатного, занимающим важные посты, надлежит проявлять мягкость и снисходительность, каковые в сочетании с благоразумною осторожностью избавляют от злостной клеветы, а иначе от нее ни в какой должности не убережешься.

О своем худородстве, Санчо, говори с гордостью и признавайся не краснея, что ты из крестьян, ибо никому не придет в голову тебя этим стыдить, коль скоро ты сам этого не стыдишься; вообще стремись к тому, чтобы стать смиренным праведни-

ком, а не надменным грешником. Бесчисленное множество людей, в низкой доле рожденных, достигали наивысших степеней и были возводимы в сан первосвященнический или же императорский, чему я мог бы привести столько примеров, что ты устал бы меня слушать.

Помни, Санчо: если ты вступишь на путь добродетели и будешь стараться делать добрые дела, то тебе не придется завидовать делам князей и сеньоров, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, и она имеет ценность самостоятельную, в отличие от крови, которая таковой ценности не имеет.

А когда так, то в случае, если кто-нибудь из родственников твоих вздумает навестить тебя на твоем острове, то не гони его и не обижай, но, напротив того, прими с честью и обласкай,— этим ты угодишь богу, который не любит, когда гнушаются кем-либо из его созданий, и вместе с тем соблюдешь мудрый закон природы.

Если привезешь с собою жену (ибо нехорошо, когда люди, призванные к исполнению служебных своих обязанностей на долгий срок, пребывают в разлуке с супругами), то поучай ее, наставляй и шлифуй природную ее неотесанность, ибо что умный губернатор приобрел, то может растерять и расточить глупая и неотесанная жена.

Если ты овдовеешь (что всегда может случиться) и благодаря своему положению составишь себе более блестящую партию, то смотри, как бы новая твоя жена не превратилась в удочку с крючком и не начала приговаривать: «Ловись, ловись, рыбка большая и маленькая»,— истинно говорю тебе, что за все взятки, которые вымогает жена судьи, в день Страшного суда ответит ее муж, и после смерти он в четырехкратном размере заплатит за те побочные статьи дохода, на которые он при жизни не обращал внимания.

Ни в коем случае не руководствуйся законом личного произвола: этот закон весьма распространен среди невежд, которые выдают себя за умников.

Пусть слезы бедняка вызовут в тебе при одинаково сильном чувстве справедливости больше сострадания, чем жалобы богача.

Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни сулил и ни преподносил богач и как бы ни рыдал и ни молил бедняк.

В тех случаях, когда может и должно иметь место снисхождение, не суди виновного по всей строгости закона, ибо слава судьи сурового ничем не лучше славы судьи милостивого.

Если когда-нибудь жезл правосудия согнется у тебя в руке, то пусть это произойдет не под тяжестью даров, но под давлением сострадания.

Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу недруга

твоего, то гони от себя всякую мысль о причиненной тебе обиде и думай лишь о том, на чьей стороне правда.

Да не ослепляет тебя при разборе дел личное пристрастие, иначе ты допустишь ошибки, которые в большинстве случаев невозможно бывает исправить, а если и возможно, то в ущерб доброму твоему имени и даже твоему достоянию.

Если какая-нибудь красавица будет просить, чтобы ты за нее заступился, то отврати очи от ее слез и уши от ее стенаний и хладнокровно вникни в суть ее просьбы, иначе разум твой потонет в ее слезах, а добродетель твоя — в ее вздохах.

Если ты накажешь кого-нибудь действием, то не карай его еще и словом, ибо с несчастного довольно муки телесного наказания, и прибавлять к ней суровые речи нет никакой надобности.

Смотри на виновного, который предстанет пред твоим судом, как на человека, достойного жалости, подверженного слабостям испорченной нашей природы, и по возможности, не в ущерб противной стороне, будь с ним милостив и добр, ибо хотя все свойства божества равны, однако же в наших глазах свойство всеблагости прекраснее и великолепнее, нежели свойство всеправедности.

Если же ты, Санчо, наставления эти и правила соблюдешь, то дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награду получишь ты превеликую, блаженство твое будет неизреченно, детей ты женишь по своему благоусмотрению, дети твои и внуки будут иметь почетное звание, уделом твоим будет мир и всеобщее благорасположение, а затем, в пору тихой твоей и глубокой старости, в урочный час за тобою явится смерть, и нежные, мягкие ручки правнуков твоих закроют тебе очи. Все эти назидания должны послужить к украшению твоей души, а теперь послушай назидания, имеющие своею целью украшение тела.

ГЛАВА XXXIV

О второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Пансе

Кто бы из тех, кто слышал вышеприведенные рассуждения Дон Кихота, не признал его за человека совершенно здравомыслящего и преисполненного самых благих намерений? Но, как это на протяжении великой нашей истории не раз было замечено, он начинал нести околесную, только когда речь заходила о рыцарстве, рассуждая же о любом другом предмете, он выказывал ум ясный и обширный, так что поступки его неизменно расхо-

дились с его суждениями, а суждения — с поступками; что же касается второй части правил, коим он обучал Санчо, то здесь он выказал остроумие чрезвычайное и в рассудительности своей и в своем помешательстве дошел до наивысшей точки. Санчо слушал его с неослабным вниманием и старался удержать в памяти его советы: видно было, что он намерен хорошенько запомнить их, дабы с их помощью рождение нового губернатора протекло благополучно. Дон Кихот между тем продолжал:

— Касательно того, как надлежит держать свой дом и самого себя, Санчо, то прежде всего я советую тебе соблюдать чистоту и стричь ногти, а ни в коем случае не отращивать их, как это делают некоторые, по невежеству своему воображающие, будто длинные ногти составляют украшение рук, меж тем как если не обстригать грязные эти наросты, то они смахивают на когти хищной птицы: это чудовищное безобразие и нечистоплотность.

Никогда не ходи, Санчо, распоясанным и неопрятным: беспорядок в одежде есть признак расслабленности духа.

Установи с наивозможною точностью, сколь важен твой пост, и если занимаемое тобою положение дозволяет людям твоим носить ливреи, то позаботься, чтобы эти ливреи были не столько ярки и пышны, сколько приличны и прочны, и распредели их между своими лакеями и нищими, то есть, вместо того чтобы одеть шесть слуг, лучше одень трех слуг и трех нищих, и тогда у тебя будут слуги и на земле и на небе: этот новый способ распределения ливрей недоступен пониманию людей тщеславных.

Не потребляй ни чеснока, ни лука, дабы по запаху нельзя было догадаться, что ты из мужиков.

Ходи медленно, говори раздельно, но не до такой степени, чтобы можно было подумать, будто ты сам себя слушаешь, ибо всякая напыщенность противна.

За обедом ешь мало, а за ужином еще меньше, ибо здоровье всего тела куется в кузнице нашего желудка.

Будь умерен в питье из тех соображений, что человек, выпивший лишнее, не хранит тайн и не исполняет обещаний.

Не вздумай, Санчо, жевать обеими челюстями сразу, а также эрутировать в присутствии кого бы то ни было.

— Я не понимаю, что значит *эрутировать*,— объявил Санчо.

Дон Кихот же ему пояснил:

— *Эрутировать*, Санчо, значит рыгать, но это одно из самых грубых слов во всем испанском языке, хотя оно и весьма выразительно, по сему обстоятельству люди с нежным слухом прибегли к латыни и слово *рыгать* заменили словом *эрутировать*, слово же *рыгание* — словом *эрутация*.

— Честное слово, сеньор,— молвил Санчо,— изо всех ваших советов и наставлений я особенно постараюсь запомнить вот это, насчет того, чтобы не рыгать, потому со мной это частенько случается.

— Не *рыгать* должно говорить, Санчо, а *эрутировать*,— поправил его Дон Кихот.

— С сегодняшнего дня стану говорить *эрутировать*,— сказал Санчо,— будьте спокойны, что не забуду.

— Равным образом, Санчо, оставь привычку вставлять в свою речь уйму пословиц, ибо хотя пословицы суть краткие изречения, однако ж ты в большинстве случаев притягиваешь их за волосы, вот почему в твоих устах они представляются уже не изречениями, а просто-напросто бреднями.

— От этого един господь властен меня избавить,— возразил Санчо,— потому в голове у меня больше пословиц, нежели в книжке, и когда я говорю, они вертятся у меня на языке все сразу, толкаются, каждую так и тянет сорваться прежде других, однако ж язык выбалтывает первую попавшуюся, хотя бы и совсем некстати. Ну, а теперь я все-таки постараюсь приводить такие пословицы, которые не уронят моего достоинства, потому где богато живут, там мигом и на стол подают, и кому сдавать, тому уже не тасовать, и кто в набат бьет, тот уж на пожар не идет, и кто умом горазд, тот себя в обиду не даст.

— Правильно, Санчо! — воскликнул Дон Кихот.— Вплетай, нанизывай, накручивай пословицы — никто тебя за язык не держит! Мать с кнутом, а я себе все с волчком! Я тебе говорю, чтобы ты избегал пословиц, а ты в одну секунду насыпал их целый воз, хотя они и подходят к предмету нашего разговора, как корове седло. Пойми, Санчо: я отнюдь не против пословиц, приводимых к месту, но если ты громоздишь и нанизываешь их как придется, то речь твоя становится скучной и растянутой.

Когда сидишь на коне, не откидывайся на заднюю луку седла, не вытягивай и не расставляй ног, а держи их поближе к конскому брюху, и не сиди раскорякой, будто бы едешь на своем сером, ибо по тому, как человек сидит на коне, всегда можно определить, кто он: знатный верхоконный или же простой конюх.

Спи умеренно: кто не встает вместе с солнцем, тот не знает радостей дня; прими в соображение, Санчо, что расторопность есть мать удачи, врагиня же ее, леность, всегда препятствует достижению благой цели.

Последний мой совет, который я тебе сейчас преподам, не относится к украшению тела, и все же я хочу, чтобы ты свято сохранил его в своей памяти, ибо полагаю, что он будет тебе не менее полезен, нежели предыдущие. Итак, никогда не оспа-

ривай знатности чьего-либо рода, во всяком случае не сравнивай один род с другим, оттого что при сравнении один род невольно окажется более знатным, и тот, кого ты унизил, возненавидит тебя, тот же, кого ты превознес, ничем тебя не отблагодарит.

Одежда твоя должна состоять из длинных штанов, долгополого камзола и еще более длинного плаща; о шароварах же и не помышляй, ибо шаровары не подходят ни рыцарям, ни губернаторам.

Вот пока и все, о чем мне пришло в голову поговорить с тобою, Санчо. Со временем, глядя по обстоятельствам, я дам тебе новые наставления, ты же постарайся уведомлять меня о состоянии своих дел.

— Сеньор! — заговорил Санчо.— Я отлично понимаю, что ваша милость учит меня вещам благим, святым и полезным, но могут ли они мне пригодиться, раз я их все до одной позабуду? Впрочем, насчет того, чтобы не отращивать ногтей и жениться вторично, если представится случай,— это уж я себе втемяшил, но все прочие хитросплетения, вавилоны и закорючки мне не запомнились, и буду я о них помнить, как о прошлогодних тучах, а потому не мешало бы вам записать все это на бумажке и дать мне; правда, я сам ни читать, ни писать не умею, но я передам бумагу моему духовнику — пусть он по мере надобности твердит и напоминает мне об этом.

— Беда мне с тобой! — воскликнул Дон Кихот.— Как плохо, когда губернатор не умеет ни читать, ни писать! Надобно тебе сказать, Санчо, что если кто не знает грамоте, то это означает одно из двух: либо он из очень скромной или даже совсем простой семьи, либо он сам по себе настолько испорчен и дурен, что на него не могли оказать воздействие ни благой пример, ни благое учение. Это твой большой недостаток; мне бы хотелось, чтобы ты по крайней мере научился подписывать свою фамилию.

— Поставить-то свою подпись я умею,— сказал Санчо.— А затем я всегда могу сделать вид, что у меня отнялась правая рука, и велю кому-нибудь подписываться за меня; все на свете поправимо, кроме одной смерти, а так как я буду там царь и бог, то, стало быть, мое слово — закон. Недаром говорится: у кого папаша — алькальд, тот и на суд идет весело. А ведь я не какой-нибудь там алькальд, а целый губернатор — со мной шутки плохи. Ну-ка попробуй тронь меня: идешь за шерстью — гляди, как бы самого не обстригли, а кого господь возлюбит, того он на дне моря разыщет. И потом: глупые речи богача сходят за мудрые изречения, а ведь я буду богат, коли буду губернатором, и к тому же я намерен быть губернатором щедрым,

а значит, все мои недостатки будут не видны. Нет, мы тоже себе на уме. «Сколько имеешь, столько ты и стоишь»,— говаривала моя бабушка. С человеком великого достатка ссориться не сладко.

— А, чтоб ты пропал, Санчо! — воскликнул тут Дон Кихот.— Шестьдесят тысяч чертей взяли бы тебя со всеми твоими пословицами! Целый час ты ими сыплешь, а для меня это как медленная пытка. Можешь мне поверить, что в один прекрасный день эти пословицы доведут тебя до виселицы. Из-за пословиц тебя низложат твои вассалы, они не потерпят этого и взбунтуются. Скажи, невежда, где ты их берешь и как ты их применяешь, глупец? Ведь для меня вспомнить хотя бы одну пословицу и к месту ее привести — это каторжный труд.

— Ей-богу, хозяин, вы сердитесь из-за сущей безделицы. Черт подери, вам жалко, что я пользуюсь собственным достоянием? А ведь у меня только и достояния и имущества, что пословицы да пословицы. Вот и сейчас вертится у меня на языке сразу несколько, и до того подходят они к нашему разговору — прямо как все равно по мерке сделаны, но только я вам их не скажу: «За благое молчание все тебя будут звать Санчо»*.

Дон Кихот же ему на это возразил:

— Ты — Санчо, да не тот: ты не только не благой молчальник, ты скверный болтун и скверный упрямец. Но все же мне любопытно знать, какие такие пословицы пришли тебе на память и будто бы кстати; я порылся в своей памяти — а ведь она у меня недурная,— но так и не мог припомнить ничего подходящего.

— Да что может быть лучше этих пословиц,— сказал Санчо.— «Гляди-поглядывай: под зуб мудрости пальца не подкладывай», и еще: «Скажут тебе: «А ну подобру-поздорову, и с женой моей чтоб ни полслова!» — ты рот на замок и молчок», и еще: «Плетью обуха не перешибешь». Ну разве они сюда не подходят? Никогда не связывайся с губернатором и ни с каким другим начальником, не то взвоешь, все равно как если подложить палец под зуб мудрости,— впрочем, мудрость не обязательна, все дело в коренном зубе. Затем, что бы губернатор ни сказал, перечить ему нельзя, все равно как если тебе скажут: «А ну подобру-поздорову, и с женой моей чтоб ни полслова!» А насчет плети и обуха — это и слепому ясно. Вот оно как, а кто замечает сучок в глазу ближнего своего, тому не мешает заметить бревно в своем собственном, чтобы про тебя не сказали: «Испугалась покойница убитой». Притом же вашей милости хорошо известно, что дурак в своем доме лучше смекает, нежели умник в чужом.

— Ну уж нет, Санчо,— возразил Дон Кихот,— глупец ни в своем, ни в чужом доме ничего не смекнет по той причине, что

на основе глупости разумного здания не возведешь. И довольно об этом, Санчо: будешь плохо управлять — в ответе ты, а позор на мне. Впрочем, я утешаю себя тем, что сделал все от меня зависящее и постарался наделить тебя советами глубокомысленными и возможно более благоразумными: я исполнил свой долг и свое обещание. Да поможет тебе бог, Санчо, да управляет он тобою в твоем правлении и да утишит он мою тревогу, а тревожусь я о том, как бы ты однажды не полетел вместе со всем своим островом вверх пятами, между тем я мог бы это предотвратить, открыв герцогу, кто ты таков, и объяснив ему, что, несмотря на свою дородность и представительность, ты не что иное, как мешок, набитый пословицами и плутнями.

— Сеньор! — возразил Санчо.— Коли ваша милость думает, что я не гожусь в губернаторы, то я тут же, не сходя с места, сложу с себя это звание, потому малюсенькая частица моей души, величиною с черный кончик ногтя, мне дороже всего моего тела: останусь-ка я просто-напросто Санчо, и на одном хлебе с луком я проживу не хуже губернатора со всеми его куропатками да каплунами, и то сказать: когда мы спим, мы все равны — и начальники и подначальные, и бедные и богатые. И если вы, ваша милость, над этим делом подумаете, то, конечно, вспомните, что сами же вы и толкнули меня на губернаторство, а я во всех этих губернаторствах и островах понимаю, как свинья в апельсине, и если вы полагаете, что из-за губернаторства меня черт схватит, то я предпочитаю как простой Санчо отправиться в рай, нежели губернатором — в ад.

— Ей-богу, Санчо,— сказал Дон Кихот,— я считаю, что за эти последние твои слова тебя можно назначить губернатором тысячи островов. У тебя доброе сердце, а ведь без этого никакая наука впрок не пойдет. Поручи себя господу богу и старайся не уклоняться от первоначального своего решения: я хочу сказать, что ты должен поставить себе за правило и твердо наметить себе цель — добиваться своего в любом деле, а небо всегда споспешествует благим желаниям. Теперь пойдем обедать — полагаю, что хозяева нас уже ждут.

ГЛАВА XXXV

О том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение своим островом и как он начал им управлять

После обеда Дон Кихот занялся изложением в письменном виде тех советов, которые он преподал Санчо, для того чтобы потом кто-нибудь мог таковые ему прочитать; не успел он, одна-

ко ж, вручить ему эту бумагу, как Санчо ее потерял, и она попала в руки герцога, герцог прочитал ее герцогине, и оба вновь подивились помешательству и уму Дон Кихота; далее, продолжая свои затеи, они в тот же вечер отправили Санчо со многочисленною свитою в городок, которому надлежало сойти за остров. Проводником же Санчо до места его назначения оказался домоправитель герцога, человек весьма остроумный и большой забавник (впрочем, неостроумных забав не бывает), тот самый, который изображал Мерлина; и должно заметить, что, обладая таковыми свойствами, да еще будучи научен хозяевами, как должно обходиться с Санчо, он блестяще справился со своею задачею.

Наконец Санчо выехал; его окружала многочисленная свита; на нем был костюм, какой носят важные судейские; верхняя одежда, весьма широкая, была сшита из рыжеватого с разводами камлота*, а на голове у него красовалась такой же материи шапочка; восседал он на муле, а за мулом, по особому распоряжению герцога, шел серый в новенькой шелковой сбруе и соответствующих ослиному его званию украшениях. Время от времени Санчо оглядывался на осла, коего общество доставляло ему такое большое удовольствие, что он не поменялся бы местами с самим императором германским. Прощаясь с герцогом и герцогинею, он поцеловал им руки, а затем попросил своего господина благословить его, и тот благословил его со слезами, Санчо же принял его благословение, вот-вот готовый расплакаться.

Итак, Санчо со всею своею свитою прибыл в городок, насчитывавший до тысячи жителей и являвшийся одним из лучших владений герцога. Санчо Пансе сообщили, что остров называется Баратария*: быть может, название это было образовано от названия городка, а быть может, оно намекало на то, что губернаторство досталось Санчо Пансе дешево. Как скоро губернатор со свитою приблизился к воротам обнесенного стеною города, навстречу вышли местные власти, зазвонили колокола, жители, единодушно изъявлявшие свой восторг, с великою торжественностью повели Санчо в собор, и там было совершено благодарственное молебствие, а засим с уморительными церемониями вручили ему ключи от города и объявили его пожизненным губернатором острова Баратарии. Одеяние, борода, брюшко и низкорослость нового губернатора приводили в изумление не только тех, кто понятия не имел, в чем здесь загвоздка, но даже и людей, осведомленных обо всем, а таких было множество. Наконец из собора Санчо Пансу провели в судебную палату, усадили в кресло, и тут герцогский домоправитель сказал:

— На нашем острове, сеньор губернатор, издревле ведется обычай: кто вступает во владение славным этим островом, тому

задают некоторые вопросы, иногда довольно запутанные и трудные, он же обязан на них ответить, и по его ответам горожане составляют себе мнение о сметливости нового своего губернатора и радуются его прибытию или же, напротив, приунывают.

Пока домоправитель это говорил, Санчо занимался рассматриванием длинной надписи, выведенной крупными буквами на стене прямо против кресла; а так как он читать не умел, то спросил, что это там намалевано. Ему ответили так:

— Сеньор! Там записан и отмечен день, когда ваше превосходительство изволило вступить во владение островом, а гласит эта надпись следующее: «Сегодня, такого-то числа, месяца и года, вступил во владение этим островом сеньор дон Санчо Панса, многие ему лета».

— А кого это зовут *дон Санчо Панса?* — спросил Санчо.

— Вас, ваше превосходительство,— отвечал домоправитель,— на наш остров не прибыло никакого другого Пансы, кроме того, который сейчас восседает на этом кресле.

— Ну так запомни, братец,— объявил Санчо,— что я не *дон* и никто в моем роду не был *доном*: меня зовут просто Санчо Пансою, и отца моего звали Санчо, и Санчо был мой дед, и все были Панса, безо всяких этих *донов* да *распродонов*. И мне сдается, что на вашем острове *донов* куда больше, чем камней. Ну да ладно, господь меня разумеет, и если только мне удастся погубернаторствовать хотя бы несколько дней, я всех этих *донов* повыведу: коли их тут такая гибель, то они, уж верно, надоели всем хуже комаров. А теперь, сеньор домоправитель, задавай скорее свои вопросы, я отвечу на них как могу, а горожане хотят — унывают, хотят — не унывают, это их дело.

В это время в судебную палату вошли два человека: один из них был одет крестьянином, другой был одет портным и держал в руках ножницы; он-то и повел речь:

— Сеньор губернатор! Мы с этим сельчанином явились к вашей милости вот из-за чего: вчера этот молодец пришел ко мне в мастерскую (я портной и, слава тебе господи, мастер своего дела), сует мне в руки кусок сукна и спрашивает: «Сеньор! Выйдет мне колпак из этого куска?» Я прикинул, говорю: «Выйдет». Тут, сдается мне, он, наверно, подумал, и подумал неспроста, что я, конечно, хочу толику малую сукна у него украсть,— либо это он судил по себе, либо уж такая дурная слава идет про портных, и вот он мне и говорит: погляди, мол, не выйдет ли двух колпаков. Я смекнул, что́ он обо мне подумал. «Выйдет»,— говорю. Он же, утвердившись в своей первоначальной и оскорбительной для меня мысли, стал все прибавлять да прибавлять колпаки, а я все: «Выйдет» да «Выйдет», и, наконец, дошли мы до пяти. Нынче он за ними явился, я ему их выдал,

а он отказывается платить за работу, да еще требует, чтобы я ему заплатил или же вернул сукно.

— Так ли все это было, братец? — спросил Санчо.

— Да, сеньор,— подтвердил крестьянин,— но только велите ему, ваша милость, показать все пять колпаков, которые он мне сшил.

— С моим удовольствием,— молвил портной.

Нимало не медля, он высвободил из-под плаща руку, на каждом пальце которой было надето по колпачку, и сказал:

— Вот все пять колпачков, которые мне заказал этот человек, и больше у меня, клянусь богом и совестью, ни клочка сукна не осталось, я готов представить мою работу на рассмотрение цеховых старшин.

Количество колпачков и необычность самой тяжбы насмешили всех присутствовавших, Санчо же, немного подумав, сказал:

— Я полагаю, что нам с этим делом долго задерживаться не приходится: решим его сей же час, как нам подсказывает здравый смысл. И вот каков будет мой приговор: портному за работу не платить ничего, крестьянину сукна не возвращать, колпачки пожертвовать заключенным*, и дело с концом.

Засим к губернатору явились два старика; одному из них трость заменяла посох, другой же, совсем без посоха, повел такую речь:

— Сеньор! Я дал взаймы этому человеку десять золотых — я хотел уважить покорнейшую его просьбу, с условием, однако ж, что он мне их возвратит по первому требованию. Время идет, а я у него долга не требую: боюсь поставить его этим в еще более затруднительное положение, нежели в каком он находился, когда у меня занимал; наконец вижу, что он и не собирается платить долг, ну и стал ему напоминать, а он мало того, что не возвращает, но еще и отпирается, говорит, будто никогда я ему этих десяти эскудо взаймы не давал, а если, дескать, и был такой случай, то он мне их давным-давно возвратил. У меня нет свидетелей ни займа, ни отдачи, да и не думал он отдавать мне долг. Нельзя ли, ваша милость, привести его к присяге? И вот если он и под присягой скажет, что отдал мне деньги, то я его прощу немедленно, вот здесь, перед лицом господа бога.

— Что ты на это скажешь, старикан с посохом? — спросил Санчо.

Старик же ему ответил так:

— Сеньор! Я признаю, что он дал мне взаймы эту сумму,— опустите жезл, ваша милость, пониже. И коли он полагается на мою клятву, то я клянусь в том, что воистину и вправду возвратил и уплатил ему долг.

Губернатор опустил жезл, после чего старик с посохом по-

просил другого старика подержать посох, пока он будет приносить присягу, как будто бы посох ему очень мешал, а затем положил руку на крест губернаторского жезла* и объявил, что ему, точно, ссудили десять эскудо, ныне с него взыскиваемые, но что он их передал заимодавцу из рук в руки, заимодавец же, мол, по ошибке несколько раз потом требовал с него долг. Тогда великий губернатор спросил заимодавца, что тот имеет возразить противной стороне, а заимодавец сказал, что должник, вне всякого сомнения, говорит правду, ибо он, заимодавец, почитает его за человека порядочного и за доброго христианина, что, по-видимому, он запамятовал, когда и как тот возвратил ему десять эскудо, и что больше он их у него не потребует. Должник взял свой посох и, отвесив поклон, направился к выходу; тогда Санчо, видя, что должник как ни в чем не бывало удаляется, а истец покорно на это смотрит, опустил голову на грудь и, приставив указательный палец правой руки к бровям и переносице, погрузился в раздумье, но очень скоро поднял голову и велел вернуть старика с посохом, который уже успел выйти из судебной палаты. Старика привели, Санчо же, увидев его, сказал:

— Дай-ка мне, добрый человек, твой посох, он мне нужен.

— С великим удовольствием,— сказал старик,— нате, сеньор.

И он отдал ему посох. Санчо взял посох, передал его другому старику и сказал:

— Ступай с богом, тебе заплачено.

— Как так, сеньор? — спросил старик.— Разве эта палка стоит десять золотых?

— Стоит,— отвечал губернатор,— а если не стоит, значит, глупее меня никого на свете нет. Сейчас вы увидите, гожусь я управлять целым королевством или не гожусь.

И тут он велел на глазах у всех сломать и расколоть трость. Как сказано, так и сделано, и внутри оказалось десять золотых; все пришли в изумление и признали губернатора за новоявленного Соломона*. К Санчо обратились с вопросом, как он догадался, что десять эскудо спрятаны в этой палке. Санчо же ответил так: видя, что старик, коему надлежало принести присягу, дал подержать посох на время присяги истцу, а поклявшись, что воистину и вправду возвратил долг, снова взял посох, он, Санчо, заподозрил, что взыскиваемый долг находится внутри трости. Отсюда, мол, следствие, что сколько бы правители сами по себе ни были бестолковы, однако вершить суд помогает им, видно, никто, как бог; притом о подобном случае он, Санчо, слыхал от своего священника, память же у него изрядная, и если б только он не имел привычки забывать как раз то, о чем ему подчас нужно бывает вспомнить, то другой такой памяти нельзя было бы сыскать на всем острове. Наконец старик устыженный и

старик удовлетворенный вышли из судебной палаты, оставшиеся были изумлены, тот же, кому было поручено записывать слова, действия и движения Санчо, все еще не мог решить: признавать и почитать Санчо за дурака или же за умника.

ГЛАВА XXXVI,

в коей продолжается рассказ о том, как Санчо Панса вел себя в должности губернатора;

Из залы суда Санчо провели в пышный дворец, в одной из громадных палат коего был накрыт роскошный по-королевски стол; и только Санчо появился в этой палате, как заиграла музыка и навстречу ему вышли четыре лакея, держа наготове все необходимое для омовения рук, каковой обряд Санчо совершил с большим достоинством. Музыка смолкла, и Санчо сел на председательское место; впрочем, никаких других мест за столом и не было, как не было на скатерти никакого другого прибора. Подле Санчо стал какой-то человек с палочкой из китового уса в руке — как выяснилось впоследствии, доктор. Со стола сняли богатейшую белую ткань, накрывавшую фрукты и многое множество блюд со всевозможными яствами. Еще один незнакомец, по виду духовного звания, благословил трапезу, слуга повязал Санчо кружевную салфетку, а другой слуга, исполнявший обязанности дворецкого, на первое подал ему блюдо с фруктами; однако ж не успел Санчо за него взяться, как к блюду прикоснулась палочка из китового уса, и его тут же с молниеносной быстротой убрали со стола. Тогда дворецкий подставил ему другое блюдо. Санчо хотел было отведать кушанья, однако ж, прежде чем он к нему потянулся и распробовал, его уже коснулась палочка, и лакей унес его с таким же точно проворством, как и первое. Санчо пришел в недоумение и, оглядев присутствовавших, спросил, что это значит: хотят ли накормить его обедом или выказать ловкость рук. На это человек с палочкой ответил следующее:

— Сеньор губернатор! Так принято и так полагается обедать на всех островах, где только есть губернаторы. Я, сеньор,— доктор, я состою при губернаторах этого острова и получаю за то жалованье, и уж забочусь я о здоровье губернатора пуще, нежели о своем собственном: я наблюдаю за губернатором денно и нощно, изучаю его сложение, дабы суметь излечить его, когда он заболеет, главная же моя обязанность заключается в том, что я присутствую при его обедах и ужинах, позволяю ему есть только то, что найду возможным, и отвергаю то, что, по моему

разумению, может причинить ему вред и испортить желудок. Так я велел убрать со стола блюдо с фруктами, ибо во фруктах содержится слишком много влаги, и еще одно блюдо я также велел убрать, оттого что оно чересчур горячительно и приправлено всякого рода пряностями, возбуждающими жажду, между тем кто много пьет, тот уничтожает в себе и истощает запас первоосновной влаги, а от нее-то и зависит наша жизнеспособность.

— Стало быть, вон то блюдо с жареными куропатками, на вид отменно вкусное, уж верно, не причинит мне никакого вреда.

Но доктор на это сказал:

— Пока я жив, сеньор губернатор к нему не притронется.

— Это почему же? — спросил Санчо.

Доктор ему ответил:

— Потому что учитель наш Гиппократ*, светоч и путеводная звезда всей медицины, в одном из своих афоризмов говорит: «Всякое объедение вредно, объедение же куропатками* паче других».

— Ну, коли так,— рассудил Санчо,— выберите мне, сеньор доктор, изо всех кушаний, какие есть на столе, самое полезное и наименее вредное, не колотите по нему палочкой и дайте мне его спокойно съесть, потому, клянусь жизнью губернатора, дай бог мне пожить подольше, я умираю с голоду, и что бы вы там ни говорили, сеньор доктор, и хотите вы этого или не хотите, но, отнимая у меня пищу, вы не только не продлите, а скорей укоротите мой век.

— Ваша правда, сеньор губернатор,— заметил доктор,— а потому я полагаю, что вам не должно кушать вон того рагу из кроликов, ибо оно плохо переваривается. Вот этой телятины, если б только это была не жареная телятина, и притом без подливки, вам еще можно было бы отведать, но в таком виде — не советую.

Санчо же сказал:

— А вон там, подальше, стоит большое блюдо, и от него пар валит — мне сдается, что это олья подрида, а в олью подриду кладут много разных вещей, и я, верно уж, найду себе там что-нибудь вкусное и полезное.

— Гоните прочь от себя столь опасные мысли! — воскликнул доктор.— Нет на свете более вредной пищи, чем олья подрида. Пусть ее подают у каноников, у ректоров учебных заведений или же на деревенской свадьбе, но ей не место на обеденном столе губернатора, где все должно быть верхом совершенства и изысканности, не место потому, что простым снадобьям всюду и везде отдают предпочтение перед составными: в простом снадобье ошибиться нельзя, а в составном можно, ибо ничего не

стоит перепутать количество веществ, входящих в его состав. Возвращаясь же к тому, что может сейчас скушать сеньор губернатор, если желает сохранить и укрепить свое здоровье, я скажу: сотню вафель и несколько тоненьких ломтиков айвы — это укрепляет желудок и способствует пищеварению.

Послушав такие речи, Санчо откинулся на спинку кресла, посмотрел на доктора в упор и строгим тоном спросил, как его зовут и где он обучался. Доктор же ему на это ответил так:

— Меня, сеньор губернатор, зовут доктор Педро Нестерпимо де Наука, я уроженец местечка Тиртеафуэра*, что между Каракуэлем и Альмодоваром дель Кампо, только чуть поправей, получил же я степень доктора в университете Осунском*.

Тут Санчо, пылая гневом, вскричал:

— Ну вот что, сеньор доктор Педро Нестерпимо де Докука, уроженец местечка Тиртеафуэра или же Учертанарогера, которое останется вправо, если ехать из Каракуэля в Альмодовар дель Кампо, и получивший степень в Осуне: убирайтесь отсюда вон, а не то, ручаюсь головой, я возьму дубину и, начавши с вас, выгоню с острова всех лекарей, какие только здесь есть, по крайней мере всех тех, которых я признаю за неучей, докторов же умных, толковых и просвещенных я буду беречь как зеницу ока и чтить как святыню. Еще раз повторяю: прочь с глаз моих, Педро Нестерпимо, а не то я схвачу вот это самое кресло, на котором сижу, сломаю его о вашу голову и буду оправдан по суду: я скажу, что убить плохого лекаря, врага всего государства,— это дело богоугодное. А теперь накормите меня или же отберите губернаторство, потому должность, которая не может прокормить того, кто ее занимает, не стоит и двух бобов.

Видя, что губернатор так расходился, доктор оторопел и порешил бежать хотя бы и к *черту на рога*, но в эту минуту на улице загудел почтовый рожок, дворецкий выглянул в окно, а затем, приблизившись к Санчо, объявил:

— Прибыл гонец от сеньора герцога, и, как видно, с важной депешей.

Вошел гонец, потный, встревоженный, и, достав из-за пазухи пакет, вручил его губернатору, Санчо, в свою очередь, тотчас передал его герцогскому домоправителю и велел прочитать адрес; адрес же был таков: «Дону Санчо Пансе, губернатору острова Баратарии, в собственные руки или же в руки его секретаря». Тут Санчо спросил:

— А кто будет мой секретарь?

На это ему один из присутствовавших ответил:

— Я, сеньор: я умею читать и писать.

— Распечатайте пакет и поглядите, что там написано,— молвил Санчо.

Новоиспеченный секретарь повиновался и, прочитав послание, объявил, что это дело секретное. Санчо велел очистить залу, попросив остаться лишь герцогского домоправителя и дворецкого, прочие же, в том числе доктор, удалились, и тогда секретарь огласил письмо следующего содержания:

Мне стало известно, сеньор дон Санчо Панса, что враги мои и Ваши намерены подвергнуть Ваш остров стремительной ночной атаке, когда именно — не знаю, Вам же надлежит бодрствовать и быть на страже, дабы Вас не застали врасплох. Еще я узнал через моих надежных лазутчиков, что четыре злоумышленника, переодевшись, пробрались на Ваш остров с намерением лишить Вас жизни, ибо мудрость Ваша их пугает. Будьте начеку, подвергайте осмотру посетителей Ваших и отказывайтесь от всех кушаний, которые Вам будут предложены. Если Вы будете находиться в опасности, я окажу Вам поддержку, Вы же действуйте, как Вам подскажет Ваше благоразумие. Писано в нашем замке, августа шестнадцатого дня, в четыре часа утра.

Ваш друг

герцог.

Письмо огорошило Санчо, окружающие также, казалось, были изумлены; обратясь же к домоправителю, Санчо сказал:

— Прежде всего нам надлежит, и притом немедленно, упрятать в тюрьму доктора Нестерпимо, потому если кто и собирается меня убить, так это он, и к тому же смертью медленной и наихудшей, сиречь голодной смертью.

— Полагаю, однако ж,— заметил дворецкий,— что вашей милости не должно притрагиваться ни к одному из кушаний, которые стоят на столе: их готовили монахини, а ведь недаром говорится, что за крестом стоит сам дьявол.

— Согласен,— молвил Санчо,— но все-таки дайте мне пока что краюху хлеба и несколько фунтов винограду: в этом отравы быть не может. В самом деле, не могу же я ничего не есть, тем более мы должны быть готовы к предстоящим боям — значит, нам надобно подкрепиться: ведь желудок питает отвагу, а не отвага желудок. Вы же, секретарь, ответьте сеньору герцогу и напишите, что все, что он приказал, будет исполнено именно так, как он приказал, без малейшего упущения. Передайте также сеньоре герцогине, что я целую ей ручки и прошу не забыть послать нарочного к моей жене Тересе Панса с письмом и узелком от меня: этим она окажет мне большую услугу, а уж я ее потом отблагодарю чем только смогу. Заодно, чтобы мой господин Дон Кихот Ламанчский не подумал, что я человек неблагодарный, можете вставить, что я целую ему руки, а к этому

вы, как добрый секретарь, можете прибавить от себя все, что вам вздумается и заблагорассудится. Ну, а теперь пусть уберут со стола и принесут мне чего-нибудь другого, а уж я справлюсь со всеми лазутчиками, убийцами и волшебниками, какие только нападут на меня и на мой остров.

ГЛАВА XXXVII

О том, что случилось с Санчо Пансою, пока он дозором обходил остров

Как скоро тайное совещание по поводу письма герцога окончилось, доктор Педро Нестерпимо возвратился в залу и сказал, что вечером он непременно позволит губернатору поужинать, хотя бы и в нарушение всех предписаний Гиппократовых. Губернатор этим удовлетворился и с великим нетерпением стал ждать, когда наступит вечер и час ужина, и хотя у него было такое чувство, словно время остановилось и с места не двигается, однако долгожданный миг все же настал, и ему подали на ужин тушеную говядину с луком и вареные ножки теленка уже не первой молодости. Санчо отдал всему этому более обильную дань, чем если бы его потчевали миланскими тетерками, римскими фазанами, соррентской телятиной, моронскими куропатками или же лавахосскими гусями, и за ужином он обратился к доктору с такими словами:

— Послушайте, сеньор доктор! Впредь не должно стараться угощать меня тонкими блюдами и изысканными кушаньями, это только расстроит мой желудок: ведь он привык к козлятине, к говядине, к свинине, к ветчине, к репе и к луку, и ежели вы станете пичкать его всякими придворными блюдами, то они ему не понравятся, а от иных его тошнить будет. Принес бы мне лучше дворецкий так называемой ольи подриды, то есть упрелых овощей, и чем больше в ней этой самой прели, тем приятней от нее запах, и дворецкий может напихать туда и намешать чего угодно, лишь бы только это было съедобное, а я его за это поблагодарю и когда-нибудь награжу, а вот издеваться над собой я никому не позволю, иначе у нас дело на лад не пойдет. Давайте-ка все жить и кушать в мире и согласии. Чего мы с вами не поделили? Я так буду управлять этим островом, чтобы податей не прощать, но и взяток не вымогать, а вы у меня будьте тише воды, ниже травы, потому, должно вам знать, мы за себя постоим и в случае чего натворим чудес. Глядишь, на зверя-то как раз и ловец прибежит.

— Разумеется, сеньор губернатор,— сказал дворецкий,—

ваша милость совершенно права, и я от имени всех жителей нашего острова даю обещание, что мы будем служить вам со всем возможным усердием, любовью и добросовестностью, ибо тот мягкий способ правления, коего ваша милость стала придерживаться с самого начала, не дает нам оснований не только сотворить, но даже замыслить что-либо вашей милости неугодное.

— Надеюсь,— заметил Санчо,— дураки бы вы были, если б что-либо подобное сотворили или же замыслили. Стало быть, я еще раз повторяю: не забудьте насчет пропитания для меня и для моего серого, изо всех дел это самое важное и неотложное, а в установленный час мы пойдем с вами в обход: я хочу очистить остров от всякой дряни — от побродяг, лодырей и шалопаев. Надобно вам знать, друзья мои, что праздношатающийся люд в государстве — это все равно что трутни в улье, которые пожирают мед, собранный пчелами-работницами. Я намерен оказывать покровительство крестьянам, охранять особые права идальго, награждать людей добродетельных, а самое главное — относиться с уважением к религии и оказывать почет духовенству. Ну как, друзья? Правильно я говорю или же сбрендил?

— Вы так говорите, сеньор губернатор,— отвечал домоправитель герцога,— что я, право, удивляюсь: такой неграмотный человек, как вы, ваша милость,— сколько мне известно, вы ведь грамоте совсем не знаете,— и вдруг говорит столько назидательных и поучительных вещей! Ни те, кто нас сюда послал, ни мы сами никак не могли от вас ожидать такой рассудительности. Каждый день приносит нам что-нибудь новое: начинается дело с шутки — кончается всерьез, хотел кого-нибудь одурачить — глядь, сам в дураках остался.

Итак, наступил вечер, и с дозволения сеньора доктора Нестерпимо губернатор отужинал. Затем был наряжен дозор; вместе с губернатором отправились в обход домоправитель, секретарь, дворецкий, летописец, коему было поручено заносить деяния Санчо на скрижали истории, и целый отряд альгуасилов* и судейских; Санчо с жезлом в руке преважно шествовал посредине. И вот, когда они уже прошли несколько улиц, послышался лязг скрещивающихся сабель; все бросились в ту сторону и увидели, что дерутся всего лишь два человека, каковые, завидев представителей власти, прекратили драку, а один из них воскликнул:

— Именем бога и короля! Что же это за безобразие творится в нашем городе: нападают прямо посреди улицы и грабят при всем честном народе!

— Успокойся, добрый человек,— молвил Санчо,— и расскажи мне, из-за чего вы повздорили. Я — губернатор.

Тут вмешалась противная сторона:

— Сеньор губернатор! Я вам все расскажу возможно короче. К сведению вашей милости, этот господин только что выиграл в игорном доме, вон в том, что напротив, более тысячи реалов, и одному богу известно, каким образом. Я при сем присутствовал и в ряде сомнительных случаев, хотя и против совести, присуждал в его пользу. Он огреб свой выигрыш, и я надеялся, что получу от него магарыч хотя бы в размере одного эскудо: это уж так принято и так заведено — вознаграждать столь важных лиц, каков я, следящих за правильностью ходов, содействующих беззакониям и предотвращающих ссоры, а он спрятал деньги и ушел. Я разозлился, догнал его и в самых нежных и учтивых выражениях попросил подарить мне хотя бы восемь реалов, а ведь он знает, что я человек честный и что я должности никакой не занимаю и доходов ниоткуда не получаю, ибо родители мои ничему меня не учили и ничего мне не оставили, но этот мошенник не пожелал мне дать более четырех реалов. Подумайте, сеньор губернатор, какое бесстыдство и какая наглость! Честное слово, ваша милость, если б вы не подоспели, я бы у него выигрыш из горла вырвал, я бы его привел в разум!

— А ты что на это скажешь? — спросил Санчо.

Тот ответил, что противная сторона говорит правду и что он, точно, не хотел давать более четырех реалов, потому что это, мол, уже не в первый раз; далее он заметил, что людям, ожидающим магарыча, надлежит быть вежливыми и с веселым видом брать, что дают, торговаться же с теми, кто остался в выигрыше, им не подобает, если только они не вполне уверены, что это шулеры и что их выигрыш — выигрыш нечестный; а что он, игрок, не пожелал одарять вымогателя, это, мол, и есть лучшее доказательство, что он человек порядочный, а не жулик, как уверяет тот, ибо шулеры — вечные данники таких вот соглядатаев, которые знают за ними, что они передергивают карту.

— То правда,— подтвердил домоправитель.— Сеньор губернатор! Мы ждем ваших указаний, что нам делать с этими людьми.

— С этими людьми надобно сделать вот что,— объявил Санчо.— Ты, который выиграл,— все равно, честно, нечестно или ни так, ни эдак,— ты сей же час выдашь этому драчуну сто реалов, а еще тридцать реалов пожертвуешь на заключенных. Ты же, что должности не занимаешь и доходов не получаешь, а только небо коптишь, бери скорей сто реалов и, самое позднее, завтра утром отправляйся с нашего острова в изгнание на десять лет, а нарушишь мою волю — будешь отбывать свой срок на том свете, потому я собственноручно повешу тебя на столбе, в крайнем же случае это сделает палач по моему повеле-

нию. И ни тот, ни другой не смейте мне перечить, а то я вас!

Первый противник вынул деньги, второй их взял, один отправился в изгнание, другой пошел домой, а губернатор сказал:

— Во что бы то ни стало закрою все игорные дома.

В это время к ним приблизился полицейский, тащивший за руку какого-то парня, и сказал:

— Сеньор губернатор! Этот молодчик шел нам навстречу, но, завидев полицию, круто повернул и бросился наутек — так поступают одни преступники. Я побежал за ним, однако ж, если б он не споткнулся и не полетел, нипочем бы мне его не догнать.

— Ты чего, молодец, бежал? — спросил Санчо.

Парень же ему на это ответил так:

— Сеньор! Полиция имеет обыкновение долго расспрашивать, а мне не хотелось отвечать.

— Чем ты занимаешься?

— Я ткач.

— Что же ты ткешь?

— С дозволения вашей милости, наконечники для копий.

— Ба, да ты шутник! Зубоскальством, стало быть, промышляешь? Добро! А куда это ты направлялся?

— Проветриться, сеньор.

— А где же у вас тут, на острове, проветриваются?

— А где ветер дует.

— Хорошо! Ты за словом в карман не лезешь. Сейчас видно умного малого, но только представь себе, что ветер — это я, и дую я тебе прямо в спину и подгоняю прямо к самой тюрьме. А ну возьмите его и отведите! Пусть-ка он эту ночку поспит в тюрьме и на сей раз обойдется без проветривания.

— Ей-богу, ваша милость, вам легче сделать меня королем, нежели заставить спать в тюрьме! — возразил парень.

— Это почему же я не заставлю тебя спать в тюрьме? — спросил Санчо.— Не властен я, что ли, в любую минуту схватить тебя или же отпустить?

— Как ни велика власть вашей милости,— возразил парень,— а все-таки вы меня не заставите спать в тюрьме.

— Как так нет? — вскричал Санчо.— Отведите его в тюрьму — там он живо поймет, что заблуждался, буде же начальник тюрьмы в корыстных целях окажет ему снисхождение и дозволит хотя на шаг от тюрьмы отойти, я на того начальника наложу пеню в две тысячи дукатов.

— Шутить изволите,— заметил парень.— Не родился еще на свет такой человек, который заставил бы меня спать в тюрьме.

— Говори же, черт ты этакий! — вскричал Санчо.— Да кто тебя, ангел, что ли, выведет из тюрьмы и разобьет кандалы, которые я велю на тебя надеть?

К стр. 443

— Вот что, сеньор губернатор, давайте вникнем в суть дела,— с очаровательною приятностью заговорил юноша.— Положим, ваша милость велит препроводить меня в тюрьму, там на меня наденут кандалы и цепи — и под замок, а начальник тюрьмы во избежание суровой кары исполнит ваш приказ и не выпустит меня,— все равно, если я не пожелаю спать и всю ночь не сомкну глаз, то можете ли вы, ваша милость, со всей своей властью принудить меня заснуть, коль скоро я не желаю?

— Разумеется, что нет,— вмешался секретарь,— малый ловко вывернулся.

— Значит,— спросил Санчо,— ты не стал бы спать потому, что тебе просто не хочется, а не для того, чтобы мне противодействовать?

— У меня и в мыслях того не было, сеньор,— отвечал парень.

— Ну, тогда иди с богом,— рассудил Санчо,— иди домой спать, пошли тебе господь приятных снов, я же лишать тебя сна не намерен, но только вперед советую с властями не шутить, а то нарвешься еще на кого-нибудь, так тебя за такие шуточки по головке не погладят.

Парень удалился, и на сем обход острова кончился, по прошествии же двух дней кончилось и самое губернаторство, а с ним вместе рухнули и разлетелись все планы Санчо, как то будет видно из дальнейшего.

ГЛАВА XXXVIII,

в коей повествуется о том, как паж герцогини доставил письмо Тересе Панса, жене Санчо Пансы

Между тем герцогиня отправила того самого пажа, который изображал Дульсинею и требовал, чтобы его расколдовали (о чем Санчо Панса за всякими государственными делами успел начисто позабыть), к жене Санчо, Тересе Панса, с письмом от ее мужа, с письмом от себя и с большой ниткой великолепных кораллов в виде подарка. Паж, юноша толковый, сообразительный и услужливый, с превеликой охотой туда поехал; подъезжая к селу, он окликнул женщин, собравшихся во множестве у ручья и полоскавших белье, и спросил, где живет женщина по имени Тереса Панса, жена некоего Санчо Пансы, оруженосца рыцаря, который именует себя Дон Кихотом Ламанчским; услышав этот вопрос, одна из девчонок, полоскавших белье, подняла голову и ответила:

— Тереса Панса — это моя мать, помянутый вами Санчо —

это мой батюшка, помянутый же вами рыцарь — это наш господин.

— В таком случае, девушка,— молвил паж,— проводи меня к своей матушке: я везу ей письмо и подарок от вышеупомянутого твоего батюшки.

— С превеликим удовольствием, государь мой,— объявила девица, коей на вид можно было дать лет четырнадцать.

Белье она оставила на подругу и, не обувшись и не подобравши волос, как была, босая и растрепанная, подскочила к пажу и сказала:

— Поезжайте прямо, ваша милость, наш дом — крайний, матушка сейчас дома, и уж очень она убивается, что от батюшки давно нет никаких вестей.

— Зато я привез такие добрые вести,— подхватил паж,— что твоей матушке надобно благодарить бога.

Девчонка вприпрыжку и вприскочку пустилась домой и еще с порога крикнула:

— Матушка! Иди сюда, скорей, скорей! К нам едет какой-то сеньор и везет письма и разные вещицы от моего батюшки.

На крик вышла ее мать, Тереса Панса, с мотком пряжи в руке. Она не производила впечатления старухи, хотя сейчас было видно, что ей пошло на пятый десяток; впрочем, это была крепкая, до сих пор еще статная, здоровая и загорелая женщина; увидев свою дочь и пажа на коне, она спросила:

— Что такое, дочка? Кто этот сеньор?

— Покорный слуга сеньоры доньи Тересы Панса,— отвечал гонец.

Он мигом соскочил с коня и весьма почтительно опустился на колени перед сеньорой Тересой.

— Пожалуйте ваши ручки, сеньора донья Тереса,— продолжал паж,— дабы я облобызал их вам, как законной собственной супруге сеньора дона Санчо Пансы, верховного губернатора острова Баратарии.

— Ах, государь мой, полно, оставьте! — заговорила Тереса.— Ведь я не придворная дама, я бедная крестьянка, дочь простого хлебопашца и жена странствующего оруженосца, а вовсе не какого-то там губернатора.

— Ваша милость,— возразил паж,— является достойнейшею супругою наидостойнейшего губернатора, и в доказательство вот вам, ваша милость, письма и подарок.

Тут он достал из кармана нитку кораллов с золотыми застежками и, надев ее на шею Тересе, продолжал:

— Это письмо — от сеньора губернатора, а другое вместе с кораллами просила вам передать сеньора герцогиня, которая и послала меня к вашей милости.

Тереса обомлела, дочка ее также; наконец девочка сказала:

— Убейте меня, если во всем этом не замешан наш господин сеньор Дон Кихот; уж верно, это он пожаловал отцу то ли губернаторство, то ли графство — ведь он ему столько раз его обещал.

— Так оно и есть,— подтвердил паж,— благодаря заслугам сеньора Дон Кихота сеньор Санчо в настоящее время назначен губернатором острова Баратарии, как то будет видно из письма.

— Прочтите мне письмо, ваша честь,— попросила Тереса,— прясть-то я мастерица, а вот насчет чтения — ни в зуб толкнуть.

— Я тоже,— сказала Марисанча.— Погодите, я сейчас позову какого-нибудь грамотея: либо самого священника, либо бакалавра Самсона Карраско — они с радостью придут, им, уж верно, захочется узнать про батюшку.

— Не к чему их звать,— возразил паж.— Я, правда, не умею прясть, зато читать умею и прочту вам письмо.

И он его, точно, прочел от начала до конца, но так как оно было уже приведено, то здесь мы его не помещаем, а затем он извлек из кармана письмо от герцогини вот какого содержания:

Друг мой Тереса! Отличные свойства души и ума супруга Вашего Санчо подвигнули меня и принудили попросить мужа моего герцога, чтобы он назначил его губернатором одного из бесчисленных своих островов. До меня дошли сведения, что это сущий орел, а не губернатор, чему я и, само собой разумеется, мой муж герцог весьма рады. Я горячо благодарю бога, что не ошиблась в выборе губернатора, ибо да будет Вам известно, сеньора Тереса, что хорошие правители редко встречаются на свете, Санчо же так хорошо управляет, что дай бог мне самой быть такой же хорошей.

Посылаю Вам, моя милая, нитку кораллов с золотыми застежками; я бы с большим удовольствием подарила Вам перлы Востока, ну чем богаты, тем и рады. Со временем мы с Вами познакомимся и подружимся; впрочем, все в воле божией. Кланяйтесь от меня Вашей дочке Марисанче и скажите, чтобы она была готова: в один прекрасный день я ее выдам за какого-нибудь знатного человека.

Я слышала, что края Ваши обильны крупными желудями: пришлите мне десятка два, мне они будут особенно дороги тем, что их собирали Вы; напишите мне подробно, как Вы себя чувствуете и как поживаете; если же в чем-либо терпите нужду, то Вам стоит лишь слово сказать, и все будет по слову Вашему. Засим да хранит вас господь.

Писано в моем замке.

Любящий Вас друг

герцогиня.

— Ах,— вскричала Тереса после того, как письмо было оглашено,— какая же это добрая, простая и скромная сеньора! С такими сеньорами можно жить душа в душу, это не то что наши дворянки, которые воображают, что коли они дворянки, так уж на них чтоб и пылинки не садились, а когда в церковь идут, до того спесивятся — право, подумаешь, королевы; взглянуть на крестьянку — и то уж, кажется, для них позор, а тут глядите, какая милая сеньора: сама — герцогиня, а меня называет своим другом и пишет ко мне, как к ровне, и за это дай бог ей сравняться с самой высокой колокольней во всей Ламанче. А желудей, государь мой, я пошлю ее светлости цельную меру, и уж каких крупных: всем на погляденье и на удивленье. А пока что, дочка, поухаживай за сеньором, пригляди за его конем, принеси из сарая яичек, да сала нарежь побольше — уж попотчуем его по-княжески, он это заслужил: больно хорошие вести нам привез, да и собой хорош, а я той порой сбегаю к соседкам, поделюсь с ними своей радостью, а потом к нашему священнику и к цирюльнику, они всегда были друзьями твоему отцу, друзьями и остались.

— Слушаю, матушка,— сказала Марисанча,— но только чур: половину ожерелья мне,— сеньора герцогиня, уж верно, не такая дура, чтобы все ожерелье послать тебе одной.

— Оно все твое будет, дочка,— сказала Тереса,— дай мне только несколько дней его поносить, у меня, честное слово, сердце прыгает от радости, когда я на него гляжу.

— Вы обе не меньше обрадуетесь,— подхватил паж,— когда заглянете вот в этот дорожный мешок: там лежит отличного сукна кафтан, губернатор только раз надевал его на охоту, а теперь посылает сеньоре Марисанче.

— Дай бог, чтобы он служил мне тысячу лет,— молвила Марисанча,— а тому, кто его привез, желаю прожить столько же, а коли будет охота, так не одну, а две тысячи лет.

Засим Тереса, с ожерельем на шее, выскочила из дому и побежала, постукивая пальцами по письмам, словно это был бубен; случайно встретились ей священник и Самсон Карраско, и тут она начала приплясывать и приговаривать:

— Нынче и на нашей улице праздник! Мы теперь губернаторы! Не верите — приведите сюда самую что ни на есть важную птицу из дворянок, я и ей утру нос!

— Что это значит, Тереса Панса? Что это за дурачество и что это за бумаги у тебя в руках?

— Никакие это не дурачества, а в руках у меня письма от герцогинь и губернаторов, на шее — отменные кораллы, и сама я — губернаторша.

— Бог знает что ты говоришь, Тереса, мы отказываемся тебя понимать.

— А ну, поглядите,— сказала Тереса.

И с этими словами она протянула им письма. Священник прочел их вслух Самсону Карраско, затем они в изумлении переглянулись, а бакалавр спросил, кто привез эти письма. Тереса предложила им пойти к ней и посмотреть на гонца: это, мол, не парень, а золото, и привез, дескать, он ей еще один подарок, коему цены нет. Священник снял с ее шеи ожерелье, рассмотрел его со всех сторон и, удостоверившись, что это настоящие кораллы, снова пришел в изумление и сказал:

— Клянусь моим саном, я не знаю, что сказать и что подумать об этих письмах и об этих подарках: я вижу и осязаю настоящие кораллы и вместе с тем читаю, что какая-то герцогиня просит прислать ей два десятка желудей.

— Вот тут и разберись! — заметил со своей стороны Карраско.— Ну что ж, пойдемте познакомимся с посланцем: может статься, он выведет нас из затруднения.

На том они и порешили, и Тереса повела их к себе домой. Когда они вошли, паж просеивал овес для своего коня, а девочка резала сало для яичницы, чтобы покормить гостя, коего наружность и наряд произвели благоприятное впечатление на священника и бакалавра; они учтиво поклонились ему, он — им, и тогда Самсон спросил, что слышно о Дон Кихоте и о Санчо Пансе: они, дескать, прочитали письма Санчо и сеньоры герцогини, но все же находятся в недоумении и не могут постигнуть, какое такое у Санчо губернаторство, да еще на острове, меж тем как все или почти все острова на Средиземном море принадлежат его величеству. Паж ему на это ответил так:

— Что сеньор Санчо Панса — губернатор, это никакому сомнению не подлежит. Где именно он губернаторствует: на острове или же еще где — в это я не вникал. Довольно сказать, что в его ведении находится город, насчитывающий более тысячи жителей. Что касается желудей, то сеньора герцогиня — такая простая и до того не гордая...

Одним словом, попросить у крестьянки желудей — это она, дескать, ни во что не ставит, ей даже случалось посылать в ближнее село с просьбой дать ей на время гребень.

— Надобно вам знать, ваши милости, что даже самые знатные дамы у нас в Арагоне совсем не так чванливы и надменны, как в Кастилии: с людьми они обходятся — проще нельзя.

От священника и бакалавра не могло укрыться, что паж потешается, однако с его шутками никак не вязались подлинность кораллов и охотничий наряд, который Тереса уже успела им показать, а нижеследующие речи Тересы их насмешили:

— Сеньор священник! Сделайте милость, узнайте, не едет ли кто из нашей деревни в Мадрид или же в Толедо: я хочу попро-

сить купить мне круглые, всамделишные фижмы, и чтоб самые лучшие и по последней моде. Право же, я должна по силе-возможности блюсти честь своего мужа губернатора. А то в один прекрасный день разозлюсь и сама поеду в столицу, да еще карету заведу, чтоб все было как у людей.

— Дай тебе бог, матушка, поскорей ее завести,— сказала Марисанча,— а там пусть про меня говорят, когда я буду разъезжать вместе с моей матушкой, госпожой губернаторшей: «Ишь ты, такая-сякая, грязная мужичка, расселась, развалилась в карете, словно папесса!» Ничего, пусть себе шлепают по грязи, а я — ноги повыше и буду себе раскатывать в карете. Наплевать мне на все злые языки, сколько их ни есть: мне бы в тепло да в уют, а люди пусть что хотят, то плетут. Верно я говорю, матушка?

— Уж как верно-то, дочка! — сказала Тереса.— И все эти наши радости и даже кое-что еще почище добрый мой Санчо мне предсказывал. Вот увидишь, дочка: я еще и графиней буду, удачи — они уж так одна за другой и идут. Я много раз слыхала от доброго твоего отца, а ведь его можно также назвать отцом всех поговорок: дали тебе коровку — беги скорей за веревкой, дают губернаторство — бери, дают графство — хватай, говорят: «На, на!» — и протягивают славную вещицу — клади в карман. А коли не хочешь — спи и не откликайся, когда счастье и благополучие стучатся в ворота твоего дома!

— И какое мне будет дело до того, что́ обо мне говорят, когда уж я заважничаю и зазнаюсь? — вставила Марисанча.— Дайте псу в штаны нарядиться, он с собаками не станет водиться.

Послушав такие речи, священник сказал:

— По-видимому, в семье Панса все так и рождаются с мешком пословиц: я не знаю ни одного из них, кто бы не сыпал присловьями в любое время и при каждом случае.

— Справедливо,— заметил паж.— Сеньор губернатор Санчо также все время говорит пословицами, и хотя не все приходятся к месту, однако же удовольствие доставляют неизменно, и герцог с герцогиней весьма их одобряют.

— Итак, государь мой,— заговорил бакалавр,— вы продолжаете утверждать, что Санчо и точно губернатор и что есть на свете такая герцогиня, которая пишет письма его жене и шлет ей подарки? Между тем, хотя мы и ощупывали эти подарки и читали письма, нам, однако ж, не верится, и мы полагаем, что все это выдумки нашего земляка Дон Кихота: ведь он убежден, что с ним все происходит по волшебству. Так вот, мне бы, собственно говоря, хотелось ощупать и потрогать вас, чтобы удостовериться, кто вы таков: призрачный посол или человек с кровью в жилах.

— На это я могу вам только сказать, сеньоры,— отвечал паж,— что я посол настоящий, что сеньор Санчо Панса подлинно губернатор, что мои господа, герцог и герцогиня, имели возможность пожаловать и в самом деле пожаловали ему губернаторство и что, как я слышал, помянутый Санчо Панса управляет им на славу, а уж есть ли тут что-нибудь сверхъестественное или нет — судите, ваши милости, сами, я же ничего больше не знаю и клянусь в том не чем иным, как жизнью моих родителей, а они у меня еще живы, и я их люблю и почитаю.

— Может, это и так,— сказал бакалавр,— а все же невольно берет сомнение.

— Сомневайтесь, если хотите,— заметил паж,— а только все, что я сказал,— правда, и правда всегда всплывает над ложью, как масло над водою. Пусть кто-нибудь из вас поедет со мной, и глаза его увидят то, чему не верят его уши.

— Нет, уж лучше я поеду,— объявила Марисанча.— Посадите меня, сеньор, на круп вашего коня: мне, мочи нет, хочется повидаться с батюшкой.

— Губернаторским дочкам не подобает ездить одним, без великого множества слуг, без карет, без носилок.

— Ей-богу, мне все равно: что верхом на ослице, что в карете,— возразила Марисанча.— Вот уж я нисколечко не разборчивая!

— Молчи, дочка,— сказала Тереса,— ты сама не знаешь, что говоришь, сеньор молвил справедливо. Времена меняются: когда отец твой — просто Санчо, так и ты — Марисанча, а когда он губернатор, так ты — сеньора. Кажется, я верно рассудила.

— Сеньора Тереса рассуждает даже вернее, чем это ей кажется,— заметил паж.— Дайте же мне поесть и отпустите, я намерен возвратиться еще дотемна.

Тут священник ему сказал:

— Прошу покорно вашу милость со мной откушать, а то сеньора Тереса при всем желании вряд ли сможет как следует попотчевать такого дорогого гостя.

Паж сначала отказался, но в конце концов рассудил, что так будет лучше, и священник повел его к себе, радуясь возможности расспросить гонца на досуге о Дон Кихоте и его деяниях.

Бакалавр предложил Тересе написать за нее ответные письма, однако же ей не хотелось, чтобы бакалавр совался в ее дела, ибо она знала его за насмешника, а посему она отнесла хлебец и пару яичек грамотному церковному служке, и тот написал ей два письма: одно — к мужу, другое — к герцогине, на каковых письмах лежит печать Тересиного благоразумия, и из тех, какие в великой этой истории приводятся, они отнюдь не самые худшие, что́ будет видно из дальнейшего.

ГЛАВА XXXIX

О том, как Санчо Панса губернаторствовал далее, а равно и о других поистине славных происшествиях

День сменил ту ночь, в которую губернатор обходил свой остров. Когда же сеньор губернатор изволил встать, по распоряжению доктора Педро Нестерпимо ему было предложено на завтрак немного варенья и несколько глотков холодной воды, каковой завтрак Санчо охотно променял бы на ломоть хлеба и гроздь винограда; видя, однако ж, что выбор блюд не от него зависит, он, к великому прискорбию своей души и мучению для своего желудка, покорился и проникся доводами Педро Нестерпимо, утверждавшего, что пища умеренная и легкая способствует оживлению умственной деятельности, в чем особенно нуждаются лица, стоящие у кормила власти и занимающие важные посты, которые требуют не столько сил телесных, сколько духовных.

Несмотря на подобную софистику, Санчо испытывал голод, и при этом столь мучительный, что в глубине души проклинал и губернаторство, и даже того, кто ему таковое пожаловал; отведав варенья и не утолив голода, он, однако, снова начал творить суд, и первым явился к нему некий приезжий и в присутствии домоправителя и всех прочих челядинцев сказал следующее:

— Сеньор! Некое поместье делится на две половины многоводною рекою (прошу вашу милость выслушать меня со вниманием, потому что дело это важное и довольно трудное). Так вот, через эту реку переброшен мост, и тут же, с краю, стоит виселица и находится нечто вроде суда, в коем обыкновенно заседают четверо судей, и судят они на основании закона, изданного владельцем реки, моста и всего поместья и составленного таким образом: «Всякий проходящий по мосту через сию реку долженствует объявить под присягою, куда и зачем он идет, и кто скажет правду, тех пропускать, а кто солжет, тех без всякого снисхождения отправлять на находящуюся тут же виселицу и казнить». С того времени, когда этот закон во всей своей строгости был обнародован, многие успели пройти через мост, и как скоро судьи удостоверялись, что прохожие говорят правду, то пропускали их. Но вот однажды некий человек, приведенный к присяге, поклялся и сказал: он-де клянется, что пришел затем, чтобы его вздернули вот на эту самую виселицу, и ни за чем другим. Клятва эта привела судей в недоумение, и они сказали: «Если позволить этому человеку беспрепятственно следовать дальше, то это будет значить, что он нарушил клятву и согласно закону повинен смерти; если же мы его повесим, то ведь он клялся, что пришел только затем, чтобы его вздернули

на эту виселицу, следственно, клятва его выходит не ложна, и на основании того же самого закона надлежит пропустить его». И вот я вас спрашиваю, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком,— они до сих пор недоумевают и колеблются. Прослышав же о благородном и остром уме вашей милости, они послали меня, дабы я от их имени обратился к вам с просьбой высказать свое мнение по поводу этого запутанного и неясного дела.

Санчо ему на это ответил так:

— Честное слово, господа судьи смело могли не посылать тебя ко мне, потому я человек скорее тупой, нежели острый, однако ж, со всем тем, изложи мне еще раз это дело, дабы я схватил его суть: глядишь, и попаду в цель.

Проситель рассказал все с самого начала, и тогда Санчо вынес свое суждение:

— Я, думается мне, решил бы это дело в два счета, а именно: помянутый человек клянется, что пришел затем, чтобы его повесили, если же его повесить, то, стало быть, клятва его не ложна и по закону его надлежит пропустить на тот берег, а коли не повесить, то выходит, что он соврал, и по тому же самому закону его должно повесить.

— Сеньор губернатор рассудил весьма толково,— заметил посланный,— лучше понять и полнее охватить это дело просто немыслимо, в этом нет никакого сомнения.

— Так вот, я и говорю,— продолжал Санчо,— ту половину человека, которая сказала правду, пусть пропустят, а ту, что соврала, пусть повесят, и таким образом правила перехода через мост будут соблюдены по всей форме.

— В таком случае, сеньор губернатор,— возразил посланный,— придется разрезать этого человека на две части, на правдивую и на лживую; если же его разрезать, то он непременно умрет, и тогда ни та, ни другая статья закона не будут исполнены, между тем закон требует, чтобы его соблюдали во всей полноте.

— Послушай, милейший,— сказал Санчо,— может, я остолоп, но только, по-моему, у этого твоего прохожего столько же оснований для того, чтоб умереть, сколько и для того, чтоб остаться в живых и перейти через мост: ведь если правда его спасает, то, с другой стороны, ложь осуждает его на смерть, а коли так, то вот мое мнение, которое я и прошу передать сеньорам, направившим тебя ко мне: коль скоро оснований у них для того, чтобы осудить его, и для того, чтобы оправдать, как раз поровну, то пусть лучше они его пропустят, потому делать добро всегда правильнее, нежели зло. И все, что я сейчас сказал, это я не сам придумал, мне пришел на память один из тех многочисленных советов, которые я услышал из уст моего господина Дон

Кихота накануне отъезда на остров, то есть: в сомнительных случаях должно внимать голосу милосердия, и вот, слава богу, я сейчас об этом совете вспомнил, а он как раз подходит к нашему делу.

— Так,— молвил домоправитель,— я уверен, что сам Ликург, давший законы лакедемонянам, не вынес бы более мудрого решения, нежели великий Панса. На этом мы закончим утреннее наше заседание, и я немедленно распоряжусь, чтобы сеньору губернатору принесли на обед все, что он сам пожелает.

— Того-то мне и надобно, скажу вам по чистой совести,— объявил Санчо.— Дайте мне только поесть, а там пусть на меня сыплются всякие темные и запутанные дела — я их живо разрешу.

Домоправитель слово свое сдержал: ему не позволяла совесть морить голодом столь рассудительного губернатора, тем более что по замыслу его господина ему оставалось сыграть с Санчо последнюю шутку, и на этом он намеревался покончить. И вот случилось так, что, когда Санчо, наевшись вопреки всем правилам и наставлениям доктора Учертанарогеры, вставал из-за стола, явился гонец с письмом от Дон Кихота к губернатору. Санчо велел секретарю прочесть его прежде про себя, и если в письме не окажется ничего секретного, то огласить его. Секретарь так и сделал и, пробежав письмо, сказал:

— Это письмо можно прочитать вслух, ибо все, что сеньор Дон Кихот пишет вашей милости, достойно быть начертанным и записанным золотыми буквами. Вот о чем тут идет речь:

Я ожидал услышать о твоих оплошностях и упущениях, друг Санчо, а вместо этого услышал о твоем остроумии, за что и вознес особые благодарения господу богу, который из праха поднимает бедного, а глупца превращает в разумного. Меня уведомляют, что ты правишь, как настоящий человек, но что, будучи человеком, ты смирением своим напоминаешь тварь бессловесную; и, однако ж, надобно тебе знать, Санчо, что во многих случаях приличествует и даже необходимо ради упрочения своей власти поступать наперекор смирению своего сердца, потому что особе, занимающей видную должность, надлежит поставить себя сообразно высокому своему положению и не слушаться того, что ей подсказывает ее худородность. Одевайся хорошо, потому что и дубина, если ее разукрасить, перестает казаться дубиной. Из этого не следует, что тебе подобает увешиваться побрякушками и франтить и что, будучи судьею, ты обязан наряжаться как военный,— тебе надлежит одеваться, как того требует занимаемое тобою положение, а именно: чисто и опрятно.

Чтобы снискать любовь народа, коим ты управляешь, тебе,

между прочим, надобно помнить о двух вещах: во-первых, тебе надлежит быть со всеми приветливым (впрочем, об этом я уже с тобой говорил), а во-вторых; тебе следует заботиться об изобилии съестных припасов, ибо ничто так не ожесточает сердца бедняков, как голод и дороговизна.

Не издавай слишком много указов, а уж если задумаешь издать, то старайся, чтобы они были дельными, главное — следи за тем, чтобы их соблюдали и исполняли, ибо когда указы не исполняются, то это равносильно тому, как если бы они не были изданы вовсе; более того: такое положение наводит на мысль, что у правителя достало ума и сознания своей власти, чтобы издать указы, но не достало смелости, чтобы принудить соблюдать их, закон же, внушающий страх, но не претворяющийся в жизнь, подобен чурбану, царю лягушек: вначале он наводил на них страх, но потом они стали презирать его и помыкать им.*

Будь отцом родным для добродетелей и отчимом для пороков. Не будь ни постоянно суров, ни постоянно мягок — выбирай середину между этими двумя крайностями, ибо в среднем этом пути и заключается высшая мудрость. Осматривай тюрьмы, бойни и рынки, ибо посещение губернатором таковых мест — вещь чрезвычайно важная: губернатор утешает узников, надеющихся на скорое окончание их дел, он — пугалище мясников, которые в его присутствии перестают обвешивать, и, по той же причине, он — гроза всех торговок. В случае, если ты корыстолюбец и лакомка (чего я, впрочем, не думаю), то не показывай этого, ибо когда народ и твои приближенные узнают о резко означенной в тебе наклонности, то начнут тебя за это допекать и в конце концов свергнут. Просматривай и пересматривай, продумывай и передумывай те советы и правила, которые я дал тебе в письменном виде накануне твоего отъезда на остров, и коли будешь их соблюдать, то увидишь, какую бесценную помощь окажут они тебе в преодолении тех препятствий и затруднений, которые на каждом шагу перед правителями возникают. Напиши герцогу и герцогине и изъяви им свою признательность, ибо неблагодарность — дочь гордости и один из величайших грехов, какие только существуют на свете; между тем от человека, питающего благодарность к своим благодетелям, можно ожидать, что он выкажет благодарность и господу богу, который столько посылал ему и посылает милостей.

Сеньора герцогиня отправила к твоей жене Тересе Панса нарочного с платьем и с подарком от нее самой; ответа ожидаем с минуты на минуту.

Господь с тобой.

Твой друг
Дон Кихот Ламанчский.

Санчо слушал с особым вниманием, все присутствовавшие похвалили письмо и нашли, что оно очень умно написано, затем Санчо встал и, позвав секретаря, заперся с ним в своем покое, а так как он порешил сей же час, не откладывая, ответить сеньору Дон Кихоту, то велел секретарю записывать слово в слово все, что он, Санчо, будет ему говорить. Секретарь повиновался, и ответное письмо было составлено следующим образом:

Я так занят делами, что у меня нет времени ни почесать в голове, ни даже обрезать ногти, и оттого они у меня такие длинные, что хоть кричи караул. Это я Вам пишу, драгоценнейший мой сеньор, чтобы милость Ваша не беспокоилась, что я до сих пор не уведомил Вас, как мне живется на острове; так вот, голодаю я на этом самом острове больше, чем когда мы с Вами вдвоем плутали по лесам и пустыням.

На днях сеньор герцог писал мне и извещал, что к нам на остров пробрались какие-то лазутчики и хотят меня убить, но до сих пор мне удалось обнаружить только одного, некоего лекаря, которому здесь платят жалованье, чтобы он всех вновь назначаемых губернаторов отправлял на тот свет. Зовут его доктор Педро Нестерпимо, а родом он не то из Тиртсафуэры, не то из Учертанарогеры: одно имя чего стоит, Ваша милость, поневоле будешь бояться, как бы он тебя не уморил! Он сам про себя говорит, что не лечит болезни, а только предупреждает, лекарство же у него одно: диета да диета, пока больной до того исхудает — в чем только душа держится, как будто истощение не вредней горячки! Словом сказать, он морит меня голодом, а я умираю с досады: ведь я думал, когда собирался губернаторствовать, что буду есть горячее, пить прохладительное, нежить свою плоть на голландских простынях да на пуховиках, а приехал — и стал вести такую строгую жизнь: ну ни дать ни взять отшельник, а так как это не по моей доброй воле, то и боюсь я, что в один прекрасный день отправлюсь ко всем чертям.

До сих пор мне еще ни податей не приносили, ни подношений не подносили, и я не могу взять в толк, что бы это значило, потому я здесь кое от кого слыхал, что обыкновенно, когда назначается новый губернатор, то еще до его прибытия на остров жители дарят ему или же ссужают много денег и что обычай этот существует у всех решительно правителей, а не только у здешних.

Рынки я посещаю, как Ваша милость мне советовала, и вчера при мне одна женщина торговала орехами, будто бы свежими, а я доказал, что свежие орехи она мешает со старыми, пустыми и гнилыми; я велел отдать все эти орехи в сиротскую школу —

там разберутся, торговке же воспретил в течение двух недель появляться на рынке. Говорят, что я поступил как должно. К сведению Вашей милости, о торговках в нашем городе идет такая слава, что хуже их никого на свете нет, потому они народ бессовестный, бессердечный и нахальный, и я тоже так думаю: ведь я на них нагляделся в других местах.

Я премного доволен, что сеньора герцогиня написала письмо моей жене Тересе Панса и, как Вы сообщаете, послала ей подарок, и со временем постараюсь отблагодарить ее; поцелуйте ей за меня ручки, Ваша милость, и передайте, что я у нее в долгу не останусь — в этом она убедится на деле.

Если придет письмо от моей жены Тересы Панса, то уплатите, Ваша милость, за доставку и перешлите сюда: мне, мочи нет, хочется узнать, что у меня делается дома, как там жена и дети. Засим да хранит Вас господь от зловредных волшебников, а мне да поможет уйти отсюда добром и с миром, в чем я, однако же, сомневаюсь, ибо, по всей видимости, придется мне на этом самом острове сложить свои кости — так хорошо меня пользует доктор Педро Нестерпимо.

Слуга Вашей милости

губернатор Санчо Панса.

Секретарь запечатал письмо и немедленно отправил гонца в обратный путь, заговорщики же, дурачившие Санчо, собрались и стали между собой совещаться, как бы это им отправить отсюда самого губернатора, а губернатор провел этот день в принятии мер ко улучшению государственного устроения во вверенной ему области, которую он принимал за остров; так, например, он воспретил розничную перепродажу съестных припасов во всем государстве и разрешил ввоз вина откуда бы то ни было, с тою, однако же, оговоркою, что должно быть указываемо место его изготовления и что цена на него должна быть устанавливаема сообразно с его действительной стоимостью, качеством и маркою, тем же продавцам, которые будут уличены в разбавлении вина водою, а равно и в подделке ярлычков, губернатор положил смертную казнь; он снизил цены на обувь, главным образом на башмаки, стоившие, по его мнению, неимоверно дорого; определил размеры жалованья слугам, которые в своем корыстолюбии не знали удержу; установил строгие взыскания для тех, кто — все равно, днем или же ночью,— вздумал бы распевать непристойные и озорные песни; воспретил слепцам петь о чудесах, если только у них нет непреложных доказательств, что чудеса эти подлинно происходили, ибо он держался того мнения, что большинство чудес, о которых поют слепцы, суть чудеса мнимые и

только подрывают веру в истинные; и, наконец, придумал и учредил новую должность — должность альгуасила по делам бедняков, не с тем, однако ж, чтобы преследовать их, а с тем, чтобы проверять, подлинно ль они бедны, а то ведь бывает иной раз и так, что калекою прикидывается вор, у коего обе руки целехоньки, и выставляет напоказ мнимые язвы здоровенный пьяница. Одним словом, он ввел столько улучшений, что они до сего времени не утратили в том краю своей силы и доныне именуются «Законоположениями великого губернатора Санчо Пансы».

ГЛАВА XL

О злополучном конце и исходе губернаторства Санчо Пансы

Между тем Дон Кихот пришел к мысли, что его жизнь в этом замке идет вразрез со всем строем рыцарства, и порешил испросить у герцогской четы дозволение покинуть их кров и направить путь в Барселону, где не в долгом времени должны были состояться празднества, а на этих празднествах он надеялся завоевать себе доспехи, которые в подобных случаях обыкновенно даются в награду. И нужно же было случиться так, что в тот самый день, когда он, сидя за столом вместе с их светлостями, хотел было привести намерение свое в исполнение и попросить дозволения отбыть, двери в большую залу внезапно отворились, и вошел паж, отвозивший письмо и подарки супруге губернатора Санчо Пансы, Тересе Панса; их светлости обрадовались его приезду несказанно, ибо им любопытно было знать, каково-то он съездил; когда же они его о том спросили, он заметил, что в кратких словах, да еще при посторонних, этого не расскажешь, и попросил позволения отложить рассказ до того времени, когда он останется с их светлостями наедине, а пока, мол, пусть они позабавятся письмами. И тут он достал два письма и вручил герцогине. На одном из них было написано: «Письмо к сеньоре герцогине, не знаю, как ее звать», а на другом: «Мужу моему Санчо Пансе, губернатору острова Баратария, дай бог ему прожить дольше, чем мне самой». Герцогине, как говорится, не сиделось на месте — столь сильное любопытство возбуждало в ней письмо Тересы; вскрыв же его и пробежав глазами, она нашла, что его вполне можно прочесть вслух при герцоге и при всех присутствующих, и потому огласила его:

Большую радость доставило мне, государыня моя, письмо Вашей светлости. Нитка кораллов отменно хороша, да и охот-

ничий кафтан моего благоверного ничем не хуже. А что Ваша светлость назначила супруга моего Санчо губернатором, то все наше село очень даже этому радо, хотя все в этом сомневаются, особливо священник, цирюльник маэсе Николас и бакалавр Самсон Карраско, ну, а меня это нимало не трогает: лишь бы так оно все и было, а там пусть себе говорят, что хотят; впрочем, коли уж на то пошло, не будь кораллов и кафтана, я бы и сама не поверила, потому у нас все почитают моего мужа за дуралея, а так как он до сей поры ничем, кроме стада коз, не управлял, то и не могут взять в толк, годен ли он управлять еще чем-либо. Помоги ему бог, пусть потрудится на пользу деткам.

А я, любезная моя сеньора, порешила с дозволения Вашей милости, пока счастье само плывет в руки, отправиться в столицу и покататься в карете, чтоб у завистников моих — а завистников у меня теперь множество — лопнули глаза; вот я и прошу Вашу светлость: скажите моему мужу, чтоб он прислал мне сколько-нибудь деньжат, да особенно не скупился, потому в столице расходы велики: один хлебец стоит реал, а фунт мяса — тридцать мараведи, ведь это просто ужас. А коли он не хочет, чтоб я ехала, то пусть поскорее отпишет, потому меня так и подмывает пуститься в дорогу: подруги и соседки меня уверяют, что коли мы с дочкой, разряженные в пух и прах, важные — не подступись, прикатим в столицу, то скорее я прославлю моего мужа, нежели он меня, потому ведь уж непременно многие станут допытываться: «Что это за сеньоры едут в карете?» А мой слуга в ответ: «Это жена и дочь Санчо Пансы, губернатора острова Баратарии»; так и Санчо моему будет слава, и мне почет, и всем хорошо.

Мочи нет, как мне досадно, что желуди нынешний год у нас не родились, но все-таки посылаю Вашей светлости с полмеры; сама по одному желудю собирала в лесу и своими руками отбирала, да вот беда: покрупней не нашлось, а мне бы хотелось, чтоб они были со страусово яйцо.

Не забудьте, Ваша высокоторжественность, мне отписать, а уж я не премину Вам ответить и отпишу про свое здоровье и про все наши деревенские новости, а пока что молю бога, чтоб он хранил Ваше величие и меня не оставил. Дочка моя и сынок целуют Вашей милости ручки.

Слуга Ваша Тереса Панса, которой
больше хочется повидать Вашу милость,
нежели писать Вам.

Большое удовольствие доставило всем письмо Тересы Панса, особливо их светлости, герцогиня же обратилась к Дон Кихоту с вопросом, почитает ли он приличным вскрыть письмо на имя губернатора, которое, казалось ей, обещает быть прелестным. Дон Кихот сказал, что, дабы угодить присутствующим, он сам готов вскрыть письмо; и он так и сделал и прочитал следующее:

Письмо твое, дорогой ты мой Санчо, я получила и как истинная христианка клятвенно тебя уверяю, что чуть с ума не рехнулась от счастья. Право, миленький, как услыхала я, что ты губернатор, ну, думаю: вот сейчас упаду замертво от одной только радости, а ведь ты знаешь, как это говорится: нежданная радость убивает, как все равно большое горе. А дочка твоя Марисанча от восторга даже обмочилась. Наряд, который ты мне прислал, лежал передо мной, кораллы, которые мне прислала сеньора герцогиня, висели у меня на шее, в руках я держала письма, гонец был тут же, а мне, однако, чудилось и мерещилось, будто все, что я вижу и до чего дотрагиваюсь, это сон и ничего больше. И то сказать: кто бы мог подумать, что козопас вдруг станет губернатором острова? Помнишь, дружочек, что говорила моя мать: «Кто много проживет, тот много и увидит»? Это я к тому, что надеюсь увидеть еще больше, если только суждено мне еще пожить. Нет, правда, я не успокоюсь до тех пор, пока не увижу тебя арендатором либо откупщиком, а кто на таком месте, тот хоть и может угодить к чертям в пекло, коли будет чинить злоупотребления, а без денег все-таки никогда не сидит. Сеньора герцогиня тебе передаст, что мне припала охота съездить в столицу; подумай и отпиши мне, согласен ли ты, а уж я буду там разъезжать в карете и постараюсь тебя не обесславить.

Священник, цирюльник, бакалавр и даже причетник никак не могут поверить, что ты — губернатор, и говорят, что это наваждение или же колдовство, как и все, что касается твоего господина Дон Кихота, а Самсон говорит, что он тебя разыщет и выбьет у тебя из головы губернаторство, из Дон Кихота же повыколотит его сумасбродство, а я на это только посмеиваюсь и знай поглядываю на нитку кораллов да прикидываю, какое платье выйдет из твоего кафтана для нашей дочки.

Послала я сеньоре герцогине немного желудей — уж как бы мне хотелось, чтоб они были золотые! Если у вас на острове носят жемчужные ожерелья, то несколько таких ожерелий пришли мне.

Новости у нас в селе такие: Берруэка выдала свою дочь за какого-то захудалого маляра, который приехал к нам в село

малевать что придется; совет наш заказал ему нарисовать королевский герб над воротами аюнтамьенто, он запросил два дуката, ему дали их вперед, он с неделю провозился, но так ничего и не нарисовал: мне, говорит, столько разных разностей нарисовать не под силу. Деньги вернул, а жениться все-таки женился: успел пыль пустить в глаза, что он хороший мастер; на самом же деле кисти он теперь забросил, взялся за лопату и ходит себе по полю, словно помещик.*

Нынешний год оливки у нас не родились, да и уксусу во всем селе не сыщешь ни капли.

Дочка вяжет кружева, зарабатывает восемь мараведи в день чистоганом и прячет в копилку — собирает на приданое, ну, а как теперь она губернаторская дочка, то и не к чему ей ради этого трудиться: уж ты дашь ей приданое. Фонтан у нас на площади высох; в позорный столб ударила молния; дай бог, чтоб и всем этим столбам был такой же конец.

Жду ответа на это письмо и решения касательно моей поездки в столицу. Засим пошли тебе господь больше лет жизни, чем мне самой, или, лучше, столько же, а то не хотелось бы мне оставлять тебя одного на белом свете.

Твоя жена
Тереса Панса.

Письма эти вызвали восторг, смех, похвалы и удивление, а тут еще в довершение всего явился гонец, тот самый, с которым Санчо послал письмо к Дон Кихоту, и письмо это также было прочитано вслух, после чего глупость губернатора была поставлена под сомнение. Герцогиня увела к себе гонца, чтобы расспросить, как его принимали в деревне Санчо, и тот, ничего не упустив, подробно изложил все обстоятельства; затем он передал герцогине желуди и сыр, который также ей послала Тереса, полагавшая, что сыр тот — чудо как хорош. Герцогиня приняла сыр с величайшим удовольствием, и тут мы ее и оставим, дабы рассказать, чем кончилось губернаторство великого Санчо Пансы, цвета и зерцала островных губернаторов.

Кто думает, что все на земле пребывает в одном и том же состоянии, тот впадает в ошибку; напротив того, нам представляется, что все в мире свершает свой круг, вернее сказать, круговорот: за весною идет лето, за летом осень, за осенью зима, за зимою весна — вот так и движется время, подобно вращающемуся непрестанно колесу, и только жизнь человеческая легче ветра стремится к концу.

Упомянутый Санчо в седьмую ночь своего губернаторства, пресыщенный не хлебом и вином, но судебным разбирательством, вынесением приговоров, составлением уложений и изданием чрезвычайных законов, находился в постели, и сон назло и наперекор голоду уже начинал смыкать его вежды, как вдруг послышались столь шумные крики и столь оглушительный звон колоколов, что можно было подумать, будто остров проваливается сквозь землю. Санчо сел на кровати и весь превратился в слух, пытаясь угадать, какова причина столь великого смятения; однако ж он так и не догадался, напротив того: вскоре к шуму голосов и колокольному звону примешались трубный звук и барабанный бой, и тут Санчо окончательно смешался и преисполнился страха и ужаса; он вскочил, надел туфли, ибо пол в спальне был холодный, и, не успев даже накинуть халат или что-нибудь в этом роде, приблизился к двери и увидел, что по коридору бегут более двадцати человек с горящими факелами и обнаженными шпагами; при этом все они громко кричали:

— К оружию, к оружию, сеньор губернатор! К оружию, несметная сила врагов вторглась на наш остров! Мы погибли, если только ваша находчивость и стойкость нас не спасут!

С этими криками, в неистовстве и смятении толпа добежала до Санчо, пораженного и ошеломленного всем, что он видел и слышал, и, добежав, один из толпы сказал:

— Вооружайтесь, ваше превосходительство, если не хотите погибнуть сами и погубить весь наш остров!

— Да зачем мне вооружаться! — воскликнул Санчо.— Разве я что-нибудь смыслю в вооружении и в обороне? Это дело лучше всего возложить на моего господина Дон Кихота — он бы в один миг с этим покончил и отразил нападение, а я, грешный человек, в такой кутерьме теряю голову.

— Ах, сеньор губернатор! — воскликнул другой.— Уместна ли подобная беспечность? Вооружайтесь, ваша милость, мы вам принесли оружие и доспехи, выходите на площадь, будьте нашим вождем и полководцем, ибо вам, нашему губернатору, по праву принадлежит эта честь.

— Ладно, вооружайте меня,— молвил Санчо.

В ту же минуту были принесены два щита, на сей предмет заранее припасенные, и приставлены к груди и к спине Санчо прямо поверх сорочки, надеть же еще что-либо ему не позволили; руки ему просунули в нарочно для этого проделанные отверстия, а засим накрепко стянули его веревками, так что он был стиснут и зажат и, не имея возможности согнуть ноги в коленях или же ступить шагу, держался прямо, как палка. В руки ему вложили копье, и, чтобы устоять на ногах,

он на него оперся. Когда же он был таким образом облачен в доспехи, ему сказали, чтоб он шел вперед, вел за собой других и поднимал дух войска и что если, дескать, он согласится быть их путеводною звездою, фитилем и светочем, то все окончится благополучно.

— Да как же я, несчастный, пойду,— возразил Санчо,— когда я не могу даже пошевелить коленными чашечками, потому как меня не пускают вот эти доски, которые прямо прилипли к моей коже? Единственно, что вам остается,— это взять меня на руки и вставить стоймя или же наискосок в какую-нибудь калитку, и я буду ее защищать копьем или же собственным телом.

— Идите, сеньор губернатор,— сказал кто-то из толпы,— вас не пускают не столько доски, сколько страх. Совладайте с собой и поторопитесь, а то будет поздно: враг все прибывает, крики усиливаются, опасность возрастает.

В конце концов уговоры и порицания подействовали: бедный губернатор сделал было попытку сдвинуться с места, но тут же со всего размаху грянулся об пол, так что у него искры из глаз посыпались. Он остался лежать на полу, словно черепаха, заточенная и замурованная между верхним и нижним щитом, или словно окорок между двумя противнями, или, наконец, словно лодка, врезавшаяся носом в песок; между тем у насмешников падение его не вызвало ни малейшей жалости, напротив: они потушили факелы и еще громче стали кричать, с еще большим жаром принялись взывать к оружию и, перепрыгивая через бедного Санчо, с такою яростью начали бить мечами по его щитам, что когда бы горемычный губернатор не подобрал ноги и не втянул голову под щиты, то ему бы несдобровать; стесненный и сжатый донельзя, он обливался по́том и горячо молился богу, чтобы он избавил его от этой напасти. Одни на него натыкались, другие падали, а кто-то даже взобрался на него и, точно со сторожевой вышки, начал командовать войсками и кричать во всю мочь:

— Эй, наши, сюда! Неприятель больше всего теснит нас с этой стороны! Охраняйте этот вход! Заприте ворота! Загородите лестницы! Тащите сюда зажигательные снаряды, лейте вар и смолу в котлы с кипящим маслом! Перегородите улицы тюфяками!

Словом, он старательно перечислял всякую военную утварь, всевозможные орудия и боевые припасы, необходимые для того, чтобы отстоять город, меж тем как сильно потрепанный Санчо все это слушал, терпел и говорил себе: «О господи! Сделай так, чтобы остров как можно скорее был взят, а меня или умертви, или избавь от этой лютой невзгоды!» Небо

услышало его мольбы, ибо нежданно-негаданно раздались крики:

— Победа, победа! Неприятель разбит! Сеньор губернатор, а сеньор губернатор! Вставайте, ваша милость! Спешите пожать плоды победы и распределить трофеи, захваченные у неприятеля благодаря твердости и неустрашимости вашего духа!

— Поднимите меня,— слабым голосом молвил измученный Санчо.

Ему помогли встать, и, поднявшись с полу, он сказал:

— Плюньте мне в глаза, если я и впрямь кого-то победил. Не желаю я распределять трофеи и прошу и молю об одном: кто-нибудь из вас, будьте другом, дайте мне глоточек вина, а то у меня все в горле пересохло, и вытрите меня, а то я весь взмокнул от пота.

Когда же Санчо обтерли, принесли ему вина и сняли с него щиты, он сел на кровать и тут же от страха, волнения и усталости лишился чувств. Наших забавников уже начинала мучить совесть, что забава их оказалась столь для Санчо мучительной, однако Санчо скоро очнулся, и это их утешило. Санчо осведомился, который час; ему ответили, что уже светает. Он ни о чем более не стал спрашивать и без всяких разговоров, совершенное храня молчание, стал одеваться. Присутствовавшие смотрели на него и не могли взять в толк, какова цель этого столь поспешного одевания. Наконец он оделся и, еле передвигая ноги, ибо он был сильно потрепан и двигался с трудом, направился к конюшне, а за ним последовали все прочие; он же приблизился к серому, обнял его, в знак приветствия поцеловал в лоб и, прослезившись, заговорил:

— Приди ко мне, мой товарищ и друг, деливший со мною труды и горести! В ту пору, когда я с тобой водился и не имел других забот, кроме починки твоей упряжи и поддержания жизни твоей, часы мои, дни и ночи текли счастливо, но стоило мне тебя покинуть и взойти на башни тщеславия и гордыни, как меня стали осаждать тысяча напастей, тысяча мытарств и несколько тысяч треволнений.

Произнося такие речи, Санчо одновременно седлал осла, из окружающих же никто его не прерывал. Как скоро он оседлал серого, то с немалым трудом и с немалыми мучениями на него взобрался и, обратившись со словом и речью к домоправителю, секретарю, дворецкому, доктору Педро Нестерпимо и ко многим другим, здесь присутствовавшим, начал так:

— Дайте дорогу, государи мои! Дозвольте мне вернуться к прежней моей свободе. Я не рожден быть губернатором и защищать острова и города от вторжения вражеских полчищ. Я куда лучше умею пахать и копать землю, подрезывать и

отсаживать виноград, нежели издавать законы и оборонять провинции и королевства. Каждый должен заниматься тем делом, для которого он рожден. Мне больше пристало держать в руке серп, чем жезл губернатора. Лучше мне досыта наедаться похлебкой, чем зависеть от скаредности нахального лекаря, который морит меня голодом. И я предпочитаю в летнее время развалиться под дубом, а в зимнюю пору накрываться шкурой двухгодовалого барана, но только знать, что ты сам себе господин, нежели под ярмом губернаторства спать на голландского полотна простынях и носить собольи меха. Оставайтесь с богом, ваши милости, и скажите сеньору герцогу, что голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился: я хочу сказать, что вступил я в должность губернатора без гроша в кармане и без гроша отсюда ухожу — в противоположность тому, как обыкновенно уезжают с островов губернаторы. А теперь раздайтесь и пропустите меня: я еду лечиться пластырями, а то у меня, поди, ни одного здорового ребра не осталось по милости врагов, которые нынче ночью по мне прошлись.

— Напрасно, сеньор губернатор,— возразил доктор Нестерпимо,— я дам вашей милости питье от ушибов и переломов, и вы сей же час окрепнете и выздоровеете. Что же до пищи, то я обещаю вашей милости исправиться и буду позволять вам отдавать обильную дань чему угодно.

— Нужно было раньше думать! — отрезал Санчо.— Я скорей превращусь в турка, чем отменю свой отъезд. Хорошенького понемножку. Клянусь богом, я и здесь, у вас, не останусь губернатором и никакого другого губернаторства не приму, хоть бы мне его на блюде поднесли, и это так же верно, как то, что на небо без крыльев не полетишь. Я из рода Панса, а Панса, все до одного, упрямцы, и если кто из нас сказал: «Нечет», хотя бы на самом деле был чет, так всему свету назло и поставит на своем: нечет, да и только. Дальше постели ног не вытягивай, а теперь дайте мне дорогу: час-то ведь поздний.

На это домоправитель ему сказал:

— Сеньор губернатор! Мы вполне согласны отпустить вашу милость, хотя ваш отъезд весьма для нас огорчителен, ибо рассудительность ваша и христианские поступки таковы, что мы не можем о вас не сожалеть, однако вам должно быть известно, что всякий губернатор, прежде чем выехать из вверенной ему области, обязан представить отчет. Так вот, ваша милость, прежде представьте отчет за десять дней вашего губернаторства, а тогда поезжайте с богом.

— Никто не вправе требовать с меня отчета,— возразил Санчо,— за исключением лица, имеющего на то полномочия

от самого сеньора герцога, а я как раз к герцогу и еду и представлю ему отчет по всем правилам. Тем более, уезжаю я отсюда голяком, а это самое лучшее доказательство, что управлял я как ангел.

— Ей-богу, почтенный Санчо прав,— молвил доктор Нестерпимо,— и я стою за то, чтобы его отпустить, герцог же будет весьма рад его видеть.

Все присоединились к доктору и отпустили Санчо, предложив ему предварительно охрану, а также все потребное для услаждения его особы и для удобств в пути. Санчо сказал, что он ничего не имеет против получить немного овса для серого, а для себя — полголовы сыру и полкаравая хлеба: путь, дескать, недальний, а посему лучших и более обильных запасов довольствия не требуется. Все стали его обнимать, он со слезами на глазах обнял каждого и наконец пустился в дорогу, они же долго еще дивились как его речам, так и непреклонному и столь разумному его решению.

ГЛАВА XLI

О том, что произошло с Санчо в дороге, равно как и о других прелюбопытных вещах

Санчо замешкался в дороге и не успел в тот же день добраться до герцогского замка: он уже был от него в полумиле, когда настала ночь, темная и непроглядная, а так как дело происходило летом, то он не чрезмерно этим огорчился и, порешив ждать до утра, свернул с дороги, но такова уж была его горькая и злосчастная доля, что, ища, где бы поудобнее расположиться, он и его серый провалились в глубокое и наимрачнейшее подземелье, находившееся среди неких весьма древних развалин, и во время падения Санчо начал горячо молиться богу, полагая, что лететь ему теперь до самой преисподней. Однако вышло не так, ибо на расстоянии немногим более трех саженей от земной поверхности серый ощутил под собой твердую почву, Санчо же удержался на его спине, не получив не только ни малейшего увечья, но даже и повреждения. Он затаив дыхание ощупывал себя, чтобы удостовериться, невредим ли он и нет ли где какой царапины, когда же убедился, что жив и здоров, то долго-долго потом благодарил творца за оказанную милость: ведь до этого он был совершенно уверен, что от него останется мокрое место. Засим он ощупал руками стены подземелья, чтобы удостовериться, нельзя ли выкарабкаться отсюда без посторонней помощи;

стены, однако ж, оказались гладкие, без малейшего выступа, каковому обстоятельству Санчо весьма опечалился, особенно когда услышал, что серый тихо и жалобно стонет, и стонал он не попусту, не от дурной привычки, а потому, что и в самом деле упал не весьма удачно.

— Ах! — воскликнул тут Санчо Панса.— Сколько неожиданных происшествий на каждом шагу случается с теми, что живут на этом злополучном свете! Придет ли кому в голову, что человек, который вчера еще занимал должность губернатора острова и повелевал своими прислужниками и вассалами, нынче будет погребен в яме и не найдется никого, кто бы его выручил, не найдется такого слуги и такого вассала, который пришел бы ему на помощь? Видно, погибать нам здесь с голодухи, и мне и моему ослу, если только мы раньше еще не помрем, он — от своих ушибов и увечий, а я — с тоски. Нет уж, мне не будет такой удачи, как моему господину Дон Кихоту Ламанчскому: в пещере заколдованного Монтесиноса, куда он сошел и спустился, его приняли лучше, нежели в собственном доме. Взору его явились в этой пещере прекрасные и умиротворяющие видения, а я здесь увижу, должно полагать, одних только жаб да змей. Несчастный я человек, вот до чего меня довели вздорные мои затеи! Отсюда уж — если бог захочет, чтобы меня нашли,— извлекут только мои косточки, гладкие, белые и обглоданные, вместе с костями доброго моего серого, и вот по ним-то, может статься, и догадаются, кто мы такие,— по крайности, догадаются те, которые знают, что Санча Панса никогда не расставался со своим ослом, а осел — с Санчо Пансою. Опять скажу: горемычные мы с моим ослом! Видно, уж такая наша несчастная доля: не суждено нам умереть на родине, среди своих близких,— ведь если бы и там с нами стряслась беда непоправимая, то все-таки сыскались бы люди, которые нас пожалели бы и в смертный наш час закрыли бы нам глаза. Ах, товарищ и друг мой! Как дурно я тебя отблагодарил за верную твою службу! Прости меня и, как только можешь, умоляй судьбу, чтобы она избавила нас обоих от несносной этой напасти: за это я обещаю возложить тебе на голову лавровый венок, так что ты будешь похож на увенчанного лаврами поэта, и стану выдавать тебе удвоенную порцию овса.

Так сетовал Санчо Панса, осел же слушал его, не говоря ни слова,— в столь затруднительном и бедственном положении находилось несчастное четвероногое. Вся ночь прошла у них в тяжких стонах и слезных жалобах, и наконец настал день, при блеске и сиянии коего Санчо убедился, что выбраться из этого колодца без посторонней помощи совершенно немыслимо, и он снова начал стонать и кричать, полагая, что кто-нибудь да услышит его, но глас его был гласом вопиющего в пустыне, ибо

во всей округе некому было его услышать, и тогда Санчо утратил всякую надежду на спасение. Серый по-прежнему лежал навзничь. Санчо Панса еле-еле поднял его, ибо серый с трудом мог держаться на ногах; затем Санчо вынул из дорожной сумы, разделившей его судьбу и совершившей падение вместе с ним, кус хлеба и протянул его ослу, осел же от такового даяния не отказался, а Санчо ему при этом молвил, словно тот в состоянии был его понять:

— С хлебушком нипочем и горюшко.

В это самое время он заприметил в стене подземелья отверстие, в которое, пригнувшись и скорчившись, мог пролезть человек. Санчо Панса бросился к этой стене и, съежившись, проник в отверстие, а проникнув, увидел, что оно длинное и чем далее, тем становится шире; рассмотреть же отверстие ему удалось благодаря солнечному лучу, который, пробиваясь как бы сквозь крышу, все внутри освещал. Еще он увидел, что далее отверстие расширяется и переходит во вторую просторную пещеру; увидев же все это, он возвратился к своему ослу, а затем начал камнем прочищать отверстие, и оно так увеличилось, что немного погодя через него легко можно было провести осла; Санчо только этого и нужно было: он взял осла за недоуздок и двинулся подземным ходом вперед в расчете на то, что с другой стороны окажется выход. Порою он шел в полумраке, порою — в полнейшей тьме, и все время — в страхе.

«Боже всемогущий, помоги мне! — говорил он про себя.— Для меня это сущее злоключение, а для господина моего Дон Кихота это, должно полагать, было бы изрядным приключением. Он бы, уж верно, принял эти пропасти и подземелья за цветущие сады и дворцы и питал надежду, что за этими мрачными теснинами пред ним откроется цветущий луг, а я, злосчастный, скудоумный и малодушный, я каждую секунду ожидаю, что под ногами у меня внезапно разверзнется новая бездна, еще поглубже этой, и меня поглотит. Беда, когда приходит одна,— это еще не беда».

Таким-то образом и в подобных мыслях Санчо прошел, как ему показалось, немногим более полумили и наконец различил слабый свет, похожий на дневной: неведомо откуда пробиваясь, он указывал на то, что путь сей, представлявшийся Санчо путем на тот свет, на самом деле свободен.

Здесь мы его оставим и обратимся к Дон Кихоту. Как-то утром Дон Кихот, чтобы поупражняться, выехал из замка и погнал Росинанта карьером или, точнее, коротким галопом, Росинантовы же копыта очутились возле самого подземелья, и, не натяни Дон Кихот изо всех сил поводья, он свалился бы туда неминуемо. Так или иначе, он удержал Росинанта и не свалился; подъехав чуть-чуть ближе, он, не сходя с коня, стал осматривать

яму, и, в то время как он ее осматривал, снизу до него донеслись громкие крики; тут он насторожился и в конце концов уловил и разобрал, что́ именно кричали из глубины:

— Эй вы, там, наверху! Неужто не найдется среди вас христианина, который меня бы услышал, или сострадательного рыцаря, который смилостивился бы над заживо погребенным грешником, над злополучным губернатором без губернаторства?

Дон Кихоту показалось, что это голос Санчо Пансы, и это его поразило и озадачило; и, сколько мог возвысив голос, он спросил:

— Кто там внизу? Кто это плачется?

— Кому же тут быть и кому еще плакаться,— послышалось в ответ,— как не бедняге Санчо Пансе, за свои грехи и на свое несчастье назначенному губернатором острова Баратарии, а прежде состоявшему в оруженосцах у славного рыцаря Дон Кихота Ламанчского?

При этих словах Дон Кихот пришел в совершенное изумление и остолбенел: он вообразил, что Санчо Панса умер и что в этом подземелье томится его душа; и, волнуемый этою мыслью, он заговорил:

— Заклинаю тебя всем, чем только может заклинать правоверный христианин: скажи мне, кто ты таков, и если ты неприкаянная душа, скажи, что́ я могу для тебя сделать, ибо хотя призвание мое состоит в том, чтобы покровительствовать и помогать несчастным, живущим в этом мире, однако ж я готов распространить его и на то, чтобы вызволять и выручать обездоленных, отошедших в мир иной, если только они сами не властны себе помочь.

— Узнаю по речам моего господина Дон Кихота Ламанчского,— послышалось в ответ,— да и голос, без сомнения, его.

— Да, я тот самый Дон Кихот, коего призвание — вызволять и выручать из бед живого и мертвого, а посему скажи мне, кто ты таков.

— Клянусь, сеньор Дон Кихот Ламанчский,— послышалось в ответ,— что я оруженосец ваш Санчо Панса и что я за всю мою жизнь ни разу еще не умирал; мне только пришлось оставить губернаторство по причинам и обстоятельствам, о которых сейчас не время рассказывать, а нынче ночью я свалился в это подземелье вместе с моим серым, он может это подтвердить: ведь он здесь, налицо.

И что бы вы думали: осел, будто поняв, что́ говорит Санчо, в ту же секунду заревел, да так громко, что эхо отозвалось во всей пещере.

— Превосходный свидетель! — воскликнул Дон Кихот.— Я узнаю его рев, как если б он был моим родным сыном, да и

твой голос, милый Санчо, мне также знаком. Погоди, я сейчас поеду в герцогский замок — он отсюда недалеко — и приведу с собой людей: они тебя вытащат из этого подземелья, куда ты попал, должно полагать, за грехи.

— Поезжайте, ваша милость,— молвил Санчо,— и, ради господа бога, возвращайтесь скорее: я не могу перенести этой мысли, что я заживо погребен, и умираю от страха.

Дон Кихот с ним расстался и, приехав в замок, рассказал их светлостям о случае с Санчо Пансою, чем привел их в немалое изумление; они тотчас же догадались, что Санчо провалился в одно из отверстий, ведущих в подземный ход, который еще в незапамятные времена был в тех местах проложен, но они не могли взять в толк, как это Санчо расстался с губернаторством, не уведомив их о своем приезде. Были пущены в дело веревки и канаты, и ценою великих усилий множества людей в конце концов удалось извлечь и серого, и Санчо Пансу из мрака на солнечный свет. Некий студент посмотрел на Санчо и сказал:

— Вот так следовало бы удалять с должностей всех дурных правителей — точь-в-точь как этого греховодника, вылезшего из глубокой пропасти: он голоден, бледен и, сколько я понимаю, без единого гроша в кармане.

Санчо, послушав такие речи, молвил:

— Дней восемь или десять тому назад я, господин клеветник, вступил в управление островом, который был мне пожалован, и за все это время я даже хлеба — и того вволю не видел. За это время меня измучили лекари, а враги переломали мне все кости. Я и взяток не брал, и податей не взимал, а когда так, то, думается мне, я заслужил, чтобы со мной расстались по-другому, ну да человек предполагает, а бог располагает. Господь знает, что́ для нас лучше и что́ каждому из нас положено, дают — бери, а бьют — беги, а грех да беда на кого не живет, потому сейчас у тебя дом — полная чаша, ан глядь — хоть шаром покати. И довольно об этом: бог правду видит, а я лучше помолчу, хотя мог бы еще кое-что сказать.

— Не сердись, Санчо, и не огорчайся: мало ли что про тебя скажут, а то ведь этому конца не будет. Лишь бы у тебя совесть была чиста, а там пусть себе говорят что хотят, пытаться же привязать языки сплетникам — это все равно что запереть поле воротами. Если правитель уходит со своего поста богатым, говорят, что он вор, а коли бедняком, то говорят, что он простофиля и глупец.

— Могу ручаться,— заметил Санчо,— что кого-кого, а меня-то, уж верно, признают за дурака, а не за вора.

Сопровождаемые мальчишками и всяким иным людом, Дон Кихот и Санчо, все еще ведя этот разговор, приблизились к зам-

ку, где их уже поджидали в галерее герцог и герцогиня, однако, прежде чем подняться к герцогу, Санчо самолично устроил серого в стойле и только после этого поднялся на галерею к герцогской чете и, преклонив пред нею колена, заговорил:

— Сеньоры! Не за какие-либо с моей стороны заслуги, а единственно потому, что такова была воля ваших светлостей, я был назначен управлять вашим островом Баратарией, и как голяком я туда явился, так голяком и удалился. Хорошо ли, плохо ли я управлял — на то есть свидетели: что им бог на душу положит, то они вам и расскажут. Я разрешал спорные вопросы, выносил приговоры и вечно был голоден, оттого что на этом настаивал доктор Педро Нестерпимо, родом из Учертанарогеры, лекарь островной и губернаторский. Ночью на нас напали враги, опасность была велика, но в конце концов островитяне, пошли им господь столько здоровья, сколько в их словах правды, объявили, что благодаря твердости моего духа они своей свободы не отдали и одержали полную победу. Коротко говоря, за это время я взвесил все тяготы и обязанности, сопряженные с должностью губернатора, и пришел к заключению, что плечи мои их не выдержат: эта ноша не для моего хребта и стрелы эти не для моего колчана, вот почему я надумал, прежде чем меня сбросят, самому бросить губернаторство, и вчера утром я покинул остров таким, каким увидел его впервые,— с теми же самыми улицами, домами и кровлями, какие были, когда я туда вступил. Покинул я остров безо всякой свиты — вся моя свита состояла из одного только серого,— дорогой свалился в подземелье, начал оттуда выбираться и наконец нынче утром при свете солнца отыскал выход; но только не слишком удобный, так что, не пошли мне господь сеньора Дон Кихота, я бы там оставался до скончания века. Ну так вот, ваши светлости, перед вами губернатор ваш Санчо Панса, который из тех десяти дней, что он прогубернаторствовал, извлек только одну прибыль, а именно: он узнал, что управление не то что одним островом, а и всем миром не стоит медного гроша. Приобретя же таковые познания, я лобызаю стопы ваших милостей, а засим, как в детской игре, когда говорят: «Ты — прыг, а я сюда — скок», прыг с моего губернаторства и перехожу на службу к моему господину Дон Кихоту.

На сем окончил пространную свою речь Санчо, Дон Кихот же все время боялся, как бы он не наговорил невесть сколько всякой ерунды, но когда Дон Кихот убедился, что Санчо уже кончил, а ерунды наговорил совсем мало, то мысленно возблагодарил бога; герцог между тем обнял Санчо и сказал, что он весьма сожалеет, что Санчо так скоро ушел с должности губернатора, но что он, со своей стороны, примет меры, чтобы в его владениях

для Санчо подыскали какую-нибудь другую должность, менее тягостную и более выгодную. Герцогиня также обняла Санчо и велела его накормить, ибо у него был вид человека не весьма бодрого и еще менее упитанного.

ГЛАВА XLII

О том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону

Их светлости с самого начала не раскаивались, что сыграли шутку с Санчо Пансой, дав ему погубернаторствовать; когда же к ним в тот самый день явился домоправитель и обстоятельнейшим образом доложил почти обо всех словах и поступках, сказанных и совершенных губернатором за эти дни, а в заключение живописал набег неприятельских войск, испуг Санчо и его отъезд, то они получили от всего этого немалое удовольствие.

Дон Кихот между тем начинал тяготиться тою праздною жизнью, какую он вел в замке; он полагал, что с его стороны это большой грех — предаваясь лени и бездействию, проводить дни в бесконечных пирах и развлечениях, которые для него, как для странствующего рыцаря, устраивались хозяевами, и склонен был думать, что за бездействие и праздность господь с него строго взыщет,— вот почему в один прекрасный день он попросил у их светлостей позволения уехать. Их светлости позволили, не преминув, однако ж, выразить глубокое свое сожаление по поводу его отъезда. Герцогиня отдала Санчо Пансе письмо его жены, и тот, обливая его слезами, сказал себе:

— Кто бы мог подумать, что смелые мечты, которые зародились в душе у моей жены Тересы Панса, как скоро она узнала про мое губернаторство, кончатся тем, что я снова вернусь к пагубным приключениям моего господина Дон Кихота Ламанчского? А все-таки я доволен, что моя Тереса в грязь лицом не ударила и послала герцогине желудей, потому как если б она их не послала, а тут еще я вернулся не в духе, то вышло бы невежливо. Радует меня и то, что подарок этот нельзя назвать взяткой: когда она его посылала, я уже был губернатором, и тут ничего такого нет, если за доброе дело чем-нибудь отблагодарить, хотя бы и пустячком. Да ведь и впрямь: голяком я вступил в должность губернатора, голяком и ушел, и могу сказать по чистой совести, а чистая совесть — это великое дело: «Голышом я родился, голышом весь свой век прожить ухитрился».

Так рассуждал сам с собою Санчо в день своего отъезда, Дон Кихот же, накануне вечером простившись с их светлостями,

рано утром, облаченный в доспехи, появился на площади перед замком. С галереи на него глазели все обитатели замка; герцог и герцогиня также вышли на него посмотреть. Санчо восседал на своем сером, при нем находились его дорожная сума, чемодан и съестные припасы, и был он рад-радехонек, оттого что герцогский домоправитель вручил ему кошелек с двумя сотнями золотых на путевые издержки.

Дон Кихот учтиво поклонился герцогу с герцогиней, а равно и всем присутствовавшим, засим поворотил Росинанта и, сопровождаемый Санчо верхом на осле, выехал за ворота замка. Как скоро он выехал в открытое поле, то почувствовал себя в своей стихии, почувствовал, что у него вновь явились душевные силы для того, чтобы продолжать дело рыцарства, и тут он повернулся лицом к Санчо и сказал:

— Свобода, Санчо, есть одна из самых драгоценных щедрот, которые небо изливает на людей; с нею не могут сравниться никакие сокровища: ни те, что таятся в недрах земли, ни те, что сокрыты на дне морском. Ради свободы, так же точно как и ради чести, можно и должно рисковать жизнью, и, напротив того, неволя есть величайшее из всех несчастий, какие только могут случиться с человеком. Говорю же я это, Санчо, вот к чему: ты видел, как за нами ухаживали и каким окружали довольством в том замке, который мы только что покинули, и, однако ж, несмотря на все эти роскошные яства и прохладительные напитки, мне лично казалось, будто я терплю муки голода, ибо я не вкушал их с тем же чувством свободы, как если б все это было мое, между тем обязательства, налагаемые благодеяниями и милостями, представляют собою путы, стесняющие свободу человеческого духа. Блажен тот, кому небо посылает кусок хлеба, за который он никого не обязан благодарить, кроме самого неба!

— А все-таки,— отозвался Санчо,— что бы вы ни говорили, нехорошо это будет с нашей стороны, если мы не почувствуем благодарности за кошелек с двумя сотнями золотых, который мне преподнес герцогский домоправитель: я его, вроде как успокоительный пластырь, ношу возле самого сердца,— мало ли что может быть: ведь не всегда же нам попадаются замки, где за нами ухаживают, случается заезжать и на постоялые дворы, где нас колотят.

Однажды Дон Кихота застигла ночь в стороне от большой дороги, в чаще дубового леса.

Господин и слуга спешились и расположились под деревьями, после чего Санчо, успевший в тот день хорошенько подзакусить, мгновенно юркнул в ворота сна, зато Дон Кихот, коему не столько голод не давал спать, сколько его думы, никак не мог сомкнуть вежды и мысленно переносился в места самые разнообразные.

То ему представлялось, будто он находится в пещере Монтесиноса, то чудилось ему, будто превращенная в сельчанку Дульсинея подпрыгивает и вскакивает на ослицу, то в ушах его звучали слова мудрого Мерлина, излагавшего условия и способы расколдования Дульсинеи. Его приводили в отчаяние нерадение и бессердечие оруженосца Санчо, который, сколько Дон Кихоту было известно, нанес себе всего лишь пять ударов, то есть число ничтожное и несоизмеримое с тем бессчетным числом ударов, которые ему еще оставалось себе нанести. И мысль эта привела Дон Кихота в такое беспокойство и раздражение, что он начал сам с собой рассуждать:

«Александр Великий разрубил гордиев узел* со словами: «Что разрубить, что развязать — все едино», и это не помешало ему стать безраздельным властелином всей Азии, следственно, не менее благоприятный исход может иметь случай с расколдованием Дульсинеи, если я, вопреки желанию самого Санчо, его отхлещу. Единственное условие этого предприятия заключается в том, чтобы Санчо получил три тысячи с лишним ударов, а коли так, то не все ли мне равно, кто их ему нанесет: он сам или же кто-то другой? Важно, чтоб он их получил, а как это произойдет, меня не касается».

С этою целью, захвативши Росинантову узду и сложивши ее таким образом, чтобы можно было ею хлестать, он приблизился к Санчо и начал расстегивать ему помочи, вернее одну переднюю пуговицу, на которой только и держались его шаровары. Но едва лишь Дон Кихот дотронулся до Санчо, как с того мгновенно соскочил сон.

— Что это? — спросил Санчо.— Кто меня трогает и раздевает?

— Это я,— отвечал Дон Кихот,— я пришел исправить твою оплошность и облегчить мою муку: я пришел бичевать тебя, Санчо, и помочь тебе хотя бы частично выполнить свое обязательство. Дульсинея гибнет, ты никаких мер не принимаешь, я умираю от любви к ней, так вот изволь по собственному желанию снять штаны, ибо мое желание состоит в том, чтобы отсчитать тебе в этом уединенном месте не менее двух тысяч ударов.

— Ну уж нет,— отозвался Санчо,— успокойтесь, ваша милость, а не то, истинный бог, я за себя не ручаюсь. Удары, которые я обязался себе отсчитать, должны быть добровольными, а не насильственными, а сейчас мне совсем не хочется себя хлестать. Я даю вашей милости слово выпороть и высечь себя, когда мне придет охота, и будет с вас.

— Нельзя полагаться на твою любезность, Санчо,— возразил Дон Кихот,— оттого что сердце у тебя черствое, а тело, хоть ты и деревенщина, нежное.

И по сему обстоятельству он всеми силами старался спустить с него штаны; в конце концов Санчо вскочил, бросился на своего господина, сцепился с ним и, давши ему подножку, повалил наземь; засим наступил ему правым коленом на грудь и стиснул руки так, что Дон Кихот не мог ни повернуться, ни вздохнуть.

— Как, предатель? — кричал Дон Кихот.— Ты восстаешь на своего господина и природного сеньора? Ты посягаешь на того, кто тебя кормит?

— Обещайте, ваша милость, вести себя смирно и не приставать ко мне с поркой, тогда я вас освобожу и отпущу,— объявил Санчо.

Дон Кихот дал обещание и поклялся всеми своими заветными помыслами не трогать даже ниточки на одежде Санчо, предоставив бичевание его доброй воле и хотению. Санчо встал и отошел на довольно значительное расстояние; когда же он вознамерился прикорнуть под другим деревом, то почувствовал, что кто-то словно коснулся его головы; он поднял руки и наткнулся на две человеческие ноги в башмаках и чулках. Санчо задрожал от страха; он бросился еще к одному дереву, но и тут с ним произошло то же самое. Он позвал на помощь Дон Кихота. Дон Кихот явился; и на вопрос, что случилось и чего он так испугался, Санчо ответил, что здесь все деревья увешаны человеческими ногами. Дон Кихот ощупал деревья и, тотчас догадавшись, что это такое, сказал Санчо:

— Тебе нечего бояться, потому что эти ноги, которые ты осязаешь, хотя и не видишь, принадлежат, разумеется, злодеям и разбойникам, на этих деревьях повешенным: власти, когда изловят их, обыкновенно вешают именно здесь, по двадцать, по тридцать человек сразу. Из этого я заключаю, что мы недалеко от Барселоны.

И точно, предположение Дон Кихота оказалось справедливым.

Когда на небе загорелась заря, путники обратили взоры свои вверх и увидели, что на деревьях гроздьями висят тела разбойников. Между тем становилось все светлее и светлее, и если сначала их ужаснули мертвецы, то не меньший трепет объял их затем при виде сорока с лишним живых разбойников, которые внезапно их окружили и приказали им стоять смирно и не двигаться с места до тех пор, пока не прибудет атаман. Дон Кихот был пеш, конь его был разнуздан, копье прислонено к дереву — словом, он был беззащитен, а потому рассудил за благо, приберегая силы для лучших времен и для более благоприятного стечения обстоятельств, сложить руки и склонить голову.

Разбойники поспешили обыскать осла и забрать все, что на-

ходилось в переметной суме, а равно и в чемодане, но, к счастью для Санчо, деньги, которые ему подарил герцог, вместе с теми, которые он взял с собой, отправляясь из родного села в поход, были спрятаны у него в поясе. И все же эти люди не преминули бы ощупать его с головы до ног, чтобы удостовериться, нет ли у него чего-нибудь между кожей и мясом, когда бы в это самое время не подоспел атаман; ему можно было дать года тридцать четыре, росту он был выше среднего, широк в плечах, с виду сумрачен, лицом смугл. Под ним был могучий конь, одет он был в стальную кольчугу, по бокам у него висели четыре пистолета (такие пистолеты в тех краях носят название кремневиков). Увидев, что разбойники намереваются грабить Санчо Пансу, он велел не трогать его, и они тотчас повиновались; так был спасен пояс с деньгами. Атаман пришел в изумление при виде копья, которое было прислонено к дереву, щита, лежавшего на земле, и облаченного в доспехи самого Дон Кихота, о чем-то размышлявшего с таким печальным и грустным выражением лица, точно он был олицетворенная печаль. Приблизившись к нему, атаман заговорил:

— Не печальтесь, добрый человек: вы попали к Роке Гинарту*, который не столько жесток, сколько милосерд.

— Печаль моя,— отвечал Дон Кихот,— вызвана не тем, что я оказался в твоей власти, доблестный Роке Гинарт, коего слава в этом мире не знает предела, но тем, что из-за своей беспечности я дал себя захватить врасплох твоим воинам, меж тем как по уставу странствующего рыцарства, к которому я принадлежу, мне подобает находиться в состоянии вечной тревоги, быть всечасным стражем самого себя. Да будет ведомо тебе, великий Роке, что если б воины твои напали на меня, когда подо мною был конь и при мне находились копье и щит, им не так-то легко было бы со мною справиться, ибо я — Дон Кихот Ламанчский, славою о подвигах коего полнится вся земля.

Тут Роке Гинарт догадался, что Дон Кихот прежде всего безумец, а потом уже храбрец, и хотя ему приходилось о нем слышать, однако ж деяниям его он не верил и не допускал мысли, чтобы этакая блажь способна была овладеть человеческим сердцем; и он был чрезвычайно рад этой встрече, ибо благодаря ей мог увидеть вблизи то, о чем до него издалека доходили слухи. Он велел своим людям отдать Санчо все, что они сняли с серого, а затем выстроил их в ряд и приказал выложить одежду, драгоценности, деньги — словом, все, что было ими награблено со времени последнего дележа добычи; он быстро произвел оценку и, переведя на деньги стоимость того, что дележу не поддавалось, распределил добычу между всеми, кто состоял в его шайке, в высшей степени справедливо и точно. После того как

все были удовлетворены, ублаготворены и вознаграждены, Роке, обратившись к Дон Кихоту, пояснил:

— Если не проявлять такой точности, с ними невозможно было бы ужиться.

На это Санчо заметил:

— Судя по тому, что я сейчас видел, справедливость — это такая хорошая вещь, что ее и с ворами соблюдать должно.

Один из разбойников это услышал и замахнулся на Санчо прикладом своей аркебузы, каковым он, без сомнения, проломил бы ему голову, когда бы Роке Гинарт не остановил его окриком. Санчо обомлел и дал себе слово не раскрывать рта, пока будет находиться в обществе этих людей.

В это самое время прибежал один из тех разбойников, которых ставят, как часовых, на дорогах, чтобы они следили за прохожим и проезжим людом и обо всем докладывали своему главарю, и сказал:

— Сеньор! Невдалеке, на Барселонской дороге, показалось много народу.

Роке его спросил:

— А ты не разглядел, какие это люди: из числа тех, что охотятся за нами, или же из числа тех, за кем охотимся мы?

— Из числа тех, за кем охотимся мы,— отвечал тот.

— В таком случае, выступайте все,— приказал Роке,— и как можно скорей приведите их сюда, да глядите, чтобы никто из них не ускользнул.

Разбойники ушли, а Дон Кихот, Санчо и Роке стали ждать, кого они приведут. Роке тем временем обратился к Дон Кихоту с такими словами:

— Необычайными должны были показаться сеньору Дон Кихоту та жизнь, которую мы ведем, наши похождения, наши приключения,— необычайными и опасными, и это меня не удивляет, ибо я и сам сознаю, что нет образа жизни более беспокойного и чреватого треволнениями, нежели наш. Меня на это толкнула неутолимая жажда мести, а ведь эта жажда обладает свойством возмущать сердца самые мирные. От природы я человек отзывчивый и благонамеренный, но, как я уже сказал, желание отомстить за одно нанесенное мне оскорбление оказалось настолько сильнее добрых моих наклонностей, что я, вопреки и наперекор рассудку, закоренел в этой своей страсти. И все же я не теряю надежды выбраться из этого лабиринта и достигнуть тихого пристанища.

С удивлением слушал Дон Кихот благие и разумные слова Роке — прежде он был уверен, что среди тех, кто занимается грабежом, убийством и разбоем, нельзя найти человека, способного здраво рассуждать, и повел он с атаманом такую речь:

— Сеньор Роке! Знание своей болезни и готовность принимать лекарства, прописываемые врачом,— это уже начало выздоровления. Вы, ваша милость, больны, знаете свой недуг, и небо или, лучше сказать, господь бог, который является нашим врачом, назначит вам лекарства, от коих вы поправитесь,— лекарства, исцеляющие постепенно, но не вдруг и не чудом. К тому же грешники разумные ближе к исправлению, чем неразумные, а так как ваша милость выказала в своих речах мудрость, то вам остается лишь не терять бодрости и надеяться на облегчение недуга совести вашей. Если же ваша милость желает сократить путь и как можно скорее выйти на путь спасения, то следуйте за мною: я научу вас быть странствующим рыцарем, странствующий же рыцарь претерпевает столько мытарств и злоключений, что, являясь для него покаянием, они приводят его прямо в рай.

Выслушав совет Дон Кихота, Роке усмехнулся.

Тем временем возвратились ходившие на промысел разбойники и пригнали двух всадников верхом на мулах, двух пеших паломников, карету, в которой ехали какие-то дамы и которую сопровождали человек шесть слуг, пеших и конных, и, наконец, двух погонщиков, которых взяли себе в услужение всадники. Разбойники оцепили их всех, при этом и побежденные и победители хранили совершенное молчание, ожидая, что́ скажет сам Роке Гинарт, атаман же спросил всадников, что они за люди, куда путь держат и сколько у них с собой денег. На это ему один из всадников ответил так:

— Сеньор! Мы оба — офицеры испанской пехоты, части наши стоят в Неаполе, мы же направляемся в Барселону, откуда, сколько нам известно, должны отойти галеры в Сицилию. Денег у нас не то двести, не то триста эскудо, и мы почитали себя богатыми и были довольны судьбой: ведь солдаты обыкновенно настолько бедны, что о бо́льших сокровищах и мечтать не смеют.

С теми же самыми вопросами обратился Роке к паломникам; они ему ответили, что намеревались отплыть в Рим и что у них обоих, пожалуй, наберется шестьдесят реалов. Затем Роке осведомился, кто едет в карете, куда именно и сколько везут с собой денег, на что один из конных слуг ответил так:

— В карете едет моя госпожа, донья Гьомар де Киньонес, жена верховного судьи в Неаполе, а с нею малолетняя ее дочь, служанка и дуэнья. Сопровождают их шестеро слуг, а денег у них с собой шестьсот эскудо.

— Таким образом,— рассудил Роке Гинарт,— у нас здесь всего девятьсот эскудо и шестьдесят реалов, людей же у меня около шестидесяти. Проверим, сколько придется на брата, а то ведь я счетчик неважный.

Тут разбойники дружно воскликнули:

— Много лет здравствовать Роке Гинарту на горе всем негодяям, что ищут его погибели!

Офицеры были, по-видимому, удручены, жена верховного судьи опечалилась, да и паломники отнюдь не возвеселились, узнав, что денежные средства будут у них отобраны. С минуту Роке держал их всех в состоянии мучительной неизвестности, затем, решившись не томить их долее,— а томление было написано на их лицах,— обратился к офицерам и снова заговорил:

— Господа офицеры! Будьте любезны, дайте мне, пожалуйста, шестьдесят эскудо, а у супруги верховного судьи я попрошу восемьдесят, так мои люди будут удовлетворены,— ведь вы сами знаете: поп тем и живет, что молитвы поет, а засим вы можете спокойно и беспрепятственно продолжать свой путь: я вам выдам охранную грамоту, чтобы в случае, если вас остановит еще какой-нибудь из моих отрядов, разбросанных по всей округе, он вас не трогал, ибо чинить обиды воинам, а равно и женщинам не входит в мои намерения.

Офицеры без конца и в самых изысканных выражениях благодарили Роке за то, что он так любезно и великодушно оставляет им их же собственные деньги. Сеньора донья Гьомар де Киньонес хотела было выскочить из кареты и поцеловать славному атаману руки и ноги, но он этому решительно воспротивился, более того: он попросил у нее прощения за ту неприятность, которую он вынужден был причинить ей, ибо того требовало несчастное его ремесло. Супруга верховного судьи велела одному из слуг своих немедленно выдать причитавшиеся с нее восемьдесят эскудо, офицеры же отсчитали шестьдесят. Паломники также готовы были расстаться с жалкими своими грошами, но Роке сказал, чтобы они не беспокоились, а затем, обратясь к своим людям, распорядился:

— Каждый из вас получит из этих денег по два эскудо, остается двадцать: десять из них мы отдадим паломникам, а остальные десять — славному спутнику этого рыцаря, чтобы он не поминал лихом сегодняшнее приключение.

Когда Роке подали письменные принадлежности, которые он всюду возил с собой, он составил охранную грамоту на имя главарей всех своих отрядов, а затем, попрощавшись с пленниками, отпустил их с миром. После этого он отошел в сторону и написал письмо к своему барселонскому приятелю, в коем уведомлял его о том, что сейчас у него находится достославный Дон Кихот Ламанчский, тот самый странствующий рыцарь, о котором столько существует рассказов, доводил до его сведения, что это самый забавный и самый здравомыслящий человек на свете и что через несколько дней, а именно в день святого

Иоанна Крестителя, он, Роке, доставит его в полном вооружении, верхом на Росинанте, на барселонскую набережную, а вместе с ним и его оруженосца Санчо Пансу верхом на осле. Письмо это Роке отдал одному из своих товарищей, и тот, сменив разбойничье платье на крестьянское, пробрался в Барселону и вручил письмо по назначению.

ГЛАВА XLIII

О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде в Барселону, равно как и о других вещах, вполне правдоподобных при всей их видимой нелепости

Три дня и три ночи провел Дон Кихот в обществе Роке, но, проживи он с ним и триста лет, все равно не уставал бы он с удивлением наблюдать, как живут разбойники: пробуждались они в одном месте, обедали в другом; то вдруг бежали, сами не зная от кого, то неведомо чего ожидали. Спали они на ходу, поминутно прерывая сон и беспрестанно кочуя. Все время они высылали разведчиков, выслушивали дозорных, раздували фитили аркебуз — впрочем, аркебуз у них было немного, почти все разбойники были вооружены кремневыми пистолетами. На ночь Роке уединялся в укромные места, никому из его людей не известные, ибо многочисленные указы барселонского вице-короля*, в коих была оценена голова атамана, держали его в состоянии вечной тревоги и страха; он никому не доверял, он боялся, что его убьют или выдадут властям свои же: воистину жалкая и тягостная жизнь.

Наконец давно не езженными дорогами, глухими и потаенными тропами Роке, Дон Кихот и Санчо вместе с шестью разбойниками добрались до Барселоны. На набережную они прибыли в ночь накануне Иоанна Крестителя, и тут Роке, обняв сперва Дон Кихота, а затем Санчо, после долгих взаимных учтивостей удалился.

Роке исчез, а Дон Кихот, как был, верхом на коне, остался ждать рассвета, и точно: не в долгом времени в окнах востока показался ясный лик Авроры, доставляющий радость цветам и травам. В ту же самую минуту слух Дон Кихота и Санчо был приятно поражен доносившимися, по-видимому со стороны города, звуками множества труб и барабанов, звоном бубенчиков и быстро приближавшимися криками людей: «Раздайся! Раздайся!» Аврора уступила свое место солнцу, и лик его, поболее щита, начал медленно подниматься над горизонтом.

Дон Кихот и Санчо оглянулись по сторонам и в первый раз

в жизни увидели море: оно показалось им огромным и бесконечным. У пристани стояли галеры; тенты на них были спущены, и глаз различал множество вымпелов и флагов, трепетавших на ветру и как бы касавшихся воды; с галер неслись звуки рожков, труб и гобоев, и воздух как вблизи, так и вдали полнился то нежными, то воинственными мелодиями. Но вот по тихим водам заскользили суда: началось потешное морское сражение, а в это самое время на берегу несметная сила разряженных всадников, прибывших из города на прекрасных конях, затеяла подобного же рода потеху. На галерах немолчная раздавалась пальба, одновременно палили с городских стен и из фортов: крепостная артиллерия ужасным своим грохотом сотрясала воздух, артиллерия морская ей вторила. Веселое море, ликующая земля, прозрачный воздух, лишь по временам заволакиваемый дымом из орудий,— все это вызывало и порождало в сердцах людей бурный восторг. Санчо же отказывался понимать, откуда у этих движущихся по воде громадин берется столько ног.

Тем временем всадники с шумными и радостными криками подскакали вплотную к пораженному и ошеломленному Дон Кихоту, и один из них, тот самый, которому писал Роке, обратился к Дон Кихоту и громко воскликнул:

— Милости просим в наш город, зерцало, маяк, светоч и путеводная звезда странствующего рыцарства, доблестный Дон Кихот Ламанчский!

Дон Кихот не ответил на это ни слова, да всадники и не стали дожидаться ответа: они гарцевали и выкидывали вольты вместе с другими; Дон Кихот же, вокруг которого происходили самые настоящие скачки, обратился к Санчо и сказал:

— Эти люди, по всей вероятности, нас узнали. Бьюсь об заклад, что они прочли правдивую повесть о нас.

Всадник, приветствовавший Дон Кихота, снова приблизился к нему и сказал:

— Сеньор Дон Кихот! Поедемте, ваша милость, с нами: мы покорные ваши слуги и закадычные друзья Роке Гинарта.

— Ведите меня, куда вам заблагорассудится,— отвечал Дон Кихот,— моя воля есть ваша воля.

Тот ответил ему не менее любезно, а затем всадники, окружив Дон Кихота со всех сторон, под звуки труб и барабанов вместе с ним направились в город; когда же они в город въезжали, то по наущению злого духа, который только и делает, что сеет зло, двое озорных и дерзких мальчишек — а мальчишки бывают иной раз лукавее самого лукавого — пробрались сквозь толпу и, задравши хвосты ослику и Росинанту, сунули и подложили туда по пучку дикого терна. Почуяв этот новый вид шпор, бедные животные поджали было хвосты, но от этого неприятное

ощущение лишь усилилось; они начали отчаянно брыкаться и в конце концов сбросили своих седоков наземь. Дон Кихот, в смущении и замешательстве, поспешил извлечь сей плюмаж из-под хвоста своей клячи, Санчо же пришел на помощь серому. Сопровождавшие Дон Кихота хотели было наказать мальчишек за их продерзость, но это им не удалось, оттого что сорванцы втиснулись в толпу других мальчишек, бежавших следом за ними.

Дон Кихот и Санчо снова сели верхами и под звуки все той же музыки и все так же торжественно подъехали к дому их вожатого, большому и великолепному,— одним словом, такому, какими бывают дома богатых кавальеро, и тут мы Дон Кихота и Санчо на время оставим.

ГЛАВА XLIV,

повествующая о приключении,
которое принесло Дон Кихоту больше горя,
нежели все, какие до сих пор у него были

Дон Антоньо Морено — так звали хозяина Дон Кихота — был кавальеро богатый и остроумный, любитель благопристойных и приятных увеселений; заманив Дон Кихота к себе в дом, он стал искать способов обнаружить перед всеми его сумасбродство, но только так, чтобы самому Дон Кихоту никакого вреда от того не получилось, ибо шутка, от которой становится больно, это уже не шутка, и никуда не годится то развлечение, от которого бывает ущерб другому. Первым делом он велел снять с Дон Кихота доспехи, а затем, как скоро тот остался в узком верблюжьем камзоле, вывел его на балкон, выходивший на одну из самых людных улиц города, напоказ всему народу и мальчишкам, глазевшим на него, словно на обезьяну. Перед взором Дон Кихота снова загарцевали всадники, и, глядя на них, можно было подумать, что вырядились они так для него одного, а не по случаю праздника. Санчо между тем ликовал: ему представлялось, что он бог весть какими судьбами снова попал то ли на свадьбу к Камачо, то ли в герцогский замок.

В этот день у дона Антоньо обедали его друзья, и все они обходились с Дон Кихотом как со странствующим рыцарем и воздавали ему особые почести, Дон Кихот же, приняв гордый и величественный вид, не помнил себя от восторга. Остроты Санчо были таковы, что все челядинцы, а равно и все его слушатели без исключения, так и смотрели ему в рот. За столом дон Антоньо обратился к Санчо с такими словами:

— Любезный Санчо! До нашего сведения дошло, будто ты великий любитель курника, а также фрикаделек, и будто, когда ты уже сыт по горло, ты прячешь их себе за пазуху про черный день*.

— Нет, сеньор, это неправда,— возразил Санчо,— я человек чистоплотный и совсем не такой обжора — мой господин Дон Кихот может подтвердить, что бывали времена, когда мы оба по целым неделям пробавлялись пригоршней желудей или орехов. Правда, иной раз, когда мне сулят коровку, я скорей бегу за веревкой: я хочу сказать, что пользуюсь случаем и ем то, что мне дают. Если же вы от кого услышите, что я обжора и неряха, то считайте, что этот человек не угадал,— я бы иначе выразился, да боюсь оскорбить слух столь почтенного общества.

— Не подлежит сомнению,— объявил Дон Кихот,— что умеренность и опрятность Санчо в еде достойны быть отмеченными и запечатленными на меди, дабы сии достоинства его вечно жили в памяти поколений грядущих. Правда, когда он голоден, он бывает слегка прожорлив: в таких случаях он проворно работает челюстями и уплетает за обе щеки, зато по части опрятности он безупречен, более того, в бытность свою губернатором он научился есть на особый манер — он ел вилкой даже виноград и гранатовые зернышки.

— Как? — воскликнул дон Антоньо.— Санчо был губернатором?

— Да,— отвечал Санчо,— губернатором острова Баратарии. Десять дней я управлял им по своему усмотрению, и за эти десять дней я утратил душевный покой и научился презирать все правления, какие только есть на свете. Я бежал оттуда, по дороге свалился в подземелье, думал — конец мне, но все-таки чудом спасся.

Дон Кихот во всех подробностях рассказал историю Санчова губернаторства, чем доставил слушателям немалое удовольствие.

В тот же вечер Дон Кихота соблазнили прокатиться по городу, но только упросили его снять доспехи и отправиться в выходном платье и в светло-коричневого сукна плаще, под которым в то время года вспотел бы даже лед. Чтобы Санчо остался дома, слугам велено было занимать его. Дон Кихот восседал не на Росинанте, а на могучем, богато убранном муле, у коего шаг был ровный. К плащу Дон Кихота незаметно для него прицепили сзади пергамент, на котором крупными буквами было написано: «Дон Кихот Ламанчский». Во все время прогулки надпись эта неизменно привлекала к себе внимание прохожих, они читали вслух: «Дон Кихот Ламанчский», а Дон Кихот не уставал дивиться: кто, мол, на него ни глянет, всякий узнаёт его и называет

по имени; и, обратясь к дону Антоньо, ехавшему с ним рядом, он наконец сказал:

— Великим преимуществом обладает странствующее рыцарство: всем, кто на этом поприще подвизается, оно приносит всемирную известность и славу. В самом деле, сеньор дон Антоньо, подумайте: в этом городе даже мальчишки — и те меня знают, хотя никогда прежде не видели.

— То правда, сеньор Дон Кихот,— подтвердил дон Антоньо,— подобно тому как пламя нельзя спрятать или утаить, так точно доблесть не может пребывать в безвестности, та же доблесть, которую выказывают на ратном поле, берет верх над всеми иными доблестями.

Случилось, однако ж, так, что когда Дон Кихот с вышеописанною торжественностью ехал по городу, некий кастилец, прочтя на его спине надпись, крикнул:

— Черт бы тебя взял, Дон Кихот Ламанчский! И как это ты сюда добрался, не околев по дороге от бесчисленных ударов, которые на тебя так и сыпались? Ты — безумец, и если б ты безумствовал один на один с самим собой, замкнувшись в своем безумии, это бы еще куда ни шло, но ты обладаешь способностью сводить с ума и сбивать с толку всех, кто только с тобою общается и беседует,— достаточно поглядеть на этих сеньоров, которые тебя сопровождают. Поезжай, полоумный, домой, займись хозяйством, заботься о жене и детях и оставь свои бредни, которые только истощают мозг и мутят рассудок.

— Идите-ка, братец, своей дорогой,— сказал дон Антоньо,— и не давайте советов, когда у вас их не просят. Сеньор Дон Кихот Ламанчский — человек вполне благоразумный, да и мы, его сопровождающие, не дураки. Доблесть всегда должно чтить, где бы она ни встретилась. Убирайтесь ко всем чертям и не в свое дело не лезьте!

— А ведь вы, ей-богу, правы,— заметил кастилец,— советовать что-нибудь этому молодцу — все равно что воду в ступе толочь, однако ж, со всем тем, меня берет досада, что такой ясный ум, который, как я слышал, во всем остальном выказывает этот помешанный, растрачивает себя на странствующее рыцарство. Но только скорей я сам и все мои потомки уберемся ко всем чертям, как изволила выразиться ваша милость, нежели впредь — проживи я даже больше, чем Мафусаил,— я кому-нибудь преподам совет, хотя бы у меня его и просили.

Советчик пошел дальше; прогулка возобновилась; однако мальчишки и всякий иной люд столь усердно читали надпись, что дон Антоньо в конце концов рассудил за благо снять ее, сделав, впрочем, вид, будто он снимает что-то другое.

Однажды утром Дон Кихот, облаченный во все свои

доспехи, ибо он любил повторять, что его наряд — это его доспехи, а в лютой битве — его покой, и оттого не расставался с ними ни на мгновение, выехал прогуляться по набережной и вдруг увидел, что навстречу ему едет рыцарь, вооруженный, как и он, с головы до ног, при этом на щите у него была нарисована сияющая луна; приблизившись на такое расстояние, откуда его должно было быть слышно, рыцарь возвысил голос и обратился к Дон Кихоту с такою речью:

— Преславный и еще недостаточно оцененный рыцарь Дон Кихот Ламанчский! Я тот самый Рыцарь Белой Луны, коего беспримерные деяния, уж верно, тебе памятны. Я намерен сразиться с тобою и испытать мощь твоих дланей, дабы ты признал и подтвердил, что моя госпожа, кто бы она ни была, бесконечно прекраснее твоей Дульсинеи Тобосской, и если ты открыто в этом признаешься, то себя самого избавишь от смерти, меня же — от труда умерщвлять тебя. Если же ты пожелаешь со мною биться и я тебя одолею, то в виде удовлетворения я потребую лишь, чтобы ты сложил оружие и, отказавшись от дальнейших поисков приключений, удалился и уединился в родное свое село сроком на один год и, не притрагиваясь к мечу, стал проводить свои дни в мирной тишине и благодетельном спокойствии, ибо того требуют приумножение достояния твоего и спасение твоей души. Буде же ты меня одолеешь, то в сем случае ты волен отсечь мне голову, доспехи мои и конь достанутся тебе, слава же о моих подвигах прибавится к твоей славе. Итак, выбирай любое и с ответом не медли, потому что я намерен нынче же с этим делом покончить.

Дон Кихот был поражен и озадачен как дерзким тоном Рыцаря Белой Луны, так и причиною вызова, и он строго, впрочем сохраняя наружное спокойствие, ему ответил:

— Рыцарь Белой Луны! О подвигах ваших я доселе не был наслышан, и я готов поклясться, что вы никогда не видели сиятельнейшую Дульсинею Тобосскую: я уверен, что если б вы ее видели, то воздержались бы от подобного вызова, ибо, улицезрев ее, вы тот же час удостоверились бы, что не было и не может быть на свете красавицы, которая сравнялась бы с Дульсинеей. Поэтому я не стану говорить, что вы лжете, а скажу, что вы заблуждаетесь, вызов же, который вы мне сделали, я на указанных вами условиях принимаю и предлагаю сразиться сей же час, не откладывая до другого дня. Единственно, на что я не могу согласиться, это чтобы слава о ваших подвигах перешла ко мне, ибо мне неизвестно, каковы они и что они собой представляют,— с меня довольно моих, каковы бы они ни были. Выбирайте же себе любое место на поле битвы, я выберу себе, а там что господь даст.

В городе уже заметили Рыцаря Белой Луны и уведомили вице-короля как о самом рыцаре, так и о том, что он вступил в разговор с Дон Кихотом Ламанчским. Вице-король вместе с доном Антоньо и множеством других кавальеро поспешил на набережную и прибыл туда как раз в ту минуту, когда Дон Кихот поворачивал Росинанта, чтобы взять разбег. Увидев, что всадники вот-вот налетят друг на друга, вице-король стал между ними и спросил, что за причина столь внезапной битвы. Рыцарь Белой Луны ответил, что спор у них зашел о том, кто первая красавица в мире, и, вкратце повторив все то, о чем он уже говорил Дон Кихоту, перечислил условия поединка, принятые обеими сторонами. Вице-король приблизился к дону Антоньо и тихо спросил, знает ли он, кто таков Рыцарь Белой Луны, и не намерен ли он подшутить над Дон Кихотом. Дон Антоньо ему ответил, что рыцаря он не знает и не знает также, в шутку или по-настоящему вызывает он Дон Кихота на поединок. Ответ дона Антоньо привел вице-короля в замешательство, и он колебался, позволить или воспретить единоборство; и все же он не мог допустить мысли, что это не шуточный поединок, а потому отъехал в сторону и сказал:

— Сеньоры кавальеро! Коль скоро у каждого из вас нет иного выхода, кроме как признать правоту своего противника или же умереть, между тем сеньор Дон Кихот продолжает стоять на своем, а ваша милость, Рыцарь Белой Луны, на своем, то начинайте с богом.

Рыцарь Белой Луны в изысканных и остроумных выражениях поблагодарил вице-короля за то, что он им позволил сразиться, и с такою же речью обратился к вице-королю Дон Кихот. Затем, всецело отдавшись под покровительство сил небесных, а равно и под покровительство Дульсинеи (как это он имел обыкновение делать перед началом всякого боя), Дон Кихот снова взял небольшой разбег, ибо заметил, что его противник также берет разгон, после чего без трубного звука и без какого-либо другого сигнала к бою рыцари одновременно поворотили коней и ринулись навстречу друг другу, но конь Рыцаря Белой Луны оказался проворнее и успел пробежать две трети разделявшего их расстояния, и тут Рыцарь Белой Луны, не пуская в ход копья (которое он, видимо, нарочно поднял вверх), с такой бешеной силой налетел на Дон Кихота, что тот вместе с Росинантом рискованное совершил падение. Рыцарь Белой Луны мгновенно очутился подле него и, приставив к его забралу копье, молвил:

— Вы побеждены, рыцарь, и вы умрете, если не пожелаете соблюсти условия нашего поединка.

Дон Кихот, ушибленный и оглушенный падением, не подни-

мая забрала, голосом слабым и глухим, как бы доносившимся из подземелья, произнес:

— Дульсинея Тобосская — самая прекрасная женщина в мире, а я самый несчастный рыцарь на свете, но мое бессилие не должно поколебать эту истину. Вонзай же копье свое, рыцарь, и отними у меня жизнь, ибо честь ты у меня уже отнял.

— Ни в коем случае,— объявил Рыцарь Белой Луны,— пусть все так же идет по миру слава о красоте сеньоры Дульсинеи Тобосской. Я удовольствуюсь тем, что досточтимый Дон Кихот удалится в свое имение на год,— словом, впредь до особого моего распоряжения, о чем у нас было условлено перед началом схватки.

Все это слышали вице-король, дон Антоньо и многие другие, при сем присутствовавшие, и слышали они также ответ Дон Кихота, который объявил, что коль скоро ничего оскорбительного для Дульсинеи с него не требуют, то он, будучи рыцарем добросовестным и честным, все остальное готов исполнить. Выслушав это признание, Рыцарь Белой Луны поворотил коня и, поклонившись вице-королю, поскакал коротким галопом в город.

Вице-король попросил дона Антоньо поехать за ним и во что бы то ни стало допытаться, кто он таков. Дон Кихота подхватили на руки, и когда подняли ему забрало, то все увидели его бледное и покрытое по́том лицо. Росинант же пребывал в столь жалком состоянии, что все еще не мог сдвинуться с места. Санчо, опечаленный и удрученный, не знал, что сказать и как поступить; у него было такое чувство, будто все это происходит во сне и словно все это сплошная чертовщина. На глазах Санчо его господин признал себя побежденным и обязался в течение целого года не браться за оружие, и казалось Санчо, что слава о великих подвигах Дон Кихота меркнет и что его собственные надежды, ожившиеся благодаря недавним обещаниям Дон Кихота, исчезают, как дым на ветру. Он боялся, не повреждены ли кости у Росинанта, и еще он боялся, что у его господина прошло повреждение ума (а между тем какое это было бы счастье!). В конце концов Дон Кихота понесли в город на носилках, которые были сюда доставлены по приказу вице-короля, а за ним последовал и вице-король, ибо ему любопытно было знать, кто таков Рыцарь Белой Луны, который столь безжалостно поступил с Дон Кихотом.

ГЛАВА XLV,

в коей сообщается о том, кто был Рыцарь Белой Луны

Дон Антоньо Морено поехал следом за Рыцарем Белой Луны, и еще следовали за рыцарем гурьбою и, можно сказать, преследовали его мальчишки до тех пор, пока он не укрылся в одной из городских гостиниц. Побуждаемый желанием с ним познакомиться, дон Антоньо туда вошел; рыцаря встретил слуга, чтобы снять с него доспехи; рыцарь прошел в залу, а за ним дон Антоньо, которого подмывало узнать, что же это за человек. Заметив, что кавальеро от него не отстает, Рыцарь Белой Луны обратился к нему с такими словами:

— Я вижу, сеньор, что вы пришли узнать, кто я таков, а так как мне скрываться не для чего, то, пока слуга будет снимать с меня доспехи, я вам расскажу все без утайки. Да будет вам известно, сеньор, что я бакалавр Самсон Карраско, односельчанин Дон Кихота Ламанчского, коего помешательство и слабоумие вызывают сожаление у всех его знакомых, и к числу тех, кто особенно о нем сокрушается, принадлежу я. Полагая же, что залог его выздоровления — покой и что ему необходимо пожить на родине и у себя дома, я придумал способ, как принудить его возвратиться, и вот месяца три тому назад, переодевшись странствующим рыцарем и назвавшись Рыцарем Зеркал, я настиг его по дороге; у меня было намерение сразиться с ним и, не причинив ему ни малейшего вреда, одолеть, при этом я предполагал биться на таких условиях, что побежденный сдается на милость победителя, а потребовать я с него хотел (ведь я уже заранее считал его побежденным), чтобы он возвратился в родное село и никуда оттуда не выезжал в течение года, а за это время он, мол, поправится; однако ж судьба распорядилась иначе, то есть одолел не я, а он,— он вышиб меня из седла, и таким образом замысел мой не был приведен в исполнение; он поехал дальше, а я, побежденный, посрамленный, оглушенный падением, которое, должно заметить, могло дурно для меня кончиться, возвратился восвояси, и все же у меня не пропала охота снова его разыскать и одолеть, чего мне и удалось достигнуть сегодня у вас на глазах. А так как он строго придерживается законов странствующего рыцарства, то, разумеется, во исполнение данного им слова не преминет подчиниться моему требованию. Вот, сеньор, и все, больше мне вам сказать нечего, но только я вас прошу: не выдавайте меня, не говорите Дон Кихоту, кто я таков, иначе не осуществится доброе мое намерение возвратить рассудок человеку, который умеет так здраво рассуждать, когда дело не касается всей этой рыцарской гили.

— Ах, сеньор! — воскликнул дон Антоньо.— Да простит вас бог за то, что вы наносите столь великий урон всему миру, стремясь образумить забавнейшего безумца на свете! Неужели вы, сеньор, не понимаете, что польза от Донкихотова здравомыслия не может идти ни в какое сравнение с тем удовольствием, которое доставляют его сумасбродства? Впрочем, я полагаю, что вся ваша изобретательность, сеньор бакалавр, окажется бессильной привести в разум человека, столь безнадежно больного. Конечно, нехорошо так говорить, но мне бы хотелось, чтобы Дон Кихот так и остался умалишенным, потому что стоит ему выздороветь — и для нас уже навеки потеряны забавные выходки не только его самого, но и его оруженосца Санчо Пансы, а ведь любая из них способна развеселить самоё меланхолию. Но все же я буду молчать и ничего не скажу Дон Кихоту — посмотрю, оправдаются ли мои предположения, что из всех ваших стараний, сеньор Карраско, ровно ничего не выйдет.

Карраско на это сказал, что дело его, несомненно, идет на лад и что он твердо верит в благоприятный его исход. Дон Антоньо объявил, что он всегда к его услугам, после чего они распрощались, и Самсон Карраско, велев навьючить свои доспехи на мула и не задерживаясь долее ни минуты, на том самом коне, что участвовал в битве с Дон Кихотом, выехал из города и прибыл в родные края, причем в пути с ним не произошло ничего такого, о чем следовало бы упомянуть на страницах правдивой этой истории. Дон Антоньо передал вице-королю все, что ему рассказал Карраско, от чего вице-король в восторг не пришел, ибо он полагал, что удаление Дон Кихота на покой лишит удовольствия всех, кто имел возможность получать сведения о его безумствах.

Дон Кихот, ослабевший, унылый, задумчивый и мрачный, пролежал в постели шесть дней, и все это время его неотступно преследовала мысль о злополучной битве, кончившейся его поражением. Санчо, сколько мог, его утешал и, между прочим, сказал ему следующее:

— Выше голову, государь мой! Постарайтесь рассеяться и возблагодарите господа бога за то, что, сверзившись с коня, вы ни одного ребра себе не сломали. Известно, что где дают, там же и бьют, дом с виду — полная чаша, а зайдешь — хоть шаром покати, так вот, стало быть, наплюйте на всех лекарей, потому никакого лекаря для вашей болезни не требуется, и поедемте домой, а поиски приключений в неведомых краях и незнакомых местах давайте-ка бросим. И ежели вдуматься, то больше всего на этом деле пострадал я, хотя, впрочем, доставалось больше вашей милости. Когда я покинул свое губернаторство, то у меня пропала всякая охота еще когда-нибудь губернаторствовать, но

зато меня не покинуло желание стать графом, а ведь этому уж не бывать, потому как ваша милость покидает рыцарское поприще, а значит, вам уж не бывать королем: вот и выходит, что надеждам моим, как видно, не сбыться.

— Оставь, Санчо! Ведь тебе же известно, что мое заточение и затворничество продлится не более года, а затем я снова возвращусь к моему почтенному занятию и не премину добыть себе королевство, а тебе графство.

— В добрый час сказать, в худой помолчать,— заметил Санчо.— Мне частенько приходилось слышать, что лучше на что-нибудь хорошее надеяться, чем иметь в руках что-нибудь дрянное.

Дон Кихот выехал из города без оружия, а Санчо — пешком, оттого что на серого навьючены были доспехи.

ГЛАВА XLVI

О том, как Дон Кихот принял решение стать пастухом и до истечения годичного срока жить среди полей, равно как и о других вещах, поистине приятных и превосходных

Уезжая из Барселоны, Дон Кихот обернулся и, бросив взгляд на то место, где он свалился с коня, воскликнул:

— Здесь была Троя! Здесь моя недоля, а не моя трусость похитила добытую мною славу, здесь Фортуна показала мне, сколь она изменчива, здесь помрачился блеск моих подвигов — одним словом, здесь закатилась моя счастливая звезда и никогда уже более не воссияет!

Послушав такие речи, Санчо сказал:

— Доблестным сердцам, государь мой, столь же подобает быть терпеливыми в годину бедствий, сколь и радостными в пору преуспеяний, и это я сужу по себе: когда я был губернатором, я был весел, но и теперь, когда я всего только пеший оруженосец, я тоже не унываю, потому я слыхал, что так называемая Фортуна — это пьяная и вздорная бабенка и вдобавок еще слепая: она не видит, что творит, и не знает, кого она низвергает, а кого возвеличивает.

— Ты изрядный философ, Санчо,— заметил Дон Кихот,— ты весьма здраво рассуждаешь, не знаю только, от кого ты этому научился. Полагаю, однако ж, не лишним заметить, что никакой Фортуны на свете нет, а все, что на свете творится, доброе или же дурное, совершается не случайно, но по особому предопределению неба, и вот откуда известное изречение: «Каждый человек — кузнец своего счастья». Я также был кузнецом своего

счастья, но я не выказал должного благоразумия, меня подвела моя самонадеянность: ведь я же должен был понять, что тощий мой Росинант не устоит против могучего и громадного коня Рыцаря Белой Луны. Словом, я дерзнул, собрал все свое мужество, меня сбили с коня, и хотя я утратил честь, но зато не утратил, да и не мог утратить, добродетели, заключающейся в верности своему слову. Когда я был странствующим рыцарем, дерзновенным и отважным, я собственною своею рукою, своими подвигами доказывал, каков я на деле, ныне же, когда я стал обыкновенным идальго, я исполню свое обещание и тем докажу, что я господин своему слову. Итак, вперед, друг Санчо: мы проведем этот год искуса дома, накопим сил за время нашего заточения и вновь устремимся на бранное поприще, вовеки незабвенное.

— Сеньор! — молвил Санчо.— Плестись пешком вовсе не так приятно, я отнюдь не обуреваем страстью к большим переходам. Давайте-ка повесим доспехи на дерево, заместо разбойника, когда же я устроюсь на спине у серого и ноги мои перестанут касаться земли, мы сможем совершать любые переходы, какие только ваша милость потребует и назначит, а чтобы я пешком отмахивал большие расстояния — это вещь невозможная.

— Ты дело говоришь, Санчо,— заметил Дон Кихот,— пусть мои доспехи висят в виде трофея, а под ними или же где-нибудь рядом мы вырежем на древесной коре такую же точно надпись, какая была начертана на трофее Роландовом*, состоявшем из его доспехов:

Лишь тот достоин ими обладать,
Кто и Роланду бой решится дать.

— Чудо как хорошо,— заметил Санчо,— и если б Росинант не нужен был нам в пути, то и его не худо было бы подвесить.

— Нет,— сказал Дон Кихот,— нельзя подвешивать ни Росинанта, ни мои доспехи, а то станут про меня говорить: «Так-то он платит за верную служ бу?»

— Совершенная правда, ваша милость,— согласился Санчо.— Умные люди считают, что не должно вину осла перекладывать на седло, в том же, что произошло, виновата ваша милость, а посему и наказывайте себя самого, но не вымещайте свою досаду ни на поломанных и окровавленных доспехах, ни на смирном Росинанте, ни на моих нежных ногах и не требуйте, чтобы они топали больше того, что им положено.

Разговария таким образом, ехали они своей дорогой и наконец увидели луг. Дон Кихот окинул его взглядом и сказал Санчо:

— Если ты ничего не имеешь против, Санчо, давай превратимся в пастухов* хотя бы на то время, которое мне положено

провести в уединении. Я куплю овечек и все, что нужно пастухам, назовусь пастухом *Кихотисом*, ты назовешься пастухом *Пансино*, и мы, то распевая песни, то сетуя, будем бродить по горам, рощам и лугам, утоляя жажду текучим хрусталем ключей, светлых ручейков или же полноводных рек. Дубы щедро оделят нас сладчайшими своими плодами, крепчайшие стволы дубов пробковых предложат нам сиденья, ивы — свою тень, розы одарят нас своим благоуханием, необозримые луга — многоцветными коврами, прозрачный и чистый воздух напоит нас своим дыханием, луна и звезды подарят нам свой свет, торжествующий над ночной темнотою, песни доставят нам удовольствие, слезы — отраду, Аполлон вдохновит нас на стихи, а любовь подскажет нам такие замыслы, которые обессмертят нас и прославят не только в век нынешний, но и в веках грядущих.

— Ей-богу, мне такая жизнь как раз по нутру,— признался Санчо,— да не только мне — дайте на нас поглядеть бакалавру Самсону Карраско и цирюльнику маэсе Николасу, и они тот же час к нам присоединятся и заделаются пастухами, а там, глядишь, и сам священник препожалует к нашему шалашу: ведь он у нас весельчак и любит разные потехи.

— Мысль верная,— заметил Дон Кихот,— бакалавр Самсон Карраско, если только он вступит в нашу пастушескую общину,— а он, разумеется, вступит,— может назваться пастухом *Самсонино* или пастухом *Карраскоиом*, а цирюльник Николас может назваться *Никулосо*. Вот только не знаю, какое бы нам имя придумать священнику. Впрочем, как производное от его сана, ему можно дать прозвище пастуха *Пресвитериамбро**. Между тем подобрать имена для пастушек, в которых мы будем влюблены, это проще простого, а так как имя моей госпожи одинаково подходит и для пастушки и для принцессы, то и не к чему мне утруждать себя поисками более удачного имени, ты же, Санчо, подбери для своей пастушки какое угодно.

— Я буду звать ее только *Терессоной*,— объявил Санчо,— это как раз подойдет к ее настоящему имени: ведь ее зовут Тересой. Мало того: я еще буду воспевать ее в стихах и тем докажу, что я человек добродетельный и по чужим домам от добра добра не ищу.

— Господи ты боже мой, какую жизнь мы будем с тобой вести, друг Санчо! — воскликнул Дон Кихот.— Каких только кларнетов, волынок, тамбуринов, бубнов и равелей мы с тобой не наслушаемся! А чтобы мы могли показать себя на новом поприще с наивыгодной стороны, то нам тут окажет существенную помощь вот какое обстоятельство: ведь я, как ты знаешь, отчасти стихотворец, бакалавр же Самсон Карраско — поэт изрядный. О священнике я ничего не могу сказать, однако ж готов

биться об заклад, что он балуется стихами. Не сомневаюсь, что грешит этим и маэсе Николас, оттого что все или почти все цирюльники — гитаристы и стихоплеты. Я стану сетовать на разлуку, ты станешь воспевать свое постоянство в любви, пастух Карраскон будет роптать на то, что он отвергнут, священник Пресвитериамбро изберет то, что ему всего более придется по душе,— словом, все выйдет как нельзя лучше.

Санчо же ему на это сказал:

— Я, сеньор, человек незадачливый и, боюсь, не доживу до такой жизни. А каких бы деревянных ложек я наделал, когда бы стал пастухом! Какие бы у нас были гренки, какие сливки, какие венки — словом, всякая была бы у нас всячина, какая только водится у пастухов, так что за умника я, пожалуй что, и не сошел бы, а за искусника — это уж наверняка.

— Однако довольно об этом,— заметил Дон Кихот,— уже стемнело, давай-ка свернем с большой дороги и заночуем где-нибудь поблизости,— утро вечера мудренее.

Они свернули в сторону, и ужин вышел у них поздний и скудный, что весьма огорчило Санчо, коего мысленному взору снова представились все лишения, сопряженные с поприщем странствующего рыцарства и с блужданиями в лесах и горах и лишь по временам сменяющиеся довольством в замках и домах, как, например, на свадьбе у богача Камачо и в гостях у дона Антоньо Морено, однако ж, приняв в соображение, что как дню, так и ночи бывает конец, Санчо рассудил за благо лечь спать, господин же его порешил бодрствовать.

ГЛАВА XLVII

О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо, когда они ехали в свое село

Ночь была довольно темная; луна, правда, взошла, однако ж находилась не на таком месте, откуда ее можно было видеть: надобно знать, что иной раз госпожа Диана отправляется на прогулку к антиподам*, горы же оставляет во мраке и долы во тьме. Дон Кихот отдал дань природе, и первый сон одолел его, зато уж второй ничего не мог с ним поделать, у Санчо же все обстояло по-иному: у него никакого второго сна и не могло быть, оттого что сон его длился беспрерывно, с ночи до утра, что́ свидетельствовало о добром его здоровье и о его беззаботности. Между тем от Дон Кихота заботы отогнали сон, и, разбудив Санчо, он сказал:

— Меня приводит в изумление, Санчо, беспечный твой нрав: можно подумать, что ты сделан из мрамора или же из

прочной меди, ибо и тот и другая недвижны и бесчувственны. Я бодрствую, в то время как ты спишь, я плачу, в то время как ты поёшь, я изнуряю себя постом, а ты наедаешься до того, что тебе трудно бывает двигаться и дышать. Доброму слуге подобает делить с господином его невзгоды и хотя бы для виду горевать вместе с ним. Обрати внимание, какая тихая стоит ночь, как вокруг нас пустынно,— все это призывает нас перемежать сон бдением. Так будь же добр: встань, отойди в сторону и, преисполнившись человеколюбия, благодарности и отваги, отсчитай себе ударов триста — четыреста из того общего числа, от которого зависит расколдование Дульсинеи. На сей раз я ограничиваюсь просьбою и мольбою, вторично же схватываться с тобой врукопашную я не намерен, ибо испытал на себе тяжесть твоей руки. А когда ты покончишь с самобичеванием, мы проведем остаток ночи в пении: я буду петь о разлуке, ты — о своей верности, и так мы положим начало тому пастушескому образу жизни, который будем вести у себя в селе.

— Сеньор! — возразил Санчо.— Я не монах, чтобы вставать среди ночи и начинать умерщвлять свою плоть, тем паче нельзя, думается мне, после розог, когда тебе еще чертовски больно, прямо переходить к пению. Дайте мне поспать, ваша милость, и не приставайте ко мне с поркой, иначе я дам клятву, что никогда не прикоснусь к ворсу на своей одежде, а не только что к своему телу.

— О черствая душа! О бессердечный оруженосец! Я ли тебя не кормил, я ли не осыпал тебя милостями и не намеревался осыпáть ими и впредь! Благодаря мне ты стал губернатором, благодаря мне у тебя есть все основания надеяться на получение графского титула или же чего-либо равноценного, и надежды эти сбудутся не позднее чем через год.

— Я знаю одно,— сказал Санчо,— когда я сплю, я ничего не боюсь, ни на что не надеюсь, не печалюсь и не радуюсь. Дай бог здоровья тому, кто придумал сон: ведь это плащ, который прикрывает все человеческие помыслы, пища, насыщающая голод, вода, утоляющая жажду, огонь, согревающий холод, холод, умеряющий жар,— словом сказать, это единая для всех монета, на которую можно купить все, это весы и гиря, уравнивающие короля с пастухом и простака с разумником. Одним только, говорят люди, сон нехорош: есть в нем сходство со смертью, потому между спящим и мертвым разница невелика.

— Никогда еще, Санчо, ты столь изысканно не выражался,— заметил Дон Кихот,— теперь я начинаю понимать, сколь справедлива та пословица, которую ты приводил неоднократно: с кем поведешься, от того и наберешься.

— Вот так так, драгоценный мой господин! — воскликнул Санчо.— Теперь уж не я сыплю пословицами — теперь они у вас так и срываются с языка, почище чем у меня: разница, как видно, только в том, что пословицы вашей милости уместны, а мои — невпопад, ну, а если разобраться, то ведь и те и другие — пословицы.

Во время этого разговора внезапно послышался неясный шум и какие-то неприятные звуки, разносившиеся далеко окрест. Дон Кихот вскочил и взялся за меч, Санчо же забрался под своего серого, а с боков заградился доспехами и вьючным седлом, и был он столь же напуган, сколь взволнован был Дон Кихот. Шум усиливался и становился все явственнее для слуха двух устрашенных — впрочем, не для двух, а только для одного, ибо мужество другого хорошо известно. Дело, однако ж, состояло вот в чем: несколько человек направлялись в этот час на ярмарку и гнали на продажу более шестисот свиней, и вот эти-то самые свиньи визгом своим и хрюканьем производили тот шум, который оглушил Дон Кихота и Санчо, так что они не могли взять в толк, что бы это значило. Огромное хрюкающее стадо налетело на Дон Кихота и Санчо и, не поглядев ни на того, ни на другого, сокрушило Санчовы заграждения, сшибло с ног не только Дон Кихота, но в довершение всего и Росинанта и прошлось по рыцарю и по оруженосцу. Внезапность и стремительность нападения гнусных сих тварей, а равно и хрюканье их привели в смятение и повергли наземь седло, доспехи, серого, Росинанта, Санчо и Дон Кихота. Санчо кое-как поднялся и попросил у своего господина меч, объявив, что намерен заколоть штук шесть этих неучтивых господ свиней, а что по нему прошлись именно свиньи, это было для него теперь очевидно. Дон Кихот, однако ж, ему сказал:

— Оставь их, мой друг: это оскорбление послано мне в наказание за мой грех, ибо в том-то и заключается справедливая кара небес, постигающая побежденного странствующего рыцаря, что на него нападают шакалы, что его жалят осы и топчут свиньи.

— Что касается небесной кары, постигающей оруженосцев, которые состоят на службе у побежденных рыцарей,— подхватил Санчо,— то она, как видно, заключается в том, что их кусают мухи, едят вши и мучает голод. Добро бы мы, оруженосцы, приходились рыцарям родными сыновьями или же близкими родственниками, тогда не обидно было бы, что нас карают за их грехи даже до четвертого колена, но в каком таком родстве состоят Кихоты и Панса? Ну ладно, давайте устроимся поудобнее и поспим до утра, а там видно будет.

— Спи, Санчо,— молвил Дон Кихот,— ты рожден для того, чтобы спать, я же, рожденный бодрствовать, в эти часы, оставшиеся до наступления дня, дам волю моим думам и выражу их в небольшом мадригале*, который я без твоего ведома прошедшей ночью сочинил в уме.

— Мне сдается, что для песенки особенно много дум не требуется,— заметил Санчо.— Пойте себе, ваша милость, сколько хотите, а я посплю, сколько мне удастся.

Вслед за тем, заняв столько места, сколько ему заблагорассудилось, Санчо свернулся клубочком и заснул сном праведника, не нарушаемым ни заботами о долгах и поручительствах, ни душевными горестями. Дон Кихот же, прислонившись к дереву, под аккомпанемент собственных вздохов запел. Каждый стих он сопровождал множеством вздохов и довольно обильными слезами, свидетельствовавшими о том, что сердце у него исполнено горечи и разрывается на части при мысли о поражении и о разлуке с Дульсинеей.

Тем временем наступил день, солнце било Санчо прямо в глаза и в конце концов разбудило его — он потянулся, встряхнулся и расправил свои разнежившиеся члены. Засим оба поехали дальше, и дорогою побежденный и теснимый судьбою Дон Кихот обратился к Санчо с такими словами:

— Если, друг Санчо, ты захочешь платы за порку для расколдования Дульсинеи, то я тебе уплачу сполна, хотя я и не уверен, долженствует ли подобного рода лечение быть оплачено, я даже боюсь, как бы награда не повлияла дурно на действие лекарства. Со всем тем, по моему разумению, попытка — не пытка; подумай, Санчо, сколько ты желаешь получить, и, нимало не медля, приступай к порке, а после сам же себе уплати наличными, потому что деньги мои у тебя.

Это предложение заставило Санчо выпучить глаза и развесить уши, и, мысленно порешив выпороть себя на совесть, он сказал своему господину:

— Так и быть, сеньор, я готов угодить вашей милости и доставить вам удовольствие, с пользою, однако ж, и для себя: из любви к детям и к жене поневоле станешь сребролюбивым. А скажите, ваша милость, сколько ж вы мне положите за каждый удар?

— Когда б я намеревался вознаградить тебя, Санчо,— отвечал Дон Кихот,— сообразно с мощью и действенностью этого средства, то мне не хватило бы всех сокровищ Венеции и россыпей Потоси*. Прикинь, сколько у тебя моих денег, и сам назначь цену.

— Всего должно быть три тысячи триста с лишним ударов,— сказал Санчо,— из них я уже нанес себе пять, остальные

за мною; эти пять пусть покроют лишек, значит, давайте считать всего три тысячи триста. Так вот, если положить по одному куартильо* за каждый удар (а уж меньше я не возьму ни за что на свете), то всего выйдет три тысячи триста куартильо, три тысячи куартильо — это полторы тысячи полуреалов, то есть семьсот пятьдесят реалов, триста же куартильо составляют полтораста полуреалов, то есть семьдесят пять реалов, и вот если к семистам пятидесяти реалам прибавить эти семьдесят пять, то получится всего восемьсот двадцать пять реалов. Эту сумму я вычту из денег вашей милости и возвращусь домой богатым и довольным, хотя и как следует выпоротым, ну да ведь рыбки захочешь — штаны замочишь.

— О благословенный Санчо! О дражайший Санчо! — воскликнул Дон Кихот.— После этого мы с Дульсинеей будем считать, что мы у тебя в долгу до конца наших дней! Если только Дульсинея обретет утраченный облик (а я и не мыслю себе, чтоб могло быть иначе), ее несчастье преобразится в счастье, а мое поражение наиславнейшим торжеством обернется. Итак, Санчо, я жду от тебя ответа, когда ты приступишь к самобичеванию,— для ускорения дела я готов прибавить еще сто реалов.

— Когда? — переспросил Санчо.— Нынче же ночью, можете быть уверены. Постарайтесь, ваша милость, чтобы мы провели эту ночь в поле, под открытым небом, а уж я себя исполосую — только держись!

Вот наконец и настала ночь, которой Дон Кихот дожидался с нетерпением чрезвычайным, ибо ему казалось, будто колеса Аполлоновой колесницы* сломались и что день тянется долее обыкновенного: в сем случае он ничем не отличался от всех влюбленных, которые не умеют держать себя в руках. Наконец они въехали в приютную рощу, неподалеку от дороги, и, расседлав Росинанта и серого, растянулись на зеленой травке и поужинали тем, что было припасено у Санчо; засим помянутый Санчо сделал из узды Росинанта и недоуздка серого хлесткий и гибкий бич и отошел шагов на двадцать от своего господина, под сень буков. Заметив, с каким решительным и бесстрашным видом он шагает, Дон Кихот сказал ему:

— Смотри, друг мой, не избивай себя до бесчувствия, устраивай перерывы, не выказывай излишней горячности, иначе ты выдохнешься на полдороге,— я хочу сказать, чтобы ты себя пожалел, иначе ты отправишься на тот свет прежде, нежели достигнешь желанной цели. А дабы ты ни пересолил, ни недосолил, я стану тут же, рядом, и начну отсчитывать на четках наносимые тобою удары. Засим да поможет тебе господь бог претворить в жизнь благое твое намерение.

— Исправному плательщику залог не страшен,— объявил Санчо,— я буду бить себя больно, но не до смерти: ведь в этом-то весь смысл чуда и состоит.

Тут он обнажился до пояса и, схватив ременную плеть, начал себя хлестать, а Дон Кихот занялся подсчетом ударов. Санчо уже дошел примерно до восьми ударов, а затем, смекнув, что это дело нешуточное и что цену он взял пустяковую, приостановил самосечение и сказал своему господину, что он продешевил и что каждый такой удар должен стоить не куартильо, а полуреал.

— Продолжай, друг Санчо,— молвил Дон Кихот,— не волнуйся, я заплачу тебе вдвое.

— Коли так,— подхватил Санчо,— господи благослови! Ох, я же себе сейчас и всыплю!

Однако хитрец перестал хлестать себя по спине и начал хлестать по деревьям, что́, впрочем, не мешало ему по временам так громко стонать, что казалось, будто вместе с каждым таким стоном из его тела вылетает душа. Между тем у Дон Кихота душа была добрая, и он опасался, как бы Санчо не уходил себя насмерть, из-за собственного неблагоразумия так и не достигнув своей цели, вот почему он сказал Санчо:

— Сделай одолжение, друг мой, прерви на сем месте свое занятие: средство это мне представляется чересчур сильным, для него требуется передышка, недаром говорится: Самору долго осаждали*, а с налету никогда бы не взяли. Если только я не обчелся, ты уже нанес себе более тысячи ударов,— пока что довольно. Грубо выражаясь, осла нагружай, нагружай — он и не охнет, а перегрузил — издохнет.

— Нет, нет сеньор,— возразил Санчо,— не желаю я, чтоб про меня говорили: «Де́нежки получил — и ручки сложил». Отойдите, ваша милость, чуть подальше, дайте я нанесу себе хотя бы еще одну тысячу: мы меньше чем в два приема с этим делом справимся, а кончил дело — гуляй смело.

— Ну, коли уж у тебя такой прилив бодрости, бог тебе в помощь,— молвил Дон Кихот,— стегай себя, а я отойду в сторону.

Санчо с таким рвением вновь принялся выполнять свой урок, что скоро на многих деревьях кора оказалась содранной — до того жестоко он себя бичевал; наконец, изо всех сил хлестнув плетью по стволу бука, он громко воскликнул:

— Здесь погиб Самсон и все филистимляне!

Услышав страшный звук удара и сей жалобный голос, Дон Кихот устремился к Санчо и, выхватив у него перевитой ремень узды, служивший оруженосцу бичом, сказал:

— Судьба не допустит, друг Санчо, чтобы, стараясь мне

угодить, ты засек себя до смерти: ты нужен жене и детям, а Дульсинея потерпит до другого раза, я же, уповая на близкий конец этого предприятия, подожду, пока ты соберешься с силами и к общему благополучию его завершишь.

— Коли уж вам, государь мой, так хочется, то пусть будет по-вашему,— согласился Санчо,— только набросьте мне на плечи вашу накидку, а то я вспотел и боюсь простудиться: кто в первый раз себя бичует, тому это очень даже просто.

Дон Кихот так и сделал и, оставшись в одном камзоле, отдал накидку Санчо, Санчо же проспал до тех пор, пока его не разбудило солнце, и тогда они снова тронулись в путь.

— Скажи мне, Санчо,— спросил Дон Кихот,— намерен ли ты в ближайшую ночь отсчитать себе еще одну порцию плетей и желаешь ли ты, чтоб это было под кровом или же под открытым небом?

— Ей-ей, сеньор,— молвил Санчо,— этим заниматься можно где угодно: хочешь — дома, хочешь — в поле. Впрочем, я бы все-таки предпочел под деревьями: у меня такое чувство, будто они со мной заодно и здорово мне помогают.

— Нет, друг Санчо, я передумал,— объявил Дон Кихот,— тебе надобно набраться побольше сил, почему мы и отложим это до возвращения к себе домой, а ведь мы приедем, самое позднее, послезавтра.

Санчо сказал, что дело, мол, хозяйское, но что он бы хотел покончить с этим, пока железо еще горячо и пока чешутся руки, ибо промедление часто бывает опаснее всего, и у бога просить не стыдись, но и потрудиться для него не ленись, и одно «Возьми!» лучше двух посулов, и лучше синица в руках, чем журавль в небе.

— Довольно пословиц, Санчо, ради самого Христа! — взмолился Дон Кихот.— Ты, кажется, снова принимаешься за прежнее. Говори просто, ясно, без обиняков, как я уже неоднократно тебя учил: лучше меньше, да лучше.

— Уж и не знаю, что это за незадача,— сказал Санчо,— я без поговорки слова не могу сказать, и всякая поговорка кажется мне словом разумным, однако ж я все старания приложу, чтобы исправиться.

Следующую ночь Дон Кихот провел также среди деревьев, чтобы предоставить возможность Санчо покончить с его уроком; Санчо и на сей раз исполнял его тем же самым способом, что и прошедшей ночью, то есть в неизмеримо большей степени за счет буковой коры, нежели за счет собственной спины, с которою он до того бережно обходился, что даже муху не могли бы с нее согнать наносимые им удары. Обманутый Дон Кихот ни разу не ошибся в счете и нашел, что вместе со

вчерашними общее число плетей достигает трех тысяч двадцати девяти. Солнце, казалось, взошло в этот день раньше только для того, чтобы взглянуть на это жертвоприношение, и с первыми его лучами Дон Кихот и Санчо поехали дальше.

Весь этот день, равно как и следующую ночь, они провели в пути, и за это время с ними не случилось ничего такого, что заслуживало бы описания, за исключением разве того, что ночью Санчо выполнил свой урок, чему Дон Кихот возрадовался несказанно,— он с нетерпением стал ожидать рассвета, оттого что днем, казалось ему, он непременно должен встретить уже расколдованную владычицу свою Дульсинею; и, продолжая свой путь, он не пропускал ни одной женщины без того, чтобы не поглядеть: уж не Дульсинея ли это Тобосская, а что Мерлин мог не исполнить своего обещания — это представлялось ему невероятным. Занятый этими мыслями и мечтами, он вместе с Санчо въехал на холм, с вершины которого открывался вид на их родное село, и тут Санчо, опустившись на колени, воскликнул:

— Открой очи, желанная отчизна, и взгляни на сына своего Санчо Пансу: он возвращается к тебе не сильно разбогатевший, но зато лихо исполосованный плетьми. Раскрой объятия и прими также сына своего Дон Кихота: его одолела рука другого, зато он преодолел самого себя, а ведь это он же мне и говорил, что более доблестной победы невозможно себе пожелать. Я возвращаюсь при деньгах, потому хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился.

— Полно дурачиться,— сказал Дон Кихот,— дай бог нам счастливо въехать в наше селение, а уж там, на досуге, наша выдумка придет нам на помощь, и мы составим план пастушеской жизни, которую мы намереваемся вести.

Тут они спустились с холма и двинулись по направлению к своему селу.

ГЛАВА XLVIII

О знамениях, последовавших при въезде Дон Кихота в его село, равно как и о других событиях, служащих к украшению и вящему правдоподобию великой этой истории

Когда же они въезжали в село, то Дон Кихот увидел, что возле гумна ссорятся двое мальчишек, из коих один крикнул другому:

— Зря силы тратишь, Перикильо,— больше ты ее никогда в жизни не увидишь!

Тут Дон Кихот сказал Санчо:

— Ты обратил внимание, друг мой, что́ сказал мальчишка: «Больше ты ее никогда в жизни не увидишь»?

— Ну и что ж такого? — возразил Санчо.— Мало ли что скажет мальчишка!

— Как что ж такого? — воскликнул Дон Кихот.— Разве ты не понимаешь, что если применить эти слова ко мне, то выйдет, что мне не видать больше Дульсинеи?

Санчо только хотел было ему ответить, как вдруг увидел, что по полю бежит заяц, гонимый множеством охотников и борзых собак, и вот этот самый заяц от испуга юркнул и забился под брюхо к серому. Санчо поймал его голыми руками и преподнес Дон Кихоту, но Дон Кихот сказал:

— Дурной знак! Дурной знак! Заяц бежит, за ним гонятся борзые,— не увижу я Дульсинеи!

— Странный вы человек, ваша милость,— заметил Санчо.— Предположим, что этот заяц — Дульсинея Тобосская, а борзые, которые его травят,— это лиходеи-волшебники, превратившие ее в сельчанку; она бежит, я ее ловлю и отдаю в руки вашей милости, а вы держите ее в объятиях и ласкаете,— какая же это дурная примета и в чем же здесь можно видеть дурное предзнаменование?

Двое только что повздоривших мальчишек подошли поглядеть на зайца, и одного из них Санчо спросил, из-за чего у них вышла ссора. На это мальчишка, который сказал: «Больше ты ее никогда в жизни не увидишь», ответил Санчо, что он отнял у своего товарища клетку со сверчками и больше никогда ему не отдаст. Санчо вынул из кармана четыре куарто* и вручил их мальчугану, а у него взял клетку и, передав ее Дон Кихоту, молвил:

— Готово дело, сеньор: все эти предзнаменования разрушены и развеяны в прах, хотя, впрочем, к нашим делам они имеют такое же точно касательство, как прошлогодние тучи: это даже и я соображаю, хоть я и недальнего ума человек. И если память мне не изменяет, я слыхал от нашего священника, что истинным христианам, и к тому же еще людям просвещенным, не подобает придавать значение таким пустякам, да и сами же вы, ваша милость, на днях мне объясняли, что христиане, верящие в приметы, дураки. Стало быть, и нечего нам тут из-за этого мешкать, поедемте дальше, прямо к себе домой.

Подъехали охотники, потребовали своего зайца, и Дон Кихот им его отдал; Дон Кихот и Санчо поехали своей дорогой и при въезде в село увидели, что на лужайке читают молитвы священник и бакалавр Карраско.

Священник и бакалавр тотчас узнали обоих путешественников и бросились к ним с распростертыми объятиями. Дон Кихот спешился и крепко их обнял; деревенские же мальчишки, сбежавшись гурьбой, скликали друг друга:

— Эй, ребята, поглядите на *осла Санчо* — какой он нарядный, и на *эту клячу Дон Кихота* — у нее уж теперь все ребра видны!

Наконец, окруженные мальчишками и сопровождаемые священником и бакалавром, Дон Кихот и Санчо въехали в село и направились к дому Дон Кихота, на пороге коего стояли ключница и племянница, уже осведомленные об их приезде. Услышала об этом и супруга Санчо, Тереса Панса; растрепанная, полуодетая, схватив за руку дочку свою Марисанчу, она побежала встречать мужа; когда же она разглядела, что он не так наряжен, как, в ее представлении, приличествовало губернатору, то сказала ему:

— Что это с тобой, муженек? Возвращаешься домой вроде как пешком и притом еще еле ковыляешь; право, вид у тебя не как у губернатора, а словно ты уже отгубернаторствовал.

— Молчи, Тереса,— сказал Санчо,— по уму встречают — по платью провожают, дай только до дому дойти — уж наслушаешься ты чудес. Я привез денег, это самое главное, и нажил я их собственной смекалкой, а чтобы кого обидеть — боже упаси.

— Давай сюда денежки, любезный муженек,— рассудила Тереса,— а нажиты они могут быть всяко. Как бы ты их ни нажил, этим ты никого не удивишь.

Дочка обняла отца и спросила, что он ей привез: видно было, что ждала она его, как майского дождичка; затем она ухватилась за его пояс, а осла взяла под уздцы, жена с другой стороны взяла Санчо за руку, и все они отправились к себе домой; Дон Кихот между тем остался у себя — на попечении ключницы и племянницы, а также в обществе священника и бакалавра.

Не дав никому опомниться, Дон Кихот тотчас заперся с бакалавром и священником и в кратких словах рассказал им о своем поражении и о том, что он принял на себя обязательство в течение года не выезжать из села, каковое обязательство он-де намерен выполнять буквально, не отступая от него ни на йоту, как подобает странствующему рыцарю, свято соблюдающему свой устав, и что он собирается на этот год стать пастухом и уйти в безлюдные поля, где можно дать полную волю своим любовным думам, подвизаясь на поприще добродетельной пастушеской жизни; и он-де просит священника и бакалавра, если только они не очень заняты и им не помешают более

важные дела, к нему присоединиться: он-де намерен приобрести стадо овец, вполне достаточное для того, чтобы им всем иметь право называться пастухами, а еще, мол, он доводит до их сведения, что главное уже сделано, ибо имена для них он подобрал, и притом весьма подходящие. Священник полюбопытствовал, какие именно. Дон Кихот ответил, что сам он будет называться пастухом *Кихотисом*, бакалавр — пастухом *Карраскоиом*, священник — пастухом *Пресвитериамбро*, а Санчо Панса — пастухом *Пансино*. Этот новый предмет Донкихотова помешательства поразил священника и бакалавра, однако ж, дабы он снова, рацарских ради подвигов, не пустился в странствия и в надежде на то, что за этот год он, может статься, поправится, они эту новую его затею одобрили и, безумную его мысль признав вполне здравою, согласились вместе с ним начать подвизаться на новом поприще.

— И вот еще что,— прибавил Самсон Карраско.— Всем известно, что я знаменитый поэт, так вот я все время буду сочинять стихи, чтобы нам не скучно было скитаться в дебрях, но важнее всего, государи мои, чтобы каждый из нас придумал имя для пастушки, которую он намерен воспевать, и пусть не останется ни одного дерева с самой крепкой корой, на коем мы эти имена не начертали бы и не вырезали, как это принято и как это водится у влюбленных пастухов.

— Все это совершенно верно,— заметил Дон Кихот,— но только мне лично незачем придумывать имя для воображаемой пастушки, когда у меня есть несравненная Дульсинея Тобосская, слава окрестных берегов, украшение наших полей, святилище красоты, верх изящества,— словом, та, которой можно воздать любую хвалу, не опасаясь впасть в преувеличение.

Священник еще раз обещал проводить с Дон Кихотом все то время, какое будет у него оставаться после исполнения непременных его обязанностей. На этом священник и бакалавр с Дон Кихотом распрощались, а перед уходом обратились к нему с просьбой беречь свое здоровье и посоветовали обратить особое внимание на пищу.

Племянница и ключница волею судеб слышали этот разговор, и как скоро священник с бакалавром удалились, они вошли вдвоем к Дон Кихоту, и тут племянница повела с ним такую речь:

— Что это значит, дядюшка? Мы были уверены, что вы возвратились домой навсегда и собираетесь вести мирный и достойный образ жизни, а вас, оказывается, тянет в новые дебри. Честное слово, годы ваши не те!

Тут вмешалась ключница:

— Да разве полуденный зной — летом, ночная сырость и

вой волков — зимою, разве это для вас, ваша милость? Конечно, нет; это поприще и занятие для людей крепких, закаленных, приученных к этому делу, можно сказать, с пеленок. Уж коли из двух зол выбирать, так лучше быть странствующим рыцарем, нежели пастухом. Право, сеньор, послушайтесь вы моего совета — ведь я вам его даю не с пьяных глаз, а в здравом уме, и я недаром прожила на свете полвека,— оставайтесь дома, займитесь хозяйством, почаще исповедуйтесь, помогайте бедным, и если это не пойдет вам на пользу, то грех будет на моей душе.

— Полно, дочки,— сказал Дон Кихот,— я сам знаю, как мне надлежит поступить. Уложите меня в постель,— я чувствую некоторое недомогание,— и помните, что кем бы я ни был: странствующим ли рыцарем, пастухом ли, я вечно буду о вас заботиться, в чем вы и убедитесь на деле.

И тут обе милые дочки (а ведь ключница и племянница и правда были ему как дочки) уложили его в постель и постарались как можно лучше накормить его и угостить.

ГЛАВА XLIX

О том, как Дон Кихот занемог, о составленном им завещании и о его кончине

Ничто на земле не вечно, все с самого начала и до последнего мгновения клонится к закату, в особенности жизнь человеческая, а так как небо не наделило жизнь Дон Кихота особым даром замедлять свое течение, то смерть его и кончина последовали совершенно для него неожиданно; может статься, он сильно затосковал после своего поражения, или уж так распорядилось небо, но только он заболел горячкой, продержавшей его шесть дней в постели, и все это время его навещали друзья: священник, бакалавр и цирюльник, добрый же оруженосец Санчо Панса не отходил от его изголовья. Друзья, полагая, что так на него подействовало горестное сознание своего поражения и своего бессилия освободить и расколдовать Дульсинею, всячески старались развеселить Дон Кихота, а бакалавр все твердил, чтобы он переломил себя, встал с постели и начал вести пастушескую жизнь, на каковой предмет он, бакалавр, уже купил у скотовода на собственные деньги двух славных псов, чтобы сторожить стадо, из коих одного кличут Муругим, а другого — Птицеловом. Все это, однако ж, не могло развеять печаль Дон Кихота.

Друзья послали за лекарем; тот пощупал пульс, остался

им недоволен и посоветовал Дон Кихоту на всякий случай подумать о душевном здравии, ибо телесному его здравию грозит, мол, опасность. Дон Кихот выслушал его спокойно, но не так отнеслись к этому ключница, племянница и оруженосец — они горькими слезами заплакали, точно Дон Кихот был уже мертв. Лекарь высказался в том смысле, что Дон Кихота губят тоска и уныние. Дон Кихот попросил оставить его одного, ибо его, дескать, клонит ко сну. Желание это было исполнено, и он проспал более шести часов подряд, как говорится, без просыпу, так что ключница и племянница уже забеспокоились, не умер ли он во сне. По прошествии указанного времени он, однако ж, пробудился и громко воскликнул:

— Благословен всемогущий бог, столь великую явивший мне милость! Милосердие его воистину бесконечно, и прегрешения человеческие не властны ни ограничить его, ни истощить.

Племянница слушала дядю своего со вниманием, и речи его показались ей разумнее обыкновенного, во всяком случае — разумнее того, что он говорил во время болезни, а потому она обратилась к нему с такими словами:

— О чем это вы толкуете, дядюшка? Кажется, это что-то новое? О каком таком милосердии и о каких человеческих прегрешениях вы говорите?

— О том самом милосердии, племянница, которое в этот миг, невзирая на мои прегрешения, проявил ко мне господь,— отвечал Дон Кихот.— Разум мой прояснился, теперь он уже свободен от густого мрака невежества, в которое его погрузило злополучное и постоянное чтение мерзких рыцарских романов. Теперь я вижу всю их вздорность и лживость, и единственно, что меня огорчает, это что отрезвление настало слишком поздно и у меня уже нет времени исправить ошибку и приняться за чтение других книг, которые являются светочами для души. Послушай, племянница: я чувствую, что умираю, и мне бы хотелось умереть так, чтобы люди удостоверились, что жил я не напрасно, и чтобы за мной не осталось прозвание сумасшедшего,— пусть я и был таковым, однако же смертью своей я хочу доказать обратное. Позови, голубушка, добрых моих друзей, священника, бакалавра Самсона Карраско и цирюльника маэсе Николаса: я хочу исповедаться и составить завещание.

Племяннице, однако ж, не пришлось за ними бежать, ибо как раз в это время все трое вошли к Дон Кихоту в комнату. Как скоро Дон Кихот их увидел, то повел с ними такую речь:

— Поздравьте меня, дорогие мои: я уже не Дон Кихот Ламанчский, а Алонсо Кихано, за свой нрав и обычай прозванный *Добрым*. Ныне я враг Амадиса Галльского и тьмы-тьмущей его потомков, ныне мне претят богомерзкие книги о странствующем

рыцарстве, ныне я уразумел свое недомыслие, уразумел, сколь пагубно эти книги на меня повлияли, ныне я, по милости божией, научен горьким опытом и предаю их проклятию.

Трое посетителей, послушав такие речи, решили, что Дон Кихот, видимо, помешался уже на чем-то другом. И тут Самсон сказал ему:

— Как, сеньор Дон Кихот? Именно теперь, когда у нас есть сведения, что сеньора Дульсинея расколдована, ваша милость — на попятный? Теперь, когда мы уже совсем собрались стать пастухами и начать жить по-княжески, с песней на устах, ваша милость записалась в отшельники? Перестаньте, ради бога, опомнитесь и бросьте эти бредни.

— Я называю бреднями то, что было до сих пор,— возразил Дон Кихот,— бреднями, воистину для меня губительными, однако с божьей помощью я перед смертью обращу их себе на пользу. Я чувствую, сеньоры, что очень скоро умру, а потому шутки в сторону, сейчас мне нужен духовник, ибо я желаю исповедаться, а затем писарь, чтобы составить завещание. В такую минуту человеку не подобает шутить со своею душою, вот я и прошу вас: пока сеньор священник будет меня исповедовать, пошлите за писарем.

Присутствовавшие переглянулись — до того поразил их Дон Кихот, и хотя и не без колебаний, однако же все были склонны придать его словам веру. И это внезапное превращение безумца в здравомыслящего показалось им явным признаком того, что смерть его близка, ибо к вышеприведенным речам он прибавил еще и другие, столь связные, столь проникнутые христианским духом и столь разумные, что все их сомнения в конце концов рассеялись и они совершенно уверились, что рассудок к Дон Кихоту вернулся.

Священник попросил всех удалиться и, оставшись с Дон Кихотом наедине, исповедал его. Бакалавр пошел за писарем и не в долгом времени возвратился вместе с ним и с Санчо Пансой; Санчо же еще раньше узнал от бакалавра, в каком состоянии находится его господин, и теперь он, видя, что ключница и племянница плачут, искривил лицо и залился слезами. После исповеди священник вышел и сказал:

— Алонсо Кихано Добрый, точно, умирает и, точно, находится в здравом уме. Пойдемте все к нему, сейчас он будет составлять завещание.

Слова эти вызвали новый порыв отчаяния у ключницы, племянницы и доброго оруженосца Санчо Пансы: из очей у них, и без того уже влажных, так и хлынули слезы, а из груди беспрестанно вырывались глубокие вздохи, ибо и в самом деле, как уже было замечено, Дон Кихот всегда, будучи просто-напросто

Алонсо Кихано Добрым, равно как и Дон Кихотом Ламанчским, отличался кротостью нрава и приятностью в обхождении, за что его любили не только домашние, но и все, кто его знал. Вместе с прочими к нему вошел и писарь, и после того, как он написал заголовок завещания, Дон Кихот, помолившись богу и соблюдая все, что по христианскому обряду в сем случае полагается, приступил к составлению завещания и начал так:

— Item[1], я желаю, чтобы денег моих, находящихся на руках у Санчо Пансы, которого я в пору моего помешательства взял в оруженосцы, с него не требовали и отчета в них не спрашивали ввиду того, что у нас с ним свои счеты; буде же за вычетом причитающейся ему суммы что-либо из них останется, то пусть он этот остаток возьмет себе: деньги небольшие, а ему они пригодятся, и уж если я в состоянии умопомешательства способствовал тому, что его сделали губернатором острова, то ныне, находясь в здравом уме, я пожаловал бы ему, если б мог, целое королевство, ибо простодушие его и преданность вполне этого заслуживают.

Тут он обратился к Санчо и сказал:

— Прости, друг мой, что из-за меня ты также прослыл сумасшедшим и, как и я, впал в заблуждение и поверил, что были на свете странствующие рыцари и существуют якобы и поныне.

— Ах! — со слезами воскликнул Санчо.— Не умирайте, государь мой, послушайтесь моего совета: живите много-много лет, потому величайшее безумие со стороны человека — взять да ни с того ни с сего и помереть, когда никто тебя не убивал и никто не сживал со свету, кроме разве одной тоски. Полно вам в постели валяться, вставайте-ка, одевайтесь пастухом — и пошли в поле, как у нас было решено: глядишь, где-нибудь за кустом отыщем расколдованную сеньору донью Дульсинею, а уж это на что бы лучше! Если же вы умираете от огорчения, что вас одолели, то свалите все на меня: дескать, вы упали с Росинанта оттого, что я плохо подтянул подпругу, да и потом вашей милости известно из рыцарских книг, что это самая обыкновенная вещь, когда один рыцарь сбрасывает другого наземь: сегодня его одолели, а завтра — он.

— Разумеется,— сказал бакалавр,— добрый Санчо Панса совершенно прав.

— Полно, сеньоры,— молвил Дон Кихот,— новым птицам на старые гнезда не садиться. Я был сумасшедшим, а теперь я здоров, я был Дон Кихотом Ламанчским, а ныне, повторяю, я — Алонсо Кихано Добрый. Искренним своим раскаянием я надеюсь вновь снискать то уважение, коим я некогда у вас поль-

---

[1] Кроме всего прочего (лат.).

зовался, вы же, господин писарь, пишите дальше. Item, завещаю все мое достояние здесь присутствующей племяннице моей Антонии Кихано, с тем, однако ж, условием, чтобы предварительно из него была изъята часть, предназначаемая мною для иных целей; и прежде всего я желаю, чтобы ключнице моей было уплачено положенное ей жалованье за все то время, что она у меня прослужила, а сверх того прошу выдать ей двадцать дукатов на платье. Душеприказчиками же моими назначаю господина священника и господина бакалавра Самсона Карраско, здесь присутствующих. Item, желаю, чтобы племянница моя Антония Кихано, буде она вознамерится выйти замуж, выходила за такого человека, о котором ей было бы заранее известно, что он о рыцарских романах не имеет понятия; если же будет установлено, что он их читал, а племянница моя все же захочет выйти за него замуж и действительно выйдет, то в сем случае я лишаю ее наследства и прошу душеприказчиков моих употребить его по их благоусмотрению на добрые дела.

На этом Дон Кихот окончил свое завещание и, лишившись чувств, вытянулся на постели. Все в испуге бросились ему на помощь; и в течение трех дней, которые Дон Кихот еще прожил после того, как составил завещание, он поминутно впадал в забытье. Весь дом был в тревоге; впрочем, это отнюдь не мешало племяннице кушать, а ключнице — прикладываться к стаканчику, да и Санчо Панса себя не забывал: надобно признаться, что мысль о наследстве всегда умаляет и рассеивает ту невольную скорбь, которую вызывает в душе у наследников умирающий. Наконец, после того как над Дон Кихотом были совершены все таинства и после того как он, приведя множество веских доводов, осудил рыцарские романы, настал его последний час. Присутствовавший при этом писарь заметил, что ни в одном рыцарском романе не приходилось ему читать, чтобы кто-нибудь из странствующих рыцарей умирал на своей постели так спокойно и так по-христиански, как Дон Кихот; все окружающие продолжали сокрушаться и оплакивать его, Дон Кихот же в это время испустил дух, попросту говоря — умер.

ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР

Тартюф, или Обманщик

•

Мещанин во дворянстве

Комедия-балет
в пяти
действиях

Jean-Baptiste Molière

LE TARTUFFE, OU L'IMPOSTEUR

•

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

МОЛЬЕР.

ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ, ГОДЫ ТВОРЧЕСТВА

О его детстве и юности имеются скудные сведения.

Известно, что отец его Жан Поклен был продавцом тканей для обивки мебели и стен, над его мастерской красовалась вывеска: «Обезьяний ларек». С 1631 года он мебельщик при дворе Людовика XIII, позднее камердинер Людовика XIV.

Своего первенца — голубоглазого блондина, родившегося 15 ноября 1622 года, Поклен окрестил именем Жан, добавив еще одно — Батист. Своих многочисленных детей Поклен воспитывал в строго патриархальном духе, как принято было тогда у цеховых ремесленников. Жан-Батист был еще малышом, а в далекие планы его отца уже входило дать ему школьное образование и обучить его, когда он подрастет, своему ремеслу.

Мать его — Мари Кресссе питала к сыну глубокую нежность и часто развлекала его сказками о людях добрых и злых, о феях и ведьмах, о карликах и великанах. К несчастью, она умерла, когда ему было всего десять лет. Вторая жена отца не особенно любила пасынка, как и он ее.

С порога отцовской мастерской, иногда через окно Жан Батист засматривался на уличных скоморохов, искавших места для выступлений — где попало, лишь бы их не прогнали стражники. Имелись у них и дрессированные звери и «дьявол», чьи похождения неизменно увенчивались костром. Дед Жана-Батиста со стороны матери — Луи Кресссе — часто брал с собой внука на прогулки, при этом оба с удовольствием задерживались возле площадок и балаганных палаток.

Когда ему исполнилось шестнадцать лет, он поступил в Клермонский коллеж; отец Жана-Батиста хотел не только привить сыну опыт ремесла, но и дать ему образование, достойное сына обойщика — как-никак дворцового.

В коллеже монахи иезуитского ордена мало чему обучили его, если не считать латынь. Без их ведома Жан-Батист с группой соучеников посещал кружок, руководимый философом Пьером Гассенди — аббатом, который придерживался идей древнегреческого материалиста Эпикура, как многие вольнодумцы, преследуемые тогда католической церковью. Что этот кружок оставил глубокий след в уме Жана-Батиста, доказывает его перевод с латыни на французский язык сочинения римского материалиста Лукреция «О природе вещей». К сожалению, перевод этот пропал.

Позднее в Орлеане Жан-Батист изучал еще юридические науки, но вскоре бросил профессию адвоката ради дела, привлекавшего его с детства. Неизвестно точно, когда юный Поклен присвоил себе фамилию Мольер — псевдоним этот за ним закрепился навсегда, а имя его растворилось в псевдониме[1].

Карьера его началась в труппе с горделивым названием «Блистательный театр». Увы, «блистать» не довелось — «Бургундский отель» и гастролировавшая в Париже итальянская «Комедия масок» привлекали больше зрителей. Пришлось труппе уехать в провинцию. Двенадцать лет колесила она «по городам и весям». О подробностях этого периода деятельности Мольера известно мало. Очевидно, провинция обогатила Мольера впечатлениями о жизни его соотечественников всех этажей общественного здания. К этому времени в Мольере созрел уже драматург и актер — исполнитель ролей в своих и не своих пьесах. Был он и директором труппы, что означало администратором и режиссером.

В 1658 году, благодаря протекции вельмож, смотревших в своих отдаленных от Парижа замках Мольера и его актеров, труппа вернулась в столицу; мало того, 24 октября дала во дворце свой первый спектакль. Непритязательная комедия «Влюбленный лекарь» доставила королю такое удовольствие, что «Труппа Монсеньора принца де Конти» — единственного брата короля — фактически стала королевской труппой, с правом выступать и на сцене парижского театра.

Прежде чем рассказать о деятельности Мольера в столице, напомним, какие разнообразные явления искусства существовали тогда.

В народе любят ярмарочные буффонады, балаганные зрелища — примитивный «фарс», где высмеиваются хвастливые воякн, чиновники-взяточники, обжоры-монахи, богатеи-скопидомы и где полным-полно непристойных выражений.

В аристократических салонах зачитываются многотомными

---

[1] Возможно, эту фамилию он позаимствовал от умершего в 1624 году писателя Франсуа Мольера.

романами с описанием любовных приключений галантных кавалеров и манерных дам, как будто никогда не слыхавших, что есть на свете реальные люди и реальная действительность. Беллетристику этого рода окрестили: «прециозная». В переводе: жеманная, манерная.

В более широких кругах увлекались пародиями на салонные романы. В этих пародиях грубые вещи излагались высокопарно, а все возвышенное — грубо. Окрестили этот род литературы итальянским словом «бурлеска». В переводе: гротескная, шутовская. Однако были там колоритные сцены жизни, и способствовала она рождению «комического романа» — предвосхищение буржуазного реализма XVIII века.

Теперь черед направления, которое именуется «классицизм», так как образцом для него было художественное наследие классической древности. Официальный критик, восхвалявший это направление,— Буало в своем трактате «Поэтическое искусство» руководствовался идеями древнегреческого философа Аристотеля («Поэтика») и древнеримского стихотворца Горация («Наука поэзии»).

Ввиду того, что статья наша посвящена Мольеру, а он — драматург и актер, осветим, как преломилась эстетика Буало в театре, чтобы знать, примкнул к ней Мольер или отвергает ее.

Нельзя обойти тот факт, что классика отразила духовную атмосферу античного общества естественно, органически, а классицизм древнему стилю подражает. Однако утверждать, что классицизм всего лишь «эхо» классики,— значит не понять, почему он занял выдающееся место в истории искусства и литературы. Стало быть, его нельзя свести к одному только подражательству. Обратимся к некоторым подобиям и различиям в классике и в классицизме.

Правила «трех единств»: «места» — декорации в спектакле не менять; «времени» — длительность драматического события не дольше суток; «действия» — сюжет не перебивать эпизодами второстепенными. Актеру надлежало сохранять красоту позы в бурных страстях, а речь его оформляет александрийский стих. Еще важный запрет: трагическое и комическое не соприкасаются. Что ж, древние греки соблюдали сценические «единства»; маска актера хранила одно выражение, что уподобляло его статуе, диалоги произносились будто исполнителями эпических песен, жанры трагедии и комедии были тогда разграничены.

Но если герои античной трагедии — цари и воины полусказочных мифов, то король и вельможи французской трагедии — особы исторические, кроме их имен. Древние почитали трагедию как жанр священный — мифы воплощали их религию; французы же считают этот жанр «высоким» лишь потому, что его герои —

лица первого сословия, комедия — арена для третьего сословия. И самое важное: у древних боги вмешиваются в деяния людей, а загадочный рок определяет их судьбы, у французов боги и рок — поэтический привесок, люди действуют соответственно своим характерам и целям.

В числе существенных различий между классикой и классицизмом есть еще одно. В античном мире подле героев стоял хор, не принимавший участия в действии, сентенции его, однако, выражали мысли и настроения «демоса» — народа древней Эллады. Театр же классицизма, говоря словами Буало, «ввел скрипку вместо хора», заменив хор оркестром, а судит персонажей драмы, как и достоинства ее, публика аристократическая — принцы, маркизы, графы.

Так как абсолютная монархия положила конец хаосу феодальных мятежей, она вдохновляет драматургов сочинять пьесы, герои которых обуздывают свою непокорность монарху сознанием долга по отношению к его власти, герои, чей разум обуздывает их строптивость. «Отдавшись творчеству, не будьте лишь поэтом,— вещал Буало,— быть надо подданным». Что до формы — эти пьесы отличаются изяществом, ясной композицией, они словно отблеск совершеннейшего политического строя.

Государя чаще всего идеализирует нимб справедливости, а когда драматург выводит на сцену тирана, он, во-первых, древний, во-вторых, жестокость его смягчена муками... неразделенной любви.

Впрочем, успех или неуспех драмы решается не только придворными, но и посетителями театра вроде «Пти Бурбон» — незнатными дворянами, буржуа с претензиями на культурность. Советуя драматургам: «изучайте двор и город», Буало имеет в виду, помимо нравов, еще и эстетические оценки горожан.

Вернемся теперь к покинутому нами Мольеру с вопросом: приемлет ли он классицизм, и если да, то безоговорочно ли? Не случайно же его друг — Буало, наказавший драматургам всех жанров «творить как римляне и греки». Кроме того, связь Мольера с двором для него кое-что значила, а двор только этот стиль и признавал.

Ограничение характера персонажа одной главенствующей чертой, логичность его поступков, образа мыслей и, говоря словами Мольера, «яркость красок и отчетливость линий» — все это он усвоил из эстетики классицизма, но усвоил «по-мольеровски». Еще юношей Жан-Батист ходил с дедом своим в зал «Бургундского отеля», где великосветская публика услаждала себя высокопарными речами актеров в белых и пурпурных тогах, сандалиях с золотыми ремешками, при этом... в париках. Не то древние

времена тут представлены, не то злободневные события Франции. Из темного угла юноша любовался красивым, изящным спектаклем. А быть может, диалоги тирадами по 80 стихов навевали на юношу Мольера скуку? Иначе почему так тянуло его к «Новому мосту» или «Площади Дофина», где ярмарочные представления веселили зевак, лавочников, ремесленников, не успевших снять кожаные передники, «толпу грубиянов», по высокомерному отзыву аристократии?

Навсегда осталась при Мольере эта небрезгливость к плебейскому «фарсу» и шутливой прозе «бурлеска». Все тот же критик Буало, резко осудивший «бурлескную» литературу как «стиль площадной», ибо, «пленяя новизной», бурлеск «плодит безвкусицу своих острот вульгарных», сумел в одном абзаце и похвалить своего друга Мольера, и упрекнуть его в недозволенных аристократической эстетикой приемах:

Двор изучите вы и город изучите:
здесь много образцов, их пристально ищите.
И, может быть, Мольер, изображая их,
сумел бы победить всех авторов других,
когда б уродцев он не рисовал порою.
Стремясь быть признанным вульгарною толпою,
он в шутовство ушел. Теренцию взамен
учителем его стал просто Табарен[1].

Напомню: Теренций, как и Плавт,— древнеримский комедиограф, а Табарен, как и Готье-Гаргиль,— уличный шут, кстати принятый в актеры труппы Мольера. Повторяя: «все, что мне пригодится, беру всюду, где нахожу», Мольер имеет в виду и бурлескную прозу, и балаганные фарсы, и, чаще всего обыденные происшествия. Почему Мольеру больше удавались роли и образы комедийные, чем трагедийные? Потому что он по натуре своей весельчак? Ничего подобного: «всегда проявлял серьезность и грусть», характеризуют его мольероведы. «Высокий» жанр трагедии классицизма чересчур иносказателен к действительности, а «низкий» жанр действительностью переполнен — вот потому Мольера больше увлекают комедии. Аристократическая публика негодовала по поводу того, что язык мольеровских комедий чаще проза, чем рифмованная речь. «Черт возьми, сумасброд Мольер заставляет нас глотать прозу целых пять актов!»— сохранилось восклицание кого-то из этой публики. Между тем было это не шалостью «наглого» драматурга. У всех трагических героев язык одинаков — гладкий, высокопарный; персонажам

[1] Перевод С. С. Нестеровой и Г. С. Пиралова.

комическим лучше объясняться прозой, и всякому на свой манер. Во время спектакля в городе один зритель вскочил с места и крикнул: «Браво, Мольер! Вот по-настоящему правдивая комедия!» А ведь «тянул» за собой этот жанр драматургию вообще. Предпочитал Мольер фабулы комические, но бывали они перемешаны с трагедийностью.

Лжефилософы Панкрас и Марфуриус («Брак поневоле»), Сганарель, принуждаемый объявить себя медиком («Лекарь поневоле»), деспотичный супруг в летах — Арнольф («Урок мужьям»), маниакальный скряга Гарпагон («Скупой») — типы третьего сословия. Именитая публика имела повод смеяться. Иной была реакция ее при виде «Смешных жеманниц» — щелчок по салонным дамам и карикатурного маркиза-щеголя из «Версальского экспромта» — уж очень походил он на любого из этой публики. Недовольство вызвал образ аристократа Дон Жуана, чье имя стало нарицательным для соблазнителей прекрасного пола. Его легкомыслие отличалось от фальшивой степенности придворного. Его атеизм смутил бы даже вольнодумца. Рискуя жизнью, он спас незнакомого ему человека. Хотя и циничный распутник, он скорее озадачивает, чем смешит... Еще менее укладывался в жанр комедии благородный образ Альцеста. Терзаемый думой о порочности своей среды, неспособный к моральным компромиссам, он — обличитель светского общества. Хотелось бы порвать с этим обществом и бежать, но как и куда? Вот почему драма названа «Мизантроп».

Добавьте к причинам недовольства Мольером знатной публики цепочку слуг и служанок, не напоминающих челядь, куда более находчивых, чем их господа, к тому же разговаривающих с ними без всякой почтительности (Маскариль в «Любовной размолвке», Созий в «Амфитрионе», Мартина в «Ученых женщинах»). Было за что гневаться аристократии.

Иллюстрацией к сказанному служит картина живописца Энгра из лагеря классицистов прошлого столетия. Название картины: «Мольер на приеме у Людовика XIV в Версале». На переднем плане — трапезный столик. За ним король — анфас и Мольер — в профиль. Слева лакей с подносом, уставленным яствами и напитками. Король собирается, по-видимому, угощать своего гостя. Справа группа придворных, униженно склонивших головы. В шляпе только монарх, но если Мольер сидит, то придворные стоят. Правой рукой король указывает на Мольера: что́ он при этом изволит говорить, не слышим. Добивался этого художник или нет, его картина выражает любезное отношение Людовика XIV к Мольеру и холодное — к его придворным, на которых он даже не глядит. Не потому ли, что, хотя обладают высокими титулами, они в сущности тоже... лакеи?

Подумать только, гостеприимство монарха по отношению к драматургу-мещанину, совсем недавно «бродячему комедианту»!

Еще одна иллюстрация — раскрашенная гравюра. На ней виден король, разодетый, будто живая кукла; одеяние его пестрое, на чулках и рукавах ленты. Оказывается, выступал в таком виде в «комедии-балете» — жанре, придуманном Мольером. До чего комично выглядит августейший танцор, передать словами трудно, а вот предположить, что ему бурно аплодировали,— легко. «Смешного маркиза» Мольер представил, а «смешного короля» представил воочию... сам король.

Благосклонность короля к тому, что в мольеровских комедиях высмеивается «щит и меч престола», послужила поводом для анонимного письма, ему адресованного: «Недостаточно хранить почтение... к полубогу, правящему нами, следует щадить и тех, кому выпала завидная доля быть близкими к нему, и не выставлять на сцену тех, кого он удостаивает вниманием своим. Я трепещу за автора, посмевшего сказать, что эти высокородные особы должны занять место лакеев. Столько презрения к опоре и украшению трона, к личностям, не раз жертвовавшим жизнью во славу государства, может выражать только дерзновеннейший человек».

Просьба автора письма заключалась в том, чтобы «не выставлять на сцене» тех, кого «полубог-правитель» «удостаивает своим вниманием». Короче, лишить Мольера права в комедиях изображать вельмож. Письмо оставило короля равнодушным.

*

Несколько замечаний по поводу комедии «Мещанин во дворянстве», где достается и мещанину, и дворянину.

...Интересен спор между учителем танцев и учителем музыки. Оба ждут «господина Журдена с его помешательством на дворянстве». В так называемом «высшем свете», куда допускались исключительно люди знатные, эти манеры приняты были как непреложный закон: так, мол, следует кланяться, так вести беседу в «хорошем тоне». Целый перечень манер. Упаси бог нарушить одну из них — вас сочтут невоспитанным, неучем, простаком. И Журден будет просить своих учителей танцев и музыки прежде всего «научить его кланяться маркизе».

Послушаем теперь учителя танцев. Он чувствителен к аплодисментам, только не от тех, кто не знает, что́ в искусстве хорошо, что́ плохо. Человек, способный оценивать тонкости искусства, его краcóты,— вот кто дает артисту удовлетворение.

Учитель музыки возражает: но ведь на одних похвалах не

проживешь, пусть господин Журден ничего не смыслит в искусстве, зато деньги его утешительны, понимание и эстетический вкус «находятся в его кошельке». Что толку, если «просвещенный вельможа» не в состоянии наградить тебя за труды?

Учитель танцев соглашается, напоминая лишь, что «корысть есть нечто низменное».

Этот спор выходит за пределы легкой веселенькой комедии.

«Педагоги» Журдена льстят ему почем зря. Говорят несусветную чепуху — лишь бы приохотить «ученика» к их урокам. Например, военачальник делает иногда неверный шаг. Причина? Танцевать не умеет...

Сын купца, Журден твердо решил обрести лоск, присущий аристократу, не жалея денег на то, чтобы научиться музицировать и танцевать, одеваться подобно светским людям и наряжать своих слуг в ливреи.

Выражения, какими он оценивает мастерство приглашенных им артистов, показывают, до чего неотесан этот разжиревший выскочка, «нувориш» — по-французски: «ловко закручено», «откалывают здорово» и т. п. Глупцу и невежде явилось «открытием Америки» сообщение учителя-философа, что когда Журден велит: «Николь, принеси мне туфли и ночной колпак», то слова его — «проза», и не подозревал он, что «вот уже сорок лет говорит не стихами, а прозой».

Кроме учителя фехтования, к Журдену ходит учитель философии, только и знающий, что сыпать латинскими цитатами из книг древних писателей, вспоминать их мудрые советы, вроде: «движения сердца надо подчинять разуму, всегда быть сдержанным, терпеливым, добродетельным». Но вскоре «мудрец», утративший самообладание, обзывает трех учителей «нахалами», «уличными плясунами», а те возвращают ему ругань: «тупоголовый педант», «ученый сухарь», и хотя это ругань, есть в ней истина — такими лжефилософами кишел Париж.

Кто еще водит за нос Журдена? Граф Дорант, часто занимающий у него луидоры тысячами и не возвращающий их. «Блестящий» аристократ — обманщик и вымогатель. Так как обманывать Журдена легче легкого, это делает также Ковьель — богатый на выдумки слуга Клеонта, влюбленного в Люсиль, которую ее отец отказывается выдать за него замуж. Замаскированные турки пляшут, и Журден оказался в дураках.

Самые рассудительные в доме Журдена — его супруга и служанка Николь; первая лишена юмора, вторая обладает им.

А вот в одной из мольеровских комедий появился клерикал, и теперь всполошилось духовенство. Как это! Монарх допускает глумление над рясой священнослужителя?

Что ж, как были противоречия между короной и ее сословным фундаментом — дворянством, так были противоречия и между короной и ее идеологическим фундаментом — церковью. В молитвах духовенство освящало королевскую власть, а втайне продавало Риму интересы Франции. Король подписывал официальные бумаги эпитетом «христианнейший», но и пустил в оборот два девиза: «Государство — это я» и «Чье государство — того и религия». Потому он и снисходительно оценил мольеровское разоблачение фальшивой набожности.

Простофилю Журдена зритель видит перед собой с первого акта, тогда как в драме «Тартюф» главный персонаж, чьим именем она названа, появляется на сцене лишь в третьем акте. До этого момента публика знает только, что его личность вызывает раскол в доме Оргона: он и его мать госпожа Пернель превозносят Тартюфа. В первом акте, явлении шестом, Оргон, беседуя со своим рассудительным шурином Клеантом, выражает восторги по поводу... бескорыстия и благочестивости Тартюфа:

Лишь познакомитесь получше с ним — и сразу
Его приверженцем вы станете навек.
Вот человек! Он... Он... Ну, словом, че-ло-век!
Я счастлив. Мне внушил глагол его могучий,
Что мир является большой навозной кучей.
Сколь утешительна мне эта мысль, брат!
Ведь если наша жизнь лишь гно́ище и смрад,
То можно ль дорожить хоть чем-нибудь на свете?[1]

Итак, Оргон уверовал в искренность святоши, якобы не о материальном богатстве думающем, а о «благах вечных». Настолько уверовал, что решил выдать за него замуж свою дочь, хотя любит она Валера. Родительский деспотизм! Поистине свихнулся Оргон...

К разгадавшим натуру Тартюфа относятся, кроме Клеанта, жена Оргона — Эльмира, сын Дамис, дочь Мариана и ее горничная Дорина.

Появляется Тартюф. Уже Дорина разбудила в нем греховные вожделения. С Тартюфа упала маска. Заискивающе вежлив он и красноречиво разглагольствует, когда перед ним Оргон и старуха Пернель, но когда он наедине с моложавой Эльмирой, то бесстыден и циничен. Тартюф не столь умен, сколь хитер,

---

[1] Перевод Мих. Донского.

а неумный хитрец может угодить в расставленную ему ловушку. Что лишило его осторожности? Ненасытная жажда удовольствий. Разыгрывается фарсовая сценка: Эльмира уговорила своего мужа залезть под стол, сама же притворяется влюбленной в Тартюфа, что разжигает его низменную страсть.

Ослепленный Оргон наконец-то прозрел. Увы, слишком поздно — свое состояние и жилье он давно перевел на имя Тартюфа, и тот сегодня здесь хозяин. Семью Оргона ждет нищета и бездомность.

Чтобы пьеса, которую реже ставили, чем запрещали целых пять лет, могла вернуться в театр, Мольер придумал благополучную развязку: входит полицейский, и... Тартюф арестован. «Королевской справедливости» обязан Оргон своим спасением.

Вопреки этой развязке, несмотря на костюмерный камуфляж (отрастил себе длинные волосы, надел на голову мирскую шляпу, одет не в черную сутану, а в одежду простого горожанина), Тартюф лицемером был—лицемером остался, и духовники узнавали себя в нем, как аристократы — в Доранте. Один из них определил пьесу как «сатанинскую», другой произнес речь, достойную инквизитора: «Император-язычник Август приказал казнить шута за его насмешки над Юпитером, христианский император Феодосий I отдал комедиантов-безбожников на растерзание хищникам. А мы не караем наглого фарсёра-вольнодумца Мольера!»

В первом прошении, адресованном королю, Мольер писал: «Тартюфы сумели исподтишка втереться в милость к Вашему величеству, и вот оригиналы добились запрещения копии». Во втором прошении Мольер с горечью, но и твердо писал: «Если Тартюфы восторжествуют, мне нечего и думать сочинять комедии впредь». Пожалуй, «испуганный» угрозой лишиться навсегда выдающегося драматурга и актера, король особым приказом вернул пьесу к сценической жизни.

*

Истинным правдолюбием король не отличался, а уж народолюбием в стране, где существовало крепостное право,— тем более. С точки зрения самодержца, Мольер — всего лишь придворный развлекатель, к тому же еще человек низшего сословия. Когда один раздраженный мольеровской комедией вельможа схватил Мольера в коридоре дворца за голову и потер о пуговицы своего камзола, так что у того потекла из носа кровь, его величество соизволили «сделать обидчику легкое замечание». Всего только!

И чем более отталкивающими были мольеровские персонажи, тем менее решительно защищал Мольера король от инсинуаций и подвохов враждебных ему лиц. С другой стороны, благосклонность к нему короля Мольера не обманывала и не поработила — духовный склад его сохранил невосприимчивость к головокружительным эффектам Версаля, хотя их использовал. На трагедиях Корнеля и Расина — отпечаток придворной культуры с ее изысканностью, а комедии Мольера — пусть и двору предназначенные — выходят за стены королевского дворца в пространство всей Франции.

Итак, Мольер — сатирик нравов? Одни отвечают: конечно. Другие: остроумие и нравоучительство взаимно исключаются, Мольер — остроумен, и не больше того. Третьи: пожалуй, есть у него сатира, но всего... как частица юмора.

Послушаем теперь самого Мольера. В предисловии к «Тартюфу» он высказался так: «Назначение комедии состоит в бичевании людских пороков... Самые блестящие трактаты на темы морали часто оказывают куда меньшее влияние, чем сатира... Подвергая пороки всеобщему осмеянию, мы наносим им сокрушительный удар». Доказательство — автор увеселительных комедий, он и творец сатирической комедии, где изобличен негодяй, сумевший, прикрываясь благочестием, быть пособником страшных преступлений. «Преступления» смешить никак не могут, а, когда на сцене совершаются преступления «страшные», публике уже вовсе не до смеха.

Пьеса «Тартюф» давно признана глубокой сатирой. Общественное значение ее и поныне велико, ибо лицемеры еще далеко не перевелись, даже многообразней стали их проявления.

Великий гуманист, Мольер изобличением пороков, нравственного убожества первых двух сословий, прославлением здравомыслия в человеке и всего хорошего в нем, демократичностью своего творчества — как бы соратник просветителей.

Самые выдающиеся из них — Вольтер, Дидро, Руссо.

В очерке «Жизнь Мольера» Вольтер относит к заслугам любимейшего своего комедиографа осмеяние «жеманниц, педантов, халата и латыни медиков». И особенно его искусство. До Мольера жанр комедии третировался, а подвизавшиеся в этом жанре трагики успеха не имели. Одновременно с Корнелем, основавшим «школу величия души», Мольер был основателем «школы жизни общества».

Не всегда в мольеровских комедиях — при всегда интересных персонажах — увлекательна интрига. Так, «Мизантроп» беден действием; напротив, «Тартюф» им богат — это «шедевр Мольера».

Критичностью и ясностью, наблюдательностью и правдиво-

стью, талантом изображения характеров, остроумием и естественностью диалога Мольер превзошел даже античных комедиографов, тем более — современных.

В одном из своих писем Вольтер коснулся своего предпочтения XVIII, «просвещенного века» веку XVII, «невежественному». Хотя тот и прославлен семью-восемью гениальными мастерами слова, эти мастера «велики» в художественном творчестве, но «малы» в отношении философском. Все, кроме Мольера — последователя Эпикура и Монтеня, подчеркивает Вольтер.

Импонирует Вольтеру Мольер-художник и Мольер-человек. Несовершенства мольеровских пьес компенсируют его «ум и сердце».

К числу достоинств Мольера Вольтер относит и то, что он был «законодателем светской пристойности». Усматривают в этих словах почтительность Вольтера к «светским кругам». А быть может, это намек — дескать, воспитателем первого сословия был выходец из сословия третьего. В своем очерке Вольтер упоминает герцога де Монтосье: ему донесли, будто Мизантроп — карикатура на него, но, посмотрев драму, герои которой презирают свою аристократическую среду, что доказывает его нравственное благородство, герцог сказал: «Хотел бы походить на мольеровского мизантропа».

Подход энциклопедиста Дидро к Мольеру — не совсем вольтеровский. Тот оставался верен эстетике классицизма XVII века, тогда как Дидро — один из творцов буржуазно-мещанской драмы, проникнутой идеализацией третьего сословия, чего не найти у Мольера и чем объясняется замечание Дидро в его работе «О драматической поэзии»: «Сегодня публика не допустила бы, чтобы муж прятался под столом, желая сам убедиться, о чем разговаривает Тартюф с его женой». Что и говорить, сцена для Оргона унизительная, не трогателен он в ней, а смешон. Жанр «серьезной комедии» подобных сцен не допускает.

Несмотря на свою симпатию к Мольеру-комедиографу, Вольтер предпочитал сочинять трагедии в стиле Корнеля; Дидро же, восхваляя Мольера, говорит нам: хотя трагедию считают высшим жанром, фарс удается лишь оригинальному дарованию: «Если вы полагаете, что существует гораздо больше людей, способных создать «Пурсоньяка», чем «Мизантропа», то ошибаетесь». Этими словами Дидро принижает эстетику классицизма, где комедия — низший вид драмы.

А вот с чем Мольер не согласился бы: сатиру, рассуждает Дидро, пишут о тартюфе с маленькой буквы, это «портрет» определенного лица, комедию же пишут о Тартюфе с большой буквы — он воплощение лицемерия в его «обобщенном» смысле. Между тем Мольер — автор сатирической комедии, где «обоб-

щенность» порока и «портретность» слиты воедино, что и вызвало ярость всех лицемеров.

Остается проблема отношения к Мольеру Жан-Жака Руссо. В первый период своей литературной деятельности он в «Письме о зрелищах» подверг Мольера критике. Пусть Мольер — «самый блестящий из всех комедиографов», пьесы его лишены отчетливо выраженной морали. Осмеяны им не только пороки, но и «священные узы» между детьми и родителями, мужьями и женами; его честные герои болтают, действуют плуты, и весьма успешно. Трудно у Мольера понять, кого следует осудить — благочестивого Оргона или едва не погубившего его Тартюфа, глуповатого мещанина Журдена или обманщика графа Доранта.

Противореча своим прежним высказываниям, Руссо в романе «Новая Элоиза» говорит, что творения Мольера полны «назиданий и поучений». И если прежде Руссо требовал удаления драматургии Мольера из репертуара театров, сегодня Руссо утверждает, что правдивостью изображения своей страны и эпохи Мольер не уступает древним комедиографам. «Нет больше такого великого живописателя нравов... Картина стала иной, а новый живописец не появился», печально заключает Руссо.

Приведу также слова о Мольере выдающегося писателя XIX века Стендаля: «Он имел несчастье работать для общества 1670 года». Общества, которое представлял тогда «маркиз в расшитом камзоле и черном парике». Одеяние фальшивое, а «фальшивые одежды подготавливают к фальшивому диалогу». Так как Версаль ничуть не кружил Мольеру голову, он не вобрал в себя эту фальшь. Монархи всегда требуют подчинения шаблону, и Мольер устами своих резонеров (Арист — Сганарелю в «Уроке мужьям», Филинт — Альцесту в «Мизантропе» и другие) «убеждает нас в том, как плохо быть непохожим на других» — вероятно, эта его тенденция и была «причиной милостей великого короля», иронически заметил Стендаль. Но ведь не резонерами прославился Мольер, как не наперсниками — Корнель и Расин. Явная причина «милостей» к Мольеру короля — осмеяние первого сословия в образах, что возвеличивало отнюдь не великую личность «Короля-Солнца».

Итак, предтеча идейной борьбы просветителей и писателей XIX века, Мольер открыл путь реализму французской литературы. Впрочем, одной ли французской? В 1800 году в Париже гостил английский актер Джон Кембл. Труппа театра «Комеди Франсез» в честь гостя устроила банкет. Актеры «из вежливости» согласились, что шекспировские трагедии превосходят кор-

нелевские и расиновские, но тут один из актеров вскричал: «А что вы скажете о Мольере?» — на что Кембл ответил: «Мольер — это другое дело. Мольер не француз». Актер удивился: «Ба, англичанин, быть может?..» Кембл ответил: «Нет, Мольер — Человек! Однажды захотевши дать роду человеческому вкусить во всей полноте радость, источник которой — в жанре комедии, добрый господь бог сотворил Мольера и бросил его на землю... Случайно он упал среди вас, французов, но принадлежит и нам, англичанам. И нас радует его гений — не меньше, чем вас. Он изобразил ваши нравы? Нет, всех людей на свете. С ним исчезают различия времен и мест, каждый народ и каждый век вправе считать его своим».

Эту шутливую декларацию следует уточнить: Мольер прежде всего один из самых ярких представителей *национальной* французской культуры, однако, будь гостем на банкете русский, он поддержал бы английского актера, ибо и в нашей стране Мольер — будто в своей Франции. Ставили его комедии еще при Петре I, особенно полюбился Мольер русской общественности со второй половины XVIII века. Начало XIX столетия — это уже второй период «жизни Мольера в России», когда начали, между прочим, выходить и школьные издания его пьес. Третий период — советский; об этом ниже.

А. С. Пушкин определил Мольера как создателя жанра «высокой комедии»: «Заметим, что высокая комедия не основана единственно на смехе, но на развитии характеров, и что она нередко близко подходит к трагедии»[1].

К этому жанру относятся «Скупой», «Тартюф», «Мизантроп», «Дон Жуан».

Мысль Пушкина важно понять: наряду с веселыми комедиями, где персонажи попадают в смешные, запутанные положения, Мольер сочинял комедии, где выведены типичные образы во вполне жизненных обстоятельствах, причем типы сугубо отрицательные. Эти комедии вправе именоваться «высокими» — они часто побуждают задуматься, порой ужаснуться и все-таки не лишают публику уверенности в том, что прогрессивные силы общества в конце концов искоренят зло.

Послушаем Виссариона Белинского: «Человек, который мог страшно поразить, перед лицом лицемерного общества, ядовитую гидру ханжества — великий человек». Гоголь обратился к Мольеру с восторженной речью: «О Мольер, великий Мольер, ты, который так обширно и в такой полноте рисовал свои характеры, так глубоко следил все тени их...» Не говоря уже о Грибоедове, немалым обязанном Мольеру, поклонником его был и А. Н. Ост-

[1] Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 7. Изд-во АН СССР, 1937, с. 559.

ровский. В оценке Л. Н. Толстого: «Мольер едва ли не самый всенародный и потому прекрасный художник нового искусства».

Комедии Мольера ставились на сцене первого русского постоянного театра, возглавляемого драматургом А. Сумароковым и актером Ф. Волковым. Исполнителями ролей его пьес были прославленные актеры И. Дмитриевский, П. Мочалов, М. Щепкин и др. Не игнорировали Мольера, что никого не удивит, и Малый театр и Художественный.

Летосчисление «советского Мольера» начинается с 1919 года — со спектакля в Зимнем дворце перед народной публикой. Уточнил эту дату мольеровед Г. Бояджиев. На вопрос: сатира ли мольеровская комедия вообще, ученый ответил: «боевая сатира», а о демократичности ее писал: «Когда ему нужно было противопоставить своим сатирическим персонажам натуры здоровые, разумные и деятельные, он находил их чаще всего в среде народа».

В 1939 году К. С. Станиславский, приступая к работе над «Тартюфом» и, очевидно, вспоминая мысль Пушкина о Мольере как о создателе «высокой комедии», которая «нередко близко подходит к трагедии», указывал своим актерам: «Чтобы передать всю глубину этой гениальной комедии, надо прежде всего хорошенько вникнуть в ее жизненный смысл. Думайте не о смешных положениях своих героев, а о трагедии в доме Оргона».

Советский мольеровед С. Мокульский писал: «Среди величайших драматургов мирового театра, оставивших наиболее ценное художественное наследство, имя французского комедиографа Мольера является одним из самых значительных». У нас, советских людей, «драматургия великого гуманиста и демократа Мольера может получить правильное и глубокое сценическое истолкование».

И может и давно получила, что доказала практика театров всех республик Советского Союза.

В комедии «Мнимый больной» ее главный персонаж — Арган — охаивает Мольера за его насмешки над медициной, а здравомыслящий Бералъд возражает: «Что же ему еще выводить на сцену, как не различные профессии? Выводят же там принцев и королей, которые, уж кажется, не ниже родом, чем доктора». Осторожный намек: принцы и короли надоели, люди разных профессий интереснее, и между прочим — профессия слуги, доказательством чего является служанка Туанета, спасающая в этой комедии Анжелику от деспотизма ее отца.

То было последнее произведение Мольера. Воин умирает часто на поле сражения. Поистине как воин умер Мольер в

театре при исполнении роли мнимого больного. Увы, Мольер был уже не мнимый, а всамделишный больной. Доиграл до конца. За кулисами он опустился в кресло и скончался. Это случилось 17 февраля 1673 года. Так оборвалась его короткая жизнь.

В отместку за «Тартюфа» парижский епископ запретил хоронить Мольера на кладбище. Король отменил запрет, но все же пришлось хоронить ночью.

И. Верцман

Тартюф,
или Обманщик

Комедия в пяти действиях

Перевод МИХ. ДОНСКОГО

ПРЕДИСЛОВИЕ МОЛЬЕРА

Об этой комедии было множество толков, долгое время она подвергалась нападкам, и люди, осмеянные в ней, доказали на деле, что во Франции они обладают куда большим могуществом, чем те, кого я осмеивал до сих пор. Щеголи, жеманницы, рогоносцы и лекари покорно терпели, что их выводят на подмостки, и даже притворялись, что списанные с них персонажи забавляют их не меньше, чем прочую публику. Но лицемеры не снесли насмешек: они сразу подняли переполох и объявили из ряду вон выходящей дерзостью то, что я изобразил их ужимки и попытался набросить тень на ремесло, к коему причастно столько почтенных лиц. Этого преступления они мне простить не могли, и все, как один, с неистовой яростью ополчились на мою комедию. Разумеется, они побоялись напасть на то, что более всего их уязвило: они достаточно хитроумны и многоопытны и ни за что не обнажат тайников своей души. По своему достохвальному обычаю, защиту своих интересов они выдали за богоугодное дело — если их послушать, *Тартюф* есть фарс, оскорбляющий благочестие. Эта комедия, мол, от начала до конца полна мерзостей, и все в ней заслуживает костра. В ней каждый слог нечестив, каждый жест богопротивен. Беглый взгляд, легкий кивок, шаг вправо или влево — все это неспроста, и они, мол, берутся раскрыть мои зловредные замыслы. Тщетно представлял я комедию на просвещенный суд моих друзей, на рассмотрение публики: внесенные мною поправки, высочайший отзыв короля и королевы, смотревших комедию, одобрение принцев крови и господ министров, почтивших представление своим присутствием, свидетельство высокочтимых особ, которые сочли комедию полезной,— все это не послужило ни к чему. Недруги вцепились в нее мертвой хваткой, и до сей поры, что ни день, какой-нибудь

ревностный вития по их наущению публично осыпает меня благочестивыми оскорблениями и милосердными проклятьями.

Я бы не придавал большого значения тому, что они говорят, если бы не ловкость, с которой они обращают в моих врагов людей, уважаемых мною, и вербуют своих сторонников среди истинных приверженцев добродетели, злоупотребляя доверчивостью и легкостью, с какою те, обуреваемые благочестивым пылом, поддаются внушению. Вот что вынуждает меня защищаться. Не перед кем иным, как перед истинно благочестивыми людьми, хочу я оправдать направление моей комедии, и я всячески заклинаю их не осуждать понаслышке, отбросить предубеждение и не быть на поводу у тех, кто позорит их своим кривлянием.

Всякому, кто возьмет на себя труд беспристрастно рассмотреть мою комедию, станет ясно, что намерения мои отнюдь не вредоносны и что в ней нет никаких посягательств на осмеяние того, пред чем подобает благоговеть; что я принял все предосторожности, каких требовал столь щекотливый предмет; что я употребил все свои способности и приложил все старания к тому, чтобы противопоставить выведенного мною лицемера человеку истинно благочестивому. С этой целью я потратил целых два действия на то, чтобы подготовить появление моего нечестивца. Зритель не пребывает в заблуждении на его счет ни минуты: его распознаю́т сразу по тем приметам, коими я его наделил; от начала и до конца пьесы он не произносит ни одного слова, не совершает ни одного поступка, которые не изобличали бы перед зрителями негодяя и не возвышали бы истинно добродетельного человека, противопоставленного ему мною.

Я прекрасно понимаю, что вместо ответа эти господа начнут вразумлять нас, что, мол, театру не подобает заниматься таким предметом. Но я хотел бы задать им, с их позволения, вопрос: как они могут обосновать сию блестящую мысль? Это утверждение они заставляют принимать на веру, не утруждая себя никакими доказательствами. А между тем они должны были бы помнить, что у древних комедия берет начало из религии* и что она была в свое время составною частью тогдашних религиозных действ; что у наших соседей, испанцев, редкое празднество обходится без комедии; что и у нас она возникла благодаря стараниям братства, коему и поныне принадлежит Бургундский отель*; что это место было нарочито отведено для представления наиболее значительных мистерий; что там сохранились тексты комедий, оттиснутые готическими литерами и подписанные одним из докторов Сорбонны!* Что, наконец,— дабы не ходить за примерами слишком далеко — и в наше время ставились духовные пьесы г-на де Корнеля*, вызывавшие восторг всей Франции.

Коль скоро назначение комедии состоит в бичевании людских пороков, то почему же она должна иные из них обходить? Порок, обличаемый в моей пьесе, по своим последствиям наиопаснейший для государства, а театр, как мы убедились, обладает огромными возможностями для исправления нравов. Самые блестящие трактаты на темы морали часто оказывают куда меньшее влияние, чем сатира, ибо ничто так не берет людей за живое, как изображение их недостатков. Подвергая пороки всеобщему осмеянию, мы наносим им сокрушительный удар. Легко стерпеть порицание, но насмешка нестерпима. Иной не прочь прослыть злодеем, но никто не желает быть смешным.

Меня укоряют за то, что я вложил благочестивые слова в уста обманщика. Но как же я мог этого избежать, задаваясь целью изобразить лицемера? Вполне достаточно, на мой взгляд, что я обнажаю преступную подоплеку его речей и что я изъял из них те священные обороты, употребление коих с дурной целью резало бы наш слух. «Позвольте! Но ведь в четвертом действии в его тирадах извращается нравственность!» Да, но разве это извращение нравственности не навязло у нас в зубах? Разве в моей комедии оно пользуется новыми аргументами? Можно ли опасаться, что суждения, столь единодушно презираемые, окажут влияние на умы, что они становятся вредоносными, будучи произносимы со сцены, что они хоть сколько-нибудь убедительны в устах негодяя? Подобные опасения решительно ни на чем не основаны, а потому следует либо принять комедию о Тартюфе, либо отвергнуть все комедии вообще.

Этого-то и добивается кое-кто с некоторых пор; никогда еще на театр так не ополчались*. Я не могу отрицать, что некоторые князья церкви осуждали комедию, но нельзя отрицать и того, что иные из них относились к ней более благосклонно. Следовательно, их авторитет, на который ссылаются сторонники строгостей, подрывается существующим разногласием. Из того, что эти умы, просветленные одною и тою же премудростью, придерживались различных мнений, вытекает лишь то, что они понимали комедию по-разному: одни рассматривали ее нравственную сторону, другие обращали внимание на ее безнравственность, не отличая комедию от тех непристойных зрелищ, которые с полным правом можно было называть срамными игрищами.

Рассуждать следует о сути вещей, а не о словах; споры по большей части вызываются взаимным непониманием, тем, что под одним и тем же словом подразумеваются противоположные понятия, а потому необходимо сорвать с комедии покров двусмысленности и, рассмотрев истинную ее сущность, установить, заслуживает ли она осуждения. И тогда, конечно, будет признано, что коль скоро она есть плод поэтического искусства, соче-

тающий в себе приятность и поучительность с целью обличения людских недостатков, то было бы несправедливо налагать на нее запрет. Если же мы пожелаем прислушаться к свидетельству истории, то она скажет нам, что комедии воздавали хвалу прославленные философы древности, философы, проповедовавшие суровые правила жизни и неустанно бичевавшие пороки своего времени. Она расскажет нам о том, как неусыпно трудился на пользу театру Аристотель*, и о том, что он взял на себя заботу изложить правила, коим должно следовать драматическое искусство. Она сообщит нам, сколько великих мужей древности, занимавших самое высокое положение, гордились тем, что пишут комедии*, а иные из них не считали для себя зазорным читать их публично. Она напомнит, что в Греции уважение к этому искусству проявилось в почетных наградах и в постройке грандиозных театров, что, наконец, и Рим высоко чтил это искусство,— я говорю не о развращенном Риме распутных императоров, но о суровом Риме мудрых консулов в пору расцвета римской доблести.

Я признаю, что были и такие времена, когда природа комедии искажалась. Да и есть ли что-либо в мире, что не подвергается искажению повседневно? Самое невинное занятие люди могут сделать преступным, самое благодетельное искусство они способны извратить, самое доброе дело умудряются употребить во зло. Медицина — искусство общеполезное и чтимое всеми, как одно из наших ценнейших достояний, а меж тем бывали времена, когда она вызывала ненависть, нередко ее превращали в искусство отравлять людей. Философия — дар небес, она дарована нам, дабы приобщить наши умы к познанию божества через созерцание чудес природы, и тем не менее общеизвестно, что нередко ее сбивали с пути и заставляли открыто служить нечестию. Даже величайшие святыни не ограждены от искажения их человеком. Мы видим злодеев, которые, повседневно прикрываясь благочестием, кощунственно заставляют его быть пособником страшных преступлений. Тем более необходимо различать то, что нельзя смешивать. Не следует объединять в ошибочном умозаключении возвышенность извращаемого с низостью извратителей, надобно отличать намерения искусства от дурного его применения. Никому не приходит в голову запрещать медицину по той причине, что она подвергалась гонениям в Риме*, или философию за то, что она была всенародно осуждена в Афинах*; равным образом не следует добиваться запрещения комедии потому лишь, что когда-то ее порицали. Для порицания существовали причины, а теперь эти причины отпали. Порицание ставило себе определенные пределы, и нам незачем выводить его из очерченного им самим круга, нет нужды давать ему расширяться, поглощать правого наравне с виноватым. Комедия, против которой оно

выступало, вовсе не та комедия, которую хотим защитить мы. Их нельзя путать. У этих особ разные повадки. Они не имеют друг с другом ничего общего, кроме имени, а ведь было бы чудовищной несправедливостью осудить Олимпию, добропорядочную женщину, на том основании, что существовала другая Олимпия, которая вела распутный образ жизни. Такого рода приговоры внесли бы в мир ужасающий беспорядок, тогда уже ничто не могло бы избежать осуждения. К множеству вещей, коими злоупотребляют на каждом шагу, так уж строго не относятся, а потому следовало бы оказать снисхождение и комедии, одобрив пьесы нравоучительные и благопристойные.

Я знаю людей столь изысканного образа мыслей, что для них любая комедия нестерпима. Они считают, что чем она благопристойнее, тем опаснее, что изображаемые в ней страсти тем сильнее трогают, чем они благороднее, и что такого рода представления пробуждают в сердцах сочувствие. Я не вижу большого греха в сочувствии страстям благородным. Не чересчур ли высока та ступень добродетели — полное бесстрастие,— на которую эти люди хотят поднять наши сердца? Я не уверен, что такое совершенство окажется по силам человеческой природе. Не плодотворнее ли старания, направленные на то, чтобы очистить и смягчить людские страсти, нежели попытки их искоренить? Я признаю, что есть места, посещение которых более похвально, чем посещение театра. Если надлежит безоговорочно осудить все, что не имеет прямого касательства к богу и спасению души, то сюда надо будет причислить и комедию, и тогда я не стану возражать, чтобы и ее осудили вместе со всем остальным. Но если допустить, что в благочестивых занятиях дозволительны перерывы и что людям необходимы развлечения, то я осмеливаюсь утверждать, что нельзя найти развлечение более невинное, нежели комедия. Однако я заговорился. Мне хочется закончить мое рассуждение словами одного великого принца*, сказанными о комедии *Тартюф*.

Спустя неделю после того, как на нее был наложен запрет, при дворе была играна пьеса под заглавием *Скарамуш-отшельник**. После представления король сказал великому принцу: «Хотел бы я знать, почему те, кого так оскорбляет комедия Мольера, молчат о *Скарамуше?*» А принц на это ответил: «Причина в том, что в комедии о Скарамуше высмеиваются небеса и религия, до которых этим господам нет никакого дела, а комедия Мольера высмеивает их самих, и вот этого они стерпеть не могут».

ПЕРВОЕ ПРОШЕНИЕ КОРОЛЮ

По поводу комедии «Тартюф»

Ваше величество!

Поскольку назначение комедии состоит в том, чтобы развлекать людей, исправляя их, я рассудил, что по роду своих занятий я не могу делать ничего более достойного, чем бичевать пороки моего века, выставляя их в смешном виде. А так как лицемерие есть, несомненно, один из самых распространенных, невыносимых и опасных пороков, то я, Ваше величество, решил, что окажу немалую услугу всем честным людям в Вашем королевстве, если сочиню комедию, обличающую лицемеров и выставляющую, как и подобает, напоказ все заученные ужимки этих сверхправедников, все тайные козни этих фальшивомонетчиков благочестия, которые пытаются одурачить людей поддельной ревностью о вере и притворной любовью к ближнему.

Я сочинил такую комедию, Ваше величество, сочинил, как я полагаю, со всем тщанием, со всей осмотрительностью, коих требовала щекотливость предмета. А дабы ничем не поколебать почет и уважение, коими окружены истинно праведные люди, я подчеркнул, как мог, различие между ними и изображенным мною характером. Я не оставил места для двусмысленных толкований, я устранил всякую возможность спутать добро и зло, я рисовал свою картину с помощью ярких красок и отчетливых линий, которые позволяют сразу распознать несомненного и отъявленного лицемера.

И тем не менее все мои предосторожности были напрасны. Кое-кто злоупотребил тем, как близко к сердцу принимает Ваше величество все, что касается благочестия, и применил единственный способ к Вам подольститься: воспользовался Вашим преклонением перед святыней. Тартюфы сумели исподтишка втереться в милость к Вашему величеству, и вот оригиналы добились запрещения копии, невзирая на то, что она благонамеренна и, как говорят, верна.

Запрет, наложенный на это сочинение, явился для меня ударом чувствительным, и все же горе мое было смягчено тем, как Ваше величество соизволили истолковать мне случившееся. Я полагал, что мне не на что жаловаться, поскольку Ваше величество милостиво объявили, что не порицает комедию, хотя и воспрещает показывать ее на сцене.

И, однако, вопреки этим примечательным словам величайшего и просвещеннейшего монарха, вопреки одобрению монсеньера легата* и большей части наших прелатов, которые, когда я читал им свое сочинение в частной обстановке, единодушно

разделили мнение Вашего величества, вопреки всему этому появляется книжка, написанная неким кюре*, и в ней открыто опровергаются упомянутые суждения высоких особ. Как бы ни высказывалось Ваше величество, какого бы мнения ни придерживались монсеньер легат и прелаты, он полагает, что моя комедия (которой он, кстати сказать, не видел) — сатанинская и образ мыслей у меня сатанинский, а я сам — нечистый дух во плоти и в человеческом обличье, нечестивец, безбожник, заслуживающий примерного наказания. По моим грехам мне мало, чтоб меня при всем народе сожгли на костре,— этак я дешево отделаюсь. Человеколюбивый пыл этого истинного ревнителя благочестия идет дальше: он возражает против того, чтобы меня коснулось божье милосердие, он требует во что бы то ни стало, чтобы я был навеки проклят, и не сомневается, что так оно и будет.

Эта книжка была преподнесена Вашему величеству, и теперь Вы сами, государь, можете судить, сколь тягостно для меня подвергаться постоянным оскорблениям этих господ, какой урон нанесут мне во мнении общества подобные наговоры, если я буду вынужден их сносить, и сколь важно для меня отвести наконец от себя напраслину и доказать публике, что моя комедия менее всего похожа на то, за что ее выдают. Я не стану говорить Вашему величеству, что́ именно было бы мне желательно для обеления моей репутации и публичного удостоверения благонамеренности моей пьесы. Столь просвещенным монархам, как Вы, государь, не подсказывают, чего от них ждут: они, подобно богу, сами видят наши нужды и знают лучше нас, какие милости нам оказать. С меня довольно, что я вверяю себя Вашему величеству, и я почтительнейше приму все, что Вы соизволите по сему поводу повелеть.

ВТОРОЕ ПРОШЕНИЕ,

поданное королю в лагере перед городом Лиллем во Фландрии

Ваше величество!

Я решаюсь на большую дерзость, докучая великому монарху во время его победоносного похода, но в положении, в каком я очутился, где могу я, государь, найти покровительство, как не там, куда я обращаюсь? И у кого искать мне защиты от притесняющих меня власти и могущества, как не у источника могущества и власти, как не у справедливого и непререкаемого законодателя, не у верховного судии и властелина?

Моей комедии, государь, было не суждено снискать благоволение Вашего величества. Ей не помогло то, что я поставил ее под заглавием *Обманщик* и нарядил ее героя в светское платье. Нужды нет, что он у меня носит длинные волосы, маленькую шляпу, широкий воротник, шпагу и камзол, обшитый кружевами, что я смягчил в комедии некоторые места и старательно вымарал все, что, как мне казалось, могло бы дать достославным оригиналам рисуемого мною портрета малейший повод для придирок. Предосторожности не послужили ни к чему. Вся эта братия переполошилась — им было довольно простых догадок. Они нашли средство повлиять на умы тех, кто в любом другом случае не преминул бы во всеуслышание провозгласить, что не поддается никакому влиянию. Как только моя комедия появилась на сцене, на нее обрушила громовой удар власть, к которой нельзя не питать уважение*. При таких обстоятельствах, дабы самому спастись от грозы, мне не оставалось ничего иного, как сослаться на то, что Вашему величеству угодно было дозволить представление моей комедии и что я не считал нужным испрашивать дозволение у кого-либо другого, поскольку и запрет исходил только от Вашего величества.

Я не сомневаюсь, государь, что люди, изображенные в моей комедии, сумеют нажать изрядное количество пружин вокруг Вашего величества и, как им это уже не раз удавалось, привлекут на свою сторону истинно праведных людей, которых тем легче обмануть, что они судят о других по себе. А ведь те навострились в искусстве приукрашать подлинные свои намерения. Как бы ловко они ни притворялись, ими руководит отнюдь не ревность о божьей славе: это они доказали, глядя сквозь пальцы на иные комедии и допуская без малейших возражений их многократные публичные представления. Ведь там подвергались нападкам вера и благочестие, а это их мало трогает; моя комедия задевает и осмеивает их самих, и вот этого они снести не могут. Они никогда не простят мне, что я хочу выставить их лицемерие на всеобщее обозрение. Без сомнения, Вашему величеству будет доложено, что все возмущены моей комедией. Истина же, государь, заключается в том, что весь Париж был возмущен наложенным на нее запретом, что лица самых строгих взглядов нашли ее полезной и что все удивляются, как это особы, известные своей порядочностью, выказали такую снисходительность к людям, которые должны бы всюду вызывать отвращение и которые ничего общего не имеют с подлинным благочестием, о коем столько распространяются.

Я почтительно ожидаю решения, которое Ваше величество соблаговолит вынести по этому делу. Но не подлежит сомнению, государь, что если Тартюфы восторжествуют, то мне нечего и

думать сочинять комедии впредь,— это даст им основание усилить травлю, они станут придираться к самым невинным вещам, которые выйдут из-под моего пера.

Соблаговолите, Ваше величество, защитить меня от их ядовитой злобы, дабы я мог по завершении государем столь славного похода доставить ему отдых после побед на поле брани, устроить ему невинное развлечение после доблестных подвигов, повеселить монарха, заставляющего трепетать всю Европу.

ТРЕТЬЕ ПРОШЕНИЕ,

поданное королю

Ваше величество!

Один весьма почтенный врач*, у коего я имею честь лечиться, обещает мне — и готов засвидетельствовать свое обязательство у нотариуса,— что с его помощью я проживу еще тридцать лет, если только испрошу у Вашего величества некую для него милость. По поводу его обещания я ответил, что оно чрезмерно и что с меня будет вполне достаточно, если он обяжется не отправлять меня на тот свет до срока. Просимая им милость, государь,— должность настоятеля Вашей королевской капеллы в Венсенне, освободившаяся после смерти бывшего настоятеля.

Смею ли я обратиться к Вашему величеству еще и с этой просьбой в знаменательный день воскресения *Тартюфа*, возвращенного к жизни Вашим изволением? Благодаря первой из этих милостей я примирился со святошами, вторая примирила бы меня с врачами. Столько благодеяний зараз — это, разумеется, для меня слишком много, но, быть может, это не будет слишком много для Вашего величества, и я, преисполненный почтения и надежды, ожидаю ответа на мое прошение.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

О р г о н *.
Г - ж а П е р н е л ь — его мать.
Э л ь м и р а — его жена.
Д а м и с — его сын.
М а р и а н а — его дочь.
В а л е р — молодой человек, влюбленный в Мариану.
К л е а н т — брат Эльмиры.
Т а р т ю ф — святоша.
Д о р и н а — горничная Марианы.
Г - н Л о я л ь — судебный пристав.
О ф и ц е р.
Ф л и п о т а — служанка г-жи Пернель.

Действие происходит в Париже, в доме Оргона.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-жа Пернель, Эльмира, Мариана, Дамис, Дорина, Флипота.

Г-жа Пернель

Флипота! Марш за мной!.. Уж пусть они тут сами...

Эльмира

Постойте, маменька! Нам не поспеть за вами.

Г-жа Пернель

Вам прежде бы меня уважить, не теперь.
Без ваших проводов найду я, где тут дверь.

Эльмира

О нет! Вас проводить велит нам чувство долга.
Но почему у нас вы были так недолго?

Г-жа Пернель

А потому, что мне весь этот дом постыл
И ваши дерзости сносить нет больше сил.

Меня не ставят в грош, перечат, что ни слово.
Поистине для них нет ничего святого!
Все спорят, все орут, почтенья нет ни в ком.
Да это не семья, а сумасшедший дом!

Дорина

Но...

Г-жа Пернель

Милая моя! Я замечала часто,
Что слишком ты дерзка и чересчур горласта.
Советов не прошу я у нахальных слуг.

Дамис

Однако...

Г-жа Пернель

Ты дурак, мой драгоценный внук,
А поумнеть пора — уж лет тебе немало.
Я сына своего сто раз предупреждала,
Что отпрыск у него — изрядный обормот,
С которым горюшка он досыта хлебнет.

Мариана

Но, бабушка...

Г-жа Пернель

Никак, промолвила словечко
Тихоня внученька? Смиренная овечка?
Ох, скромница! Боюсь, пословица о ней,
Что в тихом омуте полным-полно чертей.

Эльмира

Но, маменька...

Г-жа Пернель

Прошу, дражайшая невестка,
Не гневаться на то, что выскажусь я резко.
Была б у них сейчас родная мать в живых,
Учила б не тому она детей своих —
И эту дурочку и этого балбеса.
Вы расточительны. Одеты, как принцесса.
Коль жены думают лишь о своих мужьях,
Им вовсе ни к чему рядиться в пух и прах.

Клеант

Сударыня!..

Г-жа Пернель

А, вы, ее милейший братец!
Ужели тот поток нелепиц и невнятиц,
Что вы дерзаете за мудрость выдавать,
Хотите на меня извергнуть вы опять?
На месте вашего почтеннейшего зятя
И сына моего, на споры слов не тратя,
Я перестала бы пускать вас на порог.
Я не хочу вам льстить. Правдивость — не порок.

Дамис

Ваш господин Тартюф — ловкач, в том нет сомненья...

Г-жа Пернель

Он — праведник. Его благие наставленья
Душеспасительны. Для всей семьи позор,
Что ты, молокосос, с ним затеваешь спор.

Дамис

А что же мне, молчать пред гостем тем незваным,
Который здесь, у нас, всевластным стал тираном?
Не сделай ничего, ни слова не скажи
Без позволения несносного ханжи!

Дорина

Послушать проповедь настырного святоши,
Так плохи будут все, лишь он один — хороший.
С утра до вечера он поучает нас.

Г-жа Пернель

И он, конечно, прав. В грехе ваш дом погряз.
Вас этот человек ведет на путь спасенья,
И сын мой учит вас питать к нему почтенье.

Дамис

Никто мне не внушит, ни даже мой отец,
Что праведник Тартюф. Он попросту шельмец.
Стоять буду на том, пускай меня повесят!
Меня его слова, его ужимки бесят.
До крайней крайности претит мне этот гусь,
И я предчувствую, что с ним еще схвачусь.

Дорина

Нет, вы подумайте! Уж это ли не чудо?
Явился бог весть кто, неведомо откуда,

В отрепьях нищенских, едва не босиком,
И — нате вам, уже прибрал к рукам весь дом.
И до того дошло, что, вопреки рассудку,
Мы все теперь должны плясать под его дудку.

Г-жа Пернель

И лучше бы для вас не препираться с ним,
А жить, как учит он, по правилам святым.

Дорина

Святым? Пристало ль вам такое легковерье?
Да разве святость тут? Одно лишь лицемерье!

Г-жа Пернель

Что-что?

Дорина

Его слуга, Лоран, ему под стать,
Обоим ни на грош нельзя им доверять.

Г-жа Пернель

Мне до его слуги нет никакого дела,
Но за хозяина могу ручаться смело.
Нетрудно угадать, чем разозлил он вас:
Он говорит в глаза всю правду без прикрас.
Он, лютый враг греха и чистоты радетель,
Клеймит безнравственность и славит добродетель.

Дорина

Вот как? А почему нравоучитель сей
От дома нашего отвадил всех гостей?
Неужто их приезд столь неугоден богу,
Чтоб из-за этого бить каждый раз тревогу?
Мы все — свои, и я вам истину скажу:
Он просто-напросто

(указывает на Эльмиру)

ревнует госпожу.

Г-жа Пернель

Уж ты не знаешь, что и выдумать от злости.
Но подозрительны все эти ваши гости
Не одному ему. Не столь большой секрет,
Что строй теснящихся под окнами карет
И вечно у крыльца толкущиеся слуги
Давно уже глаза мозолят всей округе.

Пусть эти сборища невинные. Но вы
Должны понять, что тут есть пища для молвы.

Клеант

А вам хотелось бы укрыться от злоречья?
Положим, болтовню пустую смог пресечь я,
Отрекшись для того от преданных друзей,—
Но разве жизнь тогда не стала бы грустней?
А если б, вашему последовав совету,
Мы и отважились пойти на жертву эту,
Зловредным сплетникам заткнули б разве рты?
На свете нет лекарств противу клеветы.
Нам надо честно жить и презирать злословье,
А сплетники пускай болтают на здоровье.

Дорина

А кто про нас пустил зловредную молву?
Нетрудно угадать. Я вам их назову.
Нет бóльших мастеров по измышленьям скверным,
Чем Дафна со своим супругом благоверным.
Кто сам душой нечист — на кривотолки хват.
Такие что-нибудь услышат, подглядят,
С три короба приврут да и распустят слухи,
В минуту сделают они слона из мухи.
На что рассчитана их мерзкая возня?
Порядочных людей пороча и черня,
Они надеются, что будет им уютней:
Средь общей черноты не разглядеть их плутней,
А если не толкать молву на ложный след,
Придется за грешки самим держать ответ.

Г-жа Пернель

Не к месту, милая, разводишь ты рацеи.
Нет женщин на земле почтенней и святее
Оранты, а меж тем я слышала не раз —
Она решительно не одобряет вас.

Дорина

Высоконравственна и впрямь сия персона.
Но какова была она во время оно?
Ей старость помогла соблазны побороть:
Да, крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть.
Встарь, избалована вниманьем и успехом,
Привержена была она к мирским утехам.
Однако время шло. Угаснул блеск очей,
Ушли поклонники, и свет забыл о ней.

Тут, видя, что, увы, красы ее увяли,
Оранта сделалась поборницей морали.
У нас таких особ немалое число:
Терять поклонников кокеткам тяжело,
И, чтобы вновь привлечь внимание, с годами
Они становятся завзятыми ханжами.
Их страсть — судить людей. И как суров их суд!
Нет, милосердия они не признают.
На совести чужой выискивают пятна,
Но не из добрых чувств — из зависти, понятно.
Злит этих праведниц: зачем доступны нам
Те радости, что им уже не по зубам?

Г-жа Пернель

(Эльмире)

Так-так... Сударыня! К моим речам вы глухи,
Предпочитаете вы басни в этом духе,
Зато ей, пустельге, тут слава и почет.
Но выскажу кой-что и я вам. Мой черед.
Мой сын был мудр, когда, по наущенью свыше,
Благочестивцу дал приют под этой крышей.
Вам послан праведник, дабы извлечь из тьмы
И к истине вернуть заблудшие умы.
Спасительны его святые поученья,
А то, что он клеймит, достойно осужденья.
Приемы да балы, и песенки, и смех,
И шутки вольные, и танцы — это грех,
Служенье сатане. Хм... «Дружеские встречи»!
Там произносятся кощунственные речи,
Достойнейших особ там судят вкривь и вкось,
Такую говорят бессмыслицу — хоть брось!
Глупцы блаженствуют, но у людей разумных
Мутится в голове от этих сборищ шумных:
Крик, споры, суета — все из-за пустяков.
Там, как сказал один ученый богослов,
Стол-по-вторение: такие ж были крики,
Когда язычники, смешав свои языки,
Решили сообща разрушить Вавилон*.

Клеант смеется.

Вам, сударь, кажется, что мой рассказ смешон?
Досель меня никто не причислял к шутихам.

(Эльмире.)

Ну что ж, невестушка, не поминайте лихом.
Теперь я знаю вас и вдоль и поперек,
Не скоро я опять ступлю на ваш порог.

(Дает оплеуху Флипоте.)

Тебя считать ворон я нанимала, что ли?
Скажи пожалуйста, какой набрались воли!
Я покажу тебе! Ступай за мною, дрянь!

Г-жа Пернель, Флипота, Эльмира, Мариана и Дамис уходят.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Клеант, Дорина.

Клеант

А я останусь здесь. Мне надоела брань
Старухи этой...

Дорина

Тсс!.. Ну, сударь, повезло вам!
Услышала б она, каким ужасным словом
Назвали вы ее... Старуха? Никогда!
Она до тыщи лет всё будет молода.

Клеант

Из-за безделицы, а как раскипятилась!
Смотрите, до чего Тартюф попал к ней в милость!

Дорина

К ней? А к хозяину? С ним свидитесь, тогда
Понятно будет вам, в ком главная беда.
Во время наших смут* ум проявил он здравый,
Стоял за короля. А нынче — боже правый!
Со дня, когда Тартюф пожаловал в наш дом,
Хозяин не в себе, помешан он на нем.
Поверьте, носится он с этим пустосвятом,
Как курица с яйцом. Его зовет он братом,
И братца любит он — на грош вам не прилгну —
Сильней в сто раз, чем мать, дочь, сына и жену.
Его наперсником стал этот проходимец.
Такими окружен заботами любимец,

Каких любимая желать бы не могла.
За трапезой всегда он во главе стола;
Он ест за шестерых, а мой хозяин тает
И лучшие куски к нему пододвигает.
Тартюф рыгнет, а он: «Во здравье, милый брат!»
Тартюф — его кумир. Всеведущ он и свят.
Что он ни натворит — он «совершил деянье»,
Что ни сморозит он — «изрек он прорицанье».
Ну а Тартюф хитер, и просто мастерски
Оргону нашему втирает он очки.
Нас всех зажал в кулак пройдоха этот лживый.
Он сделал ханжество источником наживы.
Да не один Тартюф — его прохвост лакей
И то повадился учить меня, ей-ей:
Сует повсюду нос — ну чуть не под подушки —
И ополчается на ленты и на мушки.
Увидел в псалтыре платочек кружевной,
Так разорвал в клочки — вот пакостник какой!
И обвинил меня в кощунстве безобразном:
Святыню, мол, грязню я дьявольским соблазном.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, Эльмира, Мариана, Дамис.

Эльмира

Вы с нами не пошли за ней, и благо вам:
Здесь было горячо, а что творилось там!..
Но прибыл мой супруг. Мать, к счастью, он
не встретил.
Пройду к себе, пока меня он не заметил,
И буду ждать его.

Клеант

А я тут подожду.
С ним поздороваюсь и тотчас же уйду.

Эльмира и Мариана уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Клеант, Дорина, Дамис.

Дамис

(Клеанту)

Поговорите с ним о свадьбе Марианы.
Боюсь, не по нутру Тартюфу наши планы:
Уж, верно, неспроста так медлит мой отец.
А речь — о счастии для четырех сердец:
Коль будет отдана моя сестра Валеру,
То за его сестру я, по его примеру,
Посватаюсь...

Дорина

Идет!..

(Дамису.)

Вам лучше помолчать.

Дамис уходит.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Клеант, Дорина, Оргон.

Оргон

А, шурин, здравствуйте!

Клеант

С приездом, милый зять!
Сейчас приятного, поди, в деревне мало?

Оргон

Дорина!..

(Клеанту.)

Милый брат! Позвольте мне сначала
Порасспросить, что здесь случилось без меня.
Ведь был в отсутствии я, шутка ли, два дня!

(Дорине.)

Дорина! Расскажи о новостях мне вкратце.
Что вы тут делали? Здоровы ль домочадцы?

Дорина

Да вот у госпожи позавчерашний день
Вдруг приключился жар и страшная мигрень.

Оргон

А как Тартюф?

Дорина

Тартюф? По милости господней
Еще стал здоровей, румяней и дородней.

Оргон

Бедняга!

Дорина

Та́к у ней болела голова,
Что госпожа была под вечер чуть жива.
Хоть вышла к ужину, но вовсе есть не стала.

Оргон

А как Тартюф?

Дорина

Тартюф? Наелся до отвала.
С благоговением окинув взором стол,
Двух жареных цыплят и окорок уплел.

Оргон

Бедняга!

Дорина

Госпожа страдала всё жесточе
И не сомкнула глаз в течение всей ночи:
То жар ее томит, а то озноб трясет,
И я с ней маялась всю ночку напролет.

Оргон

А как Тартюф?

Дорина

Тартюф? С трудом прикончив ужин,
Решил он, что покой его утробе нужен.
От всяческих земных тревог себя храня,
В постели пуховой храпел до бела дня.

Оргон

Бедняга!

Дорина

Госпожа, вняв общим настояньям,
Позволила лечить себя кровопусканьем,
И бодрость прежняя к ней возвратилась вновь.

Оргон

А как Тартюф?

Дорина

Тартюф? Когда пускали кровь
(Ей, сударь, не ему), не двинул даже бровью.
Желая возместить ущерб ее здоровью,
За завтраком хватил винца — стаканов пять.

Оргон

Бедняга!

Дорина

И теперь тут снова тишь да гладь...
Но вашей поспешу я доложить супруге,
Как огорчила вас весть о ее недуге.
(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Клеант, Оргон.

Клеант

Она же вам в лицо смеялась, милый брат!
И пусть мои слова вас даже прогневят,
Но с вами всё-таки лукавить я не буду:
Нельзя не осудить столь странную причуду.
Как этот человек забрал над вами власть?
И можно ль под его влиянье так подпасть,
Чтобы забыть про всех? Я понимал, когда вы
Кров дали бедняку, но...

Оргон

Шурин! Вы не правы.
Ведь вы его еще не знаете совсем.

Клеант

Не знаю? Может быть. Но видел. А меж тем
В подобных случаях я доверяюсь глазу.

Оргон

Лишь познакомитесь получше с ним — и сразу
Его приверженцем вы станете навек.
Вот человек! Он... Он... Ну, словом, че-ло-век!
Я счастлив. Мне внушил глагол его могучий,
Что мир является большой навозной кучей.
Сколь утешительна мне эта мысль, мой брат!
Ведь если наша жизнь — лишь гноище и смрад,
То можно ль дорожить хоть чем-нибудь на свете?
Теперь пускай умрут и мать моя, и дети,
Пускай похороню и брата, и жену —
Уж я, поверьте мне, и глазом не моргну.

Клеант

Да... Это чувство впрямь на редкость человечно.

Оргон

Я повстречался с ним — и возлюбил навечно...
Он в церкви каждый день молился близ меня,
В порыве набожном колени преклоня.
Он привлекал к себе всеобщее вниманье:
То излетали вдруг из уст его стенанья,
То руки к небесам он воздымал в слезах,
А то подолгу ниц лежал, лобзая прах;
Когда ж я выходил, бежал он по проходу,
Чтобы в притворе мне подать святую воду.
Я выспросил его слугу (ему во всем
Хозяин — образец); он мне признался в том,
Что бедствуют они: нет средств на пропитанье.
Тартюфу предложил я вспомоществованье,
Однако он пенял на щедрость лепт моих:
Не стоит, дескать, он благодеяний сих;
И, в скромности своей довольствуясь немногим,
Излишек отдавал он сирым и убогим.
Вняв небесам, приют я предложил ему,
И счастье с той поры царит в моем дому.
Тартюф во все дела со мной вникает вместе,
Стоит на страже он моей семейной чести,
Ревнивей он, чем я. Чуть кто к моей жене
С любезностями — он тотчас доносит мне:

Как добродетелен! Какого полн смиренья!
Себе же самому вменяет в преступленье
Ничтожнейший пустяк, безделку, чепуху.
Вот — за молитвою поймал на днях блоху,
Так небу приносил потом он покаянье,
Что раздавил ее без чувства состраданья*.

Клеант

Как вам не совестно? Что за галиматья?
Вы, верно, шутите? Ушам не верю я.
Так может поступать лишь плут или безумец.

Оргон

Опасные слова. Вы, шурин, вольнодумец.
Вы вольномыслием давно заражены.
Я вам твердил сто раз, понять бы вы должны,
Куда вас приведет столь скверная дорога*.

Клеант

Все вам подобные — а их, к несчастью, много —
Поют на этот лад. Вы слепы, и у вас
Одно желание: чтоб все лишились глаз,
И потому вам страх внушает каждый зрячий,
Который думает и чувствует иначе,—
Он вольнодумец, враг! Кто дал отпор ханже,
Тот виноват у вас в кощунстве, в мятеже.
Но я вас не боюсь, кривить душой не стану,
Я предан истине и не слуга обману.
Лжеправедники есть, как есть лжехрабрецы.
Бахвальством не грешат отважные бойцы,
А праведники, те, что подают пример нам,
Не занимаются кривляньем лицемерным.
Ужели ж разницы для вас нет никакой
Меж верой истинной и верой показной?
Как не сумели вы быль отделить от сказки?
Как не смогли лица вы отличить от маски?
Как вы не поняли, где топь, где твердый путь?
Где вымысел, где явь? Где видимость, где суть?
Как правду спутали вы с кривдою отпетой?
Червонец подлинный с фальшивою монетой?
Да, в большинстве своем мы, люди, чудаки
И действуем своей природе вопреки.
Зачем мы разуму дать не желаем веры?
И почему нигде, ни в чем у нас нет меры?
Порой наш замысел прекрасен и велик,
Но начинаем мы рубить сплеча — и вмиг

Переусердствуем и добрую основу
Испортим, извратим... Но это так я, к слову.

Оргон

Уж где тягаться нам с философом таким!
Во всем вы сведущи. Ваш суд непогрешим.
Вы — кладезь мудрости. Пророк. В сравненье с вами
Все прочие должны считаться дураками.

Клеант

Не кладезь мудрости я, сударь, не пророк,
Я вовсе не хочу вам преподать урок —
Не столь уж я учен для этого занятья,—
Но ложь от истины умею отличать я.
Из добродетелей всего я больше чту
Высоких помыслов святую чистоту,
И благороднее не знаю я примера,
Чем люди, в чьих сердцах горит живая вера.
И нет поэтому на свете ничего
Противнее, чем ложь, притворство, ханжество.
Не стыдно ли, когда святоши площадные,
Бездушные лжецы, продажные витии,
В одежды святости кощунственно рядясь,
Всё, что нам дорого, всё втаптывают в грязь;
Когда стяжатели в соперничестве яром
Торгуют совестью, как мелочным товаром,
И, закатив глаза, приняв постный вид,
Смекают, кто и чем за то их наградит;
Когда они спешат стезею благочестья
Туда, где видятся им деньги и поместья;
Когда, крича о том, что жить грешно в миру,
Они стараются пробиться ко двору;
Когда клеветники без совести, без чести,
Личиной благостной скрывая жажду мести,
Дабы верней сгубить того, кто им не мил,
Вопят, что он — бунтарь противу высших сил?
И оттого для нас они опасней вдвое,
Что приспособили меч веры для разбоя,
С молитвою вершат преступные дела,
И стало в их руках добро орудьем зла.
Таких притворщиков немало в наше время,
Однако отличить нетрудно это племя
От праведных людей. А праведники есть,
И мог бы я легко примеры вам привесть:

Хоть Аристона взять, Оронта, Периандра,
Прибавим к ним еще Альсида и Клитандра,—
Кто может упрекнуть их в чем-нибудь дурном?
Но не звонят они по городу о том,
Что только их, мол, жизнь свята и безупречна.
Нет, добродетель их терпима, человечна.
И ближних осуждать почли б они за стыд,
Ведь осуждающий гордынею грешит.
Они творят добро без показного рвенья,
Чуждаясь пышных фраз и самовосхваленья.
У них спесивое злословье не в чести:
Им в людях радостно хорошее найти.
Интриги не плетут, не роют ближним ямы,
Их помыслы чисты, а их сужденья прямы.
Питают ненависть они, замечу вам,
Не к бедным грешникам, но лишь к самим грехам.
Им не придет на ум усердствовать сверх меры
И ревностней небес стоять на страже веры.
Вот — люди! Вот с кого брать надобно пример.
Боюсь, что ваш Тартюф сшит на иной манер
И праведность его — пустое лицемерье.
Не слишком ли легко вошел он к вам в доверье?
Вас обманул его благочестивый вид?
Не всё то золото, поверьте, что блестит.

Оргон

Вы всё сказали?

Клеант

Да.

Оргон

(направляясь к выходу)

Тогда — слуга покорный.

Клеант

Постойте же! Предмет оставим этот спорный.
Сейчас я о другом. Я слышал, милый зять,
Что за Валера дочь хотели вы отдать.

Оргон

Да.

Клеант

Вы назначили ему день свадьбы, или...

Оргон

Назначил.

Клеант

Почему ж вы свадьбу отложили?

Оргон

Да так...

Клеант

У вас другой есть план, любезный брат?

Оргон

Гм!.. Гм!..

Клеант

Намерены вы слово взять назад?

Оргон

Не то чтобы назад...

Клеант

Как будто нет для брака
Препятствий никаких?

Оргон

Да как сказать...

Клеант

Однако
Вы уклоняетесь. Валер меня просил...

Оргон

Просил? Я очень рад.

Клеант

Он мил вам иль не мил?
Что мне сказать, когда придет он за ответом?

Оргон

Что пожелаете.

Клеант

Я должен знать при этом,
Как вы поступите.

Оргон

Мне небо даст совет.

Клеант

Вы слово сдержите? Ответьте: да иль нет?

Оргон

Прощайте!

(Уходит.)

Клеант

Ох, боюсь, что этот брак — химера!
Мне надо сей же час предупредить Валера.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Оргон, Мариана.

Оргон

Дитя мое!

Мариана

Отец?

Оргон

Необходимо нам
Потолковать вдвоем.

(Заглядывает в соседнюю комнату.)

Мариана

Что ищете вы там?

Оргон

Хочу увериться, что посторонних нету:
Поговорить с тобой мне нужно по секрету...
Нет никого... Итак, до нынешнего дня
Всегда безропотно ты слушалась меня.
В своей отеческой любви границ не зная,
О благе о твоем заботился всегда я.

Мариана

Мне всех дороже благ отцовская любовь.

Оргон

Отлично сказано. Лишь мне не прекословь —
Навеки сохранишь мое благоволенье.

Мариана

Об этом лишь, отец, мечтаю каждый день я.

Оргон

Так-так... А по душе тебе наш гость, Тартюф?

Мариана

Мне? По душе?

Оргон

Свой долг дочерний вспомянув,
Подумай и ответь правдиво и свободно.

Мариана

Не знаю, батюшка. Как будет вам угодно.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Дорина; входит неслышно и становится позади Оргона.

Оргон

Прекрасные слова. Итак, мое дитя,
Образчик совершенств в Тартюфе обретя,
Его вознаградить должны мы по заслугам:
Его полюбишь ты и назовешь супругом.
А?

Мариана

А?

Оргон

Что значит «а»?

Мариана

Как это?

Оргон

Ты о чем?

Мариана

Ведь я ослышалась?

Оргон

Что?

Мариана

Это вы о ком?
Кого вознаградить должны мы по заслугам?
Кого я полюблю и назову супругом?

Оргон

Тартюфа.

Мариана

Но его я вовсе не люблю.

Оргон

Полюбишь, дочь моя, раз я тебе велю.

Мариана

Но, батюшка...

Оргон

На спор мы только время тратим.
Женившись на тебе, Тартюф мне станет зятем,
Мы породнимся с ним. Знай: это мой приказ.
И по твоим глазам сужу я...

(Оборачивается и замечает Дорину.)

Вот те раз!
Подслушивать? Ну-ну! Я вижу, любопытство
Способно довести вас, женщин, до бесстыдства.

Дорина

Соседки-кумушки пророчат этот брак,
Да только, сударь, мне не верится никак.
Кто это выдумал и распустил по свету,
Ума не приложу. Привлечь бы их к ответу!

Оргон

Не веришь, стало быть, ты этому?

Дорина

Ничуть,
Хотя б изволили вы даже присягнуть.

Оргон

Дай срок, уж я тебя уверю, баламутку!

Дорина

Да-да, как бы не так! Вот отмочили шутку!

Оргон

Эй! На ветер слова бросать я не привык.

Дорина

Да ну?

Оргон

(Мариане)

Я не шучу.

Дорина

(Мариане)

Ваш папенька шутник.
Не верьте ничему — он это вам в забаву.

Оргон

Кому я говорю?

Дорина

Придумано на славу,
Да нас не проведешь...

Оргон

Ох, я тебе сейчас!..

Дорина

Да верю, верю я... Вот не ждала от вас!
Мужчина вы в летах — скажу вам не в обиду,—
С почтенной бородой, такой разумник с виду,
И вдруг... Я не пойму, как вам на ум взбрело...

Оргон

Не стоит, милая, употреблять во зло
Мое терпение. Ты слишком обнаглела.

Дорина

Давайте, не сердясь, обсудим это дело.
Хотите свадебкой вы насмешить людей?
Зачем она ему? На что сдался он ей?
Жениться ни к чему столь рьяным богомолам,
Им нету времени возжаться с женским полом.

А вы? Ох, как бы тут расчет вас не подвел,
Ведь сами знаете, что гол он как сокол.
К чему же вам такой зятек?

Оргон

Молчи, Дорина!
Он неимущ, и в том еще одна причина,
Чтоб уважать его. Богатство что? Тщета.
И нищета его — благая нищета.
О достоянии печется он нетленном,
А потому, забыв о достоянье бренном,
Поместий он своих и не сберег. Так вот,
Я поддержу его, он вотчины вернет,
От них мы вправе ждать немалого дохода.
К тому ж он дворянин стариннейшего рода.

Дорина

Он самолично вам хвалил свой древний род?
Благочестивцам-то тщеславие нейдет.
Тот, кто за суету поносит мир греховный,
Не должен хвастаться своею родословной,
И кто живет постясь и вознося мольбы,
Не должен поминать дворянские гербы.
Гордыня — смертный грех... Но что это? Вы в гневе?
Не буду. Помолчу о родословном древе.
Займемся им самим. Ужели не смущен
Ваш взор? Представьте их вдвоем: она — и он!
Обдумали ли вы последствия их брака?
В подобных случаях, увы, бывает всяко:
Коль девушку ведут неволей под венец,
Тут добродетели нередко и конец.
Ведь может быть супруг за честь свою спокоен
Лишь при условии, что сам любви достоин.
И если у мужей растет кой-что на лбу,
Пускай винят себя — не жен и не судьбу.
Уж ежели тебе жених попался скверный,
То, как ты ни крепись, женой не будешь верной.
О том подумали вы, сударь, или нет?
Пред небом только вам за всё держать ответ.
Иль вам не боязно взять грех на совесть вашу?
С пути собьется дочь, а обвинят папашу.

Оргон

Я вижу, милая, ты мне даешь урок?

Дорина

Неплохо бы, чтоб он пошел вам, сударь, впрок.

Оргон

(Мариане)

Ты эту чушь, дитя, не принимай на веру.
Доверься мне, отцу. Я слово дал Валеру,
Но слышал стороной: игрок как будто он
И вольномыслием к тому же заражен.
Увы, не частый гость Валер в господнем храме.

Дорина

А нужно, чтобы он юлил там перед вами
С молитвой напоказ, как новый ваш жених?

Оргон

Довольно! Не прошу советов я твоих.

(Мариане.)

А мой избранник чужд забавам легковесным,
Всегда в общении он с промыслом небесным.
И это поважней всей прелести земной.
Тебя, как станете вы мужем и женой,
Лелеять будет он, что голубок голубку.
Чего ни пожелай, пойдет он на уступку.
Вовек тебе не даст он повода для слез.
А ты...

Дорина

Она ему наставит мигом... нос.

Оргон

В уме ты?

Дорина

У него такая, сударь, внешность,
Что в грех она, ей-ей, введет саму безгрешность.
На что уж ваша дочь смиренна и тиха,
А замужем за ним не избежит греха.

Оргон

Не прерывай меня. Мне это надоело.
Я с дочкой говорю. Тебе какое дело?

Дорина

Стараюсь ради вас.

Оргон

Ну что ж, я твой должник.
Но об одном прошу: попридержи язык.

Дорина

Я слишком вас люблю, и никакая сила...

Оргон

Да не желаю я, чтоб ты меня любила!

Дорина

А я люблю! Люблю! Хотя бы вам назло.

Оргон

Вот как?

Дорина

И до того на сердце тяжело —
Ведь скоро станете вы притчей во языцех.

Оргон

Уймись!

Дорина

Уж лучше бы оставить дочь в девицах.

Оргон

Ехидна! Кончишь ли ты изливать свой яд?

Дорина

Вы злитесь? Ай-ай-ай! Ведь гнев приводит в ад!

Оргон

Уж добрый час она мне голову морочит.
От этих глупостей вся желчь во мне клокочет.
Ну помолчи, прошу покорнейше тебя!

Дорина

Молчу. Но не могу не думать про себя...

Оргон

Пожалуйста. Но вслух не смей. Ни звука, или...

(Мариане.)

Так вот, дитя мое, мы, значит, порешили.

Дорина

(в сторону)

И рта нельзя раскрыть! Как каменная стой!

Оргон

(Мариане)

Доверься мне. Тартюф не блещет красотой,
Но всё ж его лицо...

Дорина

(в сторону)

Сказать точнее — рыло.

Оргон

...приятно, и когда б ты даже не ценила
Его души...

Дорина

Души? Да он...

Оргон оборачивается и слушает Дорину, меряя ее взглядом и скрестив руки на груди.

Я говорю:
Меня б не повели насильно к алтарю,
А если б вышло так, то — я ведь не трусиха —
Назавтра бы мой муж узнал, почем фунт лиха.

Оргон

Так для тебя мои приказы — звук пустой?

Дорина

Не с вами говорю.

Оргон

А с кем?

Дорина

Сама с собой.

Оргон

Так, значит, милая, к моим словам вы глухи?

(В сторону.)

Придется, кажется, прибегнуть к оплеухе.

(Собирается дать Дорине пощечину и, говоря с Марианой, смотрит на Дорину, но та стоит молча.)

Решение отца... одобришь ты, мой друг...
Я взвесил тщательно... Твой будущий супруг...

(Дорине.)

Ну, что же ты молчишь?

Дорина

Я высказала всё вам.

Оргон

Дополнишь, может быть?

Дорина

Нет, ни единым словом.

Оргон

А всё-таки?

Дорина

Нет-нет! Рехнулась, что ли, я!

Оргон

(Мариане)

Итак, мой замысел ты знаешь, дочь моя.
Покорствуя отцу, пойдешь ты к аналою...

Дорина

(отбегая)

Такого жениха поганой бы метлою!

Оргон

(хочет дать ей пощечину, но промахивается)

Твоя служанка, дочь,— не женщина, чума.
Она, того гляди, сведет меня с ума.
Беседовать с тобой я более не в силах:
Кружи́тся голова и кровь клокочет в жилах.
Перечит мне во всем! Всё делает назло!..
Пройдусь, чтобы чуть-чуть от сердца отлегло.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Мариана, Дорина.

Дорина

А наша скромница воды, знать, в рот набрала?
Я за нее борюсь, а ей и горя мало.
Услышать о чудно́м намеренье отца
И не найти в свою защиту ни словца?

Мариана

Не властен ли отец над дочерью своею?

Дорина

Вам надо было бы отвергнуть всю затею.

Мариана

Но как?

Дорина

Должны были папаше вы сказать,
Что худо, ежели противен тестю зять,
Но если муж жене противен — вдвое хуже.
Идти-то замуж вам, вам и судить о муже,
И, коль Тартюф так мил почтенному отцу,
Пусть с этим женихом он сам идет к венцу.

Мариана

Отцу мы никогда ни в чем не возражаем.
Любой его приказ в семье непререкаем.

Дорина

Отец, когда Валер предпринял сватовство,
Согласье дал ему. Вы любите его?

Мариана

Ты смеешь спрашивать? Ах, как ты бессердечна!
Валера одного любить я буду вечно,
И это от меня ты слышала сто раз.
С чего бы жар любви в душе моей угас?

Дорина

Я слышала слова. Но, может быть, на деле
К Валеру вы уже порядком охладели?

Мариана

О нет! Мои слова и чувства — заодно,
И сомневаться в них жестоко и грешно.

Дорина

Короче говоря, вы любите Валера?

Мариана

Всем сердцем.

Дорина

И у вас есть во взаимность вера?

Мариана

Да!

Дорина

И у любящих заботы нет иной,
Как только поскорей стать мужем и женой?

Мариана

Да.

Дорина

А коли замысел отцовский станет былью?

Мариана

О! Я скорей умру, чем подчинюсь насилью!

Дорина

Умрете? Правильно! Какой простой исход!
Помрешь — и кончено: ни горя, ни забот.
Тут все начнут жалеть, оплакивать все станут...
Тьфу! Вас послушаешь — так, право, уши вянут.

Мариана

Ты всё стараешься обидеть и кольнуть,
Но не сочувствуешь чужой беде ничуть.

Дорина

Кому сочувствовать должна я? Уж не вам ли?
Ну нет, сударыня: мне не по вкусу мямли.

Мариана

Ты знаешь, что робка с рожденья я была.

Дорина

Кто любит — должен тот быть твердым, как скала.

Мариана

Поверь: моей любви, Дорина, нет предела,
Но убеждать отца — мое ли это дело?
Пускай Валер...

Дорина

Валер? Папаша-сумасброд,
Влюбившийся в ханжу, помолвку вашу рвет,
Он унижает вас, судьбу калечит вашу,
А вы: «Пускай Валер расхлебывает кашу».

Мариана

Как возражать отцу? Ведь, пререкаясь с ним,
Я этим выкажу, как мной Валер любим,
А чувства обнажать нам не велит обычай.
Забыть дочерний долг? Забыть свой стыд девичий?
Ты хочешь выставить на суд людской молвы...

Дорина

Да вовсе ничего я не хочу. А вы?
Чего хотите вы? Сказали бы уж честно,
Что хочется вам стать мадам Тартюф. Прелестно!
Ну что ж, пожалуйста, у всякого свой вкус.
Зачем вам отвергать столь выгодный союз?
Не лестно ли связать судьбу с таким мужчиной
И стать Тартюфовой законной половиной?
Ах, господин Тартюф! Он чересчур хорош,
Чтоб им пренебрегать. За ним не пропадешь.
Всем взял: и праведник, и крови благородной,
Немного лопоух, но свежий и дородный.
Какой приятный смех, какой открытый взгляд!
Я поздравляю вас: не муженек, а клад.

Мариана

О боже!

Дорина

А уж как супруга будет рада
По завершении венчального обряда!

Мариана

О нет, не продолжай! Прошу тебя, молчи!
Но как мне избежать несчастья? Научи!
Готова я на все, не буду я бояться...

Дорина

Нет, что вы! Дочь должна отцу повиноваться,
Пускай бы хоть козла в зятья он захотел.
На что вы плачетесь? Завиден ваш удел.
Вы обвенчаетесь, и сразу новобрачный
Супругу повезет в свой городок невзрачный.
И каждый третий там ему иль брат, иль сват —
Всех надо ублажить. Визиты предстоят
Вам к сливкам общества. Судейша с важной миной
На табурет складной укажет вам в гостиной*.
А уж веселье-то! Раз в год там карнавал,
И, может статься, вдруг вас пригласят на бал
С оркестром музыки из двух губных гармошек
При дюжине свечей или десятке плошек.
А может, случаем заедет в эту глушь
Бродячий фокусник, и разрешит вам муж...

Мариана

О нет!.. Спаси меня от доли горькой этой!

Дорина

Кто? Я? Служанка?

Мариана

Ах, Дорина, посоветуй!

Дорина

Вам в наказание оставим всё как есть.

Мариана

Ах, душенька!..

Дорина

Нет-нет!

Мариана

Но жизнь моя и честь...

Дорина

Завидным муженьком вы насладитесь вволю.

Мариана

Я вверилась тебе. Позволь же...

Дорина

Не позволю.
Вы обтартюфитесь от головы до ног.

Мариана

Ну что же, если так твой приговор жесток,
Придется мне самой искать себе спасенья;
Мое отчаянье подскажет мне решенье.

(Хочет уйти.)

Дорина

Постойте же! Куда? Я больше не сержусь.
Не брошу вас в беде. Не верите? Клянусь.

Мариана

Нет, чем подвергнуться такой ужасной муке,
Уж лучше на себя мне наложить бы руки.

Дорина

Да что вы! Полноте! Не убивайтесь зря.
Надеюсь твердо я, по правде говоря,
Что, действуя с умом... Но вот и ваш желанный.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Валер.

Валер

Сударыня! Сражен я новостью нежданной.

Мариана

Какой же?

Валер

Говорят, что скоро под венец
Вас поведет Тартюф.

Мариана

Так хочет мой отец.

Валер

Ах вот как! Ваш отец?

Мариана

Он мне сейчас поведал
О новом замысле — и возражать мне не дал.

Валер

Он говорил всерьез?

Мариана

Всерьез, да еще как!
И согласиться мне велел на этот брак.

Валер

На что ж решились вы? Быть дочерью послушной?

Мариана

Не знаю.

Валер

Я хвалю ответ столь прямодушный.
Так вы не знаете, сударыня?

Мариана

Нет.

Валер

Нет?

Мариана

Надеюсь я, что вы дадите мне совет.

Валер

Совет? Пожалуйста. Примите предложенье.

Мариана

Вы думаете?

Валер

Да.

Мариана

Взаправду?

Валер

Без сомненья.
Завидной партией пренебрегать к чему?

Мариана

Так вот какой совет? Что ж, я его приму.

Валер

И, вижу, примете, не ощутив печали.

Мариана

Да, так же, как его вы с легкостью мне дали.

Валер

Хотел, сударыня, советом угодить.

Мариана

А я его приму, чтоб вас не огорчить.

Дорина

(отходит в глубину сцены)

Посмотрим, скоро ли куражиться устанут.

Валер

Так вот она, любовь! О, как я был обманут!
Коварная!

Мариана

Кто? Я? Вас не пойму никак.
Советуете вы, чтоб я вступила в брак,
Предложенный отцом. Ужели я коварна?
Я просто за совет весьма вам благодарна.

Валер

Итак, сударыня, по-видимому, вам
Угодно утверждать, что виноват я сам?
Найти пустой предлог, придраться — и готово:
Есть оправдание для нарушенья слова.

Мариана

Вот именно.

Валер

Теперь я ощутил вполне:
В вас истинной любви и не было ко мне.

Мариана

Что делать! Вы вольны в своих предположеньях.

Валер

О да! Я не привык просить об одолженьях.
Не мните, что меня печалит ваш отказ:
Свяжу свою судьбу — и даже раньше вас —
С другой, которая не бросит, не изменит.

Мариана

И по достоинству, конечно, вас оценит.

Валер

Мои достоинства не так уж велики,
И всё ж не оттолкнет она моей руки
И сердца моего не оскорбит. Я верю —
Меня вознаградят сторицей за потерю.

Мариана

Потеря столь мала! Подумаешь, беда!
О, вы утешитесь без всякого труда!

Валер

Надеюсь. Если ж нет, не покажу и виду.
Коль нанесли тебе сердечную обиду,
Плати забвением — так гордость нам велит;
Не можешь позабыть, тогда хоть сделай вид,
Не унижай себя. Нет, не могу постичь я,
Как можно нежностью платить за безразличье.

Мариана

Да, образ мыслей ваш поистине высок.

Валер

Надеюсь, сказано мне это не в упрек?
Иль полагали вы, свое нарушив слово,
Меня с холодностью меняя на другого,
Что я своей любви у вас не отниму,
Останусь верен вам? Что больше никому
Не вверю сердце я, отвергнутое вами?

Мариана

Я полагаю, вы вполне достойной даме
Его предложите. По мне, так хоть сейчас.

Валер

Вас это радует?

Мариана

Могу заверить вас.

Валер

Устал, сударыня, я слушать оскорбленья.
Исполнить ваш совет иду без промедленья.
(Направляется к выходу.)

Мариана

Прекрасно.

Валер

(возвращается)

Помните: на этот крайний шаг
Меня толкнули вы. Ведь так?

Мариана

Пусть будет так.

Валер

И пагубный пример мне подали вы сами.

Мариана

Я? Пагубный пример? Пусть будет так, бог с вами.

Валер

(направляется к выходу)

Итак, я поспешу исполнить ваш приказ.

Мариана

Чудесно.

Валер

(возвращается)

Ухожу. Навеки.

Мариана

В добрый час.

Валер

(направляется к выходу и на пороге оборачивается)

А?

Мариана

Что вы?

Валер

(возвращается)

Вы меня как будто бы позвали?

Мариана

Нет, вам послышалось.

Валер

Итак, вы пожелали,
Чтоб я покинул вас. Прощайте навсегда!..

(Медленно направляется к выходу.)

Мариана

Прощайте!

Дорина

Боже мой, какая ерунда!
И вам не совестно?

(Валеру.)

Стыдитесь! Вы мужчина,
А хуже девочки.

(Удерживает его за руку.)

Валер

(делает вид, что сопротивляется)

Чего тебе, Дорина?

Дорина

Вернитесь-ка!

Валер

Нет-нет. Мне велено уйти.

Дорина

Вернитесь, говорю!

Валер

Так суждено. Пусти!

Дорина

Утихомирьтесь!.. Ну! Пожалуйте обратно.

Мариана

(в сторону)

Мое присутствие ему так неприятно.
Что лучше я уйду.

Дорина

(оставляет Валера и бросается за Марианой)

Ну вот, теперь она!
Куда же вы?

Мариана

Оставь, Дорина!

Дорина

Вот те на!

Мариана

Нет-нет, оставь! Твои старания напрасны.

Валер

(в сторону)

Противен ей мой вид, и должен я, злосчастный,
Исчезнуть с глаз ее.

Дорина

(оставляет Мариану и бросается за Валером)

Ох! Сущая беда!
Довольно глупостей!

(Берет Валера и Мариану за руки.)

Пожалуйте сюда.

Валер

(Дорине)

К чему это?

Мариана

(Дорине)

Зачем?

Дорина

Хочу вас помирить я,
А после сообща обсудим мы событья.

(Валеру.)

Не стыдно, сударь, вам? Вы что, сошли с ума?
Какой мололи вздор!

Валер

Но ведь она сама...

Дорина

(Мариане)

А вы, сударыня? Ну просто уши вяли!
Как можно! Ай-ай-ай!

Мариана

Но ведь он сам вначале...

Дорина

Вы оба хороши.

(Валеру.)

Для вас лишь одного
Живет — я вам клянусь — вот это существо.

(Мариане.)

Он любит вас одну, и только с вами вместе
Счастливым будет он, поверьте моей чести.

Мариана

(Валеру)

Зачем же вы такой мне подали совет?

Валер

(Мариане)

Зачем же спрашивать, коль ясен так предмет?

Дорина

Довольно, говорю! Оставьте эти штуки.
Вы оба стоите друг друга. Дайте руки.

(Валеру.)

Ну, сударь! Ну!

Валер

(подавая руку Дорине)

Зачем?

Дорина

(Мариане)

Сударыня!

Мариана

(подавая руку Дорине)

К чему?

Дорина

Ведь вы полны любви!

(Валеру.)

Вы — к ней.

(Мариане.)

А вы — к нему.

(Обоим.)

Возьмитесь за руки.

Валер и Мариана берутся за руки, не глядя друг на друга.

Валер

(обернувшись)

Вы против примиренья?
Вам трудно на меня взглянуть без отвращенья?

Мариана смотрит на Валера и улыбается.

Дорина

О господи! Как все влюбленные глупы!

Валер

(Мариане)

Увы! Куда б отсель направил я стопы?
Моим мучениям вы, злая, были рады:
Обидные слова и ледяные взгляды...

Мариана

А вы, упрямец! Вас не сдвинуть ни на пядь...

Дорина

Пошли-поехали! Хоть жаль вас прерывать,
Не время ли теперь порассудить, однако,
О том, как избежать насильственного брака?

Мариана

Ах, посоветуй нам!

Дорина

Да где уж вам самим!

(Мариане.)

Чудесит ваш отец.

(Валеру.)

Но справимся мы с ним.

(Мариане.)

Насколько я его натуру разумею,
Отвергнуть напрямик нелепую затею
Весьма рискованно. Верней окольный путь:
Смириться надобно для виду, но — тянуть.
Кто время выиграл — всё выиграл в итоге.
Вам нужно без конца выдумывать предлоги:
То прихворнули вы, то снился сон дурной,
Разбилось зеркало, возился домовой,
То выла на луну соседская собака...
Ну, словом, мало ли препятствий есть для брака?
Вот так и действуйте, и эти господа
Не выдавят из вас желаемого «да».
Но всё же, чтоб дела не обернулись худо,
Влюбленным лучше бы не видеться покуда.

(Валеру.)

Не тратьте времени. Сейчас всего нужней
Призвать на помощь нам сочувствие друзей.

(Мариане.)

За вас и братец ваш и мачеха — горою,
Я тоже как-никак чего-нибудь да стою.

Валер

(Мариане)

Усилья общие пророчат нам успех,
Но больше я на вас надеюсь, чем на всех.

Мариана

Отец не обратит меня в иную веру:
Я сердцем и душой принадлежу Валеру.

Валер

О счастье без границ! Но если только мне...

Дорина

Влюбленным лишь позволь — увязнут в болтовне!

(Валеру.)

Ступайте!

Валер

Но...

Дорина

Живей! С глухими, что ль, толкую?

(Валеру.)

Вы — в эту дверь.

(Мариане.)

А вы, сударыня,— в другую.

(Разводит их в разные стороны.)

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Дамис, Дорина.

Дамис

Пусть гром меня сейчас на месте разразит,
Пусть несмываемый меня покроет стыд,
Когда я отступлю перед отцовской властью
И не пойду на всё, чтоб помешать несчастью.

Дорина

Ну и горячая вы, сударь, голова!
Поймите: это ведь пока еще слова,
И вас без времени тревога одолела —
Не так-то близок путь от замысла до дела.

Дамис

И всё же мне пора приструнить молодца.
Уж я ему скажу два-три таких словца...

Дорина

Ну-ну! Один лишь вред от неуемной прыти.
Нет, лучше мачехе своей всё поручите.
Он к ней благоволит. Я даже так сужу,
Что он слегка того... влюбился в госпожу.
Чем черт не шутит, а? Вот нам бы всем потеха!
Поверьте мне: она могла б не без успеха
Тартюфа расспросить, разведать, что и как,
Узнать, как смотрит он на пресловутый брак,

И объяснить ему, коль сам не понимает,
Что ежели и впрямь надежды он питает,
То все домашние увидят в нем врага.
Я поднялась к нему, да не впустил слуга:
Хозяин погружен в молитвенное бденье;
Но скоро выйдет, мол, окажет снисхожденье,
Ступайте-ка!

Дамис

О нет! Послушать надо мне...

Дорина

Нельзя. Им следует побыть наедине.

Дамис

Клянусь, я буду нем при их переговорах.

Дорина

Вы, сударь? Да ведь вы, как всем известно, порох.
Вы нам наверняка испортите игру.

Дамис

Клянусь...

Дорина

Да вот и он.

Дамис прячется в маленькую комнатку в глубине сцены.

Куда? Ой, не к добру!

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Дорина, Тартюф.

Тартюф

(заметив Дорину, обращается к своему слуге, который находится за сценой)

Лоран! Ты прибери и плеть и власяницу*.
Кто спросит, отвечай, что я пошел в темницу
К несчастным узникам, дабы утешить их
И лепту им вручить от скудных средств моих.

Дорина

(в сторону)

Вот мастер разводить цветистые рацеи!

Тартюф

Чего тебе?

Дорина

Я к вам.

Тартюф

(вынимает из кармана платок)

Возьми платок. Скорее!

Дорина

На что мне ваш платок?

Тартюф

Прикрой нагую грудь.
Сей приоткрыв предмет, ты пролагаешь путь
Греховным помыслам и вожделеньям грязным.

Дорина

Неужто же вы так чувствительны к соблазнам
И вожделение не в силах побороть,
Нечаянно вблизи узрев живую плоть?
Вы, как я погляжу, уж чересчур горячий,
А я — похолодней и чувствую иначе:
Явись вы предо мной в чем родила вас мать,
Перед соблазном я сумела б устоять.

Тартюф

Твоя несдержанность — одна тому причина,
Что, кажется, уйти придется мне, Дорина.

Дорина

Зачем вводить вас в грех? Сама уйду сейчас,
Лишь передам словцо от госпожи для вас:
Она желает, чтоб вы ей не отказали
В непродолжительном свиданье в этой зале.

Тартюф

Какая весть! О нет, я ей не откажу!

Дорина

(в сторону)

Размяк! Знать, втюрился и правда в госпожу.

Тартюф

Когда она придет?

Дорина

Не долго дожидаться...
Да вот она сама! Счастливо оставаться!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Тартюф, Эльмира.

Тартюф

Ничтожнейший из всех, живущих в мире сем,
Я к силам всеблагим взываю об одном:
И ныне и вовек пусть промысел небесный
Дарит вас бодростью духовной и телесной.

Эльмира

Предметом ваших быть молитв — большая честь,
И я ее ценю. Но, может быть, нам сесть?

Тартюф

(садясь)

Итак, оправились вы от недуга злого?

Эльмира

(садясь)

Спасибо, всё прошло, и я вполне здорова.

Тартюф

Что́ для небес мои смиренные мольбы?
И всё ж с усердием молился я, дабы
Скорей вам небеса послали исцеленье.

Эльмира

Чем заслужила я столь пламенное рвенье?

Тартюф

Мне ваше здравие столь дорого, что впредь,
Поверьте мне, готов я вместо вас болеть.

Эльмира

Вот как? Вы далее зашли в своем усердье,
Чем христианское велит нам милосердье.
Весьма признательна за вашу доброту.

Тартюф

Возможность вам служить за счастие почту.

Эльмира

Мне нужно было вам сказать два слова втайне.
Мы здесь одни.

Тартюф

Польщен доверьем вашим крайне.
Скрыть не могу от вас, сударыня: и мне
Столь с вами сладостно побыть наедине,
Что я давно молил об этом провиденье
И дожил наконец до дивного мгновенья.

Эльмира

Я буду искренна; жду также и от вас,
Что сердце вы свое откроете сейчас.

Дамис приотворяет дверь.

Тартюф

О, тут найдете вы во мне единоверца!
С великой радостью я вам открою сердце.
Признаюсь сразу же, что если иногда
Пенял я на гостей, которые сюда
Слетались восхвалять прелестную особу,
То вовсе не затем, что к вам питал я злобу,
Напротив— мыслил я вас уберечь от зла.
В заботе ревностной...

Эльмира

Я так и поняла —
В заботе о душе...

Тартюф

(хватая ее за руку)

Да, в ревностной заботе
О вашем благе...

Эльмира

(вырывая руку)

Ой! Вы слишком крепко жмете.

Тартюф

Простите мой порыв. Увы! Столь велика
Моя вам преданность...

(Кладет руку Эльмире на колени.)

Эльмира

При чем же здесь рука?

Тартюф

Хотел пощупать ткань. Она весьма добротна
И так нежна, мягка!..

Эльмира

Простите, мне щекотно.

(Эльмира отодвигает свое кресло, но Тартюф придвигает свое.)

Тартюф

(щупает косынку Эльмиры)

А это! Боже мой, какое мастерство!
Искусней я досель не видел ничего.
До чрезвычайности во всем мы преуспели...

Эльмира

О да! Но не пора ль потолковать о деле?
Как передали мне, Валера ждет отказ:
Мой муж перерешил и прочит дочь за вас.
Что это — истина или пустые слухи?

Тартюф

Он, правда, намекал на что-то в этом духе,
Однако же другой я жребий предпочту:
Лелею, признаюсь, я высшую мечту
И прелестей иных всем существом взыскую.

Эльмира

Отвергли, знаю я, вы суету мирскую.

Тартюф

Всё ж сердце у меня в груди, а не кремень.

Эльмира

Святыми мыслями заполнен весь ваш день,
Земные чужды вам желанья и заботы.

Тартюф

Тому, кто возлюбил бессмертные красоты,
Должна приятна быть и смертная краса:
Ее на радость нам даруют небеса.
Иной раз и в других созданиях прелестных
Мы видим отблески прообразов небесных,
Но ваш прекрасный лик нежнее всех стократ,
Волнует сердце он и восхищает взгляд.
Едва встречаю вас, как снова я и снова
Чту в вашем облике творца всего живого,
И к воплощенному подобию его
Огнем любви мое пылает естество.
Сначала я считал, что мне бороться надо
С любовным пламенем, что это козни ада,
И, как вы ни чисты, как вы ни хороши,
В вас мнил препятствие к спасению души.
Но понапрасну я страшился, маловерный,—
Столь ваша красота чужда житейской скверны,
Что я, вас полюбив, в грех не рискую впасть:
Сия не пагубна, но животворна страсть.
Вам сердца моего теперь открылась тайна,
И дерзостью своей смущен я чрезвычайно.
Так недостоин я, я столь ничтожно мал,
Что не открылся б вам, когда б не уповал
На вашу доброту. О чудное созданье!
Что ждет меня теперь: блаженство иль страданье?
Вершина радостей иль бездна горьких мук?
Какую я судьбу приму из ваших рук?

Эльмира

Признанье пылкое... Но, как оно ни лестно,
Боюсь, что ваша речь немного... неуместна.
А я-то думала до нынешнего дня,
Что ваша набожность — крепчайшая броня
От искусов мирских, надежная плотина...

Тартюф

Как я ни набожен, но всё же я — мужчина.
И сила ваших чар, поверьте, такова,
Что разум уступил законам естества.
Отринув суету для радости небесной,
Я всё ж, сударыня, не ангел бестелесный.
Но, осудив меня за дерзость, часть вины
На вашу красоту вы возложить должны:

Она мной сразу же навеки завладела,
Вам помыслы мои принадлежат всецело;
Сей безмятежный взор и дивное чело
Пронзили сердце мне, оно изнемогло.
К молитве и посту прибег я, но напрасно,
Я думал об одном: о, как она прекрасна!
Мой каждый вздох и взгляд твердили это вам,
И вот я наконец доверился словам.
Но если тронут вас нижайшие моленья
И вы подарите свое благоволенье
Мне, недостойному и жалкому рабу,
Заоблак вознеся ничтожную судьбу,
Вам преданность явлю я, мой кумир бесценный,
Какой не видели доныне во вселенной.
Коль осчастливите вы своего слугу,
От всех случайностей я вас оберегу.
Честь ставят женщины на карту, как мы знаем,
Доверившись хлыщам, беспечным шалопаям:
Чуть юный вертопрах чего-нибудь достиг,
Тщеславье так его и тянет за язык,
И пошлой болтовней грязнит он без смущенья
Алтарь, где сам вершит он жертвоприношенья.
Но я не из таких. Нет, я любовь свою
От любопытных глаз надежно утаю:
Ведь сам я многое теряю при огласке.
А потому мне честь доверьте без опаски.
Своей избраннице я в дар принесть бы мог
Страсть — без худой молвы, услады — без тревог.

Эльмира

Хотя с начальных слов уже могла пресечь я
Столь неуместные потоки красноречья,
Я выслушала вас. Понравится ли вам,
Коль этот разговор я мужу передам?
Не охладеет ли он к преданному другу,
Который соблазнить решил его супругу?

Тартюф

Нет! Свято верую я в вашу доброту.
Пускай в избытке чувств я преступил черту,
По слабости своей подпав под ваши чары,—
Ужель столь тяжкие обрушите вы кары
На грешника за то, что он, увы, не слеп,
За то, что духом он еще не столь окреп,
Не защищен вполне от искушений плоти?

Эльмира

Другая женщина, как вы легко поймете,
Могла бы тут куда суровей поступить,
Но не пожалуюсь я мужу, так и быть.
С условьем: вы должны — смотрите, без обмана! —
Добиться, чтоб была с Валером Мариана
Незамедлительно обвенчана. Я жду,
Что отведете вы от их голов беду
И нас избавите от ваших домогательств.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Дамис.

Дамис

О нет, сударыня! Я волей обстоятельств
Был здесь и слышал всё. Теперь уж подлеца
Могу я обличить пред всеми до конца!
Уж раз так повезло, с ним расплачусь теперь я
За наглость и за спесь, за ложь и лицемерье.
Я расскажу отцу, как за его спиной
Злодей амурничать решил с его женой.

Эльмира

Спокойнее, Дамис! Попробуем сначала
Войти в согласье с ним. Молчать я обещала
И обещания обратно не возьму.
Не в правилах моих шум поднимать. К чему?
Мы, женщины, должны обороняться сами,
И докучать мужьям не стоит пустяками.

Дамис

Вы вправе поступать так, как угодно вам,
Но я уж вырваться разбойнику не дам.
Вы, верно, шутите? Чтоб я стерпел потворство
Тому, нахальство чье и гнусное притворство
Меня до белого каленья довело?
Доверчивость отца употребив во зло,
Он внес раздор в семью, разрушил наши планы,
Попрал любовь мою, Валера, Марианы.
Но небо выдало его мне головой.
Ужель не утолю гнев справедливый свой,
Ужель я упущу благоприятный случай
И выхода не дам для ненависти жгучей?

Держать его в руках — и выпустить? О нет!
Мне будет совестно глядеть на белый свет.

Эльмира

Дамис!..

Дамис

Нет, ни за что! Кто на моем бы месте
Не ощутил восторг от предвкушенья мести?
Я — не прогневайтесь — оставлю в стороне
Все ваши доводы. Раз он попался мне,
Уж будет сорвана с бесстыжей твари маска,
И я покончу с ним!

(Увидев Оргона.)

Ага! Вот и развязка!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Оргон.

Дамис

Как кстати вы, отец! Спешу поведать вам
О том, чему сейчас свидетель был я сам.
Вот этот господин — он возымел желанье
За вашу доброту, за все благодеянья
Весьма старательно и щедро отплатить:
Вас, благодетеля, бесчестием покрыть.
Изобличить хочу я этого злодея:
Я слышал сам, как здесь, от гнусной страсти млея,
Признанья расточал супруге вашей он.
Она скромна, кротка; столь дух ее смущен,
Что не хотелось ей вам говорить об этом.
Но, происшедшее оставив под секретом,
Я от возмездия укрыл бы наглеца,
Я предал бы тогда честь моего отца.

Эльмира

И вновь, Дамис, должна вам повторить я то же:
Что мы, своих мужей напрасно не тревожа,
Способны защитить их и себя. Увы!
С моим суждением не посчитались вы.

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Тартюф, Дамис, Оргон.

Оргон

Что слышу я? Чему мне верить? Боже правый!

Тартюф

Верь, брат мой! Я злодей, бесстыдный и лукавый,
Виновник всяких зол, источник всяких бед.
Такого грешника еще не видел свет.
С мерзейшим из существ не смею стать я рядом,
Вся жизнь моя полна позором, грязью, смрадом,
В ней скопище грехов и свалка нечистот,
И небо поделом мне казнь такую шлет.
Пускай припишут мне любое злодеянье —
Смирюсь, не проронив ни слова в оправданье.
Так верьте же всему! Услышав и узрев
Все низости мои, обрушьте ярый гнев,
Гоните прочь меня. Какие бы удары
От вас ни претерпел — я стою большей кары.

Оргон

(Дамису)

Как повернулся твой бессовестный язык
Над праведником так глумиться? Клеветник!

Дамис

Что? Этот лицемер кривляется бесстыдно,
А вы его...

Оргон

Молчи, проклятая ехидна!

Тартюф

О, пусть он говорит, и верьте вы ему!
Я поношения безропотно приму.
Сурово рассудив и нелицеприятно,
Вдруг вы позорные на мне найдете пятна?
Доверие ко мне внушают, милый брат,
Мое открытое лицо, правдивый взгляд,
Но, может статься, вас обманывает внешность,
И в сердце у меня порок, а не безгрешность?
И, добронравием прославясь меж людей,
На деле, может быть, первейший я злодей?

(Дамису.)

Итак, мой милый сын, вот весь я перед вами,
Клеймите же меня поносными словами:
Я изверг, лицемер, клятвопреступник, тать,
Убийца, блудодей,— не стану отрицать.
Колени преклонив, стерплю я поруганье
Как по грехам моим от неба воздаянье.

(Опускается на колени.)

Оргон

(Тартюфу)

Мой драгоценный брат!

(Дамису.)

Ну, бессердечный лжец,
Ты не раскаялся?

Дамис

Да разве вы, отец,
Не видите...

Оргон

Молчать!

(Поднимая Тартюфа с колен.)

О брат мой, поднимитесь!

(Дамису.)

Мерзавец!

Дамис

Я...

Оргон

Молчи!

Дамис

Клянусь, вы убедитесь...

Оргон

Замолкнуть велено тебе, клеветнику.
Еще лишь звук — и я сверну тебе башку!

Тартюф

Брат! Ради господа, себя возьмите в руки.
Я сам с готовностью отдам себя на муки,
Чтоб волос не упал с заблудшей головы.

Оргон

(Дамису)

Ну! Слышишь ты?

Тартюф

Ужель не смилуетесь вы?
Я за него молю коленопреклоненный.

Оргон

(становясь на колени перед Тартюфом)

Как можно, милый брат...

(Дамису.)

Гляди: во всей вселенной
Великодушия такого не найдешь!

Дамис

Но...

Оргон

Цыц!

Дамис

Но я...

Оргон

Молчи! Всё — происки и ложь.
Он ненавистен вам: моей жене, и детям,
И даже челяди; вы с праведником этим
Желаете меня поссорить. Никогда!
Чем более на то вы тратите труда,
Тем он дороже мне. Наветам и обидам
Враз положу конец: дочь за него я выдам
И этим браком спесь со всех вас я собью.

Дамис

Вы обвенчаете с ним силой дочь свою?

Оргон

Да-да, бездельник! Да! И нынче ж, без отсрочки,
Упрямцам всем назло: жене, сынку и дочке.
Кто здесь глава семьи? Я всех вас, так и знай,
Сверну в бараний рог. Сейчас же, негодяй,
Пади к его ногам и попроси прощенья!

Дамис

Я? У мошенника?

Оргон

Что? Снова оскорбленья?
Где трость моя? Где трость?

(Тартюфу.)

Пустите же меня!

(Дамису.)

Вон из дому! Слыхал? Чтоб с нынешнего дня
Тебя не видел я! Иначе будет худо!

Дамис

Что ж, я уйду...

Оргон

Живей! Проваливай отсюда!
Наследства я тебя лишаю, наглеца,
И получи взамен проклятие отца!

Дамис уходит.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Тартюф, Оргон.

Оргон

Как только наглости хватает негодяю!..

Тартюф

Пусть небеса ему простят, как я прощаю.

(Оргону.)

Как горько, милый брат, что вся ваша семья
Меня преследует! Чем досадил им я?

Оргон

Увы!

Тартюф

Так исказить души моей порывы!
Обидно... Сколь они ко мне несправедливы!..
Ужасно!.. Сердце сжал мне холод ледяной...
Ах, брат!.. Мне кажется, что смерть пришла за мной...

Оргон

(рыдая, бежит к двери, за которой скрылся Дамис)

Проклятый висельник! Жаль, не хватило духу,—
Прихлопнуть бы тебя на месте, словно муху!

(Тартюфу.)

Очнитесь, милый брат! Прощенья жду от вас!

Тартюф

Не надо более об этом... Но сейчас
Я понял, что в ваш дом раздора внес я семя,
Жизнь вашу омрачил и что приспело время
Отсюда мне уйти куда глаза глядят.

Оргон

Вы шутите!

Тартюф

Им всем я ненавистен, брат.
И о моих грехах вам прожужжали уши.

Оргон

Но ведь не слушаю я этой дерзкой чуши!

Тартюф

Увы, не кончатся наветы их на сем,
И в следующий раз, устав в борьбе со злом,
Вы им уступите.

Оргон.

Меня не обморочат!

Тартюф

Ах, брат!.. Когда жена чего-нибудь захочет,
То рано ль, поздно ль муж ей сдастся.

Оргон

Но не я.

Тартюф

Нет-нет, уж раз меня отвергла вся семья,
Позвольте мне уйти!

Оргон

О нет! Разлуки с вами
Я не переживу.

Тартюф

Подобными словами
Вы разрываете мне сердце. Я боюсь,
Что уступлю вам...

Оргон

Ах!..

Тартюф

Ну хорошо, сдаюсь...
Однако же, дабы не вызывать злоречья,
Намерен избегать с женою вашей встреч я.

Оргон

Да нет, наоборот: я в долг вменяю вам
Не расставаться с ней назло клеветникам.
Признаться, для меня милее нет занятья,
Чем злить глупцов... Легко могу их доконать я
Созревшим только что решением одним:
Я назначаю вас наследником своим,
Помимо всех других, единственным. Вот так-то!
Немедленно займусь я составленьем акта:
Свое именье в дар хочу вам отписать.
Милей мне верный друг и будущий мой зять,
Чем сын, жена и все... Вы примете даренье?

Тартюф

Могу ль противиться я воле провиденья?

Оргон

Бедняга!.. Ну, идем! Сей акт я сочиню —
И пусть хоть разорвет с досады всю родню!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Клеант, Тартюф.

Клеант

О происшествии распространились вести,
И этот шум отнюдь не служит к вашей чести.
Я, сударь, очень рад, что встретились вы мне:
Хочу вам кое-что сказать наедине.

Поверьте, что совсем нет у меня желанья
Вникать в подробности и учинять дознанье.
Допустим, что Дамис не прав, что без причин
Он стал вас обвинять. Вы, как христианин,
Казалось бы, должны простить ему обиду
И впавшего во грех взять под свою эгиду?
Как допустили вы, смиренья образец,
Чтоб сына из дому прогнал родной отец?
Я повторяю вам: настолько это дико,
Что все возмущены — от мала до велика.
Я вам советую уладить всё добром,
Дамису вновь открыть дорогу в отчий дом.
Давайте кончим-ка всё чинно-благородно.
К тому ж прощать врагов весьма богоугодно.

Тартюф

Ах, если бы я мог так дело повернуть!
Поверьте: на него я не сержусь ничуть,
Я всё ему простил и с радостью душевной
На помощь бы пришел в судьбе его плачевной,
Но замыслам небес тем причинил бы вред,—
Вот почему — увы! — вам говорю я «нет».
Ведь если бы сюда он возвратился снова,
Я сам бы должен был сего лишиться крова:
Проступки юноши, к несчастью, таковы,
Что я, с ним примирясь, дам пищу для молвы,
Весьма злокозненных суждений не миную.
Все скажут: раз пошел я с ним на мировую,
То сам не без греха; прощаю для того,
Чтоб этим-де купить молчание его.

Клеант

Я вижу, сударь мой, вы ритор прирожденный —
Столь ваши доводы тонки, столь изощренны.
Так вы взялись помочь в отмщенье небесам?
Небесный промысел свершит свой суд и сам,
И грешникам без вас пошлет он воздаянье.
Не заповедано ль нам свыше состраданье,
Прощение грехов? И что вам до молвы,
Коль поступаете по заповедям вы?
Ужель воздержитесь вы от благого дела
Из страха, чтобы вас вдруг сплетня не задела?
Для тех, кто следует велениям небес,
Резоны прочие имеют малый вес

Тартюф

Я вам сказал, что, вняв заветам провиденья,
Простил я клевету, простил и оскорбленья,
Но столь я претерпел от этих злобных ков,
Что небо не велит мне с ним делить сей кров.

Клеант

Но вам оно велит принять без колебанья,
В обход наследников, чужое достоянье?
Отвергнуть этот дар — не в том ли долг был ваш?
Отец рубил сплеча, но как такая блажь
Отпора не нашла в столь строгом моралисте?

Тартюф

Поверьте, сударь: чужд я низменной корысти,—
Вам это подтвердят все, кто со мной знаком.
Богатство — прах, и я не думаю о нем.
И тем не менее внушил мне высший разум,
Что встретить не могу надменным я отказом
Тот доброхотный дар, что преподносит друг:
Мой долг — спасти добро от недостойных рук;
В противном случае наследники именья
Могли бы дать ему дурное примененье.
Я ж деньгам оборот весьма похвальный дам
На благо ближнему, во славу небесам.

Клеант

Как вы находчивы! Что значит проповедник!
А всё ж не лучше ли, чтоб сам прямой наследник,
Не беспокоя вас, на собственный свой страх,
Подумал о своих владеньях и деньгах?
Тогда, окажется он скрягой или мотом,
Уж вас не назовут бесчестным живоглотом.
Итак, вы приняли, не совестясь ничуть,
Подарок? Может быть, попался где-нибудь
Вам в текстах, мудростью глубокой освященных,
Предлог для грабежа наследников законных?
И если промысел небесный так суров,
Что возбраняет вам делить с Дамисом кров,
То для такой, как вы, возвышенной особы
Достойней было бы и натуральней, чтобы
Не сын хозяина покинул отчий дом,
А вы, откланявшись, ушли своим путем.
Мне тягостно сказать, что потеряли стыд вы,
Но...

Тартюф

Сударь! Три часа. То час моей молитвы.
Прошу меня простить, что вас оставлю я
И поднимусь к себе.

(Уходит.)

Клеант

Уф! Скользкая змея.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Клеант, Эльмира, Мариана, Дорина.

Дорина

(Клеанту)

Наш, сударь, долг — помочь бедняжке Мариане.
Зачахнуть долго ли от этаких страданий?
Так дочку женихом порадовал отец,
Что после свадебки ей сразу и конец.
Сейчас он будет здесь. К нему приступим разом,
А если на мольбы ответит нам отказом,
На хитрость пустимся, лишь бы он взял назад
Свою угрозу...

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и Оргон.

Оргон

А! Все в сборе? Очень рад.

(Мариане.)

Такую, дочь моя, составил я бумагу!..
Не бойся ничего — всё к твоему же благу.

Мариана

(бросаясь на колени перед Оргоном)

Отец! Я вас молю! Я заклинаю вас
Всем, что вам дорого! Пускай на этот раз
Отцовские права уступят состраданью:
Впервые вашему противлюсь я желанью.

Ужели я должна в расцвете юных лет
Корить судьбу за то, что рождена на свет?
Ужели эту жизнь, дарованную вами,
Оплакать суждено мне горькими слезами?
О, если, вопреки мечтаниям моим,
Отвергли вы, отец, того, кто мной любим,
То я молю у вас хотя бы избавленья
От рук того, кто мне внушает омерзенье!
Не позволяйте же в отчаянье мне впасть,
Смирите жалостью отеческую власть!

Оргон

(растроган; про себя)

Ну-ну, не раскисать! Нужна тут непреклонность.

Мариана

Мне ваша ведома к Тартюфу благосклонность,
Но я вас упрекать не собираюсь в том.
Отдайте всё ему: имущество и дом,
Мое приданое пускай берет он тоже,
Коль так угодно вам, но только, правый боже,
Не самое меня! Позвольте мне взамен
Окончить дни мои средь монастырских стен.

Оргон

В монахини? Так-так! Вот их прием всегдашний,
Лишь только мы, отцы, вмешаемся в их шашни.
Довольно! Встань с колен! Всё это бредни, чушь!
А если всё-таки противен будет муж,
Считай, что польза есть и в этом обороте:
Ниспослан он тебе для умерщвленья плоти.
Не хнычь, дай мне покой!

Дорина

Но как же...

Оргон

Ты опять?
Забыла, что тебе приказано молчать?

Клеант

Позволите ли мне подать совет смиренный?

Оргон

Дражайший шурин мой! Советчик вы отменный,

И высоко ценю я каждый ваш совет,
Но у меня сейчас нужды в советах нет.

Эльмира

(Оргону)

Всё, что я слышу здесь, приводит в изумленье:
Как можно пребывать в подобном ослепленье?
Вы слишком верите любимцу своему,
И случай давешний — свидетельство тому.

Оргон

Э, нет! Не провести меня вам на мякине.
Известно мне, что вы в моем беспутном сыне
Души не чаете. Негодный лоботряс
Решил оклеветать беднягу, а у вас
Лжеца изобличить язык не повернулся.
Да будь и вправду что — уж я б не обманулся,
Уж я увидел бы, что вы возмущены.

Эльмира

Вы полагаете, что женщины должны,
Услыша вздорные любовные признанья,
Излить всем напоказ свое негодованье
С закатыванием глаз, заламыванием рук?
Такие выходки меня смешат, мой друг.
Мы разом можем быть и строги и учтивы,
И, признаюсь, претят мне пылкие порывы:
Иная женщина так свято честь блюдет,
Чуть что — и ноготки и зубы пустит в ход.
Я мерю нравственность совсем иною мерой:
Быть честною женой не значит быть мегерой.
Холодной строгостью, не тратя лишних сил,
Скорее остужу я неуместный пыл.

Оргон

Я знаю всё, и нет причин менять решенье.

Эльмира

Могу лишь повторить: вы в полном ослепленье.
Но если доказать удастся всё же мне,
Что правда как-никак на нашей стороне?

Оргон

На вашей?

Эльмира

Да.

Оргон

Вот вздор!

Эльмира

Но если станет ясен
Вам злостный умысел?

Оргон

Я не любитель басен.

Эльмира

Упрямец! Я склонять вас не хочу к тому,
Чтоб доверяли нам вы больше, чем ему.
Но если бы сейчас устроить так могли мы,
Чтоб, сами для него неслышимы, незримы,
Вы слышали бы, как вас предает ваш друг,
Что вы сказали бы на это, мой супруг?

Оргон

Что я сказал бы?.. Гм!.. Что это невозможно.

Эльмира

Пора нам выяснить, что истинно, что ложно.
Коль убежденьем вас не сдвинуть ни на пядь,
Вам всё воочию придется показать.

Оргон

Ловлю вас на слове. Идет!.. Что, присмирели?
Посмотрим, как-то вы своей добьетесь цели.

Эльмира

(Дорине)

Зови его сюда.

Дорина

(Эльмире)

У этаких пройдох
Нюх, словно у борзой,— учует он подвох.

Эльмира

О нет! Поддался он любовному дурману
И полн собой,— таких влечет к самообману...
Скажи, чтобы Тартюф тотчас сюда пришел.

(Клеанту и Мариане.)

Оставьте нас.

Дорина, Клеант и Мариана уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Эльмира, Оргон.

Эльмира

А вы пожалуйте под стол.

Оргон

Что?

Эльмира

Спрятаться должны вы от чужого взгляда.

Оргон

Зачем же вдруг под стол?

Эльмира

Ах боже мой! Так надо!
Сейчас хозяйка — я, свой у меня расчет;
Когда всё кончится, настанет ваш черед.
Сидите под столом и до поры — ни звука!

Оргон

Боюсь, что больно я покладист, вот в чем штука.
Однако ж я теперь вошел в азарт и сам:
Как вывернетесь вы?

Эльмира

Судить об этом — вам.

(Оргону, сидящему под столом.)

Итак, должны быть здесь вы недвижимы, немы.
Еще одно... Коснусь я щекотливой темы:
Не попрекайте уж свою жену потом,
Коль в поведении проявится моем

Несвойственная мне развязная манера —
Так проще нам сорвать личину с лицемера.
Пущусь с ним в нежности, приободрю чуть-чуть,
Чтоб к дерзким выходкам злодея подстрекнуть.
Но соглашусь внимать признаниям слащавым
Я только ради вас, дабы открыть глаза вам,
Чтоб виден стал он вам до самого нутра;
Лишь вы прозрете — вмиг кончится игра.
Пускай же мой супруг, когда сочтет уместным,
Положит сам конец исканиям бесчестным
И защитит жену, которая — увы! —
Должна унизиться, чтоб верили ей вы.
Запомните, что вы — хранитель нашей чести...
Но чу! Сюда идут. Застыньте же на месте.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Тартюф.

Тартюф

(Эльмире)

Мне было сказано, чтоб я пришел сюда,
Что вам поговорить со мной угодно.

Эльмира

Да,
Мне нужно кое-что сказать вам по секрету.
Взгляните: никого поблизости там нету?
Да затворите-ка плотнее эту дверь!

Тартюф затворяет дверь и возвращается.

Не дай бог, как тогда, застанут нас теперь!
Поосторожнее держаться б не мешало:
Дамис и так хлопот доставил нам немало.
Боялась я за вас и не жалела сил,
Стараясь остудить его ревнивый пыл,
Но с ним не удалось достичь единогласья.
По правде говоря, в смущенье не нашлась я,
Когда стал обличать он вас перед отцом,
И не смогла в глаза назвать его лжецом.
Всё обошлось, хоть в том и не моя заслуга:
Вне подозрений вы для моего супруга.
Вдобавок хочет он, чтоб чаще с этих пор
Мы с вами виделись молве наперекор.

Вот почему сейчас могу без опасенья
Я с вами говорить в тиши уединенья,
Поведать, сердце вам доверчиво раскрыв:
Откликнулось оно на жаркий ваш призыв.

Тартюф

Не шутите ли вы, сударыня, со мною?
Давно ли ваша речь была совсем иною?

Эльмира

Ужели мой ответ вас в заблужденье ввел?
Как мало знаете еще вы женский пол!
Могли бы отличить — вы не юнец зеленый —
Решительное «нет» от слабой обороны.
В подобных случаях всегда между собой
Стыдливость с нежностью ведут жестокий бой.
Когда веленью чувств готовы мы поддаться,
Стыдливость нам всегда мешает в том признаться.
Умейте ж распознать за холодностью слов
Волнение души и сердца нежный зов.
Наш долг советует нам так, любовь — иначе,
И часто наш отказ — лишь предисловье к сдаче.
Но вы не поняли. Вот почему сейчас
Стыдливость превозмочь должна я ради вас.
Припомните, прошу, всё с самого начала.
Да разве пасынка я укрощать бы стала,
А прежде разве бы я разрешила вам
Дать волю искренним, несдержанным словам,
В которых жар пылал, для вас столь необычный,
Когда бы для меня вы были безразличны?
И если не могла ваш с Марианой брак
Одобрить я, и в том для вас был добрый знак:
Будь вы внимательней, вам тут и угадать бы,
Что вас отговорить хотела я от свадьбы
Затем, чтоб не пришлось сердечный пламень свой
Вам надвое делить — меж мною и другой.

Тартюф

Я ощутил в душе восторг неизъяснимый:
Рекли благую весть уста моей любимой.
Мне ваша речь была как сладостный нектар:
Блаженство без границ обещано мне в дар.
Приятным быть для вас — предел моих мечтаний,
И сердце радостью полно от сих признаний.

Но утаить от вас почел бы я за стыд,
Что это сердце червь сомнения сверлит.
Вы не лукавите ль — как было б это больно! —
Чтоб я от брачных уз отрекся добровольно?
Так не посетуйте, я с вами буду прям:
Поверю до конца я ласковым словам
И вашу прежнюю забуду отчужденность,
Когда проявите ко мне вы благосклонность
Не только на словах; чтоб счастлив быть я мог,
Мне нужен ваших чувств вещественный залог.

Эльмира

(кашляет, чтобы привлечь внимание мужа)

Как вы торопитесь! Ужель еще вам мало,
Что я свою приязнь от вас таить не стала?
Мне эта исповедь далась не без труда,
Но благодарность вам, как вижу я, чужда,
И чересчур у вас практическая складка:
Вам нужно получить всё сразу, без остатка.

Тартюф

Чем недостойней мы, тем тяжелее нам
Мечтать о счастии, доверясь лишь словам,
И приглашению в заоблачные сферы,
Не очутившись в них, мы дать не смеем веры.
И я в сомнении, прослушав вашу речь:
В ничтожестве своем чем мог я вас привлечь?
Мне верить нелегко в успех моих искательств,
Не получив тому весомых доказательств.

Эльмира

О, как у вас любовь безжалостна! Она
Не знает удержу. Я, право, смущена.
Ах боже мой! Да с ней нет никакого сладу!
Однако не пора ль ей положить преграду?
Но вы не слышите? Порыв ваш слеп и глух!..
Постойте!.. Дайте же перевести мне дух!
Вы, сударь, чересчур настойчивы! Как можно?
Вы домогаетесь всего — и неотложно!
Ужели, пользуясь приязнью к вам моей,
Вы отдали себя на произвол страстей?

Тартюф

Коль преданность мою и впрямь вы не презрели,
Зачем весь пламень чувств не проявить на деле?

Эльмира

Однако, если бы я уступила вам,
Не бросила ли бы я вызов небесам,
Чьи заповеди чтить велите вы так строго?

Тартюф

Страшат вас небеса? Напрасная тревога!
Тут я улажу всё, ручаюсь за успех.

Эльмира

Нарушить заповедь — ведь это смертный грех!

Тартюф

О, вас избавлю я от самой малой тени
Столь мучающих вас наивных опасений!
Да, нам запрещены иные из услад,
Но люди умные, когда они хотят,
Всегда столкуются и с промыслом небесным.
Круг совести, когда становится он тесным,
Расширить можем мы: ведь для грехов любых
Есть оправдание в намереньях благих*.
Я тайным сим путем вас поведу умело,
Не бойтесь ничего, доверьтесь мне всецело,
Без страха можете вы внять моим мольбам:
За все последствия в ответе лишь я сам.

Эльмира кашляет громче.

А вы изволили, я вижу, простудиться?

Эльмира

Да, кашель мучает.

Тартюф

Есть у меня лакрица,
Позвольте предложить.

Эльмира

Нет, знаю наперед:
Ни от каких лекарств мой кашель не пройдет.

Тартюф

Сколь это горестно!

Эльмира

Представить даже трудно!

К стр. 542

Тартюф

Итак, сия боязнь, поверьте, безрассудна.
Подумайте: ну кто раскроет наш секрет?
В проступке нет вреда, в огласке только вред.
Смущать соблазном мир — вот грех, и чрезвычайный,
Но не грешно грешить, коль грех окутан тайной.

Эльмира

(снова кашляет и стучит по столу)

Боюсь, что для меня иного нет пути,
Как всё позволить вам и до конца идти.
Лишь этою ценой — убеждена теперь я —
Смогу обидное сломить я недоверье.
Конечно, тягостно мне сделать этот шаг,
Но, видно, и́наче не убедить никак
Того, кому всего услышанного мало;
Он добивается во что бы то ни стало
Свидетельств явственных, уже не слов, но дел,—
Что ж, если так, пускай получит, что хотел.
И если тяжкий грех содеян будет мною,
Тем хуже для того, кто этому виною.
Сама я, видит бог, тут буду ни при чем.

Тартюф

О да, за всё лишь я ответствен целиком!..

Эльмира

Но мне сперва от вас нужна одна услуга.
Взгляните: за дверьми нет моего супруга?

Тартюф

Его-то мы всегда вкруг пальца обведем.
Как сам он пожелал, мы видимся вдвоем,
Он этим горд весьма, спесь взор его туманит,
И если даже вдруг он нас врасплох застанет,
Скорей поверит мне, чем собственным глазам.

Эльмира

Взгляните всё-таки, спокойней будет нам.

Тартюф уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Эльмира, Оргон.

Оргон

(вылезает из-под стола)

Ну, я вам доложу... Вот негодяй отпетый!..
Всё не приду в себя. Сражен я сценой этой.

Эльмира

Вы вылезли? Уже? Не рано ли, мой друг?
А может, вновь под стол — там скоротать досуг?
Мне кажется, что вы торопитесь чрезмерно,
Боюсь, что будет всё для вас недостоверно,
Пока не доведет он дела до конца.

Оргон

Еще не видел мир такого подлеца!

Эльмира

Неужто вы сдались? Не чересчур ли скоро?
Довольно ли у вас улик для приговора?
Всё ль вами взвешено? Всё ль вами решено?

(Заслоняет собой Оргона.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и Тартюф.

Тартюф

(не замечая Оргона)

Ну вот! Сама судьба со мною заодно:
Нет ни души. Я жду счастливейшего мига...

Тартюф приближается, раскрыв объятия, к Эльмире, но она ускользает, и Тартюф оказывается лицом к лицу с Оргоном.

Оргон

Полегче, сударь мой! Какой вы торопыга!
Позвольте-ка чуть-чуть поохладить ваш пыл.
Вот это праведник! Уважил! Удружил!
Возвышенный ваш дух поддался искушенью,
И вы тогда пришли к похвальному решенью:

Взять замуж дочь мою и соблазнить жену.
Признаться, я ушам не верил. Ну и ну!
Я сомневался, ждал, надеялся... Ох, стыдно!
Теперь уж я прозрел и всё мне очевидно.

Эльмира

(Тартюфу)

Окольные пути мне, право же, чужды,
На хитрость я пошла от крайней лишь нужды.

Тартюф

(Оргону)

Как! Вы поверили?..

Оргон

Довольно пустословья!
Вон! Живо! А уж там кривляйтесь на здоровье!

Тартюф

Хотел я...

Оргон

Разговор мы прекратим на сем.
Извольте сей же час покинуть этот дом!

Тартюф

Смотрите, как бы вас не выгнали из дому!
Нельзя по-доброму, так будет по-худому:
Дом — мой, и на него я заявлю права.
Вы мне ответите за бранные слова,
Вы пожалеете об этих мерзких кознях,
Замучите себя вы в сокрушеньях поздних
О том, что нанесли обиду небесам,
Мне указав на дверь. Я вам за всё воздам!

(Уходит.)

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Эльмира, Оргон.

Эльмира

О чем он говорил? Что это за угрозы?

Оргон

Да, дело скверное. Уж тут не смех, а слезы.

Эльмира

Прошу, скажите мне...

Оргон

Ну и попал впросак
Я с этой дарственной! Не зря грозился враг.

Эльмира

Как! С дарственной?

Оргон

Увы! Но есть еще другое,
И подозрение гнетет меня...

Эльмира

Какое?

Оргон

Всё после расскажу. Какой я был слепец!
Взглянуть, на месте ли заветный тот ларец?

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Оргон, Клеант.

Клеант

Куда же вы сейчас?

Оргон

Ах! Я и сам не знаю.

Клеант

Обдумать надобно сперва, я полагаю,
Нам сообща всё то, что здесь произошло.

Оргон

Ларец — вот где беда! Вот главное-то зло!
Всё плохо, но ларец меня тревожит крайне*.

Клеант

По-видимому, речь идет о важной тайне?

Оргон

Мне передал его мой бедный друг Аргас,
С тем чтоб укрыл ларец я от недобрых глаз.
В тот день, когда отсель пришлось бежать бедняге,
Он уложил в ларец важнейшие бумаги,—
И состояние и жизнь его сама
Зависят, мол, от них.

Клеант

Но странно мне весьма:
Такая вещь — как вы могли расстаться с нею?

Оргон

По простоте своей я всё открыл злодею
С доверием к его познаньям и уму,
И он мне дал совет — отдать ларец ему:
Что, дескать, ежели потребуют бумаги
И приведут меня, чиня допрос, к присяге,
То, не кривя душой, я заявить смогу,
Что нет их у меня; солгавши, не солгу
И с чистой совестью дам ложную присягу*.

Клеант

Сдается мне, что вы попали в передрягу.
Как с этой дарственной, так и с ларцом — увы! —
Столь опрометчиво распорядились вы,
Что сами недругу оружье дали в руки.
Да, лучше бы на хвост не наступать гадюке.
Как ни хотелось вам скорей его прогнать,
Сдержаться было бы умнее, милый зять.

Оргон

Подумать — злая тварь, ничтожная душонка,
А благочестие разыгрывал как тонко!
И я — я спас его от нищенской сумы!
Вот — праведники! Жаль, что нет на них чумы.
Достаточно с меня людей такого сорта,
Для праведных особ я стану хуже черта.

Клеант

Вот так всегда: чуть что — немедля шум и гром.
Вы быть умеренным не можете ни в чем
И, здравомыслию чужды, напропалую
Из крайности одной бросаетесь в другую.
Сейчас вы видите, что, промах дав большой,

Связали вы себя с бессовестным ханжой,
И вот впадаете вы, ради исправленья
Ошибки сделанной, в другое заблужденье:
Коль в жизни встретился вам лицемерный плут,
При чем, скажите мне, все праведники тут?
Пусть вы на удочку попались шарлатану,
Пусть благочестие служило здесь обману,
Но это значит ли, что мерзок целый свет,
Что вовсе уж людей благочестивых нет?
Такие выводы оставьте вольнодумцам.
Нельзя, конечно, быть доверчивым безумцем
И душу раскрывать пред подлецом до дна,—
Средина мудрая тут, как во всем, нужна.
Ваш грех, что чересчур вы были легковерны,
Но подозрительность есть грех настолько скверный,
Что, если к крайностям стремится так ваш дух,
Впадайте сызнова уж в первую из двух.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Дамис.

Дамис

Отец мой! Правда ли, что негодяй лукавый
Вам, благодетелю, грозит теперь расправой,
Что в наглости своей он выковать посмел
Оружье против вас из ваших добрых дел?

Оргон

Да. Я не знал, что есть такие злые души.

Дамис

Позвольте лишь — ему я обкорнаю уши!
Нет, потакать ему никак нельзя, и вас
От наглых происков освобожу я враз:
Исколочу его — и струсит он, скотина.

Клеант

Так может говорить лишь мальчик, не мужчина.
По нашим временам насилье не в чести,
И надобно умней дела свои вести.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, г-жа Пернель, Эльмира, Мариана, Дорина.

Г-жа Пернель

Ну, что у вас? Опять какой-то беспорядок?
Кружится голова от толков и догадок.

Оргон

Всем происшествиям я очевидец сам.
И слух мне оскорбил и зренье этот срам,
За всё мое добро — постыдная расплата.
Я бедняка призрел и возлюбил, как брата,
Под этим кровом он не ведает забот,
И льется на него поток моих щедрот,
Я отдаю ему и дочь и всё именье.
Тем временем злодей без всякого зазренья
Дерзает посягнуть на честь моей жены.
Но мною замыслы его обличены —
И гибелью грозит мне лицемер паскудный,
А средство для того дал сам я, безрассудный.
И в нищету теперь мечтает ввергнуть он
Меня, хоть мною был от нищеты спасен.

Дорина

Бедняга!..

Г-жа Пернель

И ты мнил, что в небылицы эти
Так и поверю я? Да ни за что на свете!

Оргон

Как?

Г-жа Пернель

Мало ли врагов у праведных людей!

Оргон

Про что вы, маменька? В толк не возьму, ей-ей!

Г-жа Пернель

Про нравы здешние, про то, что все тут вкупе
От злости истолочь его бы рады в ступе.

Оргон

При чем тут злость, когда...

Г-жа Пернель

Тебе я с детских лет
Внушала, что уж так устроен этот свет,
Где злые праведным завидуют жестоко,
Где добродетели житья нет от порока.
Завистники умрут, но зависть — никогда.

Оргон

Какая связь тут с тем, что нынче...

Г-жа Пернель

Ерунда!
Тартюф пал жертвою бесстыдного навета.

Оргон

Но я же вам сказал, что сам я видел это!

Г-жа Пернель

Настроил кое-кто тебя исподтишка.

Оргон

О, ч... чуть не сорвалось словечко с языка!
Всё это истина. Я был тому свидетель.

Г-жа Пернель

Бессильна с клеветой бороться добродетель.

Оргон

Что за бессмыслица! Да говорят же вам,
Что сам воочию я видел всё! Я сам!
Я видел! Видел я! О пресвятая сила!
Иль, может, маменька, вам уши заложило?

Г-жа Пернель

Сам видел? Ну и что? Нельзя судить на глаз.
Нередко видимость обманывает нас.

Оргон

Тьфу, пропасть!..

Г-жа Пернель

Род людской так склонен к подозреньям!
Подчас само добро нам мнится преступленьем.

Оргон

Что ж, мне ему вменять в заслугу, не в вину
Его намеренье обнять мою жену?

Г-жа Пернель

Для обвинения одних догадок мало;
Тебе бы подождать, чтоб явственней всё стало.

Оргон

Как явственней? Мне ждать, чтоб на моих глазах
Он... Фу ты, черт, чуть-чуть не сорвалось в сердцах!..
Ох, маменька, боюсь, меня вы в грех введете!

Г-жа Пернель

Он столь благочестив, столь чужд соблазнам плоти,
Что недоступно, сын, понятью моему,
Как мог свершить он грех, приписанный ему.

Оргон

Ну, знаете, не будь вы матерью моею,
Уж я бы вам сказал... Я просто сатанею!

Дорина

(Оргону)

Возмездие идет за нами, сударь, вслед:
Вы нам не верили, теперь вам веры нет.

Клеант

Мы время попусту проводим в разговорах,
Не обсуждая мер, при помощи которых
Могли бы вырваться мы из его когтей.

Дамис

Ужель и впрямь вредить осмелится злодей?

Эльмира

Не верю. Если в суд придет он с челобитной,
Сам обличит себя как хищник ненасытный.

Клеант

Не обольщайтесь. Он везде найдет ходы.

(Оргону.)

Не обобраться с ним вам, милый зять, беды.
При меньших козырях бессовестным пролазам
Вершить случалось то, с чем не мирится разум.
Он столь вооружен, что вам — скажу опять —
Не следовало с ним так круто поступать.

Оргон

И то. Но, увидав всю наглость негодяя,
Как мог я действовать? Крушил не рассуждая.

Клеант

Ах, если бы связать разорванную нить!
Иного нет пути: вас нужно помирить.

Эльмира

Когда бы знала я, как велика опасность,
Не получили бы его поступки гласность,
Не стала б я...

Оргон

(Дорине, видя, что входит г-н Лояль)

Кто там? Узнай-ка поскорей!
Вот только мне сейчас недостает гостей!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и г-н Лояль.

Г-н Лояль

(Дорине, в глубине сцены)

Сестрица, добрый день! Сведи-ка, сделай милость,
Меня к хозяину.

Дорина

А что вдруг приключилось?
Он занят. Никого не велено пускать.

Г-н Лояль

Не собираюсь я вам долго докучать.
Явился я к нему с весьма приятной вестью,
И примет он меня, я думаю, честь честью.

Дорина

Как звать вас?

Г-н Лояль

Доложи ему лишь об одном:
Что господин Тартюф прислал меня в ваш дом
Для блага общего.

Дорина

(Оргону)

Видать, что он плутяга —
Уж так сладкоречив! Для вашего, мол, блага
Его сюда прислал сам господин Тартюф.

Клеант

(Оргону)

Советую принять. Посланца оттолкнув,
Вы совершили бы оплошность пребольшую.

Оргон

(Клеанту)

Быть может, хочет он пойти на мировую?
Что делать мне?

Клеант

Свой гнев смирить вам надлежит
И выслушать его, приняв любезный вид.

Г-н Лояль

(Оргону)

Желаю здравствовать вам, сударь! Провиденье
Пускай вам ниспошлет свое благоволенье
И с вашего пути всех недругов сметет.

Оргон

(Клеанту, тихо)

Начало впрямь сулит спасительный исход.

Г-н Лояль

Я связан узами приязни с этим домом:
Ваш, сударь, батюшка мне добрым был знакомым.

Оргон

Мне, сударь, совестно, и я готов принесть
Вам извинения, но с кем имею честь?..

Г-н Лояль

Меня зовут Лояль. Нормандец по рожденью,
Себя с младых ногтей я посвятил служенью
Законности. И вот уж добрых сорок лет,
Как, правосудию на пользу, злу во вред,

В палате состою я приставом судебным.
К вам с предписанием явился я служебным,
Когда позволите...

Оргон

Как! Вы пришли сюда...

Г-н Лояль

Тсс!.. Так, с безделицей — с решением суда.
Имею, сударь, честь вручить вам предписанье:
Незамедлительно очистить это зданье.
Всю вашу движимость, всех домочадцев — вон.

Оргон

Что? Выселить? Меня?

Г-н Лояль

Я крайне огорчен,
Но ныне — и со мной, конечно, вы согласны —
Здесь господин Тартюф владелец полновластный
По смыслу дарственной, которая при мне.
Законность на его, истцовой, стороне.
Всё правильно. Комар тут носа не подточит.

Дамис

Да что этот наглец нам голову морочит?

Г-н Лояль

(Дамису)

Ведь дело, сударь мой, касается не вас.

(Оргону.)

Я смею уповать, благоразумья глас,
Глас осторожности подскажут вам любезно,
Что правосудию перечить бесполезно.

Оргон

Но, сударь...

Г-н Лояль

Сколько бы ни стоил этот дом,
Дороже было б вам прослыть бунтовщиком,
И вы исполните свой долг перед законом,
Как людям надлежит почтенным и смышленым.

Дамис

Уж больно ревностно блюдете вы закон!
А если черный ваш судейский балахон
Я выбью палкою, чтоб было меньше пыли?

Г-н Лояль
(Оргону)

Вы лучше бы сынку язык укоротили.
Печально было бы, коль в довершенье зол
Я оскорбление занес бы в протокол.
Его слова к тому дают мне веский повод.

Дорина
(в сторону)

Да, пристав к нам пристал, как неотвязный овод!

Г-н Лояль

Я высоко ценю порядочных людей
И дельце это взял затем лишь, ей-же-ей,
Что быть полезным вам мне подвернулся случай.
Явись к вам кто другой, он поступил бы круче.

Оргон

Чего уж круче-то, как честную семью
Гнать из дому?

Г-н Лояль

Но я отсрочку вам даю.
Хоть мог бы действовать суровей по закону,
До завтрашнего дня и пальцем вас не трону.
Но не прогневайтесь: ночь проведу я тут.
Со мною и мои подручные придут —
С десяток молодцов. По форме всё, чин чином,
Сдадите перед сном вы от дверей ключи нам,
И будем мы нести охрану до утра
Покоя вашего и вашего добра.
Зато уж поутру должны свои пожитки
Отсюда вы забрать, все до последней нитки.
Стараясь вам помочь по доброте души,
Молодчиков набрал я дюжих. Крепыши!
Они вам вынесут домашний скарб за двери.
Всё делаю для вас, ведь люди мы, не звери.
Покорнейше прошу взять это, сударь, в толк
И не препятствовать мне выполнять мой долг.

Оргон

(Клеанту, тихо)

Хотя почти совсем лишен я достоянья,
Но всё же из того, что есть, без колебанья
Я сотню золотых сейчас бы отвалил,
Когда б такой ценой мог, не жалея сил,
Шарахнуть чем-нибудь по этой гнусной харе.

Клеант

(Оргону, тихо)

Сдержитесь.

Дамис

Нет границ нахальству этой твари.
Эх, руки чешутся воздать ему сполна!

Дорина

(г-ну Лоялю)

У вас, почтеннейший, отличная спина;
Мне кажется, давно по ней скучает палка.

Г-н Лояль

Дерзка, голубушка. Тебе себя не жалко?
К ответу можно ведь и женщину привлечь.

Клеант

(г-ну Лоялю)

Ну, будет! Мы хотим обдумать вашу речь.
Прошу, оставьте нам судебное решенье.

Г-н Лояль

До вечера! И пусть хранит вас провиденье!

Оргон

(ему вслед)

И разразит тебя с Тартюфом заодно!

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Оргон, Клеант, Дамис, г-жа Пернель, Эльмира, Мариана, Дорина.

Оргон

Кто ж, матушка, был прав? Вот то-то и оно:
Каналья ваш Тартюф! Или еще вам мало?

Г-жа Пернель

Всё не очнусь. И впрямь, как с облаков упала.

Дорина

(Оргону)

Чем недовольны вы? Чем рассердил он вас?
Нам праведность свою явил он лишний раз:
Ведь пуще, чем себя, своих он ближних любит,
И, помня, что людей богатство только губит,
Из сострадания он разорил вас в пух,
Дабы верней спасти от гибели ваш дух.

Оргон

Я об одном прошу: молчи! Вот наказанье!

Клеант

Сейчас нам надобно объединить старанья,
Чтоб выход отыскать.

Эльмира

Пути иного нет,
Как о его делах оповестить весь свет.
Не может этот плут не вызвать отвращенья —
И дарственной тогда не придадут значенья.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Валер.

Валер

(Оргону)

Мне, сударь, очень жаль, что приношу сюда
Я горестную весть, но вам грозит беда.
Один мой близкий друг во имя давней дружбы
Открыл мне то, о чем узнал по долгу службы.
О государственной здесь тайне речь идет,
Но, преданность мою к вам, сударь, взяв в расчет,
Мой друг решился мне послать уведомленье:
Вам надобно бежать, не медля ни мгновенья.
Бесстыдный негодяй, что втерся в милость к вам,
Отважился донос подать на вас властям.
Проникнув к королю, ему вручил мошенник
Ларец с бумагами: бежавший, мол, изменник

На сохраненье вам ларец оставил сей,
Вы ж дерзостно его скрывали от властей.
Короче говоря, указ есть об аресте,
И стража послана за вами. С нею вместе
Сюда пожалует и сам ваш злобный враг,
А он-то уж не даст вам ускользнуть никак.

Клеант

Он с хладнокровием отпетого злодея
Все средства в ход пустил. Таким путем вернее
У вас имущество отнимет он теперь.

Оргон

Я вижу — человек страшней, чем лютый зверь.

Валер

Нам дорог каждый миг. Послушайтесь совета:
Бегите. У крыльца нас ждет моя карета.
А здесь вот — тысяча червонцев. Грянул гром,
Спасение теперь лишь в бегстве мы найдем.
Итак, не медлите. Хочу вас проводить я
И сам доставлю вас в надежное укрытье.

Оргон

Заботой вашей я растроган и смущен.
Отложим наш расчет до лучших мы времен,
Но буду я о том от сей поры молиться,
Чтоб счастье выпало мне с вами расплатиться...
Прощайте! Может быть, удастся повернуть...

Клеант

Мы всё возможное предпримем. Добрый путь!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, Тартюф и офицер.

Тартюф

(останавливает Оргона)

Ну-ну, зачем спешить? Повременим немного:
До нового жилья недальняя дорога.
Вы арестованы указом короля.

Оргон

Как терпит этого предателя земля?

За то, что я посмел сорвать с тебя личину,
Ты, подлая душа, мне нож вонзаешь в спину!

Тартюф

Мой слух неуязвим для ваших бранных слов:
Во славу небесам я всё снести готов.

Клеант

Да, отрицать нельзя: вы редкостный смиренник.

Дамис

И небеса еще приплел сюда, мошенник!

Тартюф

Меня не трогают ни брань, ни ярый пыл.
Я выполняю здесь мой долг по мере сил.

Мариана

О да, почетный долг! Есть чем гордиться, право!
На этом поприще вас ожидает слава.

Тартюф

Славней всего служить на поприще любом
Тому, чьей волею я послан в этот дом.

Оргон

Забыл ты, кто тебя от нищеты избавил?
Ни благодарности, ни совести, ни правил!

Тартюф

Служенье королю есть мой первейший долг.
Да, я обязан вам кой-чем, и, если смолк
Признательности глас в душе моей смиренной,
Причина в том, что так велел мне долг священный.
Тут я не пощажу, все чувства истребя,
Ни друга, ни жены, ни самого себя.

Эльмира

О лицемер!

Дорина

Таких еще и не бывало:
На грязь чистейшее накинул покрывало.

Клеант

Коль вы предприняли столь тяжкие труды
С похвальным рвением, которым так горды,

То почему ж оно дремало в вас, покуда
Вас оскорбленный муж не выдворил отсюда?
Когда он выгнал вас, вы подали донос.
Покамест в стороне оставлю я вопрос
Об этой дарственной на все его именья,
Однако же и то примите в рассужденье,
Что, коль, по-вашему, преступен так мой зять,
Не след бы от него подарки принимать.

Тартюф

(офицеру)

Я вас прошу меня избавить от нападок.
Пора, мне кажется, тут навести порядок.
Так исполняйте же вам отданный приказ!

Офицер

Да, медлить незачем, совет ваш в самый раз.
Я предлагаю вам последовать за мною
В тюрьму, и там я вас на жительство устрою.

Тартюф

Кого? Меня?

Офицер

Да, вас.

Тартюф

За что меня в тюрьму?
Извольте объяснить.

Офицер

Да уж кому-кому,
А вам не стану я давать тут объясненья.

(Оргону.)

Вам, сударь, следует отбросить опасенья.
Наш государь — враг лжи. От зоркости его
Не могут спрятаться обман и плутовство.
Он неусыпную являет прозорливость
И, видя суть вещей, казнит несправедливость.
Не подчиняется он голосу страстей,
Не знает крайностей великий разум сей.
Бессмертной славою достойных он венчает,
Но их усердие его не ослепляет,
И, воздавая им за добрые дела,
Сурово он следит за происками зла.

Могли ль коварные уловки этой твари
Не вызвать тотчас же сомнений в государе,
Раскрывшем множество и не таких интриг?
В извилины души злодейской он проник.
Доносчик, выдав вас, попал в свои же сети.
Есть правда и закон. Увидев плутни эти,
Под новым именем узнал в нем государь
Злодея дерзкого, о коем слышал встарь.
Давно уж королю дела его знакомы:
Их грязный перечень заполнить мог бы томы.
Неблагодарностью, что выказал он тут,
Монарха прогневил закоренелый плут,
И переполнилась от этой капли чаша.
Был послан для того я с ним в жилище ваше,
Чтоб дать ему дойти в бесстыдстве до конца
И вслед за тем при вас унизить наглеца.
Бумаги, что к сему попали негодяю,
По воле короля вам, сударь, возвращаю.
Соизволяет он расторгнуть договор,
Согласно коему задумал дерзкий вор
Присвоить этот дом и ваше все именье.
И сверх того король дарует вам прощенье,
Хоть помощь получил от вас мятежный друг.
Все эти милости вам в честь былых заслуг
Оказаны теперь, когда вы их не ждете,—
Пусть знают все, в каком у короля почете
Благое рвение. Душа его щедра,
И в правилах его — не забывать добра.

Дорина

Ох! Слава небесам!

Г-жа Пернель

Уф! С плеч гора свалилась!

Эльмира

Счастливый оборот!

Мариана

Негаданная милость!

Оргон

Попался, негодяй!..

Офицер уводит Тартюфа.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Оргон, Клеант, Дамис, г-жа Пернель, Эльмира, Мариана, Дорина, Валер.

Клеант

Спокойней, милый зять!
Не следует свое достоинство ронять.
К чему сейчас слова? Сдержите пыл свой гневный,
Оставьте жалкого судьбе его плачевной.
Не лучше ль пожелать, чтоб, искупив позор,
Вновь к добродетели он обратил свой взор,
Чтоб горько осудил он сам свой путь бесславный,
Чтобы раскаяньем смягчил он суд державный?
Великий государь столь милостив был к вам,
Что тотчас вы должны припасть к его стопам.

Оргон

Да. Верно сказано. И, преклонив колени,
Я мудрость восхвалю его благих решений.
Исполню этот долг первейший, а потом
О долге предстоит подумать о другом
И, увенчав любовь победой долгожданной,
Соединить навек Валера с Марианой.

Мещанин во Дворянстве

Комедия-балет
в пяти
действиях

Перевод *Н. ЛЮБИМОВА*

Стихи в переводе *А. АРГО*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА КОМЕДИИ

Господин Журден — мещанин.
Госпожа Журден — его жена.
Люсиль — их дочь.
Клеонт — молодой человек, влюбленный в Люсиль.
Доримена — маркиза.
Дорант — граф, влюбленный в Доримену.
Николь — служанка в доме г-на Журдена.
Ковьель — слуга Клеонта.
Учитель музыки.
Ученик учителя музыки.
Учитель танцев.
Учитель фехтования.
Учитель философии.
Музыканты.
Портной.
Подмастерье портного.
Два лакея.
Три пажа.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА БАЛЕТА

В первом действии

Певица.
Два певца.
Танцовщики.

Во втором действии

Портновские подмастерья *(танцуют)*.

В третьем действии

Повара *(танцуют)*.

В четвертом действии

Муфтий*.
Турки, свита муфтия *(поют)*.
Дервиши* *(поют)*.
Турки *(танцуют)*.

Действие происходит в Париже, в доме г-на Журдена.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Увертюра исполняется множеством инструментов; посреди сцены за столом ученик учителя музыки сочиняет мелодию для серенады, заказанной г-ном Журденом.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Учитель музыки, учитель танцев, два певца, певица, два скрипача, четыре танцовщика.

Учитель музыки (*певцам и музыкантам*). Пожалуйте сюда, вот в эту залу; отдохните до его прихода.

Учитель танцев (*танцовщикам*). И вы тоже, станьте с этой стороны.

Учитель музыки (*ученику*). Готово?

Ученик. Готово.

Учитель музыки. Посмотрим... Очень недурно.

Учитель танцев. Что-нибудь новенькое?

Учитель музыки. Да, я велел ученику, пока наш чудак проснется, сочинить музыку для серенады.

Учитель танцев. Можно посмотреть?

Учитель музыки. Вы это услышите вместе с диалогом, как только явится хозяин. Он скоро выйдет.

Учитель танцев. Теперь у нас с вами дела выше головы.

Учитель музыки. Еще бы! Мы нашли именно такого человека, какой нам нужен. Господин Журден с его помешательством на дворянстве и на светском обхождении — это для нас просто клад. Если б все на него сделались похожи, то вашим танцам и моей музыке больше и желать было бы нечего.

Учитель танцев. Ну, не совсем. Мне бы хотелось для его же блага, чтоб он лучше разбирался в тех вещах, о которых мы ему толкуем.

Учитель музыки. Разбирается-то он в них плохо, да зато хорошо платит, а наши искусства ни в чем сейчас так не нуждаются, как именно в этом.

Учитель танцев. Признаюсь, я слегка неравнодушен к славе. Аплодисменты доставляют мне удовольствие, расточать же свое искусство глупцам, выносить свои творения на варварский суд болвана — это, на мой взгляд, для всякого артиста несносная пытка. Что ни говорите, приятно трудиться для людей, способных чувствовать тонкости того или иного искусства, умеющих ценить красоты произведений и лестными знаками одобрения вознаграждать вас за труд. Да, самая приятная награда — видеть, что творение ваше признано, что вас чествуют за него рукоплесканиями. По-моему, это наилучшее воздаяние за все наши тяготы — похвала просвещенного человека доставляет наслаждение неизъяснимое.

Учитель музыки. Я с этим согласен, я тоже люблю похвалы. В самом деле, нет ничего более лестного, чем рукоплескания, но ведь на фимиам не проживешь. Одних похвал человеку недостаточно, ему давай чего-нибудь посущественнее; лучший способ поощрения — это вложить вам что-нибудь в руку. Откровенно говоря, познания нашего хозяина не велики, судит он обо всем вкривь и вкось и рукоплещет там, где не следует, однако ж деньги выпрямляют кривизну его суждений, его здравый смысл находится в кошельке, его похвалы отчеканены в виде монет, так что от невежественного этого мещанина нам, как видите, куда больше пользы, чем от того просвещенного вельможи, который нас сюда ввел.

Учитель танцев. В ваших словах есть некоторая доля истины, но только, мне кажется, вы придаете деньгам слишком большое значение; между тем корысть есть нечто до такой степени низменное, что человеку порядочному не должно выказывать к ней особой склонности.

Учитель музыки. Однако у нашего чудака вы преспокойно берете деньги.

Учитель танцев. Конечно, беру. Но деньги для меня не главное. Если б к его богатству да еще хоть немного хорошего вкуса — вот чего бы я желал.

Учитель музыки. Я тоже: ведь мы оба по мере сил этого добиваемся. Но как бы то ни было, благодаря ему на нас стали обращать внимание в обществе, а что другие будут хвалить, то он оплатит.

Учитель танцев. А вот и он.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же, г-н Журден в халате и ночном колпаке и два лакея.

Г-н Журден. Ну, господа? Как там у вас? Покажете вы мне нынче вашу безделку?

Учитель танцев. Что? Какую безделку?

Г-н Журден. Ну, эту самую... Как это у вас называется? Не то пролог, не то диалог с песнями и пляской.

Учитель танцев. О! О!

Учитель музыки. Как видите, мы готовы.

Г-н Журден. Я немного замешкался, но дело вот в чем: одеваюсь я теперь, как одевается знать, и мой портной прислал мне шелковые чулки, до того узкие — право, я уж думал, что мне их так никогда и не натянуть.

Учитель музыки. Мы всецело к вашим услугам.

Г-н Журден. Я прошу вас обоих не уходить, пока мне не принесут мой новый костюм: я хочу, чтоб вы на меня поглядели.

Учитель танцев. Как вам будет угодно.

Г-н Журден. Вы увидите, что теперь я с ног до головы одет как должно.

Учитель музыки. Мы в этом нисколько не сомневаемся.

Г-н Журден. Я сделал себе из индийской ткани халат*.

Учитель танцев. Отличный халат.

Г-н Журден. Мой портной уверяет, что вся знать по утрам носит такие халаты.

Учитель музыки. Он вам удивительно идет.

Г-н Журден. Лакей! Эй, два моих лакея!

Первый лакей. Что прикажете, сударь?

Г-н Журден. Ничего не прикажу. Я только хотел проверить, как вы меня слушаетесь. *(Учителю музыки и учителю танцев.)* Как вам нравятся их ливреи?

Учитель танцев. Великолепные ливреи.

Г-н Журден *(распахивает халат; под ним у него узкие красного бархата штаны и зеленого бархата камзол)*. А вот мой домашний костюмчик для утренних упражнений.

Учитель музыки. Бездна вкуса!

Г-н Журден. Лакей!

Первый лакей. Что угодно, сударь?

Г-н Журден. Другой лакей!

Второй лакей. Что угодно, сударь?

Г-н Журден *(снимает халат)*. Держите. *(Учителю музыки и учителю танцев.)* Ну что, хорош я в этом наряде?

Учитель танцев. Очень хороши. Лучше нельзя.

Г-н Журден. Теперь займемся с вами.

Учитель музыки. Прежде всего мне бы хотелось, чтобы вы прослушали музыку, которую вот он *(указывает на ученика)* написал для заказанной вами серенады. Это мой ученик, у него к таким вещам изумительные способности.

Г-н Журден. Очень может быть, но всё-таки не следовало поручать это ученику. Еще неизвестно, годитесь ли вы сами для такого дела, а не то что ученик.

Учитель музыки. Слово «ученик» не должно вас смущать, сударь. Подобного рода ученики смыслят в музыке не меньше великих мастеров. В самом деле, чудеснее мотива не придумаешь. Вы только послушайте.

Г-н Журден *(лакеям)*. Дайте халат — так удобней слушать... Впрочем, постойте, пожалуй, лучше без халата. Нет, подайте халат, так будет лучше.

Певица.

Ирида! Я томлюсь, меня страданье губит,
Меня ваш строгий взгляд пронзил, как острый меч.
Когда вы мучите того, кто вас так любит,
Сколь вы страшны тому, кто гнев ваш смел навлечь!

Г-н Журден. По-моему, это довольно заунывная песня, от нее ко сну клонит. Я бы вас попросил сделать ее чуть-чуть веселее.

Учитель музыки. Мотив должен соответствовать словам, сударь.

Г-н Журден. Меня недавно обучили премилой песенке. Погодите... сейчас-сейчас... Как же это она начинается?

Учитель танцев. Право, не знаю.

Г-н Журден. Там еще про овечку говорится.

Учитель танцев. Про овечку?

Г-н Журден. Да-да. Ах, вот! *(Поет.)*

Жанетту я считал*
И доброй и прекрасной,
Жанетту я считал овечкою, но ах!
Она коварна и опасна,
Как львица в девственных лесах!

Правда, славная песенка?

Учитель музыки. Еще бы не славная!

Учитель танцев. И вы хорошо ее поете.

Г-н Журден. А ведь я музыке не учился.

Учитель музыки. Вам бы хорошо, сударь, поучиться не только танцам, но и музыке. Эти два рода искусства связаны между собой неразрывно.

Учитель танцев. Они развивают в человеке чувство изящного.

Г-н Журден. А что, знатные господа тоже учатся музыке?

Учитель музыки. Конечно, сударь.

Г-н Журден. Ну так и я стану учиться. Вот только не знаю когда: ведь, кроме учителя фехтования, я еще нанял учителя философии,— он должен нынче утром начать со мной заниматься.

Учитель музыки. Философия — материя важная, но музыка, сударь, музыка...

Учитель танцев. Музыка и танцы... Музыка и танцы — это все, что нужно человеку.

Учитель музыки. Нет ничего более полезного для государства, чем музыка.

Учитель танцев. Нет ничего более необходимого человеку, чем танцы.

Учитель музыки. Без музыки государство не может существовать.

Учитель танцев. Без танцев человек ничего не умел бы делать.

Учитель музыки. Все распри, все войны на земле происходят единственно от незнания музыки.

Учитель танцев. Все людские невзгоды, все злоключения, коими полна история, оплошности государственных деятелей, ошибки великих полководцев — все это проистекает единственно от неумения танцевать.

Г-н Журден. Как так?

Учитель музыки. Война возникает из-за несогласия между людьми, не правда ли?

Г-н Журден. Верно.

Учитель музыки. А если бы все учились музыке, разве это не настроило бы людей на мирный лад и не способствовало бы воцарению на земле всеобщего мира?

Г-н Журден. И то правда.

Учитель танцев. Когда человек поступает не так, как должно, будь то просто отец семейства, или же государственный деятель, или же военачальник, про него обыкновенно говорят, что он сделал неверный шаг, не правда ли?

Г-н Журден. Да, так говорят.

Учитель танцев. А чем еще может быть вызван неверный шаг, как не неумением танцевать?

Г-н Журден. Да, с этим я тоже согласен, вы оба правы.

Учитель танцев. Все это мы говорим для того, чтобы вы себе уяснили преимущества и пользу танцев и музыки.

Г-н Журден. Теперь я понимаю.

Учитель музыки. Угодно вам ознакомиться с нашими сочинениями?

Г-н Журден. Угодно.

Учитель музыки. Как я вам уже говорил, это давнишняя моя попытка выразить все страсти, какие только способна передать музыка.

Г-н Журден. Прекрасно.

Учитель музыки *(певцам)*. Пожалуйте сюда. *(Г-ну Журдену.)* Вы должны вообразить, что они одеты пастушка́ми.

Г-н Журден. И что это всегда пастушки́? Вечно одно и то же!

Учитель танцев. Когда говорят под музыку, то для большего правдоподобия приходится обращаться к пасторали. Пастухам испокон веку приписывали любовь к пению; с другой стороны, было бы весьма ненатурально, если бы принцы или мещане стали выражать свои чувства в пении.

Г-н Журден. Ладно, ладно. Посмотрим.

Музыкальный диалог

Певица и два певца.

Певица

Сердца в любовном упоенье
Всегда встречают тысячи помех.
Любовь приносит нам и счастье и томленье.
Недаром есть такое мненье,
Что нам милей всего — не знать любви утех.

Первый певец

Нет, нам всего милей та радость без конца,
Которая сердца
Любовников сливает.
Блаженству на земле без страсти не бывать.
Любовью кто пренебрегает,
Тому и счастья не знавать.

Второй певец

О, кто бы не хотел любви изведать власть,
Когда бы не была обманчивою страсть!
Но, ах, как быть со злой судьбиной?
Здесь верной нет пастушки ни единой,
И недостойный пол, позоря белый свет,
Свидетельствует нам, что верности уж нет.

Первый певец

О сердца дрожь!

Певица

О страсть во взорах!

Второй певец

Сплошная ложь!

Первый певец

Тот миг мне дорог!

Певица

Они полны утех!

Второй певец

Я презираю всех!

Первый певец

О, не сердись, забудь свой гнев безмерный!

Певица

Мы приведем тебя сейчас
К пастушке любящей и верной.

Второй певец

Увы! Достойных нет средь вас!

Певица

Я иду на испытанье —
Вот тебе моя любовь.

Второй певец

Кто поручится заране,
Что не быть обману вновь?

Певица

Тот, кто верен, пусть докажет
Свой сердечный нежный пыл.

Второй певец

Небо пусть того накажет,
Кто постыдно изменил.

Все трое вместе

Над нами, пламенея,
Любви горит венец.
Слиянье двух сердец —
Что может быть милее?

Г-н Журден. И это всё?

Учитель музыки. Всё.

Г-н Журден. По-моему, ловко закручено. Кое-где попадаются очень занятные словечки.

Учитель танцев. А теперь моя очередь: я вам предложу небольшой образчик самых изящных телодвижений и самых изящных поз, из каких только может состоять танец.

Г-н Журден. Опять пастухи?

Учитель танцев. Это уж как вам будет угодно. *(Танцовщикам.)* Начинайте.

Балет

Четыре танцовщика по указаниям учителя танцев делают различные движения и исполняют всевозможные па.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-н Журден, учитель музыки, учитель танцев.

Г-н Журден. Очень даже здорово: танцоры откалывают лихо.

Учитель танцев. А когда танец идет под музыку, то впечатление еще сильнее. Мы сочинили для вас балет — вы увидите, сколь это очаровательно.

Г-н Журден. Он понадобится мне сегодня же: особа, в честь которой я всё это устраиваю, должна пожаловать ко мне на обед.

Учитель танцев. Всё готово.

Учитель музыки. Одного, сударь, недостает: такой особе, как вы, со всем вашим великолепием, с вашей склонностью к изящным искусствам, непременно нужно давать у себя концерты по средам или по четвергам.

Г-н Журден. А у знатных господ бывают концерты?

Учитель музыки. Разумеется, сударь.

Г-н Журден. Тогда и я начну давать. И хорошо это получится?

Учитель музыки. Не сомневаюсь. Вам потребуется три голоса: сопрано, контральто и бас, а для аккомпанемента альт, лютня и для басовых партий клавесин, а для ритурнелей* две скрипки.

Г-н Журден. Хорошо бы еще морскую трубу*. Я ее очень люблю, она приятна для слуха.

Учитель музыки. Предоставьте всё нам.

Г-н Журден. Смотрите не забудьте прислать певцов, чтоб было кому петь во время обеда.

Учитель музыки. У вас ни в чем недостатка не будет.

Г-н Журден. Главное, чтоб хорош был балет.

Учитель музыки. Останетесь довольны, особенно некоторыми менуэтами.

Г-н Журден. А, менуэт — это мой любимый танец!* Поглядите, как я его танцую. Ну-ка, господин учитель!

Учитель танцев. Извольте, сударь, надеть шляпу.

Г-н Журден берет шляпу своего лакея и надевает ее поверх колпака. Учитель танцев берет г-на Журдена за руку и, напевая менуэт, танцует вместе с ним.

Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла. Пожалуйста, в такт. Ла-ла-ла, ла-ла. Колени не гнуть. Ла-ла-ла. Плечами не дергать. Ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла. Не растопыривать рук. Ла-ла-ла, ла-ла. Голову выше. Носки держать врозь. Ла-ла-ла. Корпус прямей.

Г-н Журден. Ну как?

Учитель танцев. Лучше нельзя.

Г-н Журден. Кстати, научите меня кланяться маркизе — мне это скоро понадобится.

Учитель танцев. Кланяться маркизе?

Г-н Журден. Да. Ее зовут Дорименой.

Учитель танцев. Позвольте вашу руку.

Г-н Журден. Не нужно. Вы только покажите, а я запомню.

Учитель танцев. Если вы желаете, чтоб это был поклон весьма почтительный, то прежде отступите назад и поклонитесь один раз, затем подойдите к ней с тремя поклонами и в конце концов склонитесь к ее ногам.

Г-н Журден. А ну покажите.

Учитель танцев показывает.

Понятно.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и лакей.

Лакей. Сударь! Учитель фехтования пришел.

Г-н Журден. Скажи, пусть войдет и начинает урок. *(Учителю музыки и учителю танцев.)* А вы поглядите, как это у меня выходит.

К стр. 625

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же, учитель фехтования и лакей с двумя рапирами.

Учитель фехтования *(берет у лакея две рапиры и одну из них подает г-ну Журдену)*. Прошу вас, сударь: поклон. Корпус прямо. Легкий упор на левое бедро. Не надо так расставлять ноги. Обе ступни на одной линии. Кисть руки на уровне бедра. Конец рапиры прямо против плеча. Не надо так вытягивать руку. Кисть левой руки на высоте глаза. Левое плечо назад. Голову прямо. Взгляд уверенный. Выпад. Корпус неподвижен. Парируйте квартой и отходите с тем же парадом. Раз, два. В позицию. Уверенно начинайте снова. Шаг назад. Когда делаете выпад, нужно, чтобы рапира выносилась вперед, а тело, сколько можно, было защищено от удара. Раз, два. Прошу вас: парируйте терсом и отходите с тем же парадом*. Выпад. Корпус неподвижен. Выпад. Становитесь в позицию. Раз, два. Начинайте сызнова. Шаг назад. Защищайтесь, сударь, защищайтесь! *(С криком: «Защищайтесь!» — несколько раз колет г-на Журдена.)*

Г-н Журден. Ну как?

Учитель музыки. Вы делаете чудеса.

Учитель фехтования. Как я вам уже говорил, весь секрет фехтования заключается в том, чтобы, во-первых, наносить противнику удары, а во-вторых, чтобы самому таковых не получать, и вы никогда их не получите, если, как я это вам прошлый раз доказал путем наглядного примера, научитесь отводить шпагу противника от своего тела, а для этого нужно только легкое движение кисти руки — к себе или от себя.

Г-н Журден. Стало быть, эдаким манером каждый человек, даже и не из храбрых, может наверняка убить другого, а сам останется цел?

Учитель фехтования. Конечно. Разве я вам это не доказал наглядно?

Г-н Журден. Доказали.

Учитель фехтования. Отсюда ясно, какое высокое положение мы, учителя фехтования, должны занимать в государстве и насколько наука фехтования выше всех прочих бесполезных наук, как, например, танцы, музыка и...

Учитель танцев. Но-но, господин фехтмейстер! Отзывайтесь о танцах почтительно.

Учитель музыки. Будьте любезны, научитесь уважать достоинства музыки.

Учитель фехтования. Да вы просто забавники! Как можно ставить ваши науки на одну доску с моей!

Учитель музыки. Подумаешь, важная птица!

Учитель танцев. Напялил нагрудник, чучело!

Учитель фехтования. Берегитесь, плясунишка, вы у меня запляшете не как-нибудь, а вы, музыкантишка, запоете ангельским голоском.

Учитель танцев. А я, господин драчунишка, научу вас, как нужно драться.

Г-н Журден *(учителю танцев)*. Да вы спятили! Затевать ссору с человеком, который все терсы и кварты знает как свои пять пальцев и может убить противника путем наглядного примера?

Учитель танцев. Плевать я хотел на его наглядный пример и на все его терсы и кварты!

Г-н Журден *(учителю танцев)*. Полно, говорят вам!

Учитель фехтования *(учителю танцев)*. Ах, вы вот как, нахальная пигалица!

Г-н Журден. Успокойтесь, любезный фехтмейстер!

Учитель танцев *(учителю фехтования)*. Ах, вы вот как, лошадь ломовая!

Г-н Журден. Успокойтесь, любезный танцмейстер!

Учитель фехтования. Мне только до вас добраться...

Г-н Журден *(учителю фехтования)*. Потише!

Учитель танцев. Мне только до вас дотянуться...

Г-н Журден *(учителю танцев)*. Будет вам!

Учитель фехтования. Я уж вас отколошмачу!

Г-н Журден *(учителю фехтования)*. Ради бога!

Учитель танцев. Я вас так вздую...

Г-н Журден *(учителю танцев)*. Умоляю!

Учитель музыки. Нет уж, позвольте, мы его выучим хорошему тону.

Г-н Журден *(учителю музыки)*. Боже мой! Да перестаньте!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и учитель философии.

Г-н Журден. А, господин философ! Вы как раз вовремя подоспели с вашей философией. Помирите как-нибудь этих господ.

Учитель философии. В чем дело? Что случилось, господа?

Г-н Журден. Повздорили из-за того, чье ремесло лучше, переругались и чуть было не подрались.

Учитель философии. Полноте, господа! Как можно до-

водить себя до такой крайности? Разве вы не читали ученого трактата Сенеки* о гневе? Что может быть более низкого и более постыдного, чем эта страсть, которая превращает человека в дикого зверя? Все движения нашего сердца должны быть подчинены разуму, не так ли?

Учитель танцев. Помилуйте, сударь! Я преподаю танцы, мой товарищ занимается музыкой, а он с презрением отозвался о наших занятиях и оскорбил нас обоих!

Учитель философии. Мудрец стоит выше любых оскорблений. Лучший ответ на издевательства — это сдержанность и терпение.

Учитель фехтования. Они имеют наглость сравнивать свое ремесло с моим!

Учитель философии. Это ли повод для волнения? Из-за суетной славы и из-за положения в обществе люди не должны вступать между собою в соперничество: чем мы резко отличаемся друг от друга, так это мудростью и добродетелью.

Учитель танцев. Я утверждаю, что танцы — это наука, заслуживающая всяческого преклонения.

Учитель музыки. А я стою на том, что музыку чтили во все века.

Учитель фехтования. А я им доказываю, что наука владеть оружием — это самая прекрасная и самая полезная из всех наук.

Учитель философии. Позвольте, а что же тогда философия? Вы все трое — изрядные нахалы, как я погляжу: смеете говорить в моем присутствии такие дерзости и без зазрения совести называете науками занятия, которые недостойны чести именоваться даже искусствами и которые могут быть приравнены лишь к жалким ремеслам уличных борцов, певцов и плясунов!

Учитель фехтования. Молчать, собачий философ!

Учитель музыки. Молчать, педант тупоголовый!

Учитель танцев. Молчать, ученый сухарь!

Учитель философии. Ах вы твари эдакие!.. *(Бросается на них; они осыпают его ударами.)*

Г-н Журден. Господин философ!

Учитель философии. Мерзавцы, подлецы, нахалы!

Г-н Журден. Господин философ!

Учитель фехтования. Гадина! Скотина!

Г-н Журден. Господа!

Учитель философии. Наглецы!

Г-н Журден. Господин философ!

Учитель танцев. Ослиная голова!

Г-н Журден. Господа!

Учитель философии. Негодяи!

Г-н Журден. Господин философ!

Учитель музыки. Убирайся к черту, нахал!

Г-н Журден. Господа!

Учитель философии. Жулики, прощелыги, продувные бестии, проходимцы!

Г-н Журден. Господин философ! Господа! Господин философ! Господа! Господин философ!

Все учителя уходят, продолжая драться.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-н Журден, лакей.

Г-н Журден. Э, да ладно, деритесь сколько хотите! Мое дело сторона, я разнимать вас не стану, а то еще халат с вами разорвешь. Набитым дураком надо быть, чтобы с ними связываться: не ровен час, так огреют, что своих не узнаешь.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и учитель философии.

Учитель философии (*оправляя воротник*). Приступим к уроку.

Г-н Журден. Ах, господин учитель, как мне досадно, что они вас побили!

Учитель философии. Пустяки. Философ должен ко всему относиться спокойно. Я сочиню на них сатиру в духе Ювенала*, и эта сатира их совершенно уничтожит. Но довольно об этом. Итак, чему же вы хотите учиться?

Г-н Журден. Чему только смогу: ведь я смерть как хочу стать ученым, и такое зло меня берет на отца и мать, что меня с малолетства не обучали всем наукам!

Учитель философии. Это понятное чувство, nam sine dóctrina vita est quasi mortis imago. Вам это должно быть ясно, потому что вы уж, верно, знаете латынь.

Г-н Журден. Да, но вы все-таки говорите так, как будто я ее не знаю. Объясните мне, что это значит.

Учитель философии. Это значит: без науки жизнь есть как бы подобие смерти.

Г-н Журден. Латынь говорит дело.

Учитель философии. У вас есть основы, начатки каких-либо познаний?

Г-н Журден. А как же, я умею читать и писать.

Учитель философии. С чего вам угодно будет начать? Хотите, я обучу вас логике?

Г-н Журден. А что это за штука — логика?

Учитель философии. Это наука, которая учит нас трем процессам мышления.

Г-н Журден. Кто же они такие, эти три процесса мышления?

Учитель философии. Первый, второй и третий. Первый заключается в том, чтобы составлять себе правильное представление о вещах при посредстве универсалий*, второй — в том, чтобы верно о них судить при посредстве категорий, и, наконец, третий — в том, чтобы делать правильное умозаключение при посредстве фигур: Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton* и так далее.

Г-н Журден. Уж больно слова-то заковыристые. Нет, логика мне не подходит. Лучше что-нибудь позавлекательнее.

Учитель философии. Хотите, займемся этикой?

Г-н Журден. Этикой?

Учитель философии. Да.

Г-н Журден. А про что она, эта самая этика?

Учитель философии. Она трактует о счастье жизни, учит людей умерять свои страсти и...

Г-н Журден. Нет, не надо. Я вспыльчив как сто чертей, и никакая этика меня не удержит: когда меня разбирает злость, я желаю беситься сколько влезет.

Учитель философии. Может быть, вас прельщает физика?

Г-н Журден. А физика — это насчет чего?

Учитель философии. Физика изучает законы внешнего мира и свойства тел, толкует о природе стихий, о признаках металлов, минералов, камней, растений, животных и объясняет причины всевозможных атмосферных явлений, как-то: радуги, блуждающих огней, комет, зарниц, грома, молнии, дождя, снега, града, ветров и вихрей.

Г-н Журден. Слишком много трескотни, слишком много всего наворочено.

Учитель философии. Так чем же вы хотите заняться?

Г-н Журден. Займитесь со мной правописанием.

Учитель философии. С удовольствием.

Г-н Журден. Потом научите меня узнавать по календарю, когда бывает луна, а когда нет.

Учитель философии. Хорошо. Если рассматривать этот предмет с философской точки зрения, то, дабы вполне удов-

летворить ваше желание, надлежит, как того требует порядок, начать с точного понятия о природе букв и о различных способах их произнесения. Прежде всего я должен вам сообщить, что буквы делятся на гласные, названные так потому, что они обозначают звуки голоса, и на согласные, названные так потому, что произносятся с помощью гласных и служат лишь для обозначения различных изменений голоса. Существует пять гласные букв, или, иначе, голосовых звуков: А, Е, И, О, У.

Г-н Журден. Это мне всё понятно.

Учитель философии. Чтобы произнести звук А, нужно широко раскрыть рот: А.

Г-н Журден. А, А. Так!

Учитель философии. Чтобы произнести звук Е, нужно приблизить нижнюю челюсть к верхней: А, Е.

Г-н Журден. А, Е, А, Е. В самом деле! Вот здорово!

Учитель философии. Чтобы произнести звук И, нужно еще больше сблизить челюсти, а углы рта оттянуть к ушам: А, Е, И.

Г-н Журден. А, Е, И, И, И, И. Верно! Да здравствует наука!

Учитель философии. Чтобы произнести звук О, нужно раздвинуть челюсти, а углы губ сблизить: О.

Г-н Журден. О, О. Истинная правда! А, Е, И, О, И, О. Удивительное дело! И, О, И, О.

Учитель философии. Отверстие рта принимает форму того самого кружка, посредством коего изображается звук О.

Г-н Журден. О, О, О. Вы правы. О. Как приятно знать, что ты что-то узнал!

Учитель философии. Чтобы произнести звук У, нужно приблизить верхние зубы к нижним, не стискивая их, однако ж, а губы вытянуть и тоже сблизить, но так, чтобы они не были плотно сжаты: У.

Г-н Журден. У, У. Совершенно справедливо! У.

Учитель философии. Ваши губы при этом вытягиваются, как будто вы гримасничаете. Вот почему если вы пожелаете в насмешку над кем-либо состроить рожу, вам стоит только сказать: У.

Г-н Журден. У, У. Верно! Эх, зачем я не учился прежде! Я бы всё это уже знал.

Учитель философии. Завтра мы разберем другие буквы, так называемые согласные.

Г-н Журден. А они такие же занятные, как и эти?

Учитель философии. Разумеется. Когда вы произносите звук Д, например, нужно, чтобы кончик языка уперся в верхнюю часть верхних зубов: ДА.

Г-н Журден. ДА, ДА. Так! Ах, до чего же здорово, до чего же здорово!

Учитель философии. Чтобы произнести Ф, нужно прижать верхние зубы к нижней губе: ФА.

Г-н Журден. ФА, ФА. И то правда! Эх, батюшка с матушкой, ну как тут не помянуть вас лихом!

Учитель философии. А чтобы произнести звук Р, нужно приставить кончик языка к верхнему нёбу, однако ж под напором воздуха, с силой вырывающегося из груди, язык беспрестанно возвращается на прежнее место, отчего происходит некоторое дрожание: Р-РА.

Г-н Журден. Р-Р-Р-РА, Р-Р-Р-Р-Р-РА! Какой же вы молодчина! А я-то сколько времени потерял даром! Р-Р-Р-РА.

Учитель философии. Все эти любопытные вещи я объясню вам до тонкостей.

Г-н Журден. Будьте настолько любезны! А теперь я должен открыть вам секрет. Я влюблен в одну великосветскую даму, и мне бы хотелось, чтобы вы помогли мне написать ей записочку, которую я собираюсь уронить к ее ногам.

Учитель философии. Отлично.

Г-н Журден. Ведь правда, это будет учтиво?

Учитель философии. Конечно. Вы хотите написать ей стихи?

Г-н Журден. Нет-нет, только не стихи.

Учитель философии. Вы предпочитаете прозу?

Г-н Журден. Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов.

Учитель философии. Так нельзя: или то, или другое.

Г-н Журден. Почему?

Учитель философии. По той причине, сударь, что мы можем излагать свои мысли не иначе как прозой или стихами.

Г-н Журден. Не иначе как прозой или стихами?

Учитель философии. Не иначе, сударь. Всё, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза.

Г-н Журден. А когда мы разговариваем, это что же такое будет?

Учитель философии. Проза.

Г-н Журден. Что? Когда я говорю: «Николь! Принеси мне туфли и ночной колпак», это — проза?

Учитель философии. Да, сударь.

Г-н Журден. Честное слово, я и не подозревал, что вот уже более сорока лет говорю прозой. Большое вам спасибо, что сказали. Так вот что я хочу ей написать: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви», но только нельзя ли это же самое сказать полюбезнее, как-нибудь этак покрасивее выразиться?

Учитель философии. Напишите, что пламя ее очей испепелило вам сердце, что вы день и ночь терпите из-за нее столь тяжкие...

Г-н Журден. Нет-нет-нет, это всё не нужно. Я хочу написать ей только то, что я вам сказал: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Учитель философии. Следовало бы чуть-чуть подлиннее.

Г-н Журден. Да нет, говорят вам! Я не хочу, чтобы в записке было что-нибудь, кроме этих слов, но только их нужно расставить как следует, как нынче принято. Приведите мне, пожалуйста, несколько примеров, чтобы мне знать, какого порядка лучше придерживаться.

Учитель философии. Порядок может быть, во-первых, тот, который вы установили сами: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви». Или: «От любви смерть мне сулят, прекрасная маркиза, ваши прекрасные глаза». Или: «Прекрасные ваши глаза от любви мне сулят, прекрасная маркиза, смерть». Или: «Смерть ваши прекрасные глаза, прекрасная маркиза, от любви мне сулят». Или: «Сулят мне прекрасные глаза ваши, прекрасная маркиза, смерть».

Г-н Журден. Какой же из всех этих способов наилучший?

Учитель философии. Тот, который вы избрали сами: «Прекрасная маркиза! Ваши прекрасные глаза сулят мне смерть от любви».

Г-н Журден. А ведь я ничему не учился и вот всё ж таки придумал в один миг. Покорно вас благодарю, приходите, пожалуйста, завтра пораньше.

Учитель философии. Не премину. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Г-н Журден, лакей.

Г-н Журден *(лакею)*. Неужели мне еще не принесли костюма?

Лакей. Никак нет, сударь.

Г-н Журден. Окаянный портной заставляет меня дожидаться, когда у меня и без того дела по горло. Как я зол! Чтоб его лихорадка замучила, этого разбойника портного! Чтоб его черт побрал, этого портного! Чума его возьми, этого портного! Попадись он мне сейчас, пакостный портной, собака портной, злодей портной, я б его...

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же, портной и подмастерье с костюмом для г-на Журдена.

Г-н Журден. А, наконец-то! Я уж начал было на тебя сердиться.

Портной. Раньше поспеть не мог, и так уж двадцать подмастерьев засадил за ваш костюм.

Г-н Журден. Ты мне прислал такие узкие чулки, что я насилу их натянул. И уже две петли спустились.

Портной. Они еще как растянутся!

Г-н Журден. Да только не раньше, чем лопнут все петли. К тому же еще башмаки, которые ты для меня заказал, жмут невыносимо.

Портной. Нисколько, сударь.

Г-н Журден. То есть как — нисколько?

Портной. Нет-нет, они вам не тесны.

Г-н Журден. А я говорю — тесны.

Портной. Это вам так кажется.

Г-н Журден. Оттого и кажется, что мне больно. Иначе бы не казалось!

Портной. Вот, извольте взглянуть: не у каждого придворного бывает такой красивый костюм, и сделан он с отменным вкусом. Тут с моей стороны требовалось особое искусство, чтобы получился строгий костюм, хотя и не черного цвета. Самому лучшему портному не сшить такого костюма, это уж я вам ручаюсь.

Г-н Журден. А это еще что такое? Ты пустил цветочки головками вниз?

Портной. Вы мне не говорили, что хотите вверх.

Г-н Журден. Разве об этом надо говорить особо?

Портной. Непременно. Все господа так носят.

Г-н Журден. Господа носят головками вниз?

Портной. Да, сударь.

Г-н Журден. Гм! А ведь и правда красиво.

Портной. Если угодно, я могу и вверх пустить.

Г-н Журден. Нет-нет.

Портной. Вы только скажите.

Г-н Журден. Говорят тебе, не надо. У тебя хорошо получилось. А сидеть-то он на мне будет ладно, как по-твоему?

Портной. Что за вопрос! Живописец кистью так не выведет, как я подогнал к вашей фигуре. У меня есть один подмастерье: по части штанов это просто гений, а другой по части камзолов — краса и гордость нашего времени.

Г-н Журден. Парик и перья — как, ничего?

Портной. Всё в надлежащем порядке.

Г-н Журден (*приглядываясь к портному*). Эге-ге, господин портной, а ведь материя-то на вас от моего камзола, того самого, что вы мне шили прошлый раз! Я ее сразу узнал.

Портной. Мне, изволите ли видеть, так понравилась материя, что я и себе выкроил на кафтан.

Г-н Журден. Ну и выкраивал бы, только не из моего куска.

Портной. Не угодно ли примерить?

Г-н Журден. Давай.

Портной. Погодите. Это так не делается. Я привел людей, чтоб они вас облачили под музыку: такие костюмы надеваются с особыми церемониями. Эй, войдите!

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же и подмастерья, танцующие.

Портной (*подмастерьям*). Наденьте этот костюм на господина Журдена так, как вы всегда одеваете знатных господ.

Первый балетный выход

Четверо танцующих подмастерьев приближаются к г-ну Журдену. Двое снимают с него штаны, двое других — камзол, а затем, все время двигаясь в такт, они надевают на него новый костюм. Г-н Журден прохаживается между ними, а они смотрят, хорошо ли сидит костюм.

Подмастерье. Ваша милость! Пожалуйте сколько-нибудь подмастерьям, чтоб они выпили за ваше здоровье.

Г-н Журден. Как ты меня назвал?

Подмастерье. Ваша милость.

Г-н Журден. «Ваша милость»! Вот что значит одеться по-господски! А будете ходить в мещанском платье — никто вам не скажет «ваша милость». (*Дает деньги.*) На, вот тебе за «вашу милость».

Подмастерье. Премного довольны, ваше сиятельство.

Г-н Журден. «Сиятельство»? Ого! «Сиятельство»! Погоди, дружок... «Сиятельство» чего-нибудь да стоит, это не простое слово — «сиятельство»! На, вот тебе от его сиятельства!

Подмастерье. Ваше сиятельство! Мы все, как один, выпьем за здоровье вашей светлости.

Г-н Журден. «Вашей светлости»? Ого-го! Погоди, не

уходи. Это мне-то — «ваша светлость»! *(В сторону.)* Если дело дойдет до «высочества», честное слово, ему достанется весь кошелек. *(Подмастерью.)* На, вот тебе за «вашу светлость».

Подмастерье. Покорнейше благодарим, ваше сиятельство, за ваши милости.

Г-н Журден *(в сторону)*. Вовремя остановился, а то бы я всё ему отдал.

Второй балетный выход

Четверо подмастерьев танцуют, радуясь щедрости г-на Журдена.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-н Журден, два лакея.

Г-н Журден. Идите за мной: я хочу пройтись по городу в новом костюме, да только смотрите не отставайте ни на шаг, чтоб все видели, что вы мои лакеи.

Лакей. Слушаем, сударь.

Г-н Журден. Позовите сюда Николь — мне нужно отдать ей кое-какие распоряжения. Стойте, она сама идет.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Николь.

Г-н Журден. Николь!

Николь. Что угодно?

Г-н Журден. Послушай...

Николь *(хохочет)*. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Чего ты смеешься?

Николь. Хи-хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Что с тобой, бесстыдница?

Николь. Хи-хи-хи! На кого вы похожи! Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Что такое?

Николь. Ах, боже мой! Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Экая нахалка! Ты это надо мной смеешься?

Николь. Ни-ни, сударь, даже не думала. Хи-хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Посмейся-ка еще — уж и влетит тебе от меня!

Николь. Ничего не могу с собой поделать, сударь. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Перестанешь ты или нет?

Николь. Извините, сударь, но вы такой уморительный, что я не могу удержаться от смеха. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Нет, вы подумайте, какая наглость!

Николь. До чего ж вы сейчас смешной! Хи-хи!

Г-н Журден. Я тебя...

Николь. Извините, пожалуйста. Хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Послушай: если ты сию секунду не перестанешь — клянусь, я закачу тебе такую оплеуху, какой еще никто на свете не получал.

Николь. Коли так, сударь, можете быть спокойны: не буду больше смеяться.

Г-н Журден. Ну смотри! Сейчас ты мне уберешь...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Уберешь как следует...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Уберешь, говорю, как следует залу и...

Николь. Хи-хи!

Г-н Журден. Ты опять?

Николь (*валится от хохота*). Нет уж, сударь, лучше побейте меня, но только дайте посмеяться вдоволь — так мне будет легче. Хи-хи-хи-хи-хи!

Г-н Журден. Ты меня доведешь!

Николь. Смилуйтесь, сударь, дайте мне посмеяться. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Вот я тебя сейчас...

Николь. Су... ударь... я лоп... лопну, если не похохочу. Хи-хи-хи!

Г-н Журден. Видали вы такую подлянку? Вместо того чтобы выслушать мои приказания, нагло смеется мне в лицо.

Николь. Что же вам угодно, сударь?

Г-н Журден. Мне угодно, чтобы ты, мошенница, потрудилась навести в доме чистоту: ко мне скоро гости будут.

Николь (*встает*). Вот мне уже и не до смеху, честное слово! Ваши гости наделают всегда такого беспорядку, что при одной мысли о них на меня нападает тоска.

Г-н Журден. Что ж, мне из-за тебя держать дверь на запоре от всех моих знакомых?

Николь. По крайней мере от некоторых.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и г-жа Журден.

Г-жа Журден. Ах-ах! Это еще что за новости? Что это на тебе, муженек, за наряд? Верно, вздумал посмешить людей, коли вырядился таким шутом? Хочешь, чтобы все на тебя пальцем показывали?

Г-н Журден. Разве одни дураки да дуры станут на меня показывать пальцем.

Г-жа Журден. Да уж и показывают: твои повадки давно всех смешат.

Г-н Журден. Кого это «всех», позволь тебя спросить?

Г-жа Журден. Всех благоразумных людей, всех, которые поумнее тебя. А мне так совестно глядеть, какую ты моду завел. Собственного дома не узнать. Можно подумать, что у нас каждый день праздник: с самого утра, то и знай, пиликают на скрипках, песни орут... Соседям и тем покою нет.

Николь. И то правда, сударыня. Мне не под силу будет поддерживать в доме чистоту, коли вы, сударь, будете водить к себе такую пропасть народу. Грязи наносят прямо со всего города. Бедная Франсуаза вконец измучилась: любезные ваши учителя наследят, а она каждый божий день мой после них полы.

Г-н Журден. Ого! Вот так служанка Николь! Простая мужичка, а ведь до чего же языкастая!

Г-жа Журден. Николь права: ума-то у нее побольше, чем у тебя. Хотела бы я знать, на что тебе, в твои годы, понадобился учитель танцев?

Николь. И еще этот верзила фехтовальщик: он так топочет, что весь дом трясется, а в зале, того и гляди, весь паркет повыворотит.

Г-н Журден. Молчать — и ты, служанка, и ты, жена!

Г-жа Журден. Стало быть, ты задумал учиться танцевать? Нашел когда: у самого скоро ноги отнимутся.

Николь. Может статься, вам припала охота кого-нибудь убить?

Г-н Журден. Молчать, говорят вам! Обе вы невежды. Вам невдомек, какие это мне дает пре-ро-га-тивы.

Г-жа Журден. Лучше бы подумал, как дочку пристроить: ведь она уж на выданье.

Г-н Журден. Подумаю я об этом, когда представится подходящая партия. А пока что я хочу думать о том, как бы мне разным хорошим вещам научиться.

Николь. Я еще слыхала, сударыня, что нынче в довершение всего хозяин нанял учителя философии.

Г-н Журден. Совершенно верно. Хочу понабраться умаразума, чтоб мог я о чем угодно беседовать с порядочными людьми.

Г-жа Журден. Не поступить ли тебе в один прекрасный день в школу, чтоб тебя там розгами драли на старости лет?

Г-н Журден. А что ж тут такого? Пусть меня выдерут хоть сейчас, при всех, лишь бы знать всё то, чему учат в школе!

Николь. Да, это бы вам пошло на пользу.

Г-н Журден. Без сомнения.

Г-жа Журден. В хозяйстве тебе всё это вот как пригодится!

Г-н Журден. Непременно пригодится. Обе вы несете дичь; мне стыдно, что вы такие необразованные. *(Г-же Журден.)* Вот, например, знаешь ли ты, как ты сейчас говоришь?

Г-жа Журден. Конечно. Я знаю, что говорю дело и что тебе надо начать жить по-другому.

Г-н Журден. Я не о том толкую. Я спрашиваю: что такое эти слова, которые ты сейчас сказала?

Г-жа Журден. Слова-то мои разумные, а вот поведение твое очень даже неразумное.

Г-н Журден. Говорят тебе, я не о том толкую. Я вот о чем спрашиваю: то, что я тебе говорю, вот то, что я тебе сказал сейчас,— что это такое?

Г-жа Журден. Глупости.

Г-н Журден. Да нет, ты меня не понимаешь. То, что мы оба говорим, вся наша с тобой речь?

Г-жа Журден. Ну?

Г-н Журден. Как это называется?

Г-жа Журден. Всё равно, как ни назвать.

Г-н Журден. Невежда, это проза!

Г-жа Журден. Проза?

Г-н Журден. Да, проза. Всё, что проза, то не стихи, а всё, что не стихи, то проза. Видала? Вот что значит ученость! *(К Николь.)* Ну, а ты — тебе известно, как произносится У?

Николь. Как произносится?

Г-н Журден. Да. Что ты делаешь, когда говоришь У?

Николь. Чего?

Г-н Журден. Попробуй сказать У.

Николь. Ну, У.

Г-н Журден. Что же ты делаешь?

Николь. Говорю У.

Г-н Журден. Да, но когда ты говоришь У, что ты в это время делаешь?

Николь. То и делаю, что вы велели.

Г-н Журден. Вот поговори-ка с дурами! Ты вытягиваешь губы и приближаешь верхнюю челюсть к нижней: У. Видишь? Я корчу рожу: У.

Николь. Да, нечего сказать, ловко.

Г-жа Журден. И впрямь чудеса!

Г-н Журден. Вы бы еще не то сказали, ежели б увидали О, ДА-ДА и ФА-ФА!

Г-жа Журден. Что это за галиматья?

Николь. На что это все нужно?

Г-н Журден. Эти невежды хоть кого выведут из себя.

Г-жа Журден. Вот что, гони-ка ты своих учителей в шею и со всей их тарабарщиной.

Николь. А главное, эту дылду — учителя фехтования: от него только пыль столбом.

Г-н Журден. Скажи на милость! Дался вам учитель фехтования! Вот я тебе сейчас докажу, что ты ничего в этом не смыслишь! *(Велит подать рапиры и одну из них протягивает Николь.)* Вот, смотри, наглядный пример, линия тела. Когда тебя колют квартой, то надо делать так, а когда терсом, то вот так. Тогда тебя никто уж не убьет, а во время драки это самое важное — знать, что ты в безопасности. А ну попробуй, кольни меня разок!

Николь. Что ж, и кольну! *(Несколько раз колет г-на Журдена.)*

Г-н Журден. Да тише ты! Эй-эй! Осторожней! Черт бы тебя побрал, скверная девчонка!

Николь. Вы же сами велели вас колоть.

Г-н Журден. Да, но ты сперва колешь терсом, вместо того чтобы квартой, и у тебя не хватает терпения подождать, пока я отпарирую.

Г-жа Журден. Ты помешался на всех этих причудах, муженек. И началось это у тебя с тех пор, как ты вздумал водиться с важными господами.

Г-н Журден. В том, что я вожусь с важными господами, виден мой здравый смысл: это куда лучше, чем водиться с твоими мещанами.

Г-жа Журден. Да уж, нечего сказать: прок от того, что ты подружился с дворянами, ох как велик! Взять хоть этого распрекрасного графа, от которого ты без ума: до чего же выгодное знакомство!

Г-н Журден. Молчать! Думай сначала, а потом давай волю языку. Знаешь ли ты, жена, что ты не знаешь, о ком говоришь, когда говоришь о нем? Ты себе не представляешь, какое это значительное лицо: он настоящий вельможа, вхож во дворец, с самим королем разговаривает, вот как я с тобой. Разве это не

великая для меня честь, что такая высокопоставленная особа постоянно бывает в моем доме, называет меня любезным другом и держится со мной на равной ноге? Никому и в голову не придет, какие услуги оказывает мне граф, а при всех он до того бывает со мною ласков, что мне, право, становится неловко.

Г-жа Журден. Да, он оказывает тебе услуги, он с тобою ласков, но и денежки у тебя занимает.

Г-н Журден. Ну и что ж? Разве это для меня не честь — дать взаймы такому знатному господину? Могу ли я вельможе, который называет меня любезным другом, отказать в таком пустяке?

Г-жа Журден. А какие такие одолжения делает этот вельможа тебе?

Г-н Журден. Такие, что, кому сказать, никто не поверит.

Г-жа Журден. Например?

Г-н Журден. Ну уж этого я тебе не скажу. Будь довольна тем, что свой долг он мне уплатит сполна, и очень даже скоро.

Г-жа Журден. Как же, дожидайся!

Г-н Журден. Наверняка. Он сам мне говорил!

Г-жа Журден. Держи карман шире.

Г-н Журден. Он дал мне честное слово дворянина.

Г-жа Журден. Враки!

Г-н Журден. Ух! Ну и упрямая ты, жена! А я тебе говорю, что он свое слово сдержит, я в этом уверен.

Г-жа Журден. А я уверена, что не сдержит и что все его любезности — один обман и ничего более.

Г-н Журден. Замолчи! Вот как раз и он.

Г-жа Журден. Этого только недоставало! Верно, опять пришел просить у тебя в долг. Глядеть на него тошно.

Г-н Журден. Молчать, тебе говорят!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Дорант.

Дорант. Здравствуйте, господин Журден! Как поживаете, любезный друг?

Г-н Журден. Отлично, ваше сиятельство. Милости прошу.

Дорант. А госпожа Журден как поживает?

Г-жа Журден. Госпожа Журден живет помаленьку.

Дорант. Однако, господин Журден, каким вы сегодня франтом!

Г-н Журден. Вот, поглядите.

Дорант. Вид у вас в этом костюме безукоризненный. У нас при дворе нет ни одного молодого человека, который был бы так же хорошо сложен, как вы.

Г-н Журден. Хе-хе!

Г-жа Журден *(в сторону)*. Знает, как в душу влезть.

Дорант. Повернитесь. Верх изящества.

Г-жа Журден *(в сторону)*. Да, сзади такой же дурак, как и спереди.

Дорант. Даю вам слово, господин Журден, у меня было необычайно сильное желание с вами повидаться. Я питаю к вам совершенно особое уважение: не далее как сегодня утром я говорил о вас в королевской опочивальне.

Г-н Журден. Много чести для меня, ваше сиятельство. *(Г-же Журден.)* В королевской опочивальне!

Дорант. Наденьте же шляпу.

Г-н Журден. Я вас слишком уважаю, ваше сиятельство.

Дорант. Боже мой, да наденьте же! Пожалуйста, без церемоний.

Г-н Журден. Ваше сиятельство...

Дорант. Говорят вам, наденьте, господин Журден: ведь вы мой друг.

Г-н Журден. Ваше сиятельство! Я ваш покорный слуга.

Дорант. Если вы не наденете шляпу, тогда и я не надену.

Г-н Журден. *(надевая шляпу)*. Лучше показаться неучтивым, чем несговорчивым.

Дорант. Как вам известно, я ваш должник.

Г-жа Журден *(в сторону)*. Да, нам это слишком хорошо известно.

Дорант. Вы были так великодушны, что неоднократно давали мне в долг и, надо заметить, выказывали при этом величайшую деликатность.

Г-н Журден. Шутить изволите, ваше сиятельство.

Дорант. Однако ж я почитаю непременною своею обязанностью платить долги и умею ценить оказываемые мне любезности.

Г-н Журден. Я в этом не сомневаюсь.

Дорант. Я намерен с вами расквитаться. Давайте вместе подсчитаем, сколько я вам всего должен.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Ну что, жена? Видишь, какую ты на него возвела напраслину?

Дорант. Я люблю расплачиваться как можно скорее.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. А что я тебе говорил?

Дорант. Итак, посмотрим, сколько же я вам должен.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Вот они, твои нелепые подозрения!

Дорант. Вы хорошо помните, сколько вы мне ссудили?

Г-н Журден. По-моему, да. Я записал для памяти. Вот она, эта самая запись. В первый раз выдано вам двести луидоров*.

Дорант. Верно.

Г-н Журден. Еще выдано вам сто двадцать.

Дорант. Так.

Г-н Журден. Еще выдано вам сто сорок.

Дорант. Вы правы.

Г-н Журден. Все вместе составляет четыреста шестьдесят луидоров, или пять тысяч шестьдесят ливров*.

Дорант. Подсчет вполне верен. Пять тысяч шестьдесят ливров.

Г-н Журден. Тысячу восемьсот тридцать два ливра — вашему поставщику перьев для шляп.

Дорант. Совершенно точно.

Г-н Журден. Две тысячи семьсот восемьдесят ливров — вашему портному.

Дорант. Правильно.

Г-н Журден. Четыре тысячи триста семьдесят девять ливров двенадцать су* восемь денье* — вашему лавочнику.

Дорант. Отлично. Двенадцать су восемь денье. Подсчет верен.

Г-н Журден. И еще тысячу семьсот сорок восемь ливров семь су четыре денье — вашему седельнику.

Дорант. Все это соответствует истине. Сколько же всего?

Г-н Журден. Итого пятнадцать тысяч восемьсот ливров.

Дорант. Итог верен. Пятнадцать тысяч восемьсот ливров. Дайте мне еще двести пистолей* и прибавьте их к общей сумме; получится ровно восемнадцать тысяч франков*, каковые я вам возвращу в самое ближайшее время.

Г-жа Журден. *(г-ну Журдену, тихо)*. Ну что, права я была?

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Отстань!

Дорант. Вас не затруднит моя просьба?

Г-н Журден. Помилуйте!

Г-жа Журден *(г-ну Журдену, тихо)*. Ты для него дойная корова.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Молчи!

Дорант. Если вам это неудобно, я обращусь к кому-нибудь другому.

Г-н Журден. Нет-нет, ваше сиятельство.

Г-жа Журден *(г-ну Журдену, тихо)*. Он не успокоится, пока тебя не разорит.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Говорят тебе, молчи!

Дорант. Скажите прямо, не стесняйтесь.

Г-н Журден. Нисколько, ваше сиятельство.

Г-жа Журден *(г-ну Журдену, тихо)*. Это настоящий проходимец!

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Да замолчи ты!

Г-жа Журден *(г-ну Журдену, тихо)*. Он высосет из тебя всё до последнего су.

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. Да замолчишь ты?

Дорант. Многие с радостью дали бы мне взаймы, но вы мой лучший друг, и я боялся, что обижу вас, если попрошу у кого-нибудь еще.

Г-н Журден. Слишком много чести для меня, ваше сиятельство. Сейчас схожу за деньгами.

Г-жа Журден *(г-ну Журдену, тихо)*. Что? Ты ему еще хочешь дать?

Г-н Журден *(г-же Журден, тихо)*. А как же быть? Разве я могу отказать такой важной особе, которая еще нынче утром говорила обо мне в королевской опочивальне?

Г-жа Журден *(г-ну Журдену, тихо)*. А, да ну тебя, дурак набитый!

Г-н Журден и два лакея уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Николь, г-жа Журден, Дорант.

Дорант. Вы как будто не в духе. Что с вами, госпожа Журден?

Г-жа Журден. Голова у меня кругом идет.

Дорант. А где же ваша уважаемая дочка? Что-то ее не видно.

Г-жа Журден. Моя уважаемая дочка находится именно там, где она сейчас находится.

Дорант. Как она себя чувствует?

Г-жа Журден. Обыкновенно — вот как она себя чувствует.

Дорант. Не угодно ли вам как-нибудь на днях посмотреть вместе с дочкой придворный балет и комедию?

Г-жа Журден. Вот-вот, нам теперь как раз до смеха, как раз до смеха нам теперь!

Дорант. Уж верно, госпожа Журден, в молодости вы славились красотою, приятностью в обхождении и у вас была тьма поклонников.

Г-жа Журден. Хорош, сударь, нечего сказать! А что ж теперь, по-вашему: госпожа Журден — совсем развалина, и голова у нее трясется?

Дорант. Ах, боже мой, госпожа Журден, простите! Я совсем забыл, что вы еще молоды; это моя всегдашняя рассеянность виновата. Прошу извинить невольную мою дерзость.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и г-н Журден.

Г-н Журден (*Доранту*). Вот вам ровно двести луидоров.

Дорант. Поверьте, господин Журден, что я искренне вам предан и мечтаю быть вам чем-нибудь полезным при дворе.

Г-н Журден. Я вам очень обязан.

Дорант. Если госпожа Журден желает посмотреть придворный спектакль, я велю оставить для нее лучшие места.

Г-жа Журден. Госпожа Журден покорно вас благодарит.

Дорант (*г-ну Журдену, тихо*). Прелестная наша маркиза, как я уже известил вас запиской, сейчас пожалует к вам отобедать и посмотреть балет. В конце концов мне все же удалось уговорить ее побывать на представлении, которое вы для нее устраиваете.

Г-н Журден. Отойдемте на всякий случай подальше.

Дорант. Мы с вами не виделись целую неделю, и до сих пор я ничего вам не мог сказать о брильянте, который я должен был передать от вас маркизе, но всё дело в том, что побороть ее щепетильность мне стоило величайшего труда: она согласилась его принять только сегодня.

Г-н Журден. Как он ей понравился?

Дорант. Она от него в восхищении. Я почти уверен, что красота этого брильянта необычайно поднимет вас в ее глазах.

Г-н Журден. Дай-то бог!

Г-жа Журден (*к Николь*). Стоит им сойтись вместе, мой муженек так к нему и прилипнет.

Дорант. Я приложил все старания, чтобы она составила себе верное понятие как о ценности вашего подарка, так и о силе вашей любви.

Г-н Журден. Не знаю, как вас и благодарить. До чего мне неловко, что такая важная особа, как вы, утруждает себя ради меня!

Дорант. Что вы! Разве можно друзьям быть такими щепетильными? И разве вы в подобном случае не сделали бы для меня того же самого?

Г-н Журден. Ну конечно! С великой охотой.

Г-жа Журден *(к Николь)*. Когда он здесь, мне просто невмоготу.

Дорант. Я по крайней мере, когда нужно услужить другу, решительно на всё готов. Как скоро вы мне признались, что пылаете страстью к очаровательной маркизе, моей хорошей знакомой, я сам вызвался быть посредником в ваших сердечных делах.

Г-н Журден. Сущая правда. Благодеяния ваши приводят меня в смущение.

Г-жа Журден *(к Николь)*. Когда же он наконец уйдет?

Николь. Их водой не разольешь.

Дорант. Вам удалось найти кратчайший путь к ее сердцу. Женщины больше всего любят, когда на них тратятся, и ваши беспрестанные серенады, ваши бесчисленные букеты, изумительный фейерверк, который вы устроили для нее на реке, брильянт, который вы ей подарили, представление, которое вы для нее готовите,— всё это красноречивее говорит о вашей любви, чем все те слова, какие только вы могли бы сказать ей.

Г-н Журден. Я не остановлюсь ни перед какими затратами, если только они проложат мне дорогу к ее сердцу. Светская дама имеет для меня ни с чем не сравнимую прелесть, подобную честь я готов купить любою ценой.

Г-жа Журден *(к Николь, тихо)*. О чем это они столько времени шепчутся? Подойди-ка тихонько да послушай.

Дорант. Скоро вы ею вволю налюбуетесь, ваш взор насладится ею вполне.

Г-н Журден. Чтобы нам не помешали, я устроил так, что моя жена отправится обедать к сестре и пробудет у нее до самого вечера.

Дорант. Вы поступили благоразумно, а то ваша супруга могла бы нас стеснить. Я от вашего имени отдал распоряжения повару, а также велел всё приготовить для балета. Я сам его сочинил, и если только исполнение будет соответствовать замыслу, то я уверен, что от него...

Г-н Журден *(заметив, что Николь подслушивает, дает ей пощечину)*. Это еще что? Ну и нахалка! *(Доранту.)* Придется нам уйти.

Г-н Журден и Дорант уходят.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Николь, г-жа Журден.

Николь. Однако, сударыня, любопытство мне кое-чего стоило. А всё-таки тут дело нечисто: они что-то держат от вас в секрете.

Г-жа Журден. Мой муженек давно у меня на подозрении, Николь. Голову даю на отсечение, что он за кем-то приударяет, вот я и стараюсь проведать — за кем. Подумаем, однако ж, о моей дочери. Ты знаешь, что Клеонт влюблен в нее без памяти; мне он тоже пришелся по душе, и я хочу ему посодействовать и, если только удастся, выдать за него Люсиль.

Николь. По правде вам скажу, сударыня, я просто в восторге, что вы так решили: ведь если вам по душе хозяин, то мне по душе слуга, и уж как бы я хотела, чтобы вслед за их свадьбой сыграли и нашу!

Г-жа Журден. Ступай к Клеонту и скажи, что я его зову: мы вместе пойдем к мужу просить руки моей дочери.

Николь. С удовольствием, сударыня. Бегу! Такого приятного поручения я еще никогда не исполняла.

Г-жа Журден уходит.

То-то, наверно, обрадуются!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Николь, Клеонт, Ковьель.

Николь *(Клеонту)*. Ах, как вы вовремя! Я вестница вашего счастья и хочу вам...

Клеонт. Прочь, коварная, не смей обольщать меня лживыми своими речами!

Николь. Так-то вы меня встречаете?

Клеонт. Прочь, говорят тебе, сей же час ступай к неверной своей госпоже и объяви, что ей больше не удастся обмануть простодушного Клеонта.

Николь. Это еще что за вздор! Миленький мой Ковьель! Скажи хоть ты, что все это значит?

Ковьель. «Миленький мой Ковьель»... Негодная девчонка! А ну прочь с глаз моих, дрянь ты этакая, оставь меня в покое!

Николь. Как? И ты туда же?..

Ковьель. Прочь с глаз моих, говорят тебе, не смей больше со мной заговаривать!

Николь *(про себя)*. Вот тебе раз! Какая муха укусила их обоих? Пойду расскажу барышне об этом милом происшествии. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Клеонт, Ковьель.

Клеонт. Как! Поступать таким образом со своим поклонником, да еще с самым верным и самым страстным из поклонников!

Ковьель. Ужас как с нами обоими здесь обошлись!

Клеонт. Я расточаю ей весь пыл и всю нежность, на какие я только способен. Ее одну люблю я в целом свете и помышляю лишь о ней. Она одна предмет всех дум моих и всех желаний, она моя единственная радость. Я говорю лишь о ней, думаю только о ней, вижу во сне лишь ее, сердце мое бьется только ради нее, я дышу только ею. И вот достойная награда за эту преданность мою! Два дня не виделись мы с нею; они тянулись для меня, как два мучительных столетья, вот наконец негаданная встреча, душа моя возликовала, румянцем счастья залилось лицо, в восторженном порыве я устремляюсь к ней... и что же? Неверная не смотрит на меня, она проходит мимо, как будто мы совсем, совсем чужие!

Ковьель. Я то же самое готов сказать.

Клеонт. Так что же сравнится, Ковьель, с коварством бессердечной Люсиль?

Ковьель. А что сравнится, сударь, с коварством подлой Николь?

Клеонт. И это после такого пламенного самопожертвования, после стольких вздохов и клятв, которые исторгла у меня ее прелесть!

Ковьель. После такого упорного ухаживания, после стольких знаков внимания и услуг, которые я оказал ей на кухне!

Клеонт. Стольких слез, которые я пролил у ее ног!

Ковьель. Стольких ведер воды, которые я перетаскал за нее из колодца!

Клеонт. Как пылко я ее любил — любил до полного самозабвения!

Ковьель. Как жарко было мне, когда я за нее возился с вертелом,— жарко до полного изнеможения!

Клеонт. А теперь она проходит мимо, явно пренебрегая мной!

Ковьель. А теперь она пренагло поворачивается ко мне спиной!

Клеонт. Это коварство заслуживает того, чтобы на нее обрушились кары.

Ковьель. Это вероломство заслуживает того, чтобы на нее посыпались оплеухи.

Клеонт. Смотри ты у меня, не вздумай за нее заступаться!

Ковьель. Я, сударь? Заступаться? Избави бог!

Клеонт. Не смей оправдывать поступок этой изменницы.

Ковьель. Не беспокойтесь.

Клеонт. Не пытайся защищать ее — напрасный труд.

Ковьель. Да у меня и в мыслях этого нет!

Клеонт. Я ей этого не прощу и порву с ней всякие отношения.

Ковьель. Хорошо сделаете.

Клеонт. Ей, по-видимому, вскружил голову этот граф, который бывает у них в доме; я убежден, что она польстилась на его знатность. Однако из чувства чести я не могу допустить, чтобы она первая объявила о своей неверности. Я вижу, что она стремится к разрыву, и намерен опередить ее: я не хочу уступать ей пальму первенства.

Ковьель. Отлично сказано. Я вполне разделяю ваши чувства.

Клеонт. Так подогрей же мою досаду и поддержи меня в решительной битве с остатками любви к ней, дабы они не подавали голоса в ее защиту. Пожалуйста, говори мне о ней как можно больше дурного. Выставь мне ее в самом черном свете и, чтобы вызвать во мне отвращение, старательно оттени все ее недостатки.

Ковьель. Ее недостатки, сударь? Да ведь это же ломака, смазливая вертихвостка,— нашли, право, в кого влюбиться! Ничего особенного я в ней не вижу, есть сотни девушек гораздо лучше ее. Во-первых, глазки у нее маленькие.

Клеонт. Верно, глаза у нее небольшие, но зато это единственные в мире глаза: столько в них огня, так они блестят, пронизывают, умиляют.

Ковьель. Рот у нее большой.

Клеонт. Да, но он таит в себе особую прелесть: этот ротик невольно волнует, в нем столько пленительного, чарующего, что с ним никакой другой не сравнится.

Ковьель. Ростом она невелика.

Клеонт. Да, но зато изящна и хорошо сложена.

Ковьель. В речах и в движениях умышленно небрежна.

Клеонт. Верно, но это придает ей своеобразное очарование. Держит она себя обворожительно, в ней так много обаяния, что не покориться ей невозможно.

Ковьель. Что касается ума...

Клеонт. Ах, Ковьель, какой у нее тонкий, какой живой ум!

Ковьель. Говорит она...

Клеонт. Говорит она чудесно.

Ковьель. Она всегда серьезна.

Клеонт. А тебе надо, чтоб она была смешливой, чтоб она была хохотуньей? Что же может быть несноснее женщины, которая всегда готова смеяться?

Ковьель. Но ведь она самая капризная женщина в мире.

Клеонт. Да, она с капризами, тут я с тобой согласен, но красавица всё может себе позволить, красавице всё можно простить.

Ковьель. Ну, значит, вы ее, как видно, никогда не разлюбите.

Клеонт. Не разлюблю? Нет, лучше смерть. Я буду ненавидеть ее с такой же силой, с какою прежде любил.

Ковьель. Как же это вам удастся, если она, по-вашему, верх совершенства?

Клеонт. В том-то именно и скажется потрясающая сила моей мести, в том-то именно и скажется твердость моего духа, что я возненавижу и покину ее, несмотря на всю ее красоту, несмотря на всю ее привлекательность для меня, несмотря на все ее очарование. Но вот и она.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же, Люсиль и Николь.

Николь *(к Люсиль)*. Я по крайней мере была глубоко возмущена.

Люсиль. Все это, Николь, из-за того, о чем я тебе сейчас напомнила. А, он здесь!

Клеонт *(Ковьелю)*. Я и говорить с ней не желаю.

Ковьель. А я последую вашему примеру.

Люсиль. Что это значит, Клеонт? Что с вами сталось?

Николь. Да что с тобой, Ковьель?

Люсиль. Отчего вы такой грустный?

Николь. Что это ты надулся?

Люсиль. Вы утратили дар речи, Клеонт?

Николь. У тебя язык отнялся, Ковьель?

Клеонт. Вот злодейка!

Ковьель. Вот Иуда!

Люсиль. Я вижу, вас расстроила наша сегодняшняя встреча.

Клеонт *(Ковьелю)*. Ага! Поняли, что натворили.

Николь. Наверно, тебя задело за живое то, как мы держали себя с вами утром.

Ковьель *(Клеонту)*. Знают кошки, чье мясо съели.

Люсиль. Ведь это единственная причина вашей досады, не правда ли, Клеонт?

Клеонт. Да, коварная, если вам угодно знать, так именно это. Но только я вас предупреждаю, что ваша измена не доставит вам радости: я сам намерен порвать с вами, я лишу вас права считать, что это вы меня оттолкнули. Разумеется, мне будет нелегко побороть мое чувство, меня охватит тоска, некоторое время я буду страдать, но я себя пересилю, и лучше я вырву из груди сердце, чем поддамся слабости и возвращусь к вам.

Ковьель *(к Николь)*. А куда он, туда и я.

Люсиль. Вот уж много шуму из ничего! Я вам сейчас объясню, Клеонт, по какой причине я утром уклонилась от встречи с вами.

Клеонт *(пытается уйти от Люсиль)*. Ничего не желаю слушать.

Николь *(Ковьелю)*. Я тебе сейчас скажу, почему мы так быстро прошли мимо.

Ковьель *(пытается уйти от Николь)*. Знать ничего не желаю.

Люсиль *(идет за Клеонтом)*. Итак, сегодня утром...

Клеонт *(не глядя на Люсиль, направляется к выходу)*. Еще раз — нет.

Николь *(идет за Ковьелем)*. Было бы тебе известно...

Ковьель *(не глядя на Николь, направляется к выходу)*. Притворщица, отстань!

Люсиль. Послушайте!

Клеонт. Конец всему.

Николь. Дай мне сказать.

Ковьель. Я глух.

Люсиль. Клеонт!

Клеонт. Нет-нет!

Николь. Ковьель!

Ковьель. Ни-ни!

Люсиль. Постойте!

Клеонт. Басни!

Николь. Послушай!

Ковьель. Вздор!

Люсиль. Минутку!
Клеонт. Ни за что!
Николь. Чуть-чуть терпенья!
Ковьель. Чепуха!
Люсиль. Два только слова!
Клеонт. Все кончено, нет-нет!
Николь. Одно словечко!
Ковьель. Мы не знакомы.
Люсиль *(останавливается)*. Ну что ж, раз вы не хотите меня выслушать, то оставайтесь при своем мнении и поступайте как вам заблагорассудится.
Николь *(тоже останавливается)*. Коли так, поступай как тебе вздумается.
Клеонт *(поворачивается к Люсиль)*. Любопытно, однако ж, знать причину вашего прелестного поведения.
Люсиль *(пытается уйти от Клеонта)*. У меня пропало всякое желание об этом с вами говорить.
Ковьель *(поворачивается к Николь)*. Послушаем, однако ж, в чем тут дело.
Николь *(хочет уйти от Ковьеля)*. У меня пропала всякая охота тебе это объяснять.
Клеонт *(идет за Люсиль)*. Расскажите же мне...
Люсиль *(не глядя на Клеонта, направляется к выходу)*. Ничего не стану рассказывать.
Ковьель *(идет за Николь)*. Растолкуй же мне...
Николь *(не глядя на Ковьеля, направляется к выходу)*. Ничего не стану растолковывать.
Клеонт. О, пощадите!
Люсиль. Еще раз — нет!
Ковьель. Будь так любезна!
Николь. Конец всему.
Клеонт. Я вас молю!
Люсиль. Подите прочь!
Ковьель. Прошу тебя!
Николь. Ступай-ка вон!
Клеонт. Люсиль!
Люсиль. Нет-нет!
Ковьель. Николь!
Николь. Ни-ни!
Клеонт. Ради бога!
Люсиль. Не желаю!
Ковьель. Ну скажи!
Николь. Ни за что.
Клеонт. Пролейте свет!
Люсиль. И не подумаю.

Ковьель. Открой ты мне глаза!

Николь. Была охота!

Клеонт. Ну что ж, коль скоро вы не хотите взять на себя труд разуверить меня и объяснить ваше поведение, которого любовный пламень мой не заслужил, то, неблагодарная, вы видите меня в последний раз: я ухожу, и в разлуке с вами я умру от горя и от любви.

Ковьель *(к Николь)*. А я — следом за ним.

Люсиль *(Клеонту, который собирается уходить)*. Клеонт!

Николь *(Ковьелю, который идет за своим господином)*. Ковьель!

Клеонт *(останавливается)*. Что?

Ковьель *(тоже останавливается)*. Ну?

Люсиль. Куда же вы?

Клеонт. Я вам сказал.

Люсиль. Как! Вы хотите умереть?

Клеонт. О да, жестокая, вы сами этого хотите.

Ковьель. Мы помирать пошли.

Люсиль. Я? Я хочу вашей смерти?

Клеонт. Да, хотите.

Люсиль. Кто вам сказал?

Клеонт *(подходит к Люсиль)*. Как же не хотите, когда вы не хотите разрешить мои сомнения?

Люсиль. Да я-то тут при чем? Если б вы с самого начала соблаговолили меня выслушать, я бы вам сказала, что повинна в утреннем происшествии, причинившем вам такую обиду, моя старая тетка, с которой мы вместе шли: она твердо убеждена, что если мужчина, не дай бог, подошел к девушке, тем самым он ее уже обесчестил, вечно читает нам об этом проповеди и старается внушить, что мужчины — это бесы и что от них нужно бежать без оглядки.

Николь *(Ковьелю)*. Вот и весь секрет.

Клеонт. А вы не обманываете меня, Люсиль?

Ковьель *(к Николь)*. А ты меня не дурачишь?

Люсиль *(Клеонту)*. Все это истинная правда.

Николь *(Ковьелю)*. Все так и было.

Ковьель *(Клеонту)*. Ну что ж, поверить им?

Клеонт. Ах, Люсиль, вам стоит сказать одно только слово — и волнения души моей тотчас же утихают! Как легко убеждают нас те, кого мы любим!

Ковьель. Ну и ловки же умасливать нашего брата эти чертовы куклы!

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Те же и г-жа Журден.

Г-жа Журден. Очень рада вас видеть, Клеонт, вы как раз вовремя. Сейчас придет мой муж; воспользуйтесь случаем и просите у него руки Люсиль.

Клеонт. Ах, сударыня, как отрадно мне слышать ваши слова и как сходятся они с моими желаниями! Что может быть для меня приятнее этого приказа, что может быть для меня дороже этого благодеяния?

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же и г-н Журден.

Клеонт. Господин Журден! Я решил не прибегать ни к чьему посредничеству, чтобы обратиться к вам с просьбой, которая касается давнишней моей мечты. Это слишком важная для меня просьба, и я почел за нужное сам изложить вам ее. Итак, скажу вам не обинуясь, что честь быть вашим зятем явилась бы для меня наивысшей милостью, и вот эту именно милость я и прошу вас мне оказать.

Г-н Журден. Прежде чем дать вам ответ, сударь, я попрошу вас сказать, дворянин вы или нет.

Клеонт. Сударь! Большинство, не задумываясь, ответило бы на этот вопрос утвердительно. Слова нынче дешевы. Люди без зазрения совести присваивают себе дворянское звание,— подобный род воровства, по-видимому, вошел в обычай. Но я на этот счет, признаюсь, более щепетилен. Я полагаю, что всякий обман бросает тень на порядочного человека. Стыдиться тех, от кого тебе небо судило родиться на свет, блистать в обществе вымышленным титулом, выдавать себя не за то, что ты есть на самом деле,— это, на мой взгляд, признак душевной низости. Разумеется, мои предки занимали почетные должности, сам я с честью прослужил шесть лет в армии, и состояние мое таково, что я надеюсь занять не последнее место в свете; но, со всем тем, я не намерен присваивать себе дворянское звание, несмотря на то, что многие на моем месте сочли бы себя вправе это сделать, и я вам скажу напрямик: я не дворянин.

Г-н Журден. Кончено, сударь: моя дочь — не для вас.

Клеонт. Как?

Г-н Журден. Вы — не дворянин; дочку мою вы не получите.

Г-жа Журден. Да при чем тут — дворянин, не дворянин? Мы-то с тобой от ребра Людовика Святого*, что ли, происходим?

Г-н Журден. Молчи, жена, я вижу, к чему ты клонишь.

Г-жа Журден. Сами-то мы с тобой не из честных мещанских семей?

Г-н Журден. Вот язык-то без костей у тебя, жена!

Г-жа Журден. Разве наши родители не были купцами?

Г-н Журден. Уж эти бабы! Слова сказать не дадут. Коли твой родитель был купцом, тем хуже для него, а про моего родителя так могут сказать только злые языки. Одним словом, я хочу, чтобы зять у меня был дворянин.

Г-жа Журден. Твоей дочке нужен муж подходящий: лучше ей выйти за человека честного, богатого да статного, чем за дворянина, нищего да нескладного.

Николь. Вот уж верно! В нашей деревне господский сынок такой увалень и такой оболтус, какого я отроду не видывала.

Г-н Журден (*к Николь*). Замолчи, нахалка! Вечно вмешиваешься в разговор. Добра для дочки у меня припасено довольно, недостает только почета, вот я и хочу, чтоб она была маркизой.

Г-жа Журден. Маркизой?

Г-н Журден. Да, маркизой.

Г-жа Журден. Сохрани господи и помилуй!

Г-н Журден. Это дело решенное.

Г-жа Журден. А я на это никак не согласна. От неравного брака ничего хорошего не жди. Не желаю я, чтоб мой зять стал попрекать мою дочь родителями и чтоб их дети стыдились назвать меня бабушкой. Случится ей в один прекрасный день прикатить ко мне в карете, и вот ежели она ненароком кому-нибудь из соседей забудет поклониться, так чего только про нее не наговорят! «Поглядите, скажут, на госпожу маркизу! Видите, как чванится! Это дочка господина Журдена, в детстве она почитала за великое счастье поиграть с нами. Прежде она не была такой спесивой: ведь оба ее деда торговали сукном подле Ворот святого Иннокентия*. Нажили детям добра, а теперь, поди, на том свете ох как за это расплачиваются, потому честному человеку никогда так не разбогатеть». Терпеть не могу я этих пересудов. Коротко говоря, я хочу, чтоб мой зять был мне благодарен за дочку и чтоб я могла сказать ему попросту: «Садись-ка, зять, пообедай с нами».

Г-н Журден. Вот тут-то вся твоя мелочная душонка и сказалась: тебе бы век прозябать в ничтожестве. Довольно разговоров! Наперекор всем дочь моя будет маркизой, а разозлишь меня еще пуще, так я ее герцогиней сделаю. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Клеонт, Ковьель, Люсиль, Николь, г-жа Журден.

Г-жа Журден. Не унывайте, Клеонт. *(К Люсиль.)* Пойдем-ка, дочка. Ты прямо так отцу и скажи: если не за Клеонта, так ни за кого, мол, не выйду.

Г-жа Журден, Люсиль и Николь уходят.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Клеонт, Ковьель.

Ковьель. Много вам помогло ваше благородство!

Клеонт. Что поделаешь! Я на этот счет необычайно щепетилен, и переломить себя — это выше моих сил.

Ковьель. А кто вам велел относиться к такому человеку серьезно? Разве вы не видите, что он помешался? Ну что вам стоило снизойти к его слабости?

Клеонт. Твоя правда, но я никак не мог предполагать, что для того, чтобы стать зятем господина Журдена, требуется предъявить дворянские грамоты.

Ковьель *(хохочет)*. Ха-ха-ха!

Клеонт. Чего ты смеешься?

Ковьель. Я надумал сыграть с нашим умником одну шутку, благодаря которой вы добьетесь своего.

Клеонт. Что такое?

Ковьель. Преуморительная штучка!

Клеонт. Да что же именно?

Ковьель. Тут у нас недавно был маскарад, и для моей затеи это как раз то, что нужно: я думаю воспользоваться этим, чтобы обвести вокруг пальца нашего простофилю. Придется, конечно, разыграть комедию, но с таким человеком всё можно себе позволить, и раздумывать тут особенно нечего: он свою роль сыграет чудесно и, каких бы небылиц ему ни наплели, ко всему отнесется с полным доверием. У меня и актеры и костюмы готовы, дайте мне только полную волю.

Клеонт. Но научи же меня...

Ковьель. Сейчас я вам всё растолкую. Уйдемте-ка отсюда: вон он опять.

Клеоит и Ковьель уходят.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден один.

Г-н Журден. Что за черт? То и дело колют мне глаза моим знакомством с вельможами, а для меня нет ничего на свете приятнее таких знакомых. От них один только почет и уважение. Я бы позволил отрубить себе два пальца на руке, лишь бы мне родиться графом или же маркизом.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ

Г-н Журден, лакей.

Лакей. Сударь! Там его сиятельство под руку с какой-то дамой.

Г-н Журден. Ах, боже мой! Мне нужно еще отдать кое-какие распоряжения. Скажи, что я сейчас. *(Уходит.)*

ЯВЛЕНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ

Лакей, Доримена, Дорант.

Лакей. Барин велели сказать, что сейчас выйдут.

Дорант. Очень хорошо.

Лакей уходит.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ

Доримена, Дорант.

Доримена. Не знаю, Дорант, по-моему, я все же поступила опрометчиво, что позволила вам привезти меня в незнакомый дом.

Дорант. Где же в таком случае, маркиза, моя любовь могла бы вас приветствовать, коль скоро вы во избежание огласки не желаете со мной встречаться ни у себя, ни у меня?

Доримена. Да, но вы не хотите сознаться, что я незаметно для себя привыкаю к ежедневным и слишком сильным доказательствам вашей любви ко мне. Сколько бы я ни отказывалась, в конце концов я все же сдаюсь на ваши уговоры: своею деликатною настойчивостью вы добиваетесь от меня того, что я

готова исполнить любое ваше желание. Началось с частых посещений, за ними последовали признания, признания повлекли за собой серенады и представления, а там уж пошли подарки. Я всему этому противилась, но вы неисправимы, и всякий раз вам удается сломить мое упорство. Теперь я уже ни за что не отвечаю: боюсь, что вы все же склоните меня на брак, хотя я всячески этого избегала.

Дорант. Давно пора, маркиза, уверяю вас. Вы вдова, вы ни от кого не зависите. Я тоже сам себе господин и люблю вас больше жизни. Отчего бы вам сегодня же не составить мое счастье?

Доримена. Ах, боже мой, Дорант, для того чтобы совместная жизнь была счастливой, от обеих сторон требуется слишком много! Как часто благоразумнейшим супругам не удается создать союз, который бы их удовлетворял!

Дорант. Помилуйте, маркиза, вы явно преувеличиваете трудности, а ваш собственный опыт еще ничего не доказывает.

Доримена. Как бы там ни было, я возвращаюсь к тому же. Я ввожу вас в расходы, и это меня беспокоит: во-первых, они к слишком многому меня обязывают, а во-вторых, простите за откровенность, я уверена, что они не могут вас не обременять, а мне это неприятно.

Дорант. Ах, маркиза, это сущие пустяки, вас это не должно...

Доримена. Я знаю, что говорю. Между прочим, брильянт, который вы заставили меня принять,— такая дорогая вещь...

Дорант. Маркиза, умоляю, не переоценивайте вещицы, которую моя любовь считает недостойною вас! Позвольте... Но вот и хозяин дома.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ

Те же и г-н Журден.

Г-н Журден (*сделав два поклона, оказывается на слишком близком расстоянии от Доримены*). Чуть-чуть назад, сударыня.

Доримена. Что?

Г-н Журден. Если можно, на один шаг.

Доримена. Что такое?

Г-н Журден. Отступите немного, а то я не могу сделать третий поклон.

Дорант. Господин Журден любит изысканное обхождение.

Г-н Журден. Сударыня! Это величайшая для меня радость, что я оказался таким баловнем судьбы и таким, можно сказать, счастливцем, что имею такое счастье и вы были так добры, что сделали мне милость и пожелали почтить меня почетом благосклонного своего присутствия, и если б только я был достоин удостоиться таких достоинств, каковы ваши... и небо... завидующее моему блаженству... предоставило мне... преимущество заслужить... заслужить...

Доран т. Довольно, господин Журден! Маркиза не любит длинных комплиментов. Она и так уже наслышана о необычайной остроте вашего ума. (*Доримене, тихо.*) Как видите, у этого славного мещанина забавные манеры.

Доримена (*Доранту, тихо*). Это нетрудно заметить.

Доран т. Позвольте вам представить, маркиза, лучшего моего друга...

Г-н Журден. Это для меня слишком много чести.

Доран т. ...человека вполне светского.

Доримена. Я испытываю к нему глубокое уважение.

Г-н Журден. Я еще ничего не сделал, сударыня, чтобы заслужить такую милость.

Доран т (*г-ну Журдену, тихо*). Смотрите не проговоритесь о брильянте, который вы ей подарили.

Г-н Журден (*Доранту, тихо*). Можно только спросить, как он ей понравился?

Доран т (*г-ну Журдену, тихо*). Что вы! Боже вас сохрани! Это было бы с вашей стороны неучтиво. Если желаете походить на вполне светского человека, то, наоборот, сделайте вид, будто это не вы ей подарили. (*Доримене.*) Господин Журден говорит, что он вам несказанно рад.

Доримена. Я очень тронута.

Г-н Журден (*Доранту, тихо*). Как я вам признателен, что вы замолвили за меня словечко перед маркизой!

Доран т (*г-ну Журдену, тихо*). Я еле уговорил ее поехать к вам.

Г-н Журден (*Доранту, тихо*). Не знаю, чем мне вас отблагодарить.

Доран т. Он говорит, маркиза, что вы первая в мире красавица.

Доримена. Мне это очень лестно.

Г-н Журден. Это мне, сударыня, лестно, что вы...

Доран т. А не пора ли обедать!

ЯВЛЕНИЕ ДВАДЦАТОЕ

Те же и лакей.

Лакей (*г-ну Журдену*). Все готово, сударь.

Дорант. В таком случае пойдемте к столу, пусть позовут певцов.

Балет

Шесть поваров, приготовивших парадный обед, танцуют вместе, что и составляет третью интермедию; затем они вносят уставленный блюдами стол.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-н Журден, Доримена, Дорант, трое певцов, лакеи.

Доримена. Дорант! Что я вижу! Да это же роскошный пир!

Г-н Журден. Полноте, сударыня, я бы хотел предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное.

Доримена, г-н Журден, Дорант и трое певцов садятся за стол.

Дорант. Господин Журден совершенно прав, маркиза. Я ему весьма признателен за то, что он вам оказывает столь радушный прием. Я с ним согласен, что обед недостаточно для вас великолепен. Я его заказывал сам, но в этой области я не такой тонкий знаток, как некоторые наши друзья, а потому и трапеза получилась не очень изысканная, так что вы найдете здесь прямые нарушения правил поваренного искусства и отклонения от строгого вкуса. Вот если б это взял на себя Дамис, тогда уж ни к чему нельзя было бы придраться: во всем были бы видны изящество и знание дела; он сам расхваливал бы каждое кушанье и в конце концов вынудил бы вас признать его незаурядные способности к науке чревоугодия. Он рассказал бы вам о поджаренных хлебцах со сплошной золотистой корочкой, нежно похрустывающей на зубах, о бархатистом, в меру терпком вине, о бараньей лопатке, нашпигованной петрушкой, о затылке нормандского теленка, вот этаком длинном, белом, нежном, который так и тает во рту, о дивно пахнущих куропат-

ках и, как о венце творенья, о бульоне с блестками жира, за которым следует молоденькая упитанная индейка, обложенная голубями и украшенная белыми луковками вперемежку с цикорием. А что касается меня, то я принужден сознаться в собственном невежестве и, пользуясь удачным выражением господина Журдена, хотел бы предложить вашему вниманию что-нибудь более великолепное.

Доримена. Я ем с большим аппетитом — вот как я отвечаю на ваш комплимент.

Г-н Журден. Ах, какие прелестные ручки!

Доримена. Руки обыкновенные, господин Журден, но вы, вероятно, имеете в виду брильянт,— вот он действительно очень хорош.

Г-н Журден. Что вы, сударыня, боже меня сохрани, это было бы недостойно светского человека, да к тому же сам брильянт — сущая безделица.

Доримена. Вы слишком требовательны.

Г-н Журден. А вы чересчур снисходительны.

Дорант (*делает знак г-ну Журдену; лакею*). Налейте вина господину Журдену и вот этим господам, а они будут так любезны, что споют нам застольную песню.

Доримена. Музыка — чудесная приправа к хорошему обеду. Должна заметить, что угощают меня здесь на славу.

Г-н Журден. Сударыня! Не мне...

Дорант. Господин Журден! Послушаем наших певцов: то, что они нам скажут, куда лучше всего того, что можем сказать мы.

Первый и второй певцы (*поют с бокалами в руках*).

Филида! Сделай знак мне пальчиком своим,—
Вино в твоих руках так искристо сверкает!
Твоя краса меня одушевляет,
И страстию двойной я ныне одержим.
Вино, и ты, и я — отныне быть должны мы
Навек неразделимы.
Вино в твоих устах горит живым огнем,
Твои уста вину окраску сообщают.
О, как они друг друга дополняют!
Я опьянен вдвойне — тобою и вином.
Вино, и ты, и я — отныне быть должны мы
Навек неразделимы!

Второй и третий певцы

Будем, будем пить вино,—
Время слишком быстролетно:

Надо, надо беззаботно
Брать, что в жизни суждено!
Темны́ реки́ забвенья волны:
Там нет ни страсти, ни вина,
А здесь бокалы полны,—
Так пей, так пей до дна!
Пусть разумники порой
Речи мудрые заводят,
Наша мудрость к нам приходит
Лишь с бутылкой и едой.
Богатство, знание и слава
Не избавляют от забот.
Кто пьян — имеет право
Сказать, что он живет!

Все трое вместе

Лей, мальчик, лей, полнее наливай,
Пока не перельется через край!

Доримена. Лучше спеть невозможно. Просто прекрасно!

Г-н Журден. А я вижу перед собой, сударыня, нечто более прекрасное.

Доримена. Что я слышу? Я и не думала, что господин Журден может быть так любезен.

Дорант. Помилуйте, маркиза! За кого же вы принимаете господина Журдена?

Г-н Журден. Я хочу, чтоб она меня принимала за чистую монету.

Доримена. Опять?

Дорант. Вы его еще не знаете.

Г-н Журден. Она меня узнает, как только пожелает.

Доримена. Да он неистощим!

Дорант. Господин Журден за словом в карман не лезет. Но вы даже не замечасте, маркиза, что он доедает все кусочки, до которых вы дотрагиваетесь.

Доримена. Господин Журден приводит меня в восхищение.

Г-н Журден. Вот если б я мог надеяться на похищение вашего сердца, я был бы...

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и г-жа Журден.

Г-жа Журден. Ба! Ба! Да здесь приятная компания, и, как видно, меня не ждали! Так вот почему тебе не терпелось, любезный мой супруг, спровадить меня на обед к моей сестре! Сначала представление, а потом и пир горой! Нечего сказать, нашел куда девать денежки: потчуешь в мое отсутствие дам, нанимаешь для них певцов и комедиантов, а меня — со двора долой.

Дорант. Что вы говорите, госпожа Журден? Что это у вас за фантазия? Откуда вы взяли, что ваш муж тратит деньги и что это он дает в честь дамы обед? Да будет вам известно, что обед устраиваю я, а он только предоставил для этого свой дом. Советую вам прежде подумать хорошенько, а потом уже говорить.

Г-н Журден. Вот то-то, глупая: обед устраивает его сиятельство в честь этой знатной дамы. Он оказал мне особую милость тем, что избрал для этого мой дом и пригласил и меня.

Г-жа Журден. Всё враки. Я знаю, что́ знаю.

Дорант. Наденьте, госпожа Журден, очки получше.

Г-жа Журден. Мне очки не нужны, сударь, я и так хорошо вижу. Я давно уже чую недоброе; напрасно вы думаете, что я такая дура. Стыдно вам, благородному господину, потакать дурачествам моего мужа. И вам, сударыня, такой важной даме, не к лицу и негоже вносить в семью раздор и позволять моему мужу за вами волочиться.

Доримена. Что все это значит? Послушайте, Дорант, вы издеваетесь надо мной? Заставлять меня выслушивать нелепые бредни этой вздорной женщины! *(Уходит.)*

Дорант *(бежит за Дорименой)*. Маркиза, погодите! Маркиза, куда же вы?

Г-н Журден. Сударыня!.. Ваше сиятельство! Извинитесь перед ней за меня и уговорите ее вернуться.

Певцы уходят.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Г-н Журден, лакеи, г-жа Журден.

Г-н Журден. Ах ты дура этакая, вот что ты натворила! Осрамила меня перед всем светом! Ведь это же надо: выгнать из моего дома знатных особ!

Г-жа Журден. Плевать мне на их знатность!

Г-н Журден. Вот я тебе сейчас, окаянная, разобью голову тарелкой за то, что ты расстроила наш обед!

Лакеи выносят стол.

Г-жа Журден *(уходя)*. Испугалась я тебя, как же! Я свои права защищаю, все женщины будут на моей стороне.

Г-н Журден. Счастье твое, что ты скорей от меня наутек!

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Г-н Журден один.

Г-н Журден. Вот уж не вовремя явилась! Я, как нарочно, был в ударе, блистал остроумием... А это еще что такое?

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Г-н Журден, Ковьель переодетый.

Ковьель. Не знаю, сударь, имею ли я честь быть вам знакомым.

Г-н Журден. Нет, сударь.

Ковьель *(показывает рукой на фут от полу)*. А я знал вас еще вот этаким.

Г-н Журден. Меня?

Ковьель. Да. Вы были прелестным ребенком, и все дамы брали вас на руки и целовали.

Г-н Журден. Меня? Целовали?

Ковьель. Да. Я был близким другом вашего покойного батюшки.

Г-н Журден. Моего покойного батюшки?

Ковьель. Да. Это был настоящий дворянин.

Г-н Журден. Как вы сказали?

Ковьель. Я сказал, что это был настоящий дворянин.

Г-н Журден. Кто, мой отец?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Вы его хорошо знали?

Ковьель. Ну еще бы!

Г-н Журден. И вы его знали за дворянина?

Ковьель. Разумеется.

Г-н Журден. Вот после этого и верь людям!

Ковьель. А что?

Г-н Журден. Есть же такие олухи, которые уверяют, что он был купцом!

Ковьель. Купцом? Да это явный поклеп, он никогда не был купцом. Видите ли, он был человек на редкость обходительный, на редкость услужливый, а так как он отлично разбирался в тканях, то постоянно ходил по лавкам, выбирал, какие ему нравились, приказывал отнести их к себе на дом, а потом раздавал друзьям за деньги.

Г-н Журден. Я очень рад, что с вами познакомился: вы, я думаю, не откажетесь засвидетельствовать, что мой отец был дворянин.

Ковьель. Я готов подтвердить это перед всеми.

Г-н Журден. Вы чрезвычайно меня обяжете. Чем же могу вам служить?

Ковьель. С той поры, когда я водил дружбу с покойным вашим батюшкой — как я вам уже сказал, с этим настоящим дворянином,— я успел объехать весь свет.

Г-н Журден. Весь свет?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Должно полагать, это очень далеко.

Ковьель. Конечно. Всего четыре дня, как я возвратился из длительного путешествия, и так как я принимаю близкое участие во всем, что касается вас, то почел своим долгом прийти сообщить вам в высшей степени приятную для вас новость.

Г-н Журден. Какую?

Ковьель. Известно ли вам, что сын турецкого султана находится здесь?

Г-н Журден. Нет, неизвестно.

Ковьель. Как же так! У него блестящая свита, все сбегаются на него посмотреть, его принимают у нас как чрезвычайно важное лицо.

Г-н Журден. Ей-богу, ничего не знаю.

Ковьель. Для вас тут существенно то, что он влюблен в вашу дочь.

Г-н Журден. Сын турецкого султана?

Ковьель. Да. И он метит к вам в зятья.

Г-н Журден. Ко мне в зятья? Сын турецкого султана?

Ковьель. Сын турецкого султана — к вам в зятья. Я посетил его, турецкий язык я знаю в совершенстве, мы с ним разговорились, и, между прочим, он мне сказал: «Аксям крок солер онш алла мустаф гиделум аманахем варахини уссерэ карбулат?», то есть: «Не видал ли ты молодой красивой девушки, дочери господина Журдена, парижского дворянина?»

Г-н Журден. Сын турецкого султана так про меня сказал?

Ковьель. Да. Я ответил, что знаю вас хооошо и дочку

вашу видел, а он мне на это: «Ах, марабаба сахем!» — то есть: «Ах, как я люблю ее!»

Г-н Журден. «Марабаба сахем» значит: «Ах, как я люблю ее»?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Хорошо, что вы сказали,— сам бы я ни-почем не догадался, что «марабаба сахем» значит: «Ах, как я люблю ее!» Какой изумительный язык!

Ковьель. Еще какой изумительный! Вы знаете, что значит «какаракамушен»?

Г-н Журден. «Какаракамушен»? Нет.

Ковьель. Это значит: «Душенька моя».

Г-н Журден. «Какаракамушен» значит: «Душенька моя»?

Ковьель. Да.

Г-н Журден. Чудеса! «Какаракамушен» — «душенька моя»! Кто бы мог подумать! Просто поразительно!

Ковьель. Так вот, исполняя его поручение, я довожу до вашего сведения, что он прибыл сюда просить руки вашей дочери, а чтобы будущий тесть по своему положению был достоин его, он вознамерился произвести вас в «мамамуши»* — это у них такое высокое звание.

Г-н Журден. В «мамамуши»?

Ковьель. Да. «Мамамуши» — по-нашему все равно что паладин. Паладин — это у древних... одним словом, паладин. Это самый почетный сан, какой только есть в мире,— вы станете в один ряд с наизнатнейшими вельможами.

Г-н Журден. Сын турецкого султана делает мне великую честь. Пожалуйста, проводите меня к нему: я хочу его поблагодарить.

Ковьель. Зачем? Он сам к вам приедет.

Г-н Журден. Он ко мне приедет?

Ковьель. Да, и привезет с собой всё, что нужно для церемонии вашего посвящения.

Г-н Журден. Уж больно он скор.

Ковьель. Его любовь не терпит промедления.

Г-н Журден. Меня смущает одно: моя дочь упряма, влюбилась по уши в некого Клеонта и клянется, что выйдет только за него.

Ковьель. Она передумает, как скоро увидит сына турецкого султана. Кроме того, тут есть одно необычайное совпадение: дело в том, что сын турецкого султана и Клеонт похожи друг на друга как две капли воды. Я видел этого Клеонта, мне его показали... Так что чувство, которое она питает к одному, легко может перейти на другого, и тогда... Однако я слышу шаги турка. Вот и он.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Клеонт, одетый турком; три пажа несут полы его кафтана.

Клеонт. Амбусахим оки бораф, Джиурдина, селям алейкюм.

Ковьель (*г-ну Журдену*). Это значит: «Господин Журден! Да цветет сердце ваше круглый год, будто розовый куст». Это у них все так изысканно выражаются.

Г-н Журден. Я покорнейший слуга его турецкого высочества.

Ковьель. Каригар камбото устин мораф.

Клеонт. Устин йок катамалеки басум басэ алла моран.

Ковьель. Он говорит: «Да ниспошлет вам небо силу льва и мудрость змеи».

Г-н Журден. Его турецкое высочество оказывает мне слишком большую честь, я же, со своей стороны, желаю ему всяческого благополучия.

Ковьель. Осса бинамен садок бабалли оракаф урам.

Клеонт. Ни бель мес.

Ковьель. Он говорит, чтобы вы сей же час шли с ним готовиться к церемонии, а затем отвели его к дочке на предмет заключения брачного союза.

Г-н Журден. Это он столько выразил в трех словах?

Ковьель. Да. Таков турецкий язык: всего несколько слов, а сказано много. Идите же с ним скорей!

Г-н Журден, Клеонт и три пажа уходят.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Ковьель один.

Ковьель. Ха-ха-ха! Потеха, право, потеха! Этакий дурачина! Выучи он свою роль заранее, все равно лучше бы не сыграл. Ха-ха-ха!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Ковьель, Дорант.

Ковьель. Сударь! Помогите нам, пожалуйста, в одном дельце, которое мы затеяли в этом доме.

Дорант. Ха-ха-ха! Это ты, Ковьель? Тебя просто не узнать. Как это ты так вырядился?

Ковьель. Как видите. Ха-ха-ха!

Дорант. Чего ты смеешься?

Ковьель. Уж очень забавная, сударь, история, оттого и смеюсь.

Дорант. Что же это такое?

Ковьель. Бьюсь об заклад, сударь, что вы не догадаетесь, какую ловушку приготовили мы для господина Журдена, чтобы он согласился на брак своей дочери с моим господином.

Дорант. Я не догадываюсь, какая именно это ловушка, но зато догадываюсь, что успех ей обеспечен, коль скоро за дело берешься ты.

Ковьель. Вам, конечно, сударь, известно, на какого зверя мы охотимся.

Дорант. Расскажи мне, что вы задумали.

Ковьель. Потрудитесь отойти в сторонку, а то вон уже сюда идут,— надо пропустить. Вы увидите часть комедии, остальное я вам доскажу.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Турецкая церемония

Муфтий, поющие дервиши, танцующие турки, свита муфтия.

Первый балетный выход

Шестеро турок под музыку торжественно идут парами. Они несут три ковра и, протанцевав несколько фигур, поднимают ковры над головой. Поющие турки проходят под этими коврами, а затем выстраиваются по обе стороны сцены. Муфтий с дервишами замыкают шествие. Далее турки расстилают ковры и становятся на колени, муфтий и дервиши стоят посредине. Муфтий разными ужимками и гримасами, но без слов, призывает Магомета, а в это время турки, составляющие его свиту, простираются ниц и поют «Алла», затем воздевают руки к небу и снова поют «Алла», и так до конца муфтиевой молитвы, после чего все они поднимаются с полу и поют «Алла экбер»*, а двое дервишей идут за г-ном Журденом.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и г-н Журден, одетый турком, с бритой головой, без тюрбана и без сабли.

Муфтий

(г-ну Журдену)

Когда ты знай*,
То отвечай.

Когда не знай,
Тогда молчай.
Я муфтий здесь,
А ты кто есь?
Не понимай?
Молчай, молчай!

Двое дервишей уводят г-на Журдена.

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Муфтий, дервиши, турки.

Муфтий. Сказать мне, турки, кто он иста. Анабаптиста*? Анабаптиста?

Турки. Йок*.

Муфтий. Цвинглиста?

Турки. Йок.

Муфтий. Коффиста?

Турки. Йок.

Муфтий. Гусита? Мориста? Фрониста?

Турки. Йок. Йок. Йок.

Муфтий. Йок. Йок. Йок. Язычникана?

Турки. Йок.

Муфтий. Лютерана?

Турки. Йок.

Муфтий. Пуритана?

Турки. Йок.

Муфтий. Брамина? Моффина? Зурина?

Турки. Йок. Йок. Йок.

Муфтий. Йок. Йок. Йок. Магометана? Магометана?

Турки. Эй валла!* Эй валла!

Муфтий. Как прозваньо? Как прозваньо?

Турки. Джиурдина. Джиурдина.

Муфтий (*подпрыгивая*). Джиурдина. Джиурдина.

Турки. Джиурдина. Джиурдина.

Муфтий.

Магомета господина!
Я просить за Джиурдина
Его сделать паладина,
Дать ему алебардина
И отправить Палестина
На галера бригантина

И со всеми сарацина
Воевать христианина.
Магомета господина!
Я просить за Джиурдина.

(Туркам.) Карош турка Джиурдина?

Турки. Эй валла! Эй валла!

Муфтий *(поет и пляшет)*. Ха-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да.

Турки. Ха-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да.

Муфтий и дервиши уходят.

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Турки поющие и танцующие.

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же, муфтий, дервиши, г-н Журден.

Второй балетный выход

Впереди идет муфтий; на голове у муфтия — невероятной величины парадный тюрбан, к которому в несколько рядов прикреплены зажженные свечи; за ним двое дервишей в остроконечных шапках, на которых тоже красуются зажженные свечи, несут Коран. Двое других дервишей вводят г-на Журдена и ставят его на колени так, чтобы руки касались земли, а спина служила подставкой для Корана; муфтий кладет ему на спину Коран и снова начинает, паясничая, призывать Магомета: сдвигает брови, время от времени ударяет рукой по Корану и быстро-быстро его перелистывает, затем воздевает руки к небу и восклицает: «Гу!» Во время этой второй церемонии турки, составляющие его свиту, то наклоняются, то выпрямляются и тоже восклицают: «Гу-гу-гу!»

Г-н Журден *(после того как у него со спины сняли Коран)*. Ух!

Муфтий
(г-ну Журдену)
Твой не обманос?

Турки
Нет, нет, нет.

Муфтий

Не шарлатанос?

Турки

Нет, нет, нет.

Муфтий

(туркам)

Дать ему тюрбанос!

Турки

Твой не обманос?
Нет, нет, нет.
Не шарлатанос?
Нет, нет, нет.
Дать ему тюрбанос!

Третий балетный выход

Танцующие турки под музыку надевают на г-на Журдена тюрбан.

Муфтий

(подавая г-ну Журдену саблю)

Твой — дворян. Не вру ни капля.
Вот тебе сабля.

Турки

(обнажая сабли)

Твой — дворян. Не вру ни капля.
Вот тебе сабля.

Четвертый балетный выход

Танцующие турки в такт музыке наносят г-ну Журдену удары саблями плашмя.

Муфтий

Палка, палка,
Бей — не жалка.

Турки

Палка, палка,
Бей — не жалка.

Пятый балетный выход

Танцующие турки в такт музыке бьют г-на Журдена палками.

Муфтий

Не бояться,
Не стыдиться,
Если хочешь
Посвятиться!

Турки

Не бояться,
Не стыдиться,
Если хочешь
Посвятиться!

Муфтий в третий раз начинает призывать Магомета. Дервиши почтительно поддерживают его под руки; затем турки, и поющие и танцующие, начинают прыгать вокруг муфтия и наконец удаляются вместе с ним и уводят с собой г-на Журдена.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Г-жа Журден, г-н Журден.

Г-жа Журден. Господи помилуй! Это еще что такое? На кого ты похож? Что это ты на себя напялил? Рядиться вздумал? Да говори же наконец, что все это значит? Кто это тебя таким шутом гороховым вырядил?

Г-н Журден. Вот дура! Так разговаривать с мамамуши!

Г-жа Журден. Что такое?

Г-н Журден. Да-да, теперь все должны быть со мной почтительны. Меня только что произвели в мамамуши.

Г-жа Журден. Как это понять — мамамуши?

Г-н Журден. Говорят тебе, мамамуши. Я теперь мамамуши.

Г-жа Журден. Это еще что за зверь?

Г-н Журден. Мамамуши по-нашему — паладин.

Г-жа Журден. Балдин? Балда ты и есть. Вздумал на старости лет в пляс пускаться.

Г-н Журден. Вот темнота! Это такой сан, в который меня сейчас посвятили.

Г-жа Журден. Как так — посвятили?

Г-н Журден. Магомета господина! Я молить за Джиурдина.

Г-жа Журден. Что это значит?

Г-н Журден. Джиурдина — значит Журден.

Г-жа Журден. Ну Журден, а дальше?

Г-н Журден. Его сделать паладина.

Г-жа Журден. Как?

Г-н Журден. И отправить в Палестина на галера бригантина.

Г-жа Журден. Это зачем же?

Г-н Журден. И со всеми сарацина воевать христианина.

Г-жа Журден. Да что ты несешь?

Г-н Журден. Палка, палка, бей — не жалка.

Г-жа Журден. Что за тарабарщина!

Г-н Журден. Не бояться, не стыдиться, если хочешь посвятиться.

Г-жа Журден. Да что же это такое?

Г-н Журден (*приплясывает и поет*). У-ла-ба, ба-ла-шу, ба-ла-ба, ба-ла-да. (*Падает.*)

Г-жа Журден. Боже милосердный! Мой муж совсем с ума сошел.

Г-н Журден (*встает и направляется к выходу*). Перестань, грубиянка! Относись с уважением к господину мамамуши. (*Уходит.*)

Г-жа Журден (*одна*). Когда же это он успел рехнуться? Скорей за ним, а то еще убежит из дому! (*Увидев Доримену и Доранта.*) А-а, вас здесь только не хватало! Час от часу не легче. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Дорант, Доримена.

Дорант. Да, маркиза, вас ожидает презабавное зрелище. Могу ручаться, что такого сумасброда, каков наш Журден, вы нигде не найдете. Затем наш долг — принять участие в сердечных делах Клеонта и поддержать его затею с маскарадом. Он премилый человек, ему стоит помочь.

Доримена. Я о нем очень высокого мнения. Он вполне достоин счастья.

Дорант. Помимо всего этого, нам не следует пропускать балет, который, собственно говоря, для нас же и устраивается. Посмотрим, насколько удачен мой замысел.

Доримена. Я заметила здесь грандиозные приготовления. Вот что, Дорант: больше я этого не потерплю. Да-да, я хочу положить конец вашей расточительности: чтобы вы больше на меня не тратились, я решила выйти за вас замуж не откладывая. Это единственное средство: со свадьбой все эти безумства обычно кончаются.

Дорант. Неужели вы и правда намерены принять столь отрадное для меня решение?

Доримена. Это только для того, чтобы вы не разорились, иначе, я убеждена, недалек тот час, когда вы останетесь без гроша.

Дорант. О, как я признателен вам за ваши заботы о моем состоянии! Оно всецело принадлежит вам, так же точно, как и мое сердце; распоряжайтесь ими по своему благоусмотрению.

Доримена. Я сумею распорядиться и тем и другим. Но вот и наш чудак. Вид у него обворожительный!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и г-н Журден.

Дорант. Милостивый государь! Мы с маркизой явились поздравить вас с новым званием и разделить вашу радость по поводу предстоящего бракосочетания вашей дочери с сыном турецкого султана.

Г-н Журден (*кланяется им по-турецки*). Желаю вам, ваше сиятельство, силу змеи и мудрость льва.

Доримена. Я имею счастье, сударь, одною из первых приветствовать вас по случаю того, что вы взошли на высшую ступень славы.

Г-н Журден. Желаю вам, сударыня, чтоб ваш розовый куст цвел круглый год. Я вам бесконечно благодарен за то, что вы пришли меня чествовать, и весьма рад, что вы снова здесь и что я могу принести вам искренние извинения за дикую выходку моей жены.

Доримена. Пустое! Я охотно прощаю ей этот невольный порыв. Вы ей, разумеется, дороги, и нет ничего удивительного, что, обладая таким сокровищем, она испытывает некоторые опасения.

Г-н Журден. Все права на обладание моим сердцем принадлежат вам.

Дорант. Вы видите, маркиза, что господин Журден не из тех людей, которых ослепляет благополучие: он и в счастье не забывает своих друзей.

Доримена. Это признак души истинно благородной.

Дорант. А где же его турецкое высочество? Мы хотели бы в качестве ваших друзей засвидетельствовать ему свое почтение.

Г-н Журден. Вот он идет. Я уж послал за дочерью, чтоб она отдала ему руку и сердце.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Клеонт, одетый турком.

Дорант *(Клеонту)*. Ваше высочество! В качестве друзей вашего почтенного тестя мы явились засвидетельствовать вам глубочайшее наше уважение и всепокорнейше принести уверения в совершенной нашей преданности.

Г-н Журден. Где же это толмач? Он бы вас ему представил и растолковал, что вы хотите сказать. Вот увидите, он вам непременно ответит: он прекрасно говорит по-турецки. Эй! Эй! Куда же это его унесло? *(Клеонту.)* Струф, стриф, строф, страф. Этот каспатин балшой велмош, балшой велмош, а эта каспаша — ух какой снатна тама, ух какой снатна тама! *(Видя, что тот ничего не понимает.)* Ага! *(Указывает на Доранта.)* Он — французский мамамуши, она — французская мамамушиня. Яснее выразиться не могу. Вот, слава богу, и переводчик.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и переодетый Ковьель.

Г-н Журден. Где же вы? Мы без вас как без рук. *(Указывая на Клеонта.)* Скажите ему, пожалуйста, что этот господин и эта дама — особы из высшего общества и что они в качестве моих друзей явились засвидетельствовать ему свое почтение и принести уверения в преданности. *(Доримене и Доранту.)* Послушайте, что он ответит.

Ковьель. Алабала кросьям якши борам алабамен.

Клеонт. Каталеки тубал урин сотер амалушан.

Г-н Журден *(Доранту и Доримене)*. Слышите?

Ковьель. Он желает, чтобы дождь благоденствия во всякое время орошал вертоград вашего семейства.

Г-н Журден. Я вам не зря сказал, что он говорит по-турецки.

Дорант. Поразительно!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Люсиль.

Г-н Журден. Иди сюда, дочь моя, подойди поближе и дай руку этому господину — он делает тебе честь, что сватается за тебя.

Люсиль. Что с вами, батюшка? Что вы с собой сделали? Или вы комедию играете?

Г-н Журден. Нет-нет, это вовсе не комедия, это дело очень даже серьезное и такое для тебя почетное, что лучше не придумаешь. *(Указывая на Клеонта.)* Вот кого я даю тебе в мужья.

Люсиль. Мне, батюшка?

Г-н Журден. Ну да, тебе. Скорей подай ему руку и благодари бога за такое счастье.

Люсиль. Я не желаю выходить замуж.

Г-н Журден. А я, твой отец, этого желаю.

Люсиль. Ни за что.

Г-н Журден. Без всяких разговоров! Поживей, тебе говорят! Ну, давай же руку!

Люсиль. Нет, батюшка, я уже вам сказала, что нет такой силы, которая принудила бы меня выйти замуж за кого-нибудь, кроме Клеонта. Я скорей решусь на любую крайность, чем... *(Узнает Клеонта.)* Конечно, вы — мой отец, я должна вам беспрекословно повиноваться, устраивайте мою судьбу, как вам будет угодно.

Г-н Журден. Ах, как я рад, что сознание долга так скоро к тебе вернулось! Хорошо иметь послушную дочь!

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же и г-жа Журден.

Г-жа Журден. Это что такое? Что это еще за новости? Говорят, ты собрался выдать свою дочь за какого-то шута?

Г-н Журден. Да замолчишь ли ты, нахалка? Надоели мне твои дикие выходки! Ничем тебя не вразумишь!

Г-жа Журден. Это тебя никакими силами не приведешь в разум: так и жди какого-нибудь нового сумасбродства. Что это ты задумал, и к чему это сборище?

Г-н Журден. Я хочу выдать нашу дочь за сына турецкого султана.

Г-жа Журден. За сына турецкого султана?

Г-н Журден. Да. *(Указывает на Ковьеля.)* Засвидетельствуй ему свое почтение вот через этого толмача.

Г-жа Журден. Не нужно мне никакого толмача, я сама скажу ему прямо в глаза, что дочки моей ему не видать.

Г-н Журден. Да замолчишь ли ты наконец?

Дорант. Помилуйте, госпожа Журден, неужели вы отказываетесь от такой чести? Вы не хотите, чтобы вашим зятем был его турецкое высочество?

Г-жа Журден. Ради бога, сударь, не вмешивайтесь вы в чужие дела.

Доримена. Таким великим счастьем пренебрегать не следует.

Г-жа Журден. И вас, сударыня, я тоже попрошу не лезть куда не спрашивают.

Дорант. Мы о вас же заботимся, единственно из дружеского к вам расположения.

Г-жа Журден. Не нуждаюсь я в вашем дружеском расположении.

Дорант. Но ведь и ваша дочь согласна подчиниться воле родителя.

Г-жа Журден. Моя дочь согласна выйти за турка?

Дорант. Вне всякого сомнения.

Г-жа Журден. Она может забыть Клеонта?

Дорант. Чем только не поступаются ради того, чтобы именоваться знатной дамой!

Г-жа Журден. Если она выкинула такую штуку, я ее своими руками задушу.

Г-н Журден. Ну, поехала! Я тебе говорю, что свадьба состоится.

Г-жа Журден. А я тебе говорю, что не состоится.

Г-н Журден. Довольно разговоров!

Люсиль. Матушка!

Г-жа Журден. А, да ну тебя, скверная девчонка!

Г-н Журден *(жене)*. Ты что же это, бранишь ее за повиновение отцу?

Г-жа Журден. Да. Она столько же моя дочь, сколько и твоя.

Ковьель *(г-же Журден)*. Сударыня!

Г-жа Журден. А вы-то что собираетесь мне сказать?

Ковьель. Только одно слово.

Г-жа Журден. Очень мне нужно ваше слово!

Ковьель *(г-ну Журдену)*. Сударь! Если только ваша супруга захочет поговорить со мной наедине, то я вам ручаюсь, что она изъявит свое согласие.

Г-жа Журден. Ни за что не соглашусь.

Ковьель. Да вы только выслушайте меня!

Г-жа Журден. Не выслушаю.

Г-н Журден *(жене)*. Выслушай его.

Г-жа Журден. Не желаю я его слушать.

Г-н Журден. Он тебе растолкует...

Г-жа Журден. Не желаю я, чтоб он мне растолковывал.

Г-н Журден. До чего же все женщины упрямы! Что, тебя от этого убудет, что ли?

Ковьель. Вам надо только выслушать меня, а дальше поступайте как вам заблагорассудится.

Г-жа Журден. Ну, что у вас такое?

Ковьель *(г-же Журден, тихо)*. Битый час, сударыня, мы делаем вам знаки. Неужели вы не видите, что всё это мы затеяли только для того, чтобы подделаться под господина Журдена с его вечными причудами? Мы дурачим его этим маскарадом: ведь сын турецкого султана — не кто иной, как сам Клеонт.

Г-жа Журден *(Ковьелю, тихо)*. Ах вот в чем дело!

Ковьель *(г-же Журден, тихо)*. А я, Ковьель, при нем переводчиком.

Г-жа Журден *(Ковьелю, тихо)*. Ну, коли так, то я сдаюсь.

Ковьель *(г-же Журден, тихо)*. Только не подавайте виду.

Г-жа Журден *(громко)*. Да. Все уладилось. Я согласна на брак.

Г-н Журден. Ну, вот все и образумились! *(Жене.)* А ты еще не хотела его выслушать! Я был уверен, что он сумеет тебе объяснить, что значит сын турецкого султана.

Г-жа Журден. Он мне всё толком объяснил, и теперь я довольна. Надо послать за нотариусом.

Дорант. Похвальное намерение. А чтобы вы, госпожа Журден, могли быть совершенно спокойны и с нынешнего дня перестали ревновать почтенного вашего супруга, я вам объявляю, что мы с маркизой воспользуемся услугами того же самого нотариуса и заключим брачный союз.

Г-жа Журден. Я и на это согласна.

Г-н Журден *(Доранту, тихо)*. Это вы для отвода глаз?

Дорант *(г-ну Журдену, тихо)*. Пусть себе тешится этой басней.

Г-н Журден (*тихо*). Отлично, отлично! (*Громко.*) Пошлите за нотариусом!

Доран т. А пока он придет и составит брачные договоры, давайте посмотрим балет — это послужит развлечением и для его турецкого высочества.

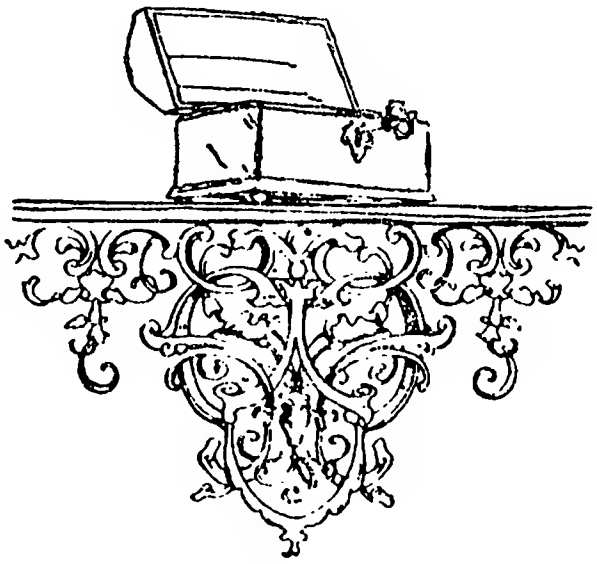
Г-н Журден. Прекрасная мысль. Пойдемте занимать места.

Г-жа Журден. А как же Николь?

Г-н Журден. Николь я отдаю толмачу, а мою супругу — кому угодно.

Ковьель. Благодарю вас, сударь. (*В сторону.*) Ну уж другого такого сумасброда на всем свете не сыщешь!

Комедия заканчивается балетом.



Комментарии

МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС САВЕДРА

ДОН КИХОТ

В России знакомство с романом Сервантеса началось в XVIII веке, тогда же появились первые переводы, сделанные не с языка оригинала, а с французского. До 1838 года было сделано около двадцати таких переводов, среди которых перевод В. Жуковского (1815). В 1838 году был опубликован первый перевод «Дон Кихота» с испанского, выполненный К. Массальским. В советское время, в 1929—1932 годах, в издательстве «Academia» вышел в свет двухтомный перевод романа под редакцией Б. Кржевского и А. Смирнова, снабженный обширными комментариями. В 1951 году появился новый перевод Н. Любимова, выполненный по лучшему научному испанскому изданию «Дон Кихота». В 1952 году в издательстве «Детская литература» впервые вышел сокращенный перевод романа, сделанный Н. Любимовым. В настоящем издании публикуется этот перевод.

Стр. 23

В некоем селе ламанчском...— Первая фраза напоминает зачины испанских народных песен-романсов, пользовавшихся в XV—XVI веках огромной популярностью во всех слоях общества. Существовали целые циклы романсов: исторические, лирические, рыцарские. Эти последние часто цитирует Дон Кихот. Ламанча — равнинная область в Новой Кастилии. В Новой Кастилии находились обе столицы Испании: старая — Толедо и новая (с 1560 г.) — Мадрид.

Идальго — в XVI—XVII веках обширный класс мелкопоместных дворян.

О л ь я — испанское национальное блюдо из мяса и овощей.

Стр. 24

К и х а д а — по-испански «челюсть»; к е с а д а — «пирог с сыром».

Ф е л и с ь я н о д е С и л ь в а (1492?—1558?) — автор широко распространенных, но посредственных рыцарских романов, которого Сервантес высмеивает и пародирует.

К а в а л ь е р о — титул среднего дворянства.

...с а м А р и с т о т е л ь... н е р а с п у т а л б ы и х...— Древнегреческий философ IV в. до н. э. Аристотель оставался до нового времени непререкаемым авторитетом в области логики, грамматики и других наук.

Д о н Б е л ь я н и с — герой рыцарского романа Иеронимо Фернандеса «История Бельяниса Греческого» (1556).

Стр. 25

...п о л у ч и в ш и м у ч е н у ю с т е п е н ь в С и г у э н с е...— Университет в городе Сигуэнсе был одним из самых захудалых в Испании.

П а л ь м е р и н А н г л и й с к и й и л и А м а д и с Г а л л ь с к и й.— Об Амадисе Галльском см. вступительную статью Б. И. Пуришева; Пальмерин Английский — герой рыцарского романа «Могучий рыцарь Пальмерин Английский» (1547), внук Пальмерина Оливского (см. о нем также вступительную статью).

М а э с е — мастер.

Р ы ц а р ь Ф е б а, или Рыцарь Пламенного Меча,— прозвища Амадиса Греческого, героя одноименного романа Ф. де Сильвы (1530).

С и д Р у й Д и а с — Родриго (сокращенно— Руй) Диас де Вивар (1043—1099) — испанский национальный герой времен Реконкисты (освобождения захваченных маврами, то есть арабами, земель, которое длилось с VIII по XV век). Прозвище С и д — измененное на испанский лад арабское слово «господин». Сид стал героем эпических поэм XII—XIV веков, а позднее и романсов.

...Б е р н а р д о д е л ь К а р п ь о... п р и б е г н у в к х и т р о с т и Г е р к у л е с а, з а д у ш и в ш е г о... А н т е я, у м е р т в и л в Р о н с е в а л ь с к о м у щ е л ь е о ч а р о в а н н о г о Р о л а н д а.— Б е р н а р д о

дель Карпьо — герой испанского эпоса, цикла романсов и многочисленных поэм испанских авторов XVI века. Роланд — герой французских средневековых сказаний, поэмы «Песнь о Роланде» (XII век). В XV—XVI веках Роланд сделался героем поэм итальянских поэтов Пульчи, Боярдо, Ариосто. В «Неистовом Роланде» Ариосто (1532), одной из любимых книг Дон Кихота, с иронией повествуется о фантастических приключениях и любовном безумии легендарного рыцаря.

Битва в Ронсевальском ущелье произошла в 778 г. Войска франкского короля Карла Великого подверглись там нападению пиренейских горцев-басков и арабов и потерпели поражение. В «Песни о Роланде» противниками Карла и Роланда выступают только арабы. Испанские же легенды приписывают победу над Роландом Бернардо дель Карпьо.

Сервантес сравнивает Бернардо дель Карпьо с героем греческой мифологии Геркулесом (Гераклом), одолевшим великана Антея, сына богини земли Геи, который был непобедим, пока касался ногами матери-земли. Геракл приподнял его на воздух и задушил.

Моргант — герой комической поэмы Пульчи «Моргант-великан» (1483), обращенный Роландом из язычества в христианство.

Трапезундское царство существовало на южном побережье Черного моря в XIII—XV веках, упоминается в рыцарских романах.

Стр. 26

Шишак — шлем с острием.

Буцефал — конь Александра Македонского.

Бабьека — конь Сида.

Росинант.— Дон Кихот составил это имя из двух испанских слов: «rocin» — кляча и «antes» — впереди, раньше.

Стр. 27

Сеньора — госпожа.

Дульсинея — от испанского слова «dulce» — сладостная, нежная.

Стр. 28

Феб — Аполлон, солнечное божество у древних греков.

Аврора — богиня зари.

Стр. 30

...все эти разнородные предметы...— В доспехах и вооружении Дон Кихота были смешаны элементы двух видов снаряжения: тяжелого и легкого.

...мой наряд — мои доспехи, в лютой битве — мой покой...— строки из старинного испанского романса.

...ложе вашей милости — твердый камень, бденье до зари — ваш сон.— Хозяин переделывает таким образом следующие строки того же романса.

Стр. 31

Был неслыханно радушен...— Дон Кихот читает романс о Ланцелоте, герое бретонских сказаний о короле Артуре и его рыцарях, подставляя вместо его имени свое.

Стр. 32

Реал — основная денежная единица в Испании.

Стр. 37

...прибавить к своей фамилии донья...— Дон, донья — во времена Сервантеса титул высшего дворянства.

Стр. 41

Мурсия — область на юго-востоке Испании, где производились шелковые ткани.

Стр. 42

Гуадаррама — горная цепь в Кастилии.

Стр. 43

...что произошло между Балдуином и маркизом Мантуанским...— Одна из легенд о рыцарях Карла Великого, перешедшая в испанские романсы, рассказывает о том, как маркиз Мантуанский нашел в лесу своего племянника Балдуина, смертельно раненного сыном Карла, Карлотто, и дал обет не расчесывать бороды и не расставаться с оружием, пока не отомстит убийце.

Стр. 44

Магомет — мусульманский пророк, основатель религии, которому приписываются чудесные деяния.

Стр. 45

...антекерский алькайд Родриго де Нарваэс взял в плен мавра Абиндарраэса...— Родриго де Нарваэс — алькайд (комендант) отвоеванного у мавров г. Антекеры (нач. XV в.). В пасторальном романе Хорхе де Монтемайора «Диана» (1559) рассказана история о том, как он отпустил пленного мавра Абиндарраэса из знатного рода Абенсеррагов, тронутый его любовью к прекрасной Харифе.

Двенадцать Пэров Франции — то есть двенадцать рыцарей-паладинов Карла Великого, следовавших непосредственно за ним на феодально-иерархической лестнице.

Девятью Мужами Славы считались три иудейских героя: Иисус Навин, Давид, Иуда Маккавей; три языческих: Александр Македонский, Гектор, Юлий Цезарь, и три христианских: король Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский.

Стр. 46

Лиценциат — ученая степень, присваиваемая в испанских университетах.

Варавва — упоминаемый в Евангелии разбойник, которого иерусалимские первосвященники и народ предпочли помиловать вместо Христа.

Алкиф — волшебник из романа «Амадис Галльский».

Аутодафе — сожжение на костре еретиков или еретических книг по приговору инквизиции.

Стр. 47

Ургында — волшебница, покровительница Амадиса.

Стр. 48

«Подвиги Эспландиана» — рыцарский роман Ордоньеса де Монтальво (1521), который он прибавил к им же опубликованным первым четырем частям «Амадиса Галльского». Эспландиан — сын Амадиса.

Дон Оливант Лаврский — герой рыцарского романа Антоньо де Торквемады «История непобедимого рыцаря дона Оливанта Лаврского, принца Македонии» (1564).

Стр. 49

«Галатея» Мигеля де Сервантеса.— Этот пасторальный роман Сервантеса вышел в 1585 г., автор обещал читателям продолжение, которое, однако, никогда не было написано.

Архиепископ Турпин — герой средневековых легенд, участник Ронсевальской битвы. Он считался автором латинской «Хроники Турпина» (XI в.), в которой рассказывается о деяниях Карла Великого.

Ринальд Монтальванский — один из двенадцати пэров Франции, персонаж «Неистового Роланда» Ариосто.

Стр. 50

Фрестон — волшебник из романа «Дон Бельянис Греческий».

Стр. 54

Бриарей — мифический сторукий великан.

Стр. 55

Дьего Перес де Варгас — герой Реконкисты (XIII в.), воспетый в народных романсах.

Стр. 56

Цикорная вода — слабое снотворное средство.

Стр. 57

...в дорожных очках...— то есть в масках, предохранявших путников от солнечных лучей и пыли.

Стр. 58

Бискаец.— Жители провинции Бискайя в испанских Пиренеях говорили на баскском языке, отличающемся от испанского, нормой которого признавалось кастильское наречие.

Стр. 61

...укрыться... в церкви. — Церковь обладала правом убежища; укрывшиеся в храме преступники не подлежали светскому суду.

Святое братство — во времена Сервантеса объединение вооруженных отрядов для борьбы с бандитизмом в сельской местности.

Стр. 62

...из рук халдеев...— Халдеи — вавилоняне, упоминаются в Библии как грозные враги иудеев.

...сосуд с бальзамом Фьерабраса...— по средневековой легенде, чудодейственный бальзам, который охранял сын египетского эмира Фьерабрас. Отвоевание этого бальзама — одно из деяний Карла Великого и его паладинов.

Стр. 63

Асумбра — мера жидкости, около двух литров.

...со шлемом Мамбрина...— Мамбрин — мавританский царь из «Неистового Роланда», обладатель золотого шлема, делавшего его владельца неуязвимым.

Сакрипант — персонаж Ариосто.

Стр. 64

Собрадиса — фантастическое государство, упоминаемое в «Амадисе Галльском».

Стр. 66

...кто себя унижает, того господь возвысит.— Дон Кихот цитирует Евангелие от Матфея.

Стр. 67

Тирский пурпур.— Древний финикийский город Тир славился роскошными пурпуровыми тканями.

Стр. 68

...звуки равеля...— Равель — музыкальный инструмент типа скрипки.

Стр. 69

...с бесчеловечными янгуасцами — то есть обитателями села Янгуас в провинции Сеговия.

Стр. 73

...Силен, воспитатель... бога смеха, въехал в Стовратный город, сидя верхом на... осле...— Воспитатель бога вина и веселья Вакха-Диониса Силен следовал в его свите верхом на осле. Сервантес путает греческие Семивратные Фивы (на родине Вакха, в Беотии) с египетскими Стовратными.

Стр. 80

...из кордовского Потро... с севильской Ярмарки...— Потро и Ярмарка — предместья андалузских городов Кордовы и Севильи.

Стр. 81

...с Рыцарем Круглого Стола.— Так именовались рыцари короля Артура, восседавшие за круглым столом, за которым не было лучших и худших мест.

Стр. 83

...острова Трапобаны...— Вместо Тапробаны древнее название острова Цейлон.

Стр. 84

Гараманты — сказочный африканский народ, упоминаемый древними авторами.

повелитель трех Аравий...— Древние географы делили Аравийский полуостров на пустынную, счастливую и каменистую Аравию.

Самсон.— Силач Самсон библейский герой, был хитростью захвачен в плен врагами филистимлянами, ослеплен и выставлен в храме на посмеяние. Но Самсон вырвал столбы, поддерживавшие своды, храм рухнул, и под его развалинами погиб сам Самсон и три тысячи филистимлян.

Стр. 85

Пактол — золотоносная река в древней Лидии (Малая Азия).

Нумидийцы, парфяне, мидяне — древние народы, населявшие Африку и Азию.

Бетис — древнее название испанской реки Гвадалквивир.

Тахо, Хениль — реки в Испании.

Тартесийские долины. Тартесия — древнее название Андалузии.

на Елисейских полях Хереса... Елисейские поля — у греков счастливая страна на краю земли, где обитают души умерших героев; в переносном смысле — блаженный край. Херес — здесь: река на юге Испании.

...потомки древних готов...— Готы (точнее — вестготы) населяли Пиренейский полуостров в V—VIII вв., до арабского нашествия.

Писуэрга — река в Испании.

Гуадиана — испанская река, воды которой несколько раз уходят под землю и снова выходят на поверхность.

Стр. 89

...не хуже... доктора Парижского университета...— то есть Сорбонны, одного из крупнейших центров богословия в средневековой Европе.

Стр. 91

...до двадцати всадников в балахонах... шесть всадников в длинном траурном одеянии...— обычный порядок похоронного шествия: впереди духовные лица в белом, позади родственники и друзья покойного в трауре.

Стр. 93

...меня рукоположили — то есть посвятили в церковный сан.
Бакалавр — самая низшая ученая степень.

Стр. 95

...Сид Руй Диас сломал стул королевского посланника...— В одном испанском романсе рассказывается о том, как Сид, войдя в собор Святого Петра в Риме, увидел, что трон французского короля стоит наравне с престолом папы, а трон испанского монарха — ступенью ниже. В гневе он разбил французский трон и поставил на его место испанский. За это папа отлучил его от церкви, но Сид пригрозил ему и получил отпущение.

Стр. 97

...затмить Платиров, Таблантов, Оливантов, Тирантов, Фебов, Бельянисов...— Дон Кихот перечисляет героев рыцарских романов.

Стр. 105

.не уступит шлему, сработанному... богом кузнечного ремесла для бога сражений...— Бог кузнечного ремесла— Вулкан, бог сражений — Марс.

Стр. 106

...греки, мстившие за похищение Елены.— Похищение Елены Прекрасной, жены греческого царя Менелая, сыном царя Трои Парисом, по мифу, послужило поводом к Троянской войне, в результате которой Троя была разрушена.

Стр. 108

Дуэнья — обычно немолодая женщина дворянского происхождения, приставленная к девице знатного рода для услуг.

Стр. 112

Гранд — титул высшего испанского дворянства.

Стр. 113

...их угоняют на галеры.— Преступники, осужденные на каторжные работы, использовались в качестве гребцов на старинных судах — галерах, где их держали прикованными к бортам.

Стр. 116

«Ласарильо с берегов Тормеса» — чрезвычайно популярный в Испании плутовской роман неизвестного автора (1554), рассказывающий историю бедствий и приключений пройдохи-слуги Ласарильо.

Стр. 120

Сьерра Морена — горная цепь, отделяющая Ламанчу от долины реки Гвадалквивир.

...в ушах гудит от его стрел.— Санчо намекает на казнь, которой Святое братство подвергало преступников: их привязывали к столбу и расстреливали из лука.

Стр. 121

Двенадцать колен израилевых — двенадцать еврейских племен, потомков двенадцати сыновей ветхозаветного патриарха Иакова, нареченного Израилем.

Семерых братьев Маккавеев.— В Библии упоминаются пять братьев Маккавеев, иудейских военачальников и царей.

Кастор и Поллукс — неразлучные братья, герои греческой мифологии.

Стр. 122

Мараведи — старинная испанская мелкая монета.

...подушку и привязанный к ней чемодан...— Эти вещи принадлежали герою опущенной в сокращенном издании вставной новеллы.

Стр. 124

...подражает Одиссею...— Легендарный Одиссей, царь острова Итаки, воспетый в поэме Гомера, возвращаясь из-под Трои, претерпел многие бедствия и достиг дома через десять лет.

...Вергилий в лице Энея...— Герой поэмы римского поэта Вергилия (I в. до н. э.) «Энеида», искусный полководец Эней, вынес на руках из разрушенной Трои своего дряхлого отца Анхиза.

Стр. 125

...Амадис... отвергнутый... Орианой... удалился на Бедную Стремнину...— Так назывался уединенный островок, на который удалился Амадис, удрученный охлаждением возлюбленной принцессы Орианы.

Стр. 127

Напеи, дриады, сатиры — божества лесов и полей.

Тот, кто сам лишается свободы, дарует ее тебе, о конь...— Дон Кихот повторяет слова и жесты обезумевшего от несчастной любви Роланда (IV песнь «Неистового Роланда» Ариосто).

Стр. 130

...барру она мечет...— Метание железного бруска — барры — популярная народная игра.

Стр. 131

Лукреция — римлянка, славившаяся красотой и добродетелью.

Стр. 134

...словно по Тезеевой нити в лабиринте...— Герой греческих мифов Тезей дил чудовище — Минотавра в лабиринте на острове Крит. Дочь критского царя Ариадна дала ему клубок ниток, чтобы отмечать путь и не заблудиться в лабиринте.

...подражать буйному помешательству Роланда...— Узнав об измене любимой им Анжелики, Роланд помутился в рассудке и впал в неистовство.

Стр. 135

Фавны и сильваны — лесные божества.

Стр. 140

...времен короля Вамбы.— Вамба — готский король VII в.; поговорка «во времена Вамбы» соответствует русской «при царе Горохе».

Стр. 147

Погрузить их на корабли, привезти в Испанию, продать...— В XVI—XVII веках испанцы вывозили из Африки множество негров-рабов.

Стр. 149

Картахена — испанский порт на Средиземном море.

Меотийское озеро — старинное название Азовского моря.

Песо — монета, равная восьми серебряным реалам.

Стр. 158

...поцеловала ли она его? Возложила ли себе на главу? — Таков старинный восточный обычай, усвоенный испанцами, для выражения почтения к священной книге, посланию монарха и т. п.

Стр. 161

...за одну беду... семь ответов бывает.— На протяжении всей книги Санчо Панса самым забавным образом путает и перевирает пословицы, придавая им часто противоположный смысл.

Стр. 166

«Дон Сиронхил Фракийский» — роман «Отважный рыцарь дон Сиронхил Фракийский» Бернардо Варгаса (1545).

«Фелисмарт Гирканский» — роман Мельчора Ортеги «Первая часть великой истории о преславном и могучем рыцаре Фелисмарте Гирканском» (1556).

История великого полководца Гонсало Фернандеса Кордовского с приложением жизнеописания Дьего Гарсии де Паредес» — книга, содержащая биографию испанского полководца Гонсало Фернандеса Кордовского (1453—1515) и автобиографию его сподвижника Дьего Гарсии де Паредес (1466—1530), вышла в 1559 г.

Схизматические — то есть еретические, от «схизма» — «раскол».

Стр. 172

Арроба — мера жидкости, 25 литров.

Стр. 176

«Слава в вышних богу, и на земле мир, в человецех благоволение» — так, по Евангелию от Луки, пели ангелы в ночь рождества Христова.

«Мир дому сему» — этими словами, по Евангелию от Матфея, Иисус Христос учил апостолов приветствовать дом, входя в него.

Стр. 177

...Сциллы и Харибды пройдены...— В греческой мифологии Сциллой и Харибдой звались чудовища, подстерегавшие мореплавателей с двух сторон узкого пролива; в переносном смысле так говорят о большой опасности.

Стр. 178

Колет — военный мундир особого покроя.

Стр. 179

...Нептуновы подводные владения...— Нептун — бог морей у римлян.

Стр. 183

Эскудо — старинная золотая или серебряная монета.

Стр. 186

...в междоусобицу, возникшую в стане Аграманта...— В XXVII песни «Неистового Роланда» рассказывается о том, как, по просьбе Карла Великого, архангел Михаил вызвал распри в стане осаждавшего Париж мавританского царя Аграманта.

Стр. 188

Юрисдикция — право суда; подсудность.

Стр. 189

...тишина и спокойствие времен Октавиановых...— Имеется в виду римский император Октавиан Август (I в. до н. э.), с приходом которого к власти утихли гражданские войны.

Стр. 197

Каноник — член капитула, церковной организации, управляющей делами епархии.

Стр. 200

...на земле пресвитера Иоанна Индийского...— Пресвитер (священник) Иоанн — по средневековой легенде, владыка христианского царства на Востоке.

Птолемей — греческий географ и астроном II в.

Марко Поло — знаменитый итальянский путешественник конца XIII — начала XIV века.

Стр. 202

Ахилл — герой «Илиады» Гомера, лучший воин греков.

Гектор — троянский герой, убитый Ахиллом.

Синон — грек, коварно убедивший троянцев ввести в город деревянного коня, внутри которого были спрятаны греческие воины; это привело к падению Трои.

Эвриал и Нис — герои «Энеиды» Вергилия, верные друзья.

Траян — римский император II века.

Зопир — приближенный персидского царя Дария (VI в. до н. э.). После неудачной попытки Дария взять Вавилон Зопир искалечил себя, проник под видом перебежчика в Вавилон, стал вавилонским военачальником и открыл ворота войскам Дария.

Катон Марк Порций — римский государственный деятель III—II веков до н. э., защитник строгой нравственности. В средние века ему ошибочно приписывали сборник моральных изречений.

Стр. 206

Мантибльский мост — упоминается в сказаниях о Карле Великом.

Стр. 207

...поиски священного Грааля...— одна из тем романов о рыцарях Круглого Стола — поиски чудодейственной чаши с Христовой кровью, Грааля.

...любовь Тристана и королевы Изольды...— Тристан и Изольда — герои средневековой легенды, вошедшей в круг артуровских сказаний.

...Джиневры и Ланцелота.— Любовь Ланцелота и жены Артура королевы Джиневры — один из центральных сюжетов артуровского цикла.

Стр. 217

Ликург — законодатель древней Спарты (IX в. до н. э.).

Солон — афинский законодатель VI в. до н. э.

...султан турецкий с огромным флотом вышел в море...— В XVI веке турецкая Османская империя была постоянной угрозой для Европы. В 1571 г. испано-венецианский флот нанес поражение турецкому флоту в заливе Лепанто. В этой битве участвовал Сервантес.

...укрепить берега Неаполя, Сицилии и острова Мальты.— В то время Неаполь, Сицилия и Мальта были испанскими владениями.

Стр. 219

Капеллан — католический священник.

...распоряжение исходило от архиепископа...— Больницы, приюты и прочие благотворительные заведения находились в ведении церкви.

Стр. 222

Лисуарт Греческий — герой «Седьмой книги Амадиса, повествующей о великих ратных подвигах Лисуарта Греческого, сына Эспландиана» (1514), внук Амадиса. Автор романа, предположительно, Ф. де Сильва.

Родамонт — бравый воин, персонаж «Неистового Роланда».

Король Собрин — тоже персонаж Ариосто.

Стр. 223

Филистимлянин Голиаф — библейский персонаж, великан, убитый юным пастухом Давидом, будущим царем иудейским.

Стр. 224

Алькальд — судья; представитель центральной власти в городах.

Стр. 227

...учился в Саламанке...— В городе Саламанке находился крупнейший испанский университет.

Стр. 228

...отпечатана в количестве более двенадцати тысяч книг.— Первая часть «Дон Кихота» вышла в 1605 г. в Мадриде, в том же году она дважды переиздавалась в Испании, а в ближайшие три года была издана также в Милане, Брюсселе и Лиссабоне.

Стр. 236

Фижмы — старинные женские юбки на каркасе из китового уса.

Стр. 239

...как поделить между собой солнечный свет...— то есть так поставить сражающихся, чтобы свет не бил в глаза ни одному из них.

Стр. 240

Санбенито — желтая рубаха с красным крестом, которую надевали те, кому инквизицией было предписано покаяние в грехах.

Стр. 241

...кастильского стихотворца...— Имеется в виду испанский поэт Гарсиласо де ла Вега (1503—1536), высоко ценимый Сервантесом. Дон Кихот приводит строки из его 1-й элегии.

Стр. 248

...дабы он... возрадовался неудачам, удачам же... опечалился.— Самсон Карраско намеренно запутывает свою речь, придавая ей смысл, противоположный общепринятому, но соответствующий его отношению к приключениям Дон Кихота.

Стр. 249

...т е с т и х и н а ш е г о п о э т а...— Дон Кихот пересказывает отрывок из эклоги Гарсиласо де ла Веги о нимфах реки Тахо.

Стр. 250

Г о р а ц и й П у б л и й К о к л е с — римлянин, оборонявший во время войны с этрусками (VI в. до н. э.) мост через Тибр до тех пор, пока его соотечественники не разрушили его, преградив путь врагам. Тогда Гораций бросился в воду и в полном вооружении переплыл на другой берег.

М у ц и й Г а й — римский юноша, который проник в лагерь окруживших Рим этрусков и покушался на жизнь этрусского царя Порсены. Порсена стал угрожать ему пыткой, и тогда Муций, чтобы доказать свое презрение к его угрозам, положил правую руку в огонь и сказал, что в Риме многие не пожалеют и жизни ради того, чтобы убить Порсену. Устрашенный царь этрусков отпустил Муция и отступил от Рима. В память об этом подвиге Муция прозвали Сцеволой, то есть «левшой».

К у р ц и й М а р к — герой римского предания, согласно которому в 362 г. до н. э. на римском Форуме разверзлась пропасть и, как предсказал оракул, закрыться она должна была не прежде, чем в нее бросят лучшее достояние Рима. Тогда юный Курций на коне бросился в пропасть, и она сомкнулась.

...п е р е й т и Р у б и к о н? — В 49 г. до н. э. Цезарь не подчинился приказу Сената распустить галльское войско и повел легионы на Рим, тем самым развязывая гражданскую войну и прокладывая себе путь к власти. Со словами «Жребий брошен!» он перешел реку Рубикон, границу провинции Галлия.

Стр. 251

В с а м у ю г л у х у ю п о л н о ч ь...— строка из народного романса.

Стр. 255

...к о р м и т ж а ж д у щ и х и п о и т г о л о д н ы х — то есть дает не то, что им нужно. Путаница придает словам Санчо этот иронический смысл.

Стр. 259

...в н о в ь ж а ж д е т г о р е с т е й м о и х с у д ь б и н а...— строка из III эклоги Гарсиласо де ла Веги.

...с а м о г о л о в к о г о к о р д о в а н ц а и л и ж е м е к с и к а н ц а...— Жители провинции Кордова, так же как и мексиканцы, славились искусством верховой езды.

Стр. 262

Купидон — бог любви, часто изображался в виде крылатого мальчика с завязанными глазами и с луком в руках.

Стр. 263

...похож на ладью Харона...— В греческой мифологии Харон — перевозчик душ умерших через подземную реку Стикс в царство мертвых.

Действо о Судилище Смерти — пьеса, возможно принадлежавшая перу великого испанского драматурга Лопе де Вега (1562—1635) на распространенный в средние века сюжет: Смерть судит предстающих перед ней людей всех сословий, от императора до нищего.

Стр. 266

Комедия.— Во времена Сервантеса комедией называли любое драматическое произведение.

Стр. 269

Касильдея Вандальская — то есть Андалузская, по имени древнего германского племени вандалов, некогда захватившего юг Испании.

Стр. 272

Фанега — мера емкости, около 55,5 литра.

Стр. 274

...по примеру мачехи Геркулеса...— Геркулес был сыном Юпитера и смертной женщины Алкмены. Ревнивая жена Юпитера Юнона, ненавидевшая Геркулеса, обрекла его служить царю Эврисфею до тех пор, пока он не совершит по его приказу двенадцать великих подвигов.

Стр. 275

...севильскую великаншу Хиральду...— На башне севильского собора был установлен трехметровый флюгер в виде богини победы. Хиральда — по-испански «башенный флюгер».

...пришел, увидел, победил...— вошедшие в историю слова Юлия Цезаря из его донесения римскому Сенату о быстрой победе над боспорским царем Фарнаком в 47 г. до н. э.

...каменных Быков Гисандо...— так называли каменные изваяния с непонятными надписями, находившиеся близ деревни Гисандо и считавшиеся в XVI—XVII веках одной из достопримечательностей Испании.

Пропасть Кабра — глубокая пропасть близ г. Кабры, окруженная мрачными легендами.

Стр. 292

...то ли духовных лиц... то ли студентов...—В то время священники и студенты носили схожую одежду — сутану, длинный плащ, широкую шляпу.

Стр. 301

Патены — пластины из серебра или более дешевого металла, обычно с изображением святого, составлявшие украшение женского крестьянского наряда.

Стр. 306

...в пещере Монтесиноса...— В Ламанче действительно существует такая пещера, которую местные легенды связывают с именем Монтесиноса, героя испанских романсов на рыцарский сюжет. О пещере рассказывали чудеса.

Цицерон, Марк Тулий — великий римский оратор и политический деятель I в. до н. э.

Стр. 307

Брас — 1,67 метра.

Стр. 312

...стать Фуггером...—Могущественный немецкий банкирский дом Фуггеров финансировал испанских королей; его богатство вошло в поговорку.

Стр. 314

Раешник — бродячий актер, показывающий кукольный театр — раек.

Рехидор — городской советник.

Стр. 317

Герцог Альба (1508—1582)— всесильный вельможа, приближенный испанского короля Филиппа II, жестоко подавивший восстание в Нидер-

ландах в 1567 г. и установивший там кровавый террор. Его имя внушало ужас даже после его смерти.

...как славный дон Гайферос освободил Мелисендру...— сюжет одного из самых популярных в Испании романсов о том, как племянник Карла Великого Гайферос спас свою невесту Мелисендру, дочь Карла, похищенную маврами и увезенную в Испанию. Стихи, которыми сопровождает представление мальчик в следующей главе,— цитаты из народных романсов и стихов испанских поэтов XVI в. на эту тему.

Стр. 318

Геркулесовы столпы — скалы по берегам Гибралтарского пролива; греки считали, что их поставил там Геркулес, обозначив край земли.

Стр. 321

Меч Дюрандаль — меч Роланда, обладавший чудесными свойствами.

Стр. 324

Родриго — последний король вестготов (начало VIII века), в царствование которого арабы завоевали Испанию. Об этих событиях сложились трагические легенды, Родриго стал героем целого цикла романсов, один из них и цитируется далее. А. С. Пушкин написал на этот сюжет два стихотворения в форме романсов («На Испанию родную...»).

Стр. 328

...из берберийского плена...— Берберией называлась северо-западная часть Африки, включавшая территории Марокко, Алжира, Туниса, с начала XVI в. ставшие турецкими провинциями. Сам Сервантес был захвачен в 1575 г. пиратами и пять лет провел в турецком плену в Алжире.

Стр. 338

Бешенка — род сельди.

...по Рифейским горам...— по античной географии, горы в Скифии.

Стр. 355

Сайяго — область близ г. Саморы, жители которой считались самыми грубыми и невежественными во всей Испании.

Стр. 356

Аластрахарея — дочь Амадиса Галльского.

Стр. 363

...куэнкского сукна... сеговийского...— Производство шерстяных тканей было традиционной отраслью испанского ремесла; города Сеговия, Куэнка — одни из главных центров сукноделия.

Стр. 366

Выжлятники — охотники, направляющие гончих собак.

Стр. 369

«Алла ил алла!» — «Нет бога, кроме Аллаха!» (арабск.)— боевой клич мусульман.

Стр. 371

Лиргандей — волшебник из рыцарского романа «Зерцало рыцарства» (1586).

Аркалай — волшебник, околдовавший Амадиса Галльского.

Стр. 372

Мерлин — герой бретонских сказаний, великий маг.

Стр. 375

Касик — вождь американских индейцев.

Стр. 378

Хоть и славно меня выпороли, зато я славно верхом прокатился...— Приговоренных к бичеванию везли к месту экзекуции верхом на осле. Смысл испанской поговорки, приводимой Санчо: «Нет худа без добра».

Стр. 387

«За благое молчание все тебя будут звать Санчо».— Санчо переиначивает испанскую пословицу, смысл которой: «Кто умеет вовремя смолчать, тот святой», играя созвучием своего имени со словом «santo» — «святой».

Стр. 389

Камлот — толстая шерстяная ткань.

Баратария — от исп. barato — «дешевый».

Стр. 391

...пожертвовать заключенным..:— Сервантес издевается над богатыми жертвователями, обычно отсылавшими в тюрьму для арестантов непригодный хлам.

Стр. 392

...крест губернаторского жезла...— крест, которым оканчивался этот жезл, использовался для присяги в суде.

Соломон — иудейский царь X в. до н. э., в Библии он изображен мудрым правителем и справедливым судьей.

Стр. 394

Гиппократ — великий древнегреческий врач (IV в. до н. э.).

...объедение же куропатками...— Доктор дурачит Санчо: на самом деле у Гиппократа сказано не о куропатках, а о хлебе.

Стр. 395

Тиртеафуэра — исп. «пошел вон».

...в университете Осунском.— Открытый в XVI веке Осунский университет был одним из худших в Испании.

Стр. 398

Отряд альгуасилов — то есть полицейских.

Стр. 411

...подобен чурбану, царю лягушек...— В одной из древнегреческих Эзоповых басен рассказывается о том, как Зевс на просьбу лягушек дать им царя бросил в болото деревянный чурбан. Сначала они испугались шума, но, видя, что чурбан неподвижен, осмелели и уселись на него. Потом лягушки стали требовать более сильного правителя, и Зевс дал им змею, которая всех сожрала.

Стр. 417

А ю н т а м ь е н т о — городская или сельская управа

Стр. 430

Г о р д и е в у з е л.— По греческой легенде, фригийский царь Гордий завязал на посвященной Зевсу колеснице искусный узел, и тому, кто развяжет его, оракул сулил власть над Азией. Александр Македонский разрубил гордиев узел мечом.

Стр. 432

Р о к е Г и н а р т (или Педро Рокагинарда) в 1610 г. возглавил отряд разбойников из двухсот крестьян, противившихся феодальной эксплуатации сеньоров. Мужество и великодушие Роке Гинарта сделали его любимцем всей Испании.

Стр. 436

Б а р с е л о н с к и й в и ц е-к о р о л ь — наместник короля в Каталонии, столица которой — Барселона.

Стр. 439

...п р я ч е ш ь и х с е б е з а п а з у х у п р о ч е р н ы й д е н ь.— В 1614 г., до выхода в свет второй части романа Сервантеса, появилось подложное продолжение «Дон Кихота», написанное неизвестным автором, чей псевдоним был Алонсо Фернандес де Авельянеда. Протест Санчо — полемика с произведением Авельянеды, где он обрисован обжорой и мужланом. В одном из эпизодов он прячет за пазуху еду, упомянутую доном Антоньо.

Стр. 447

...н а д п и с ь... н а т р о ф е е Р о л а н д о в о м...— В XXIV песни «Неистового Роланда» друг Роланда — Зербин находит брошенные им в безумии доспехи, вешает их на дерево и делает на коре надпись, приводимую далее Дон Кихотом.

...д а в а й п р е в р а т и м с я в п а с т у х о в...— Вторая половина XVI века была временем расцвета в Испании пасторального романа, прославлявшего идеал естественной, идиллической жизни на лоне природы. Устраивались даже литературные маскарады, участники которых переодевались пастухами и меняли имена.

Стр. 448

П р е с в и т е р и а м б р о — от слова «пресвитер» — «священник».

Стр. 449

...госпожа Диана отправляется на прогулку к антиподам...— Диана — римская богиня Луны; антиподами называли людей, живущих на противоположной стороне земли.

Стр. 452

Мадригал — небольшое любовное стихотворение.

...всех сокровищ Венеции и россыпей Потоси.— Венеция была богатейшим торговым городом; Потоси — месторождение драгоценных металлов в Боливии.

Стр. 453

Куартильо — $^1/_4$ реала.

Аполлонова колесница — то есть солнце.

Стр. 454

Самору долго осаждали...— испанская поговорка. Осада Саморы в XII веке кастильским королем Санчо II длилась много лет.

Стр. 457

Куарто — медная монета, равная четырем мараведи.

ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР

ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК

Комедия «Тартюф» была представлена 12 мая 1664 г. на королевском празднике в Версале. А 17 мая последовало запрещение пьесы, подписанное Людовиком XIV по настоянию парижского архиепископа. Так началась борьба за комедию, которую Мольеру пришлось вести в течение пяти лет. Первоначально в пьесе было три акта, то есть она кончалась торжеством Тартюфа, чей наряд намекал на духовный сан или, во всяком случае, на принадлежность к одному из религиозных обществ, самым могущественным из которых было Общество святых даров, объединявшее как священников, так и людей светских. Это основанное в 1627 г. общество ставило своей целью искоренение еретических идей, борьбу со свободомыслием и исполняло роль полиции нравов. Оно порицало веселье, музыку, театр как угрозу общественной нравственности, но потакало порокам, прячущимся под маской смирения. Построенная по образцу иезуитского ордена, эта организация была тайной, имела своих агентов во всех слоях общества и пользовалась при дворе покровительством королевы-матери Анны Австрийской. Растущее могущество «заговора святош», как современники называли общество, внушало беспокойство и молодому Людовику XIV, в то время отнюдь не склонному к набожности и предававшемуся развлечениям самого светского характера. Но если для Людовика Общество святых даров было соперником в неограниченной власти и помехой в удовольствиях, то Мольер и его единомышленники видели в нем угрозу свободомыслию, страшное зло, уродующее души людей. После смерти Анны Австрийской в 1666 г. общество лишилось высокой поддержки и официально прекратило собираться, но продолжало существовать негласно.

О «Тартюфе» святоши прослышали давно, и еще до первого представления, 17 апреля 1664 г., в Париже состоялось заседание общества, посвященное готовящейся комедии. Было решено (об этом свидетельствует сохранившийся протокол собрания), что каждый влиятельный член общества будет по мере

сил настраивать публику против пьесы и использует все связи при дворе, чтобы добиться ее запрещения. Эти усилия увенчались успехом.

Летом 1664 г. вышло из печати теологическое сочинение некоего Пьера Рулле, священника церкви святого Варфоломея в Париже, в котором, среди прочего, содержалось обвинение Мольера в кощунстве. «Это нечистый дух во плоти и в человеческом обличье,— говорилось в книжке,— самый отъявленный безбожник и развратник, какие только жили на свете во все времена». «Тартюф» же был объявлен «насмешкой над всей церковью» и признан достойным костра. Через несколько дней после выхода в свет брошюры Рулле Мольер составил первое прошение королю, в чьем лице надеялся обрести защиту от грубых нападок и клеветы врагов.

Несколько лет продолжалась работа Мольера над комедией, и вот 5 августа 1667 г. она представлена на сцене под новым названием «Обманщик». Тартюф превращен в Панюльфа, переодет в светское платье и посрамлен в приписанных последних двух актах. Это, однако, никого не обмануло, и на другой же день пьеса была вновь запрещена. Запрет исходил от президента парламента Ламуаньона, члена Общества святых даров, которому принадлежала вся административная власть в Париже на время отсутствия короля, уехавшего во Фландрию осаждать Лилль. Туда же отправляются двое актеров мольеровской труппы со вторым прошением. Король обещал Мольеру поддержку, но отложил дело до своего возвращения.

А пока к светскому запрету прибавилось еще более грозное запрещение парижского архиепископа читать, играть и смотреть пьесу под страхом отлучения от церкви.

Наконец, 5 февраля 1669 г., «Тартюф» был окончательно водворен на сцену. В марте того же года Мольер издал пьесу отдельной брошюрой, предпослав ей предисловие, а в следующем издании прибавил еще и свои прошения.

Первый перевод «Тартюфа» на русский язык был сделан в 1757 году И. Кропотовым. Существует еще шесть дореволюционных переводов комедии. В советское время появились перевод М. Лозинского (Academia, 1937 г.) и публикуемый перевод Мих. Донского (Мольер, Тартюф, Мещанин во дворянстве. М., «Детская литература», 1978 г.).

Стр. 486

...у древних комедия берет начало из религии...— Античная драма, как комедия, так и трагедия, первоначально была связана с культом бога Диониса.

...у нас она возникла благодаря стараниям братства, коему и поныне принадлежит Бургундский отель...— Мольер имеет в виду Братство страстей господних, возникшее в XIV веке и получившее в 1402 г. привилегию на исполнение мистерий, драм на религиозные сюжеты, которые представлялись в церковные праздники на площадях города и на папертях храмов. Именно мистерии способствовали возникновению светского театра. В XVI веке мистерии, приобретавшие все более

и более светский характер, были запрещены, однако за Братством страстей было закреплено право давать театральные представления в Париже. Построенный в 1548 г. Бургундский отель, первый французский театр, был собственностью братства. Впоследствии братья уже не играли сами, а сдавали помещение театра и продавали свою привилегию другим труппам. В Бургундском отеле были впервые сыграны многие пьесы Корнеля и Расина, во времена Мольера там шли спектакли конкурировавшей с ним труппы.

...подписанные одним из докторов Сорбонны! — Живший в конце XV века доктор медицины Жан Мишель был автором нескольких мистерий.

...духовные пьесы господина де Корнеля... — Имеются в виду пьесы Корнеля «Мученик Полиевкт» (1643) и «Теодора — дева и мученица» (1645).

Стр. 487

...никогда еще на театр так не ополчались. — В шестидесятые годы XVII века во Франции вспыхнул спор о театре. Среди врагов театра был бывший фрондер, под конец жизни охваченный благочестием, принц Конти и глава суровой религиозной школы янсенистов Николь. В их трактатах театр объявлялся пагубным для душ, так как проповедовал светскую мораль в ущерб христианской и будто бы способствовал порче нравов. Непристойными называли многие пьесы Мольера, а Конти прямо называл его атеистом, имея в виду «Тартюфа» и «Дон Жуана». В защиту театра выступили крупнейшие драматурги того времени Расин и Корнель. Предисловие к «Тартюфу» — слово Мольера в этом споре.

Стр. 488

...как неусыпно трудился на пользу театру Аристотель... — В «Поэтике» Аристотеля, пользовавшейся в XVII веке огромным авторитетом, была разработана теория драматического искусства.

...гордились тем, что пишут комедии... — Долгое время считалось, что римский полководец и политический деятель II в. до н. э. Сципион Африканский Младший сотрудничал с комедиографом Теренцием; на это и намекаст Мольер.

...подвергалась гонениям в Риме... — Римский историк Плиний Старший сообщает, что некогда в Риме был принят закон против врачей.

...всенародно осуждена в Афинах... — Имеется в виду осуждение на смерть афинским судом греческого философа V в. до н. э. Сократа.

Стр. 489

...словами одного великого принца...— Мольер говорит о принце Конде, прославленном полководце, который оказывал ему поддержку во время борьбы за «Тартюф» и устраивал чтения и представления комедии в знатных домах даже после архиепископского запрещения.

«Скарамуш-отшельник» — пьеса итальянского театра, изображавшая любовные похождения переодетого монахом шута.

Стр. 490

...одобрению монсеньера легата...— В июле 1664 г. Мольер читал свою комедию кардиналу Киджи, легату (посланнику) римского папы во Франции.

Стр. 491

...книжка, написанная неким кюре...— то есть брошюра Пьера Рулле.

Стр. 492

...власть, к которой нельзя не питать уважение.— Мольер имеет в виду запрет президента Ламуаньона.

Стр. 493

Один... врач...— лечащий врач Мольера, его друг Мовиллен.

Стр. 494

Оргон.— Эту роль играл сам Мольер.

Стр. 500

Когда язычники, смешав свои языки, решили сообща разрушить Вавилон.— Г-жа Пернель все перепутала в библейском рассказе, согласно которому жители Вавилона решили построить башню до самого неба, а разгневанный их гордыней бог смешал языки, чтобы люди перестали понимать друг друга.

Стр. 501

Во время наших смут...— то есть во времена Фронды, гражданских смут 1648—1653 гг.

Стр. 507

...раздавил ее без чувства сострадань я.— Христианский святой Макарий Египетский (IV в.), шестьдесят лет проживший в пустыне, наложил на себя покаяние за то, что убил кусавшую его мошку, и полгода не носил одежды. Тартюф желает сравняться с ним в добродетели.

Куда вас приведет столь скверная дорога.— В годы, когда писалась комедия, за вольномыслие и в самом деле можно было жестоко поплатиться: в документах Общества святых даров 1661—1662 годов неоднократно упоминаются казни за богохульство.

Стр. 523

На табурет складной укажет вам в гостиной — то есть примет как гостя, занимающего самое низкое общественное положение.

Стр. 535

...плеть и власяницу — орудия умерщвления плоти, самоистязания в благочестивых целях. Власяница — жесткая волосяная сетка, которую надевали на голое тело.

Стр. 560

...ведь для грехов любых есть оправдание в намереньях благих.— Тартюф использует один из разработанных иезуитами приемов оправдания любых пороков перед богом и совестью, так называемую «направленность намерения». Перечень таких приемов приводился в сочинениях иезуитов и их последователей.

Стр. 564

Все плохо, но ларец меня тревожит крайне.— Сохраняя ларец своего опального друга, Оргон рисковал быть обвиненным в сообщничестве с преступником против короля, что каралось смертью.

Стр. 565

...солгавши, не солгу и с чистой совестью дам ложную присягу.— Еще один прием иезуитов, именуемый «мысленным умолчанием», способ давать заведомо ложную клятву, добавляя в уме слова, которые придают ей иной смысл.

МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ

Комедия-балет «Мещанин во дворянстве» была впервые исполнена на королевском празднике в замке Шамбор на Луаре 14 октября 1670 г. Музыку для нее написал выдающийся французский композитор Жан Батист Люлли (1632—1687), неоднократно работавший вместе с Мольером в этом жанре. Людовик XIV пожелал, чтобы в комедии были высмеяны «турецкие церемонии». Мода на турецкую экзотику распространилась при французском дворе в 1669—1670 гг. благодаря кратковременному пребыванию в Париже турецкого посла Солимана Аги. Отношения между Францией и Турцией и до и после этого визита оставались натянутыми. Солиман Ага не только поразил воображение падких на все необычайное парижан, но и раздосадовал короля своей чопорностью и пренебрежительным отношением к роскоши версальского двора. Мольер выполнил заказ монарха, написав буффонную сцену посвящения в «мамамуши». Блестящий комический балет сплетается в пьесе с острой бытовой комедией на злободневную тему о метящем в аристократы буржуа.

Роль Журдена исполнял сам Мольер, а в роли муфтия на первом представлении выступил Люлли.

На русский язык комедия «Мещанин во дворянстве» переводилась неоднократно, первый перевод появился в 1761 году и был выполнен П. Свистуновым. Публикуемый перевод Н. Любимова печатается по изданию: Мольер. Тартюф. Мещанин во дворянстве. М., «Детская литература», 1978 г. с исправлениями автора перевода.

Стр. 583

Муфтий — знаток богословских и юридических вопросов, толкователь Корана.

Дервиши — мусульманские нищенствующие монахи.

Стр. 586

...из индийской ткани халат.— Халат, сшитый из модного в то время ситца, который привозили из Индии.

Стр. 587

Жанетту я считал...— французская народная песенка.

Стр. 591

...для ритурнелей...— Ритурнель — повторяющаяся мелодия в аккомпанементе песни.

Хорошо бы еще морскую трубу.— Морская труба — однострунный инструмент с резким громким звуком. Применялся для военных сигналов; при дворе Людовика XIV им пользовались конюхи королевской конюшни. Разумеется, для салонной музыки морская труба была непригодна.

Стр. 592

А, менуэт — это мой любимый танец! — Для исполнения менуэта требовалась особая грациозность; легко догадаться, как комично выглядел Журден, изображая этот танец!

Стр. 593

...парируйте квартой... парируйте терсом и отходите с тем же парадом.— Кварта, терса, парад — приемы фехтования.

Стр. 595

...не читали ученого трактата Сенеки о гневе.— Сочинения римского философа и писателя Луция Аннея Сенеки (I в.) были очень популярны в XVII веке.

Стр. 596

...сатиру в духе Ювенала...— Децим Юний Ювенал — римский сатирик I—II веков.

Стр. 597

...при посредстве универсалий...— то есть общих понятий рода, вида, особенности и проч. Термин средневековой философии.

...Barbara, Celarent и т. д.— виды силлогизмов (умозаключений) в схоластической логике; всего их было девятнадцать, и каждый имел для удобства запоминания свое название.

Стр. 610

Луидоры, ливры, су, деньe, пистоли, франки — деньги, имевшие хождение во Франции в XVII веке.

Стр. 622

...от ребра Людовика Святого...— Людовик IX Святой — французский король XIII века, прославился великими деяниями.

...подле Ворот святого Иннокентия — одно из оживленных торговых мест в Париже.

Стр. 633

«Мамамуши» — слово, придуманное Мольером, как и вся галиматья Ковьеля, а затем Клеонта.

Стр. 635

«Алла экбер» — «бог велик» (арабск.).

Когда ты знай и т. д.— В подлиннике муфтий и турки говорят на жаргоне средиземноморских (в том числе турецких) моряков и купцов.

Стр. 636

Анабаптиста.— Муфтий перечисляет, коверкая, подлинные и вымышленные вероисповедания.

Йок — нет (турецк.).

Эй валла! — исковерканное арабское выражение, означающее «так угодно богу».

Н. Мавлевич

СОДЕРЖАНИЕ

МИГЕЛЬ ДЕ СЕРВАНТЕС САВЕДРА

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ.
(Сокращенный перевод с испанского Н. Любимова.) 3

Б. Пуришев. О романе Сервантеса «Дон Кихот» 5

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава I, повествующая о нраве и образе жизни славного идальго Дон Кихота Ламанчского 23
Глава II, повествующая о первом выезде хитроумного Дон Кихота из его владений 27
Глава III, в коей рассказывается о том, каким забавным способом Дон Кихот был посвящен в рыцари 32
Глава IV. О том, что случилось с рыцарем нашим, когда он выехал с постоялого двора 38
Глава V, в коей продолжается рассказ о злоключении нашего рыцаря 43
Глава VI. О втором выезде доброго нашего рыцаря Дон Кихота Ламанчского 49
Глава VII. О славной победе, одержанной доблестным Дон Кихотом в страшной и доселе неслыханной битве с ветряными мельницами, равно как и о других событиях, о которых мы не без приятности упомянем 53
Глава VIII. Об остроумной беседе, которую вели между собой Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса 61
Глава IX. О том, что произошло между Дон Кихотом и козопасами 65
Глава X, в коей рассказывается о злополучном приключении Дон Кихота с бесчеловечными янгуасцами 69

Глава XI. О том, что случилось с хитроумным идальго на постоялом дворе, который он принял за некий замок 75
Глава XII, содержащая замечания, коими Санчо Панса поделился со своим господином Дон Кихотом, и повествующая о разных достойных упоминания событиях 81
Глава XIII. О глубокомысленных замечаниях, коими Санчо поделился со своим господином, о приключении с мертвым телом, равно как и о других необычайных происшествиях 90
Глава XIV. О доселе невиданном и неслыханном подвиге, какого ни один славный рыцарь на свете не совершал с меньшею для себя опасностью, чем доблестный Дон Кихот Ламанчский . 96
Глава XV, повествующая о великом приключении, ознаменовавшемся ценным приобретением в виде Мамбринова шлема, а равно и о других происшествиях, которые случились с нашим непобедимым рыцарем 103
Глава XVI. О том, как Дон Кихот освободил многих несчастных, которых насильно вели туда, куда они не имели ни малейшего желания идти 112
Глава XVII. О том, что случилось с прославленным Дон Кихотом в Сьерре Морене, и о покаянии, которое он по примеру Мрачного Красавца на себя наложил 120
Глава XVIII, повествующая о том, каким забавным и хитроумным способом влюбленный наш рыцарь был избавлен от жестокого покаяния, которое он на себя наложил 134
Глава XIX, повествующая о находчивости прелестной Доротеи и еще кое о чем, весьма приятном и увлекательном 150
Глава XX. О любопытной беседе, которую вели между собой Дон Кихот и его оруженосец Санчо Панса, равно как и о других происшествиях 157
Глава XXI, в коей речь идет о жестокой и беспримерной битве Дон Кихота с бурдюками красного вина, равно как и о других редкостных происшествиях, на постоялом дворе случившихся 165
Глава XXII, содержащая продолжение истории славной инфанты Микомиконы и повествующая о других забавных приключениях 172
Глава XXIII, в коей приводится любопытная речь Дон Кихота о военном поприще и учености 178
Глава XXIV, в коей окончательно разрешаются сомнения по поводу Мамбринова шлема и седла, а также со всею возможною правдивостью повествуется о других приключениях . . 181
Глава XXV. О том, каким необыкновенным способом был очарован Дон Кихот, равно как и о других достопамятных событиях 189
Глава XXVI, в коей приводится дельный разговор между Санчо Пансой и его господином Дон Кихотом 202

Глава XXVII. Об остроумном словопрении, имевшем место между Дон Кихотом и каноником, и о редкостном приключении с бичующимися, которое Дон Кихот, изрядно попотев, довел до победного конца 205

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава I. О разговоре, который священник и цирюльник вели с Дон Кихотом касательно его болезни 216
Глава II, повествующая о достопримечательном пререкании Санчо Пансы с племянницею и ключницею Донкихотовыми, равно как и о других забавных вещах 224
Глава III. Об уморительном разговоре, происходившем между Дон Кихотом, Санчо Пансою и бакалавром Самсоном Карраско 228
Глава IV, в коей Санчо Панса разрешает недоуменные вопросы бакалавра Самсона Карраско, а также происходят события, о которых стоит узнать и рассказать 232
Глава V. Об остроумной и забавной беседе, какую вели между собой Санчо Панса и супруга его Тереса Панса, равно как и о других происшествиях, о которых мы не без приятности упомянем 233
Глава VI. О чем обменялся мнениями Дон Кихот со своею племянницею и ключницею, и эта одна из самых важных глав во всей истории 238
Глава VII. О чем говорили между собой Дон Кихот и его оруженосец, равно как и о других достославных происшествиях . 242
Глава VIII, в коей рассказывается о том, что произошло с Дон Кихотом по дороге к сеньоре Дульсинее Тобосской 248
Глава IX, в коей рассказывается о том, что из нее будет видно 251
Глава X, в коей рассказывается о том, как ловко удалось Санчо околдовать Дульсинею, а равно и о других событиях, столь же смешных, сколь и подлинных 254
Глава XI. О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с колесницей, то есть с телегой Судилища Смерти . . . 261
Глава XII. О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с отважным Рыцарем Зеркал 266
Глава XIII, в коей продолжается приключение с Рыцарем Зеркал и приводится разумное, мирное и из ряду вон выходящее собеседование двух оруженосцев 271
Глава XIV, в коей продолжается приключение с Рыцарем Зеркал 274
Глава XV, в коей рассказывается и сообщается о том, кто такие были Рыцарь Зеркал и его оруженосец 283
Глава XVI, из коей явствует, каких вершин и пределов могло

достигнуть и достигло неслыханное мужество Дон Кихота, и в коей речь идет о приключении со львами, которое Дон Кихоту удалось счастливо завершить 285
Глава XVII, в коей рассказывается о приключении с влюбленным пастухом 292
Глава XVIII, в коей рассказывается о свадьбе Камачо Богатого и о происшествии с Басильо Бедным 295
Глава XIX, в коей продолжается свадьба Камачо и происходят другие занятные события 301
Глава XX, в коей рассказывается о великом приключении в пещере Монтесиноса, в самом сердце Ламанчи, каковое приключение для доблестного Дон Кихота Ламанчского полным увенчалось успехом 306
Глава XXI. Об удивительных вещах, которые, по словам неукротимого Дон Кихота, довелось ему видеть в глубокой пещере Монтесиноса 309
Глава XXII, в коей завязываются приключение с ослиным ревом и забавное приключение с неким раешником, а также приводятся достопамятные прорицания обезьяны-прорицательницы 314
Глава XXIII, в коей продолжается забавное приключение с раешником и повествуется о других поистине превосходных вещах 321
Глава XXIV, в коей поясняется, кто такие были маэсе Педро и его обезьяна, и рассказывается о неудачном для Дон Кихота исходе приключения с ослиным ревом, которое окончилось не так, как он хотел и рассчитывал 327
Глава XXV. О событиях, которые станут известны тому, кто о них прочтет, если только он будет читать со вниманием . . 332
Глава XXVI. О славном приключении с заколдованною ладьею 337
Глава XXVII. О том, что произошло между Дон Кихотом и прекрасной охотницей 341
Глава XXVIII, повествующая о многих великих событиях . . 346
Глава XXIX. О том, как Дон Кихот ответил своему хулителю, а равно и о других происшествиях, и важных, и забавных . . 350
Глава XXX. О приятной беседе герцогини и ее горничных девушек с Санчо Пансою, достойной быть прочитанною и отмеченною 361
Глава XXXI, в коей рассказывается о том, как был изобретен способ расколдовать несравненную Дульсинею Тобосскую, что составляет одно из наиславнейших приключений во всей этой книге 366
Глава XXXII, в коей продолжается рассказ о том, как Дон Кихот узнал о способе расколдовать Дульсинею, а равно и о других удивительных происшествиях . . . 372

Глава XXXIII. О советах, которые Дон Кихот преподал Санчо Пансе перед тем, как тот отправился управлять островом, а равно и о других весьма важных вещах 377
Глава XXXIV. О второй части советов, преподанных Дон Кихотом Санчо Пансе 383
Глава XXXV. О том, как премудрый Санчо Панса вступил во владение своим островом и как он начал им управлять . . 388
Глава XXXVI, в коей продолжается рассказ о том, как Санчо Панса вел себя в должности губернатора 393
Глава XXXVII. О том, что случилось с Санчо Пансою, пока он дозором обходил остров 397
Глава XXXVIII, в коей повествуется о том, как паж герцогини доставил письмо Тересе Панса, жене Санчо Пансы 401
Глава XXXIX. О том, как Санчо Панса губернаторствовал далее, а равно и о других поистине славных происшествиях 408
Глава XL. О злополучном конце и исходе губернаторства Санчо Пансы 414
Глава XLI. О том, что произошло с Санчо в дороге, равно как и о других прелюбопытных вещах 422
Глава XLII. О том, что случилось с Дон Кихотом на пути в Барселону 428
Глава XLIII. О том, что случилось с Дон Кихотом при въезде в Барселону, равно как и о других вещах, вполне правдоподобных при всей их видимой нелепости 436
Глава XLIV, повествующая о приключении, которое принесло Дон Кихоту больше горя, нежели все, какие до сих пор у него были 438
Глава XLV, в коей сообщается о том, кто был Рыцарь Белой Луны 444
Глава XLVI. О том, как Дон Кихот принял решение стать пастухом и до истечения годичного срока жить среди полей, равно как и о других вещах, поистине приятных и превосходных . 446
Глава XLVII. О том, что случилось с Дон Кихотом и его оруженосцем Санчо, когда они ехали в свое село 449
Глава XLVIII. О знамениях, последовавших при въезде Дон Кихота в его село, равно как и о других событиях, служащих к украшению и вящему правдоподобию великой этой истории . 456
Глава XLIX. О том, как Дон Кихот занемог, о составленном им завещании и о его кончине 460

ЖАН-БАТИСТ МОЛЬЕР

И. Верцман. Мольер. Детство, юность, годы творчества . . . 467

ТАРТЮФ, ИЛИ ОБМАНЩИК. *(Перевод с французского Мих. Донского.)* 483

МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ. *(Перевод с французского Н. Любимова. Стихи в переводе А. Арго.)* 581

Комментарии 647

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

(том 34)

Мигель де Сервантес Сааведра

ХИТРОУМНЫЙ ИДАЛЬГО ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ

Роман

*

Жан-Батист Мольер

ТАРТЮФ
МЕЩАНИН ВО ДВОРЯНСТВЕ

Комедии

*

ИБ № 4331

Ответственный редактор
Г. В. Языкова

Художественный редактор
Л. Д. Бирюков

Технический редактор
В. К. Егорова

Корректоры
Л. А. Рогова и Н. А. Сафронова

*

Сдано в набор 09.02.79. Подписано к печати 28.12.79. Формат 60×90 1/16. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 44,13. Уч.-изд. л. 40,73+9 вкл.=41,37. Тираж 404 000 (1—200 000) экз. Заказ № 4369. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сущевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

Сервантес Сааведра М. де.

С32 Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский: Роман/ Сокр. пер. с исп. Мольер Ж.-Б. Тартюф; Мещанин во дворянстве: Комедии/ Пер. с фр.; Вступит. ст. Б. Пуришева, И. Верцмана; Примеч. Н. Мавлевич; Ил. А. Архиповой.— М.: Дет. лит., 1980.— 686 с., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 34).

В пер.: 1 р. 90 к.

Роман классика испанской литературы М. де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» — одно из самых замечательных произведений эпохи Возрождения, рассказывает о приключениях бедного идальго Алонсо Кихано, который надел старинные рыцарские доспехи и вместе с верным оруженосцем Санчо Пансой отправился в поход против зла и несправедливости на земле.

В комедиях великого французского драматурга Ж.-Б. Мольера «Тартюф» и «Мещанин во дворянстве» высмеивается лицемерие, ханжество и невежество высших сословий Франции XVII века.

С $\frac{70803—065}{M101(03)80}$ Подп. изд. И(Исп)

Scan Kreyder - 07.06.2016
STERLITAMAK

1 р. 20 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА